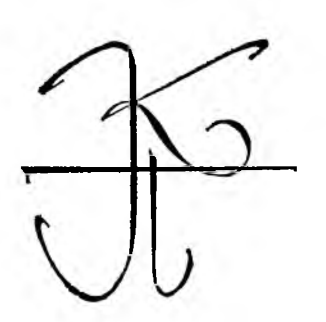
Константин Паустовский

2

Константин Паустовский 2



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕВЯТИ ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

•

РОМАН И ПОВЕСТИ

•

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

Р 2
П 21

Примечания
Л. Левицкого

Оформление художника
Е. Гольдина

ПОВЕСТЬ

Приедается все, лишь тебе
не дано примелькаться...

Борис Пастернак

Поздняя ночь. Море шумит за окном. Дует норд-вест. В старинной лоции, раскрытой на столе, красным карандашом подчеркнута строчка: «Ветры от норд-веста и веста всегда сопровождаются мрачной погодой и дождем».

Ночной дождь висит над Севастополем непроницаемым дымом.

У лоции — большие поля.Они сделаны для того, чтобы шкиперы и капитаны могли записывать наблюдения над огнями маяков, приметами на берегах, туманами и зимними бурями.

На полях своей лоции я записывал все, что видел и узнал у Черного моря.

Даже мальчишки перестали верить моряцким басням о бутылках, залитых воском и выброшенных на песок прибоем. По словам престарелых пристанских сторожей, в этих бутылках всегда были заключены жгучие тайны. Они были написаны карандашом на листках, вырванных из судового журнала.

Я, как и мальчишки, давно не верю в это. Времена легкокрылых фрегатов и летучих голландцев прошли. Тайны умирают, как ночные мотыльки, обожженные огнем дуговых фонарей. Мое неверие в тайны так велико, что я даже начал сомневаться в существовании голубых огней святого Эльма, пылающих над мачтами кораблей, хотя об этом я читал еще в гимназии в «Физике» Краевича.

Но все-таки о бутылках я вспомнил недаром. Море подарило мне эти рассказы. Оно выбросило их к моему

порогу, как выбрасывало когда-то бутылки вместе с солнечным блеском, красными водорослями и медузами.

Плавучий бакен-ревун кричит за Константиновским фортом. Его мотают буруны и хлещет ветер. Когда он тяжело подымается над волной, мокрый, разъяренный, он видит тонущие в неспокойной воде огни Севастополя. Тогда он мычит, как человек с завязанным ртом.

За окном ничего нет, кроме фонарей, сжимающихся в воде около крепостных утесов. Только встревоженная вода, стон ревуна и теплая осенняя ночь.

Я прислушиваюсь. Нет, не только они. Слышны тяжелые шаги по набережной и хриплый разговор рыбаков. Искры махорки прорезают плотную темноту.

Рядом со мной в комнате спит человек,— я слышу его дыхание и ласковые слова сквозь сон,— и вот книга о море, великих побережьях, о штилях и туманах наполняется людьми, смехом, спорами, борьбой и любовью. Только рядом с людьми приобретает смысл и значение все, что написано на дальнейших страницах.

Без людей нашего времени, полного побед и человеческой теплоты, нет прекрасного ни в цвете морей, ни в ветрах, ни в облаках, ни в полете птиц,— ни в чем, что называется жизнью.

НЕБЕСНАЯ АЗБУКА МОРЗЕ

Ураганам предшествуют
мертвые штили и теплота.

Довэ. Законы шторма

Вода звенела, как бы падая в медный таз с головокружительной высоты.

Этот звук будил Гарта. Он вызывал представление о солнечных зайчиках и безоблачном небе.

Гарт поворачивал голову к окну, и предчувствие сбывалось: безветрие и бледная осень стояли над городом.

Город был похож на театральный макет, где с домов осыпалась позолота и только редкие ее пятна остались на розовой штукатурке оград.

Город был полон осеннего сверкания. По утрам оно качалось над бухтами голубым серебрящимся дымом. В полдень оно подымалось к зениту желтым огнем, а вечером,

окрашенное золотом облаков, оно долго боролось с блеском сигнальных фонарей, зажженных на рейде.

Гарт бежал в Севастополь от промозглой московской осени. Он с содроганием вспоминал черные тучи, волокущие по крышам свое мокрое тряпье, и сумрачные залы библиотек.

Все это осталось позади.

Гарт был писателем. У своей фамилии Гартернберг он отбросил окончание, чтобы целиком слить себя со своими героями — бродягами и моряками, жившими в необыкновенных странах.

Герои Гарта носили короткие и загадочные фамилии. Все они, казалось, появились из тех легендарных времен, когда над морями стояла вечная жара, вражеские линейные корабли, сходясь к бою, приветствовали друг друга криками «ура» и пираты, шатаясь по океанам, веселились, как черти.

Если принять во внимание, что Гарт жил в Советском Союзе, то не только содержание его рассказов, но и внешность этого писателя не могла не вызывать недоумения.

Гарт ходил в черном просторном костюме, строгом и скучном, как у английского священника. Только порыжевшие швы и заплаты говорили о тягостных днях одиночества и нищеты.

Жизнь Гарта была бесконечно печальной и горестной жизнью бродяги и отщепенца.

Как ребенок зажимает в кармане единственную драгоценность — лодку, вырезанную из коры, или серебряную бумажку от конфеты, так Гарт прятал в себе веселый мир выдумок о несуществующей жизни. Ему казалось, что все вокруг враждебно этому миру. Чем насмешливее смотрели окружающие на выдумки Гарта, тем с большей, почти болезненной, любовью он охранял их от любопытства людей.

Гарт был тем, что принято называть «живым анахронизмом». Он выпал из своего времени. Внятный внутренний голос говорил, что пора просыпаться от пестрых снов, что пересоздание мира требует жертв и борьбы, но Гарт отмахивался от этого голоса, как спящий от настойчивого зова.

Гарт не понимал, что революция даст жизни веселое цветение и мудрость, о которых он так тосковал.

Гарт устал от прошлого, плохо сознавал настоящее, и, наконец, он не хотел ждать. Поэтому такая простая мысль никогда не приходила ему в голову.

Много времени спустя люди, близко наблюдавшие Гарта, начинали понимать доброту и талантливость этого заброшенного человека.

Первыми это поняли городские мальчишки. Сначала они преследовали Гарта свистом и кличкой «Недоверчивый». Но однажды Гарт остановился на улице около мальчишки со сломанным луком. С высоты своего роста Гарт нерешительно смотрел на слезы, размазанные по худым детским щекам.

Потом он взял мальчишку за плечо и повел в магазин «Динамо». Там он купил ему индейский лук из красного дерева с резиновой тетивой.

Весь тот день стрелы с куриными перьями на хвостах жужжали в желтом от известняка переулке. Ходить по переулку становилось опасно. Гарт нажил себе жестоких врагов — пронзительных хозяек с узлами бесцветных волос на затылке, проклинавших стрелы, мальчишку и писателя.

Ничто не распространяется так быстро среди детей, как слух о взрослом покровителе игр. Тогда дерзкие мысли о скучном характере родителей охватывают племя ребят.

Гарт был признан мальчишками своим негласным советником от Хрустальной бухты до Корабельной стороны и от Черной речки до Аполлоновой балки. Пожалуй, это событие было его первым столкновением с настоящей жизнью.

Несколько дней после этого он сидел в сухом саду и мастерил индейские луки для жадных и неспокойных ребят. Худые осы садились на тетиву и дрожали вместе с ней, разглядывая сутулую спину Гарта.

Гарт улыбался одними морщинами, сбегавшимися около воспаленных от чтения глаз.

В первые дни севастопольской жизни Гарт изучал топографию города.

Его радовала изорванность утесистых берегов, путаница глубоких бухт и повороты выветренных лестниц. Он подолгу рассматривал каменистые дворы, полные кошек, сухой листвы платанов и голубоватых рыбачьих сетей. Его поражал причудливый план города, спрятанного в синий шар неба и моря.

Потом у себя в комнате Гарт рисовал карты выдуманных им приморских городов — Саванны и Кастля — и отмечал места, где должны были произойти события из еще не написанных им рассказов.

Вода звенела, как бы падая в таз с головокружительной высоты, и разбудила Гарта. Это мылся за стеной его квартирный хозяин — веселый и вспыльчивый старик Юнге.

В каждом городе есть свои чудаки и сумасшедшие. Юнге считался севастопольским чудаком. Он заведовал службой погоды в порту. Старик гордился своей профессией. Он любил повторять, что дело метеоролога заключается в том, чтобы растолковывать дуракам простой язык природы.

Гарт был рад, что поселился у этого шумного человека, дружившего с облаками и циклонами. Знание этих вещей было необходимо Гарту как писателю. А от старика можно было много узнать.

У Юнге была дочь Зоя — комсомолка и планеристка. Гарт ни разу ее не видел. Зоя почти все время жила в Коктебеле, где в тот год в сентябре шли, как обычно, планерные состязания.

Старик, уходя из дому, оставлял Гарту ключ от своей библиотеки.

Сегодня, как уже несколько дней подряд, Гарт погрузился в рваное кожаное кресло времен Севастопольской обороны. Он читал, засыпал, просыпался и снова перечитывал книги. Пыль роилась в солнечном луче.

Гарт много курил. Сухой дым подымался к потолку, завиваясь медленными кольцами. Так движется над материками антициклон.

Перелистывая метеорологические справочники, Гарт узнал о существовании грозового экватора и путях ураганов, о белых радугах и запахе юго-восточных ветров.

Сегодня Гарту повезло. В одной из книг он нашел пожелтевшее английское письмо, помеченное 1854 годом и неизвестно как попавшее к Юнге. Гарт с трудом перевел его. Язык письма был изыскан, но вместе с тем сдобрен хорошей дозой морского жаргона — того крепкого, как плевки, и безошибочного «сленга», каким изъясняются английские матросы и бродяги.

С упорством исследователя Гарт восстановил не только содержание письма, но и его историю. Письмо принадлежа-

ло офицеру английского флота Джону Эллиоту. Оно было написано в Балаклаве, где стояла в 1854 году, во время Севастопольской кампании, английская эскадра.

Я приведу здесь перевод письма в переработке Гарта. Гарт считал, что им найдено точное описание морского урагана.

«В августе 1831 года, как вам известно, великий ураган, разразившийся в Вест-Индии, захватил своим крылом и Европу. Горячий воздух вторгся в наши широты. На берегах Средиземного и Черного морей наступила резкая жара, закончившаяся ливнями и тяжелыми штормами.

Мне посчастливилось, если можно так выразиться, быть в то время на острове Барбадосе, где стоял наш фрегат «Стирлинг Кастль».

Этот цветущий остров лежит в начале пути вест-индских ураганов и потому испытывает их наиболее сокрушительную ярость.

В связи с пережитым ураганом я имею сделать вам несколько замечаний. Быть может, они рассеют покров ужаса и таинственности, который окружает в представлении людей гремящие и стремительные перемещения обширных воздушных масс.

Одиннадцатого августа в полночь ветер в Барбадосе усилился до степени шторма. Молнии блистали непрерывно со всех румбов горизонта. Гром сотрясал океан до самого дна.

Мы стали на мертвые якоря и приготовились встретить ураган. Он зарождался вблизи, в пучине неописуемо страшной и душной ночи.

Мы помнили печальную судьбу эскадры достославного адмирала Родпея. Она погибла от урагана у берегов Ямайки. Лучшие корабли — «Скарборо», «Барбадос» и «Феникс» разбились о скалы, а фрегат «Генри» был выброшен на берег в бухте Монтего. До сих пор он служит дырявым жилищем для негров и приморского люда.

В два часа ночи шторм перешел в ураган. К тому времени мне с большим трудом удалось съехать на берег, где я получил приют в доме престарелого полковника Нокса.

Гул ветра так изнурял наши нервы, что мы вынуждены были укрыться в каменном погребе, где полковник хранил вино и провиант. Едва мы сели за деревянный стол и зажгли свечи, как прибежал испуганный слуга и доложил,

что верхняя часть дома обрушилась от ветра. Мы не слышали грохота обвала.

Из этого вы можете сделать заключение о чудовищном реве бури в эту ночь.

Я выбежал на улицу, но вынужден был лечь и крепко держаться за каменную тумбу.

Я видел в те минуты, когда мне удавалось открыть глаза, величественное зрелище падения многих метеоров. Я не забуду этого во всю жизнь, или я буду проклят до самой могилы.

Метеоры летели не наискось, как это бывает всегда, а низвергались отвесно, пылая темно-красным мутным огнем. Вблизи земли они загорались белым светом, похожим на горение магния. Метеоры имели цилиндрическую форму. Они были похожи на круглое стекло, каким жители Антильских островов прикрывают от ветра пламя свечей.

Временами рев ветра стихал и переходил в глухое мычание. Я пользовался этим, чтобы осмотреться. Мне это вполне удавалось, так как блистание молний продолжалось иногда по полминуты и дольше.

Мои попытки осмотреться вызывали в душе леденящий ужас. То, что открывалось моему взору в свете молний, было почти непостижимо.

Я видел, как качались от ветра стены домов, как летели, подобно осенним листьям, кровли и падали каменные ограды.

Но самым ужасным было зрелище садов. Ураган сорвал с них листву, и деревья яростно свистели голыми ветвями, как у нас, в Шотландии, в студеную зиму.

Океан бил в берега с такой силой, что земля дрожала на большом расстоянии от полосы прибоя.

Волны перелетали через утес в семьдесят футов высотой. Ветер уносил ливень соленых брызг на много миль внутрь страны.

Это, между прочим, причинило большие неприятности майору Лекоку. У него в Брайт-холле, в его поместье, были славные пресные пруды с прекрасными подводными растениями и королевскими сазанами. Ветер принес в эти пруды столько воды из океана, что пруды засолились и рыба в них уснула.

Воздух во время урагана так густо насытился электричеством, что я был свидетелем, как у негра, привратника

Кодрингтонской коллегии, искры сыпались из волос, будто из трубы паровой машины.

«Стирлинг Кастль» погиб. Его сорвало с якорей и разбило о мыс, носящий название «Каменная шкатулка».

Многие из жителей города, боясь оставаться в разрушающихся домах, добежали до крепостных фортов и спрятались под тяжелыми пушками, укрепленными на колесных станках. Ветер сдвинул пушки с места и проволочил их на большое расстояние. Было искалечено много людей.

Страдали не только люди. После урагана берега острова покрылись множеством убитых и полумертвых морских птиц и рыб.

Тем, кто находился вдали от этой мучительной картины, невозможно составить себе представление о жестоких страданиях жителей Барбадоса.

Я хочу обратить ваше внимание на то обстоятельство, что при первом ударе урагана в домах с треском полетели внутрь все оконные рамы.

Объяснить это явление нетрудно. Всякий ветер, а тем более ураган, бывает вызван неравномерным нагреванием воздуха в разных областях земли.

Разогревшийся воздух жидок. Он образует пустоту. В нее яростно устремляются со всех сторон потоки более холодного, плотного воздуха.

Равновесие воздушных масс нарушается. Происходит великое возмущение атмосферы и стремительные ее перемещения.

Очевидно, обрушившийся на Барбадос ураган нес плотный воздух, тогда как в домах сохранился еще разреженный воздух, стоявший над островом перед ураганом.

Воздух урагана молниеносно всосался в дома и выдавил рамы и двери, как газ выдавливает пробки из бутылок французского шипучего вина.

Нет надобности объяснять даже школьникам, что ветры не могут дуть одновременно на пространстве всего земного шара.

Всегда существует граница между областью, охваченной ветром, и областью, где ветер отсутствует или дует ветер противоположного направления. Сходясь, эти бурные воздушные реки вызывают взаимное трение, и в этом месте образуются вихри или воздушные водовороты.

Быстро усиливаясь и подчиняясь законам, впервые указанным ученым Довэ и нашим соотечественником, госпо-

дином Ридом, эти вихри превращаются в ураганы и тифоны. Они мчатся с ужасающей силой над океанами и материками, сметая все на своем пути.

Чрезвычайно любопытно, что ураганы под влиянием вращения Земли примерно на половине своего пути, как бы споткнувшись о невидимую преграду, поворачивают под прямым углом и медленно затихают на огромном расстоянии от места своего зарождения».

Многие факты из этого письма показались Гарту настолько интересными, что он решил прочесть перевод Юнге.

Гарт преодолел обычное смущение и постучал вечером в комнату метеоролога.

Юнге пил чай за столом, покрытым черной бархатной скатертью. На ней было множество рыжих пятен, говоривших о старости. Корки черствого хлеба валялись рядом с сухими лепестками желтых георгин. Цветы в вазах менялись только во время возвращений Зои. В остальное время они осыпались и наполняли комнату запахом гниющей воды и тления.

Гарт сдержанно осмотрелся. Комната очень подходила для любого из его рассказов.

Синие карты погоды на стенах были покрыты множеством стрелок, как бы пущенных армией веселых мальчишек. Стрелки показывали движение ветров над Европой.

Рядом с картами при свете лампы Гарт увидел несколько картин. Они изображали различные виды облаков.

Облака всегда привлекали Гарта. Он любил эти плавучие материки, пропитанные влагой. Он мог часами рассматривать средневековые города кучевых туч, воздвигнутые на границах стратосферы, и стаи перистых облаков — летучих рыб, заснувших в зеленоватом небе.

Но больше всего он любил грозовые тучи, затмевающие солнце. Трещины молний взрывались в дыму и темноте урагана. Гарт прислушивался. Ливни приближались в молчании. Вода не плескала у прибрежных утесов. Сухие травы стояли неподвижно, запутавшись в паутине. Только чайки метались с испуганным писком и искали в скалах забытые гнезда.

Юнге налил Гарту стакан крепкого чая. Гарт неохотно оторвался от картин и сел к столу.

Рядом с ним на полках поблескивали медью и стеклом метеорологические приборы.

Тогда как все было покрыто пылью и носило следы холостяцкой жизни, приборы были начищены до солнечного блеска.

Гарт мельком взглянул на барограф. Кривая шла вниз. Барометр падал. Гарт, вздохнув, подумал, что наступает конец сухим и солнечным дням.

Не решаясь заговорить, он потянул к себе картушку старинного компаса. Черная многогранная звезда была окаймлена знакомыми и любимыми с детства словами: Nord, Ost, Süd и West.

Сколько раз Гарт представлял себе такую картушку, освещенную масляными лампами и светом Млечного Пути, где-то там, по ту сторону экватора, где рыбы бьются о форштевни кораблей.

— Любуетесь?— спросил Юнге. В голосе его Гарт уловил легкую насмешку.

Гарт мельком взглянул на Юнге. Его синий морской китель был расстегнут, под ним виднелась белоснежная сорочка. Голубоглазый старик добродушно смотрел на Гарта и постукивал пальцами по столу.

Гарт ничего не ответил. Он развернул рукопись и прочел перевод о барбадосском урагане. Юнге слушал внимательно, прихлебывая чай. Иногда он усмехался.

— Хорошее описание урагана,— сказал он спокойно.— Я понимаю, почему вы им заинтересовались; парусные корабли, поэтические названия, гул бури — все это, конечно, прекрасно. На днях я перечитал ваши рассказы, достал их в Морской библиотеке. Но дело не в этом!

— А в чем же?— спросил оторопевший Гарт.

— Погодите.— Юнге прислушался.

В одном из приборов что-то жалобно зазвенело. Далеко на рейде тяжело стонал и взывал о помощи бакен-ревун. Значит, с моря подходила волна.

— Если бы я обладал вашим талантом,— сказал наконец Юнге,— я бы перевернул землю вверх дном. Вот, взгляните,— старик показал на барограф.— Идет норд-ост, самый проклятый ветер на Черном море. Он называется «бора». Почему бы вам не заняться его изучением?

— Зачем? — спросил Гарт.

— Тут двумя словами не отделаешься.— Юнге встал и заходил по комнате.— Ураган в Барбадосе! Блестяще!

Я не верю, что описал его сухопарый английский моряк. Описали его вы.

Юнге прищурил глаз и хитро посмотрел на Гарта. Тот отрицательно покачал головой.

— Ну, ладно. Поверим на слово. У вас дар необыкновенной выдумки. Почему вы не хотите выдумать что-нибудь такое, что поселит величайшее и радостное смятение среди моряков, если не среди всего человечества?

— Что я должен, по-вашему, выдумать для человечества? — спросил, раздражаясь, Гарт.

— Ну, хотя бы найдите способ уничтожать эти ураганы.

Гарт встал. Разговор начинал походить на издевательство.

Шутка привела Гарта в состояние холодного негодования.

— Я говорю серьезно,— сказал Юнге.— Сначала выслушайте меня, а потом обижайтесь.

Он заставил Гарта сесть.

— Я бывший моряк.— Юнге придвинул Гарту коробку толстых папирос.— Курите и приготовьтесь слушать. Во время плаваний меня больше всего занимала погода. У вас, сухопутных, разговоры о погоде считаются признаком пошлости и дурного тона. Когда в так называемом обществе совершенно не о чем говорить, вы краснеете и бормочете несколько слов, что «вот, мол, идет дождь» или «удивительно, какая стоит в этом году холодная весна». Окружающие смотрят на вас с сожалением, как на отпетого идиота. И они правы. Это действительно глупо. Такие разговоры я считаю насмешкой над сложными явлениями, происходящими в земной атмосфере. Если бы от погоды зависела ваша работа, жизнь и судьба ваших товарищей, как это бывает у моряков, вы бы не вели разговоры о ней так банально и невежественно. Поучитесь у рыбаков беседам на эту тему. Каждый рыбак расскажет вам о ветре или цвете неба такое, что вы закачаетесь!

— Я с большим уважением отношусь к явлениям природы,— заметил Гарт.— Поэтому я и перевел письмо о барбадосском урагане.

— Вы долго рассматривали рисунки облаков.— Юнге осветил лампой пыльные картины.— Облака! — воскликнул он.— Вы знаете, что облака — это совершенно точные сигналы о погоде! Это небесная азбука Морзе. Все

дело в том, чтобы уметь ее разбирать. Меня научили этому турки — опытные и смелые шкиперы.

Каждый год восьмого ноября по всем прибрежным городам Анатолии собираются в кофейнях старые моряки. Они пьют кофе, поглядывают на небо и совещаются, а к вечеру объявляют фелюжникам и контрабандистам предсказание погоды почти на всю зиму.

Так повторяется из года в год. Это прекрасная традиция. Ни одна метеорологическая станция не дает таких верных прогнозов. Турки предсказывают по облакам.

В конце концов это просто. Погода создается воздушными вихрями — циклонами и антициклонами. Каждый воздушный вихрь рождает свои облака. Ничто в мире не имеет такого великого разнообразия форм, как облака. Надо знать все оттенки их цвета, быстроту полета над землей, их высоту и плотность. Это сложное искусство. Почему бы вам не написать рассказ об этих турках, мастерах погоды? Они заслуживают рассказа не меньше, чем расщепление атома.

Гарт сидел не двигаясь. Он не заметил наступившей тишины, потому что видел со всей остротой подлинного зрения грязную набережную турецкого городка, вымощенную вперемежку то булыжником, то старыми плитами из красного мрамора, зеленое море, дождь, грубые паруса и стариков, читающих, как раскрытую древнюю книгу, свиток туч, несущихся над Черным морем, над этим неспокойным Кара-Денизом.

— Подумайте,— сказал Юнге.— А теперь вернемся к барбадосскому урагану. Меня считают чудаком. Эта слава ходит за мною по пятам тридцать лет.

Тридцать лет назад я осмелился высказать мысль, что все ураганы одинаковы, где бы они ни случались. Разнятся они только в силе. Причины их возникновения — циклоны и антициклоны — всюду те же: и в Вест-Индии, и в Желтом море, и у нас. Такой вот барбадосский ураган вы можете увидеть на Черном море. Конечно, он не будет так жесток и поэтичен, как в тропиках. Но нет надобности плавать в тропики, чтобы познакомиться с ураганами. Вы можете их изучить, стоя у мола в Одесском порту. За эти дерзкие мысли старые хрипуны-капитаны объявили меня сумасшедшим.

— Вы, кажется, обещали,— напомнил Гарт,— рассказать о способе уничтожения ураганов.

— Я к этому и подбираюсь. У нас на Черном море есть несколько местных ветров. Они не подчиняются общим законам, и это дало повод капитанам смеяться над моими мыслями. Самый ужасный из местных ветров — новороссийская бора.

Гарт кивнул головой. Все, что рассказывал Юнге о новороссийской боре, представилось Гарту в виде обрывков еще не написанного рассказа. До Гарта голос Юнге доносился издалека, будто из-за запертой двери.

Привел в себя Гарта телефонный звонок и сердитый голос Юнге.

— Какая телеграмма? — спросил Юнге.— Относительно штормовых сигналов? Не поднимайте тарарам. Я сейчас приеду.

Состояние глубокой задумчивости, которое пережил Гарт во время рассказа Юнге, случалось с ним часто. Может быть, ему он в значительной мере был обязан своими рассказами. Он записывал все, что узнавал и думал в таком состоянии, не полагаясь на память.

Я видел некоторые записи Гарта, не предназначенные для печати. Иногда они были интереснее его напечатанных рассказов. Правда, в них отсутствовала выдумка. Но ее заменял необыкновенный, присущий Гарту, подбор реальных, даже на первый взгляд скучных фактов.

Запись Гарта о новороссийской боре была коротка.

«Впервые наши моряки узнали, что такое черноморская бора, в 1848 году. Это было через десять лет после основания на берегу Цемесской бухты, у подножия темных и безлесных гор Новороссийского укрепления.

В августе этого года бора разметала в Новороссийске эскадру адмирала Юрьева и потопила несколько кораблей. Особенно трагичной была гибель «Струи».

Окрестности Новороссийска отличаются жалкой растительностью. Бора калечит и убивает все. Выживает только сухая трава и кусты колючего держидерева.

Как начинается бора? Над голым хребтом Варада показываются белые клочья облаков. Они похожи на рваную вату. Облака переваливают через хребет и падают к морю, но никогда до него не доходят. На половине горного склона они растворяются в воздухе.

Первые порывы ветра бьют по палубам кораблей. В море взвиваются смерчи. Ветер быстро набирает пол-

ную силу, и через два-три часа жестокий ураган уже хлещет с гор на бухту и город.

Он подымает воду в заливе и несет ее ливнями на дома. Море клокочет, как бы пытаясь взорваться. Ветер швыряет увесистые камни, сбрасывает под откосы товарные поезда, свертывает в тонкие трубки железные крыши, качает стены домов.

Бора дует при ясном небе. Зимой она всегда сопровождается крепким морозом.

Корабли превращаются в глыбы льда. Лед, срываясь со снастей, калечит и убивает матросов. Он закупоривает наглухо двери домов. Он забивает печные трубы. Во время боры жители города страдают от жестокого холода. Человек, застигнутый борой на улице, катится по ветру, пока не задержится у какого-нибудь препятствия.

Один из моряков эскадры Юрьева писал о боре:

«Матросы, обрубая лед, сменялись беспрерывно, язвимые в лицо морозной водяной пылью. Платье на них леденело. Тело ныло от боли. На корабле из-за оглушительного свиста ветра и треска снастей не было никакой возможности отдавать приказания. Мы не слышали даже пушечных выстрелов с соседних судов, моливших о помощи.

Залив покрылся мрачною мглою. Сквозь нее никакое зрение не могло разобрать предметов даже в нескольких саженях. Иногда только в зените был виден клок чистого неба.

Ночью от густоты воздуха и невыразимой быстроты его течения звезды как бы дергались в небе.

Двое суток мы находились в авральной работе. Мы сбивали лед ломами, раскаленным железом, обливали его кипятком. Тонкие снасти превращались в ледяные бревна.

Когда ураган достиг наивысшего напряжения, мы обрубили реи, утлегарь и весь такелаж на мачтах, но это нисколько не помогло. Хотели выбросить за борт пушки, но и это сделать было невозможно,— пушки вместе со станками приросли к палубам, образуя глыбы льда.

Волны свободно ходили через корабль».

Эскадра Юрьева погибла оттого, что лопнули все железные якорные цепи. Корабли были разбиты о подводные камни.

С тех пор некоторые капитаны, застигнутые борой, начали отдавать якоря не на цепях, а на пеньковых канатах. Железные цепи делались слишком хрупкими от

жестокого мороза — неизменного спутника боры — и легко ломались на перегибах около клюзов.

Эскадра погибла, разбившись о берега. Только один корабль «Струя» потонул среди залива, не выдержав тяжести наросшего льда.

Он стоял, закрепив якорную цепь за бочку. Он не успел вовремя расклепать ее, чтобы ветром его могло выбросить на берег. Тогда часть людей могла бы спастись.

В газетах того времени много писали о судьбе этого корабля:

«Когда мрак бывшей бури прочистился, на месте, где стоял несчастный корабль, виднелась только верхушка мачты с реей, как крест над влажной и холодной могилой пятидесяти человек».

«В конце августа на Севастопольский рейд был приведен кузов корабля «Струя», поднятый со дна в заливе Новороссийском. Нельзя высказать того, что мы чувствовали, остановясь на шканцах корабля, растерзанного борой.

О, сколько дум и сколько чувств прекрасных
Не имут слов, глагола не найдут!»

«На этом корабле погибли отличные матросы. Они были обстреляны пулями черкесскими и ядрами арабскими, закопчены солнцем Африки, закалены в водах Нила и Иордана. Судьба их — одно из самых печальных происшествий на Черном море».

После 1848 года во время боры в Новороссийске погибло много рыбачьих шхун, пароходов и даже военных кораблей.

Несколько слов о цвете этой бури. Все бури имеют свой цвет горизонта, воды и неба.

При боре небо блистает холодной синевой. Горизонт покрыт мглой свинцового цвета. Небольшие клочья белых облаков пролетают над самыми мачтами. Воздух режет кожу как бы осколками льда. Все краски кажутся совершенно свежими, еще не просохшими. Маяки светят ярче, чем всегда».

Это все, что Гарт записал после разговора с Юнге. Очевидно, старик читал ему выдержки из книги и газет и вообще говорил очень много. Запись Гарта напоминает короткий конспект обширного исследования о боре.

Гарт проводил Юнге до пристани. Старик на моторном катере уехал на метеорологическую станцию подымать свои штормовые сигналы.

По дороге на пристань, на улицах, освещенных только из окон и потому немного таинственных, Юнге рассказал наконец Гарту свою, на первый взгляд сумасшедшую, идею об уничтожении новороссийской боры.

Чтобы понять мысль Юнге, Гарт должен был точно представить себе карту Новороссийской бухты.

За хребтом Варада, замыкающим бухту, лежит высокая долина, похожая на громадную чашу. Она открыта к северу и защищена горами с юга. Поэтому в ней всегда собирается холодный и плотный северный воздух.

Он медленно накапливается, ползет вверх, доходит до гребня Варада и начинает переливаться вниз, в сторону Новороссийска. В Новороссийске воздух теплый и разреженный. Холодный воздух из долины обрушивается всей тяжестью на Новороссийскую бухту, как в пустой сосуд.

Начинает действовать гигантский воздушный водопад — бора. Он прекращается не раньше, чем воздух по обе стороны хребта приобретает одинаковую плотность.

— Ну как? — спросил Юнге.— Вы не догадываетесь, какую пустяковую вещь надо проделать, чтобы уничтожить бору?

Гарт пожал плечами.

— Очень просто,— сказал Юнге.— Надо прорыть у подошвы хребта два-три туннеля. Они дадут постоянный и незаметный сток холодного воздуха из долины в бухту, и бора кончится на вечные времена. Напишите о боре так, как вы умеете писать о всяческих невероятных происшествиях. Нанесите удар по нелепостям природы. Мы добьемся, что туннели пророют. На одном из них будет высечено ваше имя и надпись под ним: «От благодарных моряков всего мира».

Юнге засмеялся. Гарт молчал.

— Ну как же? — спросил, еще не отсмеявшись, Юнге.

— Я подумаю,— ответил Гарт.

Они попрощались. Гарт пошел домой. Он не мог собрать разбежавшихся мыслей. Разговор с Юнге вызвал у него смятение.

«Почему?» — спрашивал себя Гарт, злился и не мог найти ответа. О чем они говорили? О самых обыденных вещах — циклонах, боре, облаках и турках. В этом не

было ничего особенного, а самый разговор был даже беспорядочен и длинен.

Только у себя в саду Гарт понял причину волнения. Ветер шумел в сухих айлантах и акациях. За открытым окном соседнего дома, в закоулке, обнесенном ветхой балюстрадой, слышались голоса.

Впервые Гарту захотелось подслушать чужой разговор. После беседы с Юнге он ждал от каждой встречи с людьми неожиданных открытий.

Гарт посмотрел на небо. Звезды бились и сверкали серебряной чешуей, как бьется в сетях пойманная камса.

С моря неслись облака, легкие, как туман. Около облаков звезды сверкали сильнее, чем на чистом небе. Они переливались белым, синим и желтоватым огнем. Гарт не знал, что это предвещает бурю.

Гарт устал и крепко уснул этой ночью. Он не слышал, как ветер прошумел над городом, и не видел легких теней, посетивших его комнату на одно мгновение. Это пролетели за окном в свете поздней луны ломкие листья платанов. Тень листьев пробежала по книгам, забытым на столе, по начатому рассказу и по усталому лицу спящего Гарта.

ОЖИДАНИЕ БУРИ

Весь следующий день Гарт ждал бури, но она не пришла. Вопреки обыкновению, Гарта радовало, что не он один ждет ветра, а ждет вместе с ним весь город.

На сигнальной мачте Павловского мыса с рассвета висел штормовой сигнал — черный конус и черный квадрат. Сигнал означал приближение бури с норд-оста.

Каждый ждал шторм по-своему. Рыбаки торопились поставить на якоря смоленые байды. Перевозчики угоняли шлюпки в тихие затоны, где качались на воде щепки и мандариновые корки. Голубые военные корабли крепче швартовались к красным плавучим бочкам. С Северной стороны шныряли катера, спеша перебросить домой из города хлеб и бензин, сахар и картошку.

Серебряные гидропланы прятались в ангары, как пчелы заползают в улей. Маячные сторожа протирали суконками толстые линзы фонарей. Школьники клеили змеев. Хозяйки законопачивали бумагой щели в окнах. Одни

только дворники ничего не делали, хотя и ждали ветра с гораздо большим нетерпением, чем остальные обитатели города. У дворников были свои соображения: ветер должен был вымести и продуть город насквозь с силой гигантского вентилятора.

Днем Гарт, устав от работы и бесплодного ожидания бури, поехал на Северную сторону.

Это место он любил больше всего в Севастополе. В пещерах, выбитых в желтых сухих утесах у берега бухты, жили рыбаки — загорелые оборванцы — с женами и полуголыми детьми. Пещеры были забиты фанерой. На ней то синими, то оранжевыми заплатами пылали рассохшиеся двери. Прозрачная вода набегала к порогам пещер, позванивая пустыми консервными жестянками. Серые сети и развешанная на канатах рваная роба дополняли пейзаж.

На заднем плане, за тонким лесом желтых мачт и свернутых парусов, похожих на полотняные листья бананов, за путаницей турецких балконов, разбитых черепичных крыш, колючей проволоки и высохших акаций, желтела степь, поросшая пыльной травой. По ней бродили равнодушные псы — старожилы и владетели этих рыбачьих и крепостных берегов.

Гарт сошел с ялика на ветхую пристань. Седоусые перевозчики стояли около облупившихся шлюпок и угрюмо покрикивали в пространство:

— Кому в город? Зыба нет! Нет зыба! Да разве это зыб, товарищи?

Гарт любил смотреть на разнообразных пассажиров, садившихся в шлюпки. Но сегодня пассажиров почти не было. Сел унылый грек с миртовой веткой в руке,— должно быть, он принес ее с Братского кладбища. Грек с недоумением повертел ветку в руке и выбросил в воду. Села белобрысая девочка с черной мяукающей кошкой. Потом в шлюпку спрыгнул, насвистывая, молодой краснофлотец. Он споткнулся, густо покраснел и отвернулся от всех с обиженным видом.

Пестрые куры рылись в гнилых водорослях, выброшенных прибоем. На Северном рейде синели крейсера и миноносцы.

Шлюпка отчалила. Гарт пошел в поселок. Он заглядывал во все дворы. Почти в каждом он замечал интересные вещи. Дворы напоминали склады декораций. Каза-

лось, лет сорок назад здесь под открытым небом ставилась веселая пьеса из жизни пиратов. Театр уехал, а декорации — поломанные и живописные — остались на вечные времена. Они заросли татаркой, покрылись шершавой пылью и выгорели под черноморским солнцем.

Белье на каменных оградах висело, как изорванные театральные костюмы. Их вывесил проветривать подслеповатый старик с чадящей трубкой.

Дети гоняли по крутым спускам железные обручи. Громкая эта игра свойственна всем широтам земного шара. Она осталась в наследство, вероятно, от доисторических времен, существовала с первых дней изобретения колеса.

Воздушные змеи косо дрожали в синеве и уходили, с жужжанием, в тень облаков.

На пустырях тоже валялись остатки театрального реквизита — разбитые кувшины, высохшие букеты и поломанные весла.

Стены старинных круглых фортов были наискось разрезаны тенью и солнцем. Сухая трава шелестела в бойницах.

Чайки с красными лапами сидели на чугунных шарах — пустых минах, изъеденных ржавчиной. Цвет ржавчины ничем не отличался от цвета птичьих лапок.

Гарт прислушивался к писку чаек и пытался подобрать для него созвучия в человеческой речи. Казалось, чайки тревожатся и спрашивают себя: «Чьи мы? Чьи мы?»

На крышах фортов были укреплены сигнальные мачты. Тонкие тросы поддерживали их и весь день ныли от ветра.

На мачтах шумели флаги. Гарт был уверен, что эти куски цветной материи пахнут, как выстиранное белье. Недаром их неделями обдувал соленый ветер.

Вечером на мачтах загорались зеленые фонари, и казалось, что форты, как мониторы, неся сигнальные огни, тяжело шли в ночь навстречу невидимым вражеским эскадрам.

Эти давным-давно разоруженные форты остались на Северной стороне со времен Севастопольской обороны. Они придавали всему пейзажу облик старинного крепостного района, засыпанного вросшими в землю ядрами.

Крепостная жизнь привлекала Гарта. Он бы с наслаждением поселился в пустынных цитаделях. Бронзовые

орудия и казематы мирно уживались здесь с играми детей, умыванием веселых котят и геранью, доцветавшей в старых снарядных гильзах, набитых землей.

Гарт пошел вверх по шоссе, пока шум человеческих голосов не остановил его. Шум долетал из-за калитки, выкрашенной в синий цвет.

Гарт открыл калитку и смело вошел во двор. Он поймал себя на мысли, что месяц назад он не сделал бы этого — не из робости, а попросту из отсутствия любопытства к людям.

Неловкость своего появления Гарт решил объяснить очень просто,— хотя бы узнать у хозяина, как пройти на Братское кладбище.

Во дворе около белой стены валялась килем вверх тяжелая оранжевая лодка. Рядом стояло ведро со смолой. Часть днища была замазана липким дегтем.

Человек, только что смоливший лодку,— тщедушный старик с косматыми бровями,— стоял, окруженный мальчишками, и держал в руке что-то беспомощно бившееся и издававшее болезненный писк.

Гарт с остротой зрения, никогда не изменявшей ему, заметил около стены ящик с масляными красками и сохнущий на стуле этюд. Он изображал происходившую здесь, видно, совсем недавно и чем-то прерванную сцену — старика, красящего оранжевую лодку.

Появление Гарта не произвело ни на мальчишек, ни на старика никакого впечатления.

Гарт подошел и заглянул через головы мальчишек. Старик держал в руках воробья, залитого смолой. Смола капала с крыльев на брезентовые штаны старика, но он не замечал этого.

Старик поднял глаза на Гарта и крикнул,— Гарт понял, что старик глухой.

— Га! Видали? Как оно залетело в ведро с дегтем, никак не пойму. Чи оно больное, чи слепое,— как вы думаете?

Глаза у старика были голубые, как у сибирского кота.

— Надо его обмыть керосином,— посоветовал Гарт.

— И теплой водой! — крикнул мальчишка с суетливыми глазами.— Обязательно теплой водой!

— Га? — снова крикнул старик и вопросительно посмотрел на Гарта.— Говорите крепче, потому я глухой

еще с революции пятого года. Адмиралу Чухнину надо сказать спасибо, барабанной шкуре,— через него я оглох.

Гарт насколько мог громко повторил совет о керосине.

— Так как же! — ответил старик.— Обязательно обмоем. Женщина пошла за керосином. Сейчас принесет. Пусть живет птичья душа.

Появление молодой женщины было стремительным. Она распахнула калитку, бурей ворвалась во двор и бросилась к старику. Из-за порывистости движений Гарт не успел ее рассмотреть.

Первое, что он увидел,— это руки женщины, сильные и быстрые. Она взяла у старика воробья и решительно вытерла ему ватой, смоченной в керосине, крылья и лапы.

Воробей поднял веко, взглянул на женщину желтым глазом и забился у нее в руках.

— Какой дурак! — сказала женщина.

Глядя на руки женщины, Гарт догадался, что набросок маслом принадлежит ей. Голос почему-то окончательно убедил его в том, что перед ним художница.

Гарт посмотрел на женщину и вспомнил: когда он подымался сюда, то встретил ее на шоссе.

Эта мимолетная встреча вызвала ощущение, будто он присутствует при завязке нового рассказа. Такое ощущение уже не раз бывало у Гарта. Оно всегда сопровождалось глухим волнением. Казалось, вот-вот в жизнь войдет то, что Гарт называл счастьем: неожиданность, сила человеческих чувств, полоса заманчивых событий, внятный и мимолетный стук чужого и потому особенно прекрасного женского сердца. Но это только казалось.

Гарт считал, что способность к счастью — такой же редкий талант, как способность к музыке, живописи или революционной борьбе. Себя он считал обойденным этим талантом.

У него не было ни сил, ни желания сживаться с чужой жизнью, а без этого, по мнению Гарта, счастье было немыслимо.

Гарт хорошо чувствовал себя только с мальчишками. Их восприятие мира ничем не отличалось от гартовского. Фантазия поддерживала существование большинства этих восторженных и худеньких людей.

Гарт посмотрел на женщину и отвернулся. Если бы его спросили, что он увидел, он бы ответил: свет.

Свет моря и воздуха, свет солнца и блеск, присущий

человеческой радости и уму,— именно это Гарт увидел в глазах женщины. Она улыбнулась. Ничто так не передает чистоты человеческих помыслов, как улыбка.

Гарт решил уйти. Он боялся, что эта встреча, если ее продлить, окончится тоской и тем сумбурным состоянием, когда человек перестает писать, думать и читать книги. А этого Гарт боялся больше всего.

Гарт взялся за ручку калитки.

— Вы куда? — спросила женщина.

Гарт остановился. Он досадливо посмотрел на женщину и не открыл калитки. Потом, вспоминая об этом, Гарт думал, что жизнь порой складывается совсем по-необыкновенному из-за сущих пустяков. Стоило ему пренебречь окликом, открыть калитку и выйти на пыльную дорогу — и ничего бы не случилось. Но, собственно говоря, и сейчас ничего не случилось.

— Вы в город? — спросила женщина.

— Да,— ответил Гарт.— Вы тоже будете переправляться в город?

— Конечно. Если вы не очень торопитесь, подождите меня. Я только соберу краски и кисти.

Гарт подождал. Он не представлял себе, о чем будет говорить с ней по дороге.

— Прощай, дед! — прокричала она старику, захлопывая ящик с красками.— Окончу тебя завтра. Сейчас я тороплюсь.

— Да как хотите! — крикнул старик.— Все одно я инвалид, какая с меня людям польза! Малюйте себе на здоровье! А у меня есть забота — выхаживать того пацана!

Старик разжал ладонь и показал воробья.

По пути к пристани Гарт заметил, что женщина совсем не торопилась. Она шла медленно, часто останавливалась и смотрела на Севастополь, вздымавшийся над бухтами.

— Я знаю, кто вы такой,— сказала женщина, когда они спускались к бухте.— Зоя Юнге рассказывала мне о вас. Но еще до этого я читала — не помню где, в каком-то журнале — ваши рассказы. Вы — Гарт, правда?

— Правда,— согласился Гарт.

Женщина назвала себя. Ее звали Сметаниной.

Говорили о приближавшемся шторме. Сметанина взяла Гарта за рукав и показала на море. От молочной воды до зенита небесный свод был окрашен в сизый цвет. На

нем гудел гидроплан, похожий на оловянную игрушку. Закатное солнце осветило рыжие овраги и желтые дома.

Вся Северная сторона предстала перед Гартом с резкой до боли в глазах стереоскопичностью. Угрюмое освещение отчетливо показало неизмеримость воздуха, лежавшего между домами и далеким планом предштормового неба.

Над берегами и морем властвовала тишина. Только гидроплан нарушал своим рокотом всеобщее оцепенение перед бурей.

— Вот так всегда перед норд-остами,— сказала Сметанина.— Нет никакой возможности передать это оцепенение красками. Очень, очень трудно.

Она вздохнула, подняла с земли осколок синей простой тарелки и спрятала его в карман пушистого жакета.

— Очень трудно,— повторила она после долгого молчания.— Я всегда работаю на открытом воздухе и устаю, как каменотес. С этим стариком, с Дымченко, я бьюсь уже третий день. Очень добрый старик, очаковец.

— Очаковский рыбак? — спросил Гарт.

— Нет. Он участвовал в восстании на крейсере «Очаков». Помните Шмидта?

— Ах да, да, конечно,— спохватился Гарт.

Сметанина внимательно посмотрела на него.

— Вот Шмидт! — сказала она.— Почему вы все так мало пишете о человеческом мужестве? Шмидт — фантазер, неудачник, но он человек громадного личного мужества. Дед Дымченко хорошо его знал. Он может рассказать вам о Шмидте много интересных вещей.

— К сожалению, я не умею разговаривать с людьми,— ответил смущенно Гарт.

— А вы пробовали?

Гарт промолчал. Он подумал, что за последние сутки ему навязали три темы для размышлений — о предсказателях погоды, боре и лейтенанте Шмидте.

«Ну что ж,— сказал про себя Гарт и вздохнул.— Посмотрим».

В шлюпке Гарт молчал. Перевозчик греб стоя. Он лениво окунал весла в тихую воду.

Вечер медленно переходил в ночь. Она подымалась с востока сизым туманом.

Огни над водой горели по-разному. На востоке они сверкали напряженно и остро. На западе они перелива-

лись в оранжевой воде серыми столбами, почти не давали света и казались зажженными только для украшения этих замедленных сумерек.

Прощаясь с Гартом на пристани, Сметанина пригласила его к себе. Ей было жаль Гарта. Безошибочным женским чутьем она поняла одиночество этого человека.

Юнге не было дома. Гарт долго ходил по комнате. За открытым окном окуналась в море Большая Медведица.

Прожитый день был громаден, утомителен. Гарт долго сидел за столом, но написал всего две-три строчки. Он начал рассказ о человеческом мужестве. Тема эта была для него еще очень туманна.

В полночь над городом прокатился тяжелый гул. Раскатистые удары, похожие на пушечный гром, с размаху били по железным крышам. Свистели ветки акаций. Начинался норд-ост.

МЕРТВЫЙ ГОРОД

Последний раз я был в Севастополе зимой 1921 года.

Мы пришли из Одессы на единственном уцелевшем после белых пароходе «Димитрий». Пять дней «Димитрий» штормовал между Одессой и Тарханкутом. Дул ледяной норд-ост.

Два дня мы отстаивались в бухте Караджи, около бесплодных, покрытых сухим снегом, берегов Северного Крыма.

«Димитрий» был расшатанный, больной пароход. Котлы его выпускали на воздух половину пара. Пар шипел изо всех щелей. Со стороны «Димитрий» был похож на плавучую китайскую прачечную.

Через несколько часов после выхода из Одессы мы попали в полосу полного шторма. Он доходил до одиннадцати баллов.

Океанские волны обрушивались на ветхие палубы, смывали груз и шлюпки, ломали планширы. Море — седое, зимнее, невыразимо угрюмое — ревело и неслось за тонкими бортами, как Ниагара.

Ветер сбивал с ног, отрывал пуговицы на пальто. В каютах стояла вода. Она сливалась сюда с палубы. В ней плавали окурки и чемоданы. Женщины плакали, мужчины помалкивали и дрожали.

На второй день сдала машина: «Димитрий» потерял ход. Нас начало сносить к берегам Румынии, где немцы во время войны поставили «букеты» мин.

Так предполагал капитан, но сказать точно он ничего не мог. Не было возможности определить местонахождение парохода. Море походило на кипящий котел, покрытый холодным паром. Этот пар — моряки зовут его «испарениями» — был хуже тумана. Не было ни звезд, ни солнца, нельзя было взять пробу грунта.

На третий день в носу парохода открылась течь. Начался мороз. Пароход обрастал льдом. Помпы едва выкачивали воду.

Матросы и пассажиры рубили лед топорами, кололи его ломами, срывая ногти, отмораживая руки.

«Димитрий» дал SOS. Но на призыв о помощи никто не ответил.

Среди пассажиров был оборванный, небритый матрос. Он единственный вел себя как на суше: спал, пел, ссорился с полумертвыми от страха мешочниками и внушал им правила никому сейчас не нужной корабельной дисциплины. Он один выходил «гулять» на палубу, но долго там не выдерживал. Спускаясь вниз, он говорил пассажирам:

— Чем киснуть здесь, вы бы пошли посмотрели, что делается! Красота!

Пассажиры в ответ только стонали.

Я последовал совету матроса и до сих пор благодарен ему за это. Впервые в жизни я испытал красоту и смертельное отчаяние небывалого шторма.

На пятые сутки среди ночи заревел охрипший гудок. Над головой пробежали матросы, топая сапогами. На баке ударили в колокол. Его звон был не громче тявканья щенка. Шторм заглушал все звуки своим неутомимым голосом.

Я поднялся на палубу.

— Что случилось? — крикнул я пробегавшим матросам.

— Берег! — прокричали они и показали в темноту бури.

Там тускло мигал огонь маяка. До него казалось далеко, как до звезды. Это открылся Тарханкут.

Утром мы отдали якоря в бухте Караджи. Три дня «Димитрий» мотался на волнах около берегов, таких пу-

стынных и печальных, что сравнительно с ними даже зрелище свинцового бушующего моря казалось веселым и праздничным.

Начался голод. Капитан вскрыл трюмы, но нашел там только прелую ячневую крупу. Ее роздали пассажирам. Мы варили жидкую кашу без соли на остатках пресной воды из цистерн. Вода была с мелким песком.

Мы ели кашу без хлеба. В голове с утра до вечера что-то гудело, как в телеграфных столбах.

Десять пассажиров-матросов в оглушительно хлопающих клешах — тогда таких матросов звали «жоржиками» — решительно пошли к капитану. Они спросили его, поигрывая маузерами, почему он стоит и не хочет ли он, гад, чтобы все пассажиры посдыхали от голода.

Капитан — унылый и тощий старик — ответил им, что это не их, пассажирское, дело.

— А с голоду дохнуть — наше дело? — закричали матросы, и на пароходе начался традиционный бунт.

До тех пор я был уверен, что такие бунты отошли в область преданий с исчезновением парусного флота. Я думал так, пока не услыхал яростные крики матросов: «В море капитана! У нас найдутся свои капитаны!»

Капитан со скучающим лицом вытащил из кармана вместо традиционного револьвера измятую бумажку и показал ее матросам. Бумажка называлась «Предупреждение мореплавателям». В ней было написано, что вокруг Севастополя тянутся минные поля. Идти по ним в такой шторм — по меньшей мере безумие.

— Брехня! — кричали матросы.— Другие капитаны по минам идут напролом! Лучше мина, чем дохнуть без воды и без хлеба.

Капитан упирался. Матросы схватили его за ветхие рукава шинели, но тут — точь-в- точь как в старинных романах — пришло избавление. Оно появилось в лице рыжего комиссара Николаевского порта. Он оттолкнул матросов и сказал негромко:

— А ну, матросики, дай я с ним поговорю по-своему!

Он ушел с капитаном в штурманскую рубку и вернулся через две минуты.

— Успеете,— сказал он матросам.— Успеете выкинуть его в море. Пусть старик еще покрутится малость. Пошли в трюм выбирать своего капитана!

Комиссар оказался находчивым человеком. Он заманил матросов в трюм. Капитан, условившийся с комиссаром об этой военной хитрости, приказал закрыть трюм. Приказ был выполнен с непостижимой быстротой. Трюм не только закрыли дубовыми досками, но еще завалили сверху тяжелым грузом.

Матросы внизу бушевали до поздней ночи. Глухой рев десяти охрипших человеческих глоток доносился даже на палубу.

Ночью шторм стих. Мы снялись в Севастополь. Кроткий грек, пекарь из Феодосии, со странной фамилией Грамматика, измученный бедствиями бури, расстелил на крышке трюма одеяло и лег спать.

Через пять минут в трюме забухали выстрелы. Грамматика с плачем промчался по палубе в каюту врача. Ему прострелили ладонь. Матросы стреляли вверх, требуя освобождения.

Оборванный, небритый матрос, прислушиваясь к частой пальбе, крутил головой и удивлялся:

— Ну и здорово шуруют, ду́хи!

Утром «Димитрий» подошел к Севастополю. Мы стояли на палубе небритые, окоченевшие и желтые от ячневой каши.

В синем дыму и жарком солнце разворачивались знаменитые севастопольские бухты. Росли над водой портики домов, разрушенные ограды, бронзовые памятники адмиралам и ржавые мачты затопленных кораблей.

«Димитрий» сигналами вызвал вооруженный караул. Десять краснофлотцев с черными винтовками поднялись на палубу «Димитрия», открыли трюм и арестовали бунтовщиков. Бунтовщики разыгрывали простецких и глуповатых парней,— они никак не могли понять, что с ними стряслось.

Пассажиров высадили, а «Димитрий» тихо побрел в Южную бухту, на пароходное кладбище. Котлы его развалились.

Мы поднялись с пристани в пустынный город, и нас взяла оторопь.

Голодные татары из Байдар и Бахчисарая валялись на улицах и просили хлеба. Они протягивали к нам костлявые пальцы и тихо сипели. Говорить они не могли.

Разоренный Врангелем, замученный Крым простирался вокруг — бесплодный и тощий. Стекла в окнах обледенелых домов слезились, как опухшие от голода глаза.

Вереницы серых старух бродили по мусорным улицам и тесному базару. Там торговали только сухой, как голодные клопы, барабулькой. Она стоила многие миллионы.

Старухи подбирали с мостовой раздавленные сапогами селедочные головы, рассыпанную кое-где крупу.

В бухтах гремел ураганный оружейный огонь,— рыбаки били из винтовок бакланов и чаек.

Туманы, изморозь, острые ветры налетали с Северной стороны.

Весь день я искал себе пристанища в мертвом городе. Только к вечеру я нашел его на Садовой улице, в школе для детей водников. Мне разрешили ночевать в пустом, холодном классе. В семь часов утра я должен был уходить и не возвращаться до вечера, пока в школе не кончались занятия.

Долгие часы я просиживал на Графской пристани, греясь под неопределенным солнцем января. Изредка я заходил на базар с отчаянной надеждой купить немного хлеба, но на базаре торговали розовыми цейлонскими раковинами, пепельницами, зажигалками и бязевым солдатским бельем. Все спрашивали хлеб, но ни одна живая душа его не продавала. Толкотня на базаре была совершенно бесцельной.

Дом, где находилась школа, принадлежал прежде адмиральше Коланс. Эта решительная высокая и хромая старуха, ходившая с кочергой вместо палки, спаслась от выселения тем, что отдала под школу свой особняк. Сама она жила с сыном — бывшим мичманом — во флигеле во дворе.

Ко мне адмиральша благоволила, потому что считала меня тоже моряком, скрывающим свое звание.

На третий день моих ночевок в школе адмиральша привела из Инкермана худую козу. Ее нечем было кормить. Адмиральша решила пасти козу на Историческом бульваре, где среди гранитных памятников на месте бастионов торчала сухая трава.

В одно туманное утро, после шумной ссоры между мичманом и адмиральшей, происходившей на чистейшем

французском языке, мичман вышел из ворот и потащил козу на Исторический бульвар.

Я встретил его на спуске. Он тянул козу за гнилую веревку. Коза упиралась. Опорки болтались на ногах мичмана, но его английский пробор был, как всегда, безукоризнен.

— Здравия желаю! — сказал мне мичман и поднес грязную руку к голове.— Maman просит вас не заворачиваться по ночам в ковер. Она очень опасается вшей.

Я пренебрег этой просьбой и продолжал каждую ночь спать в ковре. Я ложился на него, не раздеваясь, и наворачивал его на себя шерстяной трубой. В ковре было душно, но тепло. В комнате стоял мороз. Каждую ночь на окнах лопались бутылки с чернилами. Эти взрывы отдаленно напоминали звуки канонады, ставшие колыбельной песней тех лет.

Потом ко мне в комнату поселили начальника Скадовского порта Денисова, бывшего матроса с крейсера «Алмаз».

Он приносил под шинелью куски ломкого известкового хлеба и угощал меня. Хлеб мы резали громадным сапожным ножом.

Денисов был в бою под Чонгаром и брал у Врангеля Севастополь.

Однажды вечером он привел в школу высокого юношу в пенсне, накормил его хлебом и заставил играть на окоченевшем рояле.

Пылала коптилка. Юноша долго сидел, подложив под себя руки, чтобы согреть их, потом подошел к роялю. В дикую ледяную ночь ворвалась, как стая трепещущих птиц, мелодия Чайковского.

Адмиральша пришла и слушала, стоя в дверях с кочергой, прямая и грозная, как богиня возмездия.

Когда юноша ушел, Денисов, укладываясь спать на составленных партах, рассказал историю знакомства с этим пианистом.

Отряд Денисова первым вошел в Севастополь. На Морской улице из окна трехэтажного дома в бойцов денисовского отряда было сделано несколько выстрелов из винтовки.

Бойцы ворвались в квартиру. Они никого там не нашли, кроме хилого юноши в пенсне. Он сидел за роялем и собирал ноты. Его сочли за переодетого офицера и схватили.

— Ты стрелял, собака?

Юноша отрицательно покачал головой.

— Покажи руки! — крикнул Денисов.

На руках не было никаких следов от затвора.

— Я музыкант,— сказал юноша.— Я музыкант из кино.

— Раз музыкант, так пусть сыграет,— злобно засмеялись бойцы.— Играй, а не сумеешь — отправим в расход!

Юноша заиграл.

— Сердце у меня зашлось,— рассказывал Денисов.— Видать, человек за жизнь свою старался. Одним словом, сели мы, кто куда, закурили и слушали. Такая печаль взяла за сердце — прямо руками,— будто мать нас провожает, плачет и идем мы добывать своей кровью новое счастье. Кончил он, а Васька Тихонов говорит: «Нет никакой возможности, чтобы этот человек стрелял. Айда искать, ребята!» Перерыли весь дом и на чердаке нашли какого-то фрукта,— он в нас и стрелял. С тех пор я, как попаду в Севастополь, всегда своего музыканта найду и то денег ему дам, то хлеба. Очень я этого человека оберегаю.

С Денисовым у меня однажды случилась неприятность. Он был контужен на фронте и страдал тяжелыми галлюцинациями. Тяжесть их усиливалась воющими от норда, как псы, севастопольскими ночами.

В одну из таких ночей Денисов пришел поздно. Он не постучал, как всегда, в окно, а долго скреб по стеклу пальцами и, прижав расплющенный нос, смотрел на меня с улицы дикими белыми глазами.

Я открыл ему дверь. Денисов вошел, шатаясь. Кепки на нем не было. Он запер дверь на ключ, застонал и сел на пол.

— Что случилось? — спросил я, встревоженный его стонами.

— Ограбили! — закричал Денисов и вывернул карманы кожаной куртки.— Всё! Деньги и документы. Всё отобрали, нечистые души!

Он долго кричал об ограблении и потрясал в воздухе пачкой денег и всеми своими воинскими документами и мандатами.

— Кто ограбил?

— Кто? — переспросил Денисов и посмотрел на меня

с леденящей кровь улыбкой.— Сейчас ты узнаешь — кто, любезный товарищ!

Он осторожно взял с подоконника сапожный нож, попробовал лезвие о подметку и начал медленно подходить ко мне, посмеиваясь и примериваясь, как бы удобнее всадить мне нож под сердце.

Ударом головы в живот я сбил его с ног, открыл дверь и выскочил в темный пустой двор. Ветер хрипло кричал над умирающим городом.

Я разбудил мичмана, и мы вдвоем пошли усмирять Денисова.

Мичман дрожал мелкой дрожью.

В комнате Денисова мы не застали.

Окно стояло настежь. Ветер швырял на пол сухой снег. Сапожный нож был со страшной силой воткнут в филенку двери. Когда мы вошли, он еще дрожал.

Очевидно, Денисов только что выскочил через окно и ушел.

Появился он через два дня, смущенный и печальный. Он попросил прощенья за то, что ему «помстилась такая чертовщина», и сказал, что на днях едет лечиться в Москву. Мы с ним помирились.

«ТРАВИАТА» НА КОРАБЛЯХ

Все это было в Севастополе двенадцать лет назад.

Тогда в бухте стояли старинные броненосцы без брони, красные от ржавчины и грязные, как мусорные ямы. Весь флот состоял из нескольких замызганных катеров.

А сейчас я увидел голубые кряжи дредноутов и хищные носы крейсеров, нарядных и праздничных.

Весь день был заполнен громом гидропланов и торпедных катеров. Они носились в пене, синеве и флагах по прекрасной карте глубоких и неузнаваемых бухт. В бухтах уже не били баклапов.

Город готовился к празднику. На каменных оградах были наклеены афиши — один из московских театров ставил на кораблях «Травиату».

Знакомые моряки достали мне билет на это необыкновенное зрелище. Актеры должны были играть на броневой палубе, затянутой по сторонам брезентом.

Перед моим приездом шли холодные дожди. Но потом, к ноябрю, наступил штиль с его запоздалым трогательным теплом. Такие штили здесь часто случаются даже зимой.

Я знал, что Гарт живет в Севастополе, и не удивился, встретив его на палубе крейсера среди краснофлотцев и командиров.

Я не удивился встрече с Гартом, но был поражен тем, что Гарт беседовал с молодой женщиной. Она была одета с простотой, выдающей внутреннее благородство.

Увидев Гарта рядом с этой женщиной, я за него порадовался. Любовь могла вернуть Гарту потерянный интерес к действительности.

Чему я был действительно удивлен, так это встрече с Денисовым. Он узнал меня. На рукаве его кителя я увидел широкие золотые нашивки, из чего заключил, что Денисов занимает крупный командный пост.

Он рассказал, что вылечился от своих галлюцинаций, работает на Черном море по подъему затонувших судов, а «для души» занимается внедрением среди краснофлотцев любви к музыке.

Он показал мне среди оркестрантов худого человека в пенсне. Я узнал в нем, несмотря на серые виски, юношу, игравшего Чайковского в обледенелой школе.

Темные грифы виолончелей были прислонены к серым орудийным башням. Музыканты говорили, что, к счастью, нет тумана и оркестр будет слышен не только на рейде, но даже на прибрежных улицах города.

Скрипки поблескивали лаком. Среди стали, блоков и орудий они производили впечатление живых существ.

Это театральное зрелище на палубе корабля перенесло меня на много лет вперед. Мелодии Верди, щемящие, как женский плач о неразделенной любви, звучали в торжественном, величавом безмолвии военного корабля.

Я сидел сзади и видел молодые и напряженные затылки моряков. Только раз все досадливо оглянулись, когда на рейде заплакала сирена. Ее голос как бы подчеркнул всю горечь того, что неизбежно произойдет на сцене.

Волнение, похожее на приглушенный восторг, теснило дыхание сотен людей. Некоторые низко опускали головы. Я не знал, рассматривали ли они так внимательно свои матросские ботинки или пытались скрыть слезы, несвой-

ственные этим, как они сами себя шутливо называли, «скитальцам морей».

Десятки яликов с керосиновыми фонарями на бортах качались около крейсера. Из них вверх, на броневую палубу, откуда долетал печальный голос Виолетты, смотрели загорелые люди — жители севастопольских окраин. Гребцы старались не плескать веслами.

Дым звезд роился над береговыми утесами. Туманная стрела прожектора упиралась в созвездие Ориона.

Во время пауз я оглядывался,— казалось, Виолетта пела на родине Верди. Город отражался в воде рейда всеми своими огнями. Блеск пламени достигал морского дна — так прозрачна была вода севастопольских бухт.

— Что происходит? — спрашивал я себя.

Венеция. Верди. Старинный рояль и вино. Песенки студентов, седые актеры и молодая женщина с красной камелией, приколотой к корсажу.

Предательство, любовь, печальный поцелуй в висок.

Севастополь, красная эскадра, матросы-комсомольцы, якоря, цепи, советские гюйсовые флаги, тончайшая музыка — и слушатели, каким мог бы позавидовать Верди.

Все это рождало в душе радостное смятение. Только к концу спектакля оно сменилось ясным ощущением удивительного времени, переживаемого нами, и небывалого будущего, идущего ему на смену.

Я взглянул на Гарта. Шляпа лежала у него на коленях. Он откинулся на спинку кресла и, высоко подняв голову, сосредоточенно смотрел на сцену. Морщины на лбу разошлись.

Он обернулся, встретился со мной глазами и кивнул мне головой. Его улыбка была простодушна, как у любого из молодых матросов.

После спектакля я подошел к Гарту. Он потряс мне обе руки и тотчас же позвал к себе.

Он познакомил меня со своей соседкой. Это была художница Сметанина. Недавно в Москве я видел ее картины. В них была сила мазка, свойственная, пожалуй, только мужчине.

Сметанина произвела на меня впечатление человека ясного ума и сильного темперамента. Она была красива той непосредственной врожденной красотой, которая распространяется на все — на лицо, глаза, волосы, манеру говорить, смеяться и сердиться.

Гарт познакомил меня еще со своим хозяином — метеорологом Юнге, румяным и неспокойным стариком.

Существуют старики, целиком состоящие из любопытства и желания спорить. Они бегают по лекциям, участвуют во всех экскурсиях, никому не дают покоя, но никогда не надоедают. Таким напористым, болтливым старичком мне показался Юнге.

В катере по пути к пристани он успел рассказать, без всяких понуждений с моей стороны, все, что знал о Верди, и, кстати, о Гарибальди. По его словам, они были друзьями. Гарибальди долго жил в Одессе и Таганроге. Он служил капитаном на итальянском пароходе и занимался перевозкой хлеба из наших степных портов в Италию.

— Вы знаете,— спросил Юнге,— что Гарибальди сказал о социализме? Нет? Социализм — это солнце будущего. Il socialismo é il sole del l'avenire. Il sole del l'avenire! — с восторгом повторил он. Лицо его вдруг осветилось струящимся блеском.

Я оглянулся. Позади нас на военных кораблях вспыхнула иллюминация.

Мы смотрели на нее из города. Золотые пчелы облепили военные корабли. Огненные контуры фантастической эскадры пламенели на рейде и переливались в воде осенних бухт.

Десятки прожекторов перепутали свои лучи с туманными созвездиями и извилистым течением Млечного Пути.

Музыка гремела на палубах и колебала воду. Желтые и белые, синие и зеленые огни прыгали на волнах, лопались, разлетались на сотни осколков и снова сливались в широкие световые дороги.

Черные громады грузовых пароходов пробирались сквозь дождь огней, зажмурив глаза, ослепнув от перебегающего света, и жалобно покрикивали сиренами — просили дать дорогу.

Дым иллюминаций, как зодиакальный свет, очертил линию крутых берегов, похожих на крепостные стены, и верхушки сухих, облетающих деревьев.

Листья хрустели под ногами. Только этот звук напоминал о близости зимы.

Юнге рассказывал, что в садах набухают почки. Было очень легко поверить в наступление новой весны. Воздух дрожал от невидимых горячих течений.

С площади, полого спускающейся к морю, долетал мер-

ный шорох сотен подошв. Матросы и командиры танцевали со смущенными девушками под знакомую песенку:

Плыли мы через лунный залив,
Голоса наши тихо звенели...

К берегу причалил катер.

— Командующий флотом,— сказал мне Гарт.

Из океана огней, с борта катера, сошел на пристань высокий человек с широкими золотыми нашивками на рукавах черной шинели. Свет блеснул на его седых висках.

Он медленно пошел через праздничную площадь, суровый и улыбающийся. За плечами командующего были годы боев и работы ради того, чтобы наконец наступило время расцвета и веселья единственной в мире социалистической родины.

— Социализм — это солнце будущего,— сказал я Гарту.

— Я знаю,— ответил Гарт.— Я давно отказался от своей невозмутимости.

Плыли мы через лунный залив,
Голоса наши тихо звенели...

— В своих прежних рассказах,— сказал Гарт и подчеркнул слово «прежних»,— я часто описывал праздники в приморских городах. Плошки, пляски, драки и фейерверки. Но ничего подобного тому, что происходит теперь, я, конечно, не мог выдумать. Я писал и не верил, что такие вещи возможны. Я писал с тоскою на сердце. Я очень сбивчиво говорю, но мне хотелось бы, чтобы вы меня поняли. Сейчас, когда мимо прошел командующий флотом, когда прошел через праздник человек, вынесший тяжесть революции,— праздник зазвучал по-иному. Если раньше к чувству праздника всегда примешивалась доля смущения перед кем-то за свое веселье, то теперь этого нет. Совесть чиста. Вы поняли меня?

— Понял,— ответил я.— Над чем вы сейчас работаете, Гарт?

— Я пишу о лейтенанте Шмидте,— неожиданно ответил он.

Мы проводили Сметанину до дому. Город шумел гулом молодых голосов. На каменных трапах росла полынь.

Сметанина жила в верхней части города, возвышавшейся, как остров, над морем. Там были тенистые улицы,

очень пустынные, гулко повторявшие шаги прохожих и близкие к небу. На таких улицах хорошо было бы построить обсерваторию.

Сметанина затащила нас к себе. Она налила нам по стакану белого вина. Юнге сел к роялю и сыграл под сурдинку застольную песню из «Травиаты»:

> Налейте, налейте бокалы,
> И выпьем, друзья, за любовь...

Мы медленно выпили вино. Я зачитался раскрытой па столе книгой — письмами художника Ван-Гога — и почти не слышал разговора, происходившего около меня. Долетали слова о норд-осте и каких-то туннелях, которые будут стоить гроши и спасут человечество. Старик Юнге горячился и обзывал Гарта трусом.

— Если вы не хотите об этом написать,— сердито сказал Юнге,— так я сам напишу. Вот сяду и напишу! Подумаешь!

— Я не могу сейчас заниматься этим,— мягко оправдывался Гарт.— Вы знаете, что я работаю над Шмидтом.

— Ну и черт с вами! — сказал Юнге.

Когда мы вышли, ночной воздух ударил в легкие, как слабый электрический разряд. Казалось, город завалили по крыши только что вытащенными рыбачьими сетями и грудами желтой листвы.

Гарт потребовал, чтобы я у него ночевал.

В пустой квартире Юнге мы еще долго ходили, спорили и смеялись.

Дикий кот носился по темным комнатам, приседая и вытянув хвост. Он прыгал на полки с книгами. Глаза его горели зеленым огнем. Он угрожающе выл, перебирал когтями и готовился к отчаянным прыжкам. Кот играл сам с собой. Он чувствовал себя в джунглях, на опасной, увлекательной охоте. Потом он нам надоел, и мы его выгнали на кухню.

При свете свечи я долго пересматривал «Морской сборник» за старые годы, валявшийся на столе у Гарта.

Я читал о преимуществах службы на парусных кораблях, о нельсоновских капитанах и минах Уайтхэда. Я так увлекся, что уснул только перед рассветом.

МУЖЕСТВО

Одна смертная казнь может остановить меня!

Ответ лейтенанта Шмидта адмиралу Федосьеву

Рукопись Гарта о лейтенанте Шмидте состояла из небольших отрывков.

Уезжая из Севастополя в Коктебель, Гарт оставил ее мне на хранение. Он считал эту работу незаконченной.

Я прочел ее. Это был ряд набросков, совершенно непохожих на все, что Гарт писал до тех пор.

Работа Гарта шла у меня на глазах, и я попутно могу восстановить ту обстановку, в какой она проходила.

Мы часто ходили с Гартом на бывшую Соборную улицу, в дом, где жил в Севастополе Шмидт.

Во дворе висело белье. Сохли акации. Маленький двухэтажный дом потрескался и разрушался. Он был жалок и сер. Стертая каменная лестница вела во второй этаж, в квартиру Шмидта, где жили сейчас учителя татарской школы.

Гудели примуса, и ревели дети. Любопытные жильцы выползали из квартир и с тревогой следили за нами. Особенно их смущал Гарт своим высоким ростом, сухим лицом и глухим голосом. Они принимали его за архитектора, желающего снести их ветхий дом и построить на его месте кирпичный корпус на сорок квартир.

Но потом жильцы к нам привыкли и успокоились. Особенно после того, как Гарт привел Сметанину и попросил ее сделать набросок с дома.

— Здесь,— сказал Гарт,— произошла завязка одной из величайших человеческих трагедий.

— Я вам об этом давно говорила,— ответила Сметанина.

Я заметил, что Сметанина и Гарт понимали друг друга с полуслова.

У Сметаниной, как и у Гарта, было благоговейное отношение к местам, отмеченным памятью великих людей. Поздней осенью она ездила из Москвы в Святые Горы, на могилу Пушкина, и две недели прожила в Михайловском.

Она мечтала попасть в дрянной и малярийный греческий городок Миссолонги, где умер Байрон.

Казалось, пребывание этих людей оставляло на тех местах, где они жили, почти неуловимый прекрасный след.

Юнге называл эти мысли форменной чепухой, но я был согласен со Сметаниной. Я даже разыскал в лоции Средиземного моря описание Миссолонги и показал его художнице.

«Город Миссолонги находится в Патрасском заливе, окаймленном низкими берегами. Только вдалеке виднеются горы. Город стоит на плоском болотистом мысу. Жители его страдают от лихорадок и оспы. Миссолонги имеет безрадостный вид и редко посещается пароходами».

Гарт, услышав наш разговор о Байроне, заметил, что Шмидт любил Байрона. Перед казнью он написал своей сестре — изумительной женщине, делавшей нечеловеческие усилия, чтобы спасти его от смерти,— несколько строк из Байрона:

Сестра моя, когда бы имя было
Еще нежней, то было бы твоим.
Меж нами даль, нас море разделило,
Но все ж тобой я должен быть любим.

Я давно собирался написать о том, как пишутся книги. Но всегда желание писать книги, а не исследования, брало верх, и эта тема откладывалась на неопределенное время.

Сейчас я воспользуюсь случаем, чтобы записать хотя бы вкратце, как Гарт работал над напечатанной ниже рукописью.

С большой неохотой Гарт возился с документами. Он упорно разыскивал очевидцев и посещал места, связанные со Шмидтом. Документы давали сухую схему событий. Жизнь им возвращало только общение с людьми, помнящими прошлое. Эта манера работы была далека от того, как работал Гарт раньше.

Гарт ездил в Очаков. Он был на месте казни Шмидта — острове Березани. Гарт рассказывал, что только Данте в своем «Аду» мог бы описать Березань со свойственной ему силой.

Гарт ездил в конце ноября. В Очаковском заливе плавал лед. Рыбаки неохотно согласились доставить Гарта па необитаемый и ненавистный остров.

В Очакове Гарт простудился и лежал в Доме крестьянина — в бывших «Номерах Таковенко», где во время суда над Шмидтом жила его сестра и защитники.

В Севастополе, на Северной стороне, Гарт разыскал престарелого рыбака Дымченко, участника восстания на «Очакове». Он очень сдружился с этим стариком.

Дымченко жил в сторожке за Братским кладбищем. Гарт проводил у него целые дни. Он носил Дымченко табак из города, болтал с ним, греясь на солнце, научился чинить сети, а в свободное время брал у Дымченко удочки и ходил ловить бычков и зеленух со старых свай около Сухой балки.

Дымченко хорошо помнил восстание на «Очакове». Он первый подхватил на руки Шмидта во время его истерического припадка после объезда эскадры.

Он рассказывал обо всем охотно и спокойно. Только один раз он заплакал, когда вспоминал, как очаковцы прощались со Шмидтом перед казнью.

Мы поехали к Дымченко втроем — Сметанина, Гарт и я.

Стоял жаркий осенний день, безветренный, будто отлитый из желтоватого стекла.

В степи за Северной стороной пели жаворонки. На кладбище пылала осень. Солнце просвечивало через листья, как через нежные ладони, полные розовой крови. Пух семян засыпал дорожки. Дали были полны той ясностью, какую можно встретить только в сухих и бесплодных горах.

Около сторожки Дымченко зевала на цепи косматая и добродушная собака Рыжик. Дымченко штопал сеть. Все было патриархально, солнечно и просто, как всегда здесь.

В этот день разговор зашел о казни Шмидта. Дымченко с матросами-очаковцами сидел после суда на плавучей тюрьме «Прут», откуда Шмидта, Частника, Антоненко и Гладкова взяли на расстрел.

— Как вывели Шмидта, он шел быстро, будто не по палубе, а по самому воздуху. Легкий шаг был у человека, светлое лицо. Мы просили начальство: «Дайте нам пять минут с ним и с матросами попрощаться в их смертный час. Дайте нам посмотреть на них и на него пять минут!» Не разрешили, заразы! Тогда мы все разом начали кричать: «Прощай, Шмидт! Прощай, друг, святой наш товарищ!» Офицеры — драконы, каких свет не видал,— дают приказ: «Замолчите!» — а мы не слухаем, кричим, плачем и рвем на себе форменки. Долго плакали и кричали, пока не кончили его на том острове злой пулей.

Дымченко свертывал из табака цигарку. Старческая слеза упала на нее, и бумага расползлась под дрожащими пальцами. На затылке старика по-детски торчал седой легкий пух. Старик долго не подымал голову и тер худую грудь.

— За родного брата не так у людей болит душа, как за него, за Шмидта. Да вот — не дожил. Сил нету у меня об том вспоминать. Растравили вы меня, чудаки,— опять не будет мне сна.

Кроме Дымченко, Гарт нашел в Севастополе старого, подслеповатого аптекаря, жившего на покое. После встречи с ним Гарт показал мне ветхий рецепт.

Рецепт был на бром, но интересно было не это. На том месте, где пишется цена лекарства, рукою провизора было написано: «Лекарства для Шмидта отпускаются бесплатно — они идут на пользу революции».

Это дало Шмидту повод шутливо воскликнуть в одном из писем: «Видите, революция начинает уже кормить меня».

Старичок-аптекарь рассказал Гарту о клятве Шмидта на кладбище.

Гарт собрал материал, но долго не мог писать. Все, что он узнал, казалось ему еще далеким и его не волновало. Нужен был последний толчок. Он пришел, как всегда, неожиданно. В чьих-то воспоминаниях Гарт вычитал, что Шмидт считался великолепным знатоком моря и одним из самых просвещенных капитанов русского флота. Там же говорилось, что внешне Шмидт был строен, даже изящен.

Только убедившись, что Шмидт принадлежит к плеяде лучших моряков, каких знало человечество, что имя его как капитана может быть поставлено наравне с Джемсом Куком, Ворониным, Амундсеном и Магелланом, Гарт успокоился и начал писать о Шмидте. Сухопутные люди Гарта пока еще не интересовали.

Первый отрывок из рукописи Гарта о Шмидте назывался «Старый аптекарь».

«Что я тогда пережил! Разве я могу рассказать вам это сейчас, когда мне уже семьдесят пять лет и я жалею, что в Севастополе нет крематория. Пусть меня сожгут, а пепел спрячут в фаянсовую аптекарскую банку с

надписью: «Tinctura valeriana», потому что как раз валерьянки мне всю жизнь не хватало. Я имел занятие волноваться из-за всех людей, из-за каждого дифтерита и каждой рубленой или огнестрельной раны.

Такая наша профессия — присутствовать при человеческих несчастиях и брать за спасение недорогую цену по таксе.

— Ну, однако, Шмидту я единственный в Севастополе отпускал лекарства бесплатно и до сих пор горжусь этим.

Что я тогда пережил! Вы спросите, что я пережил, когда пришла со службы младшая дочь, села вот здесь на стул и заплакала.

— Что с тобой, Люся? — спросил я и пошел за валерьянкой. Пока я капал ее в стакан с переваренной водой и волновался, она успела мне ответить:

— Пришла телеграмма адмиралу Чухнину. Она уже ходит по всему городу. Я переписала ее. На, прочти.

Она протянула мне листок бумаги, и я прочел эти слова,— лучше бы я их не читал никогда в жизни:

«Прошу отдать мне тело казненного брата. Анна Избаш».

Избаш — это сестра Шмидта.

«Все кончено! — сказал я себе, сел на стул и забыл дать Люсе валерьянку.— Все кончено, Вайнштейн! Они убили его!» — повторил я и бросил стакан на пол.

Что я должен был делать, аптекарь и больной старик? Что, я вас спрашиваю? Что я мог, когда вся Россия молилась на него, а спасти его не сумела.

«Вот страна,— думал я,— будь она проклята до скончания века!» И я плакал, как может плакать только еврей. Чтобы научиться так плакать, надо сотни лет мучиться и вытирать плевки и кровь с лица, как это делали мы, евреи. Сотни и тысячи лет!

Вы спрашиваете, знал ли я Шмидта до его речи на кладбище? Нет, не знал. И мало кто его знал в Севастополе. Он взорвался, как динамит.

Было восстание на «Потемкине», потом восстание на «Пруте», но я не слыхал его имени по этим делам. Потом началась революция, и Николай придумал свой замечательный манифест о свободах. Я так считаю, что он был придуман исключительно для аптекарских учеников. Почему? Потому, что они приезжали в город из местечек, ходили по улицам с открытыми ртами и верили даже око-

лоточным надзирателям. Молокососы и дураки! Так в то время почти вся Россия была, как аптекарские ученики!

Мы, представьте, поверили в манифест и обрадовались, что наконец дождались Государственной думы. А она нам, откровенно, была нужна, как мертвому банки.

Начались митинги. Сколько было митингов! И на Екатерининской, и на Приморском бульваре, и где хотите.

После митинга на Приморском бульваре мы пошли к тюрьме освобождать политических. Я тоже ходил. И адмирал Чухнин нам устроил хорошую мышеловку. Ворота тюрьмы открылись, и вместо освобожденных товарищей, как мы ждали, в нас начали бить залпами. Восемь человек убили, а сколько ранили — я теперь не припомню.

Тогда я чуть не задохся от злобы. Чухнин! Вы не можете представить, как «любили» этого человека.

Он был довольно плюгавый адмирал, с бородой, как пакля, крикливый, с камнями в печени и желчью в голове. Пока его не трогали, он очень храбрился, даже ходил по городу пешком. Знаете, если бы опросить весь Севастополь, восемь из десяти были бы за то, чтобы его убить, как собаку. Но что я мог сделать Чухнину, что, я вас спрашиваю? Ничего существенного!

Но и я, Вайнштейн, испортил ему немного крови. Он приезжал лечить зубы к моему соседу по квартире, дантисту Новицкому. Я зашел к Новицкому как будто по зубным делам и незаметно положил в карман адмиральской шинели — она висела на вешалке в передней — кучу прокламаций! И каких! В одной было напечатано черным по белому:

«Палач Чухнин! Знай, что близок час, когда наша рука не дрогнет набросить тебе петлю на шею! Помни, что час расплаты близок, и этот час будет ужасен. Эту листовку пишут матросы, принадлежащие к партии социал-демократов».

Воображаю, какое веселое чтение имел Чухнин в тот день у себя за чаем!

Погодите, я все никак не дойду до Шмидта.

Через день убитых хоронили. Никогда еще Севастополь не видел такой толпы, столько красной и черной материи и цветов.

На кладбище я первый раз увидел Шмидта. Это был морской офицер, высокий и бледный. Глаза у него горели, как у пророка.

Он встал над могилой и начал говорить. Было тихо, будто люди боялись дышать. Он говорил так, что каждое слово било, как пуля, в грудь человека. Его прекрасный голос слышал весь Севастополь.

Что он сказал? «Клянемся этим убитым в том,— сказал он,— что мы никогда не уступим никому ни одной пяди завоеванных нами человеческих прав».

Он поднял руку и громко сказал: «Клянусь!» И мы все, все тысячи людей повторили за ним это слово. Слезы закипели у нас на сердце. «Клянемся!» — крикнули мы.

«Клянемся им в том, что всю работу, всю душу, самое жизнь мы положим за сохранение нашей свободы».

И в это мы поклялись.

«Клянемся им в том, что свою общественную работу мы отдадим на благо рабочего, неимущего люда».

«Клянусь!» — сказал он, и в эту минуту я полюбил его. Я понял, что если этот человек подойдет ко мне и скажет: «Бери вместо своих пипеток наган, иди, и борись, и прячься, и карауль врага, стреляй и страдай, как ты еще никогда не страдал в своей маленькой жизни»,— я пойду и буду благословлять его имя.

«Клянемся им в том, что между нами не будет ни еврея, ни армянина, ни поляка, ни татарина, но все мы будем отныне равные, свободные братья свободной России».

Я оглянулся и увидел тысячи людей, бледных и плачущих от счастья. Я видел, как люди бросались к нему, обнимали его, целовали его плечи. А он стоял спокойный, и ветер шевелил его прекрасные волосы.

Теперь я думаю, что тогда он не сумел сделать дело до конца. Тогда никто не делал ничего до конца, потому что мало было большевиков. Большевик — тот всегда поставит точку, и такую жирную, что ее ничем не сотрешь.

С кладбища он мог повести весь Севастополь за собой, захватить город, казармы и флот. Верьте мне, потому что я видел людей после его речи. Они готовы были зубами ломать тюремные решетки.

А вместо этого вечером его обманом заманили в Морской штаб, арестовали и посадили на броненосец «Три святителя».

Он просидел две недели. Все эти две недели город кипел, как котел. Матросы, и солдаты, и все мы, простые жители, требовали его освобождения.

Чухнин испугался. Штыки штыками и офицеры офи-

церами, а у каждого на душе есть страх, как грязь на дне стакана. Чухнин его выпустил.

После этого каждый день проходил для меня как во сне. Я должен подумать, чтобы вспомнить, как все было.

Я боюсь спутать. Мне семьдесят пять лет,— вы не шутите! Но, между прочим, скажу вам, я не очень хочу умирать, потому что сейчас я получил в первый раз в жизни свой законный отдых.

Мне хочется греться на солнце, читать газеты, слушать концерты, съездить в Москву, посмотреть на Кремль, и многое еще мне хочется.

Я так думаю, что мы с вами чуточку рано родились. Через пять — десять лет какой-нибудь мальчишка-ученый, даю вам честное слово, придумает средство, чтобы люди жили еще на пятьдесят — семьдесят лет дольше. Вайнштейну будет невесело умирать и на смертном ложе прочесть об этом заметку в «Известиях».

Дай вам бог — не бог, а жизнь — здоровья, а главное — работайте, молодой человек, и у вас всегда будет молодая кровь».

Второй отрывок из рукописи Гарта назывался «Восстание».

«Вы меня пытаете прямо как прокурор. Ну, ладно,— рассказывать, так все по порядку.

Зовут меня Дымченко Кузьма Петрович. Сам я родом с-под Каховки на Днепре. С баталером Частником, погибшим со Шмидтом, мы земляки, с одного села.

Батька мой был небóга, бедняк. Мать померла, когда — и не помню: я был совсем малый. Как подрос, забрали меня в Черноморский флот. Муштровали, старались сделать с меня справного царского матроса, да оно, как видно, не получилось.

Но, не глядя на то, остался я во флоте на сверхсрочную службу. В деревне мне не было дела — ни земли, ни травы, ни братьев, ни сестер, а старик к тому времени помер. Так и добедовал я во флоте до пятого года.

Матрос я был толковый. Сила во мне была большая и обида на офицеров. Били меня многое число раз. Называлось тогда это дело флотской воинской дисциплиной.

В девятьсот пятом году Частник — звали его Серега — приобщил меня до революционного понятия. Шмидта после

речи на кладбище все знали, даже самая матросская серость — гальюнщики. Звали мы его «брат командир», любили крепко и верили, как никому на свете.

Однако я Шмидта еще не встречал. Увидел я его первый раз в казармах флотского экипажа, должно, за день до очаковского дела.

Бушевала тогда вся Корабельная сторона. Винтовки сами стреляли. Шло к тому, что пора подыматься всем флотом и доходить до настоящей человеческой доли. Решили мы вызвать к себе Шмидта. Послали до него людей. Он ответил: «Буду обязательно завтра».

Узнали об этом матросы — и как занялось «ура» по всем казармам, по всей Корабельной стороне, все одно как пожар. Гремело целый час. Промеж офицеров сделалась паника — так здорово кричали матросы.

И верно, на следующий день Шмидт приехал. Мы его в казармы внесли на руках, и он согласился принять командование над нашим матросским флотом.

Был у меня в то время приятель, матрос Сиротенко, тоже наш, с Украины. Служил на броненосце «Пантелеймон», бывшем «Потемкине».

Чухнин, гладкая лиса, боялся «Пантелеймона». Корабль был такой, что одним залпом сделал бы из города чистую пыль.

Чухнин приехал на тот корабль и звал матросов стоять за царя. Сиротенко бесстрашно вышел адмиралу навстречу и говорил о каторжной матросской доле и дорогой свободе.

Чухнин дал приказ арестовать его, но матросы стали стеной и крикнули: «Не дадим трогать Сиротенко! К чертовой матери драконов!» Чухнин уехал, но напоследок приказал снять со всех орудий на «Пантелеймоне» ударники. Вот и глядите, какие тогда были матросы,— ровно дети. Отдали ударники, броненосец не мог стрелять — и через то погиб «Очаков».

А Сиротенко, вечный ему покой, убили на «Очакове». Тело его матросы подобрали на третий день в бухте и похоронили тайно за Братским кладбищем. Теперь я ту могилу не найду. Старый стал. У меня в глазах темная вода.

Ноябрь был в тот год тихий и теплый. Туманы да солнце, вот совсем как сейчас.

Четырнадцатого ноября я перешел на «Очаков». Ночью, по приказанию Шмидта, мы захватили миноносцы «Свирепый», «Гридень» и еще три номерных миноноски.

Прошел слух, что Чухнин собрался бежать в Одессу на своей яхте «Эреклик». Шмидт послал нас на «Свирепом» в море сторожить «Эреклик», а в случае, если заметим, потопить его миной. Однако Чухнин не удрал.

На другой день утром на «Очакове» подняли красный флаг и сигнал: «Командую флотом. Шмидт».

Все пять миноносцев ответили сигналом: «Ясно вижу» — и от себя подняли красные флаги.

Человек я не больно грамотный, и нету у меня ума рассказать вам, до чего радовались матросы.

Играла музыка. Команды выстроились на шканцах. Мы открыто стояли перед всем флотом, кидали в воздух бескозырки и кричали «ура».

Шмидт спустился на «Свирепый» и пошел малым ходом до царской эскадры.

Бесстрашный был человек. Каждый офицер мог его убить в упор из нагана.

«Свирепый» подходил борт к борту броненосцев, и Шмидт кричал матросам: «Товарищи, мы поднялись за правое дело! Присоединяйтесь к нам!»

Матросы кричали «ура» и плакали. Да от того крика не было нам никакой поддержки, потому на всех кораблях матросов загнали в трюмы, и они кричали не на палубах, а за стальными бортами. На палубах остались одни офицеры.

Берега бухты были черные от народа,— страшно было смотреть. С берегов весь город кричал нам «ура».

Так Шмидт обошел эскадру, и ни один корабль, не считая «Пантелеймона», не осмелел, чтобы восстать. А от «Пантелеймона» — я вам уже раз сказал — не было толку. Орудия у него не работали. Тогда Шмидт пошел на миноносце к тому чертову «Пруту», плавучей тюрьме. Там сидели потемкинцы. Шмидт сбил замки с камер и освободил всех.

Шмидт поворотился на «Очаков», созвал команду и поднялся на мостик. Я стоял рядом и крепко за него опасался,— человек весь дрожал. Гнев на эскадру был в нем такой, что он долго не мог говорить.

Потом наконец заговорил. Частник мигнул мне, чтобы я, значит, поглядывал за ним и в случае чего поддержал.

Что он говорил, я в точности не припомню. «Хотя мы остались совершенно одни, все равно будем биться до самой смерти. Не думал я, что кругом нас столько темного и жалкого люда. Будь он навеки проклят, рабский город!»

Тут он показал рукой на Севастополь, и с ним приключился припадок. Он бился, как малый ребенок. Я крепко держал его, чтобы он не упал на палубу и себя не покалечил.

Мы снесли его в каюту. Я находился при нем, пока все не прошло. И такая взяла меня злоба на людей: что́ сделали с человеком, и каким человеком! Я готов был своими руками поубивать арестованных офицеров, что сидели у нас на «Очакове».

Бароны всё были и графы. Голубая кровь, духами пахли, а бить людей не стеснялись. Одно только и знали — гаркать, как заведенные: «государь император, присяга, вера, грязное мужичье», а того в толк не брали, что государь император сам был с придурью.

Как сейчас подумаю, так кровь стынет в жилах. Отдали Шмидта за пятак! Каждый назад поглядывал, есть ли куда удрать. Одни очаковцы и Шмидт шли честно, прямой дорожкой, и привела она их до сырой могилы.

— Эх, дожить бы им до нашего веку! Иной раз проснусь ночью и думаю,— ночью нам, старым, всегда не спится. Вот, думаю, каторгу я отсидел, вернулся к себе на Северную. Завтра утречком соберу свои бамбуковые пруты и подамся до бухты ловить скумбрию и чируса. Воздух легкий, чистый. Иду через степь и вижу,— что такое? — идет навстречу Шмидт. Живой, веселый, смеется мне. Зубы у него были белые и голос сильный. Добрый голос был у человека. Целует меня крепко и говорит: «Вот и свиделись мы с тобой, Дымченко. Не даром мы, значит, шли на смерть, не даром приняли страдание».

Пятый раз так его вижу, и сердце у меня падает,— должно, болезнь какая со мной приключилась.

А я ему отвечаю: «Где ж это вы, Петр Петрович, друг дорогой, так долго пропадали? Ну, теперь же и праздник будет у нас — на все Черное море!»

Должно, у меня болезнь какая. Все его вижу и вижу, и сердце сильно болит, как перед смертью».

«Когда я вступил на палубу «Очакова»,— сказал Шмидт на суде,— то, конечно, с полной ясностью понимал всю беспомощность этого крейсера — без брони, с машиной, которая могла дать всего восемь узлов хода, и без артилле-

рии. Там было всего два орудия. Остальные действовать не могли.

Я понимал всю беспомощность крейсера, неспособного даже к самообороне, а не только к наступательным действиям, неспособного даже уйти от опасности. Эскадра же, большинством своих матросов сочувствовавшая «Очакову», была разоружена до моего приезда на «Очаков». Стало быть, и тут нельзя было ждать никакой боевой силы, нужной для вооруженного сопротивления».

Так говорил Шмидт.

Надо было не дать погибнуть «Очакову» — ядру восстания во флоте.

Для этого Шмидт решил свезти на «Очаков» побольше арестованных офицеров и пришвартовать к борту крейсера транспорт «Буг», — на нем было шестьсот пудов пироксилина.

Расчет на пленных офицеров был наивен. Шмидт думал, что царская эскадра не откроет огонь по «Очакову», чтобы не убить своих офицеров. События показали, что это не так. Да и Шмидт в глубине души не верил в это, иначе у него не возник бы план с «Бугом».

Расчет на «Буг» был блестящ. Достаточно было, чтобы в «Буг» попал один снаряд, — и не только от флота, но от всего Севастополя осталось бы пустое место.

В четыре часа дня пятнадцатого ноября Шмидт приказал команде катера «Удалец» взять «Буг» на буксир и подвести его к борту «Очакова».

Когда катер вел «Буг» на буксире, канонерская лодка «Терец» приказала катеру остановиться и отдать концы, угрожая в случае неповиновения открыть огонь. Катер продолжал буксировать «Буг».

Тогда старший офицер «Терца», бывший друг Шмидта по морскому корпусу, Михаил Ставраки, открыл по катеру огонь. Первым же снарядом катер был потоплен.

Команда «Буга», боясь попасть под обстрел и взорваться, открыла кингстоны, и «Буг» пошел ко дну.

Через четыре месяца этот же Михаил Ставраки командовал расстрелом Шмидта и матросов на острове Березани.

Увидев гибель катера, Шмидт приказал миноносцу «Свирепый» произвести минную атаку на корабли эскадры.

«Свирепый» вырвался полным ходом из-за Павловского мыса. В ту же минуту чудовищный гром потряс Севасто-

поль — эскадра и крепостные батареи открыли огонь по «Очакову» и миноносцу.

«Свирепый» затонул под ливнем тяжелых снарядов. «Очаков» молчал. У него не было снарядов.

Скверные сумерки спустились над морем. «Очаков» горел. Пламя вздымалось над рейдом. Дым неравного боя застилал берега.

Команда «Очакова» начала бросаться в море. Крейсер спустил красный флаг, но ураганный огонь не прекращался. Матросы, бывшие при осаде Порт-Артура, говорили, что даже в день последней бомбардировки этой крепости они не слышали такого огня.

Сотни матросов плыли к берегу — к Приморскому бульвару и в Артиллерийскую бухту. Их расстреливали в упор из винтовок. Все отчаяние этой ночной бойни в холодной воде, в зареве пожаров и грохоте незатихающего боя могут понять только те, кто его пережил.

Один из свидетелей этой бойни писал, что у него до конца жизни будут звучать в ушах отдаленные крики с горящего корабля: «Братцы, помогите! Братцы!»

На крейсере раскалялась и с грохотом лопалась броневая обшивка.

Часть раненых успели спустить с «Очакова» в катер. Он был потоплен картечью с ближайших судов.

Сколько матросов было убито на «Очакове», сколько сгорело на крейсере — он раскалился до того, что броня его стала почти прозрачной,— сколько утонуло и было убито в воде,— об этом не знает никто. Об этом не осталось никаких документов.

В последнюю минуту Шмидт вместе со своим сыном, мальчиком шестнадцати лет, бросился в воду. Все было кончено.

«Это был день смерти,— говорил потом Шмидт о гибели «Очакова».— Отчего я не был убит на «Очакове» под этим невиданным в истории войны стальным градом? Не убило меня, когда я был в воде, засыпаемый пулями. Отчего не убили меня, когда я, потеряв сознание и вытащенный кем-то из воды, попал на миноносец под новый град снарядов?»

Шмидта с сыном подобрал миноносец «270». Он быстро пошел в Артиллерийскую бухту, чтобы высадить Шмидта на берег, но залп с «Ростислава» подбил его. Миноносец остановился.

Шмидт и его сын были арестованы офицерами с «Ростислава».

На «Ростиславе» мокрый и раненый Шмидт был выставлен на посмешище победителей-офицеров. Его привели в кают-компанию, где офицеры за пьяным обедом издевались над ним.

Ни Шмидту, ни его сыну не дали ни хлеба, ни воды. Шмидт несколько раз терял сознание. Потом его бросили на пол в стальную каюту и только через сутки отправили на сухопутную гауптвахту.

Конвойный офицер заблудился. Он долго водил Шмидта с сыном по оврагам на окраине Севастополя. Мальчик думал, что их ведут на расстрел. Он очень волновался, но отец не мог его успокоить,— им не разрешали говорить друг с другом.

Только на третий день Шмидта с сыном перевели на канонерскую лодку «Дунай». Там впервые Шмидту перевязали рану и дали умыться.

Еще на миноносце «270» кто-то накинул на Шмидта морскую матросскую шинель, измазанную углем. Шмидт после ареста был покрыт потеками черной грязи.

«Дунай» доставил Шмидта и его сына в Очаков, в сырой каземат на острове Морской батареи.

Началась зима. Черные тучи лежали над водой. Очаковский залив замерзал. Николай торопил казнь».

Третий отрывок рукописи назывался «Статья сотая».

«Мне выпало на долю тяжелое счастье защищать на суде Шмидта. Не знаю, как по-вашему, можно так сказать или нет: «тяжелое счастье»,— но иначе я не могу определить свое тогдашнее состояние.

Жизнь моя идет к концу. Как говорят поэты, началась осень жизни, и, как всегда осенью, меня одолевают воспоминания. Прекрасное время года, как бы созданное для человеческих размышлений. Все способствует этому — и чистота воздуха, и легкий холод, и грустное настроение, разлитое вокруг, какое не сможет отрицать самый нечувствительный человек.

Каждую осень воспоминания возникают во мне с особой силой. Я не могу успокоиться, пока не поделюсь ими с кем-либо из окружающих. Я пробовал писать, но это не

то. Бумага меня пе успокаивает. Мне нужен живой человек.

Лучший слушатель — это мой внук, пионер. Ему я говорю обо всем. О Пятом годе, Жоресе, войне, Октябрьских днях в Москве и других величайших событиях, которым я был свидетель. Но я не могу ему рассказывать о Шмидте. Мальчик потом не спит по ночам, и мне сильно попадает от дочери.

Поэтому я чрезвычайно рад, что вы пришли ко мне. Вам я постараюсь рассказать все, что сохранила моя стариковская память.

Я упомянул о Жоресе. Я слышал его в Париже, этого бородатого и раскаленного человека. Но и в его речах было слишком много нарочитых приемов, того, что мы привыкли называть ораторским искусством.

Иногда Жорес поворачивался спиной к слушателям, потрясал над головой сжатыми кулаками и выкрикивал проклятия. Это действовало с неотразимой силой. Но все же это была великолепная игра.

А Вандервельде? Актер! В сильных местах речи он делал быстрый жест рукой, и каждый раз из рукава вылетала крахмальная круглая манжета и падала, как бомба, в задних рядах. Слушатели неистовствовали. Я прекрасно знал, что Вандервельде нарочно не пристегивал манжету, и жест этот оставлял у меня впечатление глубокой фальши.

Я вспомнил об этих ораторах, чтобы сказать вам, что искреннее Шмидта ораторов я не встречал. Мы, старые адвокаты, очень ценим ораторское искусство. Поэтому я с него и начинаю.

Шмидт говорил, как величайший трибун. Он заражал людей тем состоянием, какое я назвал бы восторгом и самозабвением.

Когда он говорил, то исчезали границы между действительностью и мечтой. Непередаваемая сила его слов вырывала вас из рамок обыденной жизни, ломала законы и традиции. Вы ясно чувствовали, что все окружающее — дурной сон, что в глубине души проснулось ваше детство с его стремлением к справедливости и свежестью мысли.

На суде часовые со слезами на глазах смотрели ему в лицо, отставив винтовки и бросив посты. Судьи плакали, закрыв лицо растрепанными томами этого позорного и чудовищного «дела».

Казалось, еще минута — и конвойные бросятся к нему,

силой выведут его из затхлого здания суда на свободу, вынесут его на руках и вернут жизни.

Он знал это. Ему говорили: «Бегите! Ведь ни один конвойный не сделает даже попытки задержать вас». Он знал, что может сказать конвойным всего два слова: «Откройте двери!» — и все двери казематов будут перед ним распахнуты настежь. Но он не сделал этого. Он не мог уйти один, бросив товарищей-матросов.

Да, судьи плакали. Не потому, конечно, что им было жаль Шмидта. Просто у самого закоренелого человека бывают минуты, когда загнанная совесть повернется, как острый камень, и вызовет боль. Нет подлеца, который бы не сознавал свою подлость.

Если бы не настойчивые приказы Николая, суд не вынес бы ни Шмидту, ни Частнику, ни Антоненко и Гладкову смертных вердиктов. В этом были уверены все.

На суде Шмидт был прекрасен. Он был полон того личного обаяния, которое никак нельзя забыть. Оно было в простоте, в громадном расположении к людям, в искренности и мужестве.

Мне жаль, что Шмидт ушел в могилу незапечатленным. Ни одна фотография, ни один портрет не передали особого блеска, какой лежал на нем.

Шмидт был строен и легок. Его движения были точны и спокойны. Я изъездил Европу, бывал во многих картинных галереях, видел величайшие творения кисти, но даже на картинах мастеров Возрождения я не встречал таких лиц. Есть лица, бледные от великой внутренней страсти, излучающие свет ума и благородства. Таким было лицо Шмидта.

Таким я его увидел впервые на суде в Очакове, таким он оставался до самой казни.

После казни Шмидта нашлись люди, пытавшиеся изобразить поведение Шмидта как попытку вызвать восстание с негодными средствами.

Это не так. Восстание, лишенное руководства, надвигалось стихийно. Удержать от него матросов было немыслимо. Руководить восстанием было некому — матросский боевой комитет был разгромлен после событий на «Потемкине». В городе остались только меньшевики. Матросы требовали от них руководства. Меньшевики согласились на словах руководить восстанием, на деле же всячески тормозили его. Они позволили Чухнину разоружить флот. Они

сознательно тянули, дожидаясь, пока в Севастополь были стянуты Чухниным войска из Одессы, Симферополя и Екатеринослава. Они не обратили внимания на желание солдат могущественной крепостной артиллерии присоединиться к матросам и оттолкнули их своим равнодушием. Крепость осталась за Чухниным.

Тогда, в последнюю минуту, матросы позвали Шмидта. Шмидт честно сказал, что восстание обречено на провал. Он согласился руководить им только для того, чтобы не оставлять матросов одних, чтобы взять вину на себя, уменьшить кровопролитие и сохранить живую революционную силу. Поэтому, уезжая на «Очаков», Шмидт сказал, что идет на Голгофу. И он был прав.

Я приехал в Очаков глухой осенью. Это заброшенный и гиблый городок. Он стоит в степи над морем. К морю берега обрываются откосами из желтой глины. Зимой они покрыты сухим бурьяном и тонким слоем серого снега.

В день моего приезда падал сухой снег. Ветер нес его по улицам вместе с пылью и черными листьями.

В домах, несмотря на ранний час, горели лампы. Дни стояли темные, как сумерки. Все было серо и мрачно — и небо, и залив, и город, и лица жителей, прятавшихся по домам.

Только красный огонь маяка на острове Морской батареи, где был заточен Шмидт, придавал пейзажу тревожную и величественную окраску.

В холодной гостинице, где не было печей и нельзя было обогреться после дороги, коридорный — мальчик лет пятнадцати — показал мне тесную комнату. Мальчик принес в номер керосиновую лампу. Пока я разбирал вещи, он стоял у дверей в мокрых отцовских сапогах и смотрел на меня с тревожным любопытством.

— Вы его защищать приехали?— спросил он тихо и заплакал, вытирая длинным рукавом слезы.— Сегодня его перевели с острова. Я видел, как он сошел с катера,— высокий такой, светлый. Посмотрел кругом на людей, а людей было много, и люди все заплакали. Все наши, очаковские,— и женщины, и рыбаки, и кое-кто из ребят. Он махнул нам рукой, и его увели.

Да, много было тогда слез, что и говорить! Изредка мне случалось посещать дома простых людей в Очакове. Я не могу передать, как это было тягостно.

Город притих, сжался. Несчастье вошло в дома, погаси-

ло очаги и приглушило голоса. Мне чудилось тогда, что по ночам город не спит. Люди лежат в темноте, прислушиваются к заунывному шуму ветра и думают о последних часах его жизни.

Раз уж я заговорил о слезах, то позвольте рассказать вам еще один случай.

В первый день суда сестра Шмидта вышла к гауптвахте, чтобы хотя издали увидеть брата.

Первым вывели матросов-очаковцев. Их одели на суд, как на праздник. Сестра Шмидта, глядя на них, заплакала.

— Плачет...— прошел по рядам матросов глухой шепот.— Это сестра Шмидта... Плачет по нас...

Матросы сняли бескозырки — ничем другим они не могли выразить ей свое сострадание и благодарность.

— Если бы в эту минуту,— говорила потом сестра Шмидта,— можно было стать на колени, я поклонилась бы им до земли.

Не взыщите,— я с трудом вспоминаю эти дни. Придется говорить покороче.

Я слышал его последнюю речь на суде. Он сделал все, чтобы спасти матросов. Этой речью он вырвал у суда не меньше десяти жизней. Я не помню всей речи. Я приведу вам только несколько слов.

«Предсмертная серьезность моего положения,— сказал он,— побуждает меня еще раз сказать вам о тех молодых жизнях, которые ждут со мной приговора. Никого из них нельзя карать равным со мною образом. Сама правда требует, чтобы я один ответил за это дело в полной мере, сама правда повелевает выделить меня.

Когда провозглашенные политические права начали отнимать у народа, то стихийная волна жизни выделила из толпы меня, заурядного человека, и из моей груди вырвался крик. Я счастлив, что этот крик вырвался именно из моей груди.

Я знаю, что столб, у которого я встану принять смерть, будет водружен на границе двух разных исторических эпох нашей родины.

Позади, за спиной у меня, останутся народные страдания и потрясения тяжелых лет, а впереди я буду видеть молодую, счастливую, обновленную страну. Высокая радость и счастье наполнят мое сердце, и я приму смерть».

После приговора матросы окружили Шмидта, прощались с ним, обнимали его и благодарили.

Потом их вывели. Сестра Шмидта подошла к нему. Конвойные, нарушив устав, быстро и хмуро расступились. Взявшись за руки, брат и сестра прошли последний путь через весь город до пристани.

Там Шмидта и матросов посадили на баржу и отправили на плавучую тюрьму «Прут».

Жители собрались около суда. Толпы провожали глазами Шмидта и матросов. Многие стояли, обнажив головы.

Осужденные шли в суровом, торжественном молчании. Матросы срывали с себя погоны и бросали их в грязь на дорогу.

Дул холодный ветер. Черная мгла висела над заливом и степью.

Все было кончено. По статье сотой Уголовного уложения Шмидт был приговорен к повешению, а Частник, Гладков и Антоненко — к расстрелу. В виде особой милости Чухнин заменил Шмидту повешение расстрелом.

Я стоял на пристани. Когда проводили мимо меня матросов, Частник со своей обычной застенчивой улыбкой крикнул мне:

— Прощайте! Под крест идем!

Потом я увидел Шмидта. Он шел легко и твердо. Скупой луч солнца прорвался наконец сквозь мглу. Он озарил Очаков и шествие смертников холодноватым серым светом. Блеснули штыки.

Шмидт сказал мне отчетливо и громко:

— Прощайте, Александр Сергеевич.

Я снял шапку и ничего не мог ему ответить. Спазма сжала мне горло.

Я пошел через притихший город в степь. Я бродил по степи до ночи, без шапки, плачущий и растерянный.

Я забрел к крепостным складам. Часовой окликнул меня. Я ничего не ответил. Он подошел ко мне с винтовкой наперевес и посмотрел в лицо:

— По нем плачешь?

Я молчал.

— Эх! — Часовой отвернулся.— Уйди ты от меня, не тревожь. Уйди! — крикнул он.— Как человека прошу!

Я ушел. Я видел в свинцовой воде тусклый силуэт транспорта, где Шмидт ждал казни, видел его огни, но плохо понимал, что происходит вокруг.

Вернулся я в гостиницу ночью. Меня поразила пустота — все разъехались. Я остался один. Утром я заболел от пережитых потрясений, и меня отправили в Одессу».

Последний отрывок из рукописи Гарта носил название «Казнь».

«Шестого марта с рассвета дул свежий ветер, но небо было безоблачно и прекрасно.

Всю ночь перед казнью Шмидт писал письма. На рассвете он переоделся — надел чистую рубаху — и умылся.

К борту «Прута» подошел катер. Катер било волнами, и Шмидту был ясно слышен лязг его якорных цепей.

К Шмидту вошел священник и предложил ему принять причастие. Шмидт похлопал его по плечу и ответил:

— Я с удовольствием приму ваше причастие, батюшка, если вы найдете в Евангелии слова о том, что можно убивать людей.

В Евангелии таких слов не было. Священник смутился и вышел.

Шмидт потребовал, чтобы его и товарищей не связывали перед казнью. Когда Шмидт спускался по трапу в катер, он оступился. Жандармы быстро накинули на него веревку. Шмидт остановился и гневно крикнул:

— Вы обещали не делать этого!

Веревку сняли.

Катер шел до острова Березани больше часа. Шмидт выходил на палубу, смотрел на море и курил.

К острову катер не мог подойти из-за мелководья и прибоя. Надо было перевозить приговоренных на лодках. Очаковские рыбаки наотрез отказались дать лодки.

— Для подлого дела лодок у нас нет! — ответили они жандармскому ротмистру.

На берегу Шмидт и матросы спокойно пошли к врытым в землю четырем столбам. Говорили о детстве, о том, какое хорошее над островом небо. Частник был бледен и ласков.

Около столбов стояли гробы, и солдаты неуклюже и торопливо рыли братскую могилу.

Все очевидцы говорят, что Шмидт и матросы шли на казнь величественно и спокойно. Около столбов Шмидт попрощался с матросами. Частник долго стоял, обняв Шмидта, прижавшись головой к его плечу.

Когда читали приговор, Шмидт неотступно смотрел на море.

Расстреливали матросы-новобранцы с канонерской лодки «Терец». Позади них стояли солдаты. Орудия «Терца» были направлены в упор на отряд, производивший расстрел.

Командовал расстрелом лейтенант Михаил Ставраки.

Когда Шмидт проходил мимо него, Ставраки снял фуражку и стал на колени. Шмидт мельком взглянул на него и сказал:

— Лучше прикажи своим людям целиться прямо в сердце.

Шмидт и матросы после прочтения приговора подошли к столбам. Саванов не надевали. Солдаты опустили ружья. Многие плакали. С несколькими случились обмороки. Офицеры растерялись. Казнь затягивалась.

Шмидт нетерпеливо махнул рукой. Ставраки скомандовал «огонь», пригнулся к земле и закрыл лицо руками.

Звеняще и тревожно пропела труба горниста. Шмидт не отрываясь смотрел на море, где в бездонной голубизне зарождался день его смерти.

Ударил залп. Шмидт и Частник упали замертво. После второго залпа был убит Гладков и упал Антоненко.

Матросы с «Терца» бросали ружья и растерянные бежали к берегу. Антоненко поднялся, осторожно потрогал свою кровь и сказал с каким-то детским недоумением:

— Вот и кровь моя льется...

Его пристрелили из нагана.

А в это время сестра Шмидта металась по канцеляриям министров в Петербурге и требовала помилования брата. Ей не говорили ничего определенного, хотя все знали тайный приказ Николая расстрелять Шмидта во что бы то ни стало.

В Очаков сестра Шмидта приехала на девятый день после расстрела.

На рыбацкой лодке она переехала на остров. Прошлогодняя полынь серела на глине.

Сестра шла по пустынному берегу, низко наклонив голову,— она как будто искала следы брата и матросов.

В одном месте на рыхлой земле лежало крестом несколько больших светлых камней. Их ночью после казни положили очаковские рыбаки.

Стоя на коленях перед братской могилой, сестра долго

смотрела на небо, на печальный остров, на все, на чем в последний раз останавливались глаза смертников, потом засыпала могилу грудами красных цветов.

Россия молчала. Небо было безоблачно и прекрасно».

На этом кончалась рукопись Гарта о Шмидте.

РАЗГОВОР НА КОРАБЕЛЬНОЙ

Мы шли с Гартом на Корабельную сторону по узкому проходу между каменных оград.

С оград свешивался плющ. Теплый инкерманский камень выветрился и казался покрытым не то гнездами стрижей, не то пчелиными сотами.

Проход этот тянется около километра. Он то подымается на холмы, то спускается вниз. В оградах видны замурованные двери. В трещинах камней растет чертополох.

У подножия оград цветут в пыли последние желтые цветы — те скромные осенние цветы обочин и пустырей, какие даже не имеют имени. Может быть, имя у них и есть, но никто его не знает, кроме ботаников.

Я сказал Гарту, что этот проход напоминает старинные порты. Мы как будто не в Севастополе, а в выдуманном Кастле из его рассказов.

Гарт ничего не ответил. Он шел и тщательно отбрасывал ногой камешки с дороги.

Заговорил Гарт только на Малаховом кургане. Бронзовый адмирал Корнилов с равнодушным лицом предлагал отстаивать Севастополь. В колючих кустарниках паслись коровы.

Гарт остановился около белого памятника французским и русским солдатам, убитым при штурме Малахова кургана, и вслух прочел надпись:

Unis pour la victoire,
Reunis par la mort —
Du soldat c'est la gloire,
Des braves c'est le sort!

(Их объединила победа, и снова объединила смерть. Такова слава солдата, таков удел храбрецов.)

— Неплохо придумано,— сказал Гарт равнодушно.— А то, что вы говорили насчет Кастля,— это вы оставьте. Мне сейчас не до этого. Я написал несколько отрывков

о Шмидте, неполных и несовершенных. Они мне дались тяжело. Теперь будет трудно писать по-старому.

— Почему?

— Меня уже не интересует выдуманная жизнь. Я хочу найти подлинный материал такой же силы, как материал о Шмидте, и работать над ним. За Шмидта я взялся почти случайно, но вот видите, к чему это привело.

Смешно было говорить Гарту о моих мыслях по этому поводу. С Гартом произошло то, что должно было случиться. Он был думающий и наблюдательный человек, и уход от равнодушия к подлинной жизни был для него неизбежен.

Гарт шел к перелому медленно и по-своему — через знакомство с Дымченко, через мысли о романтике Шмидте, через музыку Верди на советских кораблях и через как будто бы фантастический проект об уничтожении ураганов, осуществить который могла только Советская страна.

Я промолчал и показал Гарту на вечернее небо над Северной бухтой. Лиловое и темное, оно было освещено красноватым огнем облаков. На нем пылали, как желтые костры, рыбачьи домики в безвестных слободках. Мгла лежала в глубоких балках. Севастополь зажигал первые огни.

— На днях я поеду с Юнге в Коктебель, а оттуда в Новороссийск,— сказал Гарт.— Мы займемся борой. Это очень увлекательно.

— Вы начинаете борьбу за уничтожение боры?

— Да... Очень возможно,— ответил Гарт.

Он пробормотал несколько слов. Из них я понял, что Гарт обвинял меня в скептицизме и неверии в возможность уничтожить бору. Я опять промолчал,— должно быть, от изумления.

С Павловского мыса мы переправились в город на ялике. Южная бухта и Севастополь показались мне нагромождением огней, пароходных труб, сигнальных мачт, колоннад, памятников, якорей и осенних звезд, дрожавших в изрезанной катерами воде.

Через два дня Гарт уехал, оставив мне в Севастополе своих знакомых — Сметанину и Дымченко. Я обещал через неделю приехать в Коктебель, но некоторые события — о них речь будет ниже — задержали меня, и я встретился с Гартом значительно позже.

Судьба преследует меня. Еще не было случая, чтобы мои планы сбывались. Всегда на моем пути попадется какое-нибудь событие и отвлечет в сторону от намеченной цели.

На юг я приехал для работы над книгой. Мне следовало безвыходно сидеть в севастопольской Морской библиотеке и изучать необходимые для книги материалы. Но вместо этого я заинтересовался делами, не имеющими отношения к книге, и потерял три месяца на скитания по побережью.

Я не жалею об этом. Побережье Черного моря дало мне много знаний о людях, революции, кораблевождении и жизни глубин, ветрах и древних культурах. Все эти знания были овеяны запахом морской соли и воздухом нашей молодой страны.

АРТЕМИДА-ОХОТНИЦА

Луч прожектора пронесся над оградой и рассыпался известковой пылью в зарослях по склону горы. Яркий блеск наполнил до потолка низенькую хибарку Дымченко. Он раздвинул стены и исчез,— стены снова сжались и потемнели.

Желтый огонь керосиновой лампы освещал деревянный стол, изрезанный хлебным ножом. За печкой тикал, как ходики, сверчок. Запах старости не выветривался из комнаты — теплый запах мела и пыли.

— А ну, покажь еще! — таинственно сказал Дымченко.

Старый рыбак Андрей, приятель Дымченко, осторожно разжал руку. Я нагнулся.

На ладони тускло сверкнула золотая монета. На ней было выбито изображение Артемиды-охотницы. Ее тяжелые волосы были завязаны высоким узлом. Короткий хитон развевался от порывистого движения. Одной рукой она подымала лук, другой держала за рога испуганную козулю и пыталась ее опрокинуть. Лицо Артемиды дышало волнением и гневом.

— Должно, греческая богиня,— пробормотал Дымченко.— До чего ловкий народ пиндосы! И лимонами не дураки торговать, и моряки с них подходящие, и скумбрию жарят как никто, и на́ тебе — каких богинь с золота делают!

— Одна морока мне с той богиней! — закричал тонким голосом Андрей и с досадой высморкался.— Одно мучение мне через ту чертову богиню. Не пойму, куда ее пристроить до дела!

Я взял монету. В трещинах темнела тончайшая пыльца тысячелетий.

Андрей третий раз повторил незамысловатый рассказ об этой богине:

— Скажу вам по секрету: под Херсонесом есть у меня одно тайное место, вроде яма с-под старого фундамента. В той яме понаходил я много глиняных грузил. Старинные грузила, прочные, обожженные,— лучше наших. На них я ловил цельный год, а недели две — не больше — отобрал их у меня какой-то московский. Десятку мне за них дал. Высмотрел, очкастый, как я сеть с воды вытягал, и пристал до меня, как заноза. «Не отдашь, говорит, я их у тебя все одно реквизирую в пользу пролетариата. Потому это вещи для музейного назначения». Я и отдал. Мне они без особой надобности.

На другой день подался я до своей ямы новые грузила копать. Грузил не нашел. Однако слышу — под камнем бренчит жестянка. Я до нее, а она золотая. У меня в глазах жар сделался. Чуть не сомлел я от страха. Взять боюсь и оставить боюсь.

Однако взял, завернул в платок и с той поры хожу, как бандит,— ни сна, ни покоя. Будь она трижды проклята, анафема, нет на нее погибели! Отдать боюсь и ховаю каждую ночь в ялик под пайол,— не хочу ее в хате держать.

Теперь должны вы дать мне правильное назначение, как ту богиню притулить до дела. Есть у меня думка продать ее и купить на те гро́ши корабельных гвоздей.

Из-за этой богини мне пришлось остаться у Дымченко. Совещание затянулось до полуночи. Идти ночью через степь на Северную, а оттуда ехать в город мне не хотелось.

Я долго рассматривал монету, пораженный тонкостью и чистотой ее чеканки. Она, очевидно, принадлежала к первым векам существования Херсонеса, когда этот город был крепостью Эллады на берегах Крыма. Тогда Черное море называлось Понтом Эвксинским, что значит — Гостеприимное море; а в древних греческих лоциях — периплах — Херсонес еще называли Херронисом и Гераклеей, Крым — Киммерией, а Азовское море — Меотийским болотом.

Но уже тогда Черное море было описано древними географами с той скупой выразительностью, с какой умели писать римляне и греки. Геродот и Страбон, Плиний и Аристотель уже говорили о «великих пучинах» Черного моря.

На совещании у Дымченко было решено сдать монету в музей. На вырученные деньги Андрей мечтал купить корабельные гвозди. Зачем они ему понадобились, я не спрашивал. Это выяснилось позже.

Ночью я часто просыпался,— должно быть, от непривычной тишины. Я выходил во двор, прямо в степь, засыпанную звездами. Рыжик, гремя цепью, усаживался около меня и обмахивал теплым хвостом мои ноги.

Над морем висела дикая мгла. Запах соленых бухт и сухой травы доходил до порога хибарки.

Я думал о древности этого края. Известняк под ногами казался спрессованным прахом многих поколений. Все смешалось в здешней каменистой почве — и черепа гуннов, и римские надгробья, и французские ядра, и кости расстрелянных матросов с «Потемкина», и заржавленные врангелевские штыки. Я вспомнил слова Палласа, что «окрестности Севастополя представляют поистине землю классическую».

Одиссей проходил по этим берегам. Печальная Ифигения, дочь Агамемнона, томилась здесь тоской по Элладе,— девушка, воспетая в величавых стихах Еврипида.

Мифы, что теряются в человеческой памяти, подобно парусам в ночных просторах моря, казались волнующими и новыми, как только что прочитанная книга.

Здесь я особенно ясно понял простоту древней поэзии. Я понял волнение наших предков — участников французской революции, волнение Байрона и Гете, Пушкина и Гнедича, пытавшихся воскресить в стихах блестящий век Эллады и ее «божественную речь».

Я с корабля сошел при блеске ночи,
При ропоте таинственных валов...
Горела грудь, в слезах кипели очи:
Я чувствовал присутствие богов...

Так писал о Греции поэт Щербина. Он увидел ее впервые ночью. Парусный корабль причалил к берегам Эвбеи. Щербина сошел на греческую землю, полную великих воспоминаний.

Дымченко не спалось. Он вышел покурить. Далеко в море протрубил пароход.

— Дельфин плачет,— сказал Дымченко.— Бывают ночи осенние, когда дельфин плачет по всему морю, от Севастополя до самой Турции, и его тогда немыслимо бить. Рука на него не подымается. Ни один дельфинер, даже балаклавский, и не подумает в ту ночь стрелять дельфина. А об чем он плачет, тут люди болтают всякое.

Говорят, в древние греческие времена жила в Херсонесе в изгнании молодая женщина неслыханной красоты. В Греции остался у нее человек любимый. Она приходила до моря и долго смотрела на турецкую сторону. Но ничего она не видела — одна волна и волна,— и год, и два, и десятки годов.

Женщина кормила дельфинов. Стаями они собирались и играли около нее и старались, кто чем мог, утешить ту женщину. По любимому человеку была у нее немыслимая боль. Зябла она здесь, на чужой и холодной земле.

И вот пришла ночь ее смерти. Снег падал с неба. Море лежало черное, как самая ночь, и ветер — бора — дул с севера, со злой, дикой стороны.

Женщина легла на берегу на сырые камни, звала любимого человека и плакала тяжелыми слезами, но никто не ответил. Только волна била и била в каменья, как много годов до этого, как бьет и по сегодняшний день.

И умерла та женщина. Звезды покатились с неба, а дельфины стаями кинулись к Греции, к теплому морю, чтобы донести до родных слух о злой ее смерти. Каждый год в ту ночь, как она умерла, плачут дельфины по всему Черному морю. Плачут и стонут человеческим голосом.

Дымченко помолчал. Я узнал в этом рассказе далекий миф об Ифигении.

— Оно конечно, сказка. Рыбаки промеж себя выдумывают от скуки. Есть такие артисты рассказывать — ночь всю просидишь с ними, ни в одном глазу сна не будет!

Три дня я потерял на раскопки около Херсонеса. Мне, взрослому, было немного стыдно тратить время на то, чтобы ковыряться в земле вместо назначенной мне работы. Поэтому я втянул в раскопки двух пионеров. Они мечтали отрыть из-под земли «дохлого воина».

Сметанина смеялась надо мной. Но на второй день, когда мы нашли светильник для масла с выпуклым изобра-

жением рыбы, она перестала смеяться и начала с таким же азартом, как я и мальчишки, перебирать сухой щебень.

Кроме светильника и трех грузил, мы ничего не нашли. Андрей показал нам яму, где следовало рыть. Он получил от музея за монету сто рублей. У археологов, по словам Андрея, руки затряслись, когда они увидели его богиню.

Мы рыли три дня, а на четвертый отнесли находки в музей и показали одному из сотрудников.

Он был удивлен и подозрительно нас расспрашивал, кто мы и почему так заинтересовались древностями. Он смотрел на нас, как на врагов, вторгшихся без объявления войны на чужую территорию.

Только после длинного разговора он смягчился и даже показал нам много бронзовых, свинцовых и несколько золотых монет.

Он пересыпал их на ладони и называл имена городов, где они чеканились,— блестящий список имен: Пантикопея, Феодосия, Родос, Синоп, Ольвия, Фанагория, Неаполис Македонский и еще множество имен, которых я не запомнил. Все эти имена говорили о былом богатстве Херсонеса. Он вел торговлю со всем тогдашним миром.

В конце концов сотрудник успокоился и начал поглядывать на нас сквозь очки с веселой доброжелательностью.

Он провел нас на место последних раскопок и показал пласты почвы разных эпох. По ним, как химик по спектральным линиям, археолог читал прошлое этих берегов.

Верхний слой был полон гигантских камней от обвалившихся стен Херсонеса и новых могил,— в прошлом веке в Херсонесе было устроено карантинное кладбище.

Второй слой принадлежал византийской эпохе. Здесь нашли много монет Византии.

Ниже лежал третий слой, где было много остатков римских времен. И наконец, в самом низу, на материковой скале, лежал слой эллинских вещей, главным образом черепков посуды, покрытых тусклым черным лаком.

В одной из стен нашли мраморную голову юноши,— очевидно, творение великого мастера четвертого века до нашей эры.

Сотрудник показал нам эту голову. Она была покрыта чешуей окаменелой пыли. Кто-то из диких жителей Херсонеса времен Византии, какой-то христианин, замуровал ее в стену своего жалкого дома вместо строительного камня.

При виде этой разбитой головы я вспомнил о разруши-

тельной силе христианства, о скуке и изуверстве, пришедших на смену утренним культурам Греции и Рима.

С гимназических времен я чувствовал неприязнь к христианству с его манной кашей добродетелей. Христос казался мне молодым толстовцем, изрекающим слащавые истины, а его бородатые святые походили на ломовых извозчиков.

Раскопки в Херсонесе нам так понравились, что несколько дней после этого мы бродили по окрестностям Севастополя и в каждом камне и разбитом черепке видели следы давно исчезнувшей жизни.

Ничто не дает такого резкого ощущения времени, как знакомство с древней страной.

С невольным уважением прикасаешься даже к черным, как уголь, зернам ржи, насыпанным в амфору тысячи лет назад, или к позеленевшим рыболовным крючкам скифов.

Таинственное всегда привлекает, особенно детей и стариков. Старики занимаются преимущественно историей, где область загадок очень обширна.

Дети предпочитают таинственность другого рода, хотя бы рыбную ловлю. Это занятие полно неожиданностей. Никто никогда не может знать ту долю секунды, когда поплавок вздрогнет и косо пойдет вниз, в прохладную глубину.

Ожидание этого события, приносящего на конце лески трепещущую рыбу, погружает не только детей, но и взрослых в настроения, свойственные снам и сказкам.

Мы обошли Херсонесский полуостров до Балаклавы.

Мы беседовали с огородниками, жившими в каменных гробницах греческого некрополя. Огородники спали на лежанках, устроенных сотни лет назад для мертвецов. Они рассказывали нам о подземных ворах и подделывателях древних монет.

В первые годы раскопок Херсонесский полуостров кишел подземными ворами. Они расхищали могилы и пропивали находки в матросских кабаках на Корабельной стороне. Больше всего ценились тонкие золотые пластинки — ими во времена древнего Херсонеса закрывали умершим глаза и рты.

Рассказывали о рыжем человеке исполинского роста, воре с деревянной ногой, носившем прозвище «Мальчик».

«Мальчик» сколотил на остатках греческих погребений

небольшой капитал. Он купил на него ялик и переменил опасную и неверную профессию расхитителя древностей на спокойную жизнь перевозчика через Южную бухту. Ялик его назывался «Некрополь». По-гречески это означает кладбище.

Теперь племя подделывателей монет выродилось. Последние его представители доживали свой век честной жизнью в глухих приморских городках Крыма.

О ловкости подделывателей рассказывали чудеса. Секреты изготовления древних монет передавались от дедов и прадедов. За продажу их в чужие руки изменнику грозила смерть.

Монеты удавалось сбывать не только любителям, но и матерым археологам. Говорят, подделыватели, несмотря на прожженное жульничество, относились к археологам почтительно, как к товарищам по профессии. Однажды, в знак своей любви к историческим изысканиям, они подарили одному музею лучшую по мастерству подделки монету.

Эти рассказы в сотый раз убедили нас в том, что древняя история человечества темна и непонятна. Но они не поколебали нашего уважения к археологам, стремящимся найти нити от былого к настоящему и помочь нам разобраться в детстве человечества.

На берегу Казачьей бухты мы видели основания прекрасных колонн. Около мыса Фиолент мы долго искали развалины храма Дианы, но ничего не нашли. Об этом храме Пушкин писал после поездки в Крым: «Тут видел я баснословные развалины храма Дианы».

До сих пор я помню эти скитания со Сметаниной по пустынным степям и побережьям.

Мы очень подружились, хотя ничего не знали друг о друге. (Обычно люди дружат, лишь разузнав всю подноготную.)

Сметанину древности интересовали как художницу. Она любила формы старинных сосудов — амфор и громадных, выше человеческого роста, пифосов, где в древности хранили вино и зерно. Много таких пифосов нашли на дне Северной бухты.

Она зарисовала древние светильники с гербом города Ольвии — орлом, парящим над дельфинами,— монеты и статуи. Но больше всего ей понравился надгробный памятник рабу — белый камень с изображением кривого виноградного ножа.

Особенно занимала Сметанину раскраска посуды. Она ничем не отличалась от красок окружающей земли. В ней господствовали коричневый, почти красный, цвет почвы и нестерпимо синий оттенок моря. Чтобы зарисовать эти древние вещи, Сметанина тщательно подбирала краски — терракоту, сиенну, венецианскую красную землю и шершавый густой кобальт.

Археологическое бродяжничество окончилось в Мраморной бухте около Георгиевского монастыря. Мы провели там весь день. Я ловил бычков и розово-зеленых рулен. Сметанина читала рассказы Гарта.

Каждая мелочь этого дня вре́залась в память. Я помню даже морского конька под водой и шорох щебня на обрыве. Воздух был очень прозрачный. Каждая валявшаяся на песке обломанная клешня краба и камешек сердолика казались совершенно выпуклыми. Рыбы сверкали на самолове. Я видел их, когда они бились еще на большой глубине. Креветки шевелили голубыми лопастями ножек. Медузы валялись на кромке прибоя шарами мягкого стекла.

Осеннее солнце быстро склонялось к горизонту, но мне не хотелось уходить. Можно было сутками сидеть на берегу и смотреть в туман, стараясь различить черту неведомых берегов, и потом понять, что это не берега, а гряда облаков, висящих в небе очень далеко, пожалуй над Мраморным морем.

Можно было пересыпа́ть песок и находить обломки ракушек, чешую скумбрии, пахучие нитки морской травы, осколки мрамора и халцедона.

Можно было в упор смотреть в глаза свирепому крабу и, подняв гниющую траву, увидеть фейерверк из прозрачных морских блох.

Можно было рассматривать подводные миры, слушать дыхание женщины, увлеченной чтением, и размышлять о тех временах, когда неторопливое созерцание будет признано столь же необходимым для человека, как сон и чтение.

РЖАВЫЕ КОРАБЕЛЬНЫЕ ГВОЗДИ

Два дня я работал в Морской библиотеке. Я рылся на полках, уставленных кожаными фолиантами.

Но даже в библиотеке было много соблазнов, уводивших в сторону от главной работы. Я зачитывался лоцией

Красного моря, хотя для моей книги это было не нужно, рассматривал заграничные морские журналы с рисунками кораблей всех стран и эпох, начиная от Ноева ковчега и кончая последними океанскими лайнерами, изучал модели корветов, развешанные по стенам, и досадовал на недостаток времени.

Богатство неожиданных знаний было так велико, что сутки казались пустяковым промежутком времени.

На третий день я встретил Сметанину. Она видела Дымченко и сообщила мне любопытную новость — дед Дымченко и Андрей обивают корабельными гвоздями старую барку «Перекоп». Занятие это казалось Сметаниной совершенно бессмысленным. По ее словам, гвозди вколачиваются без всякой видимой цели один около другого по всему днищу барки.

Вечером я поехал на Северную сторону. Действительно, я застал стариков за этим занятием. Они предложили мне принять участие в работе. Гвозди надо было вколачивать так, чтобы между шляпками оставался промежуток не больше сантиметра.

Барка стояла на толстых деревянных стойках. На бушприте мылся облезлый рыжий котенок. Он внимательно поглядывал на меня прищуренным глазом.

Около барки, как водится, сидели любопытные. Они покуривали и поплевывали, перекидываясь замечаниями,— делать им было совершенно нечего. Они поглядывали то на нас, то на дым из очагов, подымавшийся к небу. Дым возвещал о близости сытного ужина и усиливал добродушное настроение любопытных.

Шел разговор о горестной судьбе Андрея,— ему всю жизнь не везло. Этот разговор помешал мне сразу же узнать у Дымченко назначение нашей непонятной работы.

— Один раз мне в жизни повезло,— кричал Андрей, чтобы заглушить стук молотков,— да и то, так сказать, неудачно. Было дело в германскую войну. Я рыбалил в Балаклаве с пиндосами. Ловля была плохая. В море далеко не сунешься, а в бухте рыбы нет и нет,— чистое наказанье!

Однако темной ночкой нагнало, на наше счастье, кефаль. Забила она бухту так густо, что весло вставишь — оно торчком стоит и само идет по воде. Но нет возможности ту кефаль ловить. Нету в Балаклаве морского червя, а она на него одного и берет.

Подался я до Инкермана. Там, сказывали, в одном лиманчике того червя была пропасть. Приперся я, начал копать — нет червя и нет. Он, стерва, глубоко в грязь зарылся, никак не докопаешься. Жара, пот с меня льется, весь в грязи, как кабан, а червя нет и нет.

Я уже думал плюнуть на это дело. Сел покурить. И тут якась чертовина как взвыла, как вдарила в лиман с полного ходу — меня зашвырнуло сажен за десять. Вскочил я, смотрю — нет лиманчика! Одна яма, и с нее желтый дым идет. То «Гебен» подошел к Севастополю и первым снарядом, собака, запустил в меня, в рыбачка.

Вся грязь с лимана раскидана круг меня по балочке, и в той грязи червя — многие миллионы. Собрал я его два ведра, воротился в Балаклаву, и взяли мы неслыханную силу кефали. А я три года был глухой на левое ухо — грязь мне взрывом в ухо набило. Вот какое дело, рыбачки!

Рыбаки наперебой заговорили о налете «Гебена».

Я воспользовался шумом и спросил Дымченко, для чего мы обиваем барку гвоздями. По-моему, работа эта носила чисто декоративный характер. Меня удивляло, что многочисленные зрители, склонные, как и все морские люди, к зубоскальству, не обращали на нашу работу никакого внимания. Они равнодушно поглядывали на барку, ставшую похожей на сундук, густо обитый для красоты медными гвоздями.

— Вы слыхали за корабельного червя? — ответил мне вопросом Дымченко.— Такая есть гадючка белая. Она деревянный корпус, такой, как у «Перекопа», источит за полгода в труху. Ходы она в дереве роет, да так густо — один коло одного. Нигде на всем Черном море нет такой силы корабельного червя, как у нас в Севастополе. До кампании пятьдесят четвертого года его тут не было, а в кампанию лихой адмирал Нахимов потопил в бухте Черноморский флот, загородил бухту от англичан, и с той поры червя развелось гибель. Старинный корабль — линейный, или, скажем, фрегат, или шлюп — все были деревянные. И на пропасть того дерева под водой собрался в Севастополь червь со всего берега — от Евпатории до самой Керчи. Сваи точит, ялики точит, где какое судно найдет — тут же точит. Вот и хоропятся от него моряки и рыбаки, как могут. То красят ядовитой краской, то обшивают подводную часть медным листом, разное делают. Однако у нас, стариков, свое верное средство — обивать кузов гвоздями. Червь тот

боится ржавчины хуже смерти. Мы гвозди вгоняем с таким понятием, чтобы шляпка от шляпки находилась близко. Ржа расползется, закроет весь кузов, и не будет тому червю ни ходу, ни возможности погубить «Перекоп». Андрей загнал богиню в музей за сто целковых, купил гвоздей, и вот — барочка будет у нас крепкая. Десять лет проплавает — ни один червь ее не возьмет.

Я вспомнил рассказ, слышанный в детстве, о корабельных червях, чуть не погубивших Голландию. В старое время плотины, ограждавшие Голландию от моря,— эта страна, как известно, лежит ниже уровня моря,— строились из дерева.

Цемента тогда не знали, а привозить камень издалека было дорого.

В один какой-то год корабельные черви проточили плотины. Вода начала просачиваться и затапливать зеленые равнины страны. Были собраны тысячи рыбаков и крестьян, подвезен лес, и страну удалось спасти.

Еще я вспомнил сказку о голландском мальчике. Он заткнул пальцем в плотине отверстие, проточенное корабельным червем, и держал палец, пока не прибежали взрослые и не законопатили щель.

Моя память получила толчок, и неожиданно я обнаружил, что в детстве много читал и слышал о корабельном черве.

В журнале «Вокруг света» я читал о корабле знаменитого пирата Дрека «Золотая лань». Он был насквозь изрешечен червем и погиб от этого в пучинах океана.

«Вокруг света» был журнал заманчивых приключений на суше и на море. Я помню гравюры на дереве, изображавшие черные гавани, матросов с бакенбардами и кораблекрушения около солнечных атоллов. В журнале печатались романы Киплинга и Буссенара, Жаколио и Стивенсона.

Там я читал замечательные повествования о капитанах парусников, прокопченных пороховым дымом в абордажных боях и изучивших все хитрости блокад. Когда такие капитаны блокировали Брест, адмирал Нельсон, проходя мимо их эскадры, поднял сигнал на рее своего корабля: «Видя вас, я дрыхну так же спокойно, как если бы ключ от Бреста лежал в моем кармане».

До сих пор я помню рассказ о капитане Мирсе. Во время морских сражений он ловил рупором упавшие на палу-

бу вражеские ядра и выбрасывал их за борт, прежде чем они успевали взорваться.

Все эти рассказы перемежались с описаниями Огненной Земли, с военными реляциями о боях в Трансваале и с путешествиями Миклухи-Маклая.

Рассказ Дымченко снова отвлек меня от работы. Я погрузился в изучение морских глубин и нисколько не жалею об этом.

Я утешал себя мыслью, что вдали от моря это изучение было бы не так увлекательно. Здесь, бродяжничая по окрестным берегам, я находил богатую пищу для размышлений и догадок.

В конце концов я бросил работу над книгой, махнул на нее рукой и с головой ушел в океанографию.

Разве любая область знаний, изученная даже неожиданно и как бы некстати, не составляет величайшей ценности для развития человека? Вот примерно те нехитрые доводы, какими я пытался усыпить придирчивое чувство долга.

Книгу я так и не написал, и все из-за этих проклятых корабельных червей, носящих красивое имя «торедо».

Это даже не червь. Это морская улитка, двустворчатая крошечная ракушка, не больше булавочной головки.

Она вгрызается в дерево острыми створками и все время вращается вокруг своей оси. Ходы, просверленные торедо, безукоризненно круглы и отполированы. Ни одно из животных и ни один из механизмов не могут проделать такой совершенной и тонкой работы.

Когда моллюск входит в дерево, то оставляет отверстие, едва заметное глазу. Он выпускает конец своего слизистого тела, наглухо прикрепляет его к отверстию и высовывает наружу две тоненькие трубки. По ним торедо всасывает воду и выбрасывает изжеванную древесную труху.

Торедо, вгрызаясь в дерево, быстро растет и толстеет. Поэтому ход делается все шире и длиннее, а тело моллюска, прикрепленное к входному отверстию, вытягивается, как резина. Вот тогда-то моллюск и становится похожим на червя.

Через несколько дней торедо уже не может вылезти обратно из своей деревянной норы. Достигнув старости, он умирает внутри дерева.

В тропиках торедо растягивается на два метра в длину и бывает толщиной в человеческую руку. На Черном море нет червей длиннее пятидесяти сантиметров.

Сколько бы червей ни сверлило один и тот же кусок дерева, их ходы никогда не пересекаются. Каким-то особым чутьем торедо узнает о близости чужого хода и сворачивает в сторону. Ходы переплетаются в причудливые и тесные узоры, но всегда между ними, как бы близко ни подходили они друг к другу, остается тончайшая прослойка дерева.

Я видел рентгеновские снимки корабельных корпусов, изъеденных торедо. Рисунок ходов напоминал непролазную чащу вьющихся растений или клубок безнадежно запутанных ниток.

Около Инкермана я нашел па берегу старую пристанскую сваю. Я отпилил кусок сваи, и передо мной открылся целый город, построенный торедо, полный широких дорог, тупиков и переулков. Внутри ходы были покрыты слоем твердой извести, а снаружи на сваях ничего не было видно, кроме небольших, похожих на точки, отверстий. Я без труда раскрошил сваю руками.

Знакомство с торедо заставило меня всерьез заинтересоваться жизнью моря.

Я перестал смотреть на него, как смотрел до тех пор и как, возможно, смотрит на него большинство людей,— вот, мол, исполинская чаша соленой воды, приятная для глаза.

Я узнал, что эта глубокая впадина, синяя от соли и зеленая от диатомовых водорослей, живет по точным, но подчас еще не раскрытым законам.

Жизнь моря оказалась настолько многообразной, что нужны были годы, чтобы узнать ее хотя бы в общих чертах.

Каждый раз, когда я видел его синий свет, его веселые пенистые бури, я думал, что мы знаем не больше червей. Мы живем в громадном, плохо разгаданном мире и топчем камни, цветы и травы, не подозревая о совершенстве их строения, не подозревая, что знакомство с ними обогатило бы наш опыт во всех областях жизни и какой-нибудь скромный одуванчик мог бы открыть дорогу к глубокому физическому оздоровлению человечества.

ВОДА ИЗ СВЕТА

Ночь оглохла. Сколько я ни прислушивался, я не мог различить ни одного звука. Изредка казалось, что я слышу осторожный плеск воды у прибрежного камня, похожий на затаенный вздох.

Я долго вслушивался и всматривался в темноту. Проходили долгие минуты, но звук не повторялся.

Иной раз я слышал высоко над головой шелест пролетающих птиц. Я знал, что чайки и бакланы давно уже спят, и не мог понять происхождения этого звука. Невольно в голову приходила мысль, что шелестят звезды.

Изучить все звуки ночи мне и Сметаниной пришлось поневоле.

Мы приехали на трамвае в Балаклаву. Весь день мы бродили по этому городу красных скал, кошек и стариков, беседующих около вытащенных на берег, подпертых известковыми глыбами шхун.

Мы ходили по сетям, разостланным во всю ширину набережной, как по серым коврам. В бухте, в зарослях морского салата, качались стада камсы.

Высокое небо с единственным облаком, похожим на кисть винограда, отражалось в воде.

В нишах домов вместо статуй стояли сухие олеандры и метлы из полыни. Тусклые огни светили из окон на воду, черневшую рядом с порогами домов.

Вечером прекратился ток. Мы попали в ловушку — трамвай не ходил. Нам пришлось заночевать в Балаклаве.

Сердобольная гречанка уступила пам комнату в доме, похожем на узкую крепостную башню. Балкон висел над самой водой.

Сметаниной спать не хотелось. Она сидела на балконе, закутавшись в одеяло, снятое с койки. Мы молчали. Я заметил, что Сметанина, несмотря на порывистый, веселый нрав, вообще много молчала.

Безмолвие ночи длилось недолго. Когда слух привык к тишине, я начал различать ворчание воды в подводных пещерах. Море бормотало во сне и сердилось на кого-то, кто не давал ему спать.

Огни в городе погасли. Только зеленый фонарь при входе в лагуну тлел не ярче фосфорной спички.

Я смотрел на Сметанину, но не видел ее лица. Внезапно, может быть оттого, что мои глаза устали, мне

показалось, что ее лицо осветилось холодным огнем. Я отчетливо различил чистый лоб, брови и встревоженные глаза.

Сметанина вскочила, схватила меня за руку и крикнула:

— Море горит!

Я оглянулся. Все, что произошло дальше, я до сих пор не могу представить себе как действительность. Люди в таких случаях говорят, что действительность была похожа на сон, но сейчас это было неверно. Она была лучше сна.

Море горело. Казалось, его дно состояло из хрусталя, освещенного снизу лунным огнем.

Свет разливался до горизонта, и там, где всегда сгущается тьма, небо сверкало, как бы затянутое серебряным туманом.

Широкий свет медленно мерк. Но после недолгой темноты море опять превращалось в незнакомое звездное небо, брошенное к нашим ногам. Мириады звезд, сотни Млечных Путей плавали под водой. Они то погружались, потухая, на самое дно, то разгорались, всплывая на поверхность воды.

Глаз различал два света: неподвижный, медленно качавшийся в воде, и другой свет — весь в движении, рассекающий воду быстрыми фиолетовыми вспышками. Это метались под водой разбуженные рыбы.

Сметанина потащила меня по темной каменной лестнице вниз, к воде.

Белый огонь набегал на пляж, и было видно все дно. Камни и жестянки, валявшиеся под водой, покрылись тонкой огненной росой.

Сметанина зачерпнула воду в ладонь. Сквозь пальцы полились с плеском струи жидкого магического света. Вода освещала лицо женщины, бледное от волнения.

Мы присутствовали при одном из самых величественных явлений в мире. Сметанина радовалась, как ребенок. Мокрые ее руки еще долго светились в темноте.

Море погасло так же быстро, как вспыхнуло.

До рассвета мы просидели на застекленной террасе и говорили о разных морских чудесах.

Лампа освещала на стене олеографию, изображавшую греческий крейсер «Аверов». Это был знаменитый «Аверов» — мишень для постоянных насмешек черноморских

рыбаков и гордость каждого грека. Рыбаки кричали, что на «Аверове» деревянные якоря. Я сам в Керчи был свидетелем жестокой драки из-за этого между рыбаками и греками — чистильщиками сапог.

Лампа освещала белые стены, стоножек, шкатулки из лакированных крабов и сухие букеты.

Мы говорили о фосфоресценции моря.

Осенью в морской воде появляются мириады бактерий-ноктилюк. Они похожи под микроскопом на лист водяной лилии. В них заложено множество крошечных светящихся зерен. Они-то и вызывают свечение морской воды.

Но светятся не только бактерии. Белым светом горят медузы. Таким же светом горит и странное животное — «морское перо», похожее на куст коралла. Если его вынуть ночью из воды, то множество блуждающих огненных точек начинает перебегать по ветвистым частям животного то вверх, то вниз.

Мелкие морские черви дают то синий, то зеленый, то фиолетовый свет.

Некоторые креветки излучают яркий желтый свет, а черноморская ракушка фолада, сверлящая скалы, горит голубым огнем.

В Средиземном море водятся прозрачные, как стекло, животные — пирозомы. Они светятся попеременно то красным, то синим огнем. Английский ученый Мозлей написал пальцем на пойманной большой пирозоме свое имя и бросил животное в воду. Через несколько секунд слово «Мозлей» вспыхнуло на теле пирозомы под водой с такой же яркостью, как вывеска кино.

Рыба морской черт носит перед собой на усиках два ярких электрических огня и приманивает на них глупых креветок.

Иные морские животные выпускают в воду светящуюся слизь, чтобы ослепить врага, иные пользуются собственным светом, как фонарем, чтобы отыскивать пищу.

МОРСКОЙ КАЛЕНДАРЬ

В то время я увлекался чтением старинных кругосветных путешествий. Я всегда носил с собой какую-нибудь пожелтевшую книгу и в свободное время прочитывал по нескольку страниц.

Сейчас со мной были «Записки из кругосветного плавания корвета «Абрек», написанные штурманом Серебряковым в 1865 году.

Спать не хотелось, и я прочел из этих «Записок» несколько страниц:

«Второго апреля 1864 года мы вошли в пассат и быстро приближались к острову Нукагива, лежащему в Тихом океане, вблизи Таити.

Ночью меня вызвали на палубу. Темнота была полной. Но тем более разительным представилось мне зрелище, открывшееся за бортами корвета.

В черной, как деготь, воде плавали во множестве, подобно китайским фонарям, огненные шары. Яркость их то прибывала, то убывала. Они внезапно гасли и потом, точно по безмолвному приказу, вспыхивали белым огнем.

Шаров этих было несчетное количество. Мы вытащили из воды несколько штук.

Матросы предполагали, что это громадные жемчужины. Догадка эта была вызвана тем, что мы шли над жемчужными рифами. Но огненные шары оказались большими медузами, или, по-нашему, «морскими сердцами».

Будучи вытащены на палубу, они разгорелись еще ярче. При их свете я сделал запись в судовой журнал об этом явлении.

Люди балагурили между собой, что вот, мол, Тихий океан приветствует наш приход столь пышной иллюминацией.

Утром мы увидели остров. Корвет лег в дрейф и послал шлюпку на берег. Пристать было трудно из-за бурунов, кипевших над коралловыми рифами. Мы выскочили из шлюпки в воду по пояс, вода была очень теплая.

С величайшим трудом, прорубая дорогу в первобытном лесу, мы вышли к спокойной лагуне.

В ее воде лежали раковины таких ярких цветов, что многие из нас не могли удержаться от криков восхищения. Я долго бродил в воде и собирал их, потом освежился молоком из кокосовых орехов. Растительность вокруг лагуны стояла цветущими стенами. Она издавала пряный и горячий запах.

Сотни земляных раков, сидевших в пустых раковинах и тащивших за собой свой дом, ползли к нам со всех сторон так поспешно, что мы решили отступить. Но раки, как выяснилось, были привлечены скорлупой кокосовых оре-

хов. Они выедали из них мякоть и нисколько нас не боялись,— даже тащили орехи у нас из рук.

Днем мы подошли к бухте Тайо-Хай. Несколько европейских домиков виднелось в зарослях хлебного дерева и кокосовых пальм.

К нам подплыла шлюпка с резидентом острова — толстеньким старичком-французом. Остров принадлежит Франции. Резидент предупредил нас, что на острове среди дикарей свирепствует оспа. Год назад к острову подошел перуанский корабль, силой захватил около ста туземцев и продал их в рабство в республики Южной Африки. Через год несколько туземцев-канаков вернулись на французском корабле, но все вернувшиеся заболели оспой и заразили остров. До тех пор эта болезнь не была известна жителям Тихого океана.

Ко времени прихода «Абрека» в Нукагиву из двух тысяч дикарей умерло около тысячи. А в 1804 году, когда этот остров посетил адмирал Крузенштерн, на нем было восемнадцать тысяч жителей.

На острове мы видели трех монахов, несколько солдат и отставного французского матроса — содержателя дрянной лавчонки. Он продавал дикарям на вес золота коленкор, стеклянные бусы и ром последнего сорта.

Вечером мы посетили короля Нукагивы — молодого человека, изрытого оспой. Он ежегодно получает от французского правительства три тысячи франков жалованья.

В комнате его мы нашли скудную европейскую обстановку, расшатанные стулья и столы, на стене висела олеография. Она изображала нападение волков на наши русские сани. Эту картину подарил королю какой-то русский бродяга, попавший на остров.

Король угостил нас джином. Сам он был пьян.

На этом острове нам пришлось услышать о явлении необъяснимом и представляющем интерес для ученых.

Резидент проводил досуг за джином и изучением обитателей моря. Он показал нам заспиртованного в стеклянном сосуде морского червя, носящего имя «палоло». Червя этого резидент назвал «морским календарем». Это прозвище было придумано не без оснований.

Весь год этот червь живет на дне океана, в трещинах скал и коралловых рифов. Но ежегодно в один и тот же день осенью все черви подымаются гигантскими стаями на поверхность воды для брачного танца. В этот день оке-

ап вблизи острова бывает сплошь покрыт червями палоло и их красной икрой. Вода приобретает яркий розовый цвет.

Задолго до этого дня туземцы готовят пироги для ловли палоло и вялят листья хлебного дерева. Палоло заворачивают в эти листья и едят. По словам резидента, вкусом своим черви напоминают свежую икру.

Появлению палоло предшествует ряд любопытных явлений.

Дня за три до всплытия палоло с гор к морю спускаются громадные стаи сухопутных крабов. Крабы идут на ловлю палоло.

Туземцы следят за деревом ало-ало — его европейского названия я не знаю. Когда оно покроется крупными красными цветами, дикари начинают следить за луной. Они ждут того вечера, когда луна взойдет над чертой горизонта. На десятый день после этого можно ожидать выхода палоло.

Мы провели весь вечер у резидента в беседе и спорах об этом явлении природы.

Луна подымалась над островом во всем своем великолепии. Зрелище этого светила, льющего лучи на затерянный в океане клочок земли, навело меня на мысль о могуществе лунного света.

Этот свет оказывает свою силу не только на червей палоло, но и на приливы и отливы в океане и на другие явления нашей во многом не разгаданной земли».

ДВОЙНАЯ ВЕСНА

То, что я узнал о червях палоло, заставило меня задуматься над влиянием времен года на жизнь моря.

Палоло роятся только осенью. Множество мельчайших морских обитателей живут один год и к зиме умирают. Знакомый мне моряк Баранов, капитан буксирного парохода «Смелый», в разговоре со мной обронил фразу: «Осень уже стояла на море — водоросли в то время завяли».

Как раз в эти дни в Севастополе кончалась сухопутная осень.

Облетала листва. Земля приобрела ту звонкость, какая предшествует выпадению снега. Птицы высокими стаями неслись в Турцию, и только желтые, под цвет инкерманского камня, бабочки изредка залетали в сады.

Слова капитана Баранова об увядающих водорослях вызвали мысль о смене времен года не здесь, на земле, а там, в морских глубинах.

Я решил найти Денисова и уговорить его спустить меня в водолазном костюме хотя бы на небольшую глубину, чтобы посмотреть подводную осень.

Денисова я не нашел, но все же погрузился в изучение подводной осени.

Я хотел найти характерные морские черты этого времени года.

Чем была замечательна морская осень? Прежде всего обилием рыбы. Реки тусклой свинцовой камсы лились мимо берегов Севастополя. Кефаль толпами слонялась по бухтам. Дельфины подошли к берегам.

Это явление казалось непонятным. На примере пресных рек и озер я знал, что по осени рыба прячется в глубокие омуты и залегает там до весны. Здесь же, на море, осенью начиналось необычное оживление. Даже мрачные бычки ловились сотнями в самом городе и у скал Херсонеса.

Водоросли не увядали, а, наоборот, качали на дне свои свежие густые леса.

Я решил, что Баранов что-то напутал.

Дымченко тоже склонялся к этой мысли. Он уверял меня, что в море бывает две весны. Одна совпадает с сухопутной весной наших широт, а вторая возвращается на море в октябре.

— А тому Баранову вы не верьте! — кричал Дымченко.— Он же капитан с буксира «Смелый», сам с образованных, а морочит голову. Га! Годов десять назад он поднял крик на весь Советский Союз, той Баранов. Весь Крым взбунтовал. Я, говорит, нашел английские документы, и в тех документах показано, что под Балаклавой потоплено английского золота на двести миллионов рублей. Погиб, говорит, у Балаклавы английский корабль «Черный принц», погиб от страшной бури во время обороны. А вез той корабль жалованье для английской армии. Десять годов назад, сами знаете, бедность у нас была. Ну и взялись искать того «Черного принца». Корабль нашли, а золота нет. Чи засосало его глубоко под песок и завалило камнями, чи его там и сроду не было — никто не знает. Есть у меня такая думка, что Баранов сбрехал. Шумный капитан, прямо грек! Как его буксир доходит до бухты, вся Северная слышит — такой крик он с мостика подымает

со своей командой. Та и команда ничуть ему не уступает. Всё херсонские да одесские. Вовсе отчаянный народ.

Баранова я знал хорошо и потому смеялся над словами Дымченко. Баранов был просвещенный и смелый капитан.

Слова Дымченко о двойной весне в морских глубинах подтвердили биологи.

Смена времен года на Черном море идет так — зима, весна, лето, вторая весна (в сентябре и октябре) и снова зима. Никакой осени нет.

В марте и апреле солнце с каждым днем подымается над морскими пространствами все выше, и на берегах расцветает розовая от миндаля и туманов черноморская весна.

Верхний слой воды в море нагревается. В нем начинается бурная жизнь. Особенно быстро размножается планктон — те мельчайшие животные и растения, главным образом диатомеи, которые плавают в воде во взвешенном состоянии.

Эти растения и животные не бесцветны. Иногда они придают пространствам моря красный, желтый или зеленый оттенок. Дарвин был поражен, когда корабль «Бигль» пересекал океан, кишевший красным планктоном. Граница между красной и синей водой была видна так отчетливо, будто ее провели кистью.

Каждую весну Черное море наполняется микроскопическими растениями — диатомеями. Как цветут весной заливные луга, так цветет диатомеей весеннее море.

Диатомея размножается с невероятной быстротой. Каждые двадцать четыре часа одна диатомея делится на две. Через десять дней из одной диатомеи получается около тысячи этих одноклеточных существ — не то растений, не то животных,— заключенных в хрупкую кремневую раковину.

Формы диатомей так причудливы, что кажутся плодом фантазии. Есть диатомеи, похожие на диски, квадраты, адмиралтейские якоря, на шары, покрытые щетиной, на осколки драгоценных камней и кости рыб, на семена земных растений и цветы.

Кроме диатомей, в планктоне плавает множество существ, обладающих всеми признаками растений и вместе

с тем способностью самостоятельно двигаться, подобно животным.

Знакомство с жизнью моря убедило меня, что здесь, в подводных пещерах и среди скал, живут в сумраке и тишине странные существа, являющиеся переходной формой от растения к животному. В море было много растений, умеющих двигаться, подобно животным, и много животных, неподвижных и прикрепленных к одному месту, подобно растениям.

Когда я впервые увидел актинию — ее зовут еще морской анемоной,— я никак не мог поверить, что это не цветок, а животное.

Актиния похожа на цветок, растущий на толстом стебле. Она неподвижно живет, или, вернее, растет, на скалах и морских берегах. Венчик ее вместо лепестков окружен множеством ярких красных щупалец, покрытых синими точками. В щупальцах содержится яд. Им актиния убивает животных и съедает их огромным ртом, похожим на щель в пестике цветка.

Весной море насыщено планктоном и диатомеей. На диатомовых лугах пасутся стаи рыб и морских животных.

К началу лета диатомея исчезает. Часть ее бывает съедена рыбами, часть опускается в глубину, где ее пожирает многочисленное население морского дна.

Жизнь медленно замирает, и кажется, лето должно перейти в бесплодную осень и закончиться зимой.

Но неожиданно в сентябре начинается вторичный расцвет планктона. Море снова наполняется гущей микроскопических растений и животных.

Стаи рыб снова идут серебряными подводными течениями, и тысячи чаек садятся на воду, хлопая крыльями. По шуму их крыльев, похожему на отдаленный гул водопада, рыбаки узнают о приближении скумбрии, камсы и фиринки.

После второй весны приходит черноморская зима с ее тяжелой водой, безжизненностью глубин и увядшими зарослями морских гниющих трав.

Веселые рыбы — макрель, чирус и паламида — уходят в Средиземное море. Норд-осты ревут в туманах. Снег тает, растворяясь в черной волне. Небо лежит над морем низким куполом и не дает тепла. Солнце уходит к югу, к далеким берегам других, более счастливых и праздничных морей.

Чем объяснить наступление на море второй весны?

Зимой в воде Черного моря сгущаются едкие фосфорные и азотные соли. Без них немыслима жизнь микроскопических растений — диатомей.

Растения вбирают в себя эти соли только под влиянием солнечного света. Зимой его мало, он слаб. Солнце низко идет над краем горизонта, лучи его косо ложатся на воду. Они не проникают в глубину, а отражаются от морской поверхности. Растительная жизнь мертва.

Весной солнечный свет затопляет море. Диатомеи начинают поглощать соли и быстро развиваться. Они съедают все запасы азотной и фосфорной соли в морской воде с неслыханной прожорливостью — примерно за один месяц. В мае уже начинается соляной голод, и диатомеи гибнут массами. Летом голод усиливается, и жизнь планктона замирает совершенно.

Но внизу, в холодной воде, даже летом запасы соли сохраняются нетронутыми. Планктон не может переселиться вглубь, чтобы жить этими запасами. В глубинах нет солнечного света, а без света планктон существовать не может.

Летом солнце нагревает верхние слои моря. Морская вода плохо проводит тепло. Поэтому верхняя, нагретая вода лежит слоем в десять — двенадцать метров толщиной на глубокой, холодной воде и с ней совершенно не смешивается. Смешать эти разные воды могут только сильные штормы, но летом их не бывает.

Осенью поверхность моря быстро охлаждается. Вся вода сверху донизу приобретает одинаковую температуру. Жестокие бури перемешивают воду, как в исполинском котле. Вода опять насыщается солью, и наступает новый расцвет диатомей и планктона — вторая морская весна.

Она длится, пока солнце дает достаточно света.

Но вот дни становятся короче, солнце устало склоняется к югу, свет его сверкает только на поверхности вод и, отражаясь от них, создает осенний блеск воздуха. Но морские глубины тонут все в большей и большей темноте.

Планктон умирает, вянут водоросли, и зима превращает море в неизмеримые бассейны холодной воды.

Зима подходила к Севастополю. Из своего окна я видел по утрам низкое небо и серое море. В тумане блестели только белые пятна каменных фортов. Прибой то выбрасывал на скалы умершие водоросли, то отходил от берегов

и надолго замолкал. Море отсыпалось перед зимними бурями.

Я собирал водоросли, похожие на кораллы,— их называли кораллинами,— и зеленую зостеру. Ею, как непроходимой чащей, заросли севастопольские бухты.

Зимние штормы срывали ее с камней и наваливали горами на мелях. Стаи осетров залегали на зиму в этой траве. Поэтому дед Дымченко, Андрей и все севастопольские рыбаки называли зостеру «осетровой травой».

От рыбаков я узнал, что между Севастополем и Одессой лежит филлофорное море. Оно занимает около трех тысяч морских квадратных миль. Дно моря на этом пространстве завалено красной, йодистой водорослью — филлофорой. Все рыбы, черви и раки в этом море красного цвета.

Тогда же по цвету водорослей я научился различать глубины моря. Зеленые и оливковые водоросли растут на мелких местах. Бурые лежат глубже на скалах, а на самых глубоких местах, на границе ядовитой сероводородной зоны, растут красные водоросли.

У северных берегов Крыма есть свое Саргассово море. Называется оно Джарылгацким заливом. Там заросли водорослей подымаются осенью со дна обширными полями. Пароходы, попав в них, наматывают на винты громадные шары морской травы, останавливаются, бросают якоря и ждут помощи.

Все берега залива завалены гниющей травой. Ее острый запах слышен в степях за километры.

Зостера придает морской воде темно-зеленый цвет. Только большие мели, где она не растет, сверкают в разных местах островами светлой воды. С мачты парохода по цвету воды можно набросать карту глубин пустынного степного залива с его песчаными островами, зарослями тростника и дикими птицами, гнездящимися около обветшалых маяков.

РАССУЖДЕНИЕ О КРАСКАХ И БРОНЗЕ

Из французских художников Сметанина больше всех любила старика Синьяка.

Он рисовал закоулки портов, сохнущие паруса и стеклянные двери матросских пивных. В них отражалось солнце. Он рисовал тени от мачт на дорогах, одуванчики, ка-

чающиеся от морского ветра, неуклюжих людей, мажущих смолой пузатые барки.

Рыбачьи дома, рвущиеся флаги и облезлые буксиры, плывущие по морю, как по жидкому солнечному свету,— все это на картинах Синьяка было доведено до совершенного блеска. Синьяк никогда не смешивал красок на палитре. Он не выносил грязи и тусклых оттенков.

Он брал основные цвета и клал их на холст маленькими точками — одну около другой. На расстоянии эти точки сливались в нужный художнику правильный цвет.

Картины Поля Синьяка надо было смотреть издали.

— Живопись нельзя нюхать,— сердито говорил Синьяк неопытным зрителям.— Отойдите подальше, дитя!

Картины Синьяка были написаны в манере пуантелизма, как уже говорилось — тысячами маленьких цветных точек, заполнявших полотно.

Глядя на картины Синьяка, я вспомнил кальмара, виденного мною в морском аквариуме на биологической станции.

Тело этого страшного хищника, напоминавшее обрубок дерева с длинными когтистыми щупальцами, было покрыто множеством маленьких точек очень ярких и чистых цветов — красного, синего и желтого. Издали эти точки сливались в желтоватый, то вспыхивающий, то тускнеющий цвет необыкновенной красоты.

Я не знаю, видел ли Синьяк кальмаров у рыбаков Бретани и Нормандии. Но вполне возможно, что художники заимствовали у этого обитателя океанских глубин свой способ работы и добились блестящих результатов.

Лишний раз я убедился, что море соприкасается с разнообразными областями жизни и дает много неожиданных познаний для каждого, кто умеет видеть и размышлять.

Я доказывал Сметаниной, что художники должны учиться чувству красок около моря. «Кто не видел моря, тот живет половиной души»,— сказал старый шкипер Кодрингтон. Имя его теперь основательно забыто. Это был английский моряк, писатель, почитатель Диккенса, добрый и отважный человек.

Неизмеримые просторы воды создают глубину красок, которой не хватает иным художникам. Сложный мир отражений и различного по силе и по углам падения солнечного света, отблески берегов, сумрак туч и сверкание огней, резкая раскраска морских животных, красные скалы и бе-

лые пески — все это заключено в пространство воздуха, то полного влаги, то резкого, как дыхание пустыни. Краски или расплываются в неясные пятна, или высыхают и горят напряженным цветом, или, наконец, покрываются тусклостью, свойственной древним странам земли.

Легче всего изучить эту изменчивость красок около моря.

Сметанина соглашалась со мной, но во взгляде ее я видел рассеянность.

Разговор происходил в дождливые сумерки. Мы подымались по выветренным ступеням к ее дому. Это был старый дом с каменными террасами, с разноцветными стеклами в окнах, с колоннами и диким виноградом, свисавшим со стен. Должно быть, его строил итальянец.

— Я хочу показать вам свою последнюю работу,— сказала Сметанина, зажигая свет в комнате.

Свет электрических ламп вытеснил темноту. Она повисла за стеклами дождливой завесой.

Сметанина долго рылась в книгах на столе, вытащила папку с рисунками и протянула ее мне.

Я надеялся увидеть последние пейзажи, но вместо них увидел неожиданные рисунки.

Я рассматривал их, улавливал связь между ними, но не понимал их назначения.

На одном был изображен трехтрубный миноносец. Он стоял на гранитных подпорках среди городской площади. Это был настоящий стальной миноносец. По его борту полз плющ. Цветущие настурции свешивались из клинкетов и клюзов. Вьюнок оплетал якорные цепи, красные от налета соли. Высокая трава шумела у подножия миноносца и прикасалась к его днищу с пробоиной от тяжелого снаряда.

Голуби сидели на широкогорлых трубах. Дети играли под мощной кормой с красным истлевшим флагом. Виднелись винты, похожие на стальные трилистники.

Под рисунком была надпись: «Памятник миноносцу «Свирепый».

На втором рисунке был изображен совершенно иной памятник. Высокий моряк в расстегнутом кителе сидел на камне и беседовал с рыбаком. Рыбак — типичный севастопольский старик с худым от ветра лицом — сидел на земле около моряка и штопал рваную сеть. Старый корабельный кот терся о ноги моряка. Улыбка моряка выдавала человека с открытой душой.

Я всмотрелся пристальнее. В моряке я узнал Шмидта, а в старике — деда Дымченко.

— Что это? — спросил я Сметанину.

— Это памятник старым очаковцам,— ответила она и смутилась.

Я продолжая рассматривать рисунки. Третий памятник был так же необыкновенен, как и два первых.

Пять матросов, взявшись за руки, шли гурьбой и смеялись. Посредине шел Матюшенко. Руки его были беззаботно засунуты в карманы. Справа от него шли Частник и матрос Петров, поднявший восстание на транспорте «Прут», слева — боцман в помятой морской кепке и маленький вертлявый бретонец в шапочке с помпоном — матросы с восставшего в Севастополе французского броненосца «Жан Барт». Под памятником была надпись: «Vive les sowiets et la mer!» [1]

Я рассматривал проекты памятников Колумбу, Джемсу Куку, Магеллану и Берингу.

Потом я перешел к набросκам морских коньков и буревестников, которые украшали городские фонтаны.

Наконец я увидел проект памятника старым морякам. Это был настоящий парусный корабль, идущий в полный ветер с хорошим креном. Перед его носом кипели буруны. Их изображали заросли белых ромашек. По сторонам бортов струилась морская вода — ковры фиалок и других синих цветов.

Люди с бакенбардами стояли у планшира и курили трубки. Обезьяны висели на хвостах на реях, и попугаи качались в привязанных к вантам клетках.

На пьедестале была вычеканена надпись: «Что бы ни случилось, всегда держите в лоб урагану».

Прекрасное прошлое, создавшее среди моряков традиции мужества и свободы, прощалось в этом памятнике с шумящим вокруг сегодняшним днем.

После памятников я рассматривал рисунки, изображавшие отдельные уголки города, перекрестки, площади и каменные трапы.

Это был Севастополь. Я узнавал его. Но вместе с тем это был совершенно новый, гораздо более радостный город. Множество зелени и шумящей воды наполняло его. Сигнальные мачты с флагами подымались над до-

---

[1] Да здравствуют Советы и море! *(фр.)*

мами. Издали такой город должен был производить впечатление громадного флота, бросившего якорь у берегов Крыма.

Вся история города и его революционных дней, память о людях, связанных с Севастополем, память о море — все это было слито на рисунках Сметаниной со зданиями, улицами и набережными города.

— Что это все значит? — спросил я наконец.

— Будущий Севастополь,— ответила Сметанина.— В свободное время я перекраиваю облик этого города. Каждый город должен иметь свое лицо. Нет ничего скучнее казарменных домов, которые понастроили пять лет назад, одинаковых вывесок и названий улиц. Нет ничего глупее желания окраинных городов убить свое своеобразие и ничем не выделяться из ряда других городов. С этим выхолащиванием жизни и порчей массового вкуса надо неистово бороться.

Я не спорю — в этих проектах много романтики. Но осуществите ее — и она превратится в реальность. Все это можно будет видеть и осязать. Эти вещи войдут в быт, в сознание, они привьют людям любовь к своему городу и тем самым к своей социалистической родине.

Сделайте города такими, чтобы ими можно было гордиться, чтобы в них можно было работать, думать и отдыхать, а не заболевать неврастенией и трамвайным бешенством.

Нужно, чтобы город был создан на обдуманном разнообразии отдельных частей. В нем должны быть памятники, сады, фонтаны, повороты улиц и лестниц, перспектива,— чтобы всюду были свет, тишина, ветер и воздух.

Город должен быть прекрасен так же, как прекрасны вековые парки, леса и море. Иначе не может быть. В городах живут люди нового времени. Здесь рождаются гениальные идеи и создается будущее. Нужно, чтобы город не угнетал сознание, чтобы мы не мирились с ним, как с печальной необходимостью, чтобы мы не ненавидели его как нечто, что сокращает жизнь, а приходили в него, как в свой дом, полный друзей, книг и работы.

Я удивляюсь, что эта простая мысль до сих пор не дошла до сознания многих людей. Иные думают, что превратить какую-нибудь Епифань в социалистический город очень просто. Надо только переименовать улицы, построить скучные, как российское прошлое, бараки, триумфаль-

ную арку подешевле и еще что-нибудь в этом роде — и новый город готов.

Тех, кто так думает, нельзя подпускать на пушечный выстрел к строительству новой жизни. Пусть они раньше научатся понимать сущность будущего и перестанут оскорблять его своими вкусами, воспитанными в тупой царской России.

Почему, например, у нас не ставят памятников лучшим рыбакам, лучшим водолазам и, наконец, литературным героям? А я бы ставила. Я поставила бы памятники Гулливеру, Тилю Уленшпигелю и матери из повести Горького.

Я улыбнулся, но Сметанина не заметила этого.

— Севастополь — город моря и революции. Здесь об этом должен говорить каждый камень. Здесь есть окраины на берегу бухт. Побывайте там. Вы увидите вытащенные на сушу дырявые барки и допотопные катера. Из земли торчат лапы якорей. В кузовах барок пробиты двери и окна. Дым ползет из жестяных труб камбузов. Собаки, привязанные к мачтам, подымают неистовый лай.

Конечно, людей надо выселить оттуда, а вокруг этого кладбища судов разбить цветники. Дети будут играть на шхунах, и все это место мы назовем Старым корабельным парком. Он разрастется. Мох покроет толстые кили, а ветер будет бить ветками деревьев о старые днища, видавшие виды в морях.

— Ну что ж,— сказал я.— Все это прекрасно, но пока это область фантазии.

— Вы ничего не понимаете! — рассердилась Сметанина.— Никаких фантазий здесь нет! Это так же легко осуществить, как построить казарму из кирпича. Но вы подумайте, как весело будет идти эта работа. Она будет ощущаться так, как ощущается работа по устройству своей библиотеки, кабинета, мастерской. То, что сейчас втиснуто в четыре стены, будет распространено не на одно мое замкнутое жилье, а на весь город. В этом я вижу один из прекрасных признаков коллективного общества.

— Я ничего не могу возразить,— ответил я.

— Ваши возражения меня мало интересуют. Все вы занимаетесь хотя и тем, чем нужно, но не так, как нужно. Что за смысл писать хорошие вещи, но не уметь осуществить их в жизни?

Сметанина помолчала.

— Вы хорошо знаете Гарта? — спросила она неожиданно.

— Да, уже несколько лет.

— Он талантливый человек?

— Конечно.

— Вот это меня и злит.— Сметанина в упор посмотрела на меня.— Чем талантливее человек, тем больше у нас обязательств перед ним. Нельзя позволять таланту уничтожать себя вздорными и убивающими душу мыслями. Вот Гарт. Еще до революции он внушил себе, что в России ни при каких обстоятельствах не может произойти ничего умного и прекрасного. Все интересное, по мнению Гарта, может случиться только в тропиках, на девственных островах и в экзотических городах, полных тайн, отважных моряков и необыкновенных женщин. Всю силу таланта он тратил на гениальные игрушки, а жизнь шла мимо. Ни Гарт на нее, ни она на него не обращали внимания. Во всяком случае, так было до последних лет. Талант сгорал, как щепка, а не светил сильно и упорно, как солнце. Вы утверждаете, что любите его талант. Что же вы сделали, чтобы спасти его?

Я молчал.

— Ничего вы не сделали! Неужели трудно взять человека за руку, вывести из прокуренной комнаты и показать, что жизнь ничуть не уступает его выдумкам?

— Он сам вышел из этой комнаты,— сказал я.

— Ну конечно,— спохватилась Сметанина.— Вы правы.

— Почему вы заговорили о Гарте? — спросил я Сметанину.— Какая связь между Гартом и новым Севастополем?

Сметанина молчала. Мне хотелось услышать от нее самой подтверждение моих собственных догадок. Поэтому я решил быть настойчивым.

— Я знаю, что связь есть,— сказал я.

Сметанина молча собирала рисунки.

— Раз вы молчите,— продолжал я, чувствуя, что вторгаюсь в запретную область человеческих отношений,— так я скажу за вас.

— Как хотите,— промолвила Сметанина.

— Вам хорошо известно,— сказал я,— что почти все рассказы Гарта происходят в двух выдуманных приморских городах — Саванне и Кастле. Таких городов нет и не было.

— Но они будут! — воскликнула Сметанина.

— Ну хорошо, они будут. Но это пока несущественно. Я видел у Гарта планы этих городов. Они замечательны. Города эти изрезаны морскими проливами. Их пересекают полноводные реки. Их окружают розовые холмы, леса и равнины, покрытые высокой, примятой морскими ветрами травой. На равнинах лежат глубокие озера.

Окрестности этих городов разнообразны, дики и величественны. Эти места хороши тем, что непроходимые леса подходят к самому океану. В этих лесах вы, между прочим, можете встретить человека, сидящего на пне и читающего «Одиссею» Гомера.

Но интереснее всего не окрестности, а самые гартовские города. Судя по оброненным им словам, их можно представить себе так: приморский город с лестницами вместо спусков, с уютными гаванями и голубятнями разноцветных домов брошен на произвол судьбы. Люди из него уходят. Через двадцать лет город зарастает до крыш буйной растительностью и одичавшими цветами, забытыми человеком.

Тогда люди возвращаются. Они прорубают в зарослях проходы к домам, превратившимся в горы шумящих листьев. Они открывают окна и впускают в дома солнечный свет.

Холодные ручьи бегут по улицам и перекатывают груды морских ракушек. Стучат молотки, и поют пилы. Верфи оживают и начинают пахнуть опилками. Дети хохочут и ни в чем не отстают от мечтательных девушек.

Капитаны и матросы гремят по песчанику мостовых подкованными сапогами. Парусные мастера зашивают в кромки гротов и марсов платки с изображением якорей и весел. Эти знаки соответствуют подписям художников под картинами.

По вечерам газ шипит в фонарях. Зеленый его свет борется с шумной темнотой, с крепкой, как рассол, океанической ночью. Таковы города Гарта. Но их нет и не будет.

— Они будут,— упрямо повторила Сметанина.— Они будут, но, конечно, не такие старинные. Без газовых фонарей, без деревянных шхун, но со всей их тишиной и легкостью жизни.

— Мне так же, как и вам,— ответил я,— хочется, чтобы они были. Но их пока нет. И вот вы решили по-своему

спасти Гарта. Я представляю ход ваших мыслей так: Гарт ушел от действительности и выдумывает фантастические страны и города. Вместо этого мы дадим ему увлекательную и благородную работу — бороться за создание нового Севастополя. Ну, не Севастополя, так другого города. Так? Гарт приобщается к действительности, к борьбе, входит в гущу жизни как полноправный строитель своей замечательной страны. Правильно?

— Да,— согласилась Сметанина.

— Чтобы сберечь, как вы сказали, его талант, вы занялись разработкой этих проектов. Вы втянете в это дело Гарта, и он с радостью на него пойдет.

— И все будет прекрасно,— сказала с облегчением Сметанина.

— Нет,— ответил я.— Ничего прекрасного не будет.

Сметанина даже вздрогнула:

— Почему?

— Гарт должен писать,— ответил я.— Его силы ограничены. Вы не должны втягивать его в эти дела. Он сделал в прошлом все, что мог, и сделал это блестяще.

— Что же он сделал?

— Он внушил вам своими рассказами о выдуманных городах мысль о создании нового, не выдуманного Севастополя. В этом была нужная нашему времени задача. Оставьте ему возможность делать свое дело, а вы делайте свое. Вы будете создавать новые города, а Гарт будет бросать в умы жажду деятельности во имя веселой и осмысленной жизни. Я начинаю думать, что до сих пор Гарт был просто не понят. Это все, что я хотел сказать. Еще только один вопрос. Вы будете всерьез бороться за создание нового Севастополя?

— Да. Я от этого не отступлюсь никогда.

— Значит, Гарт добился своего,— сказал я, закуривая.— Вот теперь я могу сказать, что все действительно будет прекрасно.

— Я не совсем еще разобралась в ваших словах,— сказала Сметанина,— но, кажется, вы правы. Какой все-таки силой обладает Гарт!

— Не Гарт, а искусство,— осторожно поправил я.

На этом наш разговор окончился. Я скоро ушел. Дождь шумел над улицами. Белая известковая вода, сливаясь в море, журчала по обочинам тротуаров, как журчат у нас на севере лесные родники.

ВЕСЕЛЬЕ И ГОЛОД

Наконец я собрался навестить капитана Баранова. Я знал его давно, по Одессе, где в 1921 году издавалась морская газета «Моряк». Баранов в ней сотрудничал.

Яличники с Северной стороны прозвали капитана Баранова «Очевидцем». В это слово яличники, считавшие себя знатоками морских событий, вкладывали всю язвительность, на какую только были способны.

Зависть грызла их седые сердца. Законная зависть мучила яличников, потому что Баранов славился редкой особенностью — этот человек действительно был очевидцем многих замечательных случаев и событий.

Я провел с Барановым много дней и вечеров в Севастополе, Новороссийске и Одессе. Я часто бывал в каюте его старого буксира «Смелый».

И капитан, и корабль, и команда были как будто нарочно подобраны по черноморским портам. Это была веселая и неунывающая компания, охотно берущаяся за всякую работу, лишь бы в ней были признаки риска и новизны.

Начнем с корабля. Во время дождей буксир был слышен издалека. Именно слышен. Десятки дождевых струй лились через дырявую палубу в жестяные тазы и банки от консервов, подвешенные в местах наибольшего скопления воды.

По слухам, «Смелый» плавал последнюю зиму перед отправкой на корабельное кладбище. Вид его никак не соответствовал растущей морской мощи Советского Союза. Но людей, распространявших эти слухи, Баранов называл «подозрительным элементом».

Старый буксир имел заслуги перед революцией. По мнению Баранова, даже отслужив срок, он должен был пойти не на кладбище, а в не существующий еще корабельный музей.

Буксир носил обидное прозвище «Пожар в бане». Вызвано оно было тем, что труба буксира дымила так, как может надымить весь английский флот целиком, если его топить мусором.

Радио буксиру было не нужно. О его приближении узнавали по туче дыма, застилавшей горизонт. Во всех портах «Смелого» встречали дружелюбно и насмешливо.

Баранов ругался с «духами» — кочегарами, но «духи» ссылались на старые котлы и проклинали уголь. Это был не уголь, а самый «подлый штыб»! Как только они начинали шуровать в своих топках, дым подымался, как извержение, над притихшими от изумления берегами.

В конце концов пришлось примириться с этим и создать для собственного успокоения шутливую теорию, что с «густым дымом плавают честные моряки, а не какие-нибудь контрабандисты».

Но эти мелочи плавания мало смущали Баранова. Один только раз он был раздосадован, когда буксир приткнулся на мель у Скадовска. В судовой журнал пришлось занести неприятные строчки:

«Вследствие собственного густого дыма потеряли из видимости берега и веху, ограждающую отмель, и коснулись дном грунта».

Внешность Баранова никак не соответствовала представлению о неспокойном капитане. Это был старик с лицом актера, играющего несчастных и благородных отцов. Говорил он прекрасным, но хриплым басом со множеством интонаций. В молодости Баранов учился пению в Италии у престарелой и забытой знаменитости.

Баранов был немолод, но строен. Только желтоватые белки глаз и седина говорили о склерозе и старости.

Биография его была неисчерпаема. Беспрерывно я узнавал то от него самого, то от окружающих всё новые черты из жизни этого привлекательного человека.

В детстве он бежал из дому в Одессу и поступил юнгой на грузовой пароход. В Италии он скрылся с парохода и поступил в рыбачью артель.

Потом Баранов плавал по Адриатическому морю на старых катерах, ходивших часто, как дилижансы, от Венеции до Бриндизи.

Страстность Италии, кипучесть ее языка, веселье и подвижность остались у Баранова на всю жизнь.

В Италии Баранов бросил морскую службу. Он бедствовал в Анконе, учился бесплатно пению, зарабатывал гроши игрой на скрипке. Он становился в порту под мраморной триумфальной аркой, воздвигнутой Траяном, и играл и пел кантилены и баркаролы. Он сдружился с городской беднотой, с бродягами и тряпичниками, портовыми девушками и карточными шулерами. Эта полоса жизни отучила его от мягкой койки и дорогого хлеба.

После бродяжничества по Италии Баранов вернулся в Россию и поступил певцом в провинциальную оперу. Он изъездил всю страну. Кажется, не было такого городка — от Фастова до Елабуги и от Весьегонска до Армавира,— где бы он не играл.

Во время своих актерских скитаний Баранов начал переписку со Львом Толстым. Он убеждал его бросить занятия философией и написать перед смертью вещь, равную «Анне Карениной». Он ругал в письмах Толстого «слащавым чудаком» и получал ответы, полные христианского смирения. Баранов хранил их у себя в столе завернутыми в черный платок.

Актерская жизнь скоро надоела Баранову. Он вернулся на Черное море, где был назначен капитаном пожарного парохода в Одессе.

В 1905 году в Одессу пришел восставший «Потемкин». Портовые рабочие хотели присоединиться к «Потемкину» и начать в городе восстание. Тогда полиция устроила пожар и погром в порту, чтобы отвлечь рабочих от мысли о восстании. Сотни громил, испитых и охрипших от ругани, устремились в порт. Горели пакгаузы.

Баранов, вопреки намекам начальства о необходимости ничего не замечать, подошел на своем пароходе к толпе, грабившей пакгаузы, и начал поливать ее горячей водой из пожарных брандспойтов. Погром прекратился, но одному Баранову не под силу было справиться с ним. Погром вспыхнул в другом месте.

Баранов знал Матюшенко и видел встречу восставшего «Потемкина» с Черноморской эскадрой. На своем пароходе Баранов доставлял восставшему броненосцу провизию и воду.

Встреча с Барановым в Севастополе вызвала поток воспоминаний об Одессе и «Моряке».

С Барановым я познакомился в редакции этой замечательной газеты. На ее первой странице на четырех языках красовался лозунг: «Пролетарии всех морей, соединяйтесь!»

Это была газета с большим революционным прошлым. До революции она выходила в Александрии и Константинополе. Кочегары привозили ее в угольных ямах пароходов в Одессу. Тогда она больше походила на прокламацию, чем на газету.

После революции она начала выходить в Одессе. Бумаги не было. Таможня из сострадания выдала нам кипы чайных бандеролей разнообразных и приятных цветов — розового, зеленого и сиреневого.

На обороте этих бандеролей мы и печатали газету. Каждый день цвет ее менялся. Только по воскресным дням мы выпускали «Моряка» на белой бумаге такой толщины, что слова не печатались на ней, а выдавливались, как в книге для слепых.

Старые газетчики в первый же день выхода «Моряка» создали ему неслыханную популярность. Шаркая ревматическими ногами, они плелись по голодным улицам Одессы и равнодушно кричали:

— Газэта «Мрак»! «Мрак» — газэта!

«Моряк» разошелся в полчаса. Всем было интересно прочесть газету с таким страшным названием. Пожалуй, впервые в жизни неправильность одесского произношения сыграла такую роль в деле распространения печати.

После надлежащего внушения газетчики начали кричать не «Мрак», а «Морак». Им было все равно. Какая разница! Разве это была жизнь! На кладбище годилась такая жизнь, когда газета стоила пятьдесят рублей, а за эти пятьдесят рублей можно было купить на базаре... двадцать спичек, вот что можно было купить на базаре!

В «Моряке» печаталось все, что имело хотя бы отдаленное отношение к морской жизни,— от истории кораблекрушений и революционной хроники заграничных портов до стихов Тристана Корбьера и рассказов Катаева.

В газете было шестьдесят сотрудников — журналистов, капитанов, писателей, масленщиков, корабельных инженеров, лоцманов, матросов, гальюнщиков и поэтов.

В ней сотрудничали Бабель и Семен Юшкевич, Катаев и Шенгели, Эдуард Багрицкий и Славин, Семен Гехт и Андрей Соболь. Ильф в то время работал, кажется, монтером и еще не задумывался над литературным будущим.

Шенгели в солдатских обмотках и белом тропическом шлеме пел звучащие медью стихи о римлянах, истекающих кровью.

Катаев ходил в прожженной шинели, пахнувшей карболкой и сыпняком, и в линялой турецкой феске. Он напечатал в «Моряке» рассказ «Сэр Генри и черт». Рассказ был романтичен и страшен. В редакции говорили, что сам Эдгар По содрогнулся бы, читая его.

Бабель только что приехал из Конармии. Он писал свои рассказы с таким же вкусом и неторопливостью, как портовые грузчики едят белый хлеб с маслинами,— крякая от наслаждения.

Багрицкий, худой и бледный, целыми днями лежал в степи за Люстдорфом и ловил жаворонков и перепелок. В свободное от этого занятия время он писал чудесные стихи и страшным басом рассказывал вымышленные истории из своей жизни на турецком фронте.

Славин писал очерки об одесском базаре под названием «Имеете пару интеллигентных брюк». Гехт работал фальцовщиком в типографии «Известий» и слагал стихи о небе Иудеи.

Никто из сотрудников не получал ни копейки. Гонорар выплачивался черным кубанским табаком, синькой и хлебом.

Было время веселья и голода, время молодости республики и не затихающих над горизонтами гроз.

Почему именно из Одессы, а не из Киева или Саратова появилось столько талантов? Я ценю Баранова за то, что в 1921 году в Одессе он произнес в редакции «Моряка», сидя за стаканом морковного чая, пророческие слова:

— В Одессе много солнца, много моря, и — вы увидите — в Одессе будут свои Мопассаны!

Одесса — это Левант. Это Черное море, теплые ветры с Босфора, бывшие греческие контрабандисты и негоцианты из Пирея. Итальянцы-гарибальдийцы, капитаны и портовые грузчики — банабаки. Богатства всех стран, влияние Франции, гетто на Молдаванке, бандиты, ценившие превыше всего остроумие, седоусые рабочие с Пересыпи, итальянская опера, воспоминания о Пушкине, акации, желтый камень, цветы, любовь к анекдоту и страшное любопытство к каждой мелочи. Все это — Одесса.

Но главное — море. Баранов был прав. Черное море выбросило этих писателей в жизнь, как дарит берегам самые разнообразные вещи — от поющих раковин до сорванных с якорей плавучих мин, разносящих в пыль прибрежные скалы.

Кроме писателей, в «Моряке» работали два корректора — Подбельский и Харито. Оба они были студентами Одесского университета.

Подбельский был томный и картавый юноша. Он ходил преимущественно босиком и в дырявой шинели. В холод-

ные зимние дни он носил облезлое, но все еще пышное дамское боа.

Он любил возвышенные разговоры и считал себя знатоком литературы.

Харито был грек родом с острова Митилены, где его отец до войны издавал греческую либеральную газету. Харито тоже считал себя знатоком литературы. Оба знатока презирали друг друга и обменивались язвительными замечаниями по тонким и спорным вопросам поэзии и прозы.

Когда умер Александр Блок, Харито объявил траур и два дня не выходил из своей комнаты, заваленной книгами. Из книг он сложил лежанку, покрыл ее старым ковром и спал на ней. Брошенная кровать стояла рядом.

В свою комнату Харито никого не пускал, чтобы сберечь книги от разграбления. Ложе из книг он устроил для того, чтобы скрыть их от «любителей литературы».

Однажды Подбельский пришел в редакцию не в боа, а в добротном матросском тельнике, бушлате и каскетке с золотыми пуговицами. Он объяснил редактору, что из склонности к морской жизни решил переменить профессию и поступил матросом на шхуну «Паванна».

Это была не шхуна, а херсонский дубок, приспособленный под перевозку дров. Пышное название «Паванна» объяснялось просто. Некогда эта шхуна принадлежала Павлу и Анне Бывальченко — херсонским торговцам. Слияние этих имен дало грязному дубку имя, достойное прекрасного клипера Вест-Индской компании.

Подбельский начал плавать на «Паванне» между Одессой, Хорлами и Скадовском. Изредка он заходил в редакцию, загорелый и таинственный. Все заметили, что он начал употреблять в разговоре не подходящие к его интеллигентной внешности крепкие морские слова.

Через два месяца его арестовали вместе со всей командой «Паванны» и выслали из Одессы. Обнаружилось, что «Паванна» занималась незаконной торговлей хлебом и мелкой контрабандой.

Казалось, для Харито пришло время торжествовать над бесславным концом соперника, но, наоборот, Харито пришел в уныние. Причины этого скоро выяснились.

Владельцем «Паванны» в то время был единственный сын Достоевского — Федор Федорович Достоевский, бывший игрок на бегах.

Я встречал его в Одессе. Это был плотный и неразговорчивый человек с холеной наружностью барина. Он не любил отца. Он морщился, когда при нем разговаривали не только об отце, но вообще о литературе. Когда его знакомили с кем-нибудь и говорили: «Это сын Федора Михайловича Достоевского», он резко бросал: «Я существую сам по себе, вне зависимости от таланта или бездарности моего отца».

Харито называл Подбельского идиотом. Если б ему, Харито, пришлось плавать с сыном Достоевского, то он, конечно, сумел бы вытянуть из него все, что сын знал об отце.

Из моряков — сотрудников газеты — самыми выдающимися были капитан Баранов и боцман Миронов.

Боцман Миронов писать не мог. Он умел только рассказывать. Он много плавал на американских пароходах, сидел в тюрьме в Чикаго и хорошо знал жизнь иностранных моряков. Он рассказывал точно, не привирая ни слова, но все же рассказы его казались фантастическими от обилия малоизвестных и необыкновенных фактов.

Миронов прекрасно читал по-английски, пожалуй, лучше, чем по-русски. Он очень любил О. Генри и Джека Лондона и сокрушался, что никто из нас не умеет так писать, как они.

— Вот это ребята! — говорил он.— Способные до писания чудаки. Чернила у них крепкие, как спирт. Одно мне жалко — Лондона я не застал. Приехал к нему на ранчо, а он уже отравился. Жену видел. Грубая женщина, ее бы к нам на Привоз торговать пирогами.

Миронов изредка выступал у нас в роли переводчика.

Баранов переводил с итальянского прекрасную книгу «Заповеди моряка». Это был дневник итальянского кочегара — целая энциклопедия несчастной жизни на грузовом итальянском пароходе. Мы печатали переводы из номера в номер. Матросы на заржавленных пароходах в порту читали их со слезами и восхищением.

В те годы притихшая и пустынная Одесса была погружена в прозрачный воздух и тишину.

Бездымные дни проплывали над морем и городом торжественно и спокойно. Полынь росла на трамвайных путях и на руинах богатых дач в Аркадии и Ланжероне. Иногда тяжелый гром сотрясал берега — это врангелевский крейсер «Кагул» подходил к Очакову, и крепость отгоняла его уверенными и ленивыми залпами.

Все лето было полно морского безмолвия, изредка прерываемого орудийным громом, полно запаха морской травы и степей, полно голода с его легкостью тела и мыслей.

Вся жизнь в Одессе, даже чистый воздух и пустынный порт, где старики удили рыбу, напоминала о блокаде. Только стаи скумбрии — веселой средиземноморской рыбы — прорывали ее. Скумбрия приходила из Мраморного моря. Мы удили ее на самодуры. Это было в те дни нашим единственным отдыхом.

СКРИПКА МАСТЕРА РАВИКОВИЧА

Как-то в свободный день я пошел с Барановым на Сухой лиман удить бычков. Мы тащили с собой две дыни — небогатую нашу пищу — и бамбуковые удочки.

Мы шли в степи по заросшим лебедой трамвайным путям.

Порванные провода свисали с мачт. Жаворонки бегали по шпалам. Степь шла широкими и жаркими волнами. Сквозь тощую ботву затоптанных огородов темнело море, налитое до краев в глинистые красные берега.

Дорога была пустынна. Только под Люстдорфом мы догнали старого еврея. Он шел с непокрытой головой и, не замечая нас, играл на скрипке. Ветер ворошил его жидкие волосы и сносил на сторону седую бороду.

Мы шли следом за ним и молча слушали. Мы давно уже отвыкли от музыки. Пение скрипки в раскаленной степи было так неожиданно, что знакомая мелодия из «Риголетто» казалась невероятной, как если бы я услышал над морем голоса сирен.

Баранов уронил дыню. Скрипач оглянулся на нас и отнял смычок.

— Это пустяки,— сказал ему смутившийся Баранов.— Играйте, пожалуйста! Мы не хотели вам мешать.

— Вы не бандиты? — спросил старик и зажал скрипку под мышкой.

— Чего вам, старому и бедному человеку, бояться бандитов?

Старик тихо засмеялся.

— Мне их надо бояться, молодые люди, больше, чем банкиру Ксидиасу. Много больше мне их надо бояться. Вот!

Он потряс перед нами скрипкой. Это была обыкновенная коричневая скрипка с тусклыми пятнами на деке в тех местах, где сошел лак.

— Вы сказали, что я бедный человек. Нет! — крикнул старик.— Я богач! Я миллионщик! Я хожу с карманами, набитыми золотом и бриллиантами! Вы знаете, кто делал эту скрипку? Исаак Равикович делал ее, молодые люди! Старый Исаак с больными руками делал ее три года. Она такая тонкая, что отзывается, когда у кого из соседей упадет тарелка или заплачет ребенок. Кто такой старый Исаак — вы хотели меня об этом спросить? Если вы были в Италии...

— Я был в Италии,— сказал Баранов.

— Вы! — крикнул старик и всплеснул руками. Скрипка сверкнула на солнце, как коричневая короткая молния.— Дай вам бог счастья! Вы случаем не видели город Кремону?

— Я был в Кремоне,— невозмутимо ответил Баранов.

Скрипач протянул ему руку. Он жал смуглую ладонь Баранова и заискивающе заглядывал ему в глаза.

— Так вы должны знать, что в этой Кремоне жил итальянский скрипичный мастер Страдиварий. Каждая его скрипка стоит десятки тысяч рублей. За что платят люди такие деньги? За вот этот кусок фанеры или за старые жилы? Нет! Люди не такие дураки. Кто знает, почему это дерево поет, как могут петь только ангелы! Кто их видел, ангелов, я не имею понятия, но так принято выражаться, извините меня.

Когда этот итальянец пробовал свои скрипки, мостовую около его дома закидывали соломой, чтобы он хорошо слышал, как поет каждый кусочек дерева. Не дай бог хлопнуть дверью или, положим, вылить на улицу ведро грязной воды.

А старый Исаак пробовал скрипки ночью. Жильцы ругали его последними словами и жаловались хозяину, что он не дает им спать. Разве можно с них что-нибудь спрашивать! Нищие люди! Где им было думать о музыке, когда надо прожить день с одним куском черствого хлеба.

— Кто этот Исаак Равикович? — спросил Баранов.

— Это наш одесский Страдиварий,— ответил старик.— Вот я хожу по городу, по базару и по степи и играю на его скрипке. Закажите, что вам сыграть. Нет, я сыграю вам итальянское!

Старик заиграл. Легкий человеческий голос запел в

темном маленьком трюме рассохшейся скрипки. Баранов сел на землю и слушал. Потом он начал подпевать скрипке:

Настроена гитара,
О друг мой, в честь твою,
Всего земного шара
Я песни пропою.

Старик играл и смеялся. Белые тесемки свисали из-под его рыжих брюк на ссохшиеся ботинки. Рваный пиджак распахивался от каждого движения смычка. На пиджаке не было ни одной пуговицы.

— Вот! — сказал скрипач, окончив играть.— Теперь вы слышали, что это за инструмент! Это инструмент Исаака Равиковича — великого старика. Но между прочим, никто даже не найдет его могилу на Новом еврейском кладбище.

Он жил один и умер один. Был у него только я — Моисей Чернобыль. Мне он подарил последнюю скрипку. Кто пришел на его похороны, вы спрашиваете? Я, старуха Маня — его соседка, и еще профессор Московской консерватории,— я забыл его знаменитую фамилию. Он сказал мне: «Моисей Лазаревич, вот мы потеряли с вами гения, а не человека. Никакая душа в этой жизни не будет о нем знать, потому что бедность прячет людей в угол лучше самого осторожного вора. Идет революция,— так он сказал,— и разве маленькая скрипка может перекричать ружья и пушки, когда они стреляют?» — «А не думаете ли вы,— спросил я его,— что скрипка будет петь и для революции и через пушечный грохот ее кто-нибудь да услышит?» — «Нет,— сказал он,— я так не думаю, Чернобыль!»

Я ему не поверил, молодые люди. Я оказался умнее этого профессора консерватории.

Старик сел рядом с нами на землю. Зной мутным соком струился по горизонту.

— Что имел старый Исаак за свои скрипки? Раз в месяц он кушал рыбу и высох, как метла от работы. Что ему платили? Жалкие, паршивые рубли!

Скрипач помолчал.

— Я неплохой музыкант. Может быть, потому, что у меня нет жены и детей. Я до старости дожил как сирота. Я играю сколько хотите. Я люблю играть людям.

При Деникине я тоже играл в ресторане «Желтая канарейка» на Херсонской улице. Но как приходили офицеры, хозяйка Павлович зазывала меня в заднюю комнату

и говорила: «Посидите пока тут, Моисей. Сейчас им Люся будет играть на рояле».— «Что такое? — спрашивал я.— Разве господа офицеры не любят скрипичной игры?» — «Вы дурак, Моисей,— говорила мадам Павлович.— Вы старый ребенок, Моисей, и я имею к вам жалость. Они любят свои права и аксельбанты, и больше ничего. Сидите тихо и ешьте свой ужин».

И я сидел, спасибо этой доброй женщине. Но я досиделся. Один раз заходит в заднюю комнату старый морской офицер. Он увидел меня и спросил: «Что ты тут делаешь, дорогой Арончик?» Он был пьяный. «Я не Арончик,— ответил я,— а скрипач, и зовут меня Моисей Лазаревич Чернобыль».— «Вот как! — сказал он.— Может быть, вы сыграете нам, уважаемый Моисей Лазаревич, «Так громче, музыка, играй победу!»?»

Мадам Павлович делает мне знаки глазами, но я отвечаю тихо, что не умею играть эту офицерскую песню.

Тогда он берет со стула скрипку, подымает над головой и смеется. «А «Интернационал» ты умеешь играть, жидовский Кубелик?» — спрашивает он и замахивается на меня скрипкой.

Тут вся моя кровь,— а вы посудите, сколько много ее у такого еврея, как я,— тут вся кровь ударила мне в голову, и я подумал: или ты, Моисей, будешь дрожать, как собака, перед этим человеком, или нет. Тогда я крикнул ему: «Да, «Интернационал» я умею играть. Я сыграю его, когда вы через неделю будете драпать из Одессы, как крысы, сыграю над вашей свежей могилкой, господин капитан».

Он опять замахнулся на меня скрипкой, но я схватил смычок и ударил его по глазам.

Ну, что! Вы интересуетесь знать, что было? Ничего не было! Меня били в контрразведке и бросили в подвал. И, верьте мне, я не думал за себя, а думал за скрипку — хорошо ли спрятала ее мадам Павлович.

На четвертый день пришли большевики. Они выпустили меня. Комиссар сказал мне напоследок: «Катись отсюда! Играй и будь здоров, Чернобыль. Не путайся у нас под ногами — и без тебя есть большие дела». Я ушел. С тех пор я хожу, играю во всех тех местах, где людям от этого делается хорошо, и ни у кого не путаюсь под ногами. Я жду. И дождусь своего счастья.

Расстались мы со скрипачом на берегу Сухого лимана. Я размотал удочки, закинул их, лег на горячий песок и

закрыл глаза. Синие и оранжевые шары понеслись, пересекаясь, в красноватой темноте. Кончилось тем, что я уснул.

Разбудили меня осторожные толчки в плечо. Я открыл глаза. Передо мной стоял скрипач.

— Вот я и вернулся,— сказал он.— Ой, какой вы неосторожный, молодой человек! Кто же спит на солнце!

Он присел рядом со мной на корточки и неожиданно спросил:

— Вы грамотный по-русскому?

— Да.

— Так напишите мне на бумаге хорошими словами то, что я вас попрошу.

Я согласился.

Старик вытащил мятый бланк «Русского общества пароходства и торговли». Обгрызенным карандашом я написал под его диктовку следующие слова:

«Я, Моисей Лазаревич Чернобыль, проживающий в Рыбачьей балке, по занятиям скрипач, сильно болею чахоткой, как и мои мать и отец, и пишу это письмо насчет последней скрипки старого мастера Исаака Равиковича. Скрипка эта моя. И в случае смерти — как нет у меня ни жены, ни малых детей — прошу комитет партии подарить ее лучшему скрипачу нашего замечательного города. Пусть он бережет ее и играет на счастье людям, что не жили, а мучились сколько лет! Только прошу до скрипки не касаться лаком. Теперь лак делают совсем паршивый, а от лака зависит хороший звук.

С почтением *Моисей Чернобыль*, 59 лет».

В Севастополе в каюте «Смелого» мы вспоминали с Барановым Одессу и Моисея Чернобыля, писателей и газету «Моряк».

— Да,— сказал Баранов,— перебираешь собственную жизнь и не веришь, что все это было. Прекрасные годы мы пережили. Надо бы записать, да вот — нет времени, все вожусь с этой проклятой коробкой. Работаю я по подъему затонувших судов — еще со времени поисков «Черного принца», помните? Эй! — крикнул он на палубу.— Кто там травит пар? Воздух отапливаете, черти!

Баранов проводил меня до трапа.

Густые сумерки спустились на Севастополь. До полной темноты осталось несколько минут. Это ясно ощущалось

по огням, цвету воды и по особой звонкости воздуха. Колючие звезды автогена зашипели на палубах кораблей, поставленных в ремонт. Они затопили сумерки трескучим сиянием.

— Никуда не хочу уходить с этой коробки,— сказал напоследок Баранов.— Должно быть, и умру здесь. Предлагали мне уйти на теплоход, да ну его к шуту! Стар стал. Не люблю я пассажиров. Не наше это дело, возить тюбетеечников. Здесь и к морю ближе, и проще, и в свободное время в каюте полежишь, почитаешь. У меня на коробке библиотека прекрасная. Приходите, читайте.

Когда я спустился на берег, он крикнул мне с палубы:

— Дня через два пойдем буксировать «Днепр». Достаньте разрешение,— я вас прихвачу с собой. Слыхали про «Днепр»?

— Слыхал,— крикнул я в ответ.

— Ну то-то!

Возвращаясь домой, я вспомнил все, что знал о «Днепре». С этим пароходом было связано одно из замечательнейших происшествий, когда-либо случавшихся на Черном море.

ГОРОХ В ТРЮМЕ

Через два дня я вышел на «Смелом» к Босфору, где Экспедиция подводных работ снимала с рифов океанский пароход «Днепр». «Смелый» должен был отбуксировать «Днепр» в Севастополь.

Мы шли, чуть покачиваясь в тумане. Зима чувствовалась во всем — в коротком дне, запахе снега и рано зажигавшихся сигнальных фонарях.

На «Смелом» в связи с аварией «Днепра» было много разговоров о кораблекрушениях и морских опасностях.

Морская профессия еще и сейчас совсем не так безопасна, как принято думать. Появление пара, радио, жирокомпасов, водонепроницаемых переборок и других приспособлений только уменьшило риск, но море осталось прежним — с такими же двенадцатибалльными штормами, мелями, туманами и опасными течениями.

У кораблекрушений есть свои законы. Большинство судов терпит аварии вблизи берегов, попадая на мели и подводные камни. Гибель судов вдали от берегов случается

редко. В открытом море суда могут погибнуть от столкновения друг с другом или с плавучими льдами, от пожаров и реже всего от бурь.

Моряки различают в деле аварий «тяжелые» и «легкие» годы. В тяжелый год терпит аварию примерно каждый четвертый пароход.

Разговоры происходили в каюте Баранова.

Особенно любил «потрепаться» водолаз Медлительный — маленький человек с мокрыми усами. Он работал в ЭПРОНе (Экспедиция подводных работ особого назначения) несколько лет и обучил за это время водолазному делу несколько десятков молодых советских водолазов.

Один из его учеников, комсомолец Петя Мухин, плыл с нами на «Смелом». Между учителем и учеником происходили постоянные добродушные стычки. Ученик обвинял учителя в консерватизме и хвастовстве.

Медлительный, как все старые водолазы, был привержен прежним порядкам водолазной работы и строптив. Он долго не мог примириться с подводным телефоном и ни за что не хотел им пользоваться. Он предпочитал давать сигнал по старинке, дергая конец. Целый год он спускался под воду с телефоном, но не хотел вымолвить по этой «деликатной штуковине» ни слова. Тогда молодые водолазы решили его проучить.

Однажды Медлительный дернул за сигнальный конец, чтобы его подымали. В ответ сразу закричали по телефону: «В чем дело? Давай сигнал разборчивей!» Медлительный дернул второй раз. Ему снова крикнули, что сигнал не понят. У Медлительного зажало шланг, подающий воздух. Он задыхался, но не хотел сдаваться. Он синел, сопел, кровь гудела в ушах, он беспрерывно дергал конец, но сверху все кричали в чертов телефон, что они не понимают сигнала.

Тогда Медлительный не выдержал и заревел в телефонную трубку, собрав остаток ярости:

— Подымай, черти! Мне плохо!

Его немедленно вытащили. С тех пор Медлительный начал исправно говорить по телефону.

Медлительный прославился тем, что как-то заснул под водой на палубе затопленного под Новороссийском миноносца. Но и во сне он время от времени машинально нажимал затылком клапан, выпускающий испорченный от дыхания воздух.

Медлительный и Мухин олицетворяли два разных типа водолазов.

Медлительный был водолазом царской школы, когда в водолазе ценилась только физическая сила. В иных иностранных флотах до сих пор подбирают в водолазы людей, ломающих одной рукой подкову и весящих не меньше семи пудов.

О невероятной силе старых водолазов ходят легенды. В Батуми в первые годы революции я встретил бывшего водолаза и циркового борца Зарембу. Ему сломали во время борьбы руку. Заремба бросил цирк и работал метранпажем в газете. Это был человек невероятной силы и незлобивости. Легким нажимом плеча он останавливал на ходу маховик печатной машины.

Он рассказывал наборщикам много историй из цирковой и водолазной жизни. Он боролся с Поддубным, со Збышко-Цыганевичем — чемпионом Варшавы и со Штейнбахом — чемпионом Баварии.

Но самой невероятной была история борьбы с человеком-зверем. Дело было на острове Крите, где стояло пять эскадр — английская, русская, французская, итальянская и турецкая. Заремба служил тогда во флоте водолазом.

Между матросами эскадр был устроен матч французской борьбы. Заремба положил всех. Турки обиделись и вызвали из Константинополя лучшего борца-водолаза. У него на груди, по словам Зарембы, висела табличка с надписью: «Нечеловеческая сила. Мне бороться с людьми запрещается». Под надписью была печать султана.

Заремба струсил, но положение обязывало принять бой. Боролись в дощатой таверне, превращенной в цирк. На десятой минуте Заремба свалил турка. Когда турок упал, треснул пол. Эскадры приветствовали Зарембу сигналами по международному коду.

Таких легенд о силе водолазов я много наслушался и от Медлительного.

Петя Мухин был водолазом иной, советской выучки. Он окончил водолазную школу в Балаклаве. Этот худой, маленький юноша, которого, по словам Медлительного, можно было перешибить папиросой, под водой работал быстрее и находчивее своего неуклюжего учителя.

Решение отказаться от водолазов-силачей пришло после работы японских водолазов над подъемом «Черного принца». Низкорослые и слабые на вид японские водолазы

ныряли на громадную глубину, двигались по дну с невероятной быстротой и проводили под водой почти вдвое больше времени, чем наши водолазы. Японцы работали в легкой маске и тонком шерстяном белье. А наш водолаз-силач за пять — семь минут с трудом делал по грунту несколько шагов.

Мухин и Медлительный только что вернулись с Балтики, где был найден броненосец береговой обороны «Русалка», таинственно погибший в 1893 году.

Первым наткнулся на «Русалку» Мухин, но Медлительный, на правах учителя, чувствовал себя героем гораздо больше, чем Мухин. Он надоел нам бесконечными рассказами о «Русалке».

На «Смелом» я слышал много рассказов о кораблекрушениях, но больше всего меня поразила гибель «Русалки».

Из тяжелых историй, связанных с царским флотом, Цусима и гибель «Русалки» были самыми нелепыми и потрясающими. Старые броненосцы береговой обороны и мониторы — это были плавучие крепости с покатой палубой, выдающейся над водой только на два фута. Они строились для плавания около берегов, в шхерах, на озерах, вообще в спокойных и мелких водах.

Постройка этих броненосцев началась после войны Южных и Северных штатов в Америке. Во время этой войны мониторы появились впервые. Их толстая броня, мощные пушки и способность проскакивать всюду, победа мониторов северян над флотом южных рабовладельческих штатов — все это создало мнение о мониторах, как об исключительно грозных боевых кораблях.

Забыли только о том, что мониторами северян командовали отчаянные моряки, лишенные страха и полные ненависти к южанам,— знаменитые капитаны Варден, Роджерс и Флюссер. Их имена знакомы каждому грамотному американцу. Но человеческие свойства были приписаны конструкции кораблей.

Когда американский монитор «Миантономо» пришел в гости в Кронштадт через Атлантический океан без единого повреждения, то решение строить мониторы превратилось у нас в манию. «Миантономо» шел осторожно, долго выжидал хорошую погоду, все его люки, двери и иллюминаторы были наглухо задраены от проникновения забортной воды.

«Русалка» была монитором американского типа.

В сентябре 1893 года адмирал Бурачек приказал «Русалке», стоявшей в Ревеле, идти в Гельсингфорс и оттуда пробираться в Кронштадт. Около четырех часов «Русалке» надо было идти открытым морем. Поэтому вместе с «Русалкой» была послана канонерская лодка «Туча».

Осенью над Финским заливом часто проходят короткие бури. Начинаются они в полдень и бушуют до вечера. «Русалке» надо было выйти на рассвете, чтобы проскочить в Гельсингфорс до полудня. Но адмирал приказал выходить в девять часов утра, и броненосец не посмел ослушаться.

По обычной в царском флоте небрежности «Русалка» забыла на берегу деревянные крышки, которыми задраиваются во время шторма входные и световые люки.

Утро в день выхода «Русалки» было ветреное. Шел косой надоедливый дождь.

В десять часов утра сорвался шторм силой в девять баллов. «Русалку» начало заливать.

«Туча» под командой капитана Лушкова бросила бедствующий монитор и ушла вперед в Гельсингфорс. Лушков вез на канонерской лодке молодую жену. Он решил, что жизнь ее дороже жизни двухсот матросов «Русалки».

«Русалка» в Гельсингфорс не пришла. Лушков же, придя в Гельсингфорс, никому не сообщил, что им брошен в море гибнущий корабль, и вообще не сказал ни слова о походе «Русалки». Адмирал Бурачек не запросил Гельсингфорс, дошла ли «Русалка» до порта. Он уехал охотиться в окрестности Ревеля, на мызу курляндского барона.

Через два дня рыбаки с острова Сандхамн донесли, что море выбросило на берег разбитые шлюпки и спасательные пояса с надписью «Русалка».

Тогда заработала заржавленная машина императорских канцелярий. Рыбаки донесли о разбитых шлюпках смотрителю маяка на острове. Смотритель донес гельсингфорсскому полицмейстеру. Полицмейстер послал «отношение» командиру Гельсингфорсского порта. Командир порта уведомил морское министерство. Министерство запросило адмирала Бурачека. Бурачек запросил капитана Лушкова. Наконец через три дня после явной гибели «Русалки», когда об этом были напечатаны телеграммы в иностранных газетах, морской министр отдал приказ о поисках «исчезнувшего без вести» броненосца.

Поиски продолжались два месяца. Они окончились заключением следственной комиссии, что «Русалка» погибла

около маяка Эрансгрунд. Загадочным казалось то обстоятельство, что с «Русалки» не всплыло ни одного трупа.

Страна волновалась. Гибель двухсот моряков была неотделима от бездарной эпохи. Здесь смешалось все — трусость и глупость начальников, безалаберщина и тупое равнодушие к живому делу и людям.

Царь выслушал доклад морского министра. Светлые глаза царя смотрели на министра со скукой. На рапорте о гибели «Русалки» он размашисто и не задумываясь написал синим карандашом: «Скорблю о погибших».

Страна волновалась. Газеты требовали расследования. По городам начался сбор денег для помощи семьям погибших матросов. Художник Кондратенко написал картину «Безмолвный свидетель гибели «Русалки». На ней была изображена разбитая шлюпка на угрюмых, обдаваемых пеной берегах. Картина эта в снимках обошла всю Россию.

Газеты сообщили об организации нескольких частных экспедиций для поисков «Русалки». Тогда морское министерство возмутилось: «шпаки» хотели вмешаться в его военные дела.

Был издан гласный приказ начать поиски «Русалки» и негласный — искать «Русалку» там, где ее заведомо не было. Поиски начались поздно, шли недолго и велись самыми нелепыми способами, например с воздушного шара. С шара дно моря видно на глубину четырех саженей, а «Русалка» затонула на сорокасаженной глубине.

Словом, все было сделано, чтобы «Русалку» не найти. Царь опасался, что похороны жертв «Русалки» могут вызвать новую волну возмущения.

Нашли «Русалку» через сорок лет советские водолазы. Они же восстановили картину гибели корабля.

Когда начался шторм, вся команда спряталась внутри броненосца. Огромные волны били в корму корабля и перелетали через низкую палубу, ломая надстройки. Они вливались в открытые люки и горловины. О том, чтобы выйти на палубу, нечего было и думать — она вся скрылась под бушующими волнами.

Оставшиеся на верхнем мостике командир и штурвальные были крепко привязаны канатами к поручням.

Волны усиливались. Они начали перехлестывать через мостик. Вода попадала в трубы. В закупоренном броненосце, наполнявшемся водой, не хватало воздуха. Тяга в трубах упала, и машина начала сдавать. Это привело к

тому, что волны обгоняли корабль и разрушали все, что находилось на палубе.

Броненосец все больше и больше набирал воду. Наконец водой залило топки, и машина стала. Тогда «Русалку» повернуло бортом к волне, опрокинуло, и броненосец пошел ко дну. Ни один человек не выплыл, потому что люди были или привязаны к поручням, или закупорены в стальной коробке броненосца.

Плавание на «Смелом» прошло незаметно. Через сутки мы подошли к «Днепру».

С этим океанским пароходом случилась авария, обычная у берегов Босфора. Он принял в тумане за вход в Босфор залив около мыса Кара-Бурну, вошел в него и сел на камни.

Это предательское место хорошо знакомо морякам. В пасмурную погоду оно приобретает поразительное сходство с Босфором и обманывает многих капитанов. Среди моряков оно носит имя «Фальшивого входа».

Вблизи берегов моряки ориентируются по виду и цвету гор. Пасмурность меняет их вид, а выпавший снег зачастую делает берега неузнаваемыми. Где раньше были черные тени от ущелий, теперь сверкает белизна, похожая на россыпи мела. Многие мысы — и в хорошую погоду схожие друг с другом — при снеге кажутся неотличимыми.

Моряку нужно острое зрение и способность по цвету берега, затянутого дымкой, определить расстояние от него до парохода. Кроме того, нужна крепкая память. До сих пор в виду берегов пароходы ориентируются по всяческим приметам — одиноким деревьям, генуэзским башням и прибрежным домам.

Баранов рассказывал мне, усмехаясь, о жалобах капитанов-иностранцев на быструю изменчивость советских побережий.

— Трудно плавать,— говорят они,— у берегов, где каждый год появляются новые приметы: силосные башни, антенны радиостанций, заводские трубы и электрические огни в заливах, бывших еще недавно совершенно темными по ночам.

Нигде вы не встретите такого точного описания примет моря и суши и столько разнообразных сравнений, как в лоции каждого моря.

Мысы делятся на приглубые, обрубистые и отмелые, похожие на руины, на пирамиды, на надгробные камни мусульманских кладбищ и на сахарные головы.

Но все же самая точная лоция, описывая берега, бессильна перед неожиданными переменами света, красок и прозрачности воздуха. Они превращают привычные контуры берегов в никогда не виданную страну.

Я испытал это на собственном опыте. О мысе Киик-Атлама, около Феодосии, в лоции сказано, что он похож на желтый горбатый остров, соединенный с морем низким перешейком. Но недаром моряки зовут его «Хамелеоном». Я видел этот мыс несколько раз, при всякой погоде. Каждый раз он представал в неузнаваемом и великолепном виде — то желтым и диким, выпукло отлитым на синеве далеких гор, похожих на грозовые тучи, то серым, как бы тлеющим после пожара, то черным, как сиенит, изрезанным синими провалами ущелий, то голубым, как лунный камень, то, наконец, розовым, чуть заметным в тумане, будто рисунок, плохо смытый с матового стекла.

Эта обманчивость берегов и вызвала аварию «Днепра».

Когда мы подошли к «Днепру», то увидели необычайное зрелище. Пароход был разломан на рифах. Нос отделился от кормы, и обе части парохода, снятые с камней экспедицией ЭПРОНа, стояли рядом, покачиваясь на якорях.

Непроницаемые переборки не дали воде потопить разломанный пароход. Мы видели его разорванные борта и железные внутренности, висящие в воздухе. Так выглядят дома после землетрясения, когда через обвалившуюся стену видна комната с мебелью и даже посудой, забытой на столе.

Зрелище разорванного парохода было для нас неожиданным. Уходя из Севастополя, мы знали, что «Днепр» сел на камни и получил небольшую пробоину. Шторма не было, и волна не могла бить его о камни так, чтобы разломить пополам.

Но вскоре все разъяснилось. Трюмы «Днепра» были доверху нагружены горохом. В пробоину проникла вода и подмочила горох. Он разбух и разорвал с невероятной силой железные борта парохода, погнул переборки и вырвал шпангоуты.

Когда эта новость дошла до «Смелого», ей сначала никто не поверил. Матросы решили, что нас «разыгрывают».

Водопады остроумия обрушились на эпроновцев. Их обзывали «звонарями», а их водолазную шаланду — «подносом с музыкой».

— Ну и невыносимо же брешут! — кричал белесый боцман со «Смелого».— Неестественно как заврались ребята!

Эпроновцы сначала посмеивались. Потом им надоело остроумие буксира, задымившего весь горизонт. Из рубки на водолазной шаланде вылез усатый старшина с вытаращенными, злыми глазами. Он плюнул и закричал:

— Чего квакаете без понятия! Это дело научное. Вы бы пóстыдились серость свою показывать перед всем Черным морем. Нашлись какие разумные — над наукой смеяться!

Неожиданное обвинение подействовало на команду «Смелого». Смех стих.

Когда матросы убедились, что пароход действительно разорван набухшим горохом, настроение переменилось и насмешки сменились удивлением.

— Ты гляди! — кричал тот же белесый боцман.— Шо такое зерно? Пустяк! Дунь — и ничего нету. А какую силу в себе имеет — океанские пароходá рвет пополам, как гнилую веревку.

Но все же, когда «Смелый» брал на буксир носовую часть «Днепра», боцман не удержался и крикнул команде «Днепра»:

— Эй, вы, порватые горохом, потравите кончик!

С палубы «Днепра», перед тем как потравить конец, показали боцману кулак.

История с горохом вызвала усиленное любопытство к тому, как ведут себя под водой вещи.

Водолазы рассказывали, что лучше всего сохраняются под водой металлы и мука. Мука не превращается в тесто, как можно было бы думать, а покрывается тонкой плотной коркой и может пролежать в воде десятки лет. На «Малыгине» экспедиция ЭПРОНа пекла хлеб из муки, пролежавшей в затопленных трюмах ледокола около трех месяцев.

Такая же корка, как на муке, образуется на тертых в порошок красках. Они не растворяются и не окрашивают морскую воду во все цвета радуги, а лежат в трюме совершенно сухими много лет.

Железо покрывается тонкой ржавчиной — не больше

миллиметра. Ее очень легко отбить и счистить. Прекрасно сохраняются сталь, медь, бронза и свинец.

Громадные судовые машины ничуть не разрушаются. На том же «Малыгине» машины три месяца стояли в воде, но после подъема ледокола их просушили, смазали, и «Малыгин» в полный шторм вернулся на своих машинах со Шпицбергена в Мурманск.

Только цинк в морской воде превращается в порошок.

С одного из затопленных в Новороссийске миноносцев водолазы подняли торпеду. Она пролежала в воде десять лет и считалась совершенно испорченной. Ее положили на пристань. Кто-то из любопытных нажал курок от сжатого воздуха, которым работают винты торпеды. Машина торпеды заработала с оглушительным свистом, винты завертелись, и торпеда поползла, как стальное чудовище, по деревянному пристанскому настилу.

Стекло, фарфор, дуб, красное дерево — все это сохраняется прекрасно. А чугун как бы раскисает от воды. Первые несколько часов после подъема он очень мягок, не тверже свинца, но потом снова твердеет.

Обратно в Севастополь мы шли медленно. Среди моря нас прихватила мертвая зыбь. Жаль было уходить от синих Анатолийских гор, остававшихся такими же загадочными, как и раньше.

К вечеру в кают-компании «Смелого» Петр Мухин завел патефон и поставил пластинку, поднятую со дна, с потопленного транспорта «Женероза».

Патефон хрипло пел незнакомую английскую песенку. Она поразила меня отчаянием, плохо скрытым под хвастовством и наигранным разгулом. Для меня эта песня звучала, как отходная неприветливой морской жизни Запада, как похоронное пение по последним традициям каторжного парусного флота:

В черный дождь и туман
Уходил в океан
Наш фрегат.
И тогда закричал капитан:
«Черт мне брат!
Вгонит в рифы тайфун,—
Все равно приплывем в Камерун!»
Наплевать!
Двадцать пять
Стариков моряков
Побожились давно,

Что нам больше тебя не видать,
Дом родимой страны,
Даль родных берегов,—
И пойдем мы ко дну
Под холодную, злую волну.
Двадцать пять
Моряков-стариков
Побожились об этом давно...
Нам тонуть или жить — все равно!
Нам на все наплевать
Сорок раз и еще двадцать пять!

Баранов не выносил этой песни. По его словам, она воскрешала глупую лихость, которой гордился старый флот. Невежественные капитаны, злые, как цепные псы, угрюмые матросы, жившие от жратвы до жратвы, усталые и проклинающие море, жулики арматоры — все это разрушало наивные мысли о прелести старинной морской службы.

Баранов хорошо знал моряков всех стран. Он с раздражением вспоминал прославленных английских моряков — бесстрастных и надменных. Лучшие, по его мнению, моряки были турки и французы. Но больше всего он любил наших моряков — и полярников, и краснофлотцев, и моряков торгового флота — отважных, добродушных, чувствующих свое достоинство людей. Для них героизм был не чем иным, как будничной работой.

В Севастополь мы вернулись в спокойный зимний день. Ледяной воздух покалывал горло. Изо рта шел легкий пар. Цвет неба сливался с цветом серо-голубых военных кораблей. В воде ныряли бакланы.

Любопытные яличники торопливо помчались к нам, как только нос «Днепра» с единственной мачтой показался в Северной бухте.

Баранов и команда «Смелого» приготовились к граду насмешек. Но зрелище разорванного океанского парохода было так величественно, что яличники забыли о Баранове. Только на берегу один из них, самый кроткий и потому неудачливый, сказал:

— Ну и везет вам, товарищ Баранов. Опять попали в очевидцы!

Я решил поехать в Коктебель повидаться с Гартом и отдохнуть от обилия впечатлений. Оно утомляло не меньше, чем напряженная умственная работа.

Вечером я зашел к Сметаниной и там застал Зою Юнге.

Она прилетела из Феодосии и через два дня собиралась лететь в Коктебель.

Я спросил ее, не может ли она взять меня с собой. Зоя тотчас же согласилась.

Это была высокая девушка. Ее рыжеватые блестящие волосы лежали волнами. Она часто встряхивала головой, чтобы привести их в порядок. Свое отношение к людям и их поступкам она высказывала решительно и резко.

ОЦЕПЕНЕНИЕ ПОЛЕТА

— Ну,— сказала Зоя и похлопала рукавицами,— идите садитесь!

Маленький зеленый самолет трясся и гнал из-под шасси густую пыль. Сухая полынь дрожала от ветра.

Зоя подняла руку. Самолет быстро помчался по аэродрому, выходя на старт. Потом он с яростным ревом начал набирать скорость. Рев перешел в ровный звенящий гул. Земля, телеграфпые столбы, стартер с белым флагом и татарская мажара, трусившая по дороге,— все это косо повалилось направо.

Горизонт падал, закатывался, а слева, за целлулоидовым окном, рядом с машиной стояло солнце. Я знал, что оно было в зените, по не удивился, увидев его сбоку и даже немного снизу под собой. Зоя легла на крыло и делала разворот над аэродромом.

Когда машипа выпрямилась, Зоя оглянулась на меня и показала рукой на город.

Севастополь, пестрый от солнечных пятен, качался и дрожал под ногами, как громадная, сложная карта.

Казалось, что самолет стоит в воздухе неподвижно и трещит, как стрекоза.

Но колесо, недавно переставшее вертеться, быстро вело через бухты и город ровную линию, скрывая от взгляда кварталы и изгибы берегов.

Сверху Севастополь был оранжевым от черепичных крыш. Машина шла над ним, вздрагивая и поклевывая носом. Воздушные токи били в ее днище с резкостью кулачного удара. Зоя ела виноград.

Мы выходили к морю около Балаклавы. Каждая неровность земли под нами отзывалась на самолете. Он шел, повторяя в воздухе профиль земного пути, тянувшегося вни-

зу. Он подскакивал, когда пролетал над холмами и насыпями, встряхивался над зарослями и проваливался в воздушные ямы над крутыми обрывами. Пол уходил вниз. Тело одну долю секунды висело в воздухе. От этого сильно болели позвонки.

Балаклаву я не видел. Ее целиком — от Кадыкоя до генуэзских башен — закрыло колесо самолета.

Жидким блеском ударило в глаза море, похожее сверху на синюю чашу с приподнятыми краями.

Самолет последний раз нырнул над ржавыми обрывами мыса Айя и ровно пошел в море.

Монотонно гудел мотор. Синий свет заполнил кабину. Мы шли без тряски и толчков, как по воздушному асфальту.

Зоя, вспомнив о моем существовании, прислала мне записку:

«Налево — Байдары и Форос. Смотрите. «Земли полуденной волшебные края» (Пушкин)».

Я написал на обороте: «Вы сильно бы волновались, если бы вам пришлось везти на самолете Пушкина?»

Зоя обернулась и утвердительно кивнула головой.

Я смотрел на бронзовые слитки гор. Они были покрыты плесенью осенних низкорослых лесов. Я думал о людях, чья жизнь была связана с этими берегами.

Черное море было верным другом Пушкина. «Как друга ропот заунывный, как зов его в прощальный час, твой грустный шум, твой шум призывный услышал я в последний раз».

Замкнутый и скупой на слова Мицкевич часами просиживал на этих берегах.

Марлинский сочинял рассказы в припадке малярии в Сухум-Кале. Гарибальди плавал на тяжелом грузовом пароходе между Одессой и Таганрогом.

Лермонтова чуть не убили около Тамани контрабандисты. Черному морю он был обязан своим лучшим рассказом.

Одиссей плыл на корабле «Арго» по этому гостеприимному морю к берегам Колхиды. Марко Поло прошел по его северным берегам в глубь Азии, в царство Великого Могола.

Ученый Паллас застал здесь нетронутые генуэзские города. Молчаливый и застенчивый грек, лейтенант Мангапари, снял великолепную карту берегов этого моря.

Матрос Матюшенко поднял восстание на броненосце «Потемкин» и пересекал на нем эти воды. Здесь вырос и воспитался Шмидт. Лев Толстой в Севастополе написал первый в русской литературе правдивый рассказ о солдате.

У Каркенитского залива проходил с армией Фрунзе. Здесь красные части брали Перекоп, а партизанские отряды легендарного Мокроусова захватили Судак.

Я перебрал множество имен. Я понял, что этот густой синий дым подо мной, покрытый озерами солнечного света,— Черное море,— оставил неизгладимый след в сознании многих людей, приучил их к широким горизонтам и смелым обобщениям, породил пытливость, научил видеть, действовать и побеждать.

Но зачем думать о выдающихся людях? Тысячи рыбаков и матросов, выросших у Черного моря, дали стране, ее новой культуре много упорства, любви к свободе и веселья.

В 1920 году Красная Армия стремительно заняла Крым. В этом порыве, я думаю, немалую роль сыграло и Черное море. Оно притягивало, как мощный прозрачный магнит. Оборванные бойцы видели на этих щедрых берегах хотя и несовершенный, но ясный облик будущей страны, ради которой шли умирать,— страны солнца, свободных морей, легкого воздуха и тучных виноградников.

Мы проходили Ялту. Неподвижным каскадом белых домов она лилась в море. Ржавые парки виднелись сверху, как через волнистое стекло.

Воздух вокруг был разной плотности. Он создавал странную игру красок: то они сжимались со всех сторон — и тогда сады делались густо-золотыми, то расплывались — и золото садов едва поблескивало сквозь вечернюю дымку.

Солнце садилось на западе в равнину вод. Мы вылетели поздно. Начальник аэропорта в Севастополе даже не хотел нас выпускать.

Солнце садилось, его прямые лучи ударили в стены сиреневых гор и осветили леса, цеплявшиеся за скалы.

Зоя оглянулась и посмотрела на солнце. Над Чатыр-Дагом мы проходили уже в поздние сумерки.

Зоя вела машину напрямик через горы, стараясь выиграть время.

Нас начало болтать. С северо-востока порывами задувал ветер. От ветра машина трепетала, как лист бумаги. В кабине стало холодно и темно.

Я еще различал вдали светлую полосу моря, но внизу, в ущельях, клубилась тяжелая мгла. Будто черный дым исполинского пожара подымался из земных глубин.

Зоя оглянулась. В глубоком сумраке я увидел только блеск ее зубов. Она улыбнулась, чтобы ободрить меня. Но меня давно охватило безразличие полета — состояние, обычное на больших высотах.

Смотреть наружу не было смысла — тьма ночи находила все более густыми волнами. Так прошло около получаса.

Потом внизу проплыла горсть тусклых огней. Мы, очевидно, проходили над Судаком. По виду огней я понял, что Зоя набрала большую высоту, и догадался, что сейчас мы будем брать Кара-Даг.

«Лишь бы она не потеряла земной горизонт»,— подумал я. Я пытался определить, где он находится, но это оказалось бессмысленным занятием.

Я слышал, кроме гудения мотора, еще несколько звуков. Ремень у окна трещал, как пулемет. Стекла вибрировали и издавали звон, сливавшийся в одну напряженную ноту. Ветер налетал со звуком широкого и мягкого пушечного удара. Ветер сбивал ход.

Самолет не был приспособлен для ночных полетов. Зоя осветила электрическим фонариком счетчики. Я заметил высоту — две тысячи метров.

Потом она посветила мне в лицо. Я ослеп, а она, смеясь, показала рукой в ночь, налево. Я увидел пыльное электрическое зарево — открылась Феодосия. Коктебель был в двадцати километрах перед Феодосией,— значит, мы летели где-то над аэродромом, но никаких огней внизу я не видел.

Внезапно мотор остановился. Только свист вертящегося по инерции пропеллера и гул плоскостей, идущих круто вниз, были слышны в темноте.

Зоя клала самолет с крыла на крыло. Я увидел летящие к нам из пропасти огни. Я заметил освещенную белую полоску в виде буквы «Т» — знак посадки на аэродроме, но тотчас она рванулась в сторону, огни заметались зигзагами, качнулись, рассыпались, снова собрались и под гул планирующей машины стали на свои места и сделались много ярче.

Можно было разобрать свет в окнах домов. Машина промахнула крыльями над крышами. Удар! Второй удар

о землю — и мы понеслись, подскакивая и подымая пыль, в кромешный мрак аэродрома.

Толчки прекратились, и наступила прекрасная земная тишина,— тишина ночи, полная запаха чабреца и света далеких звезд, откуда мы упали на эту милую землю.

Зоя вылезла из кабины. Я хотел помочь ей, но она засмеялась и сама спрыгнула на землю.

— Отойдем подальше и покурим,— сказала Зоя.— Сейчас за нами приедут.

Далеко было слышно кряканье автомобильный сирены.

Мы закурили. Папироса освещала лицо Зои. Она сняла шлем. Глаза ее были окружены черной каймой. Она, видимо, устала. Она положила мне руку на плечо и сказала:

— Послушайте, как тихо!

Мы стояли и слушали. Безмолвие ночи простиралось вокруг. Машина тоже прислушивалась к нему вместе с нами.

— А вот с Пушкиным,— засмеялась Зоя в темноте,— я бы так не полетела.

— А что бы вы сделали?

— Вернулась бы обратно в Севастополь. Там лучше садиться ночью. И ветра там нет.

Мы молчали. Звезды горели над рваными краями гор.

Вскоре подошла машина. Юноши в робах потащили самолет в ангар, за полкилометра.

Нас с Зоей машина повезла по белеющим извилистым дорогам. Далеко внизу разбегались редкие огни Коктебеля.

Через четверть часа машина остановилась у низкого каменного дома. В окнах горел свет. За живой изгородью из колючих кустов шумел прибой.

— Вот и приехали,— сказала Зоя.— Это наша берлога.

На террасе, с лампой в поднятой руке, стоял и улыбался Гарт. Лицо его было освещено лампой сверху и казалось совсем молодым. Он широко распахнул дверь в беленную мелом комнату с простой дощатой мебелью.

МАТЬ

— Ну что,— спросил я Гарта, когда мы остались одни и легли на походные койки,— удалось вам найти материал для рассказа?

— Кажется,— ответил он.— Я встретил здесь командира корабля Нагорного. Я записал его жизнь.

— Дадите прочесть?

— Конечно,— сказал Гарт и поднялся с койки. Он достал из стола рукопись. Рассказ назывался «Мать».

«Родился я в маленьком городке Ени-Кале около Керчи. Пыльный этот и древний город лежит на берегу мутного Керченского пролива. Слово «лежит» к нему, пожалуй, больше всего подходит. Городок наполовину лежит в развалинах, заросших колючками и засыпанных битым стеклом.

Матери посылали нас, мальчишек, на эти развалины пасти худых коз. Сколько мы своей крови там оставили — трудно сказать. У меня на ногах до сих пор шрамы от этих осколков.

Народ в Ени-Кале жил скупой и небогатый — рыбаки, конопатчики да шкиперы с азовских байд. Самыми богатыми жителями были два контрабандиста — Анастас и Жора, хитрые и отчаянные греки.

Отец мой служил маячным сторожем. Маяк стоял недалеко от города, на мысу. Мыс от маяка получил название «Фонарь». Маяк давал, как сейчас помню, белый огонь с частыми проблесками.

Потом, когда отец отдал меня на рыбачью байду, бывало, идем ночью в шторм, шкипер пошлет тебя на ванты, и сиди мерзни, смотри, пока не увидишь огонь фонаря. Как только заметишь его, кричишь вниз: «Старик подмигивает!» Такая была традиция. Раз «старик мигает» — значит, мы дома. Тут же вытаскивали водку, закуску и, не дожидаясь берега, начинали пить. Пить не давали только штурвальным.

Отец у меня пил крепко, но только по праздникам. Когда напивался, бил и меня и мать. Выгонял из дому и кричал: «Я старый царский боцман и желаю свободной жизни. Хватит с вас. Заели мой век, прилипалы».

Когда отец не пил, был он унылый, неразговорчивый, очень боялся начальства. Часами молчал, рубил топором табачные корешки. Мать его не любила.

Мать у меня была слезливая женщина, бывшая керченская кухарка. Руки у нее были жилистые, с синими вздутыми венами, кривые от работы. Все ногти от стирки сошли, и новые выросли толстые и горбатые.

Школу я не окончил. Отец отдал меня рыбакам. Худенький я сделался, в чем только сила держалась.

Читал из-под полы. Помню, прочел «Отверженные»

Гюго и несколько лет с этой книгой не расставался. Истаскал ее вконец, хотя многого и не понял.

Когда подрос, забрали меня матросом во флот, в Севастополь, но по слабости здоровья списали на берег и отправили рабочим на Морской завод. Работал я электриком.

Матросы — сами знаете — народ с искрой в голове, бывалый и вольный. Многому я от них научился.

Была война. При мне все было — и Февральская революция, и приезд Керенского, и случай с Колчаком, когда он выбросил золотой кортик в море, чтобы не отдавать его матросам, и немцы, и англичане, и деникинцы, и Врангель. Все я перевидал и все понял.

После войны я остался рабочим на заводе. Жил далеко от города, в Инкермане. Место пустынное. В то время там белая контрразведка расстреливала людей.

Бывало, ночью слышались выстрелы, крики. Лежишь в темноте, до утра глаз не закроешь и ругаешь себя последним подлецом.

В комнате у меня было тепло, сверчок кричал, и так это не вязалось с убийствами, что даже не верилось. Иногда вставал и ночью выходил осторожно во двор и слушал,— ничего, только звезды полыхают над бухтой.

Но однажды зимой вышел я и слышу — стонет кто-то за оградой. Я пошел на стон. Тихо зову: «Товарищ!» Он смолк. Я выждал. Знаете, как охотники выжидают, чтобы закричал перепел. Слышу — опять стонет. Я быстро подошел, нагнулся — вижу, человек!

Втащил я его в комнату, перевязал. Две раны у него были. Раны нетрудные, но человек потерял много крови, долго полз по степи и лежал у меня без памяти. Я его спрашивал, кто он; может быть, надо что-нибудь кому передать, а он только шептал, так тихо, что я не мог ничего разобрать.

К утру он умер. Так я и не дознался, кто он. Молодой, невысокого роста, в одном белье. Никаких документов у него не осталось.

Похоронил я его ночью за огородом. Могилу копал часа три. Земля там каменистая, а рыть надо было поглубже, чтобы в случае чего не нашли. Засыпал его щебнем и завалил сухими ветками.

С севера рвалась к Севастополю Красная Армия. У белых начинался, как тогда выражались, «вселенский драп», иначе говоря — паническое бегство.

Контрразведка погрузилась на транспорт «Рион». Он стоял у пристани в Южной бухте.

Я и двое товарищей решили действовать. Достали адскую машину. Принесли в мастерскую, чтобы припаять запалы. Бывший минер Мартыненко, тот, что во время восстания на «Очакове» командовал миноносцем «Свирепый»,— маленький старик, простая душа,— стоял у двери, следил, чтобы никто не вошел, и бил кувалдой по прожектору — делал театральный гром. Искалечил прожектор вдребезги.

Запалы припаяли. Я переоделся в матросскую робу и пошел на «Рион». Шел спокойно.

«Рион» собирался отваливать.

Я протопал по трапу мимо караульного офицера. Поставил адскую машину в рундук около кочегарки. Никто не заметил. Машина была заведена на четверть часа.

За четверть часа надо было выбраться с парохода. Я решил действовать осторожно, в крайнем случае остаться на «Рионе» и взорваться вместе с контрразведкой. У меня не было часов, и я все время про себя считал до девятисот. Адская машина должна была взорваться через девятьсот секунд. Этот счет очень помог мне. Я так им был занят, что почти не волновался.

На двести двадцатой секунде я подошел к трапу, на двести тридцатой офицер сказал мне: «Ты куда лезешь, сукин сын! Сейчас отвал». Я показал ему на какую-то женщину на пристани: «Вон маруха моя стоит, принесла папирос на дорогу. Разрешите сбегать на две минуты». Он говорит: «С такой и за минуту успеешь управиться. Вали!»

На двести сороковой секунде я был за пакгаузом, а на терхсотой — уже наверху, в Пушкинском сквере. Женщина эта, между прочим, оказалась известной в Севастополе сумасшедшей старухой. Ходила она накрашенная и говорила по-французски.

Просидел я на сквере остальные шестьсот секунд. Выкурил за это время десять папирос. «Рион» отвалил, но взрыва не было..

У меня похолодело под горлом,— неужели мы ошиблись с машиной? Начал вспоминать по порядку, как мы ее заряжали и ставили запалы,— и в это время ударил взрыв. В прибрежных домах вылетели стекла. «Рион», весь в пару, осел на левый борт и начал тонуть. Почти никто с него не спасся. Так я свел короткий счет с контрразведкой.

Красные продержались недолго. Снова пришли белые. Кое-кто знал, что я взорвал «Рион», и мне пришлось бежать от расстрела.

Я пешком пробирался в Ени-Кале. Думал, что там легче укрыться. Весь Крым был под белыми.

Шел я горами, по Яйле. Идти было трудно, порою невыносимо. Известняк покрыт большими воронками и трещинами, и я сбил себе в кровь ноги. Изредка я замечал на вершинах татар-чабанов с отарами овец, но обходил их из-за собак. Свирепые горные овчарки разорвут в клочья.

Шел три дня, пока вышел к Коктебелю. Два дня я ничего не ел, раны на ногах горели, и я ругался от боли.

Пришел в Коктебель и понял, что дальше идти не могу. Зашел к болгарам-крестьянам. Хмурый народ. Женщины и даже девочки носят у них все черное, как траур. Молодой болгарин дал мне напиться солоноватой воды и сказал:

— Здесь не дело ни сидеть, ни ночевать. Увидят солдаты — всем будет каюк. Иди к Максу.

Я спросил, кто такой Макс. Болгарин ответил, что Макс — хороший человек. Только он один может меня спрятать в Коктебеле.

Так я попал в дом к поэту Максимилиану Волошину. Все его звали просто Максом.

Встретил меня низенький бородатый человек, посмотрел на мои ноги, ничего не спросил и сказал: «Иди скорее за мной». Отвел меня в укромную комнату, а сам ушел. Через несколько минут пришла женщина и перевязала мне ноги. Меня накормили. Я уснул и проспал около суток.

На следующий день Волошин опять пришел и сказал, чтобы я ничего не боялся: у него в доме белые не посмеют меня тронуть.

На десятый день я собрался идти дальше, в Феодосию. Ноги зажили, боль прошла. Волошин проводил меня до половины дороги. Он дал мне письмо в город к одному художнику с просьбой мне помочь. Я поблагодарил его. Мы расцеловались. Он долго стоял и смотрел мне вслед.

Больше я его не встречал. Только теперь, через пятнадцать лет, я пошел на его могилу в сухих горах и принес на нее с морского берега несколько гладких зеленых камней. Мне передавали, что Волошин просил его могилу засыпать морскими камнями.

В Феодосии я пробыл два дня у художника. Спал в его мастерской за неоконченными картинами, как за ширмами.

Художник — старый поляк, человек сухой и молчаливый,— меня словно не заметил. Только при первой встрече он проворчал:

— Мне совершенно все равно, кто вы и почему скрываетесь. Мне нет никакого дела до офицеров и большевиков. Все вы мешаете людям работать.

— Если я мешаю, то уйду,— ответил я и пошел к двери.

— Если вы выйдете раньше, чем я вам позволю,— сказал он,— то я сейчас же пойду в контрразведку и донесу на вас. Поняли?

Через три дня он так же на ходу, не отрываясь от работы, сказал мне:

— Теперь можете убираться.

Я ушел. Вскоре я узнал, что в городе рыскала по улицам отчаянная офицерская сотня и выйти было невозможно. В тот день, когда художник меня выгнал, сотня ушла в Симферополь.

Голодный, с избитыми ногами, я добрался наконец до родного городка, до отцовского дома.

В каменоломнях под Керчью в то время сидели, как звери в норе, два партизанских красных полка. Белые выкуривали их оттуда ядовитыми газами и замуровали входы в пещеры.

Время было опасное.

Дома меня встретила мать. Заплакала и села на лавку.

Я осмотрелся кругом, и тоска вошла в сердце, как болезнь,— пусто, голодно, тараканы шуршат под обоями, а за оконцем все те же хибарки с побитыми стеклами, ходят оборванные старики, и ветер несет и несет с севера белую пыль.

— Где папаша? — спрашиваю мать.— И дайте мне чего-нибудь поесть. Двое суток я иду голодный.

Она собрала мне поесть — соленую камсу с коркой хлеба. За едой я рассказал, что мне надо скрываться. Она дрожит и утирает платком глаза. Куриная слепота у нее была, должно быть,— глаза все время слезились.

В то время я пожалел, что вернулся домой. Но делать было нечего. Я остался дожидаться отца.

Отец пришел к вечеру — весь в глине, злой и усталый. Поздоровался, посмотрел на меня и молча сел на лавку. Мать принесла керосиновую коптилку, поставила на стол.

Отец задул ее и все сидит, молчит в темноте. Потом сказал хрипло:

— Дура баба, как индюшка. Лампой может нас выдать. Тебя кто-нибудь видел?

— Не знаю.

— От белых у отца решил сховаться?

Я смотрел на него, и у меня все тяжелее становилось на сердце.

— Поживешь — узнаешь. Господа офицеры каждый день на работу гоняют. Маяк теперь не горит.

— Окопы роете?

Отец молчит. Мать меня толкает в спину,— отцу в темноте не видно. Тут я догадался, что отец ходил замуровывать ходы в каменоломни. Я ничего не сказал, что решил утром уйти из дому. Голова болела от обиды за людей.

— Пулеметы на нас наведены,— сказал отец.— Под пулеметами работаем. Ты бы ложился спать, Андрюша.

Сказал он это ласково, и я чуть тогда не заплакал. Должно быть, перетерпел много и не ожидал от отца такой сердечности.

Разделся, лег и уснул. Сколько проспал — не помню. Ночью кто-то меня дергает за плечо, плачет надо мной, просит проснуться. С трудом открыл глаза. Тьма, ничего не видно. Слышу — мать шепчет:

— Андрюша, вставай. Вставай, Андрюша, смерть за тобой идет.

— Что такое?

Мать не может говорить, дыхание у нее спирает.

— Старик,— говорит,— куда-то пошел ночью. Как бы не было беды, Андрюша. Одевайся. Я проведу тебя до Анастаса. Он верный человек. Он — друг, не обманет.

— Куда пошел папаша? — спрашиваю ее.

Она трясется, молчит.

Я быстро оделся. Мать накинула дырявый платок, и мы пошли из дому. В жизни не видел я такой ночи. Ветер бьет злым снегом и галькой в лицо. Тихо в городке — все собаки подохли от голода. Темно — не видно своей руки.

Потом слышим — идут! Я втащил мать за рукав в какой-то двор, за ворота. Прошли.

— Это они,— говорит мать.— Винтовками брякают. И старик с ними. Я его шаг хорошо знаю.

Анастаса я помнил еще с детства. Был он грек из го-

рода Воло. Человек отважный и верный, старый контрабандист.

Я ему сказал:

— Надо бежать на тот берег пролива, в Тамань. Перевези, будь человеком.

— Скольких?

— Вот нас двоих — меня и мать.

— А старуху зачем?

— Надо.

— Едем,— говорит Анастас.— Минут пять назад «они» тут прошли. Время горит. Айда на берег! Денег твоих мне не надо.

Мать стоит в стороне и плачет. Я хотел ее успокоить, говорю:

— Не плачь, мамуся. Все, даст бог, обойдется.

Ради нее я бога помянул. А она мне отвечает:

— Не сердись на меня, Андрюша. Один ты у меня на свете, и ради того я с тобой не поеду.

Я ее, признаться, не понял. Анастас меня торопил. Ждать было нельзя. Мы кинулись на берег, к дощатой пристани. Я обнял мать и соскочил в шлюпку. Отчалили.

Ветер. Человеческого голоса не слышно. Но все же мне почудилось, что на берегу кто-то не то стонет, не то плачет. Догадался, что это мать, но не до того было — пришлось грести что есть силы.

Я гребу, а Анастас сидит на руле. Отчаянный был моряк. Ночью нюхом все знал. Одного только боялся — чтобы не попасть под «фонарь» — так рыбаки называли прожектор с белого миноносца, сторожившего пролив.

Но «фонаря» не было видно. Белые были уверены, что в такую ночь никто не решится удирать на тот берег.

Минут через десять с нашего берега ударило несколько выстрелов. Тотчас же лег на воду огонь прожектора с миноносца. Он медленно полз по горизонту, и тут я увидел, в какую штормовую ночь мы вышли,— пролив был седой от бурунов.

— Ложись! — крикнул мне Анастас.— Ложись, зараза! Пропадешь из-за своей головы!

Мы легли на дно лодки. Дымящийся свет осторожно подходил к нам, и Анастас шепнул мне:

— А ну, как буруном нас на счастье закроет? Шлюпка моя белая, пена белая,— может, беляки не увидят.

Но в ту же минуту уключина вспыхнула и засверкала. Свет остановился на шлюпке. Он дымился и качался вместе с волнами.

— Труба! — крикнул Анастас и вскочил.— Нащупали! Сидай на весла, Андрюха, и греби, пока душа в тебе держится.

Я греб и стонал от напряжения. Я ослеп. Свет бил в лицо, пришлось грести с закрытыми глазами.

Глухо хлопнул один выстрел, потом второй, третий. Пуля звякнула об уключину и рикошетом ударила в плечо. Я сполз на дно шлюпки, где плескалась нефтяная жижа.

Анастас пересел на весла. Он греб бешено. Воздух свистел в его зубах.

Наконец высокая волна закрыла нас, и стрелять перестали. Потом на луч прожектора наползла черная тень. Это был давно погасший плавучий маяк у таманского берега. Мы спрятались за ним и ждали, пока прожектор уйдет в сторону. Кровь текла у меня по спине. Я не почувствовал боли, но не мог пошевелить рукой.

Шлюпка ткнулась носом в берег. Анастас помог мне выйти на мокрый песок. Он дал мне кусок хлеба, махорки и спичек, завязал оторванным рукавом рану и исчез в темноте. Он даже не попрощался со мной. Я не успел его поблагодарить.

Я забился в кусты и пролежал до рассвета.

Начало светать. Я пошел по пескам к обрывистому берегу. С трудом я доковылял до одинокого рыбачьего дома и постучал в ставню. Мне было безразлично, кто живет в этом доме,— лишь бы меня пустили в тепло, к печке, дали уснуть.

Дверь отворилась, и на крыльцо выбежала девушка в теплом платке и сапогах. Она вскрикнула и прижалась к косяку. Я, должно быть, выглядел очень страшно в рваной рубахе, с окровавленной перевязкой, синий и промокший.

— Откуда вы это? — спросила девушка громким шепотом.

— Из Керчи.— Я показал на пролив. Там в осеннем грязном воздухе чернели керченские горы.

Я сел на ступеньку и потерял сознание.

Пришел я в себя в белой комнате с низким потолком и тусклыми оконцами. В печке трещала солома. Пахло ржаными лепешками. От этого запаха сводило челюсти.

Были слышны два голоса — женский и мужской. Мужчина говорил, что меня надо проводить до Темрюка, а оставлять здесь опасно. Женщина упрямо повторяла одно и то же:

— Нехай остается. На человеке лица нет,— пусть передохнет.

Девушка настояла на своем — меня оставили. Девушка — звали ее Настя — все поглядывала в степь и прятала меня, как только вдали появлялся человек. Отец ее, рыбак, ворчал на меня за мою молодость. По его мнению, это был мой самый великий грех.

Старик рыбачил около Тамани и занимался мелкой торговлей. Он открыто плавал в Керчь и возил туда сахарин, водку и пшеничные коржи. Из Керчи он приезжал трезвый, с кисетом, набитым деникинскими «колокольчиками».

До революции старик был сторожем Англо-Индийского телеграфа. Теперь от этого телеграфа в степи торчала только вереница невысоких чугунных столбов. Все провода были срезаны.

Настя была девушка очень капризная и застенчивая. Со мной она не разговаривала. Подавая мне обедать, она швыряла тарелки и без причины краснела.

Когда я оправился, старик, ругаясь на чем свет стоит, отвез меня в Темрюк, потряс на прощанье руку, сунул в карман денег и наказал не позже чем через год возвращаться и не морочить дочери голову. Я был далек тогда от мыслей о девушках и женитьбе, но слова старика запомнил.

Хотя и не через год, а гораздо позже, я вернулся в Тамань. Теперь Настя — моя жена.

Во время этого возвращения я узнал от Анастаса о смерти матери и отца.

Мать в ту ночь вернулась и застала в доме отца с юнкерами из «батальона смерти». Она рассказала им, что ночью я вскочил, оделся и ушел в степь, в сторону Ак-Маная. Она якобы провожала меня до околицы. Юнкера дали несколько выстрелов в степь, арестовали мать и увели. Старушка просидела в тюрьме месяц и умерла от сыпняка.

— А отец? — спросил я Анастаса.

Он замялся.

— Погиб он вскорости после этого случая. Утонул на рыбной ловле.

— Как утонул?

— По делам вышла и смерть,— неохотно ответил Анастас. Он сделал вид, что не слышит моего вопроса.

На этом оборвалась прежняя жизнь. Я попал в Балтийский флот, окончил школу командного состава и теперь командую кораблем.

Я человек без всяких предрассудков, бывал в боях, но от одного предвзятого настроения никак не могу избавиться. Ругаю себя за это сильно. Не люблю Керчь и Ени-Кале и ни за какие блага туда добровольно не поеду. Хоть отдавайте меня под суд!»

КАРА-ДАГ

> Красота этого зрелища наполняла душу восхищением и ужасом.
>
> *Джемс Кук*

Мрачный болгарин предложил купить у него коллекцию коктебельских камней. Я было согласился, но Гарт отговорил меня. Он уверял, что мы сами можем набрать еще лучшую коллекцию за один день, стоит только съездить в Сердоликовую бухту около Кара-Дага.

Болгарин клялся, что ничего не выйдет,— у нас нет верного глаза и мы не знаем тех мест, куда море выбрасывает самые красивые камни.

Я давно слышал, что берега Коктебеля славятся камнями, но не думал, что их так много. Я брал на берегу горсть камешков, пересыпал их на ладони и почти всегда находил несколько халцедонов, сердоликов, горных хрусталей и зеленых камешков, покрытых разноцветными слоистыми кольцами и носивших названпе ферлямпиксов.

Особенно много было серого мрамора и зеленого малахита с белыми и черными жилками. Они создавали на камнях удивительные пейзажи — утесы, прибои и цепи гор.

Часто попадались камешки с тончайшими рисунками растений, напоминавших папоротники.

Больше всего камней я находил на кромке прибоя после бурь. На поиски камней надо было выходить рано, как на охоту и рыбную ловлю. К полудню болгарские дети уже выбирали все самое ценное.

В Сердоликовую бухту мы поехали на шлюпке в первый же тихий день. С нами поехала Зоя.

За первым мысом па нас дохнуло застоявшейся теплотой, а под стеной Кара-Дага мы вступили в давно забытое и далекое лето.

Это было самое теплое место в Крыму. На морских побережьях меня поражала резкая смена холода и тепла на расстоянии каких-нибудь десяти километров. Горные хребты пересекали приморскую страну и делили ее на маленькие областп. Каждая из пих обладала своей растительностью, климатом и пейзажем.

Я впервые увидел Кара-Даг.

Величие этого зрелища могло сравниться только со зрелищем Сахары, неизмеримых рек, беснующихся океанов, громадных водопадов и разрушительных извержений.

Я увидел окаменелое извержение, поднявшее к небу пласты земной коры.

Могучие жилы лавы вздымались столбами из зеленых морских глубин и останавливали далекие облака.

Море не набегало волнами на каменные стены, а вспухало и медленно подымалось вверх, с гулом заливая пещеры. Потом оно так же медленно уходило вниз, как бы падало в пропасть.

Из пещер вода выливалась шумными, пенистыми водопадами, выносила в водоворотах водоросли, медуз и высасывала острый воздух подземелий, уходивших под многие миллиарды тонн окаменелой магмы.

Я впервые ощутил головокружение не от взгляда вниз, а от взгляда вверх. Облака проплывали над кручами. Под облаками парили орлы.

Головокружение посилось, как испуганная птица. Всюду, куда бы мы ни смотрели, оно подстерегало нас, и мы потеряли черту земного горизонта.

Гарт подвел шлюпку ко входу в пещеру. В ней, по словам Зои, совсем педавно нашли ящик со старым серебром. В глубине пещеры, на выступах, куда не доставала волна, белели кости. Мы пе могли к ним подъехать, но нам показалось, что это человеческие черепа. Очевидно, мы попали в бывший приют контрабандистов.

Вся местность вокруг была полна дикости и величия. Это придавало ей таинственность, от которой у детей пересыхает горло, а у взрослых появляется на лице выражение суровости и восторга.

Стены Кара-Дага смыкались, образуя тесные бухты,— не полукруглые, как обыкновенно, а стиснутые плоскостями гранита многоугольники разнообразных размеров и форм.

В одной из таких бухт мы и качались на своей желтой шлюпке. Она казалась ничтожным осенним листом, заброшенным ветром к подножию нависавшей над морем черной громады.

С большим риском Гарт подвел шлюпку к отвесной стене, отполированной прибоем, и мы заглянули в воду.

Гранит уходил в морские глубины так же отвесно, как и подымался вверх. Водоросли держались в расщелинах. Они то тихо вытягивали, то прятали зеленые руки, пытаясь схватить стаи пугливой рыбы. Падение каменных стен в воду было настолько крутым, что даже крабы с трудом удерживались на них. Они беспомощно растопыривали клешни и срывались в глубину от каждого ничтожного колебания волны.

Вода в бухте казалась покрытой слоем темного оливкового масла. На ней не было ни малейшей ряби. Самый ее глухой цвет, тяжесть и вместе с тем прозрачность давали представление громадной глубины.

Со стороны моря бухта была заперта двумя скалами. Они сомкнулись лбами, но их подошвы разошлись далеко и образовали большую арку. Там жило громкоголосое многократное эхо. Когда мы проходили под аркой, то плеск весел превратился в пенистый шум эскадры гребных судов. Эхо придавало любому звуку громовый оттенок. Гарт кашлянул. Сухой кашель курильщика эхо превратило в оглушительный звук канонады, будто от скал отскакивали полые бронзовые ядра.

В бухте Зоя крикнула. С далекой вершины сорвался камень. Мы слышали, как зарождалось его падение, как он щелкал по выступам скал и со свистом пули врезался в воду.

Бухта походила на глубокое озеро в кратере вулкана. В прорезь арки была видна пена волн на подводных рифах и стаи чаек, бивших крыльями по воде. В бухту чайки не залетали.

Около пещеры мы заметили стаю бакланов. Они качались на воде, вытягивая черные головы на длинных гусиных шеях.

Стены Кара-Дага были во многих местах рассечены от

вершины до поверхности моря прямыми трещинами. Иные утесы стояли одинокими колоннами, высотой в сотни метров. Было непонятно, почему они не обрушиваются от малейшего колебания воздуха.

Кара-Даг еще недавно был действующим вулканом. Он прорвал нагромождения геологических пластов, лежащих над жидкой земной магмой, вспучил их, раздвинул и поднял над морем.

Мы рассматривали сотни горных пород, то завязанных в узлы, то падавших волнами, то свисавших квадратными плитами, похожими на броню дредноутов. На одной из стен Кара-Дага был виден кратер, залитый лавой. В толще окаменелой магмы сверкали жилы сургучного сердолика.

Вода в бухте отражала скалы. Цвет их был суров, но не однообразен. Скалы были черные, красные и желтые, как охра. Изредка их перерезали пласты зеленых, белых и синеватых пород. Но у всех этих красок было общее свойство — их покрывал сизый налет, свойственный окалине. Очевидно, это были следы космического огня и пепла.

Зоя рассмотрела у подножья одной из стен небольшую каменную площадку, занесенную песком и ракушками. Мы пристали к ней на шлюпке и вышли.

Зеленоватый сумрачный воздух, наполненный солнечным дымом и желтыми отсветами скал, струился над нами. Безмолвие каменного хаоса скрывало смертельные опасности обвалов. От каждого резкого звука мы вздрагивали и смотрели вверх, где небольшая туча стояла, уткнувшись влажным лбом в глыбы гранита.

В сотый раз я пожалел, что не родился художником. Как заманчиво было бы передать в красках эту геологическую поэму. В тысячный раз я почувствовал вялость человеческой речи. Не было ни слов, ни сравнений, чтобы описать могущество кратеров, дыхание моря, влитого в их пропасти, крики орлов и тысячи чудесных ласковых вещей — всплесков воды, прозрачных струй, солнечных зайчиков и нежнейших водорослей и медуз, сообщавших величавому пейзажу оттенок простоты и безопасности.

Не было слов, чтобы передать изгибы бухт, затененные углы, гроты, выстланные черным блеском и светлой подводной травой, темную прозрачность волн, качавших да-

леко внизу спины серебряных паламид, и, наконец, луну, видную снизу даже днем и похожую на клубок розового пара, замерзшего в холоде недосягаемых высот.

Все это надо было зарисовать и перенести на сотни полотен. Но как не было слов, так, верно, не было и красок, чтобы передать торжественность и прелесть этих мест.

Как передать на полотне отражение, имеющее глубину и объем, но вместе с тем не содержащее ничего, кроме непрерывной игры световых и красочных частиц!

Как изобразить амфитеатры черных гор, замыкающих полукругом неподвижный розовый день!

Здесь нужно было соединение всех человеческих усилий, содружество талантов, все средства красок, света, слов и звуков. Да, звуков, потому что тишина этого вулканического цирка была совсем не беззвучна. Сквозь нее сочилось едва заметное звучание, должно быть похожее на то жужжанье планет в мировом пространстве, о котором писали эллины.

Очень долго над Кара-Дагом не решались пролетать планеристы. Нужно было большое мужество, чтобы выдержать толчки мощных воздушных потоков, рвущихся вверх из теснин этой горы.

Первый планер разбился в одной из бухт. Видел его падение поэт Максимилиан Волошин — певец и старожил Коктебеля. Он послал к Кара-Дагу рыбаков, и они нашли спасшегося планериста. Он цеплялся за незаметные выступы отвесной скалы. Если бы помощь запоздала на несколько минут, планерист сорвался бы со скалы и утонул.

Мы отъехали на шлюпке к скалам, кое-как привязали себя к одной из них и занялись рыбной ловлей.

Шнур провисал до самого дна, как лот, и туго дрожал от подводных течений. Изредка резкий удар давал знать, что взяла рыба.

Зоя вытащила громадную камбалу — палтуса, диковинную рыбу с глазами на спине. Она шла тяжело, покачиваясь и перебирая плавниками. Зоя хохотала.

Начался азарт. Я подсек большую султанку. Эта серебряная рыба с огромными глазами, когда ее вытаскиваешь из воды, покрывается пурпурными пятнами.

Гарту не везло. Он таскал только крабов. Они бегали боком по шлюпке, прятались под решетчатый пол и смот-

рели оттуда на Гарта яростными глазами, то выдвигая их, то пряча, как театральные бинокли.

Гарт схватил одного за спину и, морщась от папиросы, показал мне и Зое его мощные клешни. Одна клешня была приспособлена для раздавливания, другая для того, чтобы хватать.

Гарт дал крабу зажать клешней лапу маленького железного якоря-кошки и поднял краба. Краб с грохотом потащил за собой якорную цепь. Гарт рассказал, что краб может держать в клешне тяжести, в тридцать раз превышающие вес его собственного тела.

Только в конце ловли Гарту повезло больше всех. Он вытащил морского петуха — черную рыбу с двумя громадными плавниками лазоревого цвета. Плавники по величине напоминали крылья.

За рыбной ловлей Зоя рассказала нам о гибели француза Бертело.

Этот французский турист приехал в Крым, чтобы осмотреть кипарис, посаженный Пушкиным в Гурзуфе, скалы «Дива» и «Монах», водопад Учан-Су, а заодно и другие, затасканные обывательским любопытством «прелести юга».

Гарт перебил Зою. Он заметил, что нигде в Союзе он не встречал такого количества пошлых открыток, картинок и описаний красот, как в Крыму.

Гарт предложил беспощадно выгнать из Крыма бродячих фотографов — главных распространителей дешевого вкуса. Это они снимают жирных бухгалтеров в обвисших трусиках рядом с девственными цветущими магнолиями, а хихикающих и кривоногих девиц заставляют обнимать спокойные и торжественные статуи Диан и Нереид.

Выслушав Гарта, Зоя окончила свой рассказ о Бертело.

Этот француз, учитель географии, устал от тюбетеек, кизиловых палок с рогатками и коробок, облепленных раковинами и называющихся почему-то «Привет из Ялты». Он устал от ялтинской толпы, слоняющейся по набережной с упорством маньяков. Кто-то посоветовал ему отдохнуть от Ялты в Коктебеле.

Бертело приехал туда. Он был поражен тем, что попал из сусальных курортов в сухость и простор, напоминающие Македонию. Красные маки цвели в шиферных горах. Су-

ровые горы, небо, сухая трава, воздух и море — больше в Коктебеле ничего не было.

Но сильнее всего Бертело поразил Кара-Даг. Он проводил целые дни у его подножия. Он, смеясь, говорил, что заболел неизлечимой болезнью, носящей название «карадагизм».

Через год он снова приехал в Коктебель. Ему хотелось обязательно проникнуть на Кара-Даг с суши. Это предприятие считалось невозможным, но Бертело все же поднялся на Кара-Даг.

Был сильный ветер. На одной из остроконечных вершин на Бертело напали горные орлы. Отбиваясь от них, он потерял равновесие и упал в пропасть. Тело его нашли не скоро.

ГОРНАЯ РОСА

Из Коктебеля в Старый Крым вела заросшая почтовая дорога. Она шла в ущельях, покрытых дубовым кустарником и буковым лесом.

Лес уже опадал. Колеи были засыпаны рыжими листьями. Кое-где еще цвели маленькие желтые одуванчики, но вся трава уже высохла. Черные стволы буков обвивал свежий плющ. Его зеленые листья перемешивались с багровой осенней листвой. Казалось, что на плюще сидят сотни красных бабочек.

Мы с Гартом пошли в Старый Крым, за восемнадцать километров от Коктебеля, чтобы посмотреть развалины первой столицы Крыма — Солхата. Они еще сохранились в Старом Крыму.

Маленький белый город лепился на последних отрогах Крымских гор. Вековые ореховые деревья протягивали черные ветви над черепичными крышами. У подножия деревьев сидели сонные старики. Они торговали овощами и дешевыми феодосийскими папиросами.

Листья ореха лежали на земле тусклыми зелеными пятнами. Редкие прохожие давили их чувяками. Тогда острый запах возникал в тени вянущих деревьев и долго не исчезал.

Старый Крым был пустынен. Он напоминал нашу русскую деревню во время покоса, когда в избах остаются одни младенцы и старики. Мы долго бродили по улицам, где,

кроме собак и дозревающего шиповника за оградами, никого и ничего не было.

Гора Агармыш бросала синий отсвет на заброшенный город.

Мы искали развалины Солхата и наконец нашли. Они были печальны и запущенны. Разбитые надгробья тонули в бурьяне. К надгробьям кто-то привязал несколько старых коз с желтыми глазами.

На развалинах мечети мы встретили черного человека и двух рабочих-татар. Татары лениво разгребали щебень широкими лопатами и звенели ими о камни.

Мы подошли и увидели неглубокую яму. В ней лежала старинная гончарная труба, покрытая пылью.

Черный человек оказался очень словоохотливым. Он вовсе не был археологом, производившим раскопки, как предполагал Гарт. Он назвал себя мелиоратором, работавшим над разрешением сложной задачи орошения восточного Крыма. Фамилия его была Левченко.

Он сразу же заговорил с нами как со старыми знакомыми и остался очень доволен тем, что мы пришли в Старый Крым только для того, чтобы побродить по этим древним местам.

— Уважаю любопытных людей,— сказал Левченко и тут же вызвался показать нам город.

Гарт поморщился. Он не выносил попутчиков и боялся их назойливых разговоров. Но делать было нечего, и мы согласились.

Левченко отпустил рабочих. Мы пошли за город, в сторону Агармыша. Холмы вокруг были покрыты множеством засохших цветов, еще не утративших запаха.

Из разговора с Левченко выяснилось, что он был человеком того склада, когда профессия, вопреки обычному положению вещей, ничего не говорит об умственном уровне и круге интересов.

Это был человек вне профессии, или, вернее, человек, умевший вокруг своей профессии объединить много интересных познаний, мыслей и выводов, как будто и не связанных непосредственно с его основным делом.

Мне приходилось встречать моряков, умевших извлечь много пользы для своего дела из знакомства с живописью, и художников, обогативших живопись благодаря знакомству со спектральным анализом и метеорологией.

Только ум, способный проследить неразрывную связь несовместимых на первый взгляд явлений, может создавать подлинные ценности.

Левченко не был археологом, но случайно в запылившемся докладе давно умершего ученого он прочел, что во время раскопок в Солхате, в восточном Крыму, были найдены разбитые гончарные трубы.

Левченко знал, что в средние века Солхат считался одним из самых цветущих городов Востока. Одно время Солхат соперничал с Багдадом и Дамаском. Он был окружен богатыми садами.

Выводы напрашивались сами собой. В Солхате было большое население, много садов, и поэтому город не мог жить без обильной и хорошей воды. Значит, вода была и исчезла только в сравнительно недавние времена.

Откуда же ее доставали?

Гончарные трубы говорили о существовании древнего водопровода. Они давали возможность раскрыть загадку, погребенную под пылью многих столетий.

Левченко приехал в Старый Крым и занялся изучением этой каменистой земли.

Он увеличил на одного человека число чудаков, копавшихся на развалинах мечетей, и число стариков — кладоискателей.

Почти все население Старого Крыма занималось поисками кладов. Звон лопаты о пыльный металл или мраморную капитель колонны, гулкий стук, свидетельствовавший о наличии подземных пустот,— все это волновало Левченко не меньше, чем опытных археологов, и стариков — кладоискателей. Разница была лишь в том, что старики искали золотые монеты, а Левченко — никому не нужные гончарные трубы.

Левченко проследил подземные пути труб. Они шли на Агармыш и на соседние сухие горы, где не было ни одного источника пресной воды. На вершинах гор трубы упирались в разрушенные каменные бассейны, засыпанные галькой.

Тогда Левченко догадался: Солхат собирал и пил горную росу. Она оседала на гальке, конденсировалась на ней во время переходов от ночного холода к жарким дням и стекала на дно каменных бассейнов. Оттуда по трубам роса струилась в мраморные городские фонтаны.

— Вы представляете,— сказал Левченко,— какую вкусную и душистую воду пили в Солхате!

По лицу Гарта я видел, что от его раздражения против непрошеного попутчика не осталось и следа.

Открыв эти бассейны в горах, Левченко занялся изучением росы. Ее выпадало так много, что она могла дать воду не только Старому Крыму, но и всем окрестным полям и садам.

По словам Левченко, уже сейчас можно было получать росу из некоторых старинных цистерн. Нужно было только их расчистить и починить.

Мы вошли в редкий буковый лес на склонах Агармыша. Палый лист всех цветов — от лимонного до черного и от серого до пурпурного — лежал на траве, мокрой от крупной росы.

Синие тени деревьев придавали игре красок, рассыпанных по земле, необыкновенное разнообразие.

Весной окрестные леса тонут в непроходимой чаще цветов — в бересклете, крушине, боярышнике, маках, подснежниках, ландышах и аруме. Весной в Старый Крым привозят больных и лечат их ваннами из целебных трав и цветов.

Гарт остановился. Он снял шляпу и дышал теплым воздухом леса.

— Я свалял дурака,— сказал он мне и засмеялся.— Я согласился написать для Юнге рассказ о боре. Старик надеется, что это поможет осуществить проект о туннелях под хребтом Варада. Теперь же мне хочется заняться росой. Это мне больше по душе,— космические вещи меня пугают.

— А вы сделайте и то и другое.

— Придется,— вздохнул Гарт.

Но космические вещи продолжали преследовать Гарта. Левченко рассказал о двух проектах орошения Крыма. По одному проекту предполагалось перегородить узкий Керченский пролив плотиной, чтобы закрыть прилив в Азовское море соленой черноморской воды. Через несколько лет Дон и Кубань превратили бы это море в пресное озеро, а сеть насосных станций и каналов оросила бы азовской водой степной засушливый Крым. Этот проект был отвергнут. Был принят проект, по которому часть вод Днепра по каналам пойдет от Каховки в крымские степи. Но осуществление этого проекта еще не началось.

ПОДЗЕМНАЯ ВОЙНА

И, разогнав крутые волны дыма,
Забрызганные кровью и в пыли,
По берегам широкошумным Крыма
Мы красные знамена пронесли.

Эдуард Багрицкий

Мы вернулись в городок и зашли в маленький ресторан. Кроме нас, никаких посетителей не было, если не считать старого пса-крысолова. Он деликатно открыл дверь лапой и разлегся у наших ног. Он вздыхал и искоса поглядывал на нас, как бы спрашивая, когда мы наконец перестанем говорить. Говорили, правда, не мы, а один Левченко.

Кофе наш остыл. Заведующий рестораном — татарин — уснул за стойкой.

— Впервые я столкнулся с археологией очень диковинно,— рассказывал Левченко.— Это было в Керчи, в тысяча девятьсот девятнадцатом году, при белых.

Я вернулся из германского плена, пробирался к себе на родину, в станицу Тихорецкую, и застрял в Крыму. Отец мой был машинистом на Северокавказской дороге.

Я вступил в знаменитые партизанские отряды Евгения Колдобы. Действовали мы на Керченском полуострове и все время тревожили белых.

Тогда Крым был уже отрезан от севера. Дрались мы на свой страх и риск. В конце концов белые загнали нас в керченские каменоломни.

Под Керчью и горой Митридата переплетаются сотни подземных ходов, выбитых в желтом известняке. Они образуют лабиринт на многие километры. Никто, кроме бродяг, прятавшихся в этих подземельях, и археологов, их не знает. Керчь стоит на земле, ноздреватой, как губка.

Каменоломни всегда наводили страх на керчан — в них скрывались бандиты. Их там не могли разыскать годами.

Выходов из подземелий было много. Можно было спуститься под землю в Керчи, а выйти в степи за пять-шесть километров от города.

Керченские подземелья создавались столетиями. Их называют каменоломнями, но это не совсем точно. Сначала это были катакомбы первых веков христианства, подземные убежища еще более ранних времен, а потом каме-

ломни и штольни, вырытые для раскопок. Все это слилось в один подземный город.

Нас загнали в каменоломни около Аджимушкая.

Мы пытались делать вылазки, но белые постепенно замуровывали вход за входом. Незамурованные входы они оплетали колючей проволокой и ставили вблизи пулеметы.

При каждой попытке прорваться они поливали подземелья пулями и забрасывали ручными гранатами.

Мы сидели в темноте, почти без воды и света. Нефть мы берегли для факелов на случай переходов по катакомбам и вылазок. Обыкновенно горели у нас коптилки.

Я сказал слово «обыкновенно» и понял, насколько оно не подходит к тому, что происходило с нами. Все это было совсем не обыкновенно, а страшно и почти неправдоподобно.

Коптилки освещали трупы товарищей, умерших от ран и сыпняка.

В нескольких местах вода капала со стен. Это было единственным нашим спасением. Запасы черствого хлеба иссякали.

Первые дни мы потратили на то, чтобы отделить раненых и больных. В одной из катакомб мы устроили подземный лазарет.

Заведовал им единственный среди нас ученый человек, археолог Назимов — худой и бледный заика. Он носил желтые очки. Мы даже находили в себе силы смеяться над его очками. Он не снимал их, несмотря на полную темноту катакомб.

Назимов болел страшной болезнью — тромбозом мозга. В мозговых сосудах образовывались сгустки крови — пробки. Каждую минуту он мог умереть от кровоизлияния в мозг. Он, заикаясь, говорил, что единственное лекарство от этой болезни — пуля в голову и поэтому смерть ему не страшна.

Звали мы его «Обер-крот». Он прекрасно знал катакомбы. Еще до революции он излазил их в поисках древних погребений. Если бы не он, мы бы заблудились в подземном городе и пропали.

Он выбирал места для стоянок и выводил нас в случае опасности. Он пользовался стареньким детским компасом, да и тот плохо работал. Около Керчи находятся богатые залежи железной руды. Это вечно сбивало с толку игру-

шечный компас Назимова. Он рыскал в стороны, как пароход с расшатанным рулем. Назимов больше действовал по приметам и какому-то особому чутью, чем по компасу.

В первое время нам удавалось прорываться па-гора́, как говорят шахтеры, налетать на белых и без остатка уничтожать их отряды.

Тогда белые усилили охрану выходов. Начались взрывы.

Однажды из «лазарета» к Колдобе приполз раненый. Он сказал, что наверху творится неладное.

— Что? — спросил Колдоба.

— Роют,— ответил раненый.— У нас в лазарете людям нечего делать, как только дожидаться смерти да слушать. Вот и слушаем. Если кто и застонет, мы просим его помолчать для нас всех, для товарищей. Иной человек умирает, а ему кричат: «Потерпи, не стони, друг дорогой». И он делает уважение и помирает тихо, как слабый ребенок. Тяжко лежать, командир. Лежишь, ловишь ухом, что там наверху, на белом солнце,— и ни голоса, ни крика, ни выстрела,— одна эта подземная глухота!

— А что вы слушаете, чего дожидаетесь? — спросил Колдоба.

— Того, чего и ты, командир,— тихо ответил раненый.— Надземного боя мы ждем. Ждем, чтобы наши прорвались в Керчь и ослобонили от гибели. Одна у нас думка про это. А вот сегодня стало нам слышно...

— Рассказывай! — коротко приказал Колдоба.

— Стало нам слышно,— шепотом сказал раненый,— роют прямо над головой. Скрипит что-то и скрипит, как сверло. Ты мне поверь, я это дело знаю,— белые закладают бурку и сделают вскорости взрыв.

Мы прислушались. С пятисаженной высоты доносился тупой звук ударов и скрежет. Потом шум затих.

Колдоба приказал партизанам рассыпаться по катакомбам и не держаться толпами. Раненые начали переползать в глубь подземелий.

Зажгли факелы и приготовились к переходу, но в это время тяжело ухнули своды. Густая пыль полетела с потолка и засыпала факелы. Гром обвала покатился к недрам земли. Горячий воздух сбил меня с ног и почти расплющил о камни.

В темноте бежали и кричали люди. Выли придавленные. С гулом и шорохом продолжала оседать земля.

Взрывом было убито около сорока человек. Когда смятение улеглось, мы зажгли факелы и начали переходить на новое место. Впереди шел Назимов. Шествие при факелах в пыли и чаду катакомб напоминало бегство мертвецов из ада.

После этого дня взрывы становились все чаще. Мы каждый раз уходили от них. Тогда белые решили затопить катакомбы водой. Для этого надо было поставить мощные насосы и качать воду из моря. Нашелся какой-то шустрый инженер и сорвал этот проект. Он доказал, что затопление катакомб не даст результата. Керченский камень ноздреват. Катакомбы полны подземных стоков и воронок. Камень быстро всосет воду и сбросит ее обратно в море. Вода даже не дойдет до тех штолен, где засели партизаны.

Взамен воды инженер предложил пустить в катакомбы по желобам серную кислоту. От соединения с кислотой известняк каменоломен должен был выделить громадное количество углекислого газа. Этот газ инженер предлагал задувать аэропланными пропеллерами на самое дно подземелий и травить нас, как мышей.

Но и этот способ оказался чересчур сложным. Белые решили действовать проще. Они пускали в катакомбы «обыкновенные» удушливые газы.

Мы уходили от них, но все же каждый день у нас отравлялось газами по нескольку человек.

Участились случаи сумасшествия. Люди открывали беспорядочный огонь по темным закоулкам подземелий. Иной раз всех охватывали слуховые галлюцинации: мы ясно слышали отголоски жестокого боя на земле, откуда только и могло появиться избавление.

Мы пришли в отчаяние. Мы требовали вылазки. Мы не хотели ждать и с неистовым упорством искали под землей выходы, еще не известные ни нам, ни белым.

Наконец такой выход нашелся. Он вел в разрушенный сарай на склоне горы Митридата.

Ночью мы вышли наружу. Бойцы шатались и падали. Сырой и свежий весенний воздух разрывал отекшие от духоты легкие.

К рассвету мы ворвались в город. К нам присоединились рабочие. Началось знаменитое кровавое керченское восстание. Оно обошлось белым дорого. Если бы не английская морская пехота, белым пришел бы конец.

Дрались мы несколько дней. Дрались всем, что попадало под руку, даже камнями. Мы спустили с круч Митридата сотни громадных глыб. Они смяли и обратили в бегство отборные офицерские отряды.

Но, потеряв две трети людей, мы снова ушли в катакомбы. Во время вылазки мы узнали, что надеяться не на что — красные части были далеко, за Сивашем и Чонгарским перешейком.

Колдоба был убит. Мы похоронили его ночью в запущенном саду. Партизан Василиади, матрос-грек, сломал несколько цветущих веток миндаля и бросил на могилу.

Мы скрылись в новых катакомбах, узких и не таких запутанных, как прежние. Входов в них было мало. Белые оцепили их все до единого.

Тогда мы поняли, что пришел настоящий конец. Несколько раз мы жестоким огнем отбивали белых, пытавшихся ворваться под землю. Но силы слабели. Если мы еще могли сопротивляться врагу, то не могли переносить жажду. В новых катакомбах не было ни капли воды. Надо было или сдаваться, или умирать.

Сдача означала ту же смерть, только более мучительную и подлую. Мы решили пробиваться и идти на смерть в бою, но не на расстрелы и пытки.

Тут случилась короткая отсрочка. Однажды мы услышали над головой далекие раскаты грозы. Партизаны долго ждали ливня, и он наконец разразился.

Потоки мутной воды хлынули по главному ходу каменоломен. Мы сбились в боковых пещерах, лежали на земле и пили, пили до беспамятства, до потери сознания.

Все было наполнено водой — манерки, бутылки, пулеметные кожухи и кепки.

Но через день воды опять не стало хватать. Иные из нас жевали намоченные в дождевой воде шинели.

Неожиданно тонкий запах угара просочился на дно галерей. Мы зажгли факелы и бросились в глубь катакомб. Факелы, опущенные к полу, быстро гасли,— нас отравляли углекислым газом. Белые все-таки начали лить в подземелья по желобам серную кислоту. В угаре задохся матрос Павлинов — веселый и насмешливый человек.

Белые ворвались в противогазах в подземелья, но побоялись идти вглубь. Они нашли Павлинова, привязали его к постромке лошади и погнали ее наверх. Павлинов

был еще жив. Камни изорвали его тело в клочья. Лошадь выволокла в степь изуродованный труп.

И вот в эти дни последнего отчаяния и приближения смерти ко мне подошел наш Обер-крот Назимов. Он сказал, что нашел выход в степь, не охраняемый белыми.

К тому времени болезнь Назимова усилилась. Он непрерывно тряс головой. Глаза у него быстро дрожали, как дрожат даже без ветра листья осины.

— Надо проверить,— сказал я.— Ты стал совсем слепой.

— Проверим,— ответил Назимов.

Мы незаметно пошли к выходу. Назимов не доверял своим глазам и шел по телефонному проводу. Его он протянул для верности от вновь открытого входа до нашей стоянки.

Недалеко от входа Назимов сел отдохнуть. Он стал худ до того, что, казалось, фуражка не держалась у него на голове. На каждом шагу он спотыкался.

— Вот, Степан,— сказал он мне, когда мы сели,— думал ли я когда-нибудь, что на месте этих раскопок будет подземная бойня и придется мне умирать вместе с вами?

— Надо полагать, что ты об этом не думал,— ответил я.

Мы помолчали. Назимов встал, цепляясь за камни.

— Ну, пошли. Жить мне хочется, Степан. Если бы жить! Целыми днями я мог бы рассматривать сухой бурьян или осколок стекла под водой.

— А к чему это? — спросил я.

— А к тому,— ответил он,— что в каждом пустяке есть большой смысл. Кончится война, останешься жив — тогда поймешь и узнаешь. А сейчас — пошли!

Мы дошли до выхода. Он тянулся под плитой известняка.

Я взглянул из-под плиты и увидел звездное небо.

Мы вылезли. Степь в росе и тишине лежала кругом. Я дышал, как запаленная лошадь, но вместе с чистым воздухом вдыхал запах дыма.

— Откуда дым?

Мы поползли по мокрой траве. Я полз и слизывал росу со своих ладоней. Воспоминание об этом помогло мне недавно, когда я открыл разрушенные цистерны на Агармыше. «Откуда здесь может быть вода?» — подумал я — и вдруг с такой ясностью вспомнил свои грязные ладони,

полные росы, что никаких сомнений у меня не осталось. Задача была решена.

Мы ползли, пока не заметили костер и солдат в английских шинелях. Они чистили при огне пулемет.

Все было кончено. Этот выход охранялся так же, как и другие.

— Что делать, Обер-крот? — спросил я Назимова, когда мы опять спустились в катакомбы.

— Выйти здесь и через степь и Арабатскую стрелку уходить на север. Здесь все равно нас перебьют, как котят.

Голова у Назимова опять затряслась. Он задумался.

— А что, если мы сделаем так...— сказал он и остановился,— если мы сделаем так... Я открою пулеметный огонь у главного входа, подыму шум и все белые заставы оттяну на себя, а вы тем временем выйдете.

— Одному не справиться. Шум нужно делать большой.

— Вызовем охотников.

— Не будет охотников,— ответил я.— Не будет. Безнадежное это дело.

— Посмотрим.

Я не верил в это рискованное предприятие, но Назимов в ответ на мои возражения только молчал.

Он созвал бойцов, рассказал им, в чем дело, и спросил:

— Есть охотники оставаться со мною?

Бойцы молчали.

— Есть охотники?

Тогда с полу поднялся раненный в ногу партизан Жуков и сказал хриплым голосом:

— Я пойду с тобой, ученый. Мне все равно до Арабата не дойти. Днем позже, днем раньше...

Жуков снял шапку и сказал громко:

— Товарищи бойцы, которые трудно раненные! Говорю до вас. Чем оставаться здесь на собачью муку, возьмем винты и спасем уцелевших товарищей.

— Чего гавкать! Давай патроны! — закричал один из раненых.

Через несколько минут раненые двинулись к главному входу. Назимов, шатаясь, шел впереди стонущего и окровавленного войска, ползущего на животах и цепляющегося за выступы скал. Мы сняли шапки и смотрели им вслед.

Потом мы пошли к выходу в степь, а у главного входа начался ураганный огонь и крики «ура».

Смятение охватило белых. Они бросились к главному входу. Сигнальные ракеты с шипением понеслись в небо.

Бой разгорался за нашей спиной. Мы быстро прошли мимо брошенных костров в степь. Через два часа мы уже шли вдоль пустынных берегов Азовского моря.

Сначала мы слышали все более редкие крики и выстрелы, потом и они стихли. Разыгранный бой подошел к концу.

Через несколько лет мне удалось узнать подробности смерти Назимова и наших раненых товарищей. Узнал я это из записок одного белого офицера.

«Последний отряд партизан,— писал он,— целиком состоял из тяжелораненых. Они дрались, надо отдать им справедливость, с упорством людей, одержимых навязчивой идеей смерти. Командовал ими человек в очках, настолько худой, что издали он напоминал огородное пугало. Партизаны дрались с нами только затем, чтобы погибнуть от пули в открытом бою, а не быть расстрелянными в контрразведке. Их мужество вызвало восхищение даже некоторых офицеров. Только английские наблюдатели оставались, как всегда, совершенно бесстрастными».

Так кончилась подземная война. Недавно в керченских каменоломнях были произведены последние раскопки. Мы отыскали кости погибших и похоронили их в братской могиле.

Левченко замолчал. Пес, встревоженный нашим молчанием, встал, зевнул и потрогал Гарта грязной лапой, чтобы заинтересовать его в своем существовании. Гарт бросил ему кусок белого хлеба. Пес громко сглотнул его прямо в воздухе, не сморгнув глазом.

СКАЗОЧНИК

В Старом Крыму провел последние дни своей жизни и умер писатель Грин — Александр Степанович Гриневский.

Грин — человек с тяжелой, мучительной жизнью — создал в своих рассказах невероятный мир, полный заманчивых событий, прекрасных человеческих чувств и приморских праздников. Грин был суровый сказочник и поэт морских лагун и портов. Его рассказы вызывают легкое головокружение, как запах раздавленных цветов и свежие, печальные ветры.

Грин провел почти всю жизнь в ночлежных домах, в грошовом и непосильном труде, в нищете и недоедании. Он был матросом, грузчиком, нищим, банщиком, золотоискателем, но прежде всего — неудачником.

Взгляд его остался наивен и чист, как у мечтательного мальчика. Он не замечал окружающего и жил на облачных, веселых берегах.

Только в последние годы перед смертью в словах и рассказах Грина появились первые намеки на приближение его к нашей действительности.

Романтика Грина была проста, весела, блестяща. Она возбуждала в людях желание разнообразной жизни, полной риска и «чувства высокого», жизни, свойственной исследователям, мореплавателям и путешественникам. Она вызывала упрямую потребность увидеть и узнать весь земной шар, а это желание было благородным и прекрасным. Этим Грин оправдал все, что написал.

Язык его был блестящ. Беру отрывки наугад, открывая страницу за страницей:

«Где-то высоко над головой, переходя с фальцета на альт, запела одинокая пуля, стихла, описала дугу и безвредно легла на песок рядом с потревоженным муравьем, тащившим какую-то очень нужную для него палочку».

«Он слушал игру горниста. Это была странная поэзия солдатского дня, элегия оставленных деревень, меланхолия хорошо вычищенных штыков».

«Зима умерла. Весна столкнула ее голой розовой и дерзкой ногой в сырые овраги, где, лежа ничком, в виде мертвенно-белых, обтаявших пластов снега, старуха дышала еще в последней агонии холодным паром, но слабо и безнадежно».

Грин хорошо выдумывал старинные матросские застольные песни:

Не шуми, океан, не пугай,
Нас земля напугала давно.
В южный край —
В светлый рай
Приплывем все равно!

Он выдумывал и другие песенки — шутливые:

Позвольте вам сказать, сказать,
Позвольте рассказать,
Как в бурю паруса вязать,
Как паруса вязать!

Позвольте вас на салинг взять,
Ах, вас на салинг взять,
И в руки мокрый шкот вам дать,
Вам шкотик мокрый дать!

В Старом Крыму мы были в доме Грина. Он белел в густом саду, заросшем травой с пушистыми венчиками. В траве, еще свежей, несмотря на позднюю осень, валялись листья ореха. Слабо жужжали последние осы.

Маленький дом был прибран и безмолвен. За окном легкой тучей лежали далекие горы.

Простая и суровая обстановка была скрашена только одной гравюрой, висевшей на белой стене,— портретом Эдгара По.

Мы молчали, несмотря на множество мыслей, и с величайшим волнением осматривали суровый приют человека, обладавшего даром могучего и чистого воображения.

Старый Крым точно сразу изменился после того, как мы увидели жилище Грина и узнали простую повесть его смерти.

Этот писатель — бесконечно одинокий и не услышанный в раскатах революционных лет — сильно тосковал перед смертью о людях. Он просил привести к нему хотя бы одного человека, читавшего его книги, чтобы увидеть его, поблагодарить и узнать наконец запоздалую радость общения с людьми, ради которых он работал.

Но было поздно. Никто не успел приехать в сонный, далекий от железных дорог провинциальный город.

Грин попросил, чтобы его кровать поставили перед окном, и все время смотрел на горы. Может быть, их цвет, их синева на горизонте напоминали ему любимое и покинутое море.

Только две женщины, два человека пленительной простоты были с Грином в дни его смерти — жена и ее старуха мать.

Перед уходом из Старого Крыма мы прошли на могилу Грина. Камень, степные цветы и куст терновника с колючими иглами — это было все.

Едва заметная тропинка вела к могиле.

Я подумал, что через много лет, когда имя Грина станет хорошо известным и будет произноситься с любовью, люди вспомнят об этой могиле, но им придется раздвигать миллионы густых веток и мять миллионы высоких цветов, чтобы найти ее серый и спокойный камень.

— Я уверен,— сказал Гарт, когда мы выходили за город на старую почтовую дорогу,— что наше время — самое благородное из всех эпох в жизни человечества. Если раньше могли быть забытыми мыслители, писатели и поэты, то теперь этого не может быть и не будет. Мы выжимаем ценности прошлого, как виноградный сок, и он превращается в крепкое вино. Этого сока в книгах Грина очень много.

Я согласился с ним.

Мы вышли в горы. Солнце катилось к закату. Его чистый диск коснулся облетевших лесов. Ночь уже шла по ущельям. В сухих листьях шуршали, укладываясь спать, птицы и горные мыши.

Первая звезда задрожала и остановилась в небе, как золотая пчела, растерявшаяся от зрелища осенней земли, плывущей под ней глубоко и тихо.

Я оглянулся и увидел в просвете ущелья тот холм, где была могила Грина. Звезда блистала прямо над ним.

НОЧЬ НА ШАЛАНДЕ

В Новороссийске я встретил Денисова. Он зашел со мной в номер гостиницы, где Гарт сидел над рассказом о боре. Юнге не было. Старик уехал на метеорологическую станцию на Мархотский перевал, к своему другу — метеорологу, известному в Новороссийске под прозвищем «Мархотского узника».

Двадцать лет он просидел на этом перевале, всегда затянутом туманами, и изучал бору. Он пытался найти точные признаки для предсказывания боры, но это ему не удавалось. Бора зарождалась с внезапностью взрыва.

Каждый день и каждый час Новороссийск — один из прекраснейших, обширных и глубоких портов Черного моря — мог ждать предательского удара этого неистового ветра.

Денисов работал в Новороссийске по подъему затопленного в 1918 году миноносца. Он предложил мне и Гарту поехать на подъем. Мы тотчас согласились.

Гарт торопился и нервничал. Ему хотелось удрать на подъем до возвращения Юнге. Иначе старик начнет его упрекать за лень и отлынивание от работы.

Мы пошли на пристань. Каково же было мое удивление, когда я увидел «Смелого», изрыгавшего, как принято было выражаться в старинных рассказах, клубы черного и жирного дыма.

Баранов радостно приветствовал нас и принял к себе на борт, чтобы доставить к мысу Дооб, где работала судоподъемная партия.

Стоя на мостике, Баранов поглядывал на Мархотский перевал. Там появился косматый туман. Он переползал через гору. Туман этот моряки звали «бородой». Появление его обычно предшествует боре.

Я стоял рядом с Барановым и тоже смотрел на «бороду». Пасмурное небо свалилось на город тяжелой мешаниной туч. Сеялся редкий дождь. Белесое море казалось мертвым. Изредка солнечный свет прорывался сквозь пелену облаков. Он окрашивал зимнюю воду в розовый мутный цвет.

Зима вступила в свои хмурые права. Густой дым клубился над крышами. Весь день горели на улицах высокие фонари, и, как всегда зимой, особенно сильно дымили трубы пароходов и катеров. Изморозь трещала под ногами на каменных молах.

У мыса Дооб мы перешли со «Смелого» на водолазную шаланду. В это время спускали водолаза. Его скафандр еще торчал над водой, как металлический пузырь. Водолаз, увидев меня, начал махать резиновой рукой — и махал ею, пока не скрылся под волнами. Через толстые стекла скафандра я узнал Мухина.

На шаланде нас шумно приветствовал Медлительный. Он сегодня уже спускался на дно — крепить понтоны к миноносцу. Поэтому он жаловался на «невыносимые мурашки в голове».

Денисов объяснил нам способ подъема. Он был прост. К затонувшему кораблю прикреплялись громадные железные ящики или резиновые шары — их называют понтонами. В понтоны накачивался воздух. Понтоны всплывали и подымали корабль.

Этот способ казался простым на словах, на самом же деле был труден и опасен. Понтоны часто срывались. Кроме того, было почти невозможно определить вес подымаемого корабля,— корабль присасывался к грунту, иногда уходил в него до половины, и все помещения корабля были занесены толстым слоем синего черноморского ила.

После отрыва от дна корабль вылетал на понтонах на поверхность стремительно и бурно, как пробка. Вылет с больших глубин шел не дольше пятнадцати секунд.

Картина подъема обычно производит на новичков впечатление катастрофы. Море кипит крутыми волнами и пеной от вырывающихся из понтонов воздушных струй. Потом вылетают понтоны и выскакивает корма или нос корабля, покрытые травой, ракушками и крабами.

Иногда, не выдержав удара о воду, стальные тросы лопаются, и корабль опять проваливается на дно. Тогда вся медленная подводная работа начинается сначала.

Мы приехали ко времени подъема миноносца. Водолазы спустились, чтобы проверить последний раз крепление понтонов, но их сейчас же подняли на поверхность — разыгрывался шторм. Подъем пришлось отложить.

Мы с Гартом были в каюте шаланды, когда снаружи послышался звук, очень похожий на удар о железо тяжелого снаряда. Это ударил в палубу первый порыв ветра.

Шаланда подпрыгнула, запела и засвистела всеми частями, как громадная расшатанная флейта.

Мы выскочили наверх и увидели в седой мгле рыжую корму «Смелого», неистово вертевшего винтами. Ветер сорвал со «Смелого» кормовой флаг. Хрипя и взлетая на волнах, буксир исчез в тумане и собственном дыму.

Затем он появился снова. Баранов закричал нам в рупор, чтобы мы приняли буксирный конец,— «Смелый» решил отвести нас в порт. Но ни подать, ни принять буксирный конец не было возможности.

«Смелого» начало заливать. Он, бросив нас, пошел в Новороссийск. Мы остались одни и провели на шаланде весь день и штормовую ночь.

Днем было относительно спокойно, хотя волна и колотила в корму шаланды. Пока можно было оставаться на палубе, мы часто подымались на бак и смотрели на море.

В кипящей мгле метался силуэт океанского парохода. Он стоял носом к ветру и страшно дымил, из последних сил работая машинами. Его выбрасывало из волн до половины корпуса. Тогда в тумане блестело днище, закрашенное суриком и покрытое пятнами морской травы. Мы видели, как пароход сбивало на песчаную косу, где сшибались буруны. Пароход нес на мачтах флаги. Денисов, присмотревшись, перевел нам сигнал:

«Машина не выгребает. Терплю бедствие».

К вечеру пароход сел на мель.

К ночи бора дошла до полного и сокрушительного давления. Волны с гулом перекатывались через шаланду. Все не смытое с палубы было убрано внутрь, а люки и иллюминаторы завинчены до отказа.

Мы качались в железной коробке при свете «летучих мышей» и слушали вопли норд-оста и гром воды.

Молодые кочегары волновались. Особенно пугали их рывки якорных цепей. Каждую минуту казалось, что цепи лопнут или будут вырваны из клюзов и шаланду унесет в море.

Сидеть можно было с трудом. Стоять ухитрялись только матерые моряки, вроде Денисова и Медлительного, и то несколько секунд.

Ночью волнами расшатало корму, и появилась первая течь. Ее забивали паклей и клиньями.

Чтобы успокоить кочегаров, «старики» — Денисов, Мухин и Медлительный — сели играть в «козла». Гарт присоединился к ним. Эта игра, прерываемая болтовней Медлительного и ударами шторма, продолжалась до рассвета.

Медлительный, кашляя от смеха, рассказывал о шутке, выкипутой водолазами в одном из курортных городов.

Шли работы по подъему затонувшего портового катера. Водолазная шаланда стояла у самого мола.

— Время было летнее,—рассказывал Медлительный,— и вода была совсем теплая — можно сказать, как чай. Один с наших водолазов, отчаянно веселый парень — Колька Гаврилиади,— в одних трусах спустился на дно с воздушной маской и длинным шлангом и подошел до самого края пристани. Стоит себе под водой, дышит тихонько и только где-где пустит два-три пузырька воздуха. А Мухин, значит, выходит на край пристани, тоже в трусах, и хвалится перед курортной публикой, что нырнет сейчас на десять минут под воду и вынырнет невредимым. Я с им стою рядом и, натурально, клянусь, и божусь, и подтверждаю перед гражданами этот факт. Однако граждане с нас смеются. Тогда Мухин краснеет и ласточкой летит в воду.

Мухин слушал этот рассказ совершенно бесстрастно, попыхивая папиросой.

— Проходит минута, две, три. Промежду граждан, а особенно гражданок, начинается сильное волнение. Четыре, и пять, и шесть минут, а Мухина нет. Я стою и закру-

чиваю цигарку, как полагается, сплевываю и посмеиваюсь. Курортные бледнеют, обзывают меня извергом, хотят уже бежать до капитана порта и требовать помощи Мухину. А я говорю им: «Не было такого факта в истории советского мореплавания, чтобы водолаз потонул от ныряния в страшную морскую глубину, где водятся спруты и иная океанская рыба. Выплывет!»

И вот, действительно, забурлила вода и вылазит на пристань парень в трусах, и публика в диком ужасе шарахается от него, как от бандита.

Мухин — парень высокий, сероглазый и блондин, а выходит из воды Гаврилиади — парень небольшой ростом, черный как жук и с южным греческим глазом. Выходит, делает гражданам ручкой и говорит: «Глядите, у кого есть, на часы и подтверждайте, что прошло не меньше как десять минут». Но граждане молчат, как пришибленные пыльным мешком, и только бойкая старушка в очках спрашивает: «Как объяснить такое явление, что нырнул блондин, а вынырнул брюнет и притом короткий, или, по-вашему, поморяцкому говоря,— человек на низком ходу?»

А у нас между собой все расписано, и я даю соответствующую пищу ее любопытству. «Разве вы не знаете,— кричу я сердито,— что от давления воды человек сплющивается, волос у него чернеет, а в глазах сгущается кровь, и они делаются как у того индюка?»

Гаврилиади показывает мне незаметно кулак, но я, как отчаянный подводный житель, говорю дальше за это дело и упрекаю граждан в неинтеллигентности. Мы уходим с Гаврилиади, разыгравши курортных и отдыхающих, идем к себе на шаланду и тихонько вытягиваем с воды Мухина. А он под водой поменялся маской с Гаврилиади и стоял на месте, глотал свежий воздух.

— Врешь! — сказал Денисов.

Медлительный сделал страшное лицо и обернулся к Мухину.

— Петя,— сказал он вкрадчиво,— вот товарищ начальник берет меня за манжеты и не хочет верить старому водолазу. Подтверди, будь другом.

— Было такое дело,— спокойно сказал Мухин, не вынимая изо рта папиросы.

Тогда Денисов захохотал так, что заглушил гудение боры и выжал улыбку на лицах успокоившихся, но еще бледных кочегаров.

Ночь длилась без конца. Качка и грохот не давали уснуть. Рассвет не принес облегчения. Утром лопнула одна из якорных цепей, и шаланду начало носить на последней оставшейся цепи. Денисов в ответ на вопрос, что будет, когда и она оборвется, только махнул рукой и сказал:

— Прости и прощай!

Запасного якоря у нас не было. Около шаланды ныряла на волнах причальная бочка, стоявшая на мертвом якоре. Мухин вылез на палубу, вцепился в поручни и присел. Шаланду то подносило к бочке, то уносило ветром далеко от нее по широкой дуге.

— Давай трос! — крикнул Мухин.

Ему подали трос, и он, выждав минуту, перескочил на бочку, быстро продел трос в кольцо и лег. Волна накрыла его.

Мы были уверены, что Мухина смыло, но волна прошла, и мы увидели, что он судорожно крепит трос за кольцо. Шаланду далеко отшвырнуло, потом снова пододвинуло к бочке. Мухин перескочил обратно на палубу.

Шаланда опять стояла на двух якорях. Опасность миновала.

Мухин спустился вниз, переоделся, взял гавайскую гитару,— вдвоем с Денисовым они затянули южную песенку:

Прощайте, родимые воды,
Прощай, Ланжерон и маяк,—
По случаю справной погоды
Уходит на ловлю рыбак.
Рыдает на моле Маруся,
И чайки стрекочут над ней,
Я скоро в Одессу вернуся,
А ты меня жди и жалей!

— Вот какой мы народ! — кричал Гарту Медлительный.— Бесстрашный народ. Нам и жить и помирать — все с музыкой!

— Заткнись! — сказал Денисов.

Медлительный плюнул и смолк.

К вечеру ветер стих. Волны перестали бить в корму с прежней яростью. Густой дым возвестил нам о приближении «Смелого». Баранов взял нас на буксир и потащил в порт.

От команды «Смелого» мы узнали последние новости. На скалы выбросило два парохода. Теплоход «Аджаристан» прошел мимо порта. В городе сорвало много крыш, а бак для нефти весом в сто тысяч пудов сплющило ветром, как будто он был восковой. Это происшествие особенно веселило матросов.

Город, растрепанный бурей, выглядел косматым и темным. Рябили лужи и качались фонари. Рваные снасти хлестали по ветру. Даже в номере гостиницы, освещенном лампой с зеленым абажуром, были видны следы недавней бури — пыль веерами лежала на столе около окон, рама была вдавлена внутрь, и за ней наискось торчала сорванная ветром водосточная труба.

Юнге встретил нас насмешливым молчанием. Потом он прорвался, обозвал нас мальчишками и обвинил в том, что из-за нас у него прибавилось седины в голове.

Чтобы успокоить Юнге, Гарт показал ему рукопись почти оконченного рассказа.

Проект прорытия туннелей под хребтом Варада получил как в рассказе Гарта, так и в выкладках, сделанных Юнге, свое первое выражение.

Теперь, по словам Юнге, оставалось только добиться его осуществления, что у нас, в Советском Союзе, было делом вполне возможным и никак не фантастическим.

САМОУБИЙСТВО КОРАБЛЕЙ

Пока Гарт заканчивал рассказ, я провел несколько дней на буксире у Баранова.

Каждое утро мы ходили на подъем миноносца, а на ночь возвращались в Новороссийск. Во время этих походов я изучил Новороссийскую бухту с ее голыми берегами и нескончаемыми переменами цвета морской воды. Снова, как и во время рейса к Босфору, я попал в обстановку бесконечных морских разговоров и споров.

Особенно запомнился мне спор между Барановым и Денисовым о качествах матросов на военных кораблях. Баранов защищал парадоксальную теорию, что тип кораблей, их назначение и даже внешний вид оказывают сильное влияние на психику команд. Денисов смеялся над этой теорией и называл ее «морочением головы и фокусами».

Спор принял бурный характер. Обе стороны пустили в ход весь запас доказательств, вплоть до насмешек друг над другом и легкой перебранки.

Победителем оказался Баранов. Последнее доказательство, выдвинутое им, было неуязвимо. Оно получило признание со стороны старых моряков, привлеченных к этому спору.

Доказательство Баранова было простым, но необыкновенным.

Он вспомнил тысяча девятьсот восемнадцатый год в Севастополе. Был заключен Брестский мир. Немцы взяли Перекоп. Сбивая разрозненные части Красной гвардии, они быстро двигались к Севастополю, чтобы захватить Черноморский флот. Для отвода глаз немцы решили сначала передать флот «украинской державе».

Малочисленные регулярные отряды красных войск под командой Федько с тяжелыми боями отступали к Керчи. Горы были полны татарских белых эскадронов, налетавших на Ялту, Судак и Феодосию.

Севастополь митинговал. Каждый день на собраниях выступали отчаявшиеся люди и умоляли «прекратить говорильню», но их никто не слушал. Военно-революционный штаб приказывал «бросить пустую болтовню» и сорванным голосом кричал в исторических приказах:

«Пусть говорят, что защищать Севастополь бессмысленно! Пусть! Неужели можно сложа руки смотреть, как враг движется по нашей земле, губя по пути все, что дорого нам, революционерам? К оружию! Враг на пороге!»

Но Севастополь не слышал этих призывов и митинговал до тошноты и головокружения, решая судьбу флота.

И вот тогда обнаружилась резкая разница между командами тяжелых линейных кораблей и командами миноносцев.

Команды линейных кораблей были так же малоподвижны и инертны, как и самые корабли. Они соглашались поднять на кораблях украинские флаги и остаться в Севастополе, лишь бы не ввязываться в походы, сражения и эвакуации. Они прикидывались, что не знают замыслов германского командования и искренне верят в то, что флот отойдет к «украинской державе». Они закрывали глаза на то, что во главе этой фальшивой державы стоит назначенный германским штабом гетман Скоропадский.

Команды миноносцев — стремительных и поворотливых кораблей — требовали защищать революционный Севастополь от немцев до последней капли крови.

Когда командующий флотом Саблин отдал приказ готовиться к немедленной эвакуации, миноносцы отказались его выполнить, настаивая на том, чтобы дать немцам бой.

Но это было уже невозможно. Красногвардейские отряды, босые и голодные, откатывались к городу под напором немецких дивизий. Флот стоял под парами и принимал на палубы отступавшие после боев отряды. Многие из этих отрядов толком не знали, с кем они сражались — с немцами или с украинцами, двигавшимися вместе с немцами к Севастополю.

Гетманская организация «Рада черноморской украинской громады» требовала, чтобы на кораблях и в городе были подняты желто-голубые украинские флаги. Командовавший немецкими войсками генерал Кош передал через украинских посредников, что он прекратит наступление только в том случае, если флот признает украинскую державу и подымет кормовые украинские флаги.

И вот, когда для всех, в том числе и для команд миноносцев, стало ясно, что участь города решена, на дредноуте «Воля» созвали митинг всего флота. Произошла жестокая схватка между командами дредноутов и миноносцев. До рассвета на «Воле», надрываясь, кричали ораторы.

Команды дредноутов решили немедленно поднять украинские флаги и ждать немцев. Команды миноносцев ушли с «Воли», собрались у себя в минной базе и постановили не сдавать своих кораблей немцам, не допустить, чтобы они были использованы для целей контрреволюции, и увести их в Новороссийск.

На следующий день, двадцать девятого апреля, линейные корабли подняли украинские флаги. Миноносцы подняли красные флаги и сигналы: «Позор и продажа флота!»

На миноносцы перешли большевистские организации города. Минная эскадра решила уходить в Новороссийск в ночь на тридцатое апреля.

Команды дредноутов «Воля» и «Свободная Россия» подняли сигналы, что в случае попытки уйти из Севастополя они откроют по миноносцам огонь из башенных орудий.

На угрозу миноносцы ответили угрозой. Они пообещали дредноутам, что при первом же выстреле пойдут в минную атаку.

В эти дни тревог, смятений и боев над Севастополем и морем стояла тихая весна. Розовая мгла лежала по горизонту. В садах цвел миндаль. Море было необыкновенно прозрачно.

Над городом висела густая белая пыль, поднятая отступающими частями. Двадцать девятого апреля на кораблях и на берегу еще шумели бестолковые митинги, но по всей бухте уже разносился разноголосый крик команды, угроз, проклятий, свист пара и грохот лебедок.

К вечеру все стихло, только глухо гремели брашпили на миноносцах, выбиравших якоря.

Миноносцы, погасив огни, начали медленно вытягиваться из севастопольских бухт и выходить в море.

К двум часам ночи в бухтах наступила зловещая тишина. Миноносцы покинули обреченный и растерянный город. Только запах дыма, смешанный с запахом акаций, говорил, что в Северной бухте еще стоят под парами угрюмые дредноуты.

На следующий день Севастополь узнал, что, несмотря на подъем украинских флагов, немцы продолжают наступать.

Уход миноносцев отрезвил команды линейных кораблей. Украинские флаги были сорваны и вместо них подняты красные. Матросы дредноутов потребовали от Саблина немедленного увода кораблей в Новороссийск.

Немецкие разъезды появились около Инкермана. Немецкая артиллерия заняла высоты за Братским кладбищем.

В полночь все оставшиеся в Севастополе корабли начали сниматься с бочек и якорей и выходить в море. Темнота скрывала угрюмое передвижение судов. Внезапно на Северной стороне взлетели в небо немецкие боевые ракеты. Они осветили рейд. В это время первые корабли прошли узкий выход из севастопольских бухт и вытягивались в море.

Немцы открыли артиллерийский огонь. Дредноуты, не отвечая на него, спокойно и медленно вышли в море. Легкие немецкие снаряды не причинили им никакого вреда.

Команды двух миноносцев — «Гневного» и «Заветного», не успевших проскочить под обстрелом,— открыли

кингстоны и потопили свои корабли в Севастопольской бухте.

Черноморский флот ушел в Новороссийск — последний в то время оплот Советской власти на берегах Черного моря.

Баранов пришел в Новороссийск вместе с миноносцами на одном из транспортов.

Начались бурные и скомканные, непонятные и тревожные дни в Новороссийске. Немцы требовали возвращения флота в Севастополь, угрожая в противном случае начать наступление на Москву. Немецкие самолеты кружились над флотом. Гражданская война бушевала в степях Кубани.

Новороссийск был наводнен беженцами, матросами с торговых пароходов, собравшимися здесь со всего Черного моря, красногвардейцами, военными моряками, пленными офицерами, сыпнотифозными и бандитами.

Скудные запасы хлеба и лежалых овощей были съедены в несколько дней.

Немецкие подводные лодки рыскали у самых ворот порта. Связи с Москвой почти не было. Можно было сноситься только по радио через несколько промежуточных станций, но этот способ был ненадежен.

Тысячи слухов волновали потрясенных всем происшедшим матросов. Командующий флотом Саблин вел неясную и двойственную политику.

Наконец пришел секретный телеграфный приказ из Москвы — ни в коем случае флот не возвращать немцам, а потопить его в Новороссийске.

Саблин сбежал, передав командование капитану Тихменеву.

Телеграммы из Москвы в Новороссийск о судьбе флота полны революционной логики и спокойствия. Их язык прекрасно передает содержание героической эпохи:

«Безвыходность положения побудила Председателя Совнаркома Владимира Ильича Ленина согласиться с необходимостью немедленного уничтожения флота».

«Совет Народных Комиссаров приказывает вам уничтожить все суда Черноморского флота и коммерческие пароходы, находящиеся в Новороссийске.

Моряки должны понять, что правительство решается на эту страшную меру только потому, что другого исхода нет».

«Ввиду германского ультиматума правительство сочло себя вынужденным формально согласиться на возвращение судов в Севастополь. В этом смысле вам будет послан нешифрованный телеграфный приказ, но вы обязуетесь его не исполнять и считаться только с отданными выше предписаниями. Флот должен быть уничтожен».

Несмотря на совершенную ясность этого приказа, Тихменев разыгрывал простачка и жаловался, что он не может понять, чего хочет Совет Народных Комиссаров.

Тихменев оказался изменником. Он снесся с казачьим генералом Красновым и получил от него приказ сделать все возможное, чтобы флот был возвращен в Севастополь, где рано или поздно белые надеялись его захватить.

В то время флот привык решать все вопросы на митингах. Несмотря на приказ Совнаркома, Тихменев устроил во флоте голосование.

Большинство матросов высказалось за то, чтобы драться с немцами до последнего снаряда, часть — за потопление флота, и небольшая часть — за уход в Севастополь.

Тихменев, не считаясь с голосованием, приказал флоту готовиться к уходу в Севастополь и назначил день — семнадцатое июня.

Командир миноносца «Керчь» лейтенант Кукель отказался идти в Севастополь. Он сообщил всем судам флота, что команда его миноносца решила потопить «Керчь», выполнить приказ Совнаркома, но немцам не сдаваться.

«Керчь» подняла на мачте сигнал: «Судам, идущим в Севастополь. Позор изменникам родины».

Буря зашумела во флоте. Один за другим корабли начали присоединяться к «Керчи».

Тихменев на «Воле» ушел ночью в Севастополь. Все командование потоплением флота принял на себя лейтенант Кукель.

— В ночь на восемнадцатое июня мы,— рассказывал Баранов,— потопили свой транспорт и съехали на берег. Город, несмотря на позднее время, был весь на ногах.

Толпы голодных, желтых людей бежали в порт, где при огнях и свете прожекторов с кораблей спешно снимали ценные приборы и орудия и грузили в вагоны.

Женщины голосили по обреченным на гибель кораблям, как по покойникам. Стоны, плач и проклятья неслись над гаванью. Хмурые матросы, стиснув зубы и не глядя

друг другу в глаза, торопливо отклепывали якорные цепи и срывали корабельные антенны.

Толпа пыталась прорваться к миноносцам, стоявшим на швартовых и у пристаней, чтобы силой не дать их топить. Ее с трудом сдерживали цепи вооруженных матросов.

Жители воровских окраин подплывали к опустевшим кораблям на шлюпках и пытались грабить каюты. Их разгоняли ружейным огнем.

Нужна была величайшая выдержка, чтобы не поддаться массовой истерии, охватившей город. Флот погибал — величественный, славный своими революционными традициями Черноморский флот.

Миноносец «Лейтенант Шестаков» начал отводить на буксире разоруженные и пустые корабли на внешний рейд, в глубокое место залива. Чуть брезжил рассвет. Солнце еще не взошло над хребтом Варада.

Каждый из обреченных на гибель кораблей нес на рее сигнал: «Погибаю, но не сдаюсь».

Когда на буксире тронулся с места дредноут «Свободная Россия» с красным флагом на стеньге, отчаяние толпы на берегу перешло в повальное сумасшествие. Исступленно кричали дети, навзрыд плакали женщины и старые рыбаки.

Растерянные красногвардейцы даже не пытались удержать толпу, когда она бросилась к последнему оставшемуся у пристани миноносцу «Фидониси» и гроздьями повисла на швартовых, чтобы не позволить миноносцу отойти.

Все попытки оттеснить толпу и сбросить швартовы были бесполезны. Люди вцепились в канаты мертвой хваткой, их руки невозможно было разжать, а каждая минута промедления могла все погубить — в Новороссийске могла появиться немецкая эскадра.

Миноносец «Керчь» подошел полным ходом к «Фидониси», и на нем пробили боевую тревогу. Орудия миноносца были направлены на толпу. Лейтенант Кукель прокричал в мегафон, что по толпе будет немедленно открыт огонь, если она не отпустит швартовы.

Толпа отхлынула, и «Керчь» вывела из гавани «Фидониси» — последний из миноносцев погибавшей эскадры.

Весь флот уже стоял на внешнем рейде. Было около четырех часов дня.

«Керчь» развернулась и стала бортом к «Фидониси». Наступила глубокая тишина, как бы минута колебания. Потом мина, шурша, понеслась с «Керчи» и ударила в борт «Фидониси».

Глухой взрыв отозвался на берегах эхом отчаянных человеческих криков.

Вслед за «Фидониси» началось потопление всех остальных судов. На них открывали кингстоны, клинкеты и иллюминаторы, взрывали турбины.

Через полчаса весь флот, кроме дредноута «Свободная Россия», лежал на дне Новороссийской бухты.

Тогда «Керчь» подошла к «Свободной России». Это было около Дообского маяка.

Миноносец пускал в дредноут мину за миной, но корабль не хотел умирать. Мины или проходили под килем, или сворачивали в сторону. Только шестая мина вызвала на дредноуте взрыв, закрывший корабль дымом.

Когда дым рассеялся, команда «Керчи» увидела дредноут, пробитый насквозь.

Броневые плиты отвалились. Дредноут вздрагивал и медленно валился на правый борт.

Люди на «Керчи», обнажив головы, смотрели на агонию линейного корабля.

Страшный грохот и лязг донеслись с дредноута. То срывались в воду и обрушивались шлюпки, катера и орудия.

Поползли из своих гнезд гигантские броневые башни. Ломая борта, с невыносимым скрежетом они срывались в глубину, подымая крутые волны. Издали эти ползущие за борт башни, весящие около тысячи тонн, были похожи на опрокинувшихся на спину допотопных черепах.

Внутри корабля долго был слышен глухой гром срывающихся с фундаментов турбин и механизмов. Из кингстонов и клинкетов били высокие фонтаны воды.

Дредноут лег вверх килем и медленно пошел на дно. На «Керчи» люди стояли, забыв о времени, смотрели на пузыри воздуха, вылетавшие из воды, и плакали.

Трудно понять не моряку величайшую трагедию и мужество моряков, потопивших родные корабли во имя революционного долга.

«Керчь» ушла в Туапсе и там ночью была потоплена командой. Перед гибелью миноносец дал радио:

«Всем. Погиб, уничтожив суда Черноморского флота,

которые предпочли гибель позорной сдаче Германии. Эскадренный миноносец «Керчь».

Баранов был на «Керчи» во время последнего рейса в Туапсе, но об этом он не любил рассказывать. На мой вопрос он ответил коротко:

— Погребальный был рейс.

Через двенадцать часов после гибели флота в Новороссийск ворвалась немецкая эскадра. Она застала мертвый, пустой порт.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

Из Новороссийска Гарт, Юнге и я вернулись на «Смелом» в Севастополь. В Севастополе мы застали Зою.

Сметанина сообщила нам радостную новость: дед Дымченко получил грамоту от правительства и звание «Почетного моряка Черноморского флота».

Мы решили поехать к Дымченко и поздравить его с высокой наградой.

Мы накупили вина, фруктов, всяческих закусок и погрузили все это в ялик. Сметанина везла деду в подарок его собственный портрет, Гарт — жестянку английского трубочного табака, Юнге — новый барометр, Зоя — семена разных цветов, Баранов — бутылку шампанского, а я — набор рыболовных крючков и шелковые плетеные лески.

Яличники наперебой зазывали нас в свои шлюпки. Каждому было лестно и любопытно переправить на Северную сторону это богатое пиршество, запакованное в кульки и берестяные коробки.

Награждением деда гордилась вся Северная сторона. Поэтому еще у пристани пришлось раскупорить бутылку и угостить старых перевозчиков — друзей и почитателей Дымченко.

— Золотой старик! — кричали одни, обсасывая усы и вытирая их заскорузлыми ладонями.— Не старик, а чистое дите. С таким старым легче добиться социализму, чем с другим каким молодым балбесом!

— Справный рыбак! — кричали другие.— Привычка у него до моря настоящая. Он море скрозь знает. Революцию вытянул на собственном горбу.

На Северной мы высадились перед вечером.

Пока Баранов и Гарт выгружали из шлюпки провиант, я смотрел на бухту.

В небе висела далекая, только что родившаяся луна. На высоте в тусклой синеве воздуха чувствовалось присутствие иссякающего солнечного света. В противоположность небу, вода была взволнованной и живой. В ней плескались огни кораблей, предместий, мигалок и катеров. Они казались маленькими хлопьями светящейся пены. Они разгорались все ярче по мере того, как незаметно темнели берега.

К деду мы пришли уже в темноте. Старик растерялся и расплакался, как ребенок, от множества подарков. Он положил трясущуюся руку на плечо Сметаниной, что-то хотел сказать, но потом крякнул, отвернулся и сердито пробормотал:

— Ну ладно, потом скажу!

Пришел Андрей. Он восхищался подарками и осторожно гладил их шершавыми ладонями. Особенно ему понравился портрет Дымченко.

— Ты гляди, Петро! — кричал он.— Это же не вещь, а небесная красота! Какая работа! Одна чистота и опрятность.

Накрыли стол. Шампанское тихо шипело в старых, треснувших стаканах. Дым трубочного табака смешивался с запахом ржаного хлеба.

Рыжик сидел у порога и смотрел на нас желтыми от зависти глазами. Хвост его подымал легкую пыль.

Дымченко постучал стаканом о стол. Мы затихли.

— Хочу я вам сказать, друзья, за наше море.

Он долго молчал, опустив голову.

— Да что тут балакать! Хорошее море!

— Хорошо быть почетным моряком такого хорошего моря,— сказал Баранов.— Выпьем, дед, и помиримся.

— Да я на тебя и не серчал.— Дымченко заулыбался и искоса посмотрел на Баранова.— Вся Северная знает, что ты отчаянный моряк. Мы, морячки, все одно как свойственники промеж себя. Нам друг на друга сердиться невежливо. А теперь послухай, что я скажу.

Вот подарило меня, старого, правительство великой наградой. Пошел я сегодня утром до Сухой балки, через степь,— ловить рыбу. Шкандыбаю и думаю свою думу про близкую смерть. И от той думки жизнь мне кажется веселой, а умирать не страшно. Только жалко, что мало я той, сегодняшней жизни повидал.

Иду, тащу кошелку и пруты. И подходит до меня мо-

лодой красавец — матрос береговой обороны, берет кошелку и пруты и говорит: «Давайте, товарищ Дымченко, я вам подмогну. Вы старенький, вам нести неловко».— «Как так, говорю, ты будешь со мной тратиться, когда сегодня на батарее работа? За это командир посадит тебя под арест на трое суток». Он смеется: «Ничего, говорит, я скажу, что задержался из-за вас, из-за почетного моряка нашего флота. И ничего мне не будет».— «Верно?» — спрашиваю. «А как же,— говорит тот матросик.— Теперь, дедушка, не царские времена». Так он меня и довел до места. Прямо — родной сын. И после того, как распрощался я с ним, та награда из Москвы сделалась мне в сотни раз милей. Вот я и говорю — надо выпить того вина за старое наше море да за молодых морячков. А я с вами пригублю. Мне пить не годится — сердце у меня болит и болит,— должно, болезнь какая прилипла.

Мы выпили за родное море и моряков.

Гарт предложил мне и Сметаниной выпить за последние два месяца нашей жизни. Самое важное в этих двух месяцах, по словам Гарта, было то, что ничего не случилось и вместе с тем случилось многое.

— Что? — спросила Сметанина.

— Случилась настоящая жизнь,— ответил Гарт,— хотя и не было никаких событий.

Ушли мы поздно. Гудок парохода прорезал ночь и торжественным эхом прокатился над степью. Это уходил во Владивосток «Аян», уходил к далеким океаническим берегам Советского Союза. Он нес сквозь ночь груды огней и волочил за кормой шумящую пену.

— Что же вы ничего не сказали? — спросил я Сметанину, когда мы шли к пристани по степной дороге, освещенной низкими звездами.

— Не решилась,— ответила она.— Я хотела сказать примерно то же, что Гарт. Ничего не случилось, но я знаю, что каждый день был наполнен умом, силой, человеческой теплотой, дружбой — всем тем, что мы называем самым прекрасным в мире. Я выросла за эти два месяца и вместе с тем помолодела на несколько лет. Я не знаю, как назвать это чувство. Кажется, это называется счастьем.

С моря дул свежий ветер. Плеск волн в бухтах был похож на сдержанный смех.

Севастополь, 1935

Северная
повесть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Ботнический залив был скован льдом. Высокие сосны трещали от стужи. Непрестанный ветер сдувал со льда сухой снег. Залив угрюмо блестел по ночам, как черное стекло, и отражал звезды.

Офицеры Камчатского полка, греясь у трескучих каминов, вспоминали стихи Евгения Баратынского о том, как «чудный хлад сковал Ботнические воды».

Многие еще помнили Баратынского. Изредка они рассказывали о молчаливом поэте, тяготившемся службой в пехотном полку в крепости Кюмель, о печальном «певце Финляндии», и завидовали его спокойной славе.

Камчатский полк стоял в то время на Аландских островах, в городке Мариегамне.

Издавна Аландские острова считались родиной парусных кораблей. Здесь, в отдалении от беспокойных столиц, в пустынности маленького северного архипелага, жили знаменитые корабельные мастера. Они строго хранили и передавали старшим сыновьям законы своего искусства. Равнодушно закусив трубки, они смотрели на дым от первых «пироскафов», грязнивших чистые морские горизонты: «Все равно пар никогда не справится с океаном».

Каждую осень на острова возвращались для починки высокие бриги и клипера, барки и бригантины. Они приходили из Карибского моря, из Леванта и Шотландии, из всех углов земли. Приводили их шведские шкипера — неразговорчивые и честные люди.

Зимой корабли вмерзали в лед, их засыпало снегом. Офицеры Камчатского полка, выбегая во двор проветриться от винного и табачного чада во время пирушек, видели

перед собой темные кузова кораблей, желтые фонари на смерзшихся снастях и слышали шум ветра в толстых реях.

К кораблям быстро привыкли, как привыкают к домам, к деревьям на улице, к полосатым будкам часовых. Их перестали замечать. Только в те редкие ясные дни, когда над ледяным заливом подымалось белое солнце, офицеры, солдаты и жители Мариегамна жмурились от блеска кораблей, заросших инеем, и удивлялись красоте этого зрелища.

Казалось, что косматая зима устроила себе жилье на кораблях. Комья снега слетали со снастей и с шорохом разбивались о палубы. Сосульки искрились и звенели. Колкие ледяные розы расцветали на иллюминаторах. Слоистый дым из камбузов стоял в снастях весь день до заката, когда он делался багровым, как дым ночного сражения, и постепенно превращался в черную мглу.

Время было неясное и неспокойное. Кончался январь 1826 года. Недавно пришли известия из Петербурга о декабрьском восстании и сражении на Сенатской площади.

Командир Камчатского полка Киселев, бывший забулдыга гусар, переведенный в пехоту за дуэли и нечистую карточную игру, приказал выставить по островам караулы. Мера эта казалась офицерам излишней. Они посмеивались над ней, но никто не решался возразить командиру.

Киселев был человек самомнительный и не терпел своеволия. Он участвовал в войнах с Наполеоном, ни разу не был не только ранен, но даже поцарапан саблей. «Для меня еще не отлита пуля»,— говорил он хвастливо.

Передавали, что в 1814 году, после занятия Парижа, он сидел как-то в одном парижском кабачке. Вошли пятеро французов. Они потребовали пять пустых стаканов и одну бутылку шампанского. Киселев тотчас приказал подать себе один пустой стакан и пять бутылок шампанского, выпил все бутылки до дна и твердо вышел из кабачка под громкие рукоплескания пьяных посетителей.

О Киселеве офицеры Камчатского полка сложили эпиграмму:

Поля сражения для труса безопасны,
Он, славу бранную переменив на ром,
Громит врага за ломберным столом
Отменно и всечасно.

Полковым адъютантом был немец, заика Мерк, человек твердых жизненных правил, службист и любитель музыки.

Мерк заставлял полковой оркестр играть на плацу по нескольку часов во время жестоких морозов. Кровь текла у музыкантов по лопнувшим, обожженным холодной медью губам. Слюна примерзала к трубам. Седой морозный дым висел над ревущими тромбонами.

Когда оркестр, сыграв полковой марш, затихал, Мерк выходил на крыльцо в накинутой на плечи шинели и кричал заикаясь:

— Слышу скрип сапог! Грязно играете, братцы! Повторяйте марш, пока не будет ни единого лишнего звука.

Солдаты коченели от холода и играли. Они переминались с ноги на ногу очень тихо, чтобы Мерк не услышал скрипа сапог, но у заики был очень тонкий слух, и обмануть его не удавалось. Почти у всех музыкантов были обморожены ноги.

Мерк считал себя человеком прямым, правдивым. В полку его недолюбливали и боялись. Он говорил офицерам: «Вы, сударь, не умеете прилично есть рыбу — это срам», «Отучитесь наконец, поручик, трясти ногой под столом».

Финляндия была покорена недавно. Еще у всех в памяти был знаменитый переход русской армии по льду замерзшего Ботнического залива к берегам Швеции. Славу этого похода не могли затмить даже недавние победы над французами.

Гарнизонная служба в Финляндии считалась очень тяжелой. Ее приходилось нести среди сурового и молчаливого народа. Особенно трудна была служба в Камчатском полку, расквартированном на Аландских островах. Летом из Петербурга и Гельсингфорса еще приходили на острова корабли, зимой же единственная дорога на берег лежала по жгучим льдам. Но чаще всего залив замерзал только около берегов, и тогда на острова нельзя было попасть ни на корабле, ни на лошадях.

В Камчатский полк ссылали провинившихся офицеров. Среди них был прапорщик Бестужев, недавно произведенный в офицеры из солдат.

Бестужев попался на улице в Петербурге великому князю Михаилу Павловичу в меховой шапке вместо офи-

церского кивера. Был ветреный, холодный вечер. Бестужев страдал после ранения в висок под Бородином сильной мигренью и надел шапку, чтобы не простудить голову. Великий князь сорвал с Бестужева шапку и хотел бросить ее на землю. Бестужев вырвал шапку из рук князя, надел ее и пошел своей дорогой, не оборачиваясь на грозные приказы остановиться.

На допросе Бестужев сказал:

— Честь свою я почитаю выше присяги.

Об этом доложили императору Александру. Тотчас последовал приказ о разжаловании поручика Бестужева в солдаты и отправке его в Камчатский каторжный полк.

Солдат Семен Тихонов стоял в карауле около маяка Эрасгрунд. Низенький каменный маяк был построен на островке против Мариегамна. На караул нужно было ходить через узкий замерзший пролив.

На маяке жил только сторож — старый глухой швед, бывший шкипер. Весь день он что-то сердито бормотал, жевал сухими желтыми губами и искоса поглядывал на заиндевелого солдата в башлыке, заходившего в сторожку греть красные большие руки.

— Ты не бранись, дед! — кричал Тихонов простуженным голосом.— Будто я по своей воле тут топчусь, холоду напускаю. Царская служба, она, дед, не житье, а каторга. Понял?

Дед молчал. Тихонов садился на корточки около печки. Его замерзшая шинель стучала по полу, как деревянная.

— Эх, беда, беда! — говорил, сокрушаясь, Тихонов и затирал сапогами лужи, натекавшие с шинели на чистый кирпичный пол.

Швед кивал головой.

— Понимаешь, значит? — спрашивал Тихонов.— Да и как не понять, когда мы люди простые, с малолетства к работе приучены. Ты сторожишь, и я сторожу. Только чего я сторожу — об том один господь бог ведает да его высокородие полковник Киселев.

— О-о-о! — говорил швед.

— Вот то-то что «о-о-о»! — сердито отвечал Тихонов.— Злодейский командир наш Киселев. Один во всем полку

стóящий человек — прапорщик Бестужев, мой полуротный командир, а твой постоялец.

Бестужев снимал комнату в Мариегамне у маячного сторожа. Старик все дни проводил на маяке. В Мариегамн он возвращался только по воскресным дням. Прислуживали прапорщику жена старика, седая старушка, и дочь Анна — темноволосая застенчивая девушка, бегавшая на лыжах как мальчик.

Анна недавно кончила школу в Стокгольме, а теперь жила у родителей, помогала матери и все вечера напролет читала.

— Бестужев... — прошамкал старик, улыбнулся и похлопал Тихонова по шинели, вздувшейся горбом на спине.— О-о-о! Бестужев!

— Верно, дед,— сказал Тихонов и с удовольствием вытер лицо шершавой ладонью.— Ничего не скажешь, наш полуротный — душа человек!

Тихонов выкурил трубку крепкого табаку и, гремя ружьем и тесаком, вышел из сторожки. Он захлопнул дубовую черную дверь, зажмурился от колючего снега, ударившего в глаза, и перекрестился.

— Ну и мóрок, упаси господи!

Тяжелая январская ночь стояла вплотную около тускло освещенных окон сторожки. Маяк не горел: зимой он был не нужен.

Тихонов ходил по берегу с ружьем на плече, часто останавливался и стоя дремал.

Изредка в заливе лопался от мороза лед. Унылый гул долго катился к берегам. Тихонов встряхивал головой, чтобы прогнать сон, ругался и хрипло кричал:

— Слуша-а-ай!

Кричал он по привычке. Вблизи часовых не было, и никто на его крик не отзывался. Только старый швед в сторожке каждый раз после этого крика медленно вставал, поправлял дрова в печке, возвращался к столу и продолжал читать толстую желтую Библию.

— Слуша-а-ай! — протяжно кричал Тихонов.

Ветер стихал и точно прислушивался. Трескался лед, снег шуршал о каменную стену сторожки и скрипел под сапогами у солдата. Солдат кашлял и сплевывал. Звуки эти давно наскучили ветру, и он, немного подождав, снова начинал сносить снег со льда к берегам и наваливать его длинными сугробами.

Тихонову надоело кричать. Он замолк. Ветер тоже стих. Вдруг в наступившей тишине, где-то очень далеко, на льду, солдат услышал глухой и медленный стук. Он поправил тесак и прислушался.

Стук приближался. Солдат осторожно прилег за камнями. Стук уже был слышен ясно, как будто по льду шел человек в тяжелых железных сапогах.

Солдат торопливо перекрестился, положил ружье на камень и прицелился в темноту, где слышались шаги. На льду появилось темное пятно. Оно медленно двигалось к берегу.

— Стой! Кто идет? — негромко окликнул Тихонов.

Но никто не ответил. Тихонов всмотрелся и увидел двух человек. Они шли молча, не останавливаясь, как глухие.

— Стой! — снова крикнул Тихонов и хотел было выстрелить, но передний человек споткнулся о прибрежные камни и упал.

Спутник его пытался поднять упавшего за плечи и посадить, но человек снова тяжело, как мертвый, падал на лед.

Тихонов взял ружье на руку и осторожно подошел к лежащему.

— Кто такие? — спросил он сурово.— Отвечай без утайки.

— Погоди, служивый,— сказал из темноты усталый голос.— Подсоби внести его в дом: человек без памяти.

Тихонов взял лежащего за плечо и отдернул руку: под плащом он почувствовал твердый офицерский эполет.

— Офицер? — спросил он шепотом.

— Офицер.

— А ты кто?

— Я матрос.

— Есть приказание,— сказал вполголоса Тихонов,— задерживать всякого, какого бы ни был звания, и представлять его высокородию полковнику Киселеву. Откуда идете и по какой надобности?

— Замерзает человек! — сказал с отчаянием матрос.— Подсоби внести в дом, Христа ради. Успеешь еще допытаться.

Тихонов смолчал. Вместе с матросом он поднял офицера и внес его в сторожку.

Старый швед встал, захлопнул Библию и молча смот-

рел, как офицера укладывали на пол около печки. Потом он не торопясь достал из стенного шкафчика штоф с водкой, налил ее в синий стакан и, как обычно что-то бормоча и сердясь, поднял офицеру голову и влил ему водку в рот. Водка разлилась по грязному мундиру.

Офицер вздохнул, открыл глаза, увидел Тихонова и порывисто сел.

— Солдат? — спросил он и схватился рукой за грудь.— Куда мы вышли, служивый?

— Аландские острова, ваше благородие,— ответил Тихонов.— Разрешите спросить — откуда идете и по какой надобности?

Офицер усмехнулся.

— Идем мы,— ответил он медленно,— из самого Петербурга. В Швецию. А надобность у нас простая, братец: спасаемся от царской петли. Понял?

— Так точно, понял, ваше благородие.

— Что же ты думаешь делать?

Тихонов молчал. Он вытер нос мокрым рукавом шинели и долго мигал воспаленными от ветра глазами.

— Ну? — спросил офицер.

— Ваше благородие,— умоляюще сказал Тихонов,— здесь все доподлинно известно, караулы стоят по всем островам. Все равно не пройдете.

— Что вам известно?

— Насчет бунта. Прапорщик Бестужев нам объяснял.

Тихонов помолчал, помялся и спросил:

— Разрешите узнать, ваше благородие: был ли в деле лейб-гвардии Московский полк?

— Был. На стороне мятежников. Его расстреляли картечью.

Тихонов сел на корточки около печки и задумался.

— Эх, беда, беда! — сказал он, ворочая в печке дрова.— Брат мой младший в том полку служил. Неужто убили?

— Свободно,— ответил матрос.— Их в Неве сколько утопили, московцев,— не счесть!

— Слушай, солдат...— сказал офицер.

Тихонов сидел все так же, уставившись на огонь.

— Подымались мы за правое дело. За вольность народную, за счастливую солдатскую долю. Царь Николай — тиран. Он слезами затопит Россию; засечет ее насмерть. Наше дело проиграно, но семена брошены и взойдут. Не

ты, так внуки твои увидят бесслезную жизнь и нас за нее поблагодарят. Понял?

— Понял, ваше благородие,— глухо сказал Тихонов.— Что ни делай, а правду в кандалы не забьешь.

Офицер встал, запахнул плащ и надел простую крестьянскую меховую шапку. Несмотря на жару в сторожке, в лице офицера не было ни кровинки. Он крепко взялся дрожащей левой рукой за стол и сказал матросу:

— Ну, Пахомыч, пойдем. Ночь еще долгая, до света успеем отойти на пять выстрелов от островов. Места здесь опасные.

— Поесть бы вам надо, Николай Иваныч,— сказал матрос.— Лица на вас нету.

Офицер махнул рукой и нетвердо пошел к двери. Матрос пошел за ним следом.

Тихонов вскочил.

— Стой, ваше благородие! — закричал Тихонов отчаянным голосом и бросился к офицеру.

Тот быстро обернулся.

Матрос схватил Тихонова за руки.

— Пусти! — крикнул Тихонов и вырвался; слезы текли по его обветренному растерянному лицу.

Трясущимися руками Тихонов начал развязывать свою солдатскую сумку, оборвал ремешки и вытащил краюху черного хлеба и кусок сала, завернутый в чистую тряпку.

— Возьми, ваше благородие,— сказал он, задыхаясь, и сунул хлеб и сало офицеру.— Возьми от всего солдатского сердца. Не обижайся.

Тихонов упал на колени и поклонился офицеру в ноги.

— Что ты, что ты! — растерянно сказал офицер и начал подымать Тихонова.— Разве можно? Встань.

Тихонов тяжело поднялся. Офицер притянул его к себе, и они поцеловались. Матрос похлопал Тихонова по плечу:

— Ну, прощай, служба!.. Помни!

Они вышли. Тихонов стоял у дверей. Ружье его валялось на полу около печки. Старый швед судорожно мял рукой небритую щеку.

Тихонов обернулся к нему, прижал заскорузлый палец к губам и погрозил большим кулаком. Швед радостно закивал,— очевидно, понял.

Гулкий и близкий выстрел ударил в темноте. За ним — второй, третий, и хриплый голос закричал совсем близко:

— Часовой!

Тихонов узнал голос полкового командира. Раз в неделю Киселев проверял по ночам караулы. Тихонов не двинулся с места, только быстро оправил шинель.

Дверь распахнулась. Нагнув голову, через высокий порог переступил Киселев. За ним следом шел Мерк. Два солдата держали в сенях за руки офицера в крестьянской шапке и матроса.

— Ввести их! — крикнул Киселев солдатам.

Солдаты неловко ввели арестованных.

— Кто вы такой? — спросил Киселев офицера.

Офицер молчал.

Киселев распахнул его плащ. Офицер вспыхнул, выпрямился и оттолкнул Киселева левой рукой. Правая рука у него была забинтована. На бинтах запеклась черными пятнами кровь.

— Кто вы такой? — повторил Киселев.

— Я сын своего несчастного отечества,— сказал офицер.— Прошу уволить меня от дальнейших вопросов.

— Вы бунтовщик, сударь,— сказал ласково Мерк.— Вы нарушили присягу и изволили поднять руку на священную особу императора.

— Пусть будет так,— ответил офицер и усмехнулся.

Тогда Киселев медленно подошел к Тихонову и посмотрел ему в глаза.

— Скотина! — сказал он и ударил солдата кулаком по мокрому лицу.

Тихонов моргал глазами.

— Домигался, дурак, прозевал государственного преступника. Дать триста шпицрутенов! Засечь, как собаку!

Когда увели арестованных и Тихонова, старый швед погасил свечу, вышел из сторожки и осторожно, сделав большую петлю, пошел по льду в Мариегамн. Всю дорогу он кряхтел и ругался.

Бестужева произвели в прапорщики летом. Он тотчас же подал прошение об отставке. Вначале он ждал приказа из Петербурга об отставке с нетерпением, но потом начал думать об этом приказе даже с некоторым страхом и дрожью в сердце. Он привык к Мариегамну, к пустынным островам, где в ясном воздухе долго теплились вечерние зори, к хмурому и доброму народу, к своим книгам, к чистой комнате, устланной половиками из морской тра-

вы, к старухе хозяйке и к застенчивой тоненькой Анне. Сейчас, думая об отъезде в Россию, он все чаще повторял про себя навязчивые стихи:

Я вспомню с тайным сладострастьем
Пустынную страну,
Где я в размолвке с тихим счастьем
Провел мою весну...

Анна часто бегала на лыжах на соседний остров к подруге. Просыпаясь по утрам, Бестужев слышал под замерзшим окошком свист лыж по снегу и грудной голос Анны, кричавшей матери прощальные ласковые слова.

Бестужев вставал, отодвигал занавеску и видел знакомую и милую картину. Снег лежал на крышах пухлыми пластами, как на елочных ветвях. Вся комната была озарена оранжевым блеском солнца и огня, шумно пылавшего в камине, и Анна — вся в снегу, слетавшем на нее с ветвей,— скользила на лыжах через поле к сосновому лесу.

Однажды Бестужев высказал желание пробежать вместе с Анной на лыжах на соседний остров. Анна засмеялась и согласилась.

Вышли они утром. В лесу было сумрачно. Сухие сосновые иглы медленно падали к их ногам. В густых чащах Анна воткнула палки в снег и остановилась.

— Смотрите,— сказала она,— может быть, на вашей родине вы никогда не увидите этого.

Зрелище, открывшееся их глазам, было исполнено необыкновенной прелести. В чащах стояло безмолвие и не было ни малейшего ветерка. Вверху же, над вершинами леса, дул слабый ветер. Он сбрасывал с ветвей снег. Сотни снежных хлопьев падали сверху, серебрясь в косых лучах солнечного света, придававшего зимним чащам таинственное освещение. Хлопья падали, задевали за ветки, рассыпались в длинные, медленно спускавшиеся к земле полосы белой пыли, шуршали вокруг, как сухой дождь.

Бестужев взглянул на Анну. Она была покрыта снежной пылью. Сквозь эту пыль блестели ее губы, мокрые ресницы и зеленоватые, переставшие смеяться глаза.

— Анна,— сказал Бестужев,— могли бы вы полюбить всей душой русского?

Анна быстро обернулась к нему, зацепила палками за ствол ели, и водопады мягкого снега обрушились на нее и Бестужева.

— Да,— сказала она и закрыла глаза.— Но отец мне не позволит выйти замуж за русского.

— Почему?

— Отец вас не любит.

Бестужев снял с ее руки зеленую вязаную варежку и поцеловал холодные пальцы. Она молча взяла Бестужева рукой за подбородок и долго, печально смотрела ему в лицо. Потом оттолкнулась палками и побежала сквозь заросли, оставляя за собой вихри снега. Бестужев едва поспевал за ней.

На соседнем острове они зашли в дом, показавшийся Бестужеву построенным из старого янтаря — так желты были его бревенчатые стены. Беловолосая девушка-дурнушка, подруга Анны, напоила их горячим молоком.

Анна много болтала, и смех ее был слишком звонок и неспокоен. Подруга смотрела на Бестужева и Анну с лукавой улыбкой,— так улыбаются люди, наблюдая чужое счастье.

Обратно шли медленно, молча. Первые звезды загорались над заливом. Одна из них — самая яркая, сияющая нестерпимым синим огнем,— стояла очень далеко, в южной, зеленоватой части неба, прямо над верхней реей большого корабля.

Всю ночь после этой прогулки Анна проплакала. А наутро пришел отец. Он что-то отрывисто и сердито говорил ей. Потом в доме затихли. Днем Бестужев видел, как Анна вышла на крыльцо, долго стояла неподвижно и смотрела на залив, наморщив брови. Бестужев хотел окликнуть ее, но не осмелился.

Он решил, что, выйдя в отставку, никуда не уедет, останется на острове и, пренебрегая насмешками полковых товарищей и запрещением ее отца, обязательно женится на Анне.

Офицерская пирушка затянулась далеко за полночь. Горел камин. В его багровых отблесках ночь за окнами казалась особенно синей. Изредка маленькая снежинка прилипала снаружи к стеклу, и если пристально вглядеться, то можно было увидеть ее тончайшее кристаллическое строение.

Пили вяло, хотя ни Киселева, ни Мерка не было. Оба они ушли проверять ночные караулы. Пили плохо уже

давно — со времени первого известия о мятеже в Петербурге.

От ломберных столов подымалась меловая пыль и першило горло. Игроки понтировали молча, посасывая потухшие трубки. Жарко горели свечи.

Поздней ночью вошел вестовой. Стараясь не стучать сапогами, он подошел к Бестужеву и доложил, что его дожидается в прихожей неизвестная девица. Лицо вестового было каменное. Офицеры переглянулись, и лишь кое-кто чуть заметно улыбнулся в усы. В прежнее время этот случай вызвал бы взрыв шуток и игривых предположений, но сейчас шутки никому не приходили на ум.

Бестужев быстро поднялся и вышел. В прихожей его дожидалась Анна. Он взглянул на ее бледное лицо с прилипшими ко лбу прядями мокрых волос и спросил быстрым шепотом:

— Анна, что случилось?

Девушка задыхалась.

— Павел,— сказала она, впервые называя Бестужева по имени,— только что отец пришел с маяка. Там схватили русского офицера. Он шел через залив в Швецию. Он бунтовщик. Что делать, Павел?

— Успокойся, Анна,— сказал Бестужев и ощутил внезапный холод в сердце — предвестник безрассудных и скорых решений. Такой же холод он ощущал в бою под Бородином и в Петербурге, когда вырвал шапку из рук великого князя.— Пойдем, мы должны сговориться совместно, что делать.

Он взял ее за руку и ввел в зал. Офицеры, увидев заплаканную девушку, встали. Только игроки не заметили прихода Анны и продолжали скрипеть мелками и перекидывать карты.

— Господа,— сказал Бестужев,— час пазад у нас на острове случилось происшествие чрезвычайное, требующее нашего совместного обсуждения.

Молодой и пылкий поручик Лобов рванулся к Бестужеву:

— Ну, говори скорее, без предисловий!

Топот сапог и звон шпор не дали Бестужеву возможности продолжать. Дверь открылась. Вошел засыпанный снегом Киселев. Он сбросил мокрый плащ на стул и обвел офицеров веселым и хитрым взглядом. Взгляд этот

ак бы говорил: «Вот вы увидите сейчас, какой сюрприз я вам приготовил!»

За Киселевым появился Мерк. Он замешкался в передней, счищая с ботфортов снег. Мельком взглянув на Анну, стоявшую рядом с Бестужевым, он сказал с презрительной учтивостью:

— Прапорщик Бестужев, вам должно быть известно, что на офицерских собраниях полагается присутствовать лишь женам, близким семейным и невестам господ офицеров.

Бестужев вспыхнул.

— Это моя невеста,— сказал он глухо.

Анна стояла помертвевшая и спокойная.

Мерк поклонился и прозвенел шпорами. Никто не обратил внимания на его выходку; все смотрели на возбужденного полкового командира.

— Господа офицеры! — Киселев театрально поднял руку.— Малое время тому назад при обходе караульных постов около маяка Эрасгрунд мною и капитаном Мерком был задержан мятежник, бежавший из Петербурга и пробиравшийся по льду Ботнического залива в Швецию.

Наступила такая тишина, что было слышно, как поскрипывают под чьей-то ногой навощенные половицы.

— Судя по мундиру, он офицер лейб-гренадерского полка. С ним задержан второй мятежник — матрос взбунтовавшегося против императора гвардейского экипажа.— Киселев обвел глазами офицеров. Ему хотелось проверить впечатление, какое должны были произвести его слова.

Офицеры хмуро молчали.

— Имя свое этот цареубийца назвать отказался. Поскольку среди вас могут найтись люди, знающие его по прежней службе или по старому знакомству, то я полагаю необходимым предъявить вам бунтовщика для опознания.

Киселев постучал саблей о пол. Дверь отворилась, и солдаты ввели в комнату молодого офицера с обнаженной головой. На лбу его синел кровоподтек. Он провел рукой по слипшимся, спутанным волосам и внимательно посмотрел на офицеров. Взгляд этот, печальный и спокойный взгляд человека, готового к смерти, запомнился многим на долгие годы. Офицер остановился около стола и положил на него худую маленькую руку.

— Еще раз требую,— властно сказал Киселев,— чтобы вы назвали себя. Кто вы такой и как ваше имя?

— Я могу повторить лишь то, что сказал однажды,— ответил офицер.— Я сын моего несчастного отечества и за счастье его отдам свою кровь без остатка.

Он покачнулся и судорожно впился в стол пальцами. Худая его рука сорвалась со стола. Бестужев бросился к арестованному и пододвинул ему стул.

Офицер сел, оперся локтем и опустил на ладонь голову. Видно было, что он изнурен до беспамятства. Плащ его распахнулся, и офицеры увидели правую руку в заскорузлых, засохших бинтах. Краюха черного хлеба упала из-под плаща и покатилась по полу. Лобов поспешно поднял ее и положил на стол около арестованного.

Киселев снова взглянул на своих офицеров и насупился. Он увидел побледневшие, сосредоточенные лица, увидел глаза, полные тревоги и сострадания, и решил скорее закончить неудавшийся спектакль.

— Он ранен,— громко сказал Лобов.— Какое бессердечие!

— Кто из вас, господа офицеры, может признать этого мятежника? — спросил Киселев, как бы не расслышав слов Лобова.

Офицеры не отвечали.

— У господ офицеров,— промолвил язвительно Мерк,— от злоупотребления вином сильно повредилась память.

— Он ранен! — крикнул Лобов.— Вы разве не видите?

Бестужев сделал шаг вперед и, глядя в побелевшие от ярости глаза Киселева, спокойно сказал:

— Есть простые законы, отделяющие нас от скотов. Один из этих законов — человечность в отношении к пленным. Этот офицер ранен и голоден. У него обморожены пальцы. Какое право вы имеете устраивать перед нами подлейший фарс и совершать надругательство над человеком? Напрасно вы ищете нашего сочувствия — его не будет.

Офицеры придвинулись ближе к Бестужеву и молчали. Спина у арестованного затряслась, он упал головою на стол. Анна бросилась к нему, обняла его за плечи и начала торопливо успокаивать, перемешивая русские и шведские слова.

— Это кто? — спросил Киселев и оттолкнул ее от арестованного.— Тотчас убрать эту девку!

— Идите, прошу вас,— тихо сказал арестованный Анне.— Из-за меня вы подвергаетесь оскорблениям.

Анна медленно поднялась и вышла. Лицо ее горело тяжелым румянцем.

Бестужев подошел к Киселеву и наотмашь ударил его по лицу.

Киселев выхватил саблю. Офицеры бросились к нему и схватили за руки.

— Я требую...— кричал Киселев, но за общим шумом его не было слышно.

— Я готов стреляться, когда вам будет угодно,— сказал Бестужев и вышел.

Киселев забыл, что ему, как полковому командиру, нельзя было драться со своим подчиненным.

На крыльце Бестужева ждала плачущая Анна.

Мерк вызвал караул и приказал увести арестованного. Офицеры тотчас разошлись, забыв погасить свечи. Они горели до утра, наполняя комнату чадом.

...Когда Анна и Бестужев спустились с крыльца, над Мариегамном гудел, свирепея и разыгрываясь с каждой минутой, южный ветер. С грохотом сыпался на палубы кораблей слежавшийся на реях снег. Мигали, загасая, фонари. Подобно далекой пушечной канонаде, гудел в заливе лед — его ломало ветром.

Ветер был теплый и тяжелый. Он стеснял дыхание и приносил с собой воздух неожиданной оттепели.

Бестужев ни слова не сказал Анне о том, что произошло после ее ухода. Она протянула ему руку. Он сжал ее выше кисти и даже сквозь свист ветра и яростный шум бури услышал, как отдавалось в ее теплой руке частое биение сердца.

— Анна,— сказал Бестужев,— вы утешили несчастного, потерявшего надежду на жизнь. Сила моей любви к вам так велика, что я не имею достаточных слов, чтобы ее выразить.

Анна низко наклонила голову и ничего не ответила.

Ветер бушевал над городком с такой силой, будто хотел сорвать и унести на север эту тяжелую, непереносимую ночь с ее кромешным мраком, слезами, чадом свечей, людской жестокостью и любовью. Ветер срывал с ресниц Анны редкие слезы. Временами порывы ветра были так

неистовы, что казалось, вот-вот ветер начисто сдует ночь и ей на смену откроется блистающее рассветное небо, покрытое легкими облаками.

В доме у Анны горел свет, на крыльце было натоптано. В прихожей крепко пахло табаком.

— Какие поздние у вас гости,— сказал Бестужев Анне.

— Это к отцу собрались старики.

Бестужев прошел в свою комнату, но едва он успел сбросить плащ и отстегнуть саблю, как Анна окликнула его из-за двери. Бестужев вышел.

— Отец просит вас зайти к нему по важному делу,— сказала она.— Он мог бы прийти к вам, но у нас более безопасно: окна выходят в сад.

Бестужев, волнуясь, пошел за Анной. Старик ждал его в кухне. Он тяжело поднялся навстречу, и вместе с ним из-за стола поднялось несколько седобородых неуклюжих шведов. Бестужев узнал их — то были шкипера кораблей, зимовавших в Мариегамне. Только один среди шкиперов значительно отличался от остальных. Он был черен, низок ростом, и глаза его хитро смеялись. Это был шкипер французского брига, Жак Пинер, застигнутый зимой со своим кораблем в Ботническом заливе и нетерпеливо дожидавшийся весны.

— Чем могу вам служить, господа? — спросил, смутившись, Бестужев.

— А мы, признаться,— ответил по-французски Пинер,— хотели задать этот вопрос вам. Не можем ли мы быть вам полезны, сударь?

Бестужев смутно начал догадываться, зачем его позвали шкипера.

— Мы верим вам,— сказал отец Анны,— мы будем рады, если не ошибаемся. Ветер ломает лед.

Старик замолчал и пошевелил сухими губами.

— Еще два дня такого ветра,— добавил он,— и море до самого Стокгольма будет открыто для кораблей.

— Ваши генералы,— сказал Бестужеву шкипер в желтых сапогах с черными блестящими отворотами,— сделали большую ошибку: они не прислали в Мариегамн ни одного русского военного корабля.

— Военный корабль давно вышел из Або, но его затерло льдом,— ответил шкипер с густой черной бородой. Шкипера говорили по-шведски. Бестужев понимал их

с трудом. Он вопросительно взглянул на Анну, и она начала вполголоса переводить их неторопливый разговор.

— За моей «Валькирией»,— сказал шкипер в желтых сапогах,— не угнался бы даже самый легкий военный корабль. Но его, к счастью, нету.

— Друзья,— сказал Бестужев,— не будем медлить. Кто первый готов выйти в море?

— Готовы все,— промолвил Пинер, выколачивая трубку,— но мне легче всего это сделать. За мной меньше следят: я несу на корме флаг французского королевства.

— Пусть идет он, мы уступаем французу,— сказал самый старый шкипер, и все смолкли.— Но пусть русский офицер не думает, что мы уступаем с охотой. Нет. Каждый из нас хотел бы спасти от виселицы вашего соотечественника. Каждый из нас понимает, что где бы человек ни сражался за свободу, он сражался за нее и для нас. Мы — шведы, финны, французы; он — русский. Мы уважаем его. Каждый из нас умеет молчать. А что касается страха...— старик усмехнулся,— что касается страха, то об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз за кружкой пива. Сколько раз за каждое плавание смерть цепляется за наши борта и строит нам рожи — никто даже не станет считать.

— Самая трудная задача падет на вас,— сказал Пинер, обращаясь к Бестужеву.— Вам придется освободить офицера и матроса из-под стражи и незаметно доставить на мой корабль. Если ветер не стихнет, то не позже чем послезавтра ночью я снимусь с якоря.

— Хорошо,— ответил Бестужев.— Я вам благодарен за доверие.

Старики встали и засопели трубками. Бестужев крепко пожал им руки, и они, натягивая кожаные плащи и стараясь не стучать тяжелыми сапогами, вышли из дому через дверь, ведущую в сад.

Бестужев несколько минут говорил с Пинером. Надо было предусмотреть все препятствия к побегу, чтобы по возможности их избежать. Уходя, Пинер подмигнул и похлопал Бестужева по рукаву:

— Корабль велик, на нем хватит места для всех. Я с радостью приму на борт еще одного офицера, и если мне не изменяет мой старый шкиперский глаз, то и прелестную девушку, его невесту. Не так ли? Я доверяю любящим: они великодушны. Не принимайте это за шутку.

Я прожил жизнь, полную неожиданностей и предательств. Поэтому я решаюсь дать вам совет: бегите отсюда.

— Не стоит сейчас говорить об этом. Мне надо подумать.

Француз попрощался и вышел.

Бестужев вернулся в свою комнату, зажег свечу и сел к столу. Он сжал голову ладонями и задумался: как быть с дуэлью?

Ежели он будет завтра убит на дуэли, то побег не состоится, арестованного офицера и матроса отправят с первой оказией в Петербург и там повесят. Этого нельзя было допускать.

Ежели он откажется от дуэли, то его сочтут трусом. Киселев предаст его военному суду за тяжкое оскорбление полкового командира, побег тоже будет сорван, позор ляжет на голову Бестужева и отравит последние дни.

Оставалось одно: оттянуть дуэль до совершения побега, остаться в Мариегамне и стреляться. Это означало крушение всех его тайных мыслей о бегстве с Анной и жизни, полной радости и скитаний.

После разговора с Пипером он уже видел себя вместе с Анной на палубе брига, плывущего в виду плодоносных южных берегов. В прибрежных долинах и на высотах, одетых померанцевыми рощами, разбросаны селения и замки.

Вода журчит за кормой корабля. Матросы улыбаются, поглядывая на молодую женщину, и уступают ей дорогу. Она осторожно ведет под руку по палубе офицера с перевязанной правой рукой, возвращенного их общими усилиями к жизни. Старинные города подымаются из морских вод и волнуют сердце. Кровли их блестят под солнцем. Песни рыбаков долетают из утреннего тумана.

Бестужев решил затянуть дуэль до того времени, пока не будут спасены офицер и матрос. Мысль о двух людях, спасенных им, будет жить в сердце у него и Анны и сделает их счастливыми.

Бестужев задумался. Он не слышал голосов старика и Анны за стеной и шагов Анны, подошедшей к двери.

Анна вошла без стука. Бестужев обернулся. Анна стояла в дверях, прислонившись к косяку.

— Павел,— сказала она,— отец только что позвал меня к себе и сказал, чтобы мы были с тобой счастливы. Он говорит, что ты будешь достойным мужем.

Бестужев встал.

— Этому пленному мы обязаны своим счастьем,—продолжала Анна.— Мы его спасем, чего бы это ни стоило. Правда, Павел?

— Клянусь! — ответил Бестужев.

Зеленоватый таинственный свет зари проникал в комнату, и Анна казалась в этом свете очень бледной. Она улыбнулась. Бестужев сделал шаг к ней, но внезапный грохот барабанов раздался за окнами. Барабаны гремели торопливо, часто, но не могли заглушить отдаленный человеческий крик. Бестужев остановился.

— Что это? — вскрикнула Анна и бросилась к Бестужеву.

Она со страхом смотрела в окно. За ним ветер нес черный дым из труб, и в синеватом воздухе все громче, все настойчивее били барабаны.

— Это шпицрутены,— ответил, побледнев, Бестужев.

Анна медленно опустилась на пол: она потеряла сознание.

Семена Тихонова разбудили на рассвете. Унтер-офицер оставил дверь караульной комнаты открытой. Сырой ветер дул по полу и шуршал соломой. Невыспавшиеся солдаты теснились на крыльце, погромыхивали прикладами и громко зевали.

Тихонов вскочил и начал торопливо натягивать сапоги.

Он быстро оделся и стал во фронт. Унтер-офицер повернул его, как чучело, осмотрел со всех сторон и сказал:

— Эх ты, Иван-мученик, ружье-то возьми!

Тихонов не понял, зачем брать ружье, когда его ведут пороть шпицрутенами, но ружье взял.

Его вывели. Снег шуршал и оседал на крышах. Каркали, как перед дождем, вороны. Дым из труб прижимало к земле.

«Неужто весна?» — подумал Тихонов и зашагал по сизой жиже из воды и тающего снега. В домах было еще темно.

«Сотню ударов дадут, не меньше,— думал Тихонов.— Полковник горяч на слова. Где ж это видано, чтобы давали триста шпицрутенов! Тогда уж лучше камень на шею — и в прорубь».

Вышли на плац. В две узкие шеренги лицом друг к другу были выстроены солдаты с шомполами в руках. На

фланге стояли барабанщики. Около них ходил, покуривая трубку, Мерк. Изредка носком сапога он легонько ударял то одного, то другого барабанщика по ногам — выравнивал строй.

Тихонова подвели к Мерку.

— Сними, братец, мундир,— сказал Мерк. Он внимательно смотрел, как Тихонов застывшими пальцами расстегивал медные пуговицы и стаскивал мундир.— Экий ты, братец, лодырь — рубаха у тебя рваная. Ну, гляди, держись молодцом.

— Рад стараться, ваше высокородие! — деревянным голосом крикнул Тихонов и снял рваную рубаху.

— Рота, слуша-ай! — прокричал Мерк и повернулся на каблуках.

Солдаты неестественно вытянулись и застыли. Барабанщики подняли палочки над серой кожей барабанов. Только посредине на каждом барабане темнело пятно от ударов.

Унтер-офицер и рыжеусый солдат привязали руки Тихонова к прикладу его ружья, взялись за дуло и повели Тихонова к началу шеренги. Тихонов шел медленно, будто недоумевая.

— Рота, слушай! — вторично крикнул Мерк.— По приказу командира полка! Прогнать рядового Тихонова сквозь строй. Дать триста ударов. Начина-а-ай!

— Ваше высокородие! — крикнул Тихонов и опустился на колени в мокрый снег.

— Начина-а-ай! — Мерк махнул перчаткой.

Загремели, сбиваясь, барабаны. Унтер-офицер и рыжеусый солдат рванули Тихонова за дуло ряжья. Тихонов упал, прополз несколько шагов по снегу, поднялся и, шатаясь, вошел в тесный проход между солдатами. Просвистел первый шомпол.

— Раз! — хрипло крикнул унтер-офицер.

Снова свистнул шомпол.

— Два! — весело крикнул рыжеусый солдат.

Тогда Тихонов повернул к Мерку страшное, налитое кровью лицо и крикнул, срывая голос:

— Правду в кандалы не забьешь! Не забьешь, братцы! Придет им конец, извергам, кровососам!

Он бессвязно кричал и упирался. Со спины сочились струйки крови. Ныли и гудели барабаны. У солдат тряслись губы.

На пятидесятом ударе Тихонов упал. Его подняли. К спине прилипли комья кровавого снега.

Через несколько ударов он упал снова. Его волокли по снегу, он хрипел. Солдаты без приказа опустили шомпола. Барабаны затихли.

— Лежачего не бьют,— сказал, заикаясь, Мерк и подошел к Тихонову.

Унтер-офицер и рыжеусый солдат перевернули Тихонова лицом вверх. Мерк нагнулся. Тихонов открыл глаза и посмотрел на небо мутным, безжизненным взглядом. Потом он перевел глаза на Мерка, с натугой сел, и челюсти у него задвигались, будто он пережевывал черствый хлеб.

— Отойдите, ваше высокородие,— сказал унтер-офицер,— как бы беды не вышло.

Мерк быстро выпрямился. Тихонов хотел плюнуть ему в лицо, но кровавая слюна стекла у него по подбородку и застряла в небритой щетине.

— Убрать! — сказал Мерк, отвернулся и медленно пошел прочь.

Солдаты быстро подхватили Тихонова, положили на шинель лицом вниз и понесли в полковой лазарет.

Утром к Бестужеву приехали секунданты Киселева. Они застали Бестужева с правой рукой на перевязи.

— Я прошу вашего разрешения,— сказал Бестужев,— отложить дуэль на два дня. Вчера, возвращаясь ночью домой, я упал и повредил правую руку. Поверьте, что эта задержка мне крайне неприятна, но причина достаточно уважительная. Стрелять я не могу. Я приму все меры к тому, чтобы рука у меня была излечена в кратчайшее время.

— Мы снесемся об этом с господином Киселевым,— ответил один из секундантов, отставной шведский лейтенант, проживавший на мызе вблизи Мариенгамна,— и доложим его решение вашим секундантам. Разрешите узнать их имена.

Бестужев назвал Лобова и полкового лекаря Траубе. С утра он успел известить их об этом запиской.

— Может быть, вам прислать моего домашнего врача? — любезно предложил, прощаясь, швед.

Бестужев покраснел.

— Благодарю вас,— сказал он резко.— Я нахожусь на ногах и сам могу пройти в случае надобности в лазарет.

Секунданты откланялись и вышли.

Через час приехал на маленьких санках, запряженных водовозной клячей, полковой лекарь Траубе —подслеповатый, с покрытыми розовым пухом щеками, в громадных очках.

Он ласково мял левую руку Бестужева в пухлых ладонях и сказал, что Киселев, как известный забияка и дуэлянт, требует, чтобы дуэль состоялась не позже завтрашнего утра, с тем чтобы оба противника стреляли левой рукой.

Сердце у Бестужева упало. Он согласился. Траубе хотел осмотреть у Бестужева правую руку, но тот отмахнулся.

Траубе снял очки, долго протирал их красным платком и моргал светлыми ресницами, едва прикрывавшими его выпуклые глаза. Лицо лекаря морщилось, и углы рта дрожали.

— Павел Алексеич,— сказал он, потупившись,— что же это такое? Вот уж действительно, как говорят старики, настали черные дни.

— Да, времена черные.

— Сколько печальных событий! Ночью доставили ко мне в лазарет двух задержанных мятежников.

— Почему в лазарет?

— Офицер, как вы, должно быть, заметили, имеет запущенную рану на руке. Он нуждается в лечении, он истощен. А у матроса отморожены ноги.

— Доктор,— сказал Бестужев,— зачем вы их лечите? Чтобы можно было потом повесить?

Лекарь уронил на пол красный платок.

— Неужто вы полагаете,— спросил он испуганно,— что я должен отказаться от лечения?

— Это было бы благороднее. Для чего сохранять здоровье людям, если их ожидает неизбежная казнь?

— Может быть, император помилует их?

— Никогда!

— Я лечу их,— сказал лекарь,— потому что сохраняю надежду, что жизнь им будет возвращена.

— Кем?

Лекарь снова снял очки и начал судорожно их протирать.

— Кем? — повторил Бестужев.— Могут ли они бежать без посторонней помощи?

— Какое безумие! — воскликнул лекарь.— У всех дверей и окон стоят часовые.

Тогда Бестужев наклонился к лекарю и сказал тихо:

— Если у вас есть хоть капля мягкосердечия и чести, если совесть не позволяет вам быть участником казни, каковым вы сейчас являетесь, то слушайте...

Лекарь опасливо взглянул на окна и придвинулся к Бестужеву. Они говорили долго. Вставая, Бестужев сказал:

— Я буду у вас в лазарете сегодня вечером. Мне надобно ознакомиться с его расположением и заодно навестить солдата моей роты Тихонова. Его сегодня секли.

— Тогда торопитесь,— сказал лекарь.— Ему осталось жить недолго. Он потерял много крови.

Лекарь попрощался и вышел. Водовозная кляча медленно потащила его сани к лазарету.

Бестужев подошел к окошку и прижался лбом к холодному стеклу.

— Кровь...— сказал он с тоской.— Сердце запекается кровью.

В сумерки Анна с Бестужевым вышли из дому. Анна весь день тревожилась. Она видела, как к Бестужеву приезжали офицеры, видела лекаря, но ни о чем не спрашивала. Она думала, что все это связано с приготовлениями к побегу.

С утра до ранних сумерек она просидела у горящего камина, закутавшись в платок, и отказалась от обеда, даже от чашки кофе. При каждом шуме она вздрагивала: ей все время мерещился грохот барабанов.

За день она осунулась, морщинка легла около ее нервных, взлетающих бровей, и в глазах, когда она смотрела на Бестужева, появился печальный, материнский свет.

Бестужев не выдерживал ее взгляда и отводил глаза. Он чувствовал глубокое смущение оттого, что вынужден был молчать о дуэли.

Он непрестанно думал об Анне. Он испытывал жестокую горечь оттого, что их любовь началась так поздно и незадачливо, в эти черные, неспокойные дни. А ведь еще недавно она могла бы так пленительно расцвесть среди свежей и мягкой зимы, заставлявшей гулко биться горячее сердце, под веселый треск печей, под детский смех

простодушных стариков, под звон прадедовских курантов.

Анна с Бестужевым вышли на окраину городка, к морскому берегу. Ноги проваливались в снег.

На берегу Анна тронула Бестужева за руку и показала на море. За неширокой полосой толстого треснувшего льда оно уже шумело пенистыми темными валами, и ветер нес в лицо водяную пыль.

Невдалеке виднелись корабли. Они качались, принимая удары волн. Якорные цепи то опускались в черную воду, то подымались с тяжелым звоном, и с них лились пенистые потоки.

Дул южный ветер. Временами начинал падать крупный мокрый снег. Он таял на лице и затягивал морские дали зловещей мутью. На кораблях уже зажигали фонари, и от тусклого их света вечер казался неприветливым и ненужным.

Анна и Бестужев медленно пошли обратно в город. Около лазарета они расстались: Бестужев хотел зайти в лазарет.

— Почему ты так печален, Павел?—спросила Анна, когда они прощались, и долго не выпускала руки Бестужева.

— В лазарете умирает мой солдат,— уклончиво ответил Бестужев.— Ты же знаешь.

— А больше тебя ничто не тревожит, милый?

— Нет, Анна.

Бестужев боялся поднять глаза. Анна вздохнула:

— Ну хорошо. Возвращайся скорее, я буду тебя ждать. Без тебя мне страшно и все кажется, что на острове нет ни души. Возвращайся.

Бестужев кивнул головой, повернулся и быстро пошел к лазарету. Анна смотрела ему вслед.

Бестужев вошел в холодную палату. Тихонов лежал на железной койке вниз лицом. Увидев Бестужева, он зашептал и зашевелился. Забинтованная его спина не была покрыта серым одеялом: тяжесть одеяла вызывала у Тихонова сильную боль.

Солдат — служитель при лазарете, в коротком грязном халате,— загремел сапогами и вышел.

Бестужев подошел к Тихонову и стал на колени около койки, чтобы видеть лицо солдата. Но лица он не рассмот-

рел. Он видел только черную опухшую щеку и один темный усталый глаз.

— Встаньте, ваше благородие, тут мусорно,— прошептал Тихонов.— Я обернусь.

— Лежи, лежи, милый,— негромко сказал Бестужев и положил руку на шершавую голову Тихонова.

— Ваше благородие...— сказал Тихонов и заплакал.— За что они меня так?

— Ты не плачь, Тихонов.— Бестужев нахмурился и, отвернувшись, смотрел на темное окно.— Даст бог, мы с тобой оба живы останемся, кончим солдатскую службу, выйдем на волю.

— Какая воля! — сказал Тихонов едва слышно.— Кому воля, а кому маста. Жена померла. Остались старуха да сын. Петрушкой его звать. Ваше благородие, уважьте, отпишите матери про мою кончину. Отпишите: преставился, мол, ваш любезный сын Семен Тихонов от грудной горячки и приказал долго жить.

— Куда отписать?

— Новгородской губернии, Белозерского уезда, село Мегры на Ковже-реке, Авдотье Тихоновой,— прошептал Тихонов и надолго замолк.

Было слышно, как ходили у соседнего окна часовые и кто-то тяжело дышал за стеной.

— Ну, прощай, Тихонов,— сказал Бестужев.

Солдат медленно высвободил из-под одеяла холодную, восковую руку, сжал ею руку Бестужева и снова замолк. Казалось, он уснул. Бестужев ждал.

— Прощай, друг,— сказал наконец едва слышно Тихонов.

Бестужев осторожно вышел.

Домой Бестужев вернулся поздней ночью. Измученная Анна, не дождавшись его, уснула. Бестужев остановился около открытой двери в ее комнату.

— Что, Павел? — тревожно сказала во сне Анна и затихла.

Бестужев подождал, услышал ее дыхание и с холодным отчаянием в сердце прошел в свою комнату.

Он зажег свечу, сел к столу и посмотрел на часы — было два часа ночи. Дуэль была назначена на шесть часов в сосновой роще на берегу залива.

— Осталось всего четыре часа,— сказал Бестужев и, задумавшись, долго чинил гусиное перо.

Он достал из стола желтую плотную бумагу и начал быстро писать на ней косым брызгающим почерком.

«Анна,— писал он,— я совершил великий грех перед тобой, не сказав тебе ни слова о предстоящей дуэли. Наша любовь и без этого перенесла достаточно испытаний. Едва мы поняли, что любим друг друга, как тяжкие и возмутительные события вторглись в жизнь. Они наполнили сердца негодованием и беспокойством, заставили тебя проливать слезы, поглотили все мое существо, весь мой разум, занятый в этот час только одной мыслью — спасти благородных людей, обреченных на казнь.

Единственное утешение для нас в том, что мы, вопреки обычному бессердечию любящих, смогли от чистого сердца отдаться чужим несчастьям. Мы почитаем невозможным жить только своей любовью друг к другу перед лицом несправедливостей и мучений народных.

Я употребил эти слова вполне законно, ибо смерть Тихонова и арест участников петербургского восстания являются лишь отдельными случаями всеобщего народного страдания. Им щедро и незаслуженно наделена моя родина.

Наши мечты о бегстве рассеялись из-за дуэли. Только что я посетил Пинера на его корабле. Он снимается в ночь на послезавтра. Сняться сейчас он не может по причине неготовности парусов. Вся команда чинит паруса не покладая рук, из чего я заключаю, что мужественные матросы коечто знают о наших планах.

Побег произойдет только через сутки, а дуэль — через четыре часа. Ежели я останусь жив, то участь несчастных арестованных станет нашей участью, и мы, освободив их, должны будем бежать вместе с ними. Ежели я буду убит или сильно ранен, то ты, Анна, заменишь меня.

В ночь на послезавтра караулом в лазарете командует Лобов. У него заготовлен подложный приказ командира полка о переводе заключенных в недостроенный форт Сэгбю. Доктор на нашей стороне. Солдаты возбуждены и готовы по первому слову повернуть оружие против вчерашних командиров. Полк волнуется.

Ежели Лобову удастся (держа в кармане подложный приказ на случай встречи с Мерком или с кем-либо из пре-

данных командиру офицеров) вывести арестованных, то шлюпка с корабля будет ждать их за первым лесистым мысом по дороге в Сэгбю. Лобов скроется вместе с беглецами.

Я верю Пинеру и его опыту моряка, но прошу тебя прийти на корабль с вечера и показать Пинеру берег, куда надлежит послать шлюпку за беглецами. Ты знаешь эти места, как свой дом. Пинер же опасается, что в темноте матросы могут заблудиться, да и он сам не сможет в точности определить место за незнанием здешних берегов. В ответ на мои уверения, что ты будешь присутствовать на корабле, он сказал, что лучшего лоцмана, чем Анна, ему и не надобно.

Солдаты могут бежать, но вряд ли они на это согласятся. Их судьба в безопасности, ибо они будут действовать по прямому приказу начальника.

Я боюсь, что точность моих объяснений ты можешь принять за безразличие к тебе. Неужели ты скажешь: как он мог писать так спокойно и рассудительно, зная, что больше меня не увидит?!

Анна, моя любовь к тебе безмерна. Я боюсь думать о тебе в эти минуты. Я гоню от себя воспоминания и страшусь услышать твой голос. Если бы ты вошла сейчас, я бы не выдержал, забыл обо всем и на коленях умолял бы тебя лишь об одном — о спасительном бегстве. Я бы забыл свою честь и судьбу несчастных. Поэтому я пришел поздней ночью, чтобы застать тебя спящей.

Я знаю — и ты должна знать это вместе со мной,— что придут времена великой расплаты. Наши мучения и гибель ударят по сердцам с томительною силой. Пренебрежение к счастью народа будет почитаться мерзейшим преступлением. Все низкое будет раздавлено в пыли, и счастье человека станет самой высокой задачей народных трибунов, вождей и полководцев.

Я думаю об этих временах и завидую прекрасным женщинам и отважным мужчинам, чья любовь расцветет под небом веселой и вольной страны. Я завидую им и кричу в душе, как кричат узники из мрачных казематов: не забывайте нас, счастливцы!

Прощай! Прости за трудную любовь и невольные страдания. Письмо на имя Авдотьи Тихоновой перешли в село Мегры, Новогородской губернии, Белозерского уезда».

Бестужев, не перечитывая письма, запечатал его в конверт и написал на нем: «Анне».

Потом он написал второе письмо, матери Тихонова, и оставил его на столе.

Несколько минут он сидел, закрыв глаза рукой, и как бы прислушивался к течению ночи. Она влеклась над землей, морем и лесистыми островами, безмолвная и печальная. Чуть заметная бледность уже проступала на стеклах.

Бестужев встал, надел на правую руку черную перевязь, накинул плащ и осторожно вышел в коридор. Анна спала. В теплой тишине комнат было слышно ее спокойное дыхание.

Бестужев вышел, прикрыл за собою дверь и, крадучись, спустился с крыльца. Далеко пели петухи. Стволы берез уже белели во мраке: приближался скудный и холодный рассвет.

Бестужев медленно пошел к сосновой роще за городом.

...Лобов и Траубе приехали первыми на водовозной кляче. Кожа у клячи была покрыта оспинами и все время дрожала. Как только секунданты вылезли из саней, лошадь уснула.

Чуть светало, и в пасмурном воздухе обледенелый лес поблескивал, как стеклянный.

Лобов зевнул. Лекарь посмотрел на него с недоумением.

— Эх,— сказал Лобов,— много бы я дал за то, чтоб выспаться! В такое утро лежать бы на койке и слушать, как угли в печке трещат, будто сверчки.

— Вы всегда шутите несообразно с обстоятельствами.

— Эх, Карл, мякиш мой милый! — ответил серьезно Лобов.— А что толку плакать? Что жизнь? «Живи, живой; спокойно тлей, мертвец».

Послышался глухой топот. Водовозная кляча проснулась и посторонилась. Швыряя снегом в лакированный козырек саней, примчались гнедые кони Киселева.

Киселев легко выскочил из саней, холодно посмотрел на секундантов Бестужева и поздоровался. За ним из саней вылезли длинный швед со скучным лицом и толстый развязный штабс-капитан Курочкин — полковой враль и фигляр. Курочкин достал из саней ящик с пистолетами.

Бестужев пришел пешком. Шел он медленно, проваливаясь в рыхлый снег и выбирая дорогу среди поваленных деревьев.

Секунданты вытоптали в снегу тропинку и поставили

противников по ее краям. Мириться не предлагали: должно быть, об этом забыли. Швед стоял в стороне и потирал озябшие руки. Хлопотал один Курочкин. Лобов, нахмурившись, осмотрел пистолеты.

Бестужев прислонился к стволу молодой березы и взял пистолет. От непривычки стрелять левой рукой она казалась деревянной и болела в сгибе.

Бестужев прицелился. Киселев небрежно подымал пистолет левой рукой. Он сбросил плащ на снег и сильно щурился.

Вороны с отчаянным карканьем взлетели с березы и засыпали Бестужева снегом. Бестужев взглянул вверх, и в то же мгновение раздался выстрел. Бестужев увидел длинную струю дыма, различил пороховой запах — от него стало тошно на сердце,— выронил пистолет и упал лицом вперед на вытоптанную тропинку.

Лобов, спотыкаясь, подбежал к нему и поднял за плечи. Кровь капала в снег, и в снегу протаяло от нее несколько розовых ноздреватых воронок.

Торопливо подошел Траубе. Он наклонился над Бестужевым, покачал головой и медленно выпрямился.

— Ну что, как? — спросил Лобов.

— Выстрел в сердце.

Траубе начал судорожно вытаскивать из кармана большой красный платок. Слезы текли из-под очков по круглым щекам лекаря.

— Перевяжите его,— сказал Киселев.

— Что?— тонко крикнул Траубе, и щеки его задрожали.— Может быть, я ослышался? — Он повернул к Киселеву бледное пухлое лицо.— Вы не смеете мне приказывать. Вы не смеете ничего говорить. Вы убийца, и с вас сорвут за это погоны.

Киселев отвернулся и пошел к лошадям.

— Да, да! — кричал ему вслед Траубе.— Я подаю в отставку. Я не тюремщик и не мясник!

Киселев, делая вид, что не слышит слов лекаря, быстро сел в сани с Курочкиным и тронул лошадей.

Лобов, Траубе и швед подняли мертвого Бестужева и перенесли в сани. Водовозная кляча оглянулась, мотнула головой и неохотно зашагала по снегу. Секунданты шли рядом.

Кляча часто останавливалась, и ее приходилось понукать.

Бестужева привезли в лазарет и положили в мертвецкой рядом с Семеном Тихоновым. А через час в лазарет прибежала Анна.

— Он не умер, неправда,— твердо сказала Анна лекарю и посмотрела мимо него пустыми глазами.— Он скоро очнется.

— Ах, боже мой, боже мой! — прошептал лекарь, вышел в соседнюю комнату и долго топтался около стеклянного шкафа с лекарствами.— Что делать?

Он налил в стакан ландышевых капель и разбавил их кипяченой водой. Он делал это долго, расплескивал воду и прислушивался. Ему было страшно оставаться наедине с Анной.

Анна молчала. Потом она вскрикнула. Траубе со стаканом в руке вошел в мертвецкую. Анна трясла Бестужева за плечи, затем подняла его голову, прижала к груди и посмотрела на лекаря впалыми сухими глазами.

— Уйдите! — сказала она хрипло.— Уйдите все, мне ничего не нужно.

Траубе протянул ей стакан с лекарством. Анна взяла его и швырнула в угол комнаты...

— Анна...— сказал Траубе, и голова его затряслась.— Анна, прошло уже много часов, как вы плачете здесь, в этой комнате. Уже вечер. Я прошу вас, я заклинаю вас, пойдите домой на несколько часов. Я посижу пока с ним.

Анна опустила голову Бестужева на подушку, набитую жесткой соломой, и встала.

— Уже вечер? — спросила она с недоумением.— Правда, темно. Но ведь весь день было темно, как ночью. Который час?

— Девятый.

Анна запахнула шубку, поправила на голове платок и, не оглядываясь, пошла к двери.

— Я вернусь,— сказала она Траубе.— Никуда не уходите.— Она вышла на улицу и быстро пошла к морю.

У обросших желтыми лишаями валунов качалась и билась о камни темная шлюпка. Матрос молча протянул Анне руку и помог спуститься. Потом он вытер руки о старые бархатные штаны и взялся за весла.

Серые волны взлетали и исчезали в темноте. Изредка они плескали в шлюпку. Матрос молча греб к темному кораблю. Анна неподвижно сидела на корме и не отрываясь

смотрела на корабль, тяжело нырявший в неспокойной, покрытой пеной воде.

С корабля бросили веревочный трап. Анна поймала его и вскарабкалась на палубу. Не было сказано ни слова.

Пинер тихо свистнул, и тотчас безмолвная толпа матросов на баке начала вращать кабестан. Из воды поползла ржавая якорная цепь. Глухо шуршали, раскатываясь, паруса. На палубе не было огней, никто не курил.

Анна стояла на капитанском мостике рядом с Пинером. Корабль тихо скрипел. Волны били в его корму и разлетались в стороны с шипением и тусклым блеском. Бриг сильно вздрогнул, накренился на правый борт, и редкие огни городка начали меняться местами и гаснуть, скрываясь за скалами.

— Пошли,— сказал Пинер и перекрестился широким католическим крестом.

Анна, наморщив брови, вглядывалась в огни городка за кормой и время от времени протягивала вперед руку, показывая Пинеру, куда вести корабль.

На соседних шведских парусниках было темно и тихо; на них нарочно погасили огни. Только на одном из них Пинер разглядел темную фигуру, как будто махавшую шапкой. Фигура быстро слилась с ночным мраком.

Корабль плыл в оцепенении. Люди молчали. Только ветер туго гудел в парусах и было слышно, как плещет о берега невидимый прибой. Изредка льдины били о деревянный борт брига, но корабль легко отшвыривал их, и они, неуклюже переворачиваясь и шипя, уходили под воду, чтобы снова всплыть за кормой.

— Держите ближе к берегу,— сказала Анна Пинеру.— Это здесь.

Пинер протяжно свистнул. Паруса заполоскали: корабль ложился в дрейф. На корме матросы осторожно спускали на талях большую, тяжелую шлюпку.

В полночь Лобов, одетый по-походному, явился в лазарет. Он вызвал Траубе, снял при нем часовых, прочел им приказ командира полка о переводе арестованных в форт Сэгбю и распорядился не отлучаться ни одному солдату из лазарета до его возвращения. Солдаты молча повиновались.

Лобов вывел арестованных и быстро по задворкам повел их в сторону леса. Тогда один из солдат сказал вполголоса:

— Улетели, сердешные, только след за ними горит.

— А ты помолчи, кавалер,— грубо оборвал его низенький старый солдат.— Мы люди казенные. Ты приказы сполняй, а в них за тебя офицеры небось разберутся.

Разговор оборвался.

Лобов и арестованные шли молча. Лес обступил их затишьем и мраком. Потом в мокрой его глубине послышались тяжелые удары моря и по ветвям подул ровный соленый ветер.

Лобов свернул с дороги и пошел напрямик к берегу. От берега тянуло запахом зернистого тающего льда. В черной мгле смутно виднелась седая неподвижная громада корабля. На берегу беглецов ждали Анна и матросы.

— Скорей! — сказала Анна Лобову.— Течение сносит корабль на скалы. Торопитесь!

— А вы? — изумленно спросил Лобов.— Вы должны бежать вместе с нами.

— Нет,— Анна покачала головой,— я не могу уехать.

— Но почему?

— Неужели я должна вам объяснять это? — сказала Анна с такой горечью, что Лобов покраснел в темноте.

Он крепко пожал руку Анне и ничего не ответил. Анна обернулась к арестованному. Офицер сделал шаг вперед.

— Мы никогда не забудем,— сказал он,— вашей помощи. Мужайтесь! Всюду в мыслях я буду с вами. Может быть, мы еще свидимся и я смогу принести вам хотя бы ничтожное утешение.

Он хотел поцеловать у Анны руку, но она притянула его голову к себе и поцеловала в холодный лоб. Она сжала плечи беглеца. Сердце ее тяжело билось от боли. Ради его спасения было отдано все: счастье, любовь, отдана жизнь. Он был теперь единственным родным ей человеком.

Ветел хлопал парусами корабля. Матросы торопили. Беглецы и Лобов вошли в шлюпку. Первая же волна откинула ее от берега и скрыла в темноте.

Анна стояла на берегу и ждала. Изредка она слышала глухой стук уключин. Ветер обдувал платье на Анне, леденил лицо. Она смотрела в темноту до тех пор, пока громада корабля, неясная как видение, не начала медленно скрываться во мраке. Тогда Анна застонала, обняла сырой ствол сосны и прижалась к нему головой. Никогда она не думала, что в жизни может быть такое полное и глухое одиночество, такое отчаяние.

Медленно, спотыкаясь и хватаясь за стволы деревьев, Анна побрела в город. Ночное море шумело за ее спиной равнодушно и угрюмо. Анна знала, что ничто в мире не может принести ей утешения, никто не поймет ее слез, что сейчас оборвались последние нити, привязывающие ее к жизни.

Бестужева и Тихонова похоронили на следующий день к вечеру.

Мерк не разрешил оркестру играть на похоронах. Только барабанщики шли впереди понурых солдатских рядов и отбивали печальную дробь. Два дощатых, плохо обструганных гроба солдаты несли на плечах. Впереди брел старый глухой священник. Он не слышал самого себя и потому то едва слышно бормотал слова молитв, то выкрикивал их во весь голос.

Вперемежку с солдатами шли немногие офицеры. Заплаканный Траубе шел рядом с Анной и изредка поддерживал ее за локоть. Анна каждый раз вздрагивала и оглядывалась. Ей казалось, что похоронное шествие стоит на месте. Она видела все одно и то же: мутное небо, землю, засыпанную белым снегом, серые стриженые головы солдат, их серые шинели и озябшие красные руки, державшие черные бескозырки.

Хор заунывно тянул непонятные церковные напевы. Гробы качались. На крышке гроба Бестужева лежала его сабля, у Тихонова — старая солдатская фуражка.

Анна опускала глаза и видела рыжие сапоги солдат, шедших впереди. Она смотрела на солдат, на их спины, на озябшие руки, осторожно поддерживавшие гроб, и думала, что эти руки почти прикасаются к телу Бестужева, к его бледному задумчивому лицу. Тогда она начинала плакать. Траубе брал ее за локоть, а солдаты позади сморкались, вытирали носы рукавами шинелей и перешептывались.

Их шепот доходил до Анны, и она слышала в нем слова неуклюжего и беспомощного утешения.

— От пули не посторонишься,— говорили солдаты.— У него легкая смерть была, нисколько не мучился. Горе — как полая вода: все затопит, а потом сойдет.

На кладбище открыли крышки гробов, и глухой священник, помахивая кадилом, громко сказал страшные слова:

— Приидите, последнее целование дадим.

Анна подошла к гробу, стала на колени, растерянно оглянулась и поцеловала Бестужева в холодные тонкие губы. Бестужев смотрел на нее из-под опущенных ресниц печально и сосредоточенно. Она положила Бестужеву на плечи худые маленькие руки и долго вглядывалась в его лицо.

Все ждали. Священник сердито кадил и кашлял. Траубе поднял Анну.

К гробам один за другим подходили солдаты. Они поправляли кожаные пояса, одергивали шинели, крестились, целовали в лоб Бестужева и Тихонова и отходили. Иные становились на колени и до земли кланялись мертвецам.

Все это совершалось в полном безмолвии. Только свежая земля и щебень, сваленные около могилы, осыпались и шуршали под сапогами.

Гробы закрыли, и священник начал невнятно и быстро бормотать молитву «об убиенном рабе божьем болярине Павле и новопреставленном рабе божьем Семене». Хор запел «вечную память», серые ряды солдат тяжело рухнули на колени, и послышались всхлипыванья.

— Веселое горе — солдатская жизнь! — сказал за спиной у Анны сиплый голос.

Она оглянулась. Десятки тоненьких свечей пылали и коптили под сереньким небом. Кто-то дал свечу и Анне. Пламя ее сильно дрожало, будто хотело оторваться от фитиля, и Анна в испуге прикрыла его ладонью.

— Идемте! — Траубе взял Анну за руку. — Больше вам незачем оставаться.

К гробам подходили солдаты с веревками и лопатами.

Анна покорно ушла. Она осторожно несла горящую свечу и болезненно улыбалась. Траубе с беспокойством смотрел на нее и думал, что даже самый спокойный рассудок не может вынести бесследно таких потрясений.

— Чему вы улыбаетесь? — спросил он Анну.

— Тише, — ответила Анна и посмотрела на Траубе спокойными глазами.

Начал падать отвесный снег. Снежинки бесшумно ложились на землю. Анна долго смотрела на них.

— Вот видите, даже они стараются не шуметь.

Когда снежинки падали на горящий фитиль, свеча

сильно трещала. Анна осторожно задула ее, повернулась и пошла обратно на кладбище.

Траубе посмотрел ей вслед, махнул рукой и, сгорбившись, сразу постарев, побрел к себе в лазарет.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В конце 1916 года, во время германской войны, штурман Александр Щедрин, только что окончивший морское училище, был отправлен на Аландские острова, во флотилию миноносцев.

Зима стояла теплая. За Ревелем море было свободно ото льда. Щедрин долго смотрел с палубы транспорта на затянутые сумраком берега. Там, в Ревеле, осталась мать. Она приехала из Петрограда проводить сына и остановилась в недорогой гостинице.

Отец Щедрина — морской врач — давно умер. Мать жила на пенсию. Она помогала своим сестрам, теткам Щедрина, и пенсии всегда не хватало. В одном Петрограде было три тетки. Кроме того, приходилось посылать деньги еще одной тетке во Владивосток, а другой — в Киев.

Все тетки были или старые девы, или вдовы с кучей детей на руках. Семья была дружная, петроградские тетки давали уроки музыки и французского языка. Они всегда торопились, беспокоились, бегали по лекциям и библиотекам, умилялись на концертах, вечно кого-то жалели и кому-нибудь помогали.

Почти все тетки были женщины добродушные и некрасивые. Это, по словам матери Щедрина, «разбивало их личную жизнь». Одна тетка прекрасно пела, у нее был оперный голос, но на сцену ее не взяли из-за близорукости. Без пенсне она слепла и делалась беспомощной, как ребенок,— куда же такую на сцену!

Но, несмотря на некрасивость, у всех теток были в молодости жестокие романы. Герои этих романов давно облысели, женились, заведовали департаментами и командовали полками, но все же тетки при случайных встречах с ними на улице вспыхивали, как институтки, потом прибегали к матери Щедрина, запирались в ее комнате и долго плакали.

— За что бог наградил меня такими дурами!— в сердцах кричала за дверью мать.

Но Щедрин знал, что она притворяется.

Сестры не могли жить друг без друга. Мать Щедрина считалась их общей утешительницей. Она была добра, рассудительна и называла себя революционеркой.

Тетки были отходчивы. Через час после слез они уже возмущались за обеденным столом министром народного просвещения, тупицей Кассо.

Как и у многих семей, у Щедриных было свое семейное предание. Когда Александр подрос, мать рассказала ему, что его дед, Николай Щедрин, участвовал в восстании декабристов, был ранен в руку и бежал после восстания за границу. Вместе с матросом восставшего гвардейского экипажа он пробрался в Або и оттуда пошел пешком по льду замерзшего Ботнического залива в Швецию. На Аландских островах его арестовали, но ему удалось бежать в Стокгольм на французском парусном корабле.

Тогда же мать достала из комода и показала Щедрину небольшой портрет молодого военного, сделанный акварелью. Бледный офицер стоял, опираясь на саблю, в дверях пустого зала. На офицере был черный мундир. Позади, за стеклами дверей, висели в небе белые облака и стояли сады, покрытые серой дымкой. От портрета почему-то оставалось впечатление одиночества.

Щедрин не очень верил семейным преданиям. К своим восторженным теткам он относился снисходительно и даже насмешливо.

Александра Щедрина тетки звали увальнем и сухарем и возмущались тем, что мальчик чрезмерно увлекается научными книгами и сидит по ночам над чертежами географических карт, вместо того чтобы зачитываться Тургеневым и декламировать стихи Фета.

Когда Щедрин получил назначение на Аландские острова и уезжал с матерью из Петрограда в Ревель, все тетки пришли провожать его на Балтийский вокзал.

Морские офицеры, ехавшие в одном вагоне с Щедриным, иронически поглядывали на стайку щебечущих старушек, окружавших Щедрина. Тетки крестили его, давали ему много советов, роняли от волнения пенсне и сумочки. Щедрин краснел и с нетерпением ждал третьего звонка.

Но когда поезд тронулся, он рассердился на себя, на свой стыд за теток перед офицерами и молчал всю дорогу.

...В Ревеле, в тесном номере гостиницы, где от обилия старых ковров и бархатных портьер воздух казался тусклым, мать Щедрина, сидя на диване, сказала ему:

— Саша, ты поищи, милый, на Аландских островах какие-нибудь следы деда Николая. Все-таки интересно.

— Хорошо, мама.

Мать перед этим плакала, и Щедрин был рад, что она отвлеклась от мыслей о войне и вспомнила про деда.

В Ревеле во время войны запрещалось зажигать свет в домах, если на окнах не были опущены шторы. Они сидели в темноте, и старинный город за окнами был сумрачен и тих. Зеленые звезды горели над ним, и с улиц доносился тихий стук колес.

— Никогда я не думала,— сказала мать,— что буду сидеть с тобой где-то в ревельской гостинице и провожать тебя на войну. Чем все это кончится, Саша?

Мать печально вздохнула.

В дверь постучали. Вошел портье, лысоватый, похожий на сыщика. Он быстро обежал глазами комнату и доложил, что, по старой традиции, владелец гостиницы ежегодно устраивает для своих жильцов, оторванных от родного дома, рождественскую елку. Владелец гостиницы просит всех сойти в зал, где елка уже зажжена и господа жильцы могут получить подарки.

Щедрин с матерью спустились в зал. Золотой жар разноцветных свечей наполнял его. Окна были завешены.

Елку так густо украсили стеклянными бусами, бумажными цепями, флажками союзных держав и золочеными орехами, что почти не было видно ее темной хвои. Елка стала похожа на дорогую куклу в розовых кружевах. Круглые маленькие столики стояли вокруг нее. За ними сидели морские офицеры и женщины в бальных нарядах.

Черное старенькое платье матери Щедрина выделялось среди шелкового сияния и горячего света, как нищенская заплата. Мать стеснялась. Они сели в углу, за крайний столик, и долго ждали, пока официант подошел к ним и сунул на стол длинный список кушаний.

— Я выберу сама, Саша,— робко сказала мать и взяла карточку. Денег было немного, и она боялась, что сын, чтобы порадовать ее, закажет что-нибудь слишком дорогое.

Официант не стал ждать и отошел к соседнему столику. Там сидел плотный чернобородый капитан первого ранга. Глаза у него были темные и выпуклые. Он водил ими по

сторонам и с одинаковым выражением брезгливости смотрел и на официанта, и на Щедрина, и на свою даму — пышную и густо напудренную блондинку в лиловом платье.

Мать заказала чай с пирожным. Официант долго не подавал. Ждать за пустым столиком было тяжело и почему-то стыдно, как на скамье подсудимых.

Молоденький мичман подсел к роялю, ударил по клавишам и запел грассируя:

Дитя, не тянися весною за розой,
Розу и летом сорвешь...

Мичман зажал папиросу в углу рта, небрежно поморщился и взял сладкий затихающий пассаж. Тогда из-за дальнего столика грубый голос неожиданно сказал:

— Я просил бы от имени всех господ офицеров сыграть сначала гимн, а потом ваши розы.

Мичман снисходительно улыбнулся, оборвал песню, встал и, слегка наклонившись над клавиатурой и рисуясь, заиграл гимн. Все поднялись. Официанты застыли с подносами среди зала.

Мать Щедрина торопливо встала, ридикуль у нее раскрылся, и из него выпал на ковер скомканный носовой платок. Он был еще сырой от слез.

Когда все сели, женщины вынули из сумочек изящные зеркальца и пудреницы и начали, смеясь и продолжая болтать, пудриться и подводить губы, как будто гимн разрушил их женское очарование в глазах мужчин.

Капитан с выпуклыми глазами подозвал официанта, ткнул коротким пальцем в сторону столика Щедрина и сказал:

— Уберите это!

Официант не понимал и, заискивая, смотрел в брезгливое лицо капитана.

— Что прикажете?— спросил он, согнувшись.

— У вас под столиком валяются тряпки! — сказал раздражаясь, капитан и начал краснеть.

Женщина в лиловом платье быстро заморгала глазами. Официант подошел, поднял скомканный носовой платок и положил его на стол около матери Щедрина.

— Обронили,— сказал он тихо и, пятясь, отступил.

Щедрин смотрел на капитана, руки у него холодели и лицо темнело от гнева.

— Саша! — сказала мать.— Успокойся... Ради бога, успокойся!

Капитан жадно ел, не обращая на Щедрина никакого внимания. Он сочно жевал, и черная его борода ерзала по синеватой хрустящей салфетке, заткнутой за тугой крахмальный воротник.

— Пойдем отсюда,— сказал Щедрин матери.— Нам нечего делать здесь, среди этих...

Голова у матери затряслась от страха за сына.

Щедрин смолчал. Они вышли. Только на лестнице Щедрин договорил начатую фразу:

— Нам нечего делать среди этих скотов. Голубая остзейская кровь! Мало их топили в Кронштадте в Пятом году!

Мать замахала на него руками.

База миноносной флотилии была расположена в городке Мариегамне, на одном из островов Аландского архипелага.

Щедрин был назначен на миноносец «Смелый». «Смелый» нес патрульную службу вблизи берегов, выискивая немецкие подводные лодки, и в Мариегамн возвращался редко.

Месяц за месяцем тянулись скитания по серой и пустынной Балтике. Днем и ночью холодная вода шипела у стальных бортов, гудели турбины, наблюдатели до ряби в глазах всматривались в горизонт, чтобы не пропустить дым или перископ подводной лодки. Офицеры играли в кают-компании в карты. Трудно было поверить, что на море идет война и тусклая вода вокруг полна опасностей. Моряки жаловались, что самая скучная служба во флоте, конечно, на дозорных судах.

— Рыщем, рыщем,— говорили между собой матросы,— блоху в сене ищем.

В последних числах февраля «Смелый» вышел к берегам Швеции. С утра падал снег, перемежавшийся градом и дождем. В корму бил порывистый ветер. Каждую минуту он менял направление и хлестал то в спину, то в лицо, то справа, то слева.

Рыхлые тучи, напитанные темной водой, низко неслись над морем. Волны, казалось, дохлестывали до них крутыми гребнями. На всем лежал хмурый налет, будто море

закрыла огромная зловещая тень, солнце ушло навсегда в другие, счастливые страны и посылает Балтике свой потухающий свет.

— Не то ночь, не то день — ни черта не разберешь! — жаловались вахтенные.— Вот собачья работа!

В свободное время Щедрин много читал. Сначала офицеры заходили к нему в каюту и просили дать почитать что-нибудь, но потом бросили. Выбор книг, по их мнению, был скучный. У Щедрина было больше всего научных книг, офицеры же спрашивали развлекательную беллетристику.

Кроме офицеров, книги у Щедрина брал иногда штурвальный Марченко — бывший матрос торгового флота, черноморец, неуклюжий, сутулый человек с прищуренными глазами. Во всех случаях жизни он сохранял невозмутимость, а свое отношение к окружающему выражал несколькими любимыми словами. Самым любимым его словом было «кабаре».

— Это же кабаре! — говорил он, если видел что-нибудь нелепое или непонятное.— Чистое кабаре, накажи меня бог!

В один их этих сумрачных дней Щедрин, освободившись от вахты, лежал у себя в каюте и читал книгу о движении материков. Теория эта была в то время мало известна и поражала своей простотой. Особенно удивляло Щедрина наглядное доказательство этой теории. Щедрин брал небольшую карту земного шара, вырезал из нее ножницами Америку, Европу и Африку, пододвигал Америку к Европе, и контуры материков сходились, как края одного куска бумаги, разорванной на части.

За пристрастие к наукам молодой мичман с радостными глазами, Акерман, прозвал Щедрина «Чарльзом Дарвином», а миноносец был прозван «Смелым Биглем».

По старой морской привычке, все миноносцы носили прозвища, так же как и большинство офицеров.

Волосатого командующего флотилией звали «Палубный лев». Старшего офицера на «Смелом», Виктора Попова, прозвали за его маленький рост «Полувитей». Когда Полувитя стоял на мостике, то над поручнями торчала одна его голова в клеенчатом штормовом капюшоне. Миноносец «Стремительный», ходивший вместе со «Смелым», прозвали «Паровой балагулой» за то, что он всегда отставал.

Акерман был начитан, обладал удивительной памятью,

любил шутить и выражаться в торжественном стиле авантюрных романов.

Щедрин лежал с книгой в руке, но вдруг схватился за койку. Миноносец сильно качнуло. Он круто поворачивал, меняя курс. Книга упала на пол.

Щедрин сел на койке и вздрогнул: оглушительные колокола боевой тревоги гремели по миноносцу. Над головой, топоча сапогами по железным настилам, бежали люди.

Щедрин, путаясь в рукавах шинели, натягивая ее на ходу, выбежал на палубу. На трапе он столкнулся с Акерманом.

— Что случилось?— спросил Щедрин.

— Наш маленький отважный корабль,— ответил Акерман,— ринулся на неприятельский крейсер.

— Да ну вас!— отмахнулся Щедрин и побежал дальше.

— Команда застыла у орудий, готовая или победить, или умереть! — крикнул ему в спину Акерман.— Слышите?

— Сумасшедший! — успел прокричать Щедрин.

Акерман, ловко спускаясь по трапу к своему месту около орудия, показал Щедрину кулак.

Произошло следующее.

Вблизи шведских берегов с мостика заметили на горизонте немецкий крейсер. Он шел к юго-западу и вел на буксире небольшое судно. Из-за сумерек судно приняли сначала за миноносец, но потом рассмотрели, что это подводная лодка.

Когда Щедрин выбежал на палубу, «Смелый» полным ходом шел с запада на юг, сближаясь с крейсером.

Град бил в лицо. Восточная часть неба была темнее западной. В этом было преимущество «Смелого». С крейсера почти не видели миноносца — он казался сгустком дыма и мглы, мчавшейся в бурунах и пене. Крейсер же чернел на пасмурном небе громадой своих надстроек, труб и орудийных башен.

— Теперь на том крейсере чистое кабаре,— сказал Марченко, стоя рядом с Щедриным.— С таким грузом на хвосте немыслимо драться. Сейчас немцы отдадут буксир и кинут свою лодку. Будет дело!

Крейсер становился все темнее и ближе. Он не прибавлял хода, грозно молчал, и в этой неторопливости крейсера и в его молчании Щедрин почувствовал приближение сокрушительного удара.

Палуба миноносца дрожала. Размахи от волн делались все круче. Люди на мостике и у орудий были привязаны к поручням.

На крейсере полыхнули четыре широких багровых огня, и тяжелый гул понесся в непроглядные морские дали. Снаряды легли за кормой «Смелого».

«Смелый» развернулся бортом и послал мину. Взрыва не последовало. Крейсер отдал буксирный трос, оставил лодку и, громыхая из орудий, начал быстро уходить к югу. Снаряд ударил в правый борт «Смелого», около кормы. Столб воды обрушился на палубу. Щедрин насквозь промок. На корме послышались крики. Командир послал туда Щедрина.

— Мичман Акерман ранен,— сказал он.— Замените его.

Щедрин прошел на корму. Несколько матросов подняли Акермана. У него была раздроблена нога. Он успел сказать Щедрину:

— Немного рвануло борт, но это пустяки. Командуйте.— Он усмехнулся и добавил:—Истекая кровью, он отдавал приказания матросам...

Акерман хотел сказать еще что-то шутливое, но вскрикнул и застонал. Матросы, приседая и хватаясь за поручни, понесли его вниз, в кают-компанию.

«Смелый» перенес огонь на подводную лодку.

Люди у орудий работали торопливо и безмолвно. Лодка грузно качалась на волнах, как мертвый тюлень, и не отвечала. Ее уже едва было видно в сгустившихся сумерках.

Град барабанил по палубе и отскакивал от поручней. Мутное море гудело и неслось к востоку мимо бортов миноносца.

Один снаряд взорвался на подводной лодке около командирского мостика, но лодка молчала. Молчание казалось зловещим и опасным.

— Она же пустая,— сказал Марченко Щедрину.— Зря снаряды тратим. Бьем по мертвому месту.

Щедрин не поверил матросу,— не могли же немцы вести на буксире подводную лодку без единого человека команды!

Сорвался шквал. Командир «Смелого» Розен приказал прекратить огонь. Снег лепил в лицо, порошил глаза, ветер вертел его серыми вихрями вокруг широких труб миноносца.

Палуба была как будто залита темной тушью. Ночь завладела морем и миноносцем: даже в каютах, где были наглухо завинчены стальные крышки на иллюминаторах, лампочки горели в четверть накала.

«Смелый» открыл прожектор и медленно кружился около подводной лодки.

Щедрин спустился в кают-компанию, к Акерману. В каюте было холодно, пахло лекарствами. Миноносец сильно качало, и при каждом размахе Акерман стонал все сильнее.

— Почему мы топчемся па месте, а не идем в Мариегамн?— спросил оп Щедрина, не открывая глаз.

— Командир решил не отрываться от лодки. Лодка молчит. Черт ее знает, что с ней! Утром мы к ней подойдем.

— Значит, мне отрежут ногу,— сказал Акерман.— Она уже вся горит. Из-за какого-то железного, воняющего отработанным газом чудовища. Какая чепуха! Фельдшер ни бельмеса не понимает.

Акерман махнул Щедрину рукой, чтобы тот вышел.

Щедрин пошел к Розену. Щедрина тоже тряс озноб, и сильно болело под лопатками, трудно было дышать.

Розен стоял на мостике с Полувитей. Розен был тощий молчаливый остзеец. Он носил баки, и сейчас они, мокрые от снега, торчали по сторонам его фуражки, как маленькие уши хитрого и хищного зверя.

— Карл Игнатьевич,— сказал Щедрин очень громко, стараясь перекричать шум ветра в ушах,— мичмапу Акерману очень плохо. В ноге началось воспаление.

— Эх-хе-хе...— добродушно вздохнул Полувитя.— Придется ему потерпеть.

— Нельзя ли сейчас забуксировать лодку и идти в Мариегамн?— спросил Щедрин.

Розен обернулся к Полувите и пожал плечами.

— Вот извольте,— сказал он.— Сколько раз я просил, Виктор Петрович, этих дураков в штабе не назначать ко мне на миноносец юношей, интересующихся науками!— Он повернулся к Щедрину, засунул руки в карманы шинели и крикнул хриповатым голосом: — Это военный корабль, а не студенческая сходка! Прошу мне не указывать!

Щедрип махнул рукой и спустился с мостика.

Ночь тянулась очень медленно. Казалось, что утро ни-

когда не сможет пробиться сквозь гущу туч, сквозь темную сырость и снег.

На рассвете «Смелый» начал осторожно подходить к лодке и дал по ней предупредительный выстрел. Лодка молчала.

С трудом спустили шлюпку, перебросили на лодку людей и завезли буксирный трос.

В числе посланных на подводную лодку были Щедрин и Марченко.

То, что Щедрин увидел, показалось ему отвратительным сном. Люк лодки был открыт. В капитанской рубке сидел на полу немец-матрос. Он спал, и его никак не могли разбудить. Рядом с ним лежал труп офицера, должно быть командира лодки.

Из люка несло легким трупным смрадом и запахом хлора. Полувитя, Щедрин, Марченко и два матроса спустились внутрь лодки. Там было темно, пришлось светить карманными электрическими фонарями.

Вся команда лодки была мертва. Люди лежали на койках. На лицах было выражение усталости и умиротворения. Два мертвых матроса сидели скорчившись около открытых кислородных приборов.

Лодка качалась, и вместе с ней качались свисавшие с коек мертвые руки и головы людей.

— Да,— сказал Марченко,— вот она как обернулась, война. Без крови.

Слова его отдавались в голове тупой болью.

— Они задохлись,— сказал старший офицер.— Во сне. Должно быть, лодка опустилась ночью па дно, чтобы дать отдых команде. Два матроса были приставлены к кислородным приборам, чтобы раз за ночь выпустить немного кислорода. Матросы открыли приборы, но не успели их закрыть: они тотчас уснули, кислород их одурманил. Вы не представляете, какой тяжелый сон бывает у людей на подводных лодках!

Щедрин и матросы слушали молча.

— Воображаю,— сказал старший офицер,— какие замечательные сны они видели перед смертью. Сначала кислород заполнил лодку, потом так же быстро, как кислород, начала пакапливаться углекислота. Она их и задушила.

— А как же, Виктор Петрович,— спросил Щедрин и проглотил слюну: во рту был привкус меди,— как опи могли всплыть и дать радио о помощи? Этого я не понимаю.

— Я ведь тоже ничего не знаю, голубчик,— ответил старший офицер и посветил фонарем на мертвых матросов.— Должно быть, двое или трое очнулись. Успели пустить сжатый воздух в цистерны, всплыть и послать радио. Но это было, как бы вам сказать, вроде их предсмертной судороги... Ну, пошли наверх!

— Заработали железный гроб,— пробормотал Марченко, подымаясь по трапу.

На палубе подводной лодки Щедрина снова окатило волной, и он начал дрожать так сильно, что с трудом отвечал на вопросы старшего офицера. Полувитя пристально посмотрел на Щедрина.

— Вернитесь на миноносец,— сказал он.— Здесь хватит и троих матросов.

— Да нет, я ничего,— ответил Щедрин и попытался улыбнуться, но из улыбки ничего не получилось.— Вот только промок.

Полувитя вздохнул и отвернулся. Матроса-немца подняли на руки и перетащили в шлюпку. Он зачмокал во сне губами, но не проснулся.

Шлюпка отошла к «Смелому». Он дымил, переваливаясь на волнах, и как будто укоризненно качал головой.

Щедрин сидел нахохлившись в шлюпке, и обрывки мыслей суетились у него в голове. Если бы знала об этом мать! Но ей даже трудно рассказать все, что он видел. Вообще никому нельзя об этом рассказать.

— Сами лезут к черту на рога,— сказал он вслух.

Но никто не обратил внимания на его слова. Матросы гребли, а Полувитя сидел, подняв воротник шинели, и вид у него был совсем не военный. Маленький, с рыжей мокрой бородкой и набрякшим лицом, он был похож на земского доктора.

«Но и ты ведь тоже сам лезешь»,— подумал Щедрин и начал вспоминать, как он попал на войну. Нет, конечно, он пошел не сам, его взяли. Значит, кто-то имеет власть над его жизнью, над любовью к матери, над его судьбой.

«Но кто же, кто?— спрашивал себя Щедрин.— Царь?» Над царем в его семье всегда смеялись, называли его тупицей и армейским пьянчужкой.

«В Мариегампе разберусь»,— подумал Щедрин. Сейчас думать не хотелось. Сейчас хотелось раздеться, лечь на койку, закутаться с головой в одеяло и следить за тонкими, как паутинки, постоянно обрывающимися снами.

Но все-таки зачем, например, Полувите, человеку скромному, обремененному кучей детей, дали в руки стальные приборы, созданные для того, чтобы рвать, рубить, кромсать живое человеческое тело?

«Произошла какая-то ошибка в нашем сознании»,— подумал Щедрин. Он вспомнил своего репетитора, студента Райковича. Этот голодный и насмешливый человек только один раз заговорил о войне, когда Щедрин поступал в морскую школу.

— Я признаю,— сказал он,— только одну войну. Она будет необходима и даже желательна. Я говорю о войне, направленной против возможности всех войн в мире, о войне не между народами, а между теми, кто хочет жить в мире, и теми, кто живет войной.

Шлюпка подошла к «Смелому». С кормы спустили штормовый трап. Щедрин подымался с трудом. Перед ним карабкался Полувитя, и полы его мокрой шинели били Щедрина по лицу.

Щедрин заметил, что после боя матросы и некоторые офицеры потеряли прежний воинский лоск. Они были подавлены, ходили сгорбившись, и почти у каждого в глазах была та же тревога, что и у Щедрина,— тревога от разбуженных боем и недодуманных мыслей.

«Смелый» медленно, часто стопоря машины, чтобы не оборвать буксирный трос, пошел в Мариегамну.

Погода менялась. Ветер стихал. В полдень боязливый свет солнца прорвался сквозь облака. Флаг на «Смелом» был приспущен.

Щедрин лежал у себя в каюте, стонал от ломоты в костях, морщился и кашлял. Он часто засыпал. Его будил судовой фельдшер. Он приносил Щедрину чай и горькие пилюли. Щедрин безропотно проглатывал их и снова засыпал.

Ему снилось, будто он падает ночью в холодную воду. Она с шипением отскакивает от его горячего тела, и сквозь снежную крупу он видит, как взлетает почти до неба и падает в водяные провалы кильватерный огонь «Смелого», взлетает, падает и тускнеет, закатываясь, как звезда, в мрачных ночных горизонтах.

Щедрин звал во сне мать. Он ворочался, сбрасывал одеяло, и лицо его, воспаленное, со спутанными волосами, было похоже на лицо больного мальчика. Щедрину было в то время всего двадцать лет.

В Мариегамне Акермана и Щедрина сдали в лазарет. У Щедрина началось воспаление легких.

Лазарет был старинный, построенный в начале девятнадцатого века. Почти все столетие до немецкой войны лазарет пустовал: народ на Аландских островах был крепкий, краснощекий, болел редко.

От каменных полов в лазарете было холодно и гулко,— шаги врача доносились издалека. Щедрин и Акерман, лежа в дремоте, слушали треск огня в кафельных печах. На печных изразцах были изображены синеватые парусные корабли, неуклюжие, похожие на корыта. Корабли выпускали из пушек пухлые шары дыма.

В эту зиму в лазарете было особенно пусто и глухо. Кончался февраль. В России началась революция. Флот волновался, и до лазарета никому не было дела. Об Акермане и Щедрине как будто забыли.

Единственным вестником, приходившим из далекого мира, шумевшего за окнами сиренами кораблей и звоном весенней капели, был доктор — обрусевший швед, проживший всю жизнь на Аланде.

Его седые волосы торчали на голове в беспорядке, халат всегда распахивался. Он постоянно хохотал у себя в кабинете, и смех его долетал в самые дальние углы лазарета.

Щедрин любил посещения доктора. С ним в палату врывался живой запах табака и спирта. Доктор прикладывал ухо в груди Щедрина; волосы у доктора всегда были мокрые, должно быть от капели и тумана.

Чем ближе к весне, тем чаще остров был затянут туманом. В тумане пищали чайки, перекликались дети, а однажды вечером Акерман разбудил Щедрина, и они долго слушали, как в густом тумане за окнами торжественно и победно гремела «Марсельеза».

«К оружию, граждане!»— пели серебряные трубы.

Их заглушало глухое и грозное «ура».

— Узнаю голоса наших матросов,— говорил Акерман.— Худо сейчас шкуродерам, ой, худо! Разгневанный народ кинулся в дворцы тиранов!

Нога у Акермана заживала, и он снова начал шутить.

Однажды пришел Марченко.

Он рассказал, что его выбрали на «Смелом» председателем судового комитета, и принес Щедрину и Акерману подарки от команды — папиросы, два сухих апельсина и пачку газет за последние дни.

— Слушай, Марченко, мы же все-таки офицеры,— сказал Акерман.— Белая кость, голубая кровь и все такое прочее.

Марченко ухмыльнулся:

— Да вы ж почти что наши. Какие вы, извините, офицеры! Офицеры — это шкуры, а вы студенты. У вас мозги другие.

— Ну что ж,— сказал Акерман,— хоть мы и не заслужили, но и на том спасибо. Значит, будем винтить революцию до конца.

— Известно, до конца.

Марченко встал. Он торопился на матросский митинг.

— Где команды митингуют? — спросил Акерман.— На кораблях?

— Зачем на кораблях! На кораблях тесно. Собираемся на кладбище.

— Подходящее место! — усмехнулся Акерман.

— Самое подходящее,— серьезно возразил Марченко.— На кладбище есть одна могила, облюбовали ее матросы. Около той могилы и собираются, становятся прямо на камень, на валун, и говорят свои матросские речи.

— Чья же это могила?

— Вижу я,— сказал Марченко с сокрушением,— что придется вам об ней рассказать, а то вы вовсе как сухопутные, ничего не знаете. Лежат под тем камнем солдат Семен Тихонов и прапорщик Бестужев. Похоронены они вместе еще при Николае Первом. Понятно, матросы увидали ту могилу, и стало им интересно, почему это солдат зарыт с офицером и лежит на них один тяжелый валун. Стало матросам интересно, и доискались они обо всем у местных жителей. Сами знаете, нет такого дела на свете, до которого бы хороший матрос не мог допытаться. На то он и матрос. Докопались матросы, что сто лет назад стояли в этих местах крепкие зимы и залив замерзал кругом — от края до края. Теперь этого нету. Теперь, сами видите, зима здесь гнилая: снег, да туман, да дожди, чистая слякоть... Сто лет назад было в Петербурге восстание. Один из тех, кто был в том восстании, бежал, уносил голову от царской награды. Дошел он по льду до здешнего острова, хотел податься в Швецию и попался: схватили его не то жандармы, не то офицеры. И был бы ему верный конец, когда бы не помогли ему бежать тот самый солдат Тихо-

нов и прапорщик Бестужев. Выручили человека, а сами погибли злой смертью.

— Какой смертью?

— Об этом говорят разное. Кто говорит — расстреляли их перед казармами, кто говорит — засекли шомполами и похоронили рядом, в одной могиле.

— Офицера не могли засечь шомполами,— сказал Акерман.

— Ну, как-нибудь другим манером, а все-таки сжили со света... Спите, поправляйтесь, сейчас на воле весело.

Марченко попрощался и ушел.

Щедрин лежал, закрыв глаза. Он вспомнил рассказы матери о деде, восторженные рассказы теток, над которыми он насмехался, и то, что с детских лет казалось ему семейной выдумкой, внезапно приобрело реальность, вышло из тесного круга их семьи, получило неожиданное значение для новых, революционных времен, становилось широко известным не только ему, матери, его смешным теткам, но и сотням матросов. Значит, дед действительно был здесь, и в тогдашние крутые и страшные времена нашлись два человека, пожертвовавшие жизнью, чтобы спасти его от казни. Подвиг этих людей казался Щедрину гораздо выше, чем подвиг деда. И чем больше Щедрин думал об этом, тем сильнее волновался.

— Слушай, Акерман,— спросил он тихо,— как их зовут?

— Кого?

— Ну этих двоих, похороненных вместе.

— Солдата — Тихонов, а прапорщика — Бестужев.

Щедрину хотелось рассказать Акерману о деде, но он сдержался: больше всего он боялся насмешек и недоверия. «Какой же ты, Саша, к черту, внук декабриста! — скажет Акерман.— Ты же теряешься перед Розеном и не умеешь запросто сойтись с матросами. Ты же типичная шляпа, а не внук декабриста».

Темнело. Зеленая заря горела за оконным переплетом.

В коридоре послышались шаги. Вошел веселый растрепанный доктор. За ним санитар вел, поддерживая за спину, плотного чернобородого человека. Нового больного уложили на койку. Он уставился в потолок выпуклыми насмешливыми глазами и молчал.

Доктор потер руки.

— Вот вам, молодые люди,— сказал он,— еще один товарищ по болезни. Втроем будет веселее.

Щедрин лежал, не открывая глаз. Он очень устал от разговора с Марченко и от мыслей о деде. Ему хотелось спать.

— Я настаиваю, доктор,— сказал новый больной резким голосом (Щедрин открыл глаза и быстро приподнял голову),— чтобы при первой возможности вы отправили меня в Гельсингфорс. Лечение здесь меня не устраивает.

— Господин каперанг [1],— сказал Щедрин,— Гельсингфорс вам не поможет.

— То есть как? — нагло спросил новый больной.— Что вы городите, мальчик!

— Я не мальчик, а офицер революционного флота и к тому же кухаркин сын,— ответил Щедрин.— Мы с вами виделись на елке в Ревеле. Забыли?

— Представьте себе, не помню,— зло ответил каперанг.— Не припомню такого счастливого случая в своей жизни.

Щедрин сел на койке и сказал, обращаясь к встревоженному доктору:

— Уберите от нас этого хама!

— Но-но! — крикнул каперанг, приподымаясь.— Вы будете иметь дело с командиром флотилии.

— А вы будете иметь дело с матросами флотилии,— ответил, бледнея, Щедрин.— Доктор, этот офицер оскорбил при мне женщину только за то, что она была бедна и плохо одета. Сейчас он собирается дезертировать из флота в Гельсингфорс. Все равно — не здесь, так в Гельсингфорсе матросы с ним посчитаются.

— Ишиас — болезнь весьма удобная,— пробормотал Акерман.— Болит — и ничего не видно. А бывает наоборот: и не болит — и все равно ничего не видно.

Капитан сел. Он смотрел на мичманов яростными глазами. Борода его тряслась, на виске вспухли толстые жилы.

— Замолчать! — внезапно крикнул он визгливым голосом.

— Бог мой! — сказал Акерман и зажал уши.— Если вы еще раз так крикнете, то от нас ничего не останется. Помилосердствуйте, господин каперанг!

---

[1] Каперанг — сокращенное «капитан первого ранга». *(Примеч. автора.)*

Каперанг вскочил и, прихрамывая, вышел из палаты. Халат волочился за ним по полу. Доктор и санитар вышли следом за ним. Доктор укоризненно качал головой.

Каперанга уложили в дальней палате, а через два дня ночью пришли матросы, арестовали его и отправили под конвоем в Гельсингфорс, в Центральный комитет Балтийского флота.

В апреле Щедрин выписался из больницы. Доктор запретил ему возвращаться на корабль. Недели две-три после болезни Щедрин должен был поправляться и отдыхать.

По совету доктора Щедрин снял комнату у рыбака Петера Якобсена.

Маленький старый дом стоял у самой воды. Дом был разноцветный: стены синие, облезлые, оконные наличники и двери — оранжевые, а внутри у каждой комнаты был свой, когда-то яркий цвет.

Комната Щедрина была выкрашена в желтую краску и завешана фотографиями предков Якобсена.

По утрам, лежа на деревянной кровати, Щедрин рассматривал висевших над кроватью стариков с тонкими, словно железными губами,— шкиперов и лоцманов, живших некогда в этом доме.

Тут же висели фотографии их дочерей — светлоглазых девушек с приветливым выражением лица — и жен — худых старух. Старухи сидели на фотографиях прямо, как полководцы, крепко положив на колени узловатые руки.

Среди фотографий был только один рисунок, написанный пастелью. Это был портрет молодой женщины с высоко взлетающими, нервными бровями, сумрачным блеском глаз и маленьким чистым лбом. Щедрин, глядя на этот портрет, всегда думал о том, что́ эта женщина делала здесь, в ничтожном рыбачьем городке, где сто лет назад было всего триста жителей.

В доме Якобсена было чисто и тихо; изредка только Якобсен пел на кухне заунывные песни и притопывал в такт ногой, ковыряясь в старых сетях.

У Якобсена была дочь трех лет, но она жила не у родителей, а у доктора. Бездетные доктор и его жена воспитывали девочку и собирались дать ей хорошее образование. Звали девочку Марией.

Жена Якобсена, Марта, была рассеянная женщина. Каждый день у нее сбегало молоко или кот воровал жареную рыбу из открытого шкафа. Якобсен беззлобно посмеивался над женой.

Вся эта жизнь производила на Щедрина такое впечатление, будто он перенесся на десятки лет назад, в патриархальную страну, где еще ходят почтовые кареты и в комнатах держат в маленьких клетках сверчков, приносящих счастье.

Странно было, сидя в этих старинных комнатах, читать газеты, пылавшие жаром революционного времени. Газеты были полны призывов, негодований, ошеломляющих известий, сообщений о возвращении в Россию Ленина.

Имя Ленина уже гремело на матросских митингах. Оно было всюду. Стремительные миноносцы разносили его по суровой Балтике. Радио, треща и разбрызгивая искры, передавало его на линейные корабли, в береговые батареи, в крепостные форты, на подводные лодки. Сигналисты набирали его пестрыми флагами.

Оно ширилось, росло, оно стало знаменем и надеждой балтийцев. Вокруг него кристаллизовались недовольство матросов, их воля, их неукротимый революционный пыл.

«Заря всемирной социалистической революции уже занялась»,— сказал Ленин во время встречи его на Финляндском вокзале.

Эти слова разнеслись по всему флоту. Казалось, даже море победно шумело и, неся к берегам мощные массы сверкающей воды, повторяло эти слова.

Щедрин волновался. Один раз он был на митинге на миноносце и даже сказал путаную горячую речь.

Матросы долго хлопали ему, вернее — стучали деревянными, мозолистыми ладонями и вынесли Щедрина с миноносца на берег на руках — должно быть, из жалости: Щедрин едва держался на ногах от волнения.

Акерман ходил на костылях. Он относился к революции по-деловому: сидел в судовом комитете и упрямо спорил с начальством о гречневой каше, отпусках, добавочных тельниках и других насущных матросских нуждах. Он уже меньше шутил и лишь изредка, заходя к Щедрину, произносил прежние любимые фразы:

— Змея царской власти раздавлена в прах босыми ногами илотов. Алое знамя восстания реет над великой страной.

Щедрин проснулся очень рано. В саду пересвистывались птицы. Над морем дымился ослепительный штиль. Он переливался прохладным блеском на сотни миль, плескал о гранитные берега и, как ребенок, шаловливо дул в лицо тепловатым ветром.

Щедрин пошел на кладбище. Невозможно было сидеть в комнатах в такое праздничное утро. Кроме того, Щедрин давно решил побывать на могиле Тихонова и Бестужева.

В расселинах скал пробивались слабые белые цветы. Щедрин сорвал несколько стебельков с цветами.

На кладбище Щедрин наткнулся на могилу немецких моряков с подводной лодки, захваченной «Смелым», и долго читал список имен.

Около одного из мшистых валунов он увидел Марту. Она сидела, как всегда, немного испуганная и бледная и, улыбаясь, смотрела на Щедрина. В руках у нее были темные еловые ветки. Она принесла их, очевидно, чтобы положить на родную могилу. Щедрин знал, что год назад у Марты умер четырехлетний сын.

Он подошел к ней и поздоровался. По-русски Марта говорила плохо. Но они друг друга все же понимали.

Щедрин прочел на могиле надпись и удивился. Надпись была на шведском языке, но Щедрин все же понял, что здесь похоронена какая-то женщина двадцати четырех лет, Анна-Христина Якобсен, умершая в 1827 году.

— Это ваша родственница? — спросил Щедрин.

Марта глядела на него улыбаясь, но не понимала.

— Кто это? — повторил Щедрин и дотронулся рукой до надписи.

— Анна,— сказала Марта,— бабушка Петера. Есть картина в вашей комнате. Такая милая. Она умерла в этот день.

Щедрин закивал головой. Он догадался, что это была могила той странной женщины, чей портрет он так часто рассматривал у себя над столом.

— А я ищу,— сказал он,— могилу Павла Бестужева.

Марта встала и провела Щедрина к большому камню. Он врос в землю, был отполирован матросскими сапогами. Вокруг него зеленел мох. Щедрин положил на камень цветы. Когда-то он смеялся над сентиментальностью своих теток, сейчас же сам испытывал непонятное волнение перед могилой людей, спасших его деда.

— Здесь лежат хорошие люди,— сказал он Марте,— они спасли от смерти моего деда.

Марта радостно закивала головой:

— Вы сказали — «мой дед»?

— Да.

Марта торопливо заговорила, путая русские и шведские слова. Она взяла Щедрина за рукав и смотрела ему в лицо. Она смеялась, и щеки ее даже порозовели.

— Я не понимаю,— сказал Щедрин.

Марта морщила лоб, подыскивая русские слова, но их не хватало, и Щедрин опять ничего не понял.

Марта досадливо закусила губу, и на глаза ее навернулись слезы. Она махнула рукой и быстро пошла в город. Щедрин, недоумевая, смотрел ей вслед. Ветер развевал ее широкую юбку. Марта шла не оглядываясь.

«Чем же я ее обидел?» — подумал смущенный Щедрин, сел около могилы и закурил. Бледные, только что родившиеся бабочки летали вокруг, греясь на солнце.

Щедрин вернулся домой. Ни Марты, ни Петера не было. Только кот бродил из комнаты в комнату, жеманно изгибаясь около дверных косяков.

— Ну что, уже украл рыбу? — спросил Щедрин.

Кот сипло мяукнул.

Щедрин снял со стены портрет Анны Якобсен и долго его рассматривал. Щедрин еще никого не любил. Правда, он ходил одно время на каток в Петрограде, чтобы издали увидеть высокую гимназистку, бегавшую каждый день на коньках. Когда она падала и тотчас вскакивала, стряхивала снег с перчаток и моргала ресницами, чтобы избавиться от налипших на них снежинок, у Щедрина начинало колотиться сердце. Но вскоре гимназистка исчезла с катка, и Щедрин ее забыл.

Щедрин смотрел на портрет, на горькие и нежные губы Анны, и думал, что эту женщину он мог бы полюбить беззаветно и преданно. Какая-то грустная тайна скрывалась за этим лицом.

Щедрин вздрогнул и повесил портрет на место: в дом входили.

В дверь постучали. Щедрин крикнул:

— Войдите!

Дверь распахнулась, и на пороге появился доктор. Его белые волосы были растрепаны больше, чем всегда, глаза сверкали, и на лице сияла торжественная улыбка. За спиной у доктора стояли Петер и застенчивая Марта.

— Здравствуйте, друг мой! — загремел доктор и стиснул руку Щедрина.— Я пришел к вам в качестве переводчика... Войдите! — крикнул он Якобсенам.— Сядьте на эти стулья, и мы поговорим.

— А что, собственно, случилось? — спросил растерявшийся Щедрин.

— Сейчас узнаете! — прокричал доктор и захохотал.— Сейчас вы узнаете все, но прежде всего — расцелуйте эту женщину и этого простофилю, Петера Якобсена. Ну!

Доктор так крикнул «ну», что в старых рамах звякнули стекла и кот, приседая, умчался из комнаты.

— Хорошо,— сказал, улыбаясь, Щедрин.— Я всегда рад расцеловать этих людей, но скажите, ради бога, что это значит?

— Целуйтесь! — крикнул доктор и топнул ногой.

Марта робко подошла к Щедрину, вытерла губы концом чистого передника, и они поцеловались. Петер поцеловался по-рыбачьи — три раза — и исколол щеки Щедрина своей щетиной.

— Да будет вам известно,— сказал доктор с торжеством,— что и в двадцатом веке могут случаться чудеса. Мне надоело вычитывать их только из книг. Я часто говорю своей жене: «Ты напрасно скучаешь па Аланде. Здесь каждый день рассказывает свои интересные истории. Дни проходят перед нами, как добрые знакомые, и ты еще очень и очень пожалеешь о наших островах, когда уедешь отсюда». Судите сами. Где вы дышали таким воздухом, как у нас? Где вы видели такое прозрачное море? Нигде! Когда вы жили среди таких добрых и честных людей? Никогда!

— Все это так,— согласился Щедрин,— но я ничего не понимаю. Какое чудо случилось сейчас?

— Перейдем к делу,— сказал доктор. Он сел и взъерошил волосы.— Если здесь нет никакой путаницы, то вы внук того декабриста, что был спасен здесь, на Аланде, двумя русскими — солдатом и офицером.

— Да,— сказал Щедрин.— Это, кажется, так. Но откуда вы об этом узнали?

— От Марты,— сказал доктор,— вы сами ей об этом рассказали. Среди здешних моряков есть много степеней

родства. Нам они кажутся странными. Мы признаем только кровное родство, а эти простодушные люди признают еще родство спасенных и спасителей. Если кто-нибудь из одной семьи спас человека из другой семьи, то семьи роднятся. Хороший обычай. Морское дело — опасное, спасать приходится часто, и в конце концов это привело к тому, что почти все жители острова стали родственниками. И, по законам этого острова, Петер Якобсен, Марта и их дочь Мария, находящаяся у меня на воспитании, являются в некоторой мере вашими родственниками.

— Но ведь деда моего спасли, кажется, русские!

— Вы, очевидно, ничего не знаете. Деда вашего спасли прапорщик Бестужев и его жена. Портрет ее вы сейчас видите перед собой. Это она.

Доктор показал на портрет Анны. Так вот кто была эта женщина с таким привлекательным и необычным лицом!

— В семье Якобсенов,— продолжал доктор,— живет воспоминание о всех событиях, связанных со спасением вашего деда. Это понятно. Представьте себе простую семью, где сотни лет ничего не случалось. Мужчины служили матросами, а к старости делались рыбаками. Женщины, кроме своего дома и детей, ничего не видели вокруг. Говорят, раньше Якобсены были богаты и даже имели парусники, но это было очень давно. Последний из шкиперов, отец Анны, разорился и в старости был всего только маячным сторожем в Эрасгрунде. Но он успел воспитать свою дочь в Стокгольме. Это была необыкновенная девушка. Итак, представьте себе эту скучную и добропорядочную семью, внезапно втянутую в бурю невероятных и печальных событий. В их доме поселяется молодой русский офицер Бестужев. Его пускают скрепя сердце. Старик боится и не любит русских. Офицер влюбляется в Анну. Анна тоже полюбила его; она была девушка больших чувств и капризов. Старик не хочет и слышать о замужестве дочери с русским.— Доктор замолчал, чтобы закурить папиросу.— Но вот на острове задерживают декабриста. Он пробирался в Швецию по льду замерзшего залива, наткнулся на часовых, и его схватили. Здешние рыбаки и шкипера заволновались. Появилась мысль спасти арестованного, освободить его и увезти на корабле в Швецию. Павел Бестужев стал во главе заговора. Тогда отец Анны смягчился, поверил в благородство русского и разрешил ей выйти за него замуж. Но судьба судила иначе:

Бестужев был через несколько дней убит на дуэли. Арестованный бежал с помощью Анны и моряков.

— Из-за чего была дуэль? — спросил Щедрин.

Доктор поговорил по-шведски с Петером и Мартой и ответил:

— Бестужев ударил по лицу офицера, своего начальника, за то, что тот грубо обошелся с декабристом и оскорбил Анну. Офицер убил его. Через восемь месяцев после смерти Бестужева у Анны родился от него сын. Отец Петера. Анна вскоре умерла. Она долго болела, ее даже считали здесь немного помешанной.

— Спросите их,— сказал Щедрин,— кто тот солдат, что похоронен вместе с Бестужевым.

Доктор снова поговорил по-шведски с Якобсенами и пожал плечами:

— Они не знают. Говорят, что этот солдат умер после порки. За что его пороли — об этом им никто не рассказывал. Думают, за помощь декабристу.

Щедрин посмотрел на Петера. Петер похлопал его по плечу и засмеялся. Он повернулся к Марте и что-то сказал ей, очевидно важное. Марта торопливо вышла, вернулась с маленькой старой книгой в кожаном переплете и протянула ее Щедрину.

— Эта книга Бестужева,— сказал доктор.— Единственная реликвия. Ее нашли у Анны.

Щедрин бережно взял книгу, открыл титульный лист и прочел: «Эда, финляндская повесть Евгения Баратынского».

Марта что-то застенчиво сказала доктору. Тот перевел:

— В книгу заложено письмо. Оно тоже осталось после Анны. Она с ним никогда не расставалась.

Щедрин перелистал книгу и вынул несколько твердых желтых листков, исписанных гусиным пером. Писавший, видимо, торопился. На странице было много брызг от чернил.

«Анна,— прочел Щедрин,— я совершил великий грех перед тобой, не сказав тебе ни слова о предстоящей дуэли».

От письма шел запах сухой лаванды.

Щедрин читал письмо, хмурился, и руки у него начали дрожать так сильно, что он вынужден был положить письмо на стол, чтобы не выдать своего волнения.

Доктор и Якобсены старались не смотреть на Щедрина. Доктор постукивал пальцами по столу и напевал. Он

делал это только в минуты сильного душевного смятения.

...Почти всю ночь Щедрин не спал. Он несколько раз перечитывал письмо Павла Бестужева, перечитал «Эду» Баратынского и подолгу задумывался над местами, отчеркнутыми карандашом. Особенно запомнились Щедрину две строки:

Когда, когда сметешь ты, вьюга,
С лица земли мой легкий след?

Светлая ночь теплилась за окнами. Вода блестела, как фольга. В северной мгле тлел закат. Запах травы и влажных камней проникал в комнату вместе с голосами птиц.

В такие ночи все кажется прекрасным, даже самые обыкновенные человеческие лица. Тем более прекрасным казалось лицо Анны.

«Наши мучения и гибель,— прочел Щедрин строчку из письма,— ударят по сердцам с томительною силой».

«Что сделать, чтобы осуществить это пророчество?» — подумал Щедрин. Если бы он был поэтом или народным трибуном, он нашел бы слова, чтобы рассказать тысячам людей о судьбе Павла Бестужева и Анны и вызвать в ответ великую силу сострадания. Но даже в письме к матери он не нашел слов для этого.

«Да и нужно ли это?» — думал Щедрин. И дед и Бестужев верили в расплату. Расплата пришла. Разве матросы, солдаты, рабочие, миллионы крестьян, бросившиеся в революцию, как в родную стихию, не мстят за деда, за Бестужева, за Тихонова, не бьются за вольную страну, о которой они тосковали сто лет назад?

Письмо Бестужева Щедрин воспринял как завещание, как призыв, как далекий крик из глубины тяжелого и кровавого столетия: «Не забывайте нас, счастливцы!»

Через несколько дней «Смелый» получил приказ идти в Гельсингфорс. Щедрин перешел на миноносец.

Якобсены относились к нему в последние дни, как к близкому родственнику. Марта весь день возилась на кухне и угощала его простыми и вкусными кушаньями. В приготовление их она вкладывала все свое умение. Петер постоянно беседовал с Щедриным о революции, о прошлых временах, о войне, водил на берег и показывал свою старую шлюпку и сети.

Вместе с Мартой и Петером Щедрин был один раз в гостях у доктора, Якобсены хотели показать ему свою

дочь. Они уже называли ее племянницей Щедрина и гордились этим новым родством.

В доме у доктора все светилось такой удивительной чистотой, какая бывает только в домах северян. Блистали полы, стены, окна, посуда и даже потолки.

Щедрин ничего не понимал в детях. Если при нем говорили, что ребенок красивый, он соглашался, хотя сам никогда не замечал красивых или безобразных детей. Ему казалось, что все дети, за редкими исключениями, похожи друг на друга. И сейчас он охотно согласился с тем, что девочка очень славная.

Щедрина усадили на диван. Девочка села рядом с ним. Она долго смотрела на золотые нашивки на рукаве Щедрина и осторожно царапала их пальцем.

Щедрин заспорил с доктором о том, будет ли революция в Скандинавских странах. Спор прервал испуганный возглас толстой жены доктора.

Пока Щедрин спорил, девочка успела отпороть у него на рукаве одну нашивку. Порола она очень осторожно, маленькими ножницами.

— Дети любят золото, как сороки,— засмеялся доктор.

Девочка смутилась и спрятала голову в коленях у Марты.

Жена доктора надела черепаховые очки, достала шкатулку с иголками и прикрепила нашивку. Клубки разноцветных ниток лежали в шкатулке, как ежи,— со всех сторон из них торчали иглы.

Перед отъездом Петер пришел к Щедрину и сказал, что он вместе с Мартой просят его взять у них на память не только письмо и книгу, но и портрет Анны. Щедрин был растроган. Они дарили ему то, что в их семье переходило из рода в род как величайшая драгоценность.

Из Гельсингфорса командир миноносца Розен был отозван в Петроград. Полувитя списался с корабля по болезни, и командиром «Смелого» назначили Щедрина.

Дни, недели, месяцы проходили в непрерывном напряжении, митингах, спорах до хрипоты, в ожидании неизбежного взрыва против Временного правительства.

События надвигались стремительно. Июльская демонстрация в Петрограде, уход Ленина в подполье, роспуск Временным правительством Исполнительного комитета

моряков Балтийского флота, всеобщая забастовка в Гельсингфорсе. В начале августа немцы прорвали фронт, взяли Ригу, и полки Корнилова двинулись на Петроград.

Часть матросов со «Смелого», под командой Марченко, ушла драться с Корниловым. Миноносец опустел.

Лето стояло безветренное. Оно казалось Щедрину необыкновенно теплым и безмятежным, может быть потому, что вокруг во флоте и в городе бушевала гроза.

Писем от матери не было.

Щедрин часто спускался в машину и вместе с механиками протирал и смазывал холодные части двигателей. Машины, так же как и люди, словно ждали неотвратимых событий.

Осень пришла сырая и теплая. Туманы пропитали насквозь желтые листья, и под тяжестью холодной и уже ненужной влаги листья отрывались от веток и падали в траву и на гранитные мостовые.

Иногда Щедрин ходил в город к Акерману. Акерман из-за больной ноги не мог служить на миноносце, и его, как специалиста по связи, назначили комиссаром телеграфной станции. За столом, заваленным телеграфными бланками, Акерман читал Щедрину по длинным бумажным лентам последние, всегда ошеломляющие известия.

Они выходили вместе на улицу, и Акерман затаскивал Щедрина в маленькое кафе, где всегда было пусто, как на острове среди бушующего океана.

Акерман обрывал бледные цветы фуксий, стоявших на столике, и задумчиво говорил:

— Чем это объяснить, Саша? В такие дни особенно начинаешь ценить пустяки. Девушка на тебя только посмотрит, а ты улыбаешься потом весь день, как идиот. Воздух кажется совсем другим. И все другое — и море, и деревья, и даже миноносец.

— Чем же и миноносец другой?

— «Смелый» похож на брошенную дачу. Всё прибрали, заколотили и уехали. Остался один сторож. Живет он в одиночестве, топит печи, слушает, как тикают ходики, и ждет, когда приедут новые хозяева.

— Однако ты поэт, Акерман,— сказал Щедрин.— Новые хозяева приедут скоро, ты не волнуйся.

— Да я и не волнуюсь, дурак. Меня не это заботит. Доживем ли мы с тобой до настоящего времени или нет —

вот это весьма любопытно. Какую гущу старого придется пробивать и в себе и в окружающих!

Щедрин молча пил крепкий кофе. От сладкого пара слипались ресницы.

— Ты доживешь, я знаю,— сказал Акерман,— а я нет.

— Нога и вообще всё у тебя в порядке?

— Что нога! Черт с ней, с ногой. Даже интересно: ходишь хромой, как Байрон. Дело в том, что слишком быстро перегорают нервы. Каждый день — как год. Поди разберись.

— Ты устал. Поезжай в Питер.

— Я за эту усталость отдам свое прежнее лошадиное здоровье,— ответил Акерман.— Чудесное время! Я ведь не жалуюсь. Это так — лирический разговор около облетающих фуксий.

Они вышли. Туман и сумерки смешались над городом в синюю мглу. Сильно пахло паровозным дымом, кофе и гвоздиками из цветочных магазинов: в те дни покупали только гвоздики — символ революции.

Через неделю вечером на палубе над головой Щедрина загремели торопливые шаги. Судя по звуку шагов, человек хромал. Щедрин догадался, что это Акерман, и вышел ему навстречу.

— Саша! — крикнул Акерман, ковыляя по трапу.— Вот камуфлет! Временное правительство свергнуто. Власть перешла к большевикам.

Он вытащил из кармана измятый бланк телеграммы и начал читать обращение нового правительства ко всем трудящимся.

...В Петроград Щедрин вернулся только зимой, после знаменитого ледяного похода Балтийского флота из Гельсингфорса в Кронштадт. Флот пробивался через тяжелые льды, чтобы не попасть в руки немцам, постепенно занимавшим Финляндию.

«Смелый» шел медленно, держа в кильватер линейному кораблю. Дни и ночи шуршал и трескался около бортов лед, и зеленоватая зернистая вода вспухала за кормой широкими буграми.

Дни были темные, как дым. По всем румбам лежала пасмурность. Глаза искали в ней хотя бы проблеск огня далеких родных берегов, но огней не было. Гудели турби-

ны, пел в широких трубах ветер, ночи пели глухим железным гулом бортов и напирающего льда.

Команда зябла. Отопление работало плохо. Иней медленно пробирался по потолкам и стенам.

Особенно тяжелы были ночи. Их густота была так велика, что дневной свет не мог пересилить ее и отступал. День мерк, едва начавшись.

Изредка над кораблями пролетали стаи ворон. Покружившись над палубами, они летели дальше, как бы отмахиваясь крыльями от грозного зрелища обледенелых кораблей.

Из Кронштадта Щедрин пошел пешком по льду в Петергоф. На «Смелом» осталось всего десять матросов; все остальные записались в сухопутные отряды — драться с белыми.

До Петергофа Щедрин шел вместе с матросами. В Петергофе на берегу матросы оглянулись на Кронштадт, и один из них сказал с веселым отчаянием:

— Прощай, Балтика!

Прошли через безлюдный, засыпанный снегом парк. Уже смеркалось. Около дворцовой решетки ходил красногвардеец — пожилой рабочий с винтовкой. Матросы остановились покурить.

— Красная гвардия,— говорили они с уважением и заходили и с тыла и с боку, осматривая рабочего.— Вольные — и те дерутся, а нам сам черт велел. Будем живы — вернемся на свои коробки.

— Ну, чего глаза распялили, молодые люди! — сказал ворчливо рабочий.— Тут останавливаться запрещается.

Матросы загрохотали, зашумели и двинулись дальше. Щедрин отстал. Он разговорился с рабочим.

— Я петергофский,— сказал рабочий.— Мебельщик, специалист по ценному дереву. А теперь состою в охране. Мы по трое дежурим. Но пока что никто не трогает, только зайцы ночью кругом скачут. Вон, глядите, весь снег по откосу затоптали... Пойдемте в сторожку, погрейтесь, небось идти через лед зябко. В сторожке у меня теплота.

Пошли в сторожку. Там было жарко, влага стекала со стен.

Закурили. Щедрин сказал:

— Это хорошо, что вы дворцы охраняете.

— А как же! — ответил рабочий, сидя на корточках

около печки.— Небось сам Растрелли строил. Большую красоту народ себе отвоевал.

Щедрин покурил, попрощался и ушел на вокзал. Говорили, что на Петроград из Петергофа изредка ходят поезда.

Он вошел в парк и оглянулся: дворец казался вылепленным из легкого снега.

В поезде, набитом матросами и красногвардейцами, Щедрин в два часа ночи добрался до Петрограда.

Петроград был черен, пуст. Щедрин пошел через весь город на Аптекарский остров, где жила его мать. Над громадами домов заунывно шумел ветер. Лязгали поломанные водосточные трубы. Под аркой Главного штаба курили часовые. Они потребовали документы и долго рассматривали их при свете железнодорожного фонаря.

Щедрин перешел Неву. Тускло блестел черный лед. Около Биржи было пусто, лежал на боку занесенный снегом вагон трамвая. На востоке светилось бледное электрическое зарево — там был Смольный.

Щедрин долго шел по Кронверкскому проспекту. Великий город лежал вокруг в снегах и мраке ночи. Он был суров, молчалив. «Судьба этого города,— подумал Щедрин,— будет прекрасна, необыкновенна. Я еще доживу до этого».

В окнах в квартире матери горела свеча. Двор был занесен снегом. На старых березах спали галки. Они проснулись и захлопали крыльями, когда Щедрин остановился у дверей и начал сбивать с сапог примерзший снег.

Сердце у Щедрина замирало. Он постучал.

Послышались медленные старческие шаги. Мать открыла дверь, через цепочку крикнула: «Саша!» — и уронила свечу. Прибежала тетя Юля, сняла цепочку, и через минуту Щедрин уже прижимал к мокрой черной шинели дрожащую седую голову матери, плакавшей навзрыд.

— Ну что ты, что ты! — говорил Щедрин.— Видишь, я жив! Успокойся!

Тетки, переселившиеся к матери, торопливо одевались за ширмами, задавали Щедрину бестолковые вопросы, тоже плакали от радости.

На кухне уже гудел старый погнутый самовар. Мать беспрерывно вытирала глаза, суетилась около стола, все забывала, все смотрела на Щедрина и радостно и недоверчиво: уж не обманывает ли он и не надо ли ему завтра же отправляться на какой-нибудь новый фронт?

За ночь ветер засыпал всю палубу «Смелого» лепестками бузины. Щедрин вышел, посмотрел на палубу и вспомнил спег, зимнее плавание в Балтике и ледяной поход.

«Смелый» стоял у крутого берега реки Ковжи. По берегу тянулся заглохший деревенский сад с поломанным забором. Заросли высокой крапивы все время шевелились, и из них выглядывали белоголовые дети.

— Ша-а-а! — кричал на них, как на воробьев, матрос-эстонец Винер.

Дети, прыская от смеха, приседали в крапиве и замолкали. Потом слышался плач. Это значило, что кто-нибудь из ребят обстрекался.

— Пустите их на палубу, Винер,— сказал Щедрин,— пусть посмотрят... Эй, ребята! — крикнул он.— Валите!

Дети выползли из крапивы и собрались у сходней, но дальше они идти боялись и так и стояли около сходней, молча разглядывая миноносец.

«Смелый» шел из Петрограда на Волгу, на колчаковский фронт. Самая трудпая часть пути — Мариинская система — осталась позади. Мучения со шлюзами кончились. Впереди были Белое озеро, Шексна, Волга.

Дети сопели на берегу и не спускали глаз с миноносца. Впервые на их реке вместо запыхавшихся грязных буксиров появилось длинное и грозное морское чудовище. «Смелый» на реке был гораздо выше, чем на море,— его временно разоружили и облегчили от балласта.

— Ребята,— спросил Щедрин,— где тут деревня Мегры?

Ребята переглянулись и сделали было попытку бежать.

— Стой! — сказал Щедрин.— Кто посмелей — отвечай!

Дети вытолкнули вперед девочку в рубахе до пят.

— За бугром,— сказала девочка потупившись, и казалось, что она вот-вот заплачет.

— Где «за бугром»?

— Тута.

— А ну-ка, ведите меня все! — сказал Щедрин и сошел па берег.

Дети, сверкая голыми пятками, побежали вперед. За околицей начался лес, заросший орешником.

Дети бежали, оглядывались на Щедрина, спотыкались. Иные ушибались и хныкали, но продолжали бежать, больше всего боясь отстать и пропустить интересное зрелище.

Деревня Мегры стояла за лесистым холмом, на берегу небольшого озера. Дети открыли околицу, пропустили Щедрина, но в деревню не пошли. Деревня была чужая, из окон выглядывали незнакомые сердитые бабы.

— Где здесь живут Тихоновы? — спросил Щедрин косматого деда с клюкой, гревшегося на солнышке около колодца.

— Да Тихоновых тут, сердешный, четыре семьи. Тебе каких?

Щедрину пришлось объяснять деду, что ему нужны те Тихоновы, где была когда-то, лет восемьдесят назад, бабка Авдотья.

— Ишь куды загнул! — обрадовался дед.— Твое счастье, что я тебе встретился. Мне самому восьмой десяток пошел. Я старый ворон, даром не каркаю. Авдотья твоя померла, милый, когда меня не было на свете, в древнем возрасте померла.

— А кто из ее Тихоновых здесь живет? — спросил Щедрин.

— Да почитай, кроме Насти, никто и не живет. Одна Настя с дочкой. Муж у нее убитый с ероплану на германской войне. Вон она белье на озере полощет. Ты туды и иди, иди, милый.

Щедрин пошел к Насте. Она звонко била вальком серое белье и кричала маленькой девочке лет пяти:

— Беги домой, нос утри!

— Вы Настасья Тихонова? — спросил Щедрин.

Женщина живо обернулась и, вытирая руки о подол, испуганно посмотрела на Щедрина.

— Флотский,— сказала она, успокоившись.— А чего надо?

— Поговорить надо,— ответил Щедрин.— Да тут неудобно.

— А вы идите в избу,— сказала Настя.— Я сейчас уберусь и приду... Катька! — крикнула она девочке.— Проводи дядю в избу.— У-у-у, бессовестная!

«Бессовестная» Катька, сопя и выставляя вперед круглый живот, торжественно повела Щедрина в избу. В избе сидел и чесался старый лохматый пес. Он с недоумением уставился на Щедрина, чихнул, поднял густую пыль и снова начал свирепо чесаться.

— Это Каштан! — хрипло сказала Катька.— Он больших не трогает. Смирнай.

Вошла Настя. Щедрин стоял. Настя вытерла подолом лавку и пригласила сесть.

— Ну, давайте поговорим. А я все думаю, кто вы такой. Уж не с фронта ли?

— Нет,— ответил Щедрин,— я не с фронта. Была у вас в семье бабка Авдотья и был у нее сын, солдат Семен Тихонов?

— Был,— сказала Настя.— Мне дед рассказывал: запороли насмерть в солдатах где-то в чужой земле.

— Был я на его могиле,— сказал Щедрин.— Это далеко, в Финляндии, на островах.

— Скажи, какой ужас! — вздохнула Настя и покачала головой.— Куды погибать загнали! А моего-то убили, сердешного, на фронте, прямо бомбой убили с ероплана, да-а-а.— Настя вытерла кончиком платка глаза и спросила: — А почему вы тем солдатом интересуетесь?

— Деда моего он спас от смерти,— сказал Щедрин и слегка покраснел.

— Скажи пожалуйста! — покачала головой Настя.— Хороший, значит, был человек.

Щедрин рассказал, что он здесь случайно, с миноносца, идущего на Волгу, что из письма одного офицера, умершего в один год с Семеном, он узнал, откуда родом Тихонов, и зашел кстати проведать. Все равно на миноносце делать нечего — надо сидеть, дожидаться буксирного парохода.

— У вас одна дочка? — спросил Щедрин и поглядел на Катьку.

Та стояла у печки, скребла одной ногой другую и смотрела на Щедрина.

— Нет. Мальчик есть еще у меня, так он в Петергофе. Обучается столярному делу у нашего одного, мегринского. Двенадцати лет мальчик. Характером тихий, в отца, а нравом очень смышленый... А ты в Петергофе небось будешь? — спросила Настя, переходя на «ты»,— это означало, что Щедрин уже признан своим человеком.

— Если не убьют, то буду.

— Может, найдешь сынка-то? Найди, навести, сделай милость! Я тебе и адрес скажу.

Щедрин записал адрес: Алексей Тихонов, Дворцовый переулок, у столяра Никанора Никитина.

Щедрин собрался идти, но Настя не отпускала его без чая.

— Чай, правда, морковный, но ты испей, будь мне другом,— сказала она ласково.

Настя дала Катьке звонкий шлепок, и девочка вылетела на улицу — к соседям за сахаром.

Щедрин видел через низкое оконце, как Настя ставила во дворе позеленевший маленький самовар и раздувала его подолом. Потом она ушла за перегородку; там послышался плеск воды и вздохи.

Настя вышла умытая, прибранная, в новом ситцевом платье. Она застыдилась, раскраснелась и, накрывая на стол, шуршала вокруг Щедрина накрахмаленной розовой юбкой.

Чай пили долго, по-деревенски, высасывая из блюдец желтый кипяток. Настя с хрустом откусывала сахар крепкими белыми зубами, и Щедрин невольно ею залюбовался.

Уходить ему не хотелось. Настя проводила его до околицы, не боясь завистливых и любопытных баб, выглядывавших из окошек.

У околицы они попрощались. Она протянула ему шершавую руку, опустила глаза и неожиданно сказала вполголоса:

— Может, свидимся. Вы бы мне письмо написали.

Щедрин пообещал написать письмо и вышел за околицу. Около леса он оглянулся. Настя стояла, прикрыв платком подбородок, и смотрела ему вслед. Он помахал ей рукой. Она не ответила — стояла все такая же неподвижная, окаменелая.

В лесу Щедрина дожидались дети. Торопясь и вытирая носы рукавами, они снова побежали вперед, разбрасывая песок голыми пятками. Они довели Щедрина до сходней и остановились.

Через час подошел буксирный пароход и начал осторожно, покрикивая гудком, выводить миноносец на фарватер.

Перед вечером «Смелый» шел уже по Белому озеру. Оно было действительпо белое — слюдяное и бледное. На низких его берегах стояли, как маяки, колокольни сельских церквей. За колокольнями опускалось в леса громадное чистое солнце.

Неожиданно с берегов долетел запах вянущих полевых цветов. Там уже косили сено, и бабы пели пронзительно и заунывно.

Миноносец шел по Шексне на юг, а в это время в Петергофе, в тесной квартирке мебельщика Никанора Никитина, происходил переполох.

Приятель Никитина — старый и рассудительный мебельщик Прохор — заболел и прислал сказать, чтобы Никитин поехал за него доделать книжные полки в Петроград, на Кронверкский проспект.

Дело было обычное. Никитину часто приходилось работать на дому у заказчиков, но сейчас заказчик был необыкновенный. Даже бестолковая жена Никитина — Матрена — и то его знала. Имя его было знакомо всей России, Европе, пожалуй всему миру,— имя одного из величайших писателей передового человечества.

Никитин поднялся в пять часов утра, всех разбудил, долго брился, поссорился с Матреной и, наконец, сердито сказал:

— Алешка со мной поедет. Подручным. Небось в дом его пустят. Пусть поглядит на настоящего человека.

Алеша Тихонов побледнел и одернул вылинявшую ситцевую рубашку.

Матрена крикнула:

— Ишь чего придумал, старый черт! Гляди, чтоб тебя одного-то пустили. Не видали твоих подручных!

— Тихо! — сказал Никитин.— Слово мое окончательное!

Матрена плюнула и сказала в пространство:

— Одежи у него нет подходящей.

— Поедет в чем ходит.

Но все-таки Матрена рывком выхватила из старого, рассохшегося комода новую ситцевую рубаху для Алеши и разгладила ее на подоконнике. Алеша торопливо натянул ее. Рубаха была еще горячая и обжигала спину.

— Куда торопишься! — крикнула Матрена.— Шею умой сначала, ходишь тут обормотом. Нет на вас настоящей погибели, на обоих!

За чаем Матрена, не глядя на мужа, говорила Алеше:

— Ты за им смотри. Он знаешь какой! Чуть что, сейчас язык распустит и пойдет чесать, и пойдет трепать, изговорится весь вконец. На одном разговоре душа держится.

— Молчи! — сказал Никитин.— Речи свои в себе держи, имей острастку.

Когда Никитин и Алеша уехали, Матрена побежала к соседкам и, гордая, раскрасневшаяся, рассказала, что ее

изверга вместе с Алешкой вызвали на работу к знаменитому человеку. Соседки завистливо вздыхали.

— Да что ты, милая! — говорили они нараспев.— Страх-то какой! Да неужто он так-таки и поехал с мальчонкой? Ему, видать, все нипочем, он у тебя отчаянный мужчина.

А между тем «отчаянный мужчина», шагая по заросшим травою торцам, по безлюдным петроградским проспектам, так охрип от волнения, что с трудом разговаривал даже с Алешей.

— Что-то голос у меня стал хриповат, ты не слышишь? — тревожно спрашивал он Алешу.

— Сип у вас сильный, Никанор Ильич,— отвечал Алеша.

Чтобы прочистить голос, Никитин зашел в пивную и выпил кружку кислого пива, похожего по вкусу на квас.

Алешу Тихонова привезли в Петергоф полтора года назад. Ему в Петергофе очень нравилось. Мальчик он был боязливый, на все смотрел долго и внимательно: на серое море, на дворцы, на матросов, хлопавших клешами по пустым петергофским улицам. Изредка, неизвестно откуда, доносилась стрельба. Один раз даже забухали пушки, и Алеша робко спросил Никитина, что это значит. Никитин потянул его за нос и ответил:

— Вот для таких, как ты, стараемся, для несмышленышей.

Объяснение было туманное, но Алеша главное понял, а потом путем расспросов выяснил и все остальное: кто такие большевики, чего хочет Юденич, кто пролетариат и кто буржуазия.

Никитин учил мальчишку столярному делу и, за неимением собеседника, часами разглагольствовал с ним о старинной мебели, о различных свойствах дерева, о политуре и о знаменитых мастерах, которые — вечная им память! — давно уже померли. Никитин вспоминал золотильщиков, мастеров по бронзе, лепщиков, паркетчиков. Он знал тайны многих ремесел и старался втолковать их Алеше.

Алеша слушал внимательно. Никитин давал ему книжки — то Пушкина, то Гоголя, то малоизвестного Крестовского, заставлял читать и потом придирчиво требовал, чтобы Алеша рассказывал ему содержание прочитанного. Но Алеша предпочитал рисовать. Кроме цветных карандашей,

у него ничего не было, но этими карандашами мальчик делал рисунки, приводившие Никитина в восторг.

— Быть тебе Репиным! — говаривал Никитин.— Рука у тебя сама рисует, без всякого умственного напряжения. Учить тебя, дурака, надо.

На Кронверкском проспекте Никитин и Алеша долго стояли перед высоким серым домом. Никанор Ильич поглядывал на его широкие окна и покашливал. Потом, решившись, вошел в подворотню и спросил какого-то человека, подметавшего двор, где живет знаменитый писатель.

— Налево, первая дверь,— сказал человек и даже не обернулся.

— Нахальный человек, малообразованный,— сказал Никитин Алеше, когда они подымались по лестнице.

Позвонили. Никитин и Алеша плохо помнили, кто им открыл, кто их провел в большую комнату, где не было никого и по стенам стояли полки с книгами. Сотни книг, тысячи, может быть десятки тысяч, стояли на полках, лежали на столах, на стульях, на подоконниках и прямо на полу. Алеше захотелось тут же сесть на корточки и рассматривать их с утра до вечера, хотя бы целый год.

Никитин огляделся и дотронулся до полки, начатой Прохором. Она была из красного дерева. Осталось только ее отполировать.

Никитин начал работать. Сначала руки у него дрожали и при каждом шорохе в соседней комнате замирало сердце, но потом от знакомой и любимой работы он успокоился и на постоянные вопросы Алеши: «А сам-то выйдет?» — отвечал:

— Откуда я знаю! Что я, бог?

Неожиданно дверь отворилась, и в нее, сутулясь и тяжело шагая, вошел высокий седоватый человек с простым курносым и добрым лицом — настоящий дядя Василий, знакомый и Никитину и Алеше водолив с шекснинской баржи. Сутулый человек был одет в серый тонкий костюм, лежавший на нем свободно и мягко.

Он громадной рукой пожал руку Никитину, измазанную политурой, провел по голове Алеши от затылка ко лбу, отчего волосы сразу взъерошились, взглянул на полировку и сказал, покашливая:

— Великолепно работаете! Великолепно!

Алеша с испугом смотрел на громадного человека: это-то и был знаменитый писатель!

Писатель достал из кармана коробку длинных папирос, раскрыл и протянул Никитину. Алеша смотрел во все глаза. Никанор Ильич деликатно, тремя пальцами, взял папироску и закурил, хотя не курил никогда в жизни,— неудобно было отказать такому человеку.

— Тебя как зовут, пузырь? — спросил писатель Алешу.

— Алексеем,— сердито пробормотал Алеша.

— Алексей — человек божий, зашитый в рогожу,— серьезно сказал писатель, но серые его глаза добродушно, по-стариковски улыбались,— гвоздиком прибитый, чтобы не был сердитый. Однако работайте. Я вам мешать не буду.

Он ушел. Из соседней комнаты долго погромыхивал его глухой бас. Он что-то объяснял кому-то и говорил:

— Не мне вас стыдить, не мне. Писатель должен знать все сорта яблок, раз о них пишет. Вот, скажем, грушовка или аписовка. Чем разнятся? У меня на Оке был друг садовник, большой души человек...

Но тут сразу заговорило несколько голосов, и слов писателя уже нельзя было разобрать.

Алеша в оцепенении смотрел, как работает Никитин. Мастер делал чудеса. Еще ни разу Алеша не видел, чтобы дерево покрывалось такой тонкой полировкой. Закатное солнце косо падало в комнату, и в коричневой глубине дерева тлели золотые волокна. Дерево казалось погруженным в темную, но прозрачную воду, и сквозь эту воду было видно его строение — свободное, волнистое и сложное.

Снова вошел писатель. Он долго расспрашивал Никитина о разных тонкостях мебельного дела. Алеша с испугом замечал, что Никанор Ильич все смелее разговаривает с писателем и вот-вот, как говорила Матрена, сорвется и начнет «чесать и трепать» без конца.

— Вы ученый человек,— сказал Никанор Ильич.— Объясните мне, дураку: чем это дерево хуже драгоценного камня? Игра есть, блеску — сколько хочешь, цвет лучше, чем у граната. Однако это дерево показывает себя только при свечах. Электричество на него не действует.

Писатель слушал, хмурился и улыбался.

— Ежели бы у вас были свечи и в комнате было потемней, я бы вам показал настоящий вид этого дерева,— хвастливо сказал Никанор Ильич.

— Чудесно, можно показать! — ответил писатель, подошел к окнам и спустил шторы.

Стало почти темно. Писатель ушел и вернулся со свечкой.

— А ну-ка, светите! — сказал он, и в глазах его Алеша увидел такое же веселое любопытство, как и у своих приятелей-ребят.— Что получится в этом разе?

— В этом разе,— сказал Никанор Ильич,— получится полное превращение.

Он зажег свечу и поставил ее на полку. Дерево сразу же изменилось. Оно казалось теперь бездонным и черным. Пламя свечи плавало в его глубине, как маленькое туманное солнце. Оно было окружено ореолом и зажигало вокруг себя волокна. Они светились багровым винным огнем.

— Моцарт и Сальери,— сказал неожиданно Никанор Ильич, и Алеша затрясся от испуга: предсказание Матрены сбывалось.— Читал я двадцать раз эту пьесу, никак не мог начитаться. Полирую такое вот дерево, а сам вспоминаю. Очень навязчивые слова: «Звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался — слезы невольные и сладкие текли».

Писатель ухмыльнулся в усы и позвал из соседней комнаты каких-то людей. Оп показывал им дерево при свете свечи, любовался и говорил глухим басом отрывистые слова о прелести подлинного искусства — будь то литература или полировка мебели.

Алеша слушал как в тумапе. Почему-то разговор перешел на архитектуру, и Никанор Ильич сказал громким и развязным голосом, что Воронихин перед Растрелли — мальчишка и щенок. Все зашумели, а писатель держал Никанора Ильича за руку и говорил сердясь:

— Это вы, батенька, хватили не туда. А Горная академия — разве плохо? А Казанский собор?

— Тяжести много. Здапие должно легко и точно стоять на земле,— ответил Никанор Ильич.

Писатель засмеялся, взял Никанора Ильича за плечи и сильно встряхнул.

Разговор вдруг зашел об Алеше, и мальчик не знал, куда деваться. Никанор Ильич начал «трепать» всем про его рисунки и повторил свои любимые слова:

— Рука у него сама рисует, без всякого умственного напряжения.

— Вот вам и ученик,— сказал писатель, обращаясь к худому человеку с редкой бородкой и сердитыми глазами.— Все вы позапирались в своих мастерских, учеников

не создаете. В стране — революция, а вы — как кроты. А как бывало у старинных художников? Какая вокруг них вырастала замечательная семья учеников! Прекрасная была традиция. Плодотворная и великая. Надо ее возвратить нашему времени. Скупцы вы, прабабку мою напоминаете. Она ассигнации закапывала в землю, чтобы другим не достались. Деньги все сгнили, краска слезла. Она их сушила потом на печке, да что толку: никто их не брал.

Худой человек строго посмотрел на Алешу.

— Попробую,— сказал он.— Возьму его к себе в академию.

— Давно пора,— сказал писатель так сердито, как будто он говорил об Алеше этому художнику уже целый год.— Великолепные возможности упускаете.

Алеша не помнил, как они с Никанором Ильичом ушли от писателя. Над безлюдным Петроградом стояла белая ночь, многоцветные воды тускло поблескивали, и на севере, за черными кущами островов, яснела заря.

— Будешь ты человеком, Алексей,— сказал Никанор Ильич.— Будешь! Слово мое окончательное!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В Ботаническом саду на Аптекарском острове небольшой фотографический аппарат был наведен на голую ветку яблони. Стоял март, на ветке едва заметно завязывались почки.

Через каждые три часа аппарат щелкал и делал снимок. Так он щелкал весь март, апрель и май, пока ветка не расцвела.

Алексей Тихонов часто заходил в Ботанический сад. В стволах деревьев, в рисунке листьев, в разросшихся в беспорядке ветвях он находил разнообразие форм и красок, помогавшее ему работать над своими картинами.

Он сдружился, как с человеком, с маленьким черным аппаратом, спрятанным в листве. Аппарат жил одной жизнью с растениями. Он проводил с ними и дни и ночи, когда в оранжереях было так тихо, что можно было услышать шорох земли, всасывающей падавшие с листьев капли. Когда аппарат убрали, Тихонов почувствовал сожаление, будто из оранжереи увели маленького зверя, жившего в траве и никому не причинявшего зла.

Сотрудники Ботанического сада показали Тихонову снятую аппаратом пленку. За пять минут они пропустили ее через проекционный фонарь. Тихонов смотрел на белый маленький экран и видел, как почка на глазах росла, набухала, покрылась клейким соком, лопнула и из нее, потягиваясь, как после сна, распрямляя измятые лепестки, расцвел белый цветок и вдруг весь задрожал от упавшего на него солнечного света.

Когда Тихонов думал о долгих годах, прошедших над его страной и над его собственной жизнью, он вспоминал этот как будто внезапно, но на самом деле медленно расцветший цветок.

Тихонов знал, что годы шли с закономерной, давно вычисленной неторопливостью, что страна менялась с каждым месяцем, и с каждым месяцем в сознание входили новые мысли, желания и цели, определявшие лицо иного человека.

Но вместе с тем ощущение прожитых лет было таким, будто стояло все одно и то же утро и до полудня было еще далеко. Время казалось единым, не раздробленным на скучные отрезки лет. Длился монолитный и величавый год революции.

А между тем у Тихонова на висках уже пробивалась ранняя седина, а у дряхлого Никанора Ильича тряслись руки. Он все чаще отрывался от работы и сидел неподвижно, жалуясь на сердце.

Бросать работу он не хотел.

— Помирать уже время,— говорил он,— а я, видишь, работаю. Упираюсь. Почему? Очень просто: я считаю, что должен отблагодарить новую жизнь своей работой, оставить молодым поучительные и богатые подарки.

И он оставлял, старик, эти подарки. Они были в тонкости отделки дерева, в вещах, не уступавших работам лучших мебельных мастеров девятнадцатого века.

— Я самоучка,— говорил он.— Мне бы до хороших образцов дотянуться — и то победа. А вам все дано, молодым,— с вас народ взыщет побольше, чем с нас.

Знаменитый писатель умер. Умер и учитель Тихонова — художник с сердитыми глазами. Умерла и мать Тихонова, Настасья.

Он поехал в Мегры, когда получил письмо от нее с просьбой «приехать, похоронить старуху».

Настасья лежала в избе прозрачная и молчаливая, улы-

балась, и зубы у нее блестели, как в молодости. Еще при жизни она рассказала Тихонову, что почти двадцать лет назад приезжал в Мегры какой-то флотский, расспрашивал про деда Семена, запоротого насмерть, и обещал навестить в Петергофе Алешу.

— Был он у тебя? — спрашивала она тревожно.— Говори: был?

— Нет, мать, не был.

— Как же так? — спрашивала Настасья с недоумением.— Такой высокий, ладный. Я об нем сколько лет все помнила, все тужила. Неужто убили его на фронте?

Она заплакала.

На похороны приехала из Череповца и сестра Тихонова Катя — высокая смуглая девушка. Она работала учительницей, но хотела переменить профессию и стать инструктором по спорту. Она брала призы на гребных состязаниях. Любовь к воде и лодкам была у нее ревнивая и неистовая.

Тихонов взял ее с собой в Ленинград, и через месяц она уже работала на водной станции на Крестовском острове.

Тихонов жил все там же, в Петергофе, в домике Никитина. Ленинград сиял чистотой новых домов. В мраморе, в зеркальных стеклах отражался величественный город, сбросивший прежнюю хмурость, но Тихонов полюбил стариков, не хотел их обижать и по-прежнему жил у них в мезонине.

Где бы он ни был — в Севастополе или Баку, во Владивостоке или на Волге,— он всегда знал, что вернется в этот домик, заваленный холстами, подрамниками, кусками ценного дерева, пропахший красками, спиртовым лаком и геранью,— Матрена разводила ее с неизменным упорством.

Деревянные платформы Балтийского вокзала потемнели от росы. Была белая ночь. Электрические поезда на Петергоф ходили без огней. Вагоны мягко гремели на стыках, боясь спугнуть тишину дачных поселков, нарушить безветрие, давно стоявшее над взморьем.

Тихонов спешил в Петергоф. В газетах было опубликовано сообщение о большом празднике искусств в Ленинграде, назначенном на 24 июня. Тихонов хотел порадовать этим сообщением старика Никитина.

Сидя у окна вагона, Тихонов в десятый раз пытался прочесть это сообщение в газете, но свет был очень слаб.

Прочесть можно было только напечатанное крупным шрифтом. Тихонов отложил газету и взглянул в окно. Там простиралась неясная и высокая ночь. Единственная звезда преодолела сумрак и медленно пылала над высокими зарослями садов.

«Должно быть, Юпитер»,— подумал Тихонов. Он представил себе ночь над Финским заливом, когда во мгле виднеются только три огня: белый огонь маяка в Кронштадте, пепельный огонь Юпитера и тихий золотой блеск на куполе Исаакиевского собора, освещенном зарей. Заря горела тут же, за краем земли. Утро стояло рядом, и жители верхних этажей ленинградских домов видели его всю ночь из своих окон.

...Старик Никитин не спал. Он окликнул Тихонова из открытого окна. Старик работал: полировал крышку от старого рояля.

— Газету привез, Алеша? — спросил Никитин.— Говорят, там про наш праздник уже напечатано.

Тихонов особенно любил старика за то, что все относившееся к архитектуре, скульптуре и украшению зданий старик считал своим личным делом. Великий зодчий Захаров, строитель Адмиралтейства, или скульптор Андреев были для него такими же своими и понятными людьми, как и знакомые бронзировщики и плотники.

Старика объединяло с этими людьми знание дела, верный глаз, любовь к материалу — будь то тонкослойное дерево, тертая краска или кусок хорошей звонкой бронзы.

«Должно быть, в этом и заключается преемственность культуры,— решил Тихонов,— в этом тысячелетнем содружестве мастеров, кто бы они ни были — слесари, плотники, зодчие или поэты».

Никанор Ильич попросил Тихонова прочесть сообщение о празднике. Тихонов прочел его вслух, сидя на подоконнике, и простые слова сообщения показались ему созданными для того, чтобы быть высеченными на камне:

«Социалистическая культура, завоеванная кровью и созданная героической работой трудящихся Союза, уверенно идет по пути непрерывного расцвета. Социалистическая эпоха требует создания монументальных памятников и художественных произведений, которые могли бы запечатлеть и передать потомкам ее величие и ее героическую сущность. Создание этих памятников искусства даст

применение разнообразным талантам, которыми так богаты народы, населяющие Союз.

Наш город — город Ленина — является не только колыбелью революции и центром передовой индустрии, но и городом знаменитых мастеров искусства.

Закон усвоения нашим обществом культурного наследства имеет в нашем городе наибольшие основания для своего выражения. Достаточно вспомнить имена хотя бы одних только зодчих — строителей города — Баженова, Растрелли, Воронихина, Захарова и других, чтобы ясной стала мысль, что именно здесь, в городе Ленина, молодая социалистическая страна может учиться законам мастерства у славных художников прошлого.

В связи с тем, что в Ленинграде открываются академии, готовящие мастеров архитектуры, скульптуры, живописи и гравюры, мастеров художественной обработки камня, дерева и металла, фарфорового и гранильного дела, Ленинградский Совет решил устроить в Ленинграде 24 июня большой народный праздник. Основная мысль, которой должен быть отмечен этот праздник, заключается в том, что социалистический город является не только местом расселения людей и средоточием государственных учреждений, общественных организаций и заводов, но и самостоятельным произведением искусства — мощным фактором в деле художественного воспитания масс».

— О чем разговор идет в этом сообщении, как я понимаю? — сказал Никанор Ильич.— О благородстве души человеческой. Я давно примечаю, что народ разный бывает, в полной зависимости от того, что он вокруг себя видит.

— Благородство твое где,— сказала из угла Матрена,— когда заказчик уже телеграмму прислал, тревожится, а крышка у тебя не готова!

— Ничего с ним не сделается, с заказчиком. Заказчик мне все простит за эту крышку. Он у меня моряк, разнообразный человек. Говорить с ним, прямо скажу, затруднительно. Я ему про черное дерево, а он мне про климат. Я ему про темный лак, а он мне про климат. Замучил меня с этим климатом!

— А что с климатом? — спросил Тихонов.

— А с климатом дело сложное. Ежели оно ему удастся, мы будем самой счастливой нацией в мире. Стоит у

него в кабинете срез дуба; лет этому дубу четыреста, если не больше. Ну, понятно, на дубе годовые слои. По-нашему это называется «древесный глаз». Одни слои толще, другие тоньше, есть и совсем тонкие, не шире нитки. Вот он и спрашивает: «Что ты перед собой видишь, Никитин, мудрый человек, всезнающий мебельщик?» — «Слои как слои, говорю. Дубовый слой тоже имеет красивый вид, ежели его с умом отполировать». А он начинает спорить: «Не в полировке дело, а в точных выводах. Я, говорит, немного и метеоролог и ботаник. Каждый год слой нарастает в зависимости от влаги. В дождливое лето слой растет больше, в засушливое — меньше, и по этому дубу можно рассказать на пятьсот лет назад, какой климат его окружал».— «А к чему вам это знать? — спрашиваю.— Есть ли из этого хоть самая малая польза для нашего брата — человека?» — «Есть, говорит, только рассказывать долго. Пока скажу тебе одно: прочли мы по этим срезам и по другим всяким приметам чудесную вещь; а вещь эта заключается в том, что были времена, когда у нас стоял климат теплый и веселый, как на острове Цейлоне. Леса из магнолий росли кругом по берегам Финского залива. Мы, говорит, будем стараться этот климат вернуть. Сделать это, говорит, можно, и нет в этом никаких чудес».

— Помереть не дадут спокойно! — пробормотала Матрена.— Герани им не хватает, старым дуракам, давай им магнолию!

— Герань против магнолии — дрянь! — рассердился Никанор Ильич.— У герани лист надоедливый, шерсткий. Ты со мной не заводись, старая!

Старики заспорили. Тихонов попрощался и ушел к себе в мезонин. Из окон был виден залив. Птица зашевелилась в сырых ветвях и осторожно крикнула, будто кого-то позвала. Часы внизу долго шипели и наконец пробили два медных удара.

Тихонов постоял в раздумье у окна, потом осторожно спустился и пошел в дворцовый парк.

Спать не хотелось. Читать в рассеянном блеске белой ночи было нельзя, так же как нельзя было зажигать свет. Электрический огонь казался крикливым. Он как бы останавливал медленное течение ночи, уничтожал тайны, свернувшиеся, как невидимые пушистые звери, в углах комнаты, делал вещи неприятно реальными, более реальными, чем они были на самом деле.

В аллеях застыл зеленоватый полусвет. Поблескивали золоченые статуи. Фонтаны ночью молчали, не было слышно их быстрого шороха. Падали только отдельные капли воды, и плеск их разносился очень далеко.

Каменные лестницы около дворца были освещены зарей; желтоватый свет падал на землю, отражаясь от стен и окон.

Дворец просвечивал сквозь неясную темноту деревьев, как одинокий золотой лист светится ранней осенью сквозь гущу еще свежей и темной листвы.

Тихонов пошел вдоль канала к заливу. В канале меж заросших тиной камней плавали маленькие рыбки.

Залив был чист, спокоен. Над ним лежала тишина. Море еще не просыпалось. Только розовый отблеск воды предвещал близкий восход солнца.

Океанский пароход шел к Ленинграду. Заря уже горела в его иллюминаторах, и легкий дым тянулся за кормой.

Пароход затрубил, приветствуя великий северный город, конец трудного морского пути. Далеко в Ленинграде, где уже светился бледным золотом шпиль Адмиралтейства, ему ответил протяжным криком другой пароход.

В канале стояли шлюпки. На них, укрывшись брезентом, спали молодые матросы. Тихонов видел их румяные от сна лица, слышал изредка легкий храп. Предрассветный ветер задувал с моря и шевелил листья над головой.

Тихонов прошел на берег. Никого не было, только в самом конце пристани на деревянной скамейке сидела какая-то женщина.

«Что она здесь делает в такой час?» — подумал Тихонов. Черный облезлый кот осторожно ходил по сырому настилу пристани и после каждого шага брезгливо тряс лапой.

Тихонов остановился у перил и заглянул в воду. Кот тоже заглянул, и глаза его сразу почернели: около свай шевелила хвостами стая серебряных длинных рыб.

Женщина встала и пошла к Тихонову. Он смотрел на нее, и чем ближе она подходила, тем все яснее, как из тумана, звучали легкие шаги, и уже была видна ее смущенная улыбка. Маленькая шляпка бросала тень на ее лоб, и поэтому глаза казались очень блестящими. Шелковое платье цвета морской воды поблескивало и шуршало, и

Тихонов подумал, что женщине, должно быть, холодно,— предрассветный ветер, как бы он ни был тепел, всегда несет с собой запах снега.

Женщина подошла. Тихонов взглянул ей в лицо и догадался, что это иностранка.

— Скажите...— произнесла женщина медленно, и легкая морщинка появилась у нее между бровей.— Скажите, скоро будет пароход в Ленинград?

Она, видимо, с трудом подбирала слова и выговаривала их с сильным акцентом.

— Через два часа. Поездом вы доедете скорее.

Женщина отрицательно покачала головой:

— Поездом нет. С поезда я не могу искать в Ленинграде дорогу домой.

— Почему вы здесь в такое время? — спросил Тихонов.

— Я опоздала на последний пароход. Очень глупо. Я сидела всю ночь здесь. Только я и вот этот страшный кот.— Она показала на черного кота и засмеялась.

— Вы француженка? — спросил Тихонов и покраснел: вопрос показался ему бестактным.

Женщина подняла голову. В твердом овале ее лица и маленьком подбородке было одновременно что-то французское и северное.

— О нет! — сказала она протяжно.— Я шведка. Но я говорю по-французски.

Тихонов смотрел на нее, но думал о себе. Он старался представить себя со стороны.

Несмотря на свой возраст, он чувствовал себя мальчишкой и страдал в обществе взрослых. Его сверстники были уже маститые люди и по внешности и по своему душевному складу. Тихонов же еще плохо верил в свою талантливость и любил все, что любят мальчишки: рыбную ловлю, поезда, вокзалы, лыжи, пароходы и путешествия.

Перед людьми, равными ему по возрасту, он часто терялся, чувствовал себя связанным, знал, что он совсем не такой, каким его представляют другие. Когда он читал о себе в газетах или слышал разговоры товарищей-художников о своей одаренности, он оставался равнодушным, как будто речь шла не о нем, а о его однофамильце или двойнике.

Он знал, что до сих пор его лучшая картина еще не

написана, и потому искренне удивлялся шуму, который все чаще подымался вокруг его вещей.

Сейчас он подумал о себе потому, что с особенной силой ощутил себя мальчиком. Он растерялся перед незнакомой женщиной, бывшей моложе его.

Женщина тоже смутилась и, наклонившись, чтобы спрятать лицо, гладила облезлого кота. Кот вопросительно смотрел на нее и мяукал.

Взошло солнце. Сады начали разгораться, сбрасывая рассветную дымку. Живой свет пробежал, как ветер, наискось по лицу женщины, блеснул в ее глазах, осветил ресницы и нервную руку, сжимавшую перила.

Залив покрылся полосами света и тумана. Далеко по воде катился глухой крик парохода, подходившего из Ораниенбаума. Пароход шел в Ленинград.

Худощавый хромой смотритель пристани вышел с удочками на дощатый пастил. Он поздоровался с Тихоновым и спросил:

— Что это вы, Алексей Николаевич, так рано собрались в Ленинград?

— Нет, я провожаю,— ответил Тихонов.

Смотритель развернул удочки, сел, свесив ноги с пристани, и начал удить. Он изредка посматривал на Тихонова и незнакомую женщину и сказал про себя со вздохом:

«Мысль о потерянной молодости угнетала его дряхлое сердце».

У него клюнуло, он выругался и вытащил маленькую рыбку.

Подошел пустой пароход. Тихонов проводил женщину до сходен. Она протянула ему руку и рассеянно посмотрела в глаза.

— Прощайте,— сказала она и отвернулась.— Благодарю вас.

— Граждане пассажиры,— сказал с мостика капитан,— пора!

Она взошла по сходням. Пароход сердито закричал, медленно попятился и повернулся носом в море. Высокие вехи блестели на воде.

Тихонов увидел незнакомку на палубе. Ветер обтягивал платье около ее высоких ног и хлопал кормовым флагом.

Тихонов пошел к берегу. Около смотрителя он оглянулся. Женщина все еще стояла на палубе.

— Какое лето! — сказал смотритель.— Я еще никогда не видел такого лета па Балтике. Сплошное солнце.

Тихонов согласился, петоропливо отошел от пристани, но когда скрылся за деревьями парка, быстро пошел к вокзалу.

Первый поезд на Ленинград отходил в шесть часов. Тихонов ждал его, волнуясь и глупо падеясь, что поезд отойдет раньше.

В Лепинграде он взял такси и приказал везти себя на Петергофскую пристань. Город пестрел полосами утреннего света и теней. Сторожа поливали в скверах цветы. Медленный дождь падал из брезентовых рукавов, разлетаясь под ветром. На мостах в окна машины бил невский ветер.

У пристани стоял знакомый пароход. Он был пуст. Босой матрос мыл палубу шваброй.

— Давно пришли из Петергофа? — спросил Тихонов.

— Минут десять.

Тихонов вышел на набережную. Только что она была здесь, может быть, минуту назад. Он зпал это по блеску воды, по солнечным отсветам, перебегавшим вдоль гранитных берегов, по добрым глазам чистильщика сапог, задумавшегося над своими щетками, по легкому полету облаков в небе.

...Щедрин жил в новом маленьком доме, выстроенном около водной станции на Крестовском острове.

Все комнаты в этом доме были расположены на разном уровне. Из комнаты в комнату вело две-три ступени, и это придавало дому особенный, морской уют, тем более что па второй этаж поднимались лестницы с медными поручнями, похожими на трапы, а круглые окна в коридоре напоминали иллюмипаторы.

Щедрин сильно поседел, и когда писал, то надевал очки. Он преподавал метеорологию и астрономию в Морской академии.

В его кабинете стояло много медных приборов и висели карты, исчерченные синим и красным карандашами. Приборы теплились в ясные дни, как свечи.

Чистота в доме была корабельная. Убирал комнаты Випер. В бою под Елабугой он потерял руку и с тех пор уже не мог управлять своими любимыми машинами.

Щедрин переписывался с Якобсенами и доктором в Мариегамне. В начале июня из Стокгольма приехала по-

гостить на два месяца Мария Якобсен. И Щедрин и Винер звали ее Мари.

Присутствие молодой веселой женщины преобразило комнаты, бывшие до тех пор спокойными и точными, как астрономические приборы. Появился легкий, приятный беспорядок. Женские перчатки лежали на секстантах, цветы осыпались на письменный стол, на рукописи с вычислениями, запах духов и тонких тканей проникал всюду из комнаты Мари на втором этаже, серебряная бумага от шоколада валялась на диване рядом с раскрытой на середине книгой. Мари жадно читала, чтобы получше изучить русский язык.

Около портретов Анны Якобсен, Павла Бестужева и матери Щедрина Мари всегда ставила на столик букеты листьев, ветки лип, цветы гелиотропа. Раньше дом был похож на корабль, теперь он стал похож еще и на оранжерею.

Мари была безрассудна и тревожила этим Щедрина. Она оставалась все такой же, как в Мариегамне, когда спорола у него с рукава золотую нашивку.

Она радовалась свободе, была в восторге, что могла одна ходить по городу, радовалась всему, что видела в Ленинграде: дворцам и театрам, жизни, лишенной стеснительных правил и нравоучений, простоте отношений между мужчинами и женщинами, между рабочими и учеными и, наконец, тому, что всюду на нее смотрели с улыбкой. Она в ответ тоже улыбалась, хотя и старалась сохранить на лице строгое выражение красивой и немного разочарованной женщины.

Особенно беспокоили Щедрина прогулки Мари. Она уже два раза заблудилась. Однажды ее привел домой худенький пионер, позвонил, сдал с рук на руки и сказал Винеру серьезно:

— Будьте добры, не пускайте ее одну на улицу. Я веду ее от самого Смольного.

Мари расцеловала пионера, втащила его в комнаты, показала модель «Смелого», инструменты, карты, картины, изображавшие морские бури и штили. Мальчика напоили чаем, дали ему конфет, и он ушел счастливый и оглушенный.

Второй случай был гораздо хуже. Мари уехала в Петергоф, опоздала на последний пароход и всю ночь в одном легком платье просидела на петергофской пристани.

Щедрин в два часа ночи начал звонить во все отделения милиции, поднял на ноги десятки людей, а потом, когда Мари нашлась, ему пришлось извиняться и выслушивать шутливые замечания дежурных.

— Глупости! — сказала Мари за утренним чаем. Глаза ее сияли, несмотря на то что ей смертельно хотелось спать.— В вашей стране я ничего не боюсь. Я даже смело подошла ночью к одному человеку на пристани, и мы долго беседовали.

— О чем? — спросил Щедрин.

— Обо всем,— ответила Мари.— А потом пришел хромой человек удить рыбу и поклонился мне, как старой знакомой.

— Да это же, должно быть, Акерман! — воскликнул Щедрин.— Вот старый черт! Он все еще ловит рыбу?

— Да,— сказала Мари.— Вместе с черным котом. Как в сказке.

Мари спала до вечера. Окна были открыты. Ветер перелистывал книгу, забытую на окне. Он переворачивал страницы то вперед, то назад, разыскивая любимые строчки, наконец нашел их и затих: «Из царства вьюг, из царства льдов и снега как чист и свеж твой вылетает май».

Мари проснулась от шелеста в комнате. Ветер сбрасывал со стола разорванные конверты. Было сумрачно. Далеко на взморье громыхнул и покатился в пропасть железный гром.

Мари вскочила. Молния зажглась за окнами, задрожала и погасла в глубине зашумевших садов.

Мари быстро умылась, оделась и сбежала вниз. Щедрин сидел у рояля.

— Гроза,— сказал он Мари.— Вы спали девять часов.

— Что вы играете? — спросила Мари и села в кресло, поджав ноги.

Она смотрела за окно, где горячий ветер уже бушевал в садах и швырял на подоконники сорванные листья. Один лист упал на рояль. Крышки на рояле не было, и лист запутался в стальных струнах. Щедрин осторожно вынул лист и сказал:

— Чайковского. Если бы я был композитором, я написал бы симфонию о климате.

Мари засмеялась.

— Не смейтесь,— сказал ей Щедрин и тронул струны.— Это все очень просто. Мы можем вернуть Европе миоценовый климат [1]. Не знаю, учили ли вы Стокгольме историю Земли. Но вы, должно быть, знаете, что Земля пережила несколько страшных оледенений.

Мари поежилась.

— Не нужно их больше,— серьезно сказала она.

— Конечно, не нужно. Оледенение приходит из Гренландии. Это очень долго рассказывать, чтобы все было понятпо, но я скажу только, что мы можем уничтожить гренландские льды. Когда мы их уничтожим, в Европу вернется климат миоцена.

— Теплый?

— Очень,— ответил Щедрин.— Финский залив будет дымиться, как парное молоко. Здесь будут снимать по два урожая. Леса магнолий расцветут на Аландских островах. Вы представляете: белые ночи в магнолиевых лесах! От этого можно совсем одуреть!

— Что это значит — одуреть! — спросила Мари.

— Писать стихи, влюбляться в девушек, одним словом — сходить с ума.

— Очепь хорошо! — сказала Мари.— Но что нужно для этого?

— Пустяки! Нужна маленькая революция в Гренландии. Нужно начать в Гренландии громадные работы, чтобы растопить хотя бы на короткое время слой льда в полтора метра на вершинах плоскогорий. Этого будет достаточно.

— Как вы дошли до этого?

Щедрин показал на книги, валявшиеся на столе, на карты, на приборы.

— А это зачем? — сказал он.— Вы знаете, что на Северном полюсе зимовали наши ученые. Их наблюдения мне очень помогли.

Ливень шумел за окнами, и в комнатах стало темно. Пузыри воздуха лопались в лужах в саду, и, может быть поэтому, от луж долетали маленькие волны озона.

— Сыграйте,— попросила Мари.— Каждый день вы рассказываете мне сказки, как глупенькой девочке.

---

[1] Миоценовый климат — теплый, почти тропический климат, бывший в Европе во время миоцена — отдаленной геологической эпохи. *(Примеч. автора.)*

— Это не сказки,— сказал Щедрин и заиграл увертюру из «Евгения Онегина».— Пушкин тоже не сказка. Это все настоящее.

Мари вздохнула и задумалась. Утренняя встреча казалась сейчас далекой, как детство. Была ли она? Кто этот человек — худой, с седыми висками и молодым лицом? Почему она не спросила его, кто он? Трудно встретить второй раз человека в таком громадном городе.

Ливень прошел, и капли громко шуршали, скатываясь с листьев.

Мари тихо встала, надела легкий дождевой плащ и вышла. Гроза уходила на восток. На западе горел омытый дождем неяркий закат.

Мари пошла к Летнему саду.

Она побродила по сырым аллеям сада, вышла на Лебяжью канавку и долго смотрела на Михайловский замок.

Призрачная ночь застыла над городом. Шаги прохожих звучали в тишине. Белые фонари на площадях были лишь немного светлее ночи.

Величественные здания, окружавшие Мари, казались нарисованными акварелью. Выделялись только колонны и мощные аттики, освещенные рассеянным светом. Нельзя было догадаться, откуда он исходил. Было ли это отражение ночи в каналах, или тонкая полоска зари еще тлела на западе, или фонари, смешав свой блеск с сумраком, вызывали это странное освещение,— но свет этот рождал сосредоточенность, раздумье, легкую печаль.

Мари прошла мимо Эрмитажа. Она уже была в нем и старалась сейчас представить себе его ночные залы, тусклый блеск Невы за окнами, столетнее молчание картин.

Мари вышла на площадь у Зимнего дворца, остановилась и сжала руки. Она не знала, чей гений, чья тонкая рука создали этот прекраснейший в мире разворот колоннад, зданий, арок, чугунных решеток, этот простор, наполненный зеленоватой ночной прохладой и величавой архитектурной мыслью.

Обратно Мари возвращалась последним речным катером. Стеклянный и пустой, он нес ее, покачиваясь, по черной Неве мимо Петропавловской крепости, мимо равелинов и кронверков, мимо свай, мостов и парков. Милиционер дремал в углу каюты.

За мостом Свободы в небо поднялся, дымясь и тускнея, широкий луч прожектора. Он опустился и осветил на берегу белое каменное здание, простое и величественное.

Милиционер открыл глаза.

— Начинается подготовка,— сказал он Мари.— Освещают лучшие здания.

— Какая подготовка? — спросила Мари.

Ей было холодно. Она побледнела от речной сырости.

— К празднику,— сказал милиционер.— В честь нашего города. Нету на свете красивее города, чем наш Ленинград. Я здесь живу с малых лет, а каждый день смотрю не насмотрюсь. Стоишь ночью на посту и не знаешь иной раз, снится ли тебе все это, или на самом деле. Подойдешь к дому, посмотришь — горит фонарь с номером; тогда успокоишься: значит, не снится.

Мари застенчиво улыбнулась.

— Я в гребной школе учусь,— сказал милиционер.— Выезжаю на аутригере[1] в море. Выплывешь вечером — города не видно, он в тумане. Одни фонари блестят на воде. Даже на берег возвращаться неохота.

— А вы где стоите в городе? — спросила Мари.

— Вы, видать, не русская: разговор у вас не наш.

— Я шведка.

— А-а-а...— сказал милиционер.— Значит, тоже любуетесь. Я стою у Зимней канавки, в том месте, где Лиза утопилась.

На пристани у реки Крестовки Мари сошла. Милиционер сошел вместе с нею и проводил ее до дому.

— Я не боюсь, зачем! — смущенно говорила Мари.— Вы работали, устали.

— Да вы не беспокойтесь,— уверял ее милиционер.— Я домой не пойду. Пойду на водную станцию, там буду ночевать. Мне утром все равно тренироваться к празднику. Будут гонки. Отсюда — прямо в Сестрорецк. На выдержку.

У калитки своего дома Мари попрощалась с милиционером. Он вежливо пожал ей руку и ушел. Мари немного постояла в саду, потом засмеялась. Она подумала: что сказали бы ее подруги в Стокгольме, если бы она там подала руку постовому полицейскому.

---

[1] Аутригер — особый тип гоночной легкой лодки. *(Примеч. автора.)*

К празднику город был разделен на районы. В каждом районе убранство зданий и улиц было поручено художнику и архитектору.

Тихонову достался Петергоф. Празднику в Петергофе придавали морской характер. Сюда должны были прибыть из Кронштадта команды военных кораблей, а во дворце решено было устроить бал для старых и молодых моряков — встречу двух поколений.

После случая на пристани Тихонов обнаружил в себе новые свойства. Он начал замечать вещи, мимо которых раньше проходил равнодушно. Мир оказался наполненным удивительными красками, светом, звуками. Он, художник, никогда раньше не видел такого разнообразия красок. Они были всюду, но больше всего их переливалось в морской воде.

Мир стал значителен во всем. Тихонов ощущал жизнь во всем разнообразии ее проявлений, как нечто единое, мощное, созданное для счастья.

Этим полным чувством жизни он был обязан своему времени. Это чувство только усилилось под влиянием встречи на рассвете с молодой женщиной.

Что-то было в этой встрече, не поддававшееся ни описанию, ни рассказу. Это «что-то» было любовью. Но Тихонов еще не признавался себе в этом. В его сознании все слилось в один сверкающий круг: далекий гудок океанского парохода, золотое мерцание города в утренней мгле, тишина воды, шаги женщины, хромой смотритель пристани и его слова о необыкновенном балтийском лете.

В таком состоянии Тихонов начал работать над украшением Петергофа. Работая, он думал о своем времени, о стране и о ней, незнакомке.

Ему вспомнились слова знаменитого писателя, того, что взъерошил когда-то ему волосы и обозвал «пузырем». Он перечитал все его книги и статьи. В одной из татей писатель говорил своему юному современнику:

«Когда будете писать — думайте о ней, хотя бы ее и не было, и о превосходных людях, которым вы — тоже превосходнейший человек — искренне и просто и очень задушевно рассказываете о том, что известно только вам, что необходимо узнать и ей и всем им,— понимаете?»

Она была. И Тихонов думал о ней, думал, что она пройдет здесь, увидит всю прелесть земли, украшенной им, и почувствует, так же как и он, дыхание свободной и веселой страны, куда она приехала как гостья.

Никанор Ильич страшно взволновался, узнав, что Тихонову поручили украшать Петергоф. Несколько дней он волновался впустую. Поговорить было не с кем. Матрена была туга на разговоры, а Тихонов слишком занят. Поэтому старик обрадовался до слез, когда в Петергоф приехала Катя. Приехала она к брату поговорить о том, как украсить к празднику свои лодки и яхты.

От Тихонова она спустилась к старикам, и Никанор Ильич тотчас затеял с ней разговор.

— Люблю я праздники,— сказал Никанор Ильич.— Праздник, я полагаю, иной раз человеку больше нужен, чем хлеб насущный.

— Ох, господи! — вздохнула Матрена.— Сил нет! Уйми хоть ты его, Катюша, проклятущего.

— Тихо! — грозно сказал Никанор Ильич и закашлялся.— Сама к празднику дом будешь мыть, чистить. Небось старые свои обноски не наденешь. Почему это, спрашиваю? Ответь!

Катюша кое-как помирила стариков и ушла. А вечером Никанор Ильич слег. Он жаловался на боль в сердце и позвал к себе Тихонова.

— Алеша...— сказал он и вдруг заплакал.

Матрена тоже сморкалась в своем углу.

— Слабость у меня сердечная. Неужто окочурюсь и ничего не увижу? А мне бы, дураку, жить и жить. Любопытство меня жжет. Все норовил подняться к тебе, посмотреть эскизы — чего ты придумал к празднику,— да боюсь помешать.

Тихонов принес старику эскизы. Никанор Ильич долго смотрел на них, потом похлопал Тихонова по плечу.

— Люблю я в тебе, Алеша, совершенство,— сказал он.— Ты настоящий. Слово мое окончательное.

Прощаясь, он попросил, чтобы Тихонов, когда будет в Ленинграде, заехал к заказчику и передал, что крышка от рояля готова и ее можно забрать.

Только на второй день Тихонов разыскал по адресу, данному Никанором Ильичом, маленький дом в саду на Крестовском острове. Накрапывал дождь, земля пахла прибитой дождем пылью.

Открыл Тихонову белобрысый старик без одной руки — Винер. Тихонов спросил гражданина Щедрина. Винер ввел его в комнату с настежь открытыми окнами.

На стене Тихонов увидел два портрета прекрасной работы. На одном был изображен офицер в черном мундире, на другом — молодая женщина с высоко взлетающими нервными бровями. В ней было ясно ощутимое сходство с незнакомкой, встреченной на пристани.

Тихонов провел рукой по лбу, как бы стараясь отогнать навязчивую мысль, но женщина смотрела на него уже знакомыми глазами, и он невольно все ближе подходил к портрету и все пристальнее вглядывался в него.

Кто-то вошел, но Тихонов обернулся не сразу: ему понадобилось сделать над собой усилие, чтобы оторваться от портрета.

За спиной Тихонова стоял высокий седой моряк и внимательно смотрел на него.

— Я к вам от Никанора Ильича,— сказал Тихонов.— Он болен. Он просил передать, что крышка от рояля готова. За ней можно приехать.

— Садитесь,— сказал моряк и показал Тихонову на кресло.

Если бы Тихонов сел в него, то очутился бы спиной к портрету. Тихонов шагнул к креслу, но передумал и сел в другое — так, чтобы видеть портрет.

Моряк все так же внимательно смотрел на Тихонова.

— Благодарю вас,— сказал он.— А что с Никанором Ильичом?

— Сердце,— коротко ответил Тихонов.

— Вы его сын?

— Нет, я его бывший ученик.

— Вы, очевидно, художник?

— Да.

— Я догадался, когда увидел, как вы вглядываетесь в этот портрет.

— Великолепная работа! Кто это?

— Это прекрасная женщина, дочь одного старого шкипера с Аландских островов.

— Она шведка? — быстро спросил Тихонов.

— Да. Ее звали Анна Якобсен. Ее жизнь была связана с очень трагическими обстоятельствами. Это жена офицера Павла Бестужева, убитого на дуэли на Аланде в начале прошлого века. Она сошла с ума.

— Моего прадеда,— сказал Тихонов,— тоже убили в Финляндии, но только не на дуэли. Его запороли. Он был простой солдат.

— Позвольте,— сказал моряк,— когда это было?

— Я думаю, что тоже в начале прошлого века.

Моряк встал и подошел к окну. Он посмотрел на дождь, сыпавшийся пылью в лужи на дорожках, потом обернулся и спросил:

— Вы родом не из деревни Мегры на реке Ковже?

— Да,— сказал удивленно Тихонов.— Откуда вы это знаете?

Моряк не ответил.

— Ваш прадед,— сказал он,— похоронен в одной могиле с Павлом Бестужевым. Оба они были убиты в один и тот же день. Их связывала общая судьба. Ваша фамилия Тихонов?

— Да.

— Наконец-то! — Моряк широко улыбнулся и крепко, обеими руками, пожал руку Тихонову.— Меня зовут Щедрин. Я вас долго искал, потом бросил. Во время войны я служил на Аландских островах. Там я узнал подробную историю гибели Павла Бестужева. Он был вольнодумец. Он спас от казни декабриста и был убит на дуэли из-за столкновения с командиром полка. Я был на его могиле и удивился тому, что он зарыт не один, а вместе с солдатом Тихоновым. Я старался узнать, чем были связаны эти два человека — Тихонов и Павел Бестужев,— но никто не мог мне этого объяснить. Местные жители ничего не знали, рыться же в архивах я не мог. Мне бы не дали, да и было тогда совсем не до этого: началась революция. Мне попалось в руки предсмертное письмо Бестужева. В нем я нашел просьбу сообщить о смерти солдата Тихонова его родным, в деревню Мегры на реке Ковже. Во время гражданской войны я случайно попал в Мегры, разыскал потомков солдата Тихонова и видел вашу мать.

— Она меня спрашивала о вас,— перебил Тихонов.

— Она умерла? — спросил моряк.

— Да.

— Я нашел вашу мать, но она ничего толком об этой истории не знала. Она дала мне ваш адрес и просила найти вас, но адрес пропал в бою с колчаковской флотилией под Елабугой. Память у меня плохая, я никак не мог его вспомнить... Но все-таки мы встретились! —

Щедрин засмеялся.— Ну, теперь я вас не выпущу. Давайте сюда шляпу.

Он отобрал у Тихонова шляпу, принес бутылку вина, печенье и папиросы.

— Выпьем по этому случаю,— сказал он.— Хорошее слабое вино. Его особенно приятно пить в такую серенькую погоду.

Тихонов выпил и почувствовал легкое головокружение. Все события последних дней казались ему невероятными, а встреча с Щедриным еще усилила это ощущение.

— В последнее время,— сказал он Щедрину,— я попал в полосу необыкновенных встреч.

— Тем лучше. Пейте. Недавно приехала с Аландских островов моя родственница, девушка, правнучка Анны Якобсен. Ее зовут Мари. Она мне рассказала более подробно о судьбе вашего прадеда. Приемный отец этой девушки — дряхлый чудак доктор — затеял писать историю Аландских островов. Он перерыл все архивы и нашел указания, что солдат Тихонов был засечен шпицрутенами за то, что вместе с Павлом Бестужевым помог спастись декабристу... Давайте выпьем за наших дедов!

Вино казалось Тихонову растворенными в холодной воде осенними листьями.

Тихонов плохо слушал Щедрина.

«Это она!» — говорил он себе, и сердце его билось до боли.

Он хотел услышать в комнатах женские шаги, но ничего не доносилось, кроме стука стенных часов и отдаленных гудков автомобилей.

«Где же она? Надо дождаться ее, чтобы окончилось это страшное незнание. Может быть, это совсем другая? Может быть, в комнату войдет белобрысая девушка в очках и с крикливым голосом? Я дурак,—думал Тихонов.—Мне давно пора уходить. Пора. Надо встать».

Тихонов уже готов был встать и попрощаться с Щедриным, но его остановила мысль о портрете. Сходство было слишком разительным. Он снова взглянул на портрет и увидел те же нервные, взлетающие брови и маленькую печальную складку в углу рта.

— Что с вами? — спросил Щедрин, заметив рассеянность Тихонова.— У вас усталый вид.

— Я много работаю. Мне поручили украшать Петер-

гоф. Это очень сложно и даже страшно. Как украсить Растрелли!

Оставаться дольше было невозможно. Тихонов поднялся. Щедрин взял с него слово, что он в первый же свободный вечер приедет на Крестовский остров, пообещал навестить больного Никанора Ильича, и они расстались.

Тихонов шел через сад, и пока он прошел это небольшое расстояние, сотни мыслей пронеслись у него в голове.

Тихонов впервые почувствовал связь с прошлым, с деревней, где сотни лет его отец, дед, прадед ковыряли холодную глину, где в детстве мать присыпала ему порезы золой из печки, где умирали от грыж, от родов, от голодного тифа. Все это было давно мертво. О нем если и вспоминали, то с неохотой.

Но теперь прошлое заговорило другим языком. В нем, в Алеше Тихонове, была кровь этих людей и кровь прадеда — николаевского солдата, убитого за смелость, за бунт, за помощь декабристам.

Мысль, что он должен быть достойным потомком немудрого крестьянина, замуштрованного казармой, одетого в заношенную солдатскую шинель, появилась в сознании Тихонова.

Дождь прошел. Тучи медленно сваливались к югу и открывали на западе пустынное небо.

У калитки Тихонов столкнулся с женщиной. Он посторонился и поднял голову. Это была она, петергофская незнакомка.

Она держалась за железную решетку и смотрела на Тихонова. Тихонов снял шляпу.

— Как хорошо,— сказал он,— что я вас снова встретил! Город так велик, а вы, должно быть, не единственная шведка в Ленинграде.

Мари молчала. Рука ее медленно разжалась, на перчатке осталось серое пятно от решетки. Она прислонилась к ограде и быстро сказала:

— Да, да... Говорите.

— Что? — спросил Тихонов.— Что я могу сказать сейчас? Вы уже, пожалуй, знаете все сами.

— Если бы я знала...— сказала Мари и улыбнулась.— Пойдемте.

Она крепко взяла Тихонова за руку выше кисти и, как мальчика, повела за собой. Они молча шли по улице. Пу-

стынное небо лежало у них под ногами, отраженное в лужах дождевой воды.

— Я был уверен, что вновь встречу вас,— сказал Тихонов.— Не возможно было не встретить.

Мари наклонила голову, как бы соглашаясь с ним.

Они вышли на пристань речных катеров.

— Поедем в город,— сказала Мари.— Вы покажете мне ваши любимые места. Этот город создан для того, чтобы бродить по нему ночи напролет.

У Мари немного болела голова. Она часто прикладывала ладонь к глазам и болезненно улыбалась.

На катере Тихонов рассказал Мари обо всем, что он узнал от Щедрина: об Анне Якобсен, о Павле Бестужеве и о своем прадеде.

— Значит, Анна завещала мне вас,— задумчиво сказала Мари.

До поздней ночи они ходили по городу. Он был в этот вечер особенно прекрасен. Он возникал перед ними мощными колоннадами зданий, горбатыми арками безлюдных мостов, бронзовыми памятниками и кущами столетних лип.

Нева несла огни в глубокой воде. Игла Адмиралтейства блистала над рекой, воспетой поэтами.

Они останавливались около чугунных решеток, смотрели сквозь них на полумрак садов, и Тихонов говорил о воплощенных мечтах знаменитых зодчих, создавших в северных болотах и лесах этот блистательный город. Это был город великих воспоминаний и не менее великого будущего.

Они шли вдоль набережных Невы. Мальчишки ловили рыбу с гранитных парапетов. У берега около какого-то сада стоял пришвартованный стальными тросами старый военный корабль. Ветки лип опускались над его палубой и орудиями, закрытыми брезентом.

— Это «Аврора»,— сказал Тихонов.— Вы знаете?

— Знаю,— ответила Мари.

Они прошли через площадь, где медный всадник скакал на север, и вернулись к Мойке.

На Мойке среди свай, высоких зданий и позеленевших гранитных берегов стояла летняя ночная тишина. Они облокотились о перила и смотрели на воду. В ней дрожала синяя звезда.

— Мари,— сказал Тихонов,— оглянитесь: в этом доме умер Пушкин.

Мари обернулась. Она смотрела на окна, на выступ дома, почти висевший над водой, на каменные, истертые столетиями тумбы, на одуванчики, проросшие среди плит по обочинам узкого тротуара.

— Сюда его привезли, когда он был ранен? — спросила она.

— Да. Его внесли вот в эту дверь.

— Может быть, здесь капала его кровь,— сказала Мари и посмотрела на Тихонова с виноватой улыбкой.

— Это были годы,— сказал Тихонов,— когда был убит Павел Бестужев и мой прадед, и Анна умерла от горя. Лучше всего об этом времени сказал сам Пушкин.

— Как? — спросила Мари.— Что он сказал?

— Простые слова: «И мрачный год, в который пало столько отважных, добрых и прекрасных жертв, едва оставит память о себе в какой-нибудь простой пастушьей песне — унылой и приятной». Правда, хорошо?

Мари не позволила Тихонову провожать себя. Они расстались у Летнего сада. Мари протянула Тихонову обе руки, резко вырвала их и быстро сбежала по каменной лестнице к пристани.

...Тридцать прожекторов поднялись в небо над Петергофом и перепутали свои лучи со звездами. Так начался ночной праздник.

Миноносцы, неся на бортах и мачтах цепи огней, мчались, разбивали в пену воду залива и, круто повернув, стопорили вблизи петергофской пристани.

С палуб миноносцев морякам открывалось невиданное зрелище. Дворец пламенел хрустальным пожаром. Водопады лились среди мрамора и бронзы.

Молодые краснофлотцы и старые командиры подымались по лестницам к дворцу.

Стеклянные чашечки, полные чистого огня, горели по сторонам. Фонтаны били, теряясь в темноте нависших деревьев. Здесь, в парке, явственно ощущались тяжесть и запах листвы, воздух небывалого лета.

Окна дворца были распахнуты настежь.

На балконах, в синих и белых залах стояли моряки, отраженные в зеркалах. Зеркала повторяли их смех, улыбки, загорелые лица.

Испуганные птицы проносились сквозь этот блеск, слепли, ударялись о струи фонтанов и в брызгах и шуме крыльев улетали в ночь, к заливу. Там отражалось в воде привычное небо, забытое на этот вечер людьми.

Но вскоре заговорил и залив. Невидимые форты загремели, выбрасывая вспышки огня: Кронштадт салютовал сто одним выстрелом в честь великого города.

За гулом канонады не было слышно говора самолетов, разлетавшихся по всем румбам горизонта и оставлявших за собой световые дороги.

Потом как будто звездное небо начало падать на землю: самолеты сбросили сотни огненных шаров. Воздушные течения качали их над землей и перепутывали. Они то уносили шары к заливу широкими взмахами — и весь залив пылал, казалось, до самого дна их отражениями,— то сгущали их в облака света, сиявшие над потрясенными берегами.

Ленинград сверкал над Невой, как драгоценный камень. Никогда еще благородство его перспектив не было так ощутительно.

Мари со Щедриным и Винером приехали в Петергоф очень рано.

На террасе дворца Щедрина остановил Никанор Ильич. Матрена, в черном шелковом платье, испуганная и раскрасневшаяся, вела его под руку,— старик слеп от огней и передвигался с трудом.

— Большую красоту народ себе отвоевал, Александр Петрович,— сказал старик Щедрину и украдкой вытер набежавшую слезу.— Большую красоту!

Щедрин вспомнил зимнюю ночь, когда он с матросами шел по льду из Кронштадта в Петергоф и отогревался в сторожке у красногвардейца.

— Никанор Ильич,— спросил он,— так это вы в восемнадцатом году охраняли дворец?

— Я, милый, я. И моя доля есть во всем этом совершенстве.

Глаза Мари блестели, но лицо было строгим и бледным. Никанор Ильич посмотрел на нее. Мари вопросительно улыбнулась.

Она взяла старика под руку и повела во дворец.

По пути их встретил Акерман, выбритый и сухощавый,

в парадной морской форме. Глаза его лукаво смеялись. Он поздоровался со всеми и сказал Щедрину:

— Саша, ты, я помню, когда-то смеялся над сказками. Тебе стыдно, скажи?

— Замолчи, дурак! — сказал Щедрин.— Это ты не верил, что доживешь до хороших времен.

— Стуча костылем,— сказал Акерман,— он проходил среди кликов народного ликования.

Они вошли во дворец. Моряки расступились. Сдержанный гул прошел по их рядам. Мари осторожно вела дряхлого рабочего. Сзади шла Матрена, а за ней — Щедрин, Винер и Акерман.

Шепот прошел и стих, потом прошел снова: позади взволнованной молодой женщины моряки увидели легендарного капитана Александра Щедрина, прославленного победами над флотилией белых, создателя знаменитой теории о возвращении в Европу климата миоцена.

На площадке лестницы ждал Тихонов. Он видел Мари, и ему казалось, что он не сможет выдержать минут ее приближения. Он думал, что ни одно искусство в мире не может передать красоту молодой женщины, любящей и счастливой.

Моряки собрались в большом позолоченном зале. Люстры звенели, и свечи, зажженные для праздника, тонко дрожали.

Мари остановилась с Тихоновым около окна. Щедрин прошел вперед и повернулся к морякам. Седая его голова белела на темном полотне картины, висевшей за его спиной. Картина изображала старинное морское сражение. В глубине зала играл оркестр.

Щедрин поднял руку. Оркестр умолк. Два поколения моряков затаили дыхание.

— Друзья! — сказал Щедрин.— Старые и молодые моряки! Надо ли говорить о том, что каждый носит в сердце,— говорить о гордости своей эпохой, своей родиной! Мы призваны охранять страну, создающую счастье для трудового человечества. Мы дрались за нее. Мы побеждали в прошлом и будем побеждать всегда. Каждый из нас отдаст всю кровь, силы, все мужество для того, чтобы могли спокойно работать и процветать наша страна и ее культура.

Не только мы одни создавали ее. Мы, поколение победителей, не можем быть неблагодарными. Мы всегда будем

беречь в своем сердце память о рабочих и крестьянах, поэтах и писателях, ученых и художниках, философах, солдатах и матросах, погибших за народное счастье в далекие времена, отделенные от нас десятками и сотнями лет.

Позвольте мне вместо праздничной речи рассказать вам простую историю, случившуюся больше ста лет назад...

Моряки зашевелились и стихли. Щедрин коротко рассказал историю гибели солдата Семена Тихонова, Павла Бестужева и Анны Якобсен.

Иногда он умолкал и проводил рукой по волосам, стараясь не выдать своего волнения.

— Павел Бестужев перед смертью оставил письмо. Я прочту из него несколько строк.

Щедрин вынул письмо. Свет от люстр был слаб, при нем было трудно читать. Молодой матрос взял с камина канделябр, стал рядом с Щедриным, и чем дальше читал Щедрин, тем заметнее наклонялся канделябр и тем чаще капли воска падали на паркет.

— «Я знаю,— читал Щедрин,— и ты должна знать это вместе со мной, что придут времена великой расплаты. Наши мучения и гибель,— читал Щедрин, и легкий гул шел по рядам моряков, как будто они повторяли за ним вполголоса слова этого письма, подобно словам присяги,— наши мучения и гибель ударят по сердцам с томительною силой. Пренебрежение к счастью народа будет считаться мерзейшим преступлением. Все низкое будет раздавлено в пыли...»

Мари вздрогнула. Зал гулко вздохнул, все моряки встали.

— «...будет раздавлено в пыли,— повышая голос, продолжал Щедрин,— и счастье человека станет самой высокой задачей народных трибунов, вождей и полководцев. Я думаю об этих временах и завидую прекрасным женщинам и отважным мужчинам, чья любовь расцветет под небом веселой и вольной страны...»

Моряки слушали стоя.

— «Я завидую им,— голос Щедрина нарастал и подымался до грозного крика,— и кричу в душе: «Не забывайте нас, счастливцы!»

Мари глазами, полными слез, смотрела в окно.

В зале молчали.

— Друзья,— сказал Щедрин,— еще всего несколько слов. Потомок солдата Семена Тихонова — один из лучших

наших художников. Великолепием этого праздника мы обязаны ему. Правнучка Анны Якобсен, умершей от горя,— среди нас. Она приехала в нашу страну. Она нашла здесь новую родину и счастье. О нем я не могу говорить.

Щедрин замолчал. Тогда в глубине зала встал Акерман и крикнул:

— А внук спасенного декабриста — это ты!

Зал вздрогнул от бури приветственных криков.

Широкое пламя блеснуло в окнах. Моряки оглянулись. Над Ленинградом подымались к небу сотни световых потоков.

Но Щедрин не смотрел на огни Ленинграда. Он смотрел на Мари, потому что нет в мире большей красоты, чем лицо молодой женщины, любящей и счастливой.

1939

РОМАН

ОТ АВТОРА

В 1944 году, примерно за год до конца Великой Отечественной войны, я написал небольшой роман и назвал его «Дым отечества». Рукопись этого романа при довольно сложных обстоятельствах была потеряна в том же 1944 году. От рукописи у меня осталась только одна глава.

Много позднее, в 1963 году, в Калуге вышла моя книга «Потерянные романы». В ней я рассказал, между прочим, историю своих трех потерянных романов, в том числе и романа «Дым отечества». Вскоре после выхода этой книги я получил письмо из Казани от одной читательницы. Она писала, что, работая в Государственном литературном архиве, случайно наткнулась на рукопись «Дыма отечества».

Я очень благодарен ей. Вообще читатели у нас удивительные — благодарные, строгие и немедленно отзывающиеся на все, что происходит в нашей литературе.

Итак, рукопись нашлась, и я решился опубликовать этот роман, пролежавший в архивах около двадцати лет, в журнале «Москва», а сейчас включаю его в свое новое Собрание сочинений. Это роман о нашей интеллигенции в канун и во время минувшей войны, о ее преданности Родине, ее мужестве, ее испытаниях и размышлениях и о тех неумирающих жизненных явлениях, какие мы называем «личной жизнью», забывая подчас, что нет и не может

быть личной жизни вне своего времени и вне общей жизни страны и народа.

Конечно, если бы мне пришлось писать роман на эту тему сейчас, я написал бы его по-иному — кругозор писателя с каждым прожитым годом становится шире, оттачивается и его литературное мастерство. Но я печатаю роман без значительных изменений, как одно из свидетельств эпохи, своего тогдашнего восприятия и понимания людей и событий.

ЛЮДЯМ ХОТЕЛОСЬ БЫ
ВСЕ СОХРАНИТЬ —
И РОЗЫ, И СНЕГ.

Герцен

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Всю зиму мезонин простоял без жильцов. Печей в нем не топили. В щель под балконной дверью намело сухой снежок.

От снега за окнами в двух низких комнатах было так светло, что пожилой художник Николай Генрихович Вермель, снимая эти комнаты, назвал их, так же как и хозяйка, «светелками».

Хозяйка была стара, гораздо старше Николая Генриховича. Она стеснялась сесть в кресло при постороннем и разговаривала стоя. Стоять ей было трудно. Она держалась за притолоку и робко смотрела на Вермеля выцветшими глазами.

Увидев старушку, Вермель почему-то решил, что она плохо слышит, и говорил с ней громко, почти кричал. Старушке было совестно, что ее принимают за глухую, но она не решалась сказать об этом художнику.

С тех пор так и повелось — Вермель все кричал, а старушка терялась от этого крика и отвечала невпопад.

— Я, матушка, буду жить не один! — кричал Вермель.— Со мной приехал из Ленинграда мой ученик, молодой художник Пахомов. Па-хо-мов!

— Не взыщите,— бормотала старушка.— Сейчас протопим, приберем. Дверь заклеим. У нас тихо...

— А как вас зовут, матушка?

— Да звали Варварой Гавриловной,— растерянно отвечала старушка.— А теперь по имени никто и не зовет. Внучка называет «бабусей», а соседи — так те просто «бабкой». Так и живу без имени-отчества. Совсем от него отвыкла.

Вермель усмехнулся, оставил задаток, пообещал к вечеру переехать и ушел в гостиницу, где его ждал Пахомов.

Внучка Варвары Гавриловны — Маша, девочка лет двенадцати,— сидела внизу на сундуке и зажимала рот черной собачке. Собачонка рвалась в мезонин, чтобы облаять нового постояльца. Она рычала сквозь зубы, фыркала, царапалась, но Маша держала ее крепко и шепотом уговаривала:

— Дура ты, Муха! Мохнатая дура! Уймись!

Варвара Гавриловна не удивилась приезду художников. Их древний город на Волхове — Новгород — художники навещали часто.

Вот и сейчас Вермель и Пахомов приехали изучать фрески знаменитого мастера Феофана Грека и других — безвестных древних живописцев. Вермель собирался работать вместе с Пахомовым над стенной росписью нового театра в Ленинграде. Ему хотелось придать своей живописи чистоту красок, какой отличались новгородские фрески. Они создавали впечатление, будто люди, написанные на каменных сводах, выступают из освещенного тумана.

Варвара Гавриловна уважала художников. Ее отец, живописец Гаврила Чирков, расписывал потолки и стены в особняках петербургской знати. Времена были не те, что при Растрелли,— вместо больших, содержательных композиций приходилось писать жидкие гирлянды роз или орнаменты из секир и шлемов. Наступило царствование Александра III, время поддельного русского стиля — ларцов, отделанных фальшивой бирюзой, петушков на крышах, кучерской одежды. Даже в армии царь ввел форму, похожую на кучерскую,— шаровары с напуском, сапоги в «гармонику» и широкие кушаки.

Варвару Гавриловну выдали замуж за учителя рисования. Она уехала с мужем в Новгород, родила дочь. Муж заболел чахоткой и вскоре умер. Он сам отливал для «рисования с натуры» гипсовые головы Зевсов и Диан и очень этим увлекался. Варвара Гавриловна была убеждена, что болезнь он нажил, надышавшись гипсовой пылью.

Оставшись вдовой, она до самой старости преподавала вышивание в школе кройки и шитья. Очень боялась, что после революции школу закроют, но все обошлось, и Варвара Гавриловна дослужилась даже до пенсии.

Дочь ее, Татьяна, окончила школу в Новгороде, уехала в Ленинград, вышла замуж за пожилого актера, по вскоре тоже овдовела. Она привезла матери на воспитание свою дочь Машу, побыла несколько дней и уехала на юг. Было это лет восемь назад. С тех пор Татьяна приезжала всего два раза, да и то ненадолго. На юге она работала в театре драматической актрисой, но о работе своей ничего не писала и не рассказывала. А Варвара Гавриловна по обычной застенчивости своей ни о чем ее и не спрашивала.

* * *

Вермель и Пахомов переехали к вечеру. В мезонине было уже натоплено, прибрано. Крашеный пол Маша натерла воском. На столе горела керосиновая лампа с круглым матовым абажуром.

Пахомову в доме у Варвары Гавриловны больше всего понравилась тишина. Она жила здесь, должно быть, давно. С ней свыклись, как с близким человеком,— даже с Мухой Варвара Гавриловна разговаривала вполголоса.

Малейший звук был слышен во всех углах. Когда падала на пол чайная ложечка, ей в ответ дребезжал потускневший рояль. Изредка Муха уходила на кухню, постукивая когтями, или Маша задевала в сенях проволоку от дверного колокольчика, и он долго позванивал.

Вермель успокоился, подобрел и перестал ругать ленинградских художников «фальшивомонетчиками» и «пачкунами». Придирчивый, всем недовольный, он мирился только с Пахомовым, но все же не пропускал случая, чтобы не сказать, что Пахомов лентяй, мечтатель и, откровенно говоря, у него нет настоящего отношения к искусству. Вермель считал, что оно заключается в постоянном недовольстве своей работой, в спорах из-за каждой линии и каждого мазка. Пахомов же думал, что искусство начинается там, где исчезает напряжение.

Сначала он спорил с Вермелем, потом бросил. Старик сердился, ссылаясь на «работяг» Рембрандта и Александра Иванова, обзывал Пахомова «мальчишкой».

Пахомов любил Вермеля за горячность, строгий вкус, честность, наконец, даже за его потертую бархатную куртку с медными пуговицами. На каждой пуговице было выпуклое изображение зайца, лисицы, петуха или собаки.

Вермель очень берег эти детские пуговицы. Когда они отрывались, он сам пришивал их вощеными толстыми нитками.

Пахомов не был лентяем, но мечтателем был с детства. Он скрывал это, боялся самого слова «мечтатель» — с ним было связано представление о чудаке, не способном ни на что путное.

Своего отца — известного в Петербурге архитектора — Пахомов не помнил. Он только знал, что отец выстроил на Морской улице тяжелый дом, облицованный черным гранитом с водянистыми синими блестками. Дом в Петербурге прозвали «катафалком».

Кабинет отца в их квартире напоминал этот дом. Он был такой же хмурый, заставленный черными кожаными креслами с высокими спинками. Когда мать наказывала Пахомова — тогда еще маленького Мишу,— она сажала его на кресло в отцовском кабинете и заставляла сидеть два часа. Было скучно. Со стены из фиолетовой бархатной рамы смотрел солидный человек с раздвоенной бородкой и маленькими ушами. Мальчик не верил, что это отец,— отцы такими чужими никогда не бывают.

Мать Пахомова была обрусевшая гречанка из Одессы. Много лет спустя после ее смерти Пахомов увидел на столе у Вермеля толстую книгу. Называлась она «Старая Одесса». Он взял у Вермеля книгу и прочел ее. В ней он встретил фамилию своей матери и узнал, что его прадед был контрабандистом — таким же, как и греческие купцы в старой Одессе.

Только тогда Пахомов понял страсть матери к переменам, ее капризный нрав, постоянные увлечения, сменявшиеся молитвами и отчаянием, ее умение расшвыривать деньги и жить впроголодь в нетопленной квартире, заставленной букетами дорогих, холодных, как снег, тубероз. Все это было от предков — левантийцев, авантюристов, фанариотов.

Вечером она возвращалась из театра возбужденная, хохочущая, засыпанная снегом. А наутро, получив короткое письмо, рыдала, надевала траурное платье и уходила молиться в Казанский собор.

Мария Францевна — пожилая женщина с испуганным лицом, прижившаяся у них в доме еще со времен отца,— торопливо укутывала Мишу, вела его в собор, пряталась с ним за колонной и заставляла молиться за спасение ма-

тери. Мальчик пугался — он не помнил ни одной молитвы. Он не знал, кто должен спасти мать, но не верил, что это сделает тот, кого Мария Францевна называла «спасителем» — худой человек, распятый на черном кресте. «Спаситель» был мертвый и никому помочь, конечно, не мог.

После революции исчезли туберозы, мужские письма, кожаные кресла и все комнаты, кроме одной. Мария Францевна поступила кастеляншей в общественную столовую. Мать вышивала бархатные знамена для новых, непонятных учреждений. Она похудела, начала быстро стареть, а весной девятнадцатого года заболела испанкой и умерла.

Миша остался с Марией Францевной. При ней он окончил школу и академию, стал художником и теперь жил со старушкой в новом доме в Лесном.

Каждый раз, когда Пахомов слышал слова «у него не было детства», он вспоминал о себе. Детства у него действительно не было. Что осталось в памяти? Пышные холодные комнаты, развешанные на стенах поучительные изречения. Их вышивала крестиками по канве Мария Францевна.

Товарищей у него тоже не было. Он играл один, выдумывал каждый день разные истории. То он представлял себя Гуинпленом, «человеком, который смеется», и в столовой, похожей на парламент, срывал с лица черную маску и гремел гневную речь: «Трепещите, милорды!» То он открывал лавку морских редкостей в ванной, продавал Марии Францевне розовые раковины, а горничной Даше разрешал за старую почтовую марку послушать, как они поют. Даша прижимала раковины к уху и ухмылялась — она не знала, что раковины поют об Азорских островах, где они жили когда-то в теплой синей воде.

Потом Миша начал собирать марки. Больше всего ему нравились на марках портреты президентов разных Венесуэл, Эквадоров и Парагваев. Со слов Марии Францевны он знал, что эти президенты всегда плохо кончали. Их жизнь казалась ему самой неуютной на свете. Вместо того чтобы управлять своими республиками, они без устали гонялись друг за другом по пампасам и простреливали соперникам черепа из пистолетов. Но все же в этой бесшабашной и утомительной президентской жизни были и привлекательные вещи — ржание мустангов, пожары сухой травы, топот бизонов, приклад ружья вместо подушки...

И сейчас, хотя Пахомову было уже тридцать лет, он по-прежнему любил выдумывать разные истории. Он был уверен, что нет человека, даже самого серьезного, который бы не занимался тем же.

* * *

Пахомов лежал на диване и читал описание Великого Новгорода. Вермель ушел в город.

Пахомов отложил книгу и прислушался. Было слышно, как Варвара Гавриловна бормотала за вязаньем. Потом хлопнула калитка, кто-то прошел через палисадник. Задребезжал дверной колокольчик. Залаяла Муха.

— Кто бы это? — испугалась Варвара Гавриловна.— Погоди, Маша, вместе откроем.

Варвара Гавриловна заторопилась в прихожую. На вопрос, кто пришел, сиплый голос из-за двери ответил: «Телеграмма».

Долго гремели засовы. Почтарь топтался на крыльце, сбивая с валенок снег. Варвара Гавриловна допытывалась, откуда телеграмма. Маша ответила, что из Одессы. Тогда Варвара Гавриловна охнула и заплакала, а Маша начала ее тормошить и кричать:

— Да ничего страшного, бабуся! Ничего страшного. Мама завтра днем приезжает. Ей дали отпуск после болезни.

Было слышно, как почтарь прошел в комнаты. Тонко пропищала дверца дубового буфета. Зазвенел стакан. Почтарь крякнул.

— Жить вам много лет,— сказал он и добавил, сокрушаясь: — Все меня опасаются, будто я одну смерть под расписку разношу. А видишь ты, иной раз и удовольствие получается от моей телеграммы.

Когда он ушел, внизу начался оживленный разговор. Трудно было разобрать, о чем говорили Варвара Гавриловна с Машей, но Пахомов догадался по отдельным словам, что говорили они о приезде дочери Варвары Гавриловны — Татьяны.

Когда вернулся Вермель, Пахомов рассказал ему о телеграмме. Вермель отнесся к предстоящему приезду благосклонно. Ему не хватало собеседников. Он был доволен, что в доме станет шумнее.

Внизу уже суетились. Варвара Гавриловна готовила тесто. Маша сбивала белки. Из кухни пахло горячим моло-

ком и ванилью. Старушка беспокоилась, что до приезда Тани она не успеет прибрать комнаты, а Маша не сможет расчистить дорожку к любимой Таниной беседке — в конце сада, над обрывом. Оттуда был виден угрюмый новгородский кремль, оловянные — под цвет неба — купола собора, высокие липы за оврагом.

— Не помочь ли им? — спросил Вермель.— Все равно сейчас нам нечего делать.

— Чем вы поможете? — усмехнулся Пахомов.— Только напугаете и напутаете.

— Ну, нет! Я великолепно умею печь пироги. Великолепно! Всегда помогал своей матушке перед праздниками. Для меня запах шафранного теста приятнее самых дорогих духов. А мука, что скрипит под пальцами! А перемытый изюм! Пойдемте!

Он потащил Пахомова вниз. Варвара Гавриловна растерялась, но Вермель не дал ей опомниться. Он начал командовать: приказал Маше почистить миндаль, послал Пахомова в сарай за дровами, а сам взялся растирать масло с сахаром.

Когда Пахомов принес дрова на кухню и вернулся в столовую, там уже зажгли лампу, а Вермель, засучив рукава, тер масло в глиняной кружке и кричал:

— Масло, матушка, надо растирать до молочной белизны! Иначе у вас ничего не получится.

Варвара Гавриловна соглашалась, ласково кивала головой.

— Все наши художники, матушка,— кричал Вермель,— пачкуны! До сих пор не нашлось дурака, который бы догадался написать эти превосходные вещи. Вы посмотрите! — он показал на взбитые белки.— Какая фактура! Ничто так не окрашивается в посторонний цвет, как белок. Сейчас он желтоватый от лампы, а поставьте его на окно,— Вермель перенес тарелку со взбитыми белками на окно,— поставьте вот сюда и посмотрите: он уже голубой от снега.

Маша смотрела па Вермеля, не мигая, вот-вот готовая прыснуть от смеха.

— Писать взбитый белок труднее, чем облака,— печально сказал Вермель.— Только фламандцы умели это делать, матушка. Одни фламандцы! Помните, как чудесно у них получалась рыбья чешуя, вилок цветной капусты или гвоздика в стакане с водой.

Варвара Гавриловна все соглашалась, кивала головой.

— А почему? — закричал Вермель.— Потому, что неторопливо работали. И не лодырничали. Вглядывались в цвет, в форму. А наши юноши стараются взять фокусами. Карандаш надо научиться держать в руке! — крикнул он, и Маша наконец прыснула от смеха. Сахарная пудра облаком взлетела со стола.

— Ах, какая озорница! Не знаю, что с ней делать,— вздохнула Варвара Гавриловна.— Такая озорная, прямо цыганка,— вся в мать!

Пахомов не стал слушать разговоров Вермеля. Он нашел в сенях деревянную лопату и вышел в сад. Ему захотелось расчистить дорожку к беседке.

В саду таинственно белел снег. Пахомов остановился, посмотрел вокруг, подумал, что зима очень подходит к нашей скромной земле.

Снег лежал глубокий, чистый. На нем не было даже птичьих следов.

Сначала дорожка, едва заметная по неглубокой выемке в снегу, проходила около старых лип. Потом она огибала скамейку со сломанной спинкой, пробиралась через обледенелые заросли сирени и оканчивалась около двух ветхих ступенек. Они вели в круглую беседку с деревянными колоннами. Черные стебли дикого винограда цеплялись за погнутые ржавые гвозди, вбитые в эти колонны.

Пахомов сбросил снег с перил. Они были изрезаны начальными буквами имен. Букв было не много. Чаще всего попадались буквы «Т» и «А». Потом счистил снег со скамейки и пола. К обледенелым доскам примерзли прошлогодние листья и вялая, до сих пор еще зеленая трава.

Начал идти редкий снег. Он падал медленно, неохотно. Отдельные снежинки останавливались в воздухе, иногда даже подымались вверх, будто раздумывали, как незаметнее лечь на землю. Пахомов подумал, что снег прикроет следы лопаты и сад опять будет стоять нетронутый, чуть печальный, как стоял всю зиму до этого вечера.

* * *

Татьяна Андреевна проснулась на безлюдном полустанке за Витебском. Поезд стоял. Щелкали горячие трубы отопления, гулко дышал паровоз. Зимний день, похо-

жий на сумерки, белел за опущенной оконной шторой. В купе было по-утреннему сонно. Пахло пылью и мандаринами.

Татьяна Андреевна быстро оделась, вышла в прохладный коридор и зажмурилась.

Зима навалила за окнами россыпи мягкого серебра. Вдали за лесом струился к небу столб прозрачного дыма. По дороге вдоль насыпи ехал в розвальнях человек с белой от инея бородой и хлопал желтыми рукавицами. Лошаденка его — тоже заросшая белой мохнатой шерстью — поблескивала, как стеклянная, когда розвальни попадали на просеки, освещенные солнцем.

Татьяна Андреевна улыбнулась. За последнее время она часто вспоминала серенькую зиму, пар из лошадиных ноздрей, ухабистые накатанные дороги. На них всегда валялось сено и важно бродили вороны.

Скоро Порхов, Старая Русса — уголки, знакомые с детства, лежащие на отлете от торных дорог. Татьяна Андреевна любила их за простодушие и болтливость жителей, за легкую грусть, какую эти места вызывали у нее на сердце. Нельзя было даже назвать это грустью. Вернее, это было ощущение своего, кровного. Здесь прошло детство с несбывшимися смешными мечтами, с бреньканьем бубенцов — они всегда звали Таню в дальнюю дорогу.

Поезд примчал на север воздух Черного моря, одесских кофеен. Этот воздух был наглухо закупорен в жарких вагонах. Он казался чужим, одуряющим тем застенчивым провинциалам в треухах, что садились на промежуточных станциях. В этом капризном воздухе, в горьковатом запахе цедры была нарядность юга, его подчеркнутая и враждебная северу красота.

На столике в купе стояли в стакане с водой четыре темные розы. За всю дорогу они потеряли только три лепестка. Татьяна Андреевна подолгу смотрела, как розы, вздрагивая от стремительного хода поезда, пролетали через белые равнины, проносились по околицам увязших в снегу деревень, врывались в окутанные паром леса.

Татьяна Андреевна еще в Одессе загадала: если цветы не облетят в дороге, то она совсем оправится от болезни и в Новгороде ее ожидает счастье, а если облетят... Ну что же — тогда опять потянется прежняя жизнь без больших радостей и огорчений.

— Без радостей и огорчений,— повторила она вслух,

поймала себя на том, что говорит неправду, и нахмурилась. Огорчения были, и даже очень большие. Из-за них она и ехала с такой радостью в Новгород, на север.

Там ее ожидала неторопливая жизнь, где все приходит в назначенные сроки. Утром зимнее солнце всегда будет покрывать оранжевым светом ствол одной и той же старой березы. За чаем и за обедом всегда будет негромко позванивать посуда, а вечером зажгут в столовой висячую лампу, и Татьяна Андреевна будет перелистывать старые журналы. И постарается ни о чем не вспоминать, отдохнуть всем сердцем.

Когда Татьяна Андреевна оставалась одна в купе, она дышала на цветы, обдувала их теплом и смеялась над собой. Конечно, она еще совсем дура! Все время думает, что кто-то должен погладить ее волосы, потрепать по плечу.

Она перебрала свою жизнь, как перебирают старые письма, и покачала головой. Да, жизнь, кажется, еще не начиналась.

Было детство, заштопанные чулки, платья, перешитые из маминых, боязливая Варвара Гавриловна, длинные зимы и все одна и та же темная картина над роялем — итальянский рыбачий поселок, где валяются на берегу моря мальчишки в красных поясах. А у них по берегам Волхова сидели с удочками только старики, похожие друг на друга. Таня знала их всех в лицо.

Летом она каталась на лодке по Волхову, доезжала до озера Ильмень. Выходила на сырой луг, смотрела на белые громады Юрьевского монастыря, жевала травинку, задумывалась. Она кончила школу, у нее уже были тяжелые косы и низкий голос, но еще ни разу с ней не случалось ничего замечательного.

Должно быть, замечательные вещи случались только в кино — в магическом мерцающем мире, где вихри снега неслись вслед за счастливыми лыжниками и Пола Негри танцевала в кабаках, украшенных лосиными рогами.

Интересные вещи случались еще в книгах и в театре. Таня читала о гибели пленительной комедиантки Марион Делорм, об испанской рыжеволосой артистке Лале Рук, упавшей на колени перед Рихардом Вагнером. В томике Пушкина она нашла в примечаниях две строки из «Евгения Онегина», выброшенные поэтом, но спасенные одним из его почитателей: «И в зал, как лилия крылатая, колеблясь, входит Лала Рук». То, что она считала выдумкой пи-

сателя, оказалось правдой — Лала Рук была в России, и ее видел Пушкин.

Всюду в книгах Таня выискивала прекрасных женщин и хотела им подражать. Тургенев рассказал ей о Лизе Калитиной, Лермонтов — о черкешенке Бэле, Флобер — о госпоже Бовари, Петрарка — о Лауре. Но разве она, застенчивая девочка, могла быть в жизни такой, как эти женщины! Разве о ней мог написать рассказ Лермонтов или грустить Флобер! Только в театре, на подмостках, в разноцветных огнях, она могла бы сделаться одной из этих полных силы и изящества, любящих и страдающих женщин.

Таня решила после школы стать актрисой. Варвара Гавриловна ее не отговаривала.

Театральный учитель Тани, ленинградский актер Бобров, вскоре стал ее мужем. Это был беспокойный человек с желтым припудренным лицом.

Он был всегда вежлив, сух. Когда же был чем-нибудь недоволен, то любил притворяться глуховатым и по нескольку раз скороговоркой переспрашивал собеседника: «Простите, что вы сказали?» После одного-двух таких вопросов пропадала охота с ним разговаривать.

Бобров утверждал, что самое главное для актера — жест, что нужно добиться, чтобы зрители аплодировали жесту, а не словам, и что единственный благородный жанр в театре — это мелодрама. В разговоре он употреблял слова, свойственные маленьким актерам,— «волнительно», «на полном серьезе», «на интиме»,— и думал, что это очень тонко и придает его речи изысканность.

Уже через год Татьяна Андреевна смотрела на мужа с недоумением и не могла понять, как это случилось, что она вышла за него замуж. Ей казалось, что раньше он был совсем другим — внимательным, умным, веселым. Неужели все это оказалось притворством?

Пожилая актриса, игравшая строптивых старух, единственный человек, кого она посвящала в свою жизнь,— объясняла все просто.

— Ты, дочь моя,— сказала она басом,— книги читай, а живи не по книгам. Фантазии брось! Человек он обыкновенный, больной. Ума — сколько надо. А ты что же? Думала, он гений? Живи проще, не заносись!

Но проще ей жить не хотелось. Когда умер муж, она решила создать свой театр из молодежи, где единственным

законом будет искренность, простота, любовь к искусству, лишенная аффектации и возвышенной болтовни.

Она уехала в Одессу, хотела открыть там при драматическом театре студию. Но на это не хватало ни опытности, ни сил, и она по-прежнему оставалась актрисой на ролях трагических героинь.

...Татьяна Андреевна задумалась и не заметила, как зимний день перешел в сумерки. Розоватый свет затлел на снегах. Проводник прошел по коридору и строго сказал в открытую дверь купе:

— Скоро Новгород, гражданка. Собирайтесь. Стоим десять минут.

Татьяна Андреевна заторопилась, собрала свои вещи, достала из сумочки маленькое зеркало и напудрилась.

«В кого я вышла? — подумала она, разглядывая себя в зеркало.— Не в мать и не в отца».

Она была высокая, прямые широкие плечи и каштановые волосы помогали ей играть красавиц героинь, а в зеленоватых глазах и чуть смуглом лице не было ничего русского.

— Совсем я не похожа на северянку,—вздохнула Татьяна Андреевна.— А ведь это все мое, родное!

Посмотрела за окно. Березовые перелески убегали к горизонту. За ними низко блестели свинцовые и золотые купола Софийского собора.

Потом зажглись редкие огни. Поезд обдал паром кривые домишки с резными крылечками и голубятнями. Начинались окраины Новгорода.

И вот наконец вокзал — маленький, всегда безлюдный зеленый вокзал с его финиковыми пальмами и хрустящими скатертями в буфете.

Татьяна Андреевна сошла на платформе. Навстречу бежала худенькая девочка с двумя длинными косами. Она держала в руках мохнатую черную собачонку. Собачонка лаяла на вагоны.

— Маша! — Татьяна Андреевна засмеялась, обняла смущенную девочку и крепко расцеловала ее холодные щеки.— Боже мой, какая ты стала высокая!

— Мама,— тихо сказала Маша и уткнулась лицом в меховое плечо матери.

Татьяна Андреевна взяла ее за подбородок, хотела поднять голову, но Маша упиралась. Муха зарычала. Тогда

Маша подняла голову, посмотрела на мать влюбленными глазами и снова потупилась.

— Это ты рассыпала, мама? — спросила она.

На платформе валялись темные лепестки. Когда Татьяна Андреевна обняла Машу, она прижала цветы к плечу девочки, и одна из роз осыпалась.

— Хорошо, что не все,— ответила Татьяна Андреевна.— Ну, пойдем!

На площади топтались извозчики. Среди них Татьяна Андреевна тотчас узнала голубоглазого старика. Бестолково дергая веревочными вожжами, он подал к вокзальному крыльцу сани, стащил меховую облезлую шапку и пробормотал:

— Дал бог свидеться, Татьяна Андреевна. А то сиротствуем мы без тебя.

Татьяна Андреевна ехала с Машей по знакомым улицам, смотрела на румяных женщин, гремевших ведрами около водоразборных колонок, на убранные инеем высокие липы и улыбалась.

— А у нас живут художники,—сказала Маша, но Татьяна Андреевна даже не расслышала ее слов — из кремля долетел удар колокола и важно поплыл над садами.

— Как хорошо! Ты даже не понимаешь, Маша, как здесь у вас хорошо!

* * *

Весь вечер внизу были слышны разговоры, смех, стук тарелок, лай Мухи. Потом кто-то взял на рояле несколько нот. Варвара Гавриловна сказала: «Маша, зови. Все готово». Рояль затих, но еще долго гудел, будто просил, чтобы на нем продолжали играть.

В мезонине появилась сияющая Маша в новом синем платье и лаковых туфлях. Она остановилась у двери и, не поднимая глаз, глядя с восхищением на свое платье и туфли, сказала Вермелю:

— Бабушка и мама зовут пить чай.

Она покраснела, повернулась и убежала. Вермель проворчал, что у него слишком домашний вид для званого вечера, и торопливо застегнул пуговицы на бархатной куртке. Потом он потер колючие щеки.

— Когда это вы успели побриться, Миша? — подозрительно спросил он Пахомова.

— Да что вы, Николай Генрихович! Я бреюсь каждый день.

— Могли бы и через день. Все равно брить нечего.

Пахомов промолчал. Он привык, что Вермель разговаривал с ним, как с мальчиком, отданным ему, Вермелю, на воспитание.

Они спустились вниз. С кресла поднялась молодая женщина и крепко пожала им руки.

— Вы здороваетесь, как американка,— сказал Вермель. Его ворчливое настроение еще не прошло.— Могли быть художницей.

— Почему? — смущенно спросила Татьяна Андреевна.

— Крепкая рука.

— Это наследственное. У меня и отец и дед — оба были художниками.

— Вот это я одобряю.

Чайный стол сверкал. Старый хрусталь, пылившийся годами в буфете, а теперь вымытый и протертый до алмазного блеска, отражал медный бок самовара, синий узор на скатерти и влажный багряный цвет осыпающихся роз.

На Варваре Гавриловне было коричневое шелковое платье с буфами и кружевная наколка. Пока все пили чай и Вермель, успокоившись, рассказывал о хитрости новгородских мастеров, сумевших скрыть от потомков секреты красок, Варвара Гавриловна смотрела из-за самовара на Татьяну Андреевну и удивлялась — какая красавица!

Откуда только взялись и этот рост, и стройность, и тяжелые волосы, и глаза, что светятся таким хорошим блеском! Говорили, что у них в роду была одна такая красавица, жена прадеда, драгунского капитана Чиркова. Она была полька — взбалмошная и гордая.

Драгунский капитан познакомился с ней в Одессе. И будто бы даже Пушкин был у ее ног. Но мало ли что болтают. Говорили, что их было две сестры-красавицы. Одна вышла за Чиркова, а другая — за знаменитого французского писателя, но Варвара Гавриловна не могла припомнить его имени. Знала только, что писатель перед смертью разорился, и говорили, из-за жены, из-за ее капризов. Он любил ее без памяти и ни в чем ей не отказывал.

Варвара Гавриловна хотела спросить Таню, как фамилия этого французского писателя и как звали красавицу прабабку. Но спохватилась,— как бы художники не подумали, что она кичится прошлым своей небогатой семьи.

После чая художники скоро ушли. Они заметили, что Татьяна Андреевна очень устала.

Перед сном Татьяна Андреевна вышла с Машей пройтись немного по саду. Падал крупный снег, цеплялся за ветки деревьев. Татьяна Андреевна смахивала его с бровей, со лба.

В беседке Татьяна Андреевна протянула руку ладонью кверху. Тотчас на нее упало несколько больших снежных хлопьев. Прижала ладонь к губам. Снег холодил губы, оставил на руке влажный след.

— Вот и опять я увидела зиму,— сказала Татьяна Андреевна.— Очень я по ней соскучилась, Маша.

— А в Одессе не бывает зимы?

— Там зима совсем не такая. Все время ветры, бури, а снег похож на град.

Татьяна Андреевна нащупала на перилах вырезанные буквы «Т» и «А» и усмехнулась.

— Какая я была глупая, Маша,— сказала она.— Изрезала всю беседку. Эти буквы вырезала, когда мне было пятнадцать лет.

— А что они значат?

— «Т» — это Татьяна, «А» — это Александр. Имя Пушкина.

— Зачем же ты его вырезала?

— Любила. И ты когда-нибудь полюбишь.

Среди ночи Татьяна Андреевна проснулась от непривычной тишины. Позванивали пружиной старые стенные часы. Далеко за городом, на запасных путях, закричал паровоз. Из сада проникал в окна синеватый дымный сумрак. Потом донесся давно позабытый стук — ночной сторож бил в деревянную колотушку.

Она улыбнулась, вздохнула, закрыла глаза и, засыпая, подумала: как хорошо, что ночь такая длинная! А утром, когда проснешься, из столовой будет пахнуть только что смолотым кофе и осыпавшимися розовыми лепестками.

* * *

Старинная Троицкая церковь, где недавно открыли фрески четырнадцатого века, стояла за городом у околицы безлюдной деревушки. Такие деревушки на севере зовут «погостами».

Вермель и Пахомов вышли из дому еще в темноте, чтобы дойти до погоста пораньше и успеть засветло сделать наброски фресок. Солнце повернуло к лету недавно, и дни стояли еще короткие. В три часа уже темнело.

На погосте только над одной избой курился дымок. Все остальные избы будто вымерли. Озябший пес вылез из кучи старой соломы и лениво залаял. При каждом лае из его рта вылетали клубы пара. На лай никто ниоткуда не вышел. Пахомов постучал в избу, где курился дымок. Там жил сторож Иван Матвеевич — высокий, рыжий, любивший поговорить о научных предметах. Он вышел в нагольном полушубке, со связкой огромных ключей.

— Отпирать сейчас, или чайку сначала попьете? — спросил он, почесывая небритые щеки.— Я вам самоварчик поставлю.

— Успеешь с самоварчиком,— сказал Вермель.— Ты бы лучше печку в церкви затопил.

— Это можно,— согласился Иван Матвеевич.

Каждый раз Пахомов, подходя к церкви, останавливался и смотрел на ее строгие стены, глубокие оконца, низкие почернелые купола. Сквозь ржавчину просвечивало их красноватое золото.

В церкви стоял каменный холод. Разбитые стекла были закапаны птичьим пометом. На стенах наросла изморозь. Сквозь нее проступали желтые, красные и синие пятна фресок.

Иван Матвеевич затопил железную печку. Около нее можно было греть воду для акварельных красок и оттирать посиневшие пальцы. Запахло дымом. Сухо затрещал огонь.

— Это вы правильно действуете,— сказал Иван Матвеевич, сидя на корточках около печки.— Справедливо надумали все от руки срисовать. Я вам по совести скажу — недолго она простоит, эта церковь. Люди, которые без сознания, давно на нее зубы точат. Кирпичом интересуются. А тут, понимаешь, какой кирпич,— его ломом не отшибешь! Шут его знает, что в него клали,— звенит, как железо.

— А ты откуда знаешь? — подозрительно спросил Вермель.

— А как не знать! Мы в прошлом году звонницу начисто разобрали. Потом, конечно, приезжал секретарь из города, стыдил. Вы, говорит, самовластно стариной не швы-

ряйтесь. В ней, говорит, заложена государственная цена. Мы-то понимаем, что цена, а когда печка в избе завалилась, так тут тебе не до цены!

— Дуроломы вы, вот что! — сказал Вермель.

— Это правильно, дуроломы! — согласился Иван Матвеевич.— Теперь мы, конечно, пришли к пониманию. Бережем, как можем. Вот сторожем меня наняли. Только я соображаю, что жалованье мне идет слабое. Приезжают художники, глядят, рисуют, и только и разговору, что «ох» да «ах», какое, мол, богатство здесь содержится. А мне за его сбережение пятьдесят рублей в месяц, и ни полушки боле.

— Ты бы помолчал, Матвеич,— сказал в сердцах Вермель.— Плетешь сам не знаешь что. Противно слушать.

— Да я ничего,— пробормотал Иван Матвеевич и закурил удушливую цигарку.— Вот весна придет — я стекла вставлю. Ты меня не кори. Я человек трудовой. Я руки плугом оттянул и ко всякому ремеслу имею уважение. Ты погляди, на стенах какая красота. Значит, и труд был великий, большое было старание. Это, конечно, понимать надо. А кто не понимает, тот, по-моему, пустой человек, ненужное существо для нашего государства.

— То ты одно бубнишь, то другое,— сказал Вермель и махнул рукой.

— Милый человек, Николай Генрихович! Да кабы не нужда в кирпиче, мы бы разве звонницу сломали! Ежели бы возможность, мы и пылинки отсюда не вынесли. Ведь небось наши прадеды, самые что ни на есть серые мужички, всю эту прелесть работали. И выходит, что ты на меня понапрасну шумишь.

Художники уже несколько дней трудились в этой церкви и привыкли к болтовне Матвеича. Болтал он больше «для разговора».

Растопив печку, Матвеич долго сокрушался, что в окнах выбиты стекла, обиняками допытывался, не поможет ли ему Вермель достать в городе ящик стекла, и ушел довольный — Вермель обещал похлопотать в городском Совете.

— А то, понимаешь, неловко,— сказал напоследок Иван Матвеевич.— Шут его знает, кто стекла побил. Ребята у нас смирные. Может, сами полопались от ветхости или мороза.

Первое время художники работали молча.

Со стен грозно смотрели святители. Их одежды были разрисованы тусклыми травами, босые ноги стояли на холодных камнях.

— Черт знает,— сказал Вермель,— до чего умело подобраны цвета у этих богомазов. Красный, золотой, оливковый — и ничего больше.

Пахомов не ответил.

— Было бы у меня время,— сказал, помолчав, Вермель,— написал бы я книгу о красках. Конечно, если бы я был писателем,— добавил он неуверенно.— Каким-нибудь Анатолем Франсом.

— Старые итальянцы писали о красках.

— Да кто их читал, ваших итальянцев! Каждой краске я отвел бы главу. Книгу снабдил бы секретами приготовления красок, отклонениями в историю, оптику, в законы солнечного спектра. Так-то, батенька!

— А с чего бы вы начали?

— Не знаю. Должно быть, со своего детства. У моей тетушки в Тихвине висела старая люстра. Подвески у нее были сделаны из голубоватого стекла. Солнце светило в зал, где висела люстра, только по утрам. Так у меня и осталось в памяти: раннее утро, темненький зал, где бегают зайчики от кривых окон, ветер надувает пыльные занавески, и люстра поблескивает на солнце, как гроздь вялого винограда. Тогда-то я и понял, что значит живой цвет. А мы с вами, Миша, всю жизнь возимся с мертвыми красками, черт бы их побрал!

— А Ренуар? — спросил Пахомов.— А Веласкес? Они тоже писали мертвыми красками?

— Конечно! Вы не понимаете, что такое живая краска. Она не только передает ощущение цвета, но и излучает цвет. Она, как маленькое солнце, бросает отблеск на все, что вокруг. Нет таких красок! И никогда не было!

Вермель помолчал.

— Не помните, Миша,— спросил он,— кто писал о красном цвете? Какой-то итальянец... Забыл я, как его звали.

— Нет, не помню.

— У него есть место, где он пишет о разной яркости красок. Забыли? «Утро,— пишет он,— полное свежести и росы, сообщает красному цвету пылающую силу роз, проз-

рачность зари, свойственную воздуху плоскогорий. Днем красный цвет приобретает темный оттенок, похожий на сгустившееся на дне стакана вино. К вечеру солнце склоняется за цветущие холмы, мгла застилает виноградники Умбрии, и красный цвет, равно как и другие краски, приобретает туманный блеск. Его не может передать моя варварская кисть». Хорошо сказано?

— Хорошо,— согласился Пахомов.— Однако какая у вас память!..

На амвоне около иконостаса были сложены куски обвалившихся фресок. Вермель долго рассматривал их, измерил толщину штукатурки и положил несколько кусков в карман. Он утверждал, что прочность красок зависит от штукатурки,— надо было узнать ее состав.

Все тот же пес сидел на снегу около церковной двери и дрожал. Изредка он скреб дверь лапой, просился, чтобы впустили. Потом заскрипел под ногами снег, пес хрипло залаял. Иван Матвеевич просунул голову в дверь и сказал таинственно:

— Гости к вам. Пустить их сюда, или лучше в избу погреться? Баба у меня печку истопила.

— Что ты плетешь? Какие гости? — испугался Вермель.

— Ты не опасайся,— Матвеич усмехнулся, и рыжая щетина на его щеках поднялась, как у ежа.— Гости веселые. Так и быть, пущу их сюда. Ругай меня потом, сколько хочешь.

Он нажал плечом железную дверь, и тотчас Вермель и Пахомов услыхали вместе со скрипом столетних петель смех Татьяны Андреевны и Маши.

— Ради бога, не сердитесь, Николай Генрихович,— сказала Татьяна Андреевна. Ресницы у нее побелели от инея, и потому глаза казались особенно умоляющими.— Мы гуляли с Машей и забрели сюда.

— С ума вы сошли! — закричал Вермель.— Сейчас же в избу!.. Тут можно смертельно простудиться. Миша, уведите ее, ради бога! Что это за причуды — после болезни лезть в этакий столетний холодильник!

— Мы только хотели посмотреть, что вы здесь делаете.— Татьяна Андреевна прикрыла рот платком.— Я сейчас же уйду.

— Настоящая девчонка, честное слово! — пробормотал Вермель.

По дороге в избу Татьяна Андреевна рассказала Пахомову, что они гуляли с Машей по городу, потом вышли в поля. День в полях был такой мягкий и тихий, что они решили дойти до погоста.

В избе чуть пахло угаром. Жена Матвеича вытерла фартуком широкую лавку, усадила гостей. Маленький мальчик в огромных валенках сидел на полу, сопел и строгал из щепок игрушечные лыжи. Он исподлобья взглянул на гостей и опустил голову. На вопросы он не отвечал — только широко ухмылялся. Должно быть, обыкновенные вопросы — сколько ему лет, как его зовут и что он делает — казались ему очень глупыми.

Пришел Вермель, еще раз накричал на Татьяну Андреевну и сел за стол. Татьяна Андреевна сняла платок. Жена Ивана Матвеевича взглянула на нее, охнула и запела:

— Желанная моя! Глядеть-то на тебя можно? Гневаться не будешь?

— Гляди, Кондратьевна,— сказал Вермель.— Может, в другой раз не сподобишься.

Татьяна Андреевна с упреком взглянула на Вермеля, а Маша засмеялась.

— Я и гляжу,— сказала Кондратьевна, и на озабоченном ее лице появилась удивленная улыбка.— Хоть на чужую красоту наглядеться. Свою-то я давно забыла. Да и была ли она — не припомню. Иные бабы завидные к чужой красоте, а я рада. Старухи наши говорят, где красота — там и рай. Изба у нас дымная, ну прямо курная, а ты вошла — и никакого убранства не надо: ни шитья, ни свечей, ни цветов. Осветилась изба.

— А ты, чем стоять столбом,— сказал Матвеич,— скорей бы чаю дала. Люди пришли с мороза.

Кондратьевна поставила на стол синие треснувшие чашки, но снова всплеснула руками и засмеялась:

— Люди болтают, что для красоты и месяц подымается, чтобы ночью она не скрывалась от глаз. Век у нее недолгий.

«Откуда у Кондратьевны такие слова? — подумал Пахомов.— В каких углах сознания рождается поэзия? Кто может сказать, откуда пришли стихи Пушкина о том, что «неба своды сияют в блеске голубом», сказки Андерсена, органные грозы Баха?»

Уходили с погоста в темноте. Небо очистилось от туч. Над пустыми полями горела звезда. У Татьяны Андреев-

ны смерзлись ресницы, и потому ей казалось, что от звезды падают на дорогу ломкие полосы света.

— Зажмурь глаза,— приказала она Маше,— и посмотри вон на ту звезду.

Маша зажмурила глаза и тоже увидела колючие лучи.

А на погосте долго лаял им вслед мохнатый пес. Лаял от досады, что они ушли. Пес любил, чтобы его трепали по свалявшейся шерсти, но до Маши никто этого не делал.

Он взвизгивал, сидя на пороге избы, пока мальчик в огромных валенках не втащил его за веревочный ошейник в сени. Тогда пес потоптался на старой соломе, лег, долго смотрел в темноту и подымал уши — слушал, не возвращается ли Маша. Но никто не вернулся. Пес тяжело вздохнул, положил голову на лапы и закрыл глаза.

* * *

Метель гудела всю ночь над Михайловским, Тригорским, над Соротью. Столетние ели в пушкинском парке гнулись в свинцовом дыму. Морозная пыль летела из волчьих полей. Изредка в небе светилось голубоватое пятно — за тучами пробивалась луна, но тотчас гасла — с заунывным свистом на нее неслась темнота.

Ветер швырял снег на страшную высоту, как белые косматые протуберанцы. Швейцеру казалось, что снег долетает до луны и падает на ее изорванные в клочья железные горы.

Швейцер ни разу не видел такой метели. Почти всю жизнь он прожил в Ленинграде. Уезжал только на дачу около Луги или в Крым, в Коктебель.

Знаток Пушкина, собиратель всего, что имело отношение к поэту, он, Семен Львович Швейцер, до пятидесяти лет не успел даже съездить в Михайловское. Всегда както неудачно складывалось время. То приходилось писать срочные статьи, то все время отнимала работа над обширными исследованиями, а они требовали постоянного сидения в архивах и библиотеках, то, наконец, восставала жена, Серафима Максимовна. Ей казалось, что в деревне Швейцер тотчас же простудится и умрет.

В молодости у Швейцера пачиналась чахотка, его послали в Давос. Там он и встретился с Серафимой Максимовной — студенткой Лозаннского университета.

Серафима Максимовна происходила из потомственной семьи врачей. Ее отец — седоусый хмурый хирург — потребовал, чтобы опа тоже стала врачом и обязательно училась за границей. Серафима Максимовна походила на отца — коренастая, с усиками над губой, копной седых волос и серыми спокойными глазами.

Говорила она громко, решительно. Швейцер — маленький, худой, очень подвижный, носивший старомодную седую бородку — казался перед ней гномом.

Он уважал Серафиму Максимовну и побаивался ее. Она одобряла его литературные занятия, даже гордилась ими, ходила со Швейцером только в концерты, считая театр грубым зрелищем, но неумолимо осуждала все попытки мужа вести рассеянный образ жизни.

А Швейцер увлекался театром, любил споры до рассвета, хорошее вино — словом, все, что в их белой больничной квартире выглядело бы совершенно нелепо.

Серафима Максимовна недолюбливала старого школьного товарища Швейцера — холостяка художника Вермеля. Нетерпимый и резкий, он смущал Швейцера едкими разговорами о семейном гнезде, о дурном вкусе людей, повесивших в кабинете на видном месте «Боярский пир» Маковского. Конечно, Вермель знал, что эту картину повесила Серафима Максимовна.

Кроме того, Вермель был фантазером. Эту черту у пожилого человека Серафима Максимовна считала серьезным недостатком. Он мог, например, в полночь вытащить Швейцера на острова только для того, чтобы посмотреть на какое-то отражение в воде.

Когда Серафима Максимовна негодовала, Вермель обычно ссылался на Пушкина. Зачем же Швейцер занимается жизнью этого кипучего, беспечного, склонного к мальчишеству поэта, если не считает, что эти свойства Пушкина заслуживают подражания? Особенно раздражало Серафиму Максимовну то, что Швейцер всегда соглашался с Вермелем.

И вот сейчас, на пятидесятом году, Швейцер наконец решил поехать в Михайловское. Уговорил его, конечно, Вермель. Швейцер начал работать над книгой о жизни Пушкина в Михайловском, Вермель сказал, что если

Швейцер и сейчас не поедет в Михайловское, то он попросту гробокопатель. Как можно писать о Пушкине — и не увидеть тех мест, которые поэт любил с таким напряжением!

И Швейцер поехал. Ему отвели комнату во флигеле, в парке, где останавливались научные работники Пушкинского заповедника. Зимой флигель пустовал. Прислуживала Швейцеру пожилая рыхлая женщина, Мария Прохоровна. Швейцер подозревал, что она — бывшая купчиха из Пскова, но Мария Прохоровна выдавала себя за вдову телеграфиста.

Мария Прохоровна много спала, любила гадать на картах, раскладывала пасьянсы и все глядела за окошко — какая нынче погода, хотя погода ей была ни к чему: из дому она почти не выходила.

Швейцеру нравилось в Михайловском все — величественные леса, где меж сосен лежал свет холодного солнца, трогательный домик няни и собственное одиночество. Но больше всего его радовало сознание, что все это видел Пушкин,— видел вот таким же, каким видит сейчас и он, Швейцер.

Работать было легко. Ледяная вода в рукомойнике, тишина во флигеле, где единственным звуком был треск разгоравшихся дров, ясность сельской жизни бодрили, освежали голову.

«Бессмысленный я человек,— думал Швейцер.— Зарылся в архивную пыль и прозевал жизнь. Теперь не наверстаешь. И о Пушкине надо было писать не по чужим книгам, а хотя бы по ощущению этой зимы».

Однажды ночью Швейцер проснулся, и ему пришла в голову мысль, что лучше всего можно написать о поэте или писателе, если пережить самому все, что испытывал он, увидеть все, что он видел, перестрадать всем, чем он страдал.

Это была еретическая для ученого мысль, но Швейцер обрадовался ей. Он решил, что новую книгу о Пушкине напишет иначе, чем писал до сих пор. Это будет книга о живом, обаятельном человеке, а не бесконечное повторение своими словами пушкинских мыслей. Эти мысли поэт лучше всего высказал сам.

О том, что будет с ним дальше, Швейцер старался не думать. Очевидно, на прошлом надо поставить крест. Хотя бы в пятьдесят лет, но должна же начаться на-

конец совсем иная, чем прежде, важная для него, интересная жизнь.

Ему казалось, что эта жизнь началась сегодня, с полудня, когда он увидел за окном, как над полями, дымясь, летела поземка. Лесистый холм за озером Маленец, берега Сороти и домик няни исчезли во вьюге.

Мир за окном перестал существовать. Белый свет разлился по комнатам. Швейцер почувствовал себя не то на зимовке, не то в осаде. Почтальон не принес газет из Пушкинских Гор. Водовоз Степа пришел обледенелый и сказал, что привезти воду из проруби на Сороти нет возможности — дорогу завалило, и лошаденка тонет в снегу по брюхо: «Уж как-нибудь обойдетесь водой, что осталась на дне кадки».

Вечером Швейцер решил пробраться в большой дом, где был устроен пушкинский музей. Дом выстроили недавно на месте старого, сгоревшего в 1907 году.

Мария Прохоровна ужаснулась, но Швейцер заупрямился и, закутавшись, вышел на крыльцо. В лицо ударила лавина снега. Швейцер ослеп, задохся, но все же добрался до большого дома.

Там было тепло и тихо. Швейцер зажег свечу и обошел зеленые, оранжевые и серовато-голубые залы. Поблескивали рамы. На стенах шевелились тени от канделябров, кресел и мраморных бюстов.

Швейцер поставил свечу на маленький овальный стол из карельской березы. Тотчас язычок пламени утонул в его золотой глубине. Швейцер достал из ящика стола бумагу и карандаш и начал писать. Изредка он останавливался, прислушивался к вою метели и смотрел на портрет на стене. На нем была изображена молодая женщина в синем бархатном платье, с глазами такими туманными и большими, будто в них навсегда остались все сны за всю ее жизнь. То был портрет Каролины Сабанской, красавицы польки. Ею Пушкин был увлечен в Одессе.

«Николай Генрихович,— писал Швейцер,— не могу даже рассказать, как я благодарен, что ты заставил меня поехать в Михайловское. Ты всегда прав, несмотря на то что много и без толку кипятишься.

Приезжай ко мне из Новгорода, хоть на три дня. Я держу в запасе несколько бутылок красного вина — твоего любимого саперави. Захвати Пахомова. Милый юноша!

Если бы все были такими, как он, мы, старые хрычи, смогли бы умереть беззаботно.

А теперь вот что. Мне надоело заниматься второсортными вещами. Я бунтую пока в одиночестве, среди этой глубокой зимы. Бунтую против своего прошлого. Жаль, что взбунтовался я поздновато, но... «быть может, новый Гайдн сотворит великое — и насляжуся им». Кто знает!

Пишу тебе вечером в пушкинском доме, а ощущение такое, что уже перевалило далеко за полночь. Метель ревет с утра и похоронила нас в снегу. Все это очень здорово. Приезжай».

Швейцер подумал и приписал:

«Ты был прав. Нет худшей участи, чем собирать крохи с богатого стола и растолковывать людям то, что совсем не нуждается в толковании,— настолько оно прекрасно, просто и понятно. Конечно, я говорю о критических и литературоведческих своих работах. Между прочим, самое это казенное слово «литературоведение» меня начинает бесить. Оживить в нашем сознании образ давно умершего большого поэта, возможно, дано только поэтам,— не знаю. Знаю только, что вся моя прежняя работа напоминает рассказ о докучливом черте. Ты, должно быть, помнишь, как он суконными словами рассказывал веселым детям, как надо играть в мяч, и дети в конце концов зашвырнули мяч в овраг и расплакались от скуки.

Сейчас мне пришло в голову, что весь мой прошлый труд был бы оправдан только при условии, если бы мне удалось найти еще неизвестные стихи Пушкина. Это была бы настоящая заслуга, настоящее счастье. За это меня поблагодарили бы миллионы людей. Но, увы, это, конечно, одни бессмысленные мечтания. Пожалуйста, не смейся надо мной.

Здесь есть превосходные портреты. Тебе не мешало бы кое-чему поучиться у стариков, которые их писали. Передо мной висит портрет Сабанской. Она была авантюристкой, но, бог мой, какие глаза и какие волны волос! Должно быть, все это выдумал художник.

Ну, прощай. Буду ждать».

Швейцер окончил письмо, взял свечу и долго рассматривал портрет Сабанской. Какой у нее был голос? Должно быть, низкий, гортанный. Швейцер вздрогнул. Ему показа-

лось, что этот голос произнес какое-то слово. Должно быть, снег зашуршал по окну. Швейцер вспомнил совет Вермеля — никогда одному не рассматривать по ночам портреты,— взял свечу и пошел к двери.

В дверях он оглянулся. Красавица смотрела спокойно, как бы не видя его, и улыбалась. Швейцер поежился и вышел в прихожую. Весь пол был в мелком снегу. В щелях наружной двери тихонько свистел ветер.

* * *

Метель шла с севера, от Ледовитого океана. Она пронеслась над Ленинградом, закутала в косматые овчины колонны дворцов, выдула с улиц привычный серый свет и оставила взамен нестерпимую белизну.

Она долго дымила и плутала по лесам, заносила деревни. На второй день она дошла до Новгорода и закружилась около таких же белых, как и она сама, церквей и соборов.

Колокола гудели от ветра. Снег набивался во впадины между выпуклыми буквами на ободьях колоколов. То были имена литейных мастеров и воевод, чьим старанием эти колокола были «построены» в Великом Новгороде.

Татьяна Андреевна сидела на полу около сундука со старыми книгами, вынимала их, перелистывала, прочитывала две-три строчки и откладывала. Маша ушла в школу, художники работали в церкви па погосте, а Варвара Гавриловна возилась на кухне.

Метель светила в окна. Татьяна Андреевна увидела на раскрытой странице пыльцу от давно умершей моли. Она стерла пыльцу и прочла:

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно —
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.

Раскрыла паугад другую книгу: «В сердце моем было больше печалей, чем листьев на дереве».

Татьяна Андреевна отложила обе книги в сторону. Она даже не посмотрела на заглавный лист. Ей хотелось прочесть несколько книг, не зная имени их авторов.

Она вытащила из сундука еще один толстый том, открыла его и снова прочла:

«У рыбаков Нормандии существует поверье, будто облака, проходя над странами, приобретают их точные очертания. Взглянув на облако, можно сказать, откуда оно появилось. Таким образом, человеку, заброшенному далеко от родной земли, иногда выпадает счастье увидеть свою вторую, облачную родину, плывущую высоко, в солнечном сиянии неба».

— Что ты говоришь, Танюша? — спросила из кухни Варвара Гавриловна.

— Я читаю, мама.

Она закрыла книгу и вздохнула от ощущения легкости на сердце, от света метели, наконец, оттого, что можно еще долго перебирать книги, а потом, не вставая с пола, положить голову на сиденье старого мягкого кресла и задремать.

Когда Варвара Гавриловна принесла кофейник, Татьяна Андреевна уже спала, положив голову на кресло, а в ногах у нее лежала, свернувшись, Муха.

Варвара Гавриловна тихонько вернулась на кухню, села на табурет и притихла. «Пусть спит. Должно быть, после болезни у нее осталась слабость. И вот здесь, в теплоте старого дома, эта слабость проходит в дремоте. Какое счастье, что Танюша вышла такая милая,— лишь бы опять не случилось у нее в жизни неудачной любви».

Варвара Гавриловна не сразу услышала, как позвонил почтальон. Вытирая рукавом снег с красного лица, он протянул письмо. Письмо было Вермелю. Оно подмокло. Конверт сделался фиолетовым от чернил.

Варвара Гавриловна положила письмо на печку в кухне, чтобы оно просохло, и снова села на табурет. Ей казалось, что, сидя так, она оберегает сон Танюши,— старушка могла бы просидеть весь день. Иногда Варвара Гавриловна вставала и заглядывала в приоткрытую дверь на Татьяну Андреевну — волосы у нее растрепались, по щеке разлился румянец. И каждый раз Муха открывала один глаз и, подозрительно глядя на Варвару Гавриловну, ворчала.

Татьяне Андреевне снилось, будто она идет по берегу моря. Над ней летят белые птицы. Птичий пух падает на платье. Она ловит его на ладонь, дышит на него, и пух тает, превращается в капли воды. В каждой капле блестит крошечное, как булавочная головка, солнце, она стряхивает капли на землю. Они подпрыгивают, катятся и звенят, как дверной колокольчик.

Мимо Татьяны Андреевны проходит Вермель с шарманкой за спиной. Земля так густо покрыта пухом, что Татьяна Андреевна не слышит его шагов,— только поскрипывает рассхошаяся шарманка. Татьяна Андреевна идет за Вермелем. Они входят в темный двор. Вермель вертит шарманку. Шарманка начинает высвистывать старый мотив, а Вермель поет простуженным голосом:

Плачьте, красавицы, в горном ауле,
Правьте поминки по нас.
Завтра с последнею меткою пулей
Мы покидаем Кавказ.

Татьяна Андреевна смеется. Вермель говорит, чтобы она перестала, потому что спит Татьяна Андреевна и разбудить ее отважится только дикарь.

Она проснулась и тут же услышала сердитый шепот Вермеля:

— Ходите по лестнице, как дикарь, честное слово!

Татьяна Андреевна сказала, не открывая глаз:

— А я не сплю. Можете говорить громко. Какая чепуха мне приснилась!

— Татьяна Андреевна, хотите потерять три дня? — спросил ее Вермель с площадки лестницы.

— А что?

Она села на ковре и поправила волосы. Глаза ее, промытые сном, спокойно блестели.

— Вот.— Вермель показал размокшее письмо.— Приглашают на несколько дней в Михайловское. Нас всех.

— Кто приглашает?

— Мой приятель, пушкинист Швейцер. Чудный болтливый старик. Хотите поехать?

— Да куда ехать-то? — испугалась Варвара Гавриловна.— За тридевять земель. Что вы, Николай Генрихович!

— Матушка, милая! — закричал Вермель.— Это же сейчас за Псковом. Одна ночь езды. Поедем втроем. Возьмем Мишу — он тут без меня совершенно распустится.

Татьяна Андреевна встала.

— Ну что же,— сказала она.— Я бы хотела там побывать.

— Значит, едем?

— Хотя бы сегодня вечером.

— Люблю цыганскую жизнь! — воскликнул Вермель.— Люблю болтаться по России!

Варвара Гавриловна немного погоревала. Из двадцати дней, что Татьяна Андреевна должна была провести дома, три дня пропадали. Но горевать было некогда — надо было пораньше накормить всех ужином. Варвара Гавриловна начала хлопотать и забыла о своем огорчении.

До вокзала дошли пешком и сели в полутемный вагон. Поезд подолгу задерживался на маленьких станциях. На каждой из них горел на столбе керосиновый фонарь и бродили по платформам возчики в черных валенках. Как всегда во время ночных поездок, в вагоне плакал, заходился грудной ребенок. Молодая женщина в желтом твердом зипуне качала его и пела песню, какую поют все матери уже много-много веков. «А-а-а-ай,— пела она и сама дремала.— А-а-а-а-ай, ты, мальчишка, засыпай».

В Порхове вышли на платформу. Поздняя ночь чувствовалась в хриплых голосах кондукторов, в пустом, ярко освещенном буфете, где спал за столиком русоволосый летчик, а девушка за прилавком, в белом халате поверх шубы, смотрела на него и сонно улыбалась, в громком хрустении снега, накопец, в том, что ни над одной крышей не подымался дым. На окраине, на взвозе светилось окно, должно быть, в комнате больного,— одно освещенное окно на весь городок.

В Пскове надо было пересаживаться. Поезд пришел в пять часов утра. Татьяна Андреевна, Вермель и Пахомов выпили жидкого чаю в буфете.

До поезда на Михайловское оставалось два часа. Пошли в город. После вокзальных залов, сизых от чада, похожих на становья кочевников, воздух в темных улицах показался пахучим, свежим.

Дошли до кремля. Сложенный из серого камня, северный кремль стоял на крутом холме над рекой Великой. В глубоких воротах, в бойницах, в запутанных переходах пряталась столетняя темнота. Казалось, что она осталась здесь со времен Ивана Грозного и все еще сочится из низких домов запах лампадного масла, повального сна.

— Люблю шататься по России,— вздохнул Вермель.

Татьяна Андреевна всматривалась в крепостные башни. Кровли их походили на монашеские шлыки. Башни стояли худые, угрюмые. Они осуждали все, что происходило у их подножья: неожиданную вспышку автомобильных фар, пронзительный гудок паровоза, электрические огни, побледневшие от рассвета.

* * *

Комсомольский лыжный пробег из Пскова в небольшой городок Опочку пришлось отложить из-за метели.

Варя и ее подруга Нина Черненко были огорчены. Обе они — студентки Одесского университета — приехали в Псков на зимние каникулы.

Им очень хотелось пробежать на лыжах по северным лесам, но метель бушевала уже вторые сутки. Каникулы кончались, приближался отъезд.

Варя приехала в Псков к отцу — он преподавал географию в одной из здешних школ. Она привезла с собой Нину.

Нина никогда еще не была на севере. Почти всю жизнь она прожила в Одессе с отцом. Мать у нее давно умерла. Отец — капитан торгового флота, человек флегматичный, насмешливый, не любивший никаких огорчений,— взял в дом для воспитания Нины дальнюю родственницу — тетю Полину.

Тетя Полина — вертлявая некрасивая женщина — много и без толку волновалась, считала себя красавицей, говорила, что не вышла замуж только из гордости. За нее когда-то сватался вдовец Дуварджоглу — бывший кладовщик кондитерской фабрики. Но он был грек, а тетя Полина считала себя столбовой русской дворянкой. Она не хотела выходить за человека такой сомнительной национальности.

После революции Дуварджоглу поступил в портовый пакгауз. Он остался верен тете Полине и часто приходил к ней попить кофе, посплетничать о политике. Он был толст, неряшлив. От прошлого у него сохранились только треснувшие янтарные четки. Но Нине казалось, что черный люстриновый пиджак Дуварджоглу до сих пор пахнет халвой и рахат-лукумом.

В Пскове Нина и Варя много бегали на лыжах, тренировались перед походом в Опочку. С каждым днем Нине все больше нравился свист лыж по насту, полет с крутых гор и, наконец, то, что зима для лыжников была такая же чудесная, лишенная холода пора, как лето для остальных людей.

Как у всех подруг, у Нины и Вари были свои маленькие тайны. Они увлекались «языком жестов». На нем когда-то говорили индейцы Северной Америки. Один иностранный моряк подарил Нининому отцу английскую кни-

гу об этом языке. В книге было около тысячи изображений разных жестов.

Нина с Варей выучили только шестьдесят жестов племени «Острого топора», но и этого было довольно, чтобы передавать друг другу сложные фразы.

Тетя Полина пугалась жестов и называла Нину и Варю «психическими девчонками». Непосвященные люди принимали девушек за глухонемых, разговаривающих пальцами.

Были любимые жесты, например: «Ты совсем раскисла». Чтобы передать эти слова, надо было провести ладонями вниз по лицу, как по свисающим мокрым волосам, и опустить уголки губ. Был еще насмешливый жест. Он назывался «настоящий мужчина». В этом случае надо было сделать каменное лицо и уминать большим вывернутым пальцем табак в несуществующую трубку.

Девушки очень веселились, разговаривая жестами. Иногда этот язык позволял им сказать друг другу незаметно для окружающих, что в их общество затесался дурак или что у Нины вылетают шпильки из волос. Отец Нины запретил ей стричь волосы. Она была известна в университете длинными светлыми косами, обернутыми венком вокруг головы.

...На третий день к вечеру метель утихла. Тучи свалились на юг. В зеленом небе появились звезды — предвестницы мороза.

Прибежал участник похода — сосед, ленинградский студент Вова Толбухин — и сказал, что старт назначен на завтра на семь часов утра. Начались приготовления. Девушки разогревали лыжи на примусе, смазывали их темной пахучей мазью, проверяли крепления и завидовали Вове — у него крепления были не из ремней, а из блестящих никелированных пружин.

Спали плохо. Среди ночи Нина несколько раз вставала и смотрела на термометр, вывешенный на веревочке за форточку. Он показывал девять градусов мороза. Чем ближе к рассвету, тем все медленнее тикали старые ходики. «Устали они, что ли?» — подумала Нина.

Когда ходики доплелись до пяти часов, Нина разбудила Варю. Они умылись в холодной кухне, там же при лампе напились чаю и вышли в лыжных костюмах на улицу. Чуть синело. Над снежными равнинами за рекой Великой проступал рассвет...

За городом лыжники повернули на целину и пошли дву-

мя цепями. Чем дальше шли, тем меньше было перекличек и смеха, тем теснее обступали их леса и, наконец, скрыли в дремучих чащах.

Ломкий желтый мох на стволах деревьев, торчащие из-под снега стебли высокой травы, посвистывание синиц, плоские снежинки в неподвижном воздухе — все это казалось Нине неправдоподобным.

Она остановилась — лыжный след пересекали маленькие частые ямки, очень глубокие, с пятью вдавлинами от когтей. Это был след белки. Тут же лежали высыпавшиеся семена ольхи. Они напоминали стаю крошечных черных птиц, разлетевшихся по снегу,— у каждого семени было два крыла.

Дорога пошла вниз по просеке, в заваленный снежными обвалами овраг. Передние лыжники сильно пылили. Просека суживалась. Все чаще приходилось нагибаться, чтобы проскользнуть под ветками. Каждый снежный сугроб казался медвежьей берлогой.

Лыжники остановились.

— Что там? — крикнула Варя.

— Проверяют по компасу направление,— ответили из передних рядов.

Нина сорвала с березы несколько сережек, разломала одну из них — внутри сережка была совершенно зеленая, свежая.

«Неужели весна?» — подумала Нина и прислушалась — в овраге журчало, будто там лилась талая вода.

Лыжники двинулись дальше. Крутая тропа заставляла их мчаться с такой скоростью, что воздух свистел в ушах. Приходилось делать быстрые повороты. Нина уже не смотрела по сторонам. Она видела только спину переднего лыжника и старалась сохранить между ним и собой безопасный просвет. Всякий раз, когда она начинала волочить палки, чтобы замедлить опасный полет, Варя, мчавшаяся сзади, кричала: «Нинка, брось!» Поднятый палками снег бил Варе в лицо и мешал следить за дорогой.

Неожиданно внизу поднялся белый вихрь. Лыжники на полном ходу круто сворачивали, взрывая снег, и останавливались. Нина тоже остановилась, едва не упала, но выпрямилась, раскрасневшаяся и недоумевающая. По дну оврага бежал незамерзший ручей. Лыжники пошли вдоль ручья, чтобы найти переход. Ручей обрадовал всех своей болтливостью среди всеобщего оцепенения.

За ручьем начался подъем. Сделали короткий привал. Нина вынула из рюкзака бутерброды с ветчиной и мандарины. Никогда еще ветчина не казалась ей такой сочной, а мандарины напоминали крюшон, от их ледяного сока даже заныли зубы. Кожуру мандаринов Нина положила на ветку маленькой елки — на удивление лесным птицам.

— Ты не раскисла? — спросила жестами Варя.

Нина засмеялась.

— Ты — Сольвейг,— сказала Варя.

— Кто? — не расслышала Нина.

— Сольвейг, норвежская красивая девушка. У тебя щеки горят, будто ты влюблена.

— А ты дефективная,— ответила Нина.

Лес кончился. Пошли холмы с одинаковыми соснами. Потом лыжники, растянувшись цепью, долго скользили по замерзшей реке. На закате вышли к деревушке. Она, как медведь, продышала в снегах сырое пятно и слабо курилась.

Ночевали в школе на сдвинутых партах. Было непривычно, весело, и раздражал всех только один лыжник. Он шел в сапогах, его гимнастерка была разукрашена множеством жестяных значков. В пути все время выкрикивал команды, смотрел хмуро, пронзительно и говорил вывихнутым языком. Опушку леса называл «видимым рубежом», шаг называл «уносом ноги». С колхозниками в деревнях заводил разговоры о преимуществах колхозного строя и при этом деревянным голосом выговаривал всем известные лозунги. Он считал это агитационной работой.

Колхозники смотрели на него, посмеиваясь, смущаясь,— совестно было за человека. К счастью, он натер себе сапогом ногу, и наутро его отвезли в розвальнях на ближайшую станцию. Тотчас же среди лыжников началось оживление, смех. Снега, леса, небо, деревенские белобрысые мальчишки, самый бег на лыжах показались во сто крат прекраснее, чем были раньше, когда всюду совался этот человек с желваками на скулах, низким сморщенным лбом и сверлящими глазками.

Нина проснулась утром от ощущения легкости во всем теле. Верхушки елей освещало багровое солнце. Медленно поднимались ввысь, розовели облака. Торопливо, наперебой кричали петухи, будто каждый старался раньше других рассказать людям о начале нового дня.

Весь этот день Нине, Варе и всем остальным казалось, что рядом бродит весна. Подснежники, наверное, уже прорастали в земле — их слабый травянистый запах просачивался сквозь снег.

Лыжники жмурились от снежных ковров, часто останавливались, отдыхали, опершись подбородками о палки, и смотрели вдаль, где что-то тихо мерцало.

— Должно быть, Пушкинские Горы,— сказала Варя.— Уже близко.

Пушкинские Горы остались в стороне. Лыжники шли на Тригорское. Там был приготовлен ночлег на базе для туристов.

Пришли засветло. База была устроена в бывшем доме священника — тесном, с узкими лестницами и множеством пристроек. Всюду топились печи. За окнами терялась в сумерках псковская земля. Она мерещилась Нине чудесной путаницей столетних парков, озер, крутых холмов, заиндевелых рощ.

Когда Нина и Варя переодевались, они слышали за перегородкой разговор лыжников с заведующим базой — добродушным человеком в очках и полушубке. «Отсюда до Михайловского,— говорил он,— всего два километра. Вот по той дороге! Видите? По ней Пушкин каждый день ходил к нам в Тригорское».

Нина вдруг обняла Варю, положила голову ей на плечо и покраснела.

— Чего ты? — удивленно спросила Варя.

— Не знаю...

Варя, подняв ее за подбородок, строго сказала:

— Ты что! Плакать? Этого еще не хватало!

— Нет, нет,— поспешно ответила Нина.— Мне очень хорошо. Неужели мы с тобой в Тригорском?

— А как же ты думаешь?

— Ты понимаешь, я не знала, что это так подействует. Должно быть, я давно мечтала увидеть эти места, но не сознавала даже, о чем мечтаю.

— Мы здесь пробудем два дня,— сказала Варя.— Успокойся, пожалуйста.

Они прошли в столовую. Там две деревенские девушки кормили лыжников обедом. Девушки говорили по-местному: «цорный хлеб», «цай», «опоцка». Этот цокающий говор казался необыкновенно милым.

После обеда, хотя уже темнело, Нина, Варя и Вова Тол-

бухин пошли в Михайловское. Заведующий базой дал им записку к Швейцеру с просьбой показать музей. Остальные лыжники решили идти в Михайловское утром.

— Кто этот Швейцер? — спросила Варя.

— Эх, ты! — сказал с упреком Вова.— Известный пушкинист, профессор.

— Как-то даже неловко,— заметила Нина.

За косогором, где дорога шла по опушке высокого соснового леса, они встретили странных в этой глуши людей — маленького веселого старика, красивую женщину в меховой шубке и молчаливого молодого человека. Вова смело подошел к ним и спросил старика, где можно найти в Михайловском профессора Швейцера.

— Во-первых, Швейцер — это я,— ответил старик.— А во-вторых, я не профессор и никогда им не буду. Ну, давайте знакомиться.

Нина сжала руку Вари и тихо сказала ей:

— Посмотри на эту женщину!

— Ну что? — шепотом спросила Варя.

— Не узнаешь?

— Погоди, погоди,— пробормотала Варя.— Да это, кажется...

— Это наша одесская актриса Татьяна Боброва,— перебила ее Нина.— Вот это встреча!

— Ну, я рад, что вы пришли,— говорил Швейцер девушкам, будто они были друзьями с давних пор.— Пойдемте к нам, выпьем чаю со здешним медом, а потом я вам покажу все, что хотите.

Он взял девушек под руки, и все пошли через лес к усадьбе. Вова Толбухин совершенно сконфузился и плелся сзади.

* * *

Девушки смотрели на Татьяну Андреевну сияющими глазами. Она была готова побиться об заклад, что обе они мечтали стать актрисами. Спросила их об этом. Девушки переглянулись и засмеялись.

Татьяна Андреевна обрадовалась, когда узнала, что девушки — одесские студентки. Они вспомнили вместе жестокий декабрьский шторм, когда море катило мутные валы и на рейде качался на якорях грузовой пароход «Коимбра», пришедший из республиканской Испании. Ока-

залось, что девушки, так же как и Татьяна Андреевна, каждое утро подбегали к окну, чтобы посмотреть, что с «Коимброй» — не сорвало ли ее с якорей. Но пароход мотался в зеленом рассоле бури и девушки успокаивались.

Нина на минуту задумалась. Вот Варя сказала ей в лесу, что у нее, у Нины, горят щеки, будто она влюблена. Нина ни в кого не была влюблена. Пожалуй, один раз она была готова увлечься, но, может быть, это ей показалось...

Она встретила в театре на «Хозяйке гостиницы» нескольких испанцев с «Коимбры». Это были коренастые загорелые люди, и только один отличался от них,— он был светловолосый, худой. Застенчиво, с излишней поспешностью он встал, чтобы дать Нине пройти на ее место. Ей захотелось с ним познакомиться, но она не решилась. Только узнала его имя — Рамон Перейро — и еще, что он не моряк и живет на испанском пароходе в качестве пассажира.

Потом она встретила его в городской библиотеке, туда Перейро приходил читать французские газеты. В библиотеке Нина помогла испанцу, плохо понимавшему по-русски, и они немного поговорили.

Мирандолину в этом спектакле играла Татьяна Андреевна. Нина решила спросить ее сейчас о Рамоне. Она слышала, что его несколько раз видели в обществе актеров. Но пока Нина собиралась заговорить с Татьяной Андреевной за чаем, неугомонный Швейцер заторопился и потащил всех в музей.

По случаю необычайного среди зимы наплыва посетителей Мария Прохоровна зажгла в залах лампы, а кое-где, по просьбе Швейцера, и свечи. Дом был недавно протоплен, и можно было снять в прихожей шубы.

Швейцер помог Татьяне Андреевне и девушкам раздеться и очень обрадовался, когда увидел среди старинных зеркал, портретов и кресел трех нарядных женщин и услышал слабый запах духов. Он ощутил в этом особое внимание к Пушкину. Он был благодарен Татьяне Андреевне и девушкам за то волнение, с каким они вошли в невысокие музейные залы.

Через широкое окно Татьяна Андреевна увидела, как в сизом небе за Соротью подымалась луна. Она показала на нее Вермелю.

— Торжественно! — согласился Вермель.— Мрачно, но великолепно!

Все переходили из комнаты в комнату. Швейцер любовался девушками и Татьяной Андреевной. В их глазах был темный блеск. Швейцер, придававший преувеличенное значение человеческим глазам, думал, что вот есть же глаза, взглянув на которые знаешь, что человек не может прожить слишком обыкновенно. Вот и в этих глазах был особый свет любви и чистоты.

Ничто не предвещало той странности, что случилась в последней комнате — в той, где несколько дней назад Швейцер писал письмо Вермелю.

Татьяна Андреевна вошла в ту комнату, тихонько охнула и опустилась в кресло у двери. Девушки бросились к ней.

— Да ничего, не пугайтесь,— сказала Татьяна Андреевна.— Вот уж не ожидала увидеть здесь этот портрет.

Вермель, нахмурившись, посмотрел на портрет Сабанской, потом на Татьяну Андреевну. В его глазах появилось выражение торжества. Он отрывисто приказал:

— Миша, принесите еще одну лампу!

Пахомов принес из соседней комнаты лампу и поставил ее на стол.

— Да нет! — сердито сказал Вермель.— Возьмите лампу и поднимите над головой.

— Что ты затеваешь, Николай Генрихович? — весело спросил Швейцер.

Вермель не ответил. Он взял руку Татьяны Андреевны, поднял ее с кресла и подвел к портрету.

— Не двигайтесь! Мне нужно проверить. А ну-ка, Миша, поднимите лампу еще выше. Осветите их обеих.

— Вас удивляет сходство? — спросила Татьяна Андреевна.

— Да. Это поразительно! Вы — ее двойник.

— Начинается мистика,— пробормотал неуверенно Швейцер. Он, так же как и все, был поражен тем зрелищем, которое как бы показывал Вермель. В ярком освещении стояли рядом две молодые женщины, две сестры, но их разделяло столетие.

Нина и Варя прижались друг к другу. Им казалось, что они опять стали маленькими девочками, попали в дом к волшебнику, но он обернулся старым сердитым художником в бархатной куртке.

— Нет, мы не двойники,— сказала Татьяна Андреевна.— Просто Каролина Сабанская — моя прабабка.

— Боже мой! — закричал Швейцер.— Это же замечательно!

Он был счастлив. «Кто знает,— думал он,— может быть, эта случайность приведет к интересному открытию». О нем Швейцер мечтал все последнее время.

Девушки спохватились, что им пора возвращаться в Тригорское. Условились встретиться завтра, а если не удастся завтра, то уж обязательно встретиться с Татьяной Андреевной в Одессе.

Они начали торопливо одеваться. В последнюю минуту Нина посмотрела в глаза Татьяне Андреевне, покраснела и громко, стараясь говорить равнодушно, спросила:

— Вы не встречали в Одессе одного человека? Его фамилия Перейро.

— Да. А что?

— Так... Просто я хотела узнать, кто он такой.

— Я, право, не знаю,— неохотно ответила Татьяна Андревна.— Кажется, студент.

Нина взглянула на Татьяну Андреевну и почему-то догадалась, что спрашивать о Перейро не следовало. Почему? Этого она не могла объяснить.

— Простите,— неловко и опять краснея сказала Нина.

Татьяна Андреевна взглянула на нее испуганно, но так быстро, что никто, кроме Нины, этого не заметил.

Пахомов и Швейцер пошли провожать молодежь в Тригорское. Татьяна Андреевна сказала, что у нее разболелась голова, ушла с Вермелем во флигель, тотчас разделась и легла.

Вермель сел пить чай, а Мария Прохоровна гадала ему на картах.

— Будут вам злые хлопоты и ранняя дорога,— шепелявила она, жеманясь,— но без марьяжного интересу. А потом успех в казенном доме.

«Какая чепуха! — думала Татьяна Андреевна.— И отчего так болит голова?»

Почему эта девушка заговорила с ней о Перейро? Зачем? Она ведь ни о чем не может догадываться. То, что случилось, знают только двое — Татьяна Андреевна и Перейро.

Татьяна Андреевна хотела забыть о случившемся, но чем сильнее было это желание, тем настойчивее думалось о Перейро. Виновата ли она? Конечно, виновата, но как исправить свою ошибку?

— Татьяна Андреевна, вы спите? — окликнул из столовой Вермель.

Татьяна Андреевна ничего не ответила. Она лежала, уткнувшись лицом в подушку.

* * *

Она не спала почти всю ночь, смотрела на тени от оконных рам на полу — ночь была лунная — и думала, думала без конца. Что случилось с Перейро? Надо было наконец разобраться в этом.

Но чем дальше Татьяна Андреевна думала, тем больше убеждалась, что разобраться трудно. Если рассказать эту историю постороннему человеку, он не найдет в ней ничего такого, что заставило бы волноваться и размышлять. Мало ли подобных случаев бывает на свете!

Каждый раз, когда Татьяна Андреевна вспоминала об этом недавнем прошлом, она плакала. Что делать, если дороги к счастью у разных людей редко сходятся.

Перейро было двадцать два года. Татьяна Андреевна была старше его на десять лет. Они познакомились на вечере, устроенном в честь испанских моряков.

Перейро был студентом Мадридского университета. Он бежал из Испании. На родине у него остался брат — мальчик десяти лет и отец — старый адвокат. Его звали «мужицким адвокатом». Он вел бесконечные земельные тяжбы простоватых и упрямых крестьян, редко выигрывал дела, а если и выигрывал, то получал от бедняков клиентов ничтожную плату. Иногда он совсем отказывался от платы.

Он верил в справедливость, хотя она постоянно ускользала от него. Портрет Риего висел над его стареньким письменным столом, рядом с портретом умершей жены — крестьянки из Арагона.

Сыновьям он с пеленок внушал мысль, что назначение человека — борьба за справедливость, что место его детей — в великом содружестве бедных, а не в гостиных грандов и золоченых приемных министерств. Потертый его костюм табачного цвета, осыпанный пеплом дешевых сигар, вызывал немало добродушных насмешек среди товарищей по адвокатской скамье. «Педро — сурок,— говорили о нем.— В первые века христианства его бы причислили к лику святых. Мохнатый добряк, неисправимый и упрямый. Истый кастилец!»

Жил он скудно. Единственное развлечение, которое он позволял себе и детям,— это ежегодная летняя поездка на родину матери, в каменную, сухую деревушку. Там жил дед — столетний старик.

Все люди в этой деревне, в отличие от знакомых мадридцев, разговаривали только в случае крайней нужды. Конечно, кроме женщин. Те бранились весь день, полоща белье в пенистой горной речке. Она шумела под стенами домов.

Рамон любил слушать ее шум, бродить с отцом по берегу реки вдали от деревни и удить форель. На скалах росли желтые жесткие травы. Небо всегда было ярким и темным.

Когда началась гражданская война и Рамон пошел на баррикады, на мост через Мансенарес, отец не сказал ни слова. Он только впервые в жизни перекрестил Рамона и поцеловал. От этого поцелуя остался на губах вкус прогорклого табака.

А потом Рамон был ранен, отправлен в Валенсию, а оттуда пришлось уехать на грузовом пароходе «Коимбра», так и не попрощавшись с отцом и маленьким братом Мануэлем. Брат, должно быть, тосковал, но что же... что можно было поделать?

Рамона приютила великая северная страна. Ему было трудно, особенно по ночам, когда он просыпался от знакомого шума горной реки и догадывался, что это шумит не река, а дует степной ветер. Утром Рамон выходил на палубу—«Коимбра» третий месяц стояла на якоре в большом порту — и видел в холодном свете огромный город, ленивые волны, лизавшие брекватер, черную, как разлитые чернила, даль. Оттуда, с севера, и дул этот жгучий ветер. Иногда он приносил снег. Снег падал в ледяную воду и таял.

От этого ветра, от холодных стенок каюты, оттого, что у Рамона было только одно старое пальто, он постоянно зяб, пока наконец одним зимним утром уже не смог встать с койки. Пароходный механик, его сосед по каюте, навалил на него все теплое, что было у них обоих. Жар в теле не убывал и не увеличивался. Он был постоянный, слабый и напоминал теплоту детской постели. Вскоре выяснилось, что у Рамона начался процесс в легких...

На вечере в честь испанских моряков Татьяна Андреевна сидела рядом с Рамоном. Рамон хорошо говорил по-французски. К концу вечера они подружились. Рамон рас-

сказал Татьяне Андреевне об отце, маленьком брате, о горной речке, где арагонские крестьянки полощут белье. Ей стало жаль этого худого юношу, и она пригласила его приходить к ней.

Рамон начал заходить все чаще. С ним не надо было даже разговаривать. Он мог весь вечер просидеть на корточках около печки, колоть ножом щепки, чинить испорченный электрический чайник.

Татьяна Андреевна подарила ему теплый свитер и шарф. Она сама завязывала Рамону шарф сзади, узлом, как маленьким детям. Рамон виновато улыбался. Потом Татьяна Андреевна начала учить Рамона русскому языку.

Время шло. О возвращении Рамона на родину нечего было и думать. Надо было научиться говорить по-русски, чтобы начать работать. Рано или поздно «Коимбра» должна была уйти в плавание. Моряки готовились к этому, чинили и чистили машины. Рамон не знал, чем и как им помочь.

Татьяна Андреевна вряд ли замечала, как иногда Рамон украдкой смотрел на нее, когда она читала. Она рассердилась, когда однажды Рамон принес ей с парохода корзину крупных испанских лимонов, пересыпанных веточками тиса. С тех пор Рамон больше ничего не приносил.

Однажды Татьяна Андреевна должна была выступать за городом, в доме отдыха на Большом Фонтане. Она попросила Рамона приехать за ней в дом отдыха к восьми часам вечера. Концерт окончился, а Рамона не было. Татьяна Андреевна начала тревожиться. Зимой по дороге на Фонтан было очень глухо, трамваи ходили пустые. В голых дачных садах гудел ветер, и ему откликалось, как эхо, свинцовое море.

Но Рамон пришел. Он опоздал на полчаса. Татьяна Андреевна с укором взглянула на него и сказала, что он заставил ее волноваться. Рамон извинился. Он рассказал, что не мог найти машину,— очевидно, ему помешал его плохой русский язык,— и решил ехать на трамвае. За два километра от дома отдыха он сошел. Ему хотелось пройти пешком по ночному берегу.

— Зачем это, Рамон? — спросила Татьяна Андреевна.

Они стояли в степи около трамвайной станции. Кроме них и старика с пустой корзиной, на станции никого не было. Далеко за пологим подъемом были видны огни приближавшегося трамвая.

— Не знаю,— ответил Рамон.— Я думал, как хорошо быть в такую ночь на пустой дороге. Она уходит все дальше в темноту, и я знаю, что там, в конце этой дороги,— вы. И я иду к вам. Вы меня позвали. Это очень, очень хорошо!

Прямо из степи, из зарослей пыльной полыни, подошел трамвай. Старик с корзиной неожиданно попросил у Рамона закурить, взял папиросу и ушел в степь. Татьяна Андреевна удивилась: зачем же он ждал трамвая?

Они ехали молча. Около Аркадии Рамон предложил:

— Пойдемте до города пешком.

Они вышли из вагона, прошли среди каменных оград к морю. На акациях не осталось уже ничего, кроме колючек. Колючки иногда цеплялись за рукава.

Остановились на обрыве над морем. В гуще туч и ночи оно заунывно рокотало внизу. Долетал запах мокрых ракушек. Далеко качался огонь на пароходе — качался лениво, почти не двигаясь. По морю шла мертвая зыбь.

— Хорошо здесь,— сказала Татьяна Андреевна.— Я рада, Рамон, что мы пришли сюда.

Рамон ответил по-испански. Татьяна Андреевна не поняла и обернулась к нему. Его голос, глухой и трудный, показался ей незнакомым. Невольно она отступила.

Тогда Рамон взял ее за руки, стал перед ней на колени на мокрый гравий и начал быстро говорить тем же глухим, тяжелым голосом, что он ее любит, что все равно, если не сейчас, то завтра, он должен был сказать ей об этом, что ему нельзя без нее жить.

— Встаньте сейчас же! — крикнула Татьяна Андреевна.

Но Рамон крепко обнял ее колени и прижался к ним губами. Татьяна Андреевна быстро наклонилась и разжала руки Рамона. Внезапно ей пришло в голову глупое воспоминание о напыщенных старинных романах, где мужчины говорят дамам о любви не иначе как на коленях, о комедии «плаща и шпаги», и она неожиданно для себя рассмеялась.

Рамон вскочил, бросился бежать вниз, к морю, и Татьяна Андреевна перестала смеяться.

— Рамон! — позвала она.

Но он не ответил.

«Боже мой, как все глупо,— подумала Татьяна Андреевна,— и это признание, и этот мой смех. Зачем он это сделал? Где же он?»

Спотыкаясь в темноте, она спустилась к морю по кру-

той тропинке. Из-под ног сыпался щебень. Седые валы безмолвно вставали в темноте и с громом падали плашмя на берег. Татьяна Андреевна промочила ноги. Ветер рвал ее шубку, холодил под платьем тело.

Она несколько раз позвала Рамона, но он не ответил. В куче гнилых водорослей рылась белая собака.

Татьяна Андреевна заплакала от досады, от тревоги за Рамона — мало ли что может сделать этот мальчик. Только сейчас она сообразила, как трудно ему, иностранцу, понять нашу застенчивую простоту.

Как это она проглядела его любовь! И что за дурь, за недогадливость — смеяться над человеком только потому, что для него, как и для многих его соотечественников, театральность стала второй натурой.

Она быстро пошла вдоль полосы прибоя к городу, туда, где небо осветилось под тучами. Ноги проваливались в намытом волнами песке. Начал накрапывать дождь.

Домой она вернулась в полночь, совершенно измученная, растерянная. В дверную ручку была засунута записка. Татьяна Андреевна вынула ее и тут же, на лестнице, под тусклой лампочкой прочла.

«Я вас проклинаю,— писал Рамон.— Я теперь смеюсь над всем так же, как вы смеялись надо мной».

Ночью у Татьяны Андреевны поднялся озноб, жар, а наутро она не смогла уже встать.

Она написала Рамону коротенькое письмо и отправила его по почте на «Коимбру». Просила Рамона обязательно зайти к ней, писала, что она больна, но он не ответил и не пришел.

«Все равно, поправлюсь, притащу его к себе, растормошу, и мы снова будем друзьями»,— решила Татьяна Андреевна.

Но когда она выздоровела, «Коимбры» уже не было в Одессе. Она ушла в Феодосию и стояла там на рейде, дожидаясь своей участи.

Татьяна Андреевна узнала, что Рамон находится на «Коимбре», и немного успокоилась. Она снова решилась написать ему, но все, что начинала писать, казалось ей скучным, смахивало на нравоучение. В конце концов подумала, что лучше отложить письмо, пока у Рамона не притупится первая боль.

Через две недели после выздоровления Татьяна Андреевна уехала в Новгород.

* * *

Весь следующий день Татьяна Андреевна пролежала с головной болью. Несколько раз к ней заходили Вермель, Швейцер. По их глазам она видела, что они встревожены, улыбалась им и успокаивала: «Ничего, это у меня иногда бывает».

Утром в Михайловское прибегали лыжники, но Швейцер не пустил девушек к Татьяне Андреевне — она как раз в это время уснула.

Проснулась Татьяна Андреевна в сумерки и несколько минут широко открытыми глазами оглядывала комнату, припоминала, как сюда попала. Боль прошла.

В соседней комнате за освещенным столом сидели Швейцер, Вермель и Пахомов и вполголоса разговаривали.

Она окликнула Вермеля и попросила закрыть дверь — ей лучше, и она будет одеваться. Вермель закрыл дверь, и тотчас в соседней комнате зашумели. Засмеялся Швейцер. Вермель начал что-то доказывать ему сердитым голосом, а Мария Прохоровна внесла самовар и сказала Вермелю, растягивая слова и явно кокетничая:

— Я на вас пасьянс разложила. И можете себе представить, такой затруднительный пасьянс, а вышел.

— Не люблю я, милая, ваших пасьянсов,— рассердился Вермель.— Увольте меня, пожалуйста.

Татьяна Андреевна долго умывалась. Огня не было. В окна светила луна. Вода лилась из кувшина в таз белой лунной струей.

Оживленная, свежая, Татьяна Андреевна вышла в соседнюю комнату.

Швейцеру очень хотелось сейчас же расспросить ее о Каролине Сабанской, но он заметил угрожающий взгляд Вермеля и смолчал. Вермель был убежден, что головная боль у Татьяны Андреевны началась из-за вчерашней истории с портретом, и запретил Швейцеру разговоры об этом.

— Ты,— сказал он Швейцеру,— пушкинист несчастный! Чтоб ты не смел сегодня приставать к ней с Сабанской и со всей этой генеалогией! Слышишь?

— Вот глупости! — пробормотал Швейцер.— Ну, хоро-

шо. Но пойми, какие удивительные вещи можно открыть вот так, из-за случайной встречи.

— Успеешь открыть. У тебя в запасе еще весь завтрашний день.

Швейцер пожал плечами.

После чая решили пойти в лес, в сторону Петровского — усадьбы, где жил пушкинский дед Ганнибал.

Стояла насквозь прозрачная ночь. Месяц склонился над дорогой.

Безмолвие, глубина ночи, странный ее блеск — были видны даже высохшие стебли бессмертников, стоявшие, как вехи, в снегу,— все это поразило Татьяну Андреевну. Она подумала, что есть же вещи, излечивающие несчастье, заставляющие забыть обиды и неудачи. Она вспомнила о Рамоне. Вот эта ночь, белеющая просеками и полянами, медленно идущая вместе с течением звезд к далекому рассвету,— она ведь могла вернуть спокойствие многим измученным людям.

А рассвет даже не синел над равнинами и лесами. Он был далеко, по ту сторону огромной Земли. Единственным его отблеском, рассеянным и бесстрастным, был лунный свет — отражение дня на свинцовой поверхности мертвой от рождения планеты.

Вермель остановился, посмотрел на небо.

— Когда я был мальчишкой,— сказал он,— я думал, что звезды можно пересчитать за одну ночь. Эх, Миша, Миша! Возимся мы всю жизнь с дегтем, а не с красками. Какими красками, скажите вы мне, можно написать это ночное небо? Чепуховая наша работа!

Все говорили громко до тех пор, пока не вышли на Ручьевую гору. С горы открылись ночные леса. Они подымались над оврагами, наполовину засыпанными снегом. Они расстилались внизу, залитые голубоватым воздухом ночи. Это был величавый мир теней, снежных пещер, черной хвои, непробудного сна.

В лесу послышался резкий звук. Он был похож на выстрел Ночь будто вздрогнула, сделалась светлее.

— Что это? — встревожился Швейцер.

— Должно быть, треснуло дерево,— сказал Пахомов.— От мороза. Вообще вся эта ночь напоминает переохлажденную воду.

— Опять, Миша, вы взялись за свое,— пробормотал Вермель.— Интересно, что вы еще выдумаете?

Пахомов промолчал.

— Ну что же вы? — промолвила с упреком Татьяна Андреевна.— Почему замолчали?

— Да так... Чуть не сказал глупость.

— А вы скажите эту глупость только мне одной,— попросила Татьяна Андреевна.

— Не нужно.

— Нет, скажите!

— Вы знаете, что такое переохлажденная вода?

— Нет.

— Если воду охлаждать осторожно и медленно, она долго не будет замерзать. Термометр ниже нуля, а вода все еще будет жидкая. Но лишь только щелкнешь пальцем по стакану с такой водой, и вся она внезапно, в одно мгновение превратится в лед.

— При чем же здесь ночь? — спросила Татьяна Андреевна.

— Да так... Все кажется, что стоит крикнуть — и эта ночь сразу превратится в глыбу черного льда. И мы окажемся внутри ледяной глыбы.

Вермель как-то театрально захохотал.

— Ха-ха! — сказал он.— И еще раз ха!

На Ручьевой горе стояли долго. Месяц опускался к земле, покрывался красноватым пеплом. Швейцер забеспокоился. Надо было возвращаться — месяц скоро зайдет, и в темноте будет трудно отыскать дорогу.

Но страхи Швейцера оказались напрасными. Дорогу освещали звезды. Пылью лег через небо Млечный Путь. Пылал зловещий Сатурн. Но прекраснее всех были пепельный Юпитер и три звезды, стоявшие рядом.

Возвращаться в комнаты никому не хотелось. Прошли по парку. Под елями было так темно, что близорукий Швейцер совсем ослеп. Вышли к берегу Сороти, к домику няни, и заглянули в его низкие окна. Но там, кроме отражения звезд в стеклах, ничего не увидели.

Вернулись к дому, долго стояли на крыльце, пока далеко в непроглядной темноте не запели петухи.

* * *

Швейцер позвал всех к себе в комнату и достал из чемодана две бутылки саперави. Спать никому не хотелось.

Татьяна Андреевна выпила со всеми красного вина.

Швейцер наконец не выдержал и сказал умоляющим голосом:

— А теперь расскажите нам все, что вы знаете о Каролине Сабанской.

— Ну что ж,— согласилась Татьяна Андреевна, но было заметно, что ей не хочется сейчас говорить об этом.— Мой прадед Чирков был драгунским офицером. Он служил в Одессе в тот год, когда там жил и Пушкин. В Одессе тогда же блистала красавица полька Каролина Сабанская. Может быть, я что-нибудь путаю. Я рассказываю со слов мамы, а она многое позабыла. Говорят, что Сабанская была эксцентричная женщина, настоящая авантюристка.

— Да, довольно известная авантюристка,— подтвердил Швейцер.

— Вот видите, какая у меня родня,— засмеялась Татьяна Андреевна.

— В этом есть своя прелесть,— сказал Вермель.— Авантюристы были люди талантливые.

— Что же было дальше? Да... В Сабанскую был влюблен Пушкин. Но почему-то она предпочла моего прадеда, хотя это был человек пустой и взбалмошный. Он женился на ней, увез ее в свою деревню, держал взаперти. Говорят, она сделалась примерной женой. Но как только он умер, она бросила все, даже детей, уехала в Париж, жила там с крупным игроком — итальянцем. Он ее избивал. Потом проигрался, принял яд, а она умерла в убежище для бездомных старух. Вот и все.

— Нет, не все,— глаза Швейцера засверкали под стеклами очков,— нет, это еще не все. Рассказ только начинается.

— Но я больше ничего не знаю.

— Не входи в азарт,— предостерегающе сказал Вермель.

— Прежде всего,— сказал с торжеством Швейцер,— позвольте вам сообщить, что у Каролины Сабанской была сестра, графиня Ганская. После смерти своего первого мужа она вышла замуж за Бальзака!

Швейцер обвел всех глазами, чтобы посмотреть, какое впечатление произвели его слова. Все ждали, что он скажет дальше.

— Значит,— продолжал Швейцер,— вы, Татьяна Андреевна, в некотором роде отдаленная родственница Бальзака.

— Дурацкое обаяние имен! — рассердился Вермель.— Оставь его Мише и другим восторженным мальчикам. Честное слово, когда я не знал, что Татьяна Андреевна родственница Бальзака, я относился к ней так же хорошо, как и сейчас. Ничто не изменилось.

— А все-таки в этом что-то есть,— заметил Швейцер.— И оно никогда не перестанет нас волновать. Как вы думаете, Миша?

— Что я? — усмехнулся Пахомов.— Я восторженный юнец. На меня такие вещи действуют сильно.

— А теперь, Татьяна Андреевна, я вам устрою допрос.— Швейцер потер руки.— У вашего прадеда Чиркова, кроме вас, были потомки?

— Конечно, были.

— Кто-нибудь из них жив?

— Да, мой двоюродный дядя, внук Чиркова.

— А что с ним?

— Он живет в Киеве. Чем он сейчас занимается — не знаю. Когда-то был кутила, играл на бегах.

— Тоже не плохой родственник,— заметил Вермель.

— Наша семья очень резко разделилась,— сказала, смутившись, Татьяна Андреевна.— Мой дед и отец были скромные небогатые люди. А другая половина семьи — все были безалаберные и богачи. Они нас стыдились. Мы никогда друг друга не видели.

— А как зовут вашего киевского дядю? — спросил Швейцер.

— Кажется, Сергей Петрович Чирков.

— Адреса вы не знаете?

— Нет.

— Ну, хорошо. Теперь пойдем дальше. Вы не слышали от вашей матушки — не осталось ли у вас в семье или у этого киевского дядюшки писем, вещей, документов Каролины Сабанской?

— Ну, пошел! — проворчал Вермель.— Шерлок Холмс из пушкинского дома.

— У нас ничего нет,— ответила Татьяна Андреевна.— Но может быть, у этого дядюшки что-нибудь и осталось. Мне мама что-то рассказывала, о какой-то вещи, будто она хранилась у него. Какая-то очень интересная вещь... Погодите... Нет, никак не могу припомнить. Какая досада! Как будто из поколения в поколение переходила фамильная ценность, память о прабабке,— но что именно, я забыла.

Швейцер страдал не меньше Татьяны Андреевны, а она мучительно старалась вспомнить, о чем рассказывала ей мать. В конце концов Вермель окончательно рассердился.

— Хватит тебе, Семен! — закричал он на Швейцера.— Черт знает что! И остались-то от прабабки, верно, сломанная бирюзовая брошь или веер из выщипанных страусовых перьев. А вы оба будете ломать головы!

— Не люблю, когда с таким апломбом вмешиваются не в свое дело типы, которые ничего не понимают! — вскипел Швейцер.— Да ты соображаешь, бестолковый старик, что здесь, конечно, риск, здесь бабушка надвое сказала, но вдруг найдутся ценнейшие материалы о Пушкине.

— Вдруг ничего не бывает! — закричал Вермель.— Самое это слово надо выбросить из русского языка. Вдруг! Внезапно! Ни с того ни с сего! Как снег на голову! По щучьему велению! Бах! Бац! Это несерьезный разговор, Семен Львович.

— Какую ахинею ты плетешь! — Швейцер с жалостью покачал головой.— Сам-то ты понимаешь или нет?

Ссора разгоралась. Швейцер, как взъерошенный воробей, наскакивал на Вермеля, а Вермель гудел басом:

— Рваные митенки остались от этой прабабки. Напиши о них исследование. Собери документацию. Открой на них глаза миру. Может быть, Пушкин видел эти митенки, и на них материализовалась часть его взгляда.

— Боже мой, боже мой! — стонал Швейцер и с отчаянием хватался за голову.— Что он говорит! Что он говорит, этот циничный старик!

Татьяна Андреевна сначала притихла, а потом засмеялась. Вермель и Швейцер замолкли, с недоумением уставились на нее. Потом Швейцер махнул рукой, а Вермель сказал:

— Ты, Швейцер, безнадежный чудак, но черт с тобой. Я тебе прощаю.

* * *

Днем водовоз Степа запряг своего Мальчика в розвальни и отвез всех в Пушкинские Горы.

Ехали шагом. Желтоватый дым висел над деревьями. Его мотало ветром, прибивало к земле. Даже в полях пахло гарью.

Пушкинские Горы были видны издалека. На холме темнел монастырь. Серые стены собора облупились. Под штукатуркой выступил розовый кирпич.

В дороге все озябли и заехали погреться в чайную на въезде. Косматые старики возчики пили жидкий чай и дули на блюдца. По липкому полу бродил боевой облезлый петух. Каждый раз, когда он находил затоптанную корку или крошку сахара, он хлопал крыльями и сипло, победоносно кричал. Старики говорили о сене, морозах, новых шлеях.

За дальним столиком сидела высокая строгая девушка и рядом с ней парень со светлыми глазами. Время от времени он растягивал гармонику и пропащим голосом заводил песню: «Отчего, да почему, да по какому случаю...»

Девушка хмурилась, что-то сердито говорила парню, и он покорно замолкал. У девушки под распахнутой шубкой виднелось голубое ситцевое платье. Из-под белого платка на голове выбивалась черная прядь.

— Ах, какая красавица! — вздохнул Вермель.— Если бы время, написал бы ее.

Девушка, очевидно, услышала Вермеля и улыбнулась.

— Отчего, да почему, да по какому случаю...— снова запел парень, но девушка стукнула его кулаком в плечо, и он отупело затих.

Тотчас же заорал под лавкой петух, захлопал рваными крыльями.

— Черт его знает,— сказал Швейцер.— Хоть сейчас садись здесь и пиши сцену в корчме из «Бориса Годунова».

Из чайной пошли пешком в монастырь на могилу Пушкина. Под стенами монастыря стояли обозы с сеном. Над розвальнями перелетали сороки, садились на сено, что-то выклевывали из сухих стеблей. Лошаденки дремали — привыкли подолгу ждать хозяев. Из кооператива пахло рогожами, столярным клеем.

Трудно было представить, что в нескольких шагах от этих саней с сеном, от чайной, ларька с газетами и календарями — могила Пушкина. Татьяна Андреевна сказала об этом Швейцеру, но он ответил, что именно здесь, в этой глухой стороне, среди снежных равнин, галок, под этим низким небом и должна быть его могила.

Когда вошли во двор монастыря, у Татьяны Андреевны так заколотилось сердце, будто она шла на первое свидание. Серый денек, дремавший вокруг, показался ей самым

светлым днем ее жизни. Дни слагались в месяцы, месяцы в годы, годы в десятилетия, но не было еще ни одного дня такого, как этот,— радостного, сжимающего сердце непонятным смятением. В этом смятении была ее любовь, любовь такая огромная, будто Татьяна Андреевна принесла сюда волнение многих тысяч людей, частицу народной любви. Сердце билось до боли, горло перехватили спазмы.

Могила была у собора за алтарным выступом. Ее еще не было видно, но все, точно сговорившись, остановились.

— Вот он, «милый предел» его жизни,— промолвил Вермель.

Татьяна Андреевна быстро прошла за выступ собора и увидела простой могильный памятник из белого камня. Что-то оборвалось у нее в груди, она прижала к лицу руки и заплакала.

Она сама не знала, о чем были эти слезы, смешанные с радостью, с сознанием, что Пушкин — не легенда, что этот милый веселый человек жил под этим небом, ходил по этим дорогам, что его губы произносили те же слова, что произносим мы, но почему-то слова эти звучали с томительной силой и прелестью.

Она плакала о том, что его нет с нами в нашей трудной, но замечательной жизни. Плакала и о своем горе — горе женщины, не нашедшей любви, одинокой среди любящих ее людей.

Потом она встала, подошла к обрыву и долго стояла спиной ко всем, смотрела вниз на дорогу под холмом. По ней тянулся обоз. От лошаденок валил пар. Возчики в армяках шли по обочине, помахивая кнутами. Когда обоз поравнялся с могильным холмом, возчики один за другим начали стаскивать шапки и глядели вверх, за ограду, где белело надгробие.

Татьяна Андреевна обернулась. Никто не смотрел на нее. Все смотрели на белый памятник, где были высечены три слова: «Александр Сергеевич Пушкин».

«Они, кажется, стыдятся моих слез,— подумала Татьяна Андреевна.— Может быть, они думают, что здесь нельзя и не нужно плакать? Ну и пусть. Пусть!»

Ей совсем не было стыдно. Наоборот, ей хотелось плакать еще долго этими совсем не горькими, освежающими слезами.

Ей вспомнился муж, который считал, что слезы — это мещанство, сентиментальность. Читая книги, он отмечал

карандашом на полях все места, где кто-нибудь плакал, и ставил рядом, возмущаясь, восклицательные и вопросительные знаки.

Швейцер подошел к Татьяне Андреевне:

— Ну что ж, пойдем? Пора уже, к сожалению.

* * *

Возвращаясь с могилы Пушкина, Татьяна Андреевна наконец вспомнила давний рассказ матери о киевском дядюшке. У него всегда висел над столом портрет Пушкина. Портрет этот дядюшка никому не хотел продавать — берег про черный день.

Из Пушкинских Гор Степа отвез всех на станцию Тригорское. На станции зажгли фонари.

В ожидании поезда Татьяна Андреевна рассказала Швейцеру о портрете. Швейцер задумался. Он старался вспомнить, есть ли в литературе указания на потерянный портрет Пушкина, но ничего не мог припомнить. Да было и не до этого — уже подходил поезд.

Швейцер расцеловался со всеми. Татьяна Андреевна как-то сразу устала. Обратная дорога заранее казалась ей неуютной. В вагонах было накурено, шумели подвыпившие люди.

Она с радостью вернулась бы сейчас в Михайловское, гуляла бы по парку, читала, сидя на полу около горящей печки... Но тут же она вспомнила чей-то мудрый совет — никогда не возвращаться в те места, где человек был счастлив.

Татьяна Андреевна улыбнулась Швейцеру. Он стоял на снегу, в слабой полосе света, падавшей с вагонной площадки. Этот маленький, вечно волнующийся и болтливый Швейцер за три дня стал для нее своим человеком. Ее привлекали в Швейцере ребячливость, склонность увлекаться, действовать очертя голову, рыцарство, ироническое отношение к самому себе.

Поезд тронулся. Татьяна Андреевна вошла в вагон.

Степа повез Швейцера обратно в Михайловское. Розвальни раскатывались на поворотах. Швейцер старался угадать в темноте те места, где они недавно проезжали. Вот так, в воспоминаниях, у него всегда начиналась тоска. Он ее боялся. Она подкрадывалась исподволь, но овладе-

вала всеми мыслями, делала его беспомощным. Это была та сложная тоска, когда человек хочет не только еще раз пережить, но и сделать длительным, почти бесконечным все хорошее, что только что окончилось.

— Окончилось,— сказал Швейцер.— Не вернешь ни ночи в лесу, ни слез Татьяны Андреевны, ни ссоры с Вермелем, ни застенчивых девушек-лыжниц — ничего!

Когда он вернулся, в комнатах еще стоял слабый запах духов. В одной из бутылок от саперави осталось на дне немного вина. Швейцер налил его в стакан и выпил. Потом он оделся, пошел в большой дом, зажег свечу и долго рассматривал портрет Сабанской.

На следующий день, роясь в разных пушкинских материалах, Швейцер нашел неизвестную ему до тех пор запись. Со слов поэта Туманского, некий Панков, чиновник одесской таможни, рассказывал автору этой записи, что Пушкин, расставаясь с Каролиной Сабанской, подарил ей свой портрет. Он был написан итальянским художником, жившим в то время в Одессе. На портрете Пушкин был изображен облокотившимся на каменную балюстраду. В одной руке он держал лист бумаги с написанными на нем стихами, посвященными Каролине Сабанской. Художник якобы изобразил на этом листе черной краской первые две строфы этих стихов.

Швейцер долго в волнении ходил по комнате. Ему чудилось, что он уже держит в руках верную нить. Татьяна Андреевна была права. Портрет от Сабанской перешел к сыну, а потом к внуку Чиркова. Очевидно, портрет в Киеве.

«Но может быть,— подумал Швейцер и остановился,— может быть, на этом портрете записаны неизвестные пушкинские слова!»

Он тут же сел к столу и написал письмо Вермелю, что после Михайловского поедет в Киев разыскивать портрет.

* * *

В Феодосии к капитану теплохода «Бессарабия» Черненко вошла толстая и немолодая, но еще красивая караимка — медицинская сестра из местного туберкулезного санатория. Сладко улыбаясь, она сказала, что сопровождает до Ялты больного испанского эмигранта Рамона Пе-

рейро. Его отправляют в горный санаторий. Сестра просила отвести для больного теплую и удобную каюту.

— Он ужасно очаровательный человек, этот испанец,— сказала она.— Но понимаете, у него последняя стадия. Безумно жаль!

Капитан вызвал помощника, приказал открыть изолятор — каюту, предназначенную для больных, но не удержался и сказал сестре, что погода сейчас совсем не годится. На море шторм, и лучше бы подождать до следующего теплохода.

— Ну что вы! — сказала сестра игриво.— Я обожаю шторм.

— Я говорю не о вас, а о больном,— сурово ответил Черненко. Он сразу же невзлюбил эту пышную и, очевидно, очень ловкую женщину.

— Я выполняю распоряжение старшего врача,— обиделась сестра.— Думаете, мне самой интересно?

Капитан встал. Сестра удалилась с оскорбленным видом.

Дул норд-ост. На палубе не было места, где бы можно было спрятаться от ветра. Он леденил борта и с хватающей за сердце злобой свистел в снастях. Море ходило тяжелыми валами. Горизонт был обложен тусклым свинцом.

После первого гудка санитары внесли на носилках по трапу закутанного больного. Сзади шла медицинская сестра. Ее провожал маленький человек в пенсне. Она звала его Люсей. Когда теплоход отчаливал, Люся кричал сестре, чтобы она привезла из Ялты побольше какао.

Капитан и второй помощник стояли на мостике. Отрывисто звенел телеграф в машине. Дым из хрипящей трубы швыряло на мол.

— Типичный жучок! — сказал второй помощник, глядя на человека в пенсне.

Капитан ничего не ответил. Теплоход выходил из порта. Ветер ударил слева, с моря. Завыли снасти. Крупные брызги картечью били в лицо. «Бессарабия» заскрипела и медленно, косо поползла на волну.

Прошли мимо «Коимбры». Она лязгала цепями и беспорядочно кивала своим тупым железным носом сухим берегам. На борту «Коимбры» стояли люди, смотрели на «Бессарабию», махали черными беретами.

— Провожают,— сказал второй помощник.— Он что, моряк?

— Не похоже,— ответил капитан.— Вот судьба!

Рамону, лежавшему в каюте, казалось, что за толстыми иллюминаторами, за гремящими железными бортами идет исполинская схватка дня и ночи. Ночь побеждает. Она врывается в день, заливает тьмой все пространство между низким небом и бушующим морем, но ветер не дает ей окончательно вытеснить свет. Он с отчаянием кромсает темноту, рвет ее в клочья, расшвыривает в стороны. Когда в каюте темнело, Рамон знал, что это ветер приносит громадный обрывок тьмы и что скоро опять посветлеет.

Но тьма все сгущалась. Постепенно в ней исчезла дверь каюты, потом умывальник, потом стол, и остался только иллюминатор — серый водянистый глаз. Потом и он погас. Единственное, что теперь видел Рамон,— это свои белые руки поверх одеяла.

Вошла сестра, зажгла желтоватую электрическую лампочку, дала Рамону напиться из фаянсовой поилки кисловатой розовой воды и сказала:

— Какой шторм! Совершенно феерический ужас!

Рамон закрыл глаза. Ему не хотелось смотреть на эту румяную женщину с маслянистыми выпуклыми глазами. Хотелось думать и думать. Качка ему не мешала. Его попеременно прижимало то к одному, то к другому деревянному борту глубокой койки.

— Если хотите, я принесу вам поесть,— сказала сестра.

— Нет,— ответил Рамон.— Благодарю.

— Боже мой, как вы меня огорчаете! — воскликнула сестра с наигранным упреком.

Но Рамон молчал и не открывал глаз. Сестра вздохнула и вышла.

Болела голова. Сквозь шум бури Рамон слышал тонкий писк, похожий на комариный. Каждый раз, когда появлялся этот неприятный звук, начинала болеть голова. Рамон сдерживался, чтобы не закашлять. Кашлять он боялся. Боялся свистящего вздоха, испарины и обморочной тоски. Она наступала после каждого приступа кашля.

Рамон не открывал глаз. Ему чудилось, что темнота равномерно то растягивается, то сжимается.

Чтобы забыть о гибкой, отвратительной темноте, Рамон начал разговаривать вслух с самим собой.

Он позвал маленького брата Мануэля, поправил ему единственный нарядный галстук. Мануэль опустил глаза

и улыбнулся — он очень гордился этим галстуком. Потом Рамон достал гребешок и расчесал Мануэлю волосы. «Куда ты идешь?» — спросил он мальчика. «Я хочу пойти в кино,— ответил Мануэль.— Можно? Там будут показывать картину о «Белоснежке».— «Ну что ж, иди,— сказал Рамон и погладил мягкие волосы Мануэля. «А почему ты не пойдешь со мной?» — спросил Мануэль. «Мне нельзя. Ты видишь, я лежу. Если я буду лежать тихо и совсем не двигаться, я выздоровею, вернусь домой, и мы все вместе уедем на несколько дней к дедушке, отдохнем и будем ловить форель».— «Отец, ты и я?» — спросил Мануэль. «Да, отец, ты и я. И еще одна женщина. Она, может быть, захочет заменить тебе маму».— «Она русская?» — «Да, она русская».— «Я читал в книгах, что русские женщины добры»,— сказал, подумав, Мануэль. «Добрее их и прекраснее нету на свете, дурачок. Ну, иди». Мануэль ушел.

Что-то взорвалось снаружи, как снаряд, но, как ни странно, он разбил только стакан. Рамон открыл глаза. Каюта медленно наклонилась, на полу блестели осколки стекла. За кормой вертелись в воздухе, сотрясая стены, пароходные винты. Рамон подождал, пока винты окунулись в глубокую воду, и снова закрыл глаза.

«Нет,— сказал он.— Я знаю, что это так. Надо только прожить еще немного, чтобы убедиться в своей правоте. Счастье всегда побеждает. Ты, отец, говоришь: реки крови! Они высохнут от жаркого дня, и на черной земле первым распустится какой-нибудь совсем незаметный полевой цветок. Так начинается новый век — век справедливости, умного труда, спокойствия. И если ради этого люди идут добровольно на смерть — это будет. Ты не должен качать головой. Верь всегда. Иначе тебе незачем жить на этой земле. Мы никогда не могли привыкнуть и никогда не привыкнем к подлости. И к глупости тоже. Они будут уничтожены, хотя бы это стоило много миллионов наших жизней».— «Усни, не тревожься,— сказал отец.— Тебе осталось недолго помучиться, скоро Ялта».

Рамон открыл глаза. В каюте стоял плотный седой человек в черной капитанской шинели. Он наклонился к Рамону и сказал:

— Через два часа Ялта. Остались пустяки. Ваша сестра укачалась,— вот я и зашел. Вам здесь удобно?

Рамон кивнул головой.

— Благодарю,— проговорил он медленно.— Я только

что видел своего маленького брата. Он остался в Мадриде с отцом. Они знают, что мне здесь хорошо.

Капитан ушел. Рамон приподнялся и повернул у себя над головой выключатель. Лампочка погасла, но несколько мгновений в ней еще тлел желтый волосок. Потом он потух. Стало темно, страшно. Шум бури усилился. Из однообразного ровного гула он превратился во множество пугающих звуков. Скрипели переборки, трещали шурупы, расшатываясь в скрепах, лязгало железо, плескала вода.

Рамон осторожно сел на койке и посмотрел в иллюминатор. По черному стеклу прошел снизу вверх яркий красный огонь, окруженный радужным ореолом. Рамон ждал. Огонь снова прошел по иллюминатору, но теперь уже сверху вниз. Это был огонь маяка.

Рамон зажег лампочку, вздохнул и лег. Значит, действительно Ялта. Он осмотрел каюту и подумал: почему этот мертвый, зеленовато-белый цвет стен, эта холодная эмалевая краска сопровождают людей, дни которых сочтены? Зачем это уныние? Неужели не хватит времени на то, чтобы ее тонкие и сильные руки завязали ему вокруг шеи теплый шарф? Она смеялась потому, что не знала, как он ее любит. Больше, чем старого отца. Может быть, больше, чем Мануэля. Вместо того чтобы становиться перед ней на колени, как перед статуей мадонны, надо было просто сказать ей об этом. Даже не надо было ничего говорить, а так и остаться жить около нее. Тогда, наверное, он бы не умирал сейчас на этом железном пароходе.

Неожиданно загремел над головой гудок. Рамон приподнялся, посмотрел на иллюминатор. Десятки неясных огней дрожали в воде. Качка стихла. Осторожно вздрагивая, работала машина.

Через полчаса Рамона, закутанного в одеяла, внесли в санитарный автомобиль. Сестра, обрюзгшая и недовольная, села рядом. За всю дорогу до санатория она не проронила ни слова.

Машина долго кружила по улицам, похожим на сады. Редкие фонари блестели в листве. Потом машина ушла в горы, в такие высокие леса, что звезда, испуганно сверкавшая в разрыве между тучами, казалась ниже, чем вершины сосен.

Рамон почувствовал горький запах коры, мокрого щебня. Сонный торжественный гул медленно скатывался с гор — даже сюда доходило дыхание бури.

Когда Рамона внесли в горный дом, в комнату, где за окном, почти прикасаясь к стеклу, стоял столетний бук, Рамон спросил молодого доктора:

— Может быть, я здесь действительно выздоровею?

— К нам никто не приезжает умирать,— ответил доктор.

Рамону в первый же вечер понравилось в этом доме все — и приветливые пожилые няни, и доктор, вышедший к нему с книгой в руках, и то, что кто-то играл на рояле, и даже старинный, совершенно черный портрет внизу в гостиной. Его Рамон заметил, когда носилки на минуту поставили на пол и он разговаривал с доктором. Портрет изображал молодого человека с живым и некрасивым лицом.

* * *

Дня за два до отъезда из Новгорода Татьяна Андреевна пошла в город за Волхов — погулять и заодно зайти к сапожнику пришить к туфле оторванную застежку.

Варвара Гавриловна долго объясняла ей, как найти дом сапожника Василия. Жил он за церковью Федора Стратилата в переулочке, где много голубей.

— Какой это Василий?— спросила Татьяна Андреевна.— Рябой?

— Ну да, рябой,—обрадовалась Варвара Гавриловна.— Да он при тебе всегда носил в ухе серебряную серьгу. Помнишь? Только недавно бросил. Говорит, ему теперь не по возрасту.

— Он что, рыболов, этот Василий?

— Вот уж не знаю.

— Я теперь вспомнила. Каждый вечер он сидел на плотах с удочками. Ты же у него всегда покупала рыбу, мама.

— Балагур, разговорчивый,— сказала Варвара Гавриловна.— На все у него есть своя выдумка.

Татьяна Андреевна шла медленно. За последние дни дороги уже начали таять и только к вечеру затягивались корочкой льда. Светило большое низкое солнце, било в лицо. Все туманилось перед глазами от его желтого блеска.

На мосту через Волхов Татьяна Андреевна встретила Пахомова. Он всегда напоминал ей голодных и счастливых французских художников — застенчивый, милый, в потертом пальто, в заштопанных варежках.

Пахомов сдержанно улыбнулся Татьяне Андреевне. Он, видимо, был смущен этой встречей.

Раньше Татьяна Андреевна не замечала у него смущения,— может быть, потому, что они почти ни разу не оставались наедине друг с другом.

— Проводите меня,— попросила Татьяна Андреевна.— Если вам попадет от Николая Генриховича, я возьму вину на себя.

Пахомов тотчас же согласился. Они пошли рядом.

— Вот и конец,— промолвила Татьяна Андреевна.— Опять Одесса, театр, репетиции, актерские разговоры. Боже мой, как не хочется уезжать! Ну, а вы как? Вам хорошо здесь работается?

— Чудесный город,— сказал Пахомов.— Живописный, очень суровый.

— Вот если бы вы приехали в Новгород летом,— вздохнула Татьяна Андреевна.— Приезжайте, а? Когда липы зацветут, можно угореть до головной боли. Я здесь родилась, выросла, но в белые ночи мне никогда не верилось, что это все настоящее. Ходишь по городу, будто под глубокой водой.— Татьяна Андреевна помолчала.— Когда я была девочкой, я уезжала белыми ночами в лодке на Ильмень. Возвращалась только на рассвете.

— Одна?— спросил Пахомов.

— Да, всегда одна. Мне никто не был нужен. Теперь я поняла, что это плохо — так одиноко провести детство. Когда я об этом вспоминаю, мне даже делается жалко себя. Не очень жалко, но все-таки жалко.

— И мне тоже,— ответил Пахомов.— Я рос один. Вроде вас.

— А теперь?

— Пожалуй, и теперь. Должно быть, это никогда не проходит.

— Да,— печально согласилась Татьяна Андреевна.— Не проходит. От этого всегда горя больше, но иной раз, пожалуй, и радости.

— Горя, по-моему, все-таки больше,— ответил Пахомов.— Такие люди, как вы, слишком сильно привязываются к мимолетным хорошим вещам. А потом дорого платятся.

— Откуда вы это знаете?— спросила Татьяна Андреевна.

— Да так уж, знаю.

— А это, по-вашему, плохо?

— Нет, наоборот.

— Ну, слава богу,— вздохнула Татьяна Андреевна.— А я уж испугалась. В общем вы, конечно, правы. У меня от жизни сохранились в памяти только отдельные хорошие минуты.

— Например?— спросил Пахомов.

— Ну вот,— сказала разочарованно Татьяна Андреевна.— Разве можно так сразу вам все рассказать?

Про себя она подумала, что через два дня, как только поезд отойдет от маленького зеленого вокзала, Пахомов тоже станет одним из таких коротких хороших воспоминаний.

Около церкви Федора Стратилата мальчишки играли в снежки, гонялись друг за другом. Над крышами летали голуби. Татьяна Андреевна спросила мальчишек, где живет сапожник Василий.

Гордые возможностью помочь неизвестным людям, запыхавшиеся мальчишки всей толпой повели Татьяну Андреевну и Пахомова к рябому Василию.

Василий — седой, косматый, низенький — долго рассматривал туфлю Татьяны Андреевны, вертел ее огромными черными пальцами, и в его руках туфля казалась сделанной из папиросной бумаги.

— Та-ак!— сказал Василий зловеще.— Значит, к легкой жизни у вас имеется охота?

— Почему?— удивилась Татьяна Андреевна.

— Известно почему. Ведь это не туфля, это одно человеческое воображение. В ней по бархату ходить, а не по земле. Бесплотная обувь! Сразу видать, что делал ее мастер с дорогой головой. На отделку работал, на облегчение жизни.

— Я что-то не пойму,— сказала Татьяна Андреевна.

— Эх, милая ты моя,— ласково сказал Василий.— Да садитесь вы оба, чего стоите! Милая моя заказчица, тут работы на минуту, а смотрения — на целые сутки. Эту туфлю — под стекло да и в картинную галерею.

Он порылся у себя на табуретке, нашел маленькое тонкое шило.

— Все кругом,— Василий вздохнул,— имеет охоту к облегчению жизни. Великая вещь! Горы сдвигает. Ты подумай, какую нынче обувь носят и какую носили наши деды и бабки. В старой обуви была тяжесть, вес, грубость

ужасная. Человек грохал по земле, мял ее, как медведь На его следу трава не росла. А нынче шаг летучий, нынче человек норовит ходить так, что и вода его выдержит, но то что земля. Этому радоваться надо. И от меня, сапожника, легкость походки требует тонкого фасона.— Василий начал осторожно ковыряться над туфлей.— Для такой жены ничего не жалко,— пробормотал он, взглянув на Пахомова.— Теплым ветром ее закутай, студеной зимой зарумянь — такая у нас присказка.

Татьяна Андреевна покраснела и быстро взглянула на Пахомова.

* * *

Швейцер получил открытку из Киева — ответ из адресного стола на его запрос. В открытке было сказано, что Сергей Петрович Чирков, по профессии фортепьянный настройщик, живет в Киеве на Львовской улице.

Швейцер вскоре же вернулся в Ленинград, быстро собрался и выехал в Киев.

Серафима Максимовна была недовольна этой поездкой. Швейцер вернулся из Михайловского какой-то странный — отвечал невпопад, часто даже не слышал, о чем она его спрашивала. В день отъезда в Киев он впервые в жизни сказал ей, что нельзя жить так неуютно, как живут они,— у них не квартира, а больничная палата. Серафима Максимовна пристально посмотрела на мужа, но промолчала. Хорошо еще, что не было в Ленинграде Вермеля — он до сих пор сидел в Новгороде — и некому было поддержать чудаческие настроения Швейцера.

Не нравилось Серафиме Максимовне и то, что муж очень торопился уехать. «Всегда он любил всякую цыганщину. Всегда!» — думала она.

Только на вокзале, провожая его, Серафима Максимовна наконец спросила, что с ним происходит. Швейцер виновато посмотрел ей в глаза.

— Не знаю,— сказал он.— Скучно мне, что ли? Уж очень гладенько мы с тобою живем.

Серафима Максимовна пожала плечами.

— Попробуй поживи весело с твоим цыплячьим здоровьем. Давно бы тебя не было на свете.

— Я думаю не о веселье,— сказал Швейцер.

Но Серафима Максимовна не ответила, разговор оборвался.

Было начало февраля. Каждый час все менялось. То окна вагона залепляло метелью, то ветер стихал — и над деревушками сияло ясное небо, то начиналась капель — и по стеклам текли струйки холодной воды.

Под Киевом на полях лежал грязноватый туман. И Киев был в тумане, будто весь день над городом висело хмурое утро. В номере гостиницы застоялся темный воздух, пахло высохшим одеколоном, пылью от ковров. А Швейцер чувствовал себя совершенно юношей. Ощущение новизны не покидало его.

Он поехал на трамвае на Львовскую улицу. Швейцер никогда не был в Киеве и с интересом разглядывал уютные дома из желтого кирпича, тополя, бронзового Богдана Хмельницкого. С городских площадей были видны Днепр, снежные равнины, черные леса, замыкавшие горизонт. Ни в одном из городов Швейцер не видел таких открытых далей.

На Львовской улице Швейцер разыскал зеленый деревянный дом в глубине двора и потянул за медную ручку звонка. Звонок не зазвонил, а застучал. Дверь отворила пожилая женщина с мокрыми руками. С сильным польским акцентом она сказала, что Чиркова третий день нет дома. Должно быть, зажился у кого-нибудь из заказчиков. Но если Швейцеру нужен настройщик, то лучше, чтобы он зашел дня через два, потому что Чирков — лучший настройщик в Киеве и порядочный человек. Конечно, он любит выпить, но трудно не выпить, когда раньше он каждое лето ездил «до Парижу», имел свой дом и выезд, а сейчас, извините, не имеет даже приличных штанов.

— Если разрешите,— сказал обескураженный Швейцер,— я ему оставлю записку. Можно пройти в его комнату?

Женщина вытерла фартуком руки и ввела Швейцера в тесную комнату, заставленную старой мебелью. Швейцер прежде всего посмотрел на стены. Никакого портрета не было. На письменном столе валялась выгоревшая соломенная шляпа и стояла четвертная бутыль с мутноватой жидкостью. Из стеклянной изогнутой трубки, проведенной из бутыли в стакан с водой, каждую секунду выскакивал пузырек воздуха. Очевидно, в бутыли что-то бродило. Пахло дрожжами.

— Что это такое?— спросил Швейцер.

— Это пан Чирков сам себе делает пшеничный напиток. У него от казенной водки бывает изжога.

— Интересно! — сказал Швейцер и уже собрался уходить, когда в дверях появилась девочка лет четырнадцати — голубоглазая, растрепанная, в черном фартуке. Она сделала Швейцеру реверанс и потупилась.

— Стася,— спросила женщина,— ты не знаешь, куда ушел пан Чирков?

— К Прибыльскому,— тоненьким голоском ответила девочка.— Пролетарская, сорок пять.

— Позвольте,— сказал Швейцер,— это какой же Прибыльский? Писатель?

— Да, Иван Прибыльский, наш письменник,— ответила девочка и снова сделала реверанс.

Швейцер поблагодарил и ушел. Его взяло сомнение: удобно ли идти к Прибыльскому, известному писателю. Говорили, что Прибыльский замечательный человек. Но Швейцер колебался недолго. Конечно, Прибыльский поймет его нетерпение и простит ему эту бесцеремонность.

На деле случилось гораздо лучше, чем думал Швейцер.

Прибыльский — седеющий человек с мягким круглым лицом и приветливыми серыми глазами,— как только Швейцер назвал свою фамилию, радостно втащил его в переднюю, снял с него шубу и повел к себе в кабинет. Он даже не спросил, зачем Швейцер пришел.

В первые минуты разговаривать было невозможно. Швейцера с отчаянным лаем окружили собаки: рыжий сеттер, белый пес с коричневым пятном на носу и визгливая собачонка с выпученными глазами. С письменного стола прыгнул на подоконник дымчатый кот, выгнул спину, завыл. И тотчас же смеющийся женский голос закричал из соседней комнаты:

— Что за несчастье с этими собаками! Это не квартира, а псарня!

Дверь отворилась. Вошла пожилая миловидная женщина. Она запросто поздоровалась со Швейцером и сказала:

— Внушите хоть вы ему, что нельзя же на шестом этаже держать свору собак.

Все в доме Прибыльского поражало Швейцера какой-то юношеской, несмотря на пожилой возраст хозяев, безалаберностью. Здесь, видимо, жили легко, не задумываясь о будущем. Во всех комнатах слышались голоса, смех. Кар-

тины висели криво, кресла шатались. Рядом с портретами Шевченко, Гете и Мицкевича висели засушенные подсолнухи, ружья и ягдташи, счета за электричество и старая, отполированная пальцами слепцов треснувшая лира. Множество раскрытых книг валялось на подоконниках и стульях.

В углу кабинета стоял мольберт с начатым портретом Прибыльского. Рядом с ним на полу лежала палитра со свежими красками. Собаки принюхивались к ним, а кот по имени Захар попал лапой в киноварь, прошелся по рукописям хозяина и оставил на них следы.

В старинных штофах на окне настаивались на травах разноцветные водки. Пробковые поплавки плавали в аквариуме, где били друг друга хвостами прозрачные рыбки. Бумаги на столе были сколоты рыболовными крючками.

— А теперь,— Прибыльский взял Швейцера под руку,— пойдемте. Я представлю вас своим многочисленным приближенным.

Приближенных действительно было много. Прибыльский знакомил их с Швейцером очень просто.

— Это — наша Фрося,— говорил он.— А это — наш Юрка. А вот этот гражданин — наш общий друг Иван Трофимович. А это — будущая певица киевской оперы. (Певица была заплакана — только вчера она провалилась на пробе голосов.)

Наконец очередь дошла до худого старика в железных очках, перевязанных шерстяной ниткой. Старик был в серой куртке со множеством карманов, в серых коротких брюках и огромных, с чужой ноги, ботинках с оторванной подметкой. Вид у старика, несмотря на явную нищету, был беспечный и благородный. Старик сидел на корточках и обивал синей материей диван. Швейцер сразу заметил, что диван он обивает криво.

— А это,— сказал Прибыльский,— наш музыкальный мастер, великолепный человек, Сергей Петрович Чирков.

Старик поздоровался со Швейцером и учтиво спросил по-французски, как он себя чувствует. Швейцер не менее учтиво ответил, что весьма благодарен и чувствует себя превосходно.

Позвали обедать. Швейцер смутился, но его силой потащили в столовую — огромную комнату, где, кроме обеденного стола и рояля, ничего не было.

За стол село множество людей разных возрастов и па-

строений. Уже знакомая девушка с опухшими от слез глазами — будущая оперная артистка. Другая, очень красивая девушка, все время дразнившая своего соседа — долговязого юношу в лыжном костюме. Невысокий, плотный, очень застенчивый еврейский поэт. Жена Прибыльского. Фрося — деревенская девушка, пахнувшая ситцем и мылом,— из-под опущенных ресниц она поглядывала на всех синими испуганными глазами. Человек неопределенных занятий Иван Трофимович (к концу обеда выяснилось, что он ученый-лесовод). Маленький мальчик по имени Тяпа — очень вежливый и очень любопытный,— ему подложили на стул три тома растрепанных нот. Старик с унылыми сивыми усами — дядюшка из Василькова, знаток мукомольного дела. Рыжая крашеная женщина, очень строгая и обширная, в красных туфлях, с лупоглазой собачкой на коленях — знакомая, приехавшая из Харькова, бывшая певица (она вспоминала, как студенты в свое время выпрягали лошадей из ее экипажа и везли его сами). Наконец, очень беспокойная бабушка — она вертелась на стуле, возмущалась невоспитанностью молодых людей и спрашивала, на каком языке теперь печатаются газеты, так как она, знающая, славу богу, русский язык, ничего в них не понимает. Чирков, Швейцер и сам Прибыльский сели рядом.

Вокруг стола ходили собаки. Они зевали от нетерпения, встречая появление каждого нового блюда коротким досадливым лаем, похожим на возглас: «Ах, черт возьми!» На них никто не обращал внимания. И все время то около одного, то около другого из обедающих появлялись на столе судорожно вцепившиеся в скатерть лапы кота Захара. Захар пытался заглянуть на стол, уставленный заманчивой едой. Один раз он потянул за скатерть и опрокинул рюмку с яркого цвета водкой.

Обед прошел шумно. Швейцер тоже выпил водки, и ему уже никуда не хотелось уходить из этого дома.

Когда после обеда подали чай, пирожные и вино, Чирков сел за рояль и заиграл марш. Он часто нажимал на педаль, и всякий раз его оторванная подметка хлопала, как пистон.

Швейцер спросил жену Прибыльского, почему Чирков, по профессии настройщик, обивает у них в доме диван.

— Ну, знаете,— ответила она, как бы извиняясь,— одной настройкой не проживешь. Человек он добрый, го-

лодный. Вот и выдумываешь ему работу. Он у пас уже четвертый день живет, обивает диван,— добавила она и засмеялась.— Да и настройщик он не настоящий. Это известный киевский балетоман и бывший прожигатель жизни.

После обеда Швейцер рассказал Прибыльскому о пушкинском портрете. Прибыльский страшно обрадовался, что Швейцер приехал по такому необыкновенному делу и что вообще существуют люди, которые могут пренебречь своим покоем, здоровьем, размеренной жизнью ради любви к поэзии.

Прибыльский позвал Швейцера и бывшего прожигателя жизни к себе в кабинет, и они заперлись втроем. Предстоял серьезный разговор.

При первом же упоминании о портрете Чирков сделал скорбное лицо.

— Мой грех,— сказал он, картавя.— Я чудно знаю, что должен был сдать портрет в государственный музей или завещать его после моей — увы, очень близкой! — смерти кому-нибудь из уважаемых пушкинистов. Скажем, вам,— он взглянул в сторону Швейцера,— так как достойных родственников у меня, к сожалению, нет. Откуда вы узнали об этом портрете?

— От одной вашей «недостойной» родственницы,— ответил Швейцер, слегка раздражаясь. Он уже догадался, что портрет продан.— От Татьяны Андреевны Бобровой.

— Ах, Таня, Таня...— Старик снял очки и протер рукавом глаза.— Я совсем о ней позабыл. Я никогда ее не видел, но знаю, что она блистает красотой и талантом. Если ей передался шарм женщин из нашего рода, то она, должно быть, очаровательна.

— Но что же все-таки с портретом?

— Увы! Я не человек железной воли.

— Вы его продали?

— Да.

— Кому?

— В том-то и дело, что я продал его в ненадежные руки.

— Кому же все-таки?

— В Одессе,— сказал Чирков,— на Канатной улице в доме Мурзиды живет старый антиквар Соломон Зильбер. Ужасная бестия. В свое время я покупал у него всякие брик-а-бра. А два года назад колесо судьбы повернулось,

Зильбер приехал в Киев погостить у замужней дочери, зашел ко мне и скупил остатки своих прежних вещей за ничтожную цену. И портрет тоже купил. Не спрашивайте меня за сколько, прошу вас. C'est la vie, n'est ce pas?[1] Ничего не поделаешь!

«Значит, придется ехать в Одессу»,— с облегчением подумал Швейцер. Раздражение его на старика Чиркова прошло. Швейцер уже гадал, сможет ли он выехать завтра же, и плохо слушал, что говорил Прибыльский. А Прибыльский говорил, что он с величайшей радостью принял бы участие в этих поисках, если бы, конечно, не срочная работа.

Когда Швейцер спускался по лестнице, из квартиры Прибыльского долетел неуверенный стук молотка — Чирков вновь принялся за обивку злополучного дивана.

После ухода Швейцера он вздохнул и сказал с неодобрением:

— Маленький, маленький, а злой!

Эти слова, очевидно, относились к Швейцеру. Но тут же Чирков забыл о Швейцере и начал насвистывать любимую арию:

Сильва, ты меня не любишь,
Сильва, ты меня погубишь.

Кот Захар сидел на диване и умывался. Изредка он прерывал это занятие, чтобы презрительно посмотреть на Чиркова. Захар удивлялся: что это за легкомысленный старик? Кто ему разрешил колотить молотком по дорогому дивану?

* * *

В конце февраля Вермель и Пахомов закончили работу в Новгороде и вернулись в Ленинград.

Татьяна Андреевна давно уже была в Одессе, а от Швейцера не приходило никаких известий. На телефонные расспросы Вермеля Серафима Максимовна отвечала неохотно. Она сказала только, что Швейцер на юге, и выразила притворное удивление, что Вермель ничего не знает о своем закадычном приятеле.

Вермель был рад исчезновению Швейцера и с торжеством сказал Пахомову:

---

[1] Такова жизнь, не правда ли? *(фр.)*

— Наконец-то старик сорвался!

А Пахомова занимала мысль о том, что́ теперь там, в Новгороде, в Михайловском, где они были так недавно. Ему хотелось вновь, но уже одному, поехать в эти места. Но ехать было нельзя — началась работа над эскизами для росписи театра.

В опустелом Михайловском и в Новгороде, в доме у Варвары Гавриловны, по-прежнему теплилась зимняя жизнь.

Как всегда в феврале, целыми сутками валил тяжелый снег. Он засы́пал сад Варвары Гавриловны почти до верхушек кустов. Дорожка к беседке — Маша теперь расчищала ее каждый день — походила на глубокий окоп. С каждым днем в саду кричало все больше галок. Варвара Гавриловна уверяла, что это к высокой полой воде.

Иногда солнце било в окна так жарко, что нагревало листья герани, и они пахли сладко, лекарственно. Сосульки таяли. С них стекали яркие капли. В свежем от ветра небе неслись с юга нарядные облака. Муха выбегала в сад, лизала снег, долго нюхала ветер. Это тоже было признаком близкой и дружной весны.

Варвара Гавриловна с Машей часто вспоминали все недавно пережитое. Больше всего волновали Варвару Гавриловну слезы Тани перед отъездом. На осторожные расспросы Варвары Гавриловны она ответила односложно:

— Так... Не пугайся... Мне просто жаль уезжать...

Но Варвара Гавриловна знала, что слезы эти были неспроста. В ящике Таниного стола она нашла много листков бумаги с начатым и брошенным на полуслове письмом. Эти ненаписанные письма смущали Варвару Гавриловну. Каждое письмо начиналось словами «Милый Рамон», а дальше было зачеркнуто. Что за странное имя — Рамон? Варвара Гавриловна таких имен не слыхала. Судя по числам на листках, Татьяна Андреевна начинала писать несколько раз, но каждый раз бросала. На одном листке было написано: «Не то! Не то!» Кроме этих двух слов и обращения, в письмах нельзя было ничего разобрать.

Что делается у них на душе, у этих молодых, похожих на комок нервов, ей, Варваре Гавриловне, конечно, уже не понять. Новый век, иные радости, иные слезы, совсем не те, что были у нее в молодости. Она в свое время горевала из-за нужды, болезни мужа, из-за страха за Танину судьбу. Все было понятно. А Таня горевала «просто так».

Что это значило — попробуй догадайся. Может быть, полюбила кого-нибудь, а может быть, совсем не от этого, а как раз оттого, что не случилось у нее в жизни любви.

«Бог с ней, с любовью,— думала Варвара Гавриловна.— Где это видано, чтобы любовь давала женщинам долгое счастье? Одно беспокойство. Когда счастлива, все боишься, что счастье вот-вот надорвется, как нитка, и пойдет расползаться изо дня в день».

Но чем дальше, тем больше Варвара Гавриловна беспокоилась за дочь и наконец не выдержала — написала ей письмо.

«Ответь мне, Танюша, что с тобой, что у тебя на душе? Откройся. Мало ли кого ты встретишь в жизни, а одна только я никогда тебя не забуду. Каждый час думаю о тебе. Беспокойство у меня бывает ужасное. Я старуха, конечно, но постараюсь понять, если ответишь. Одно у нас место для утешения, один-единственный приют — материнский дом, будь он хоть гнилой избушкой. Ну прости, не хмурься за мои приставания — стала я от своей дряхлости боязливой и мнительной. Художники уехали. Славные люди, очень мы их полюбили и провожали, как родных».

Ответ пришел через десять дней. Варвара Гавриловна спрятала его под шкатулку с вязальными нитками. Каждое утро, когда Маша уходила в школу, Варвара Гавриловна вынимала Танино письмо, перечитывала и долго вытирала глаза концом серого пухового платка.

Татьяна Андреевна писала, чтобы Варвара Гавриловна ни о чем не беспокоилась. Все хорошо — она спокойна, весела, не собирается делать никаких глупостей. Но самое главное заключалось в двух маленьких строчках: «В июне, если удастся, я приеду к вам надолго, на все лето. Наговоримся тогда обо всем».

Вот эти две строчки и заставляли Варвару Гавриловну прижимать к глазам старенький пуховый платок. Она уже свыклась с мыслью, что ей придется умереть, так и не пожив с Таней. А теперь Таня, возможно, приедет на все лето.

На следующее утро после получения письма Варвара Гавриловна долго рылась в ящике буфета, доставала и раскладывала пожелтевшие бумажные пакетики с семенами. Она беспокоилась, не потеряли ли семена всхожесть. Здесь были настурции, гвоздики, астры, резеда.

Варвара Гавриловна заказала соседу-плотнику ящики для рассады и стала нетерпеливо дожидаться весенних дней. Тогда можно будет взять из сада сырую землю, перемешанную с истлевшими листьями, отогреть ее в доме, насыпать в ящики и посадить семена. Надо, чтобы к приезду Тани в саду уже распустились цветы.

Варвара Гавриловна представляла себе, как в новых выструганных ящиках появятся худенькие бледные побеги. А за окнами будет плескать по лужам торопливая капель. О близкой весне напоминала угарная синева над оврагом. Еще налетала вьюга, но все чаще месяц мутно светил в сырой тишине, на дорогах все больше валялось сена и навоза.

На Волхове кололи лед и возили его на розвальнях в город. На подъемах лошади останавливались, задыхались, и возчики сбрасывали то тут, то там на дорогу зеленоватые глыбы. Они поблескивали под солнцем, как огромные драгоценные камни. И в этом тоже чувствовалось приближение весны.

А в Михайловском снег под елями стал ноздреватым от оттепелей. В парк нахлынули белки.

Мария Прохоровна гадала на картах. Выходила дальняя дорога в теплые края. Она представляла себе эти теплые края засыпанными липовым цветом, населенными бубновыми валетами — красавцами с золотыми кудрями.

Был слышен сонный звон, похожий на журчание весенней воды. Бледный, будто разбавленный талой водой, солнечный луч все чаще проникал в ту комнату музея, где неподвижно смотрели за окно туманные призрачные глаза красавицы Сабанской.

Швейцер никогда не переживал такого ветра. Над городом катился напряженный гул. В номере гостиницы «Лондонская» было так холодно, что Швейцер не снимал пальто. От мягкой мебели из рытого красного бархата сочился зловещий отблеск.

За пожелтевшими кисейными занавесками несло белесую мглу двенадцатибалльного шторма. Раскачивались уличные фонари. По стеклам хлестал оборванный провод. В темном коридоре что-то ухало и звенело, будто ветер с размаху бил в барабан.

Швейцер попросил в номер кофе, но пока его несли, он остыл, и Швейцер не мог им согреться. Мельхиоровый

нож, когда Швейцер намазывал застывшее масло, показался ледяным, от него запыли пальцы.

Швейцер не допил кофе и спустился вниз, в длинный пасмурный зал ресторана. Он заказал вина и горячего чая. Несмотря на холод, никогда он не чувствовал такого свежего возбуждения. Ему казалось, что в одесском воздухе к запаху бури примешан слабый запах жаровен, спирта, миндаля. Воздух был зернистый, как фирн,— удивительный воздух приморской зимы!

Швейцер, человек книжный, любил воспринимать жизнь, как некую, уже задуманную, но еще не написанную повесть, и сейчас ему казалось, что он попал в завязку повести. Все быстро смешалось — Ленинград, Михайловское, Киев, Одесса. Появлялись и исчезали люди, начинал закручиваться вихрь закономерных событий. Он захватил Швейцера, не отпускал его, но и не давал никаких догадок относительно развязки. Это сообщало действительности оттенок таинственности и возбуждало любопытство.

Швейцер подумал, что вот сегодня же он увидит Татьяну Андреевну — милую женщину, еще недавно смеявшуюся в бревенчатых комнатах в Михайловском. То волнение, какое Швейцер испытывал в связи с поисками портрета, с предчувствием неведомых пушкинских стихов, блиставших уже где-то вдали, слилось в одно целое с мыслями о Татьяне Андреевне, Михайловском, зимнем море, с ощущением новизны каждого дня, каждого часа.

Швейцер приехал рано утром. Сейчас наступил полдень, но он не спешил. Ему хотелось продлить молодившее его чувство пребывания в незнакомом городе. Ему нравилось здесь все — даже холодная гостиница, обдуваемая бурей, как океанский пароход.

Из ресторана Швейцер вышел на бульвар. Блестели гладкие стволы платанов, покрытые водяной пылью. Капли так крепко стучали по памятнику Ришелье, что казалось, будто звенит сама бронза. Пенистое море грохотало за портом у каменистых берегов.

«Чудесно! — подумал Швейцер.— Это, пожалуй, стоит нашей зимы».

Он расспросил у словоохотливых прохожих, где Канатная улица. С трудом, держась за решетку, он прошел по мосту, над спуском к порту, и заглянул вниз,— черт возьми, вот такой он всегда представлял себе зимнюю Ис-

танию! Дома, как крепости, аркады, сухой плющ. И свинцовый свет, раздуваемый ветром.

На Канатной он нашел дом Мурзиды и квартиру Зильбера в глубине двора. Он поднялся по ветхой лестнице, заставленной поломанными детскими колясками, на наружную галерею и постучал в заклеенную газетами стеклянную дверь.

Открыл ему толстый краснощекий старик с седой бородой — сам Зильбер. Швейцер сказал, что он пришел по поручению Чиркова — помнит ли его Зильбер?

Зильбер что-то невнятно пробормотал и провел Швейцера в белую комнату. Там, кроме бронзовой, запыленной до черноты люстры, ничто не говорило о жилище бывшего антиквара.

— Ветер? — радостно сказал Зильбер и потер пухлые руки.

— Да, ветер,— согласился Швейцер.

— Самая подходящая погода для астматиков,— насмешливо заметил Зильбер.

Швейцер согласился и с этим.

— Астма — наша одесская болезнь. Там у вас ее почти нет,— добавил Зильбер и хитро посмотрел на Швейцера.

— Где это — там у нас? — спросил, улыбаясь, Швейцер. Манера Зильбера разговаривать с незнакомыми начинала его забавлять.

— Откуда я знаю — где? Может быть, в Киеве. А может быть, и в самой Москве. Или даже в Ленинграде. Одним словом, там, откуда вы приехали.

Швейцер промолчал.

— Какие могут быть дела у Чиркова ко мне? — спросил Зильбер прежним веселым голосом.— Я старый человек, живу на содержании у дочери и не заведую похоронным бюро.

— Так! — сказал Швейцер.— Значит, по-вашему, Чиркову пора умирать.

— А что же? Он наделал довольно глупостей. С него хватит!

Зильбер сел к столу и начал набивать папиросы. Казалось, что разговор окончен. Швейцер растерялся.

— Итак,— сказал Зильбер неожиданно грозным голосом,— я отлично вижу, что вы интеллигентный человек. Тогда скажите, какой вещью, принадлежавшей Чиркову, вы интересуетесь? Потому что все вещи проданы. Но я об-

ладаю привычкой следить, как сни ходят из рук в руки. Могу вам кое-что посоветовать.

— Кое-какими вещами Чиркова я интересуюсь,— сознался Швейцер.

— Что именно? Баккара? Фарфор? Павловская мебель?

— Нет, не это.

— Не это? — Зильбер поднял брови.— Была еще коллекция курительных трубок. Черненое серебро? Или бронза?

— Нет, и не это.

— Ну, знаете, я вам заранее скажу — сто́ящих книг у него не было. Он не из таких, чтобы читать Вольтера.

— Книги мне тоже не нужны.

— Так что же вам наконец нужно? Старинные бинокли, японские веера?

— Мне нужны картины.

— Ну конечно, картины! — воскликнул Зильбер и укоризненно покачал головой, будто только и ждал этого бессмысленного ответа.— Он же не мог отличить Поттера от Каульбаха. Вы меня просто насмешили. Он вешал в кабинете открытки с фотографиями Лины Кавальери и графини Тарновской. А вы мне говорите — картины!

— У вас был портрет работы итальянского мастера начала девятнадцатого века?

— Портрет! Ха! Работа итальянца начала девятнадцатого века. Ха-ха! Заметьте себе, что после Гварди и Каналетто в Италии больше не было настоящих художников. Нет! Итальянцы перестали работать красками. Они начали мазать губной помадой на лимонаде. Я, между прочим, нашел надпись на этом портрете. Какой-то Бабалетти — голодранец из Рима. Он приехал в Одессу и торговал своими портретами, как фальшивыми изумрудами.

— Однако вы же купили у Чиркова этот портрет.

— Я купил! — закричал Зильбер.— Я взял его в придачу, понимаете вы или нет? В придачу, как вот эту бумажку я получаю в придачу к каждой коробке с гильзами.

Зильбер потряс в воздухе глянцевитой квадратной бумажкой и швырнул ее на стол. Швейцер прочел на ней надпись, напечатанную золотыми буквами: «Гражданин, держишь ли ты свои сбережения в сберкассе? За срочный вклад ты будешь получать 5% годовых».

— Со всеми на «ты»,— вздохнул Зильбер.— Как будто

мы, покупатели гильз, только тем и занимались, что пили на брудершафт с комиссаром финансов!

— Хорошо,— сказал Швейцер.— Пусть этот портрет написан плохим итальянским художником...

— Отвратительным!

— Пусть. Но он мне нужен.

— Я могу подумать, что это портрет вашего покойного великосветского дедушки. Я вижу, что вы такой еврей, как и я. Бросим шутки! Объясните, в чем дело.

— Видите ли,— сказал Швейцер,— я собираю портреты Пушкина.

— Так вы полагаете,— радостно закричал Зильбер,— что нашли неизвестный его портрет? Вот спасибо! Дайте мне посмотреть на вас. Я еще не видел таких маленьких мальчиков в очках и с седой бородой. Вы же дитя! Молодой человек на этом портрете так похож на Пушкина, как я на Махно. Интересно, сколько с вас взял Чирков, чтоб навести вас на этот портрет и нахально обмануть человека?

— А чей же это портрет?

— Я знаю чей? — пожал плечами Зильбер.— Какого-нибудь актера итальянской оперы. Или флейтиста. Он совершенно черный,— должно быть, Чирков держал его в печной трубе.

— Где же он?

— Неужели вы будете тратить время, чтобы найти грязный кусок холста? — спросил Зильбер, но в глазах его Швейцер заметил тревогу. А вдруг он и вправду ошибся и это был портрет Пушкина? Ну нет! Он, старый, опытный антиквар, никогда не ошибался. Зильбер добродушно усмехнулся.

— Предположим, я подарил этот портрет, чтобы его повесили на первой попавшейся стенке. Так теперь все равно ничем не поможешь. Теперь я бросил заниматься такими делами. Да мне и не отдадут его обратно. А как вас зовут?

— Семен Львович Швейцер.

— Так вот что, уважаемый Семен Львович. Портрет этот я подарил своему племяннику. Он заведует хозяйством в горном санатории для чахоточных. Санаторий «Учкош». Около Ялты. Вы знаете, где это?

Швейцер поговорил еще немного, поблагодарил старого антиквара и ушел.

Зильбер долго стоял на галерее, потирая маленькие пухлые руки, и смотрел вслед Швейцеру.

Потом он вернулся в комнату и со звоном захлопнул за собой дверь. Все равно! Черт с ним, с этим портретом! Он, Зильбер, дал слово дочери не прикасаться к старым вещам, не растравлять себе сердце, не нарываться на неприятности. Дочь писала в анкете о нем, что он «бывший эксперт по музейным ценностям». Бывший! Пусть оно так и будет, как написано в этой анкете! Бывший!

Зильбер вернулся, приоткрыл дверь и выглянул во двор,— Швейцера уже давно не было. Тогда он второй раз со звоном захлопнул дверь и сел за стол набивать папиросы. Руки у него дрожали. Не может быть, чтобы он прозевал подлинный портрет Пушкина. Что тогда скажут старые антиквары, доживающие век в Одессе и других городах. Как они будут смеяться над ним беззубыми ртами! Как они будут шамкать, что Зильбер никогда не был тонким знатоком, а работал на грубого шибера.

А вдруг! Вдруг через несколько дней он прочтет в газете телеграмму из Ялты, что какой-то Швейцер Семен Львович нашел новый портрет Пушкина! Все может быть. Выходит, что он свалял дурака, послав Швейцера по верной дороге. А все из-за своей слабости к интеллигентным людям!

Зильбер отодвинул горку набитых папирос, подошел к двери, открыл ее, посмотрел на детские коляски и крикнул вниз: «Товарищ Капустянская, до каких пор я буду спотыкаться об ваши поганые люльки!» Не дожидаясь визгливого ответа, он вернулся в комнату и в третий раз хлопнул дверью так, что товарищ Капустянская, уже вытиравшая руки, чтобы ринуться на галерейку и начать словесный бой, только повела глазами, пробормотала: «Сумасшедший торгаш! Зверь!», но не двинулась с места.

А Зильбер набивал папиросу за папиросой, и все время у него лопались гильзы.

* * *

Нина беспокоилась за отца. В газете она прочла заметку, что «Бессарабия», застигнутая штормом между Туапсе и Новороссийском, изменила путь и идет на Севастополь. Во все промежуточные порты заход невозможен.

Дуварджоглу пришел, как всегда, к тете Полине попить кофе и поговорить о служебных невзгодах.

Но тетя Полина не слушала его. Она каждый раз вздрагивала и крестилась, когда ветер гремел железной крышей. Если бы Нины не было дома, тетя Полина достала бы из ящика кухонного стола черную иконку Николая Мирликийского и зажгла бы перед ней стеариновую свечку.

Дуварджоглу пил кофе маленькими глотками и печально поглядывал на седеющие волосы тети Полины. Тяжело жить на свете одинокому старому человеку! Да еще в такой вечер, когда в его холостяцкой комнате ветер шуршит газетами и, должно быть, тоже от бури, все время мигает электрическая лампочка.

Нина лежала па диване в кабинете отца. Раскрытый томик рассказов Горького валялся рядом. Нина не читала. Она смотрела в темный угол, где поблескивал на стене барометр. Его стрелка дрожала. Надо бы встать и посмотреть, падает она или подымается. Но Нина и без того знала, что шторм крепчает. Все чаще ветер подвывал внутри стен в старых мышиных ходах, когда же порывы его стихали, слышался грозный шум, будто мимо Одессы мчались, не замедляя хода, товарные поезда с железом. Это гремело море.

Приморский вечер с его блестящей, как чернила, темнотой тянулся бесконечно. Нина вспомнила северные ночи, когда ледяные блестки стоят в воздухе на уровне лица, Михайловское, портрет Сабанской, встревоженное лицо Татьяны Андреевны. Да было ли это?

Когда Нина приехала из Пскова, отец тоже только что вернулся из крымского рейса. Он говорил, что Нина сделалась как «оглушенная».

Она все вспоминала свою поездку, но никак не могла рассказать отцу обо всем, что видела. Оно ускользало, пряталось от слов. Как объяснить отцу, что тамошний снег — это совсем не то, что твердый, как перловая крупа, грубый снег, выпадавший у них в Одессе? Как объяснить самую его снежность? Как рассказать об этом блеске, когда стоишь на краю равнины и она расстилается перед тобой поверхностью серебряного солнца? Можно, конечно, рассказать о встрече с Татьяной Андреевной, о Швейцере, Вермеле, но нельзя передать всю прелесть этой встречи.

Отец не понимал, удивлялся Нининому волнению, приписывал все ее годам, возбудимости, нервности.

Отец тоже рассказал о своем последнем рейсе. Рейс был обыкновенный. Ничего особенного не произошло, если не считать, что из Феодосии в Ялту они везли больного туберкулезом испанца Рамона Перейро. Его отправили в горный санаторий. Санаторий этот известный — туда привозят только умирать. Жаль, очень славный юноша! А «Коимбра» все еще торчит в Феодосии, болтается на якорях.

Нина, слушая отца, покраснела. Но отец ничего не заметил. Нина вспомнила свое обещание в Михайловском — обязательно повидаться в Одессе с Татьяной Андреевной.

На следующий день она узнала ее адрес. Татьяна Андреевна жила на Обсерваторной улице. Это был пустынный квартал, около Ланжерона. Нина несколько раз порывалась зайти к Татьяне Андреевне, но все не решалась и облегченно вздыхала, когда находилась какая-нибудь помеха.

Ветер за окном все свирепел, дул порывами, будто собирался снести дом до основания.

— Христофор Григорьевич, который час? — крикнула Нина.

Дуварджоглу вынул толстые часы с музыкой, прижал к уху — идут ли? — и неторопливо ответил:

— Девять, Нина Георгиевна.

Нина вскочила с дивана. Она решила пойти в пароходство к дежурному и узнать, нет ли известий о «Бессарабии». Тетя Полина взволновалась, «раскудахталась», как говорила в таких случаях Нина. Как это можно идти в такую погоду! Лучше позвонить по телефону.

— По телефону от них ничего не добьешься! — возразила Нина и начала одеваться.

Дуварджоглу, испуганный гневным взглядом тети Полины, догадался, что ему следует проводить Нину. Он спрятал в карман янтарные четки и встал, потирая колени. И сколько Нина ни отбивалась, он все же пошел с ней — молчаливый и вздыхающий.

На улице ветер ударил с размаху в спину. Нина, чтобы не упасть, схватилась за рукав Дуварджоглу. Особенно страшно было перебегать перекрестки. Воздух несло по продольным улицам с такой упругой силой, что каза-

лось — вот-вот он оторвет от тротуара и унесет в море. Ветер запутывал в ногах короткую юбку и не давал идти.

Около пароходства стало тише. Пел над головой невидимый флаг на высокой мачте. В коридорах было тепло и пусто. Нина пошла к дежурному, а Дуварджоглу остался в вестибюле. Он сел на деревянный диванчик, свернул из крепкого табака папиросу, вставил ее в костяной мундштук и с наслаждением закурил.

Здесь все было ему знакомо. В старые времена Дуварджоглу часто приходил сюда с пачкой накладных, где под виньеткой из скрещенных якорей были перечислены разные товары, доставленные для кондитерской фабрики: кунжутное масло, тростниковый сахар, изюм, коринка, жирные маслины, оранжевые цитроны. Как пахло в порту! Как пахло в пакгаузах и в трюмах пароходов! Ванилью, угольным дымом, соленой водой... Единственное, что изменилось в вестибюле пароходства,— это стены. Вместо цветных плакатов пароходных обществ «Ллойд Триестино», «Мессажери Маритим» и «Каиро» на них висели театральные афиши и стенная газета.

Нина сбежала с лестницы веселая. Дежурный сообщил ей, что «Бессарабия» благополучно дошла до Севастополя и там остановилась.

Дуварджоглу поднялся, но Нина ласково сказала ему, чтобы он докуривал,— она пока почитает афиши. Прежде всего Нина посмотрела на афишу русского драматического театра. Ей хотелось знать, что идет сегодня. Шла «Таня» Арбузова. Нина знала, что Татьяна Андреевна в этой пьесе не играет.

— Христофор Григорьевич, милый,— умоляюще сказала Нина,— проводите меня на Обсерваторную улицу. Мне надо к одной знакомой. Я пробуду там очень недолго. Мы зайдем к ней вместе, так будет лучше. Сама я стесняюсь.

— Что такое! — ответил Дуварджоглу, выколачивая об ладонь костяной мундштук.— Пойдемте, но я подожду вас на улице.

— Почему?

Дуварджоглу виновато улыбнулся:

— Я имею такой костюм, что ваша знакомая удивится.

Он распахнул пальто и показал блестящий от старости пиджак.

— Как вам не стыдно! — крикнула Нина и потащила Дуварджоглу за руку.

До Обсерваторной они шли, задыхаясь от ветра и препираясь. Дуварджоглу пытался объяснить Нине, что неудобно являться с визитом в чужой дом в таком затрапезном виде.

— С каким визитом? Какая чепуха! — кричала Нина и хохотала.

Но Дуварджоглу понимал, что смеется она от волнения, и еще больше смущался. Это Нинино волнение и заставило его войти вместе с ней в незнакомый дом. Может быть, предстоит серьезное объяснение, и он, Дуварджоглу, окажется полезным. Конечно, он не психолог, но что касается дипломатии, то в этом деле Дуварджоглу считал себя не последним человеком.

* * *

Швейцер вернулся от антиквара в гостиницу, сел, не снимая пальто, за огромный письменный стол и задумался.

Он долго рассматривал резанные из дуба рыцарские шлемы на ящиках стола, массивную стеклянную чернильницу, где застыла на дне фиолетовая гуща, бронзового оленя с отвинченными рогами. Потом достал вечное перо, придвинул к себе глянцевитый листок бумаги со штампом гостиницы и написал на нем несколько слов, выдававших его душевное смятение.

«Мне за пятьдесят, седой, почти слепой,— написал Швейцер, задумался и начал писать дальше,— а я радуюсь, как дурак, каждому глотку свежего воздуха, каждому хорошему дню. Что это значит? Черт с ней со старостью, надо жить молодо».

— До гробовой доски? — вслух спросил себя Швейцер насмешливо и тут же, рассердившись, ответил: — Да, до гробовой доски.

«Не надо поддаваться слабости. Не надо привыкать к ощущению слишком затянувшейся жизни. Когда у человека появляется в плечах боль, будто от ватной шубы,— тогда конец. Надо поменьше вспоминать. Да и что вспомнишь? Годы, похожие на один спокойный день в изученной до последней пылинки квартире? Жизнь в том, чтобы работать, радоваться и непрерывно — обязательно непрерывно — знать вот эту свежесть бури, когда все чувства

и мысли проветрены насквозь. Только в столкновениях рождается сила, сознание своих возможностей, возникает одна цель, за ней другая — цепь привлекательных задач».

— Что-то я неясно думаю,— пробормотал Швейцер.— Должно быть, оттого, что я никогда по-настоящему не разбирался в своей судьбе.

В комнате быстро темнело. Швейцер взглянул на часы. Было всего три часа. Очевидно, ветер за окнами нагнал тучи.

«Моя дальнейшая судьба,— снова написал на листке Швейцер.— Важно ли то, что я делал всю жизнь? Я делал только то, что люблю. Я был честным, но не моя вина, если я не сумел полностью передать окружающим возвышавшее меня чувство поэзии. Возможна ли без этого чувства будущая жизнь? Нет! Значит, я делал нужное. Бывают времена, когда все отходит в сторону,— времена борьбы, войн, потрясений. Но когда наступит последняя победа и человек вернется к мирному труду, к созданию культуры, что он скажет нам, если мы растеряем все лучшее, что осталось от прошлого? Да, я старею, я слаб, но я участвую в движении человеческой мысли. Я берегу ее для будущей жизни. Я сторож. Даже не сторож — я часовой. На своем незаметном посту я должен быть так же тверд, как любой участник сражения».

— Ну погодите же! — вслух сказал угрожающе Швейцер, вспомнив об издевательствах Вермеля.— Я тебе покажу, старый хрыч, как смеяться над изучением поэзии и обзывать меня короедом! Дай только встретиться.

Швейцер взял растрепанную телефонную книжку. С уверенностью, что в ней не может быть телефона Татьяны Андреевны, он перелистал страницы. Но телефон был.

Швейцер положил руку на холодную трубку и посмотрел за окно. Ветви платанов качались. Трубка тихо гудела.

Швейцер позвонил. К телефону долго не подходили. Швейцер старался представить огромное пространство между собой и тем маленьким звонком, который трещит сейчас в квартире Татьяны Андреевны. Это пространство было заполнено морской сыростью, бурей. И потому так неожиданно прозвучал спокойный голос Татьяны Андреевны.

— Вы? — сказала она радостно.— Да неужели это вы, Семен Львович! Ну, приходите же ко мне сейчас. Все рас-

скажете. Идите через Александровский парк. Я выбегу вам навстречу.

Швейцер заторопился и вышел на улицу.

В переулке около Греческого моста Швейцер остановился и посмотрел на разбитую тротуарную плиту. В трещине плиты поблескивала высохшая розовая креветка. Сухой лист платана, подгоняемый ветром, бежал по мостовой рядом со Швейцером. Швейцер поднял его и спрятал в карман. На руку упала капля дождя — совершенно одна, других капель не было. Швейцер посмотрел на нее — в капле отражался зеленоватый свет бури. Должно быть, это была не дождевая капля, а брызга, принесенная с моря.

Над облетевшим Александровским парком повис туман. Около скамеек намело много трескучих листьев.

По обочине асфальтовой дороги прошел пустой трамвай с надписью: «Ланжерон — Греческий базар». Молоденькая вожатая в теплом платке весело позвонила Швейцеру и кивнула ему головой. Он снял шляпу и низко поклонился вожатой. Она оглянулась, засмеялась, и Швейцер увидел ее маленькие белые зубы. Тотчас же другая девушка — кондукторша — пробежала через вагон, с грохотом отодвинула переднюю дверь и крикнула вожатой с отчаянным любопытством: «Кто это, Зойка?» — «Да так... веселый старичок, незнакомый»,— беспечно ответила вожатая и повела вагон дальше.

Асфальтовая дорога огибала каменистый холм. Налево темнело море. Впереди были видны только серое небо и метлы сухих тополей. Под ногами трещали ракушки. На дороге не было ни души.

Швейцер шел медленно. Ему хотелось встретить Татьяну Андреевну именно здесь, среди парка, где ветер свистел в разрушенных стенах старинной таможни.

Черная собака с косматой бородой бежала навстречу Швейцеру. Она остановилась, прижала уши и тонко залаяла. Швейцер не останавливался, и собака, испуганно озираясь на него, побежала назад. И тотчас же он увидел, как по боковой аллее навстречу ему шла Татьяна Андреевна. Она показалась ему выше, чем в Михайловском. На ней была та же черная меховая шапочка, и глаза ее блестели, как они обычно блестят у женщин из-под вуали. Но вуали не было.

Они крепко расцеловались.

— А мне в последние дни так хотелось, чтобы приехал кто-нибудь из своих,— сказала Татьяна Андреевна.— Очень хотелось. Ну, пойдемте. Я вас накормлю, напою и буду слушать хоть до утра.

Они пошли через парк. Ветер стихал. В домах за парком зажигались огни.

— А как же портрет? — спросила Татьяна Андреевна.— Нашли?

Швейцер рассказал о Чиркове, Зильбере, о том, что он не спрашивал ни Чиркова, ни антиквара, есть ли на портрете строфы пушкинских стихов.

— Но почему же? — удивилась Татьяна Андреевна.

— Да что вы! Разве можно откровенничать с такими жуликами? Они тогда ни за что бы не сказали, где найти портрет.

— Значит, вы поедете теперь в Ялту?

— Да, через несколько дней.

— Вот если бы я могла поехать с вами! — вздохнула Татьяна Андреевна.

Швейцер сейчас же взволновался.

— Поедемте, честное слово! — воскликнул он.— Это будет здорово! Зима, горы, пустые палубы!

— А вы все такой же ребенок! — Татьяна Андреевна потрепала Швейцера по руке.

— А что? — испугался Швейцер.— Разве это нехорошо?

— Наоборот, хорошо. Я иногда чувствую себя гораздо старше вас.

— Да,— вздохнул Швейцер.— Вот если бы мне скинуть с плеч хотя бы двадцать лет...

— То что бы было?

— Опоздало счастье,— сказал шутливо Швейцер.— И намного.

Татьяна Андреевна остановилась и вопросительно взглянула на Швейцера. Они стояли в переулке около высокой каменной ограды.

— Хороший переулок,— пробормотал Швейцер,— прямо замечательный! Как он называется?

— Батарейный,— ответила Татьяна Андреевна и улыбнулась.— Что же вы замолчали? Неужели вы чувствуете тебя несчастным?

— Да нет, глупости,— засмеялся Швейцер.— Наоборот. Мне в жизни редко бывало так хорошо. Я радуюсь теперь всему — шуму бури, даже холодным этим сумер-

кам. У меня с недавних пор круто переменилась жизнь. Знаете, так бывает. Человек не может решиться сделать смелый шаг. Он тянет, мучится. Потом решается, но при этом обязательно говорит себе: «Ну, все равно — я пропал!» И после этого «я пропал», когда нет дороги назад, человек чувствует, что не только не пропал, а, наоборот, в него ворвалось чувство свободы, сила, отвага. Вот это примерно и происходит со мной.

— И вам этого мало?

— Татьяна Андреевна, милая,— сказал умоляюще Швейцер.— Я и сам знаю. Но человеку всегда мало. Да и не стоит говорить об этом.

Татьяна Андреевна удержала Швейцера за руку и открыла решетчатую железную калитку в высокой ограде.

— Вот и мой дом,— сказала она.— Здесь у меня как в скиту.

* * *

— Кажется, здесь,— прошептала Нина.

Из сада тянуло запахом мерзлой травы. За облетевшими деревьями виднелся небольшой дом. Окна во втором этаже были освещены.

— А вы знаете,— сказала Нина,— я, кажется, боюсь.

Дуварджоглу внушительно закашлял.

Они прошли через сад. На узкой лестнице горела синяя электрическая лампочка.

— Какая же квартира? — спросила Нина и прислушалась.

Наверху кто-то играл на рояле.

— Это, должно быть, она,— прошептала Нина.— Пойдемте.

Она потащила Дуварджоглу по лестнице на второй этаж и позвонила у двери, где не было никакой таблички. Открыл ей Швейцер. Это было так неожиданно, что Нина забыла задать давно приготовленные вопросы — здесь ли живет Татьяна Андреевна Боброва и дома ли она.

— Везет мне! — закричал Швейцер.— Какая встреча! Что за город эта ваша Одесса! Входите! Татьяна Андреевна дома.

Татьяна Андреевна выбежала в переднюю, вскрикнула, увидев Нину, и они, должно быть от неожиданности,

крепко расцеловались. Дуварджоглу галантно держал на отлете, как держат цилиндр, свою мокрую шляпу и сладко улыбался.

— Это старый приятель нашей тети Полины,— сказала растерянно Нина и покраснела,— и моего отца... Он проводил меня к вам. Я только на минуту.

Но Швейцер уже снимал с нее пальто, а Дуварджоглу тряс руку Татьяне Андреевне, и в кармане у него бренчали янтарные четки. Потом Христофор Григорьевич достал огромный носовой платок — синий с белым горошком, со вкусом высморкался, вытер усы, и по всему его виду Нина поняла, что он не собирается скоро уходить. У нее упало сердце.

Но вскоре и Нине не захотелось уходить. Так весело летел пар из электрического чайника и так хорошо было вспоминать Псков, лыжный поход, вечер в пушкинском доме... Да, вечер в пушкинском доме...

Нина перестала улыбаться и замолкла. Ведь она пришла к Татьяне Андреевне рассказать о Перейро. Но как это сделать?

Татьяна Андреевна была так оживлена, что Нина уже решила ничего не говорить. Нет, все-таки надо сказать. Все равно надо. После нескольких слов в Михайловском Нина догадалась, что Перейро был как-то связан с Татьяной Андреевной.

«А может быть, я дура и вовсе ничего не надо говорить? — подумала Нина.— Зачем я лезу в чужие дела? Нет, скажу»,— тут же решила она, тряхнула головой, и у нее вылетели шпильки, упала и расплелась коса.

Нина вышла в соседнюю комнату, чтобы ее заплести. Она заплетала косу перед зеркалом и смотрела на фотографии на столе. На одной была снята дряхлая сутулая старушка. Около нее стояла девочка в летнем ситцевом платье. Глаза и лоб у девочки были совсем такие же, как у Татьяны Андреевны.

«Неужели дочь? — подумала Нина.— Нет, должно быть, сестра».

На второй карточке был снят деревянный дом с кривым крылечком, с кадкой для дождевой воды у порога и мезонином, похожим на скворечню.

Вошла Татьяна Андреевна, и Нина сразу решилась. Не оглядываясь, все еще продолжая заплетать косу, она сказала:

— Помните «Коимбру»? Мой отец видел ее в Феодосии.

— Да? — дрогнувшим голосом спросила Татьяна Андреевна.

— Да,— ответила Нина и опустила глаза: она боялась смотреть в зеркало на Татьяну Андреевну.— Отец недавно перевозил на своем теплоходе из Феодосии в Ялту Рамона Перейро.

— Зачем? Что случилось? — спросила Татьяна Андреевна.

— Его отправили в горный туберкулезный санаторий около Ялты. Отец говорит, что он умирает. Совсем плох.

Нина подняла голову, и глаза их встретились в зеркале.

Татьяна Андреевна крепко стиснула руки.

— Что вы знаете? — спросила Татьяна Андреевна, помолчав.— Откуда вы можете знать все, что было? От него?

— Я ничего не знаю,— поспешно ответила Нина.— Совсем ничего. Честное слово. Я только догадалась, еще в Михайловском.

— Слушайте,— сказала Татьяна Андреевна и потрогала Нинины косы.— Пока они там болтают, я вам расскажу...

Она закрыла дверь и рассказала Нине обо всем, что было с Рамоном. Почему Татьяна Андреевна рассказала этой девушке то, что скрывала ото всех, она и сама не знала. Нина слушала строго, не поднимая глаз. Потом сказала, словно спросила:

— Но он умирает.

Татьяна Андреевна молча кивнула головой — она думала о чем-то и даже как будто не слышала слов Нины.

— Не понимаю,— сказала Нина и встала.— Я гожусь вам в дочери, и вы можете меня даже не слушать. Но я одного не могу понять...

— Чего?

— Я не могу понять... кажется, вы и правы и совсем не правы. Есть такие люди... Их никогда нельзя обижать. Тем более из-за пустяков. Они много страдали... И как дети...

— Я знаю,— ответила Татьяна Андреевна.— Во всем виновата я. Дайте мне только подумать. Не так легко на это решиться.

— На что?

Татьяна Андреевна подняла на Нину светлые глаза.

— Пусть,— сказала она и неожиданно улыбнулась. Нине показалось, что вот-вот у нее на глазах навернутся слезы.— Так надо — и так я и сделаю. Я ничем не грешу против себя.

— О чем вы говорите? — спросила испуганно Нипа.

— Пойдемте! — Татьяна Андреевна встала.— Мы еще увидимся. И не один раз.

Они вышли в столовую. Швейцер взглянул на Татьяну Андреевну и по ее внезапно осунувшемуся лицу понял, что случилось нехорошее. Нина молчала. Швейцер забеспокоился, посмотрел на часы, вскочил. Дуварджоглу нехотя поднялся.

Прощаясь со Швейцером, Татьяна Андреевна пе смотрела ему в глаза. Рука у нее была вялая, холодная. Швейцер с горечью подумал, что не так-то легко и просто люди открываются друг перед другом.

«Наивный я человек,— подумал Швейцер.— Вот уж действительно шляпа».

Сейчас он чувствовал себя чужим для Татьяны Андреевны,— не только чужим, но даже досадной помехой в ее жизни.

Но что могло случиться? Об этом знает вот эта девушка с косами. А ее не расспросишь.

Когда на Ланжероне сели в трамвай, Швейцер притворно вздохнул и сказал в пространство:

— Что-то наша Татьяна Андреевна неожиданно загрустила.

Нина ничего не ответила, даже не взглянула на него. А Дуварджоглу пустился объяснять, что штормовая погода тяжело влияет на нервных людей. Они делаются раздражительными и даже, бывает, плачут без всякой причины.

Попрощались па бульваре. Швейцер побрел в гостиницу.

В номере электрическая лампочка горела так тускло, что при ней нельзя было даже читать. «Черт знает что! — рассердился Швейцер.— Ковры, ламбрекены, бронзовые олени, копии с Айвазовского, а скупятся ввернуть настоящую лампочку!»

Оп позвонил и раздраженно сказал дежурному, чтобы ему тотчас же переменили лампочку. Дежурный молча кивнул, ушел и долго не возвращался. Все еще гудело за окнами море, но в шуме его уже не было прежней ярости.

Швейцер подошел к зеркалу, постоял перед ним, но на себя даже не посмотрел. Ему вдруг стало неуютно в этом незнакомом городе, в гостинице, где даже бархатная мебель казалась обледенелой. Кровать стояла, как никелевый катафалк. Было страшно подумать о том, чтобы раздеться и лечь в нее.

— Что же у нее могло случиться? — спросил Швейцер и тотчас ответил себе: — А какое вам, собственно, дело, дорогой Семен Львович!

Но тут же он возмутился против своих собственных слов и мыслей. У нее своя жизнь, и в этой жизни случилось, очевидно, несчастье. Нужно помочь, быть преданным другом и начисто забыть о себе. Для него Татьяна Андреевна существовала в мире, как существуют стихи Пушкина, небо, запах яблонь, как существует все очарование земли.

Зазвонил телефон. Швейцер взял трубку и с досадой сказал:

— Ну да, я слушаю!

Вошел дежурный с лампочкой. Швейцер замахал на него рукой, чтобы он не шумел. Тот пожал плечами, осторожно положил лампочку на кресло и вышел.

— Ну, я рад, что вы мне позвонили,— говорил растерянно Швейцер.— Нет, нет, я совсем даже не собирался ложиться. Я заметил, что вы были огорчены.

— Да,— ответила Татьяна Андреевна.— Завтра поговорим.

— Чудесно!

Татьяна Андреевна молчала. Швейцер ждал.

— И еще...— сказала неуверенно Татьяна Андреевна.— Возможно, что я поеду с вами в Ялту... Но это еще не наверное... Ну, спите спокойно.

Она положила трубку, но через минуту снова позвонила и сказала, чтобы он зашел к ней завтра в театр в одиннадцать часов утра.

Швейцер снова вызвал дежурного, поблагодарил его за лампочку, подарил ему, несмотря на сопротивление, коробку дорогих папирос и спросил, открыт ли ресторан.

— До трех часов,— ответил дежурный.

Швейцер спустился в ресторан. Он сел за столик, где всю зиму увядали в вазонах розовые гортензии, заказал кофе и взглянул на часы. Было только половина второго.

Как хорошо ни о чем не думать! Только ждать следующего дня, прислушиваясь к звону рюмок, стуку бильярдных шаров, отдаленному шипению пара в порту.

Ждать в чужом городе, выветренном бурей, в гулкой гостинице, с благодарностью смотреть на маятник стенных часов и знать, что с каждым размахом он приближает жизнь к новой черте.

* * *

Теплоход отвалил из Одессы в сумерки. Редкий туман закрыл огни города, заглушил привычные береговые звуки. Вскоре вокруг не осталось ничего, кроме заунывного шума волн.

Сознание оторванности от земли, от ее горестей и забот казалось Швейцеру самым великолепным ощущением, какое он испытывал в жизни.

Татьяна Андреевна не уходила с палубы. Она замолкла с утра, с той минуты, когда сказала Швейцеру в вестибюле театра, что едет вместе с ним в Ялту. На радостное восклицание Швейцера она ответила болезненной улыбкой. Швейцер растерялся и притих.

Молчание Татьяны Андреевны тяготило его. Он догадывался, что она едет в Ялту с тяжелым сердцем. Как все отзывчивые люди, он томился чужим горем и решил во что бы то ни стало выпытать у нее ее тайну, успокоить ее, помочь.

Татьяна Андреевна сидела на корме, на решетчатой, влажной от тумана скамейке, и смотрела, как вертится лаг. Изредка лаг отзванивал мили.

Она думала о Рамоне. Успеет ли она увидеть его? Эта поездка, внезапная и, на посторонний взгляд, безрассудная, казалась ей самым нужным из того, что она когда-либо делала в жизни.

Иногда за кормой вскипала волна и раскатывалась с протяжным шипением. Растерянно кричала чайка, испуганная тем, что она залетела в эту пустыню воды и неба и потеряла теплое береговое гнездо. Из кубрика долетал небрежный звон гитары.

Потом все стихло, и только морская даль все так же монотонно, негромко шумела. И этот шум, похожий на отдаленный гул прибоя, говорил об огромности мира, странах, затянутых тьмой, неразгаданном небе.

Подошел Швейцер. Татьяна Андреевна подняла на него глаза. Он сказал, что становится холодно,— не пойти ли в кают-компанию и выпить чаю. Потом можно вернуться на палубу.

Татьяна Андреевна покорно встала.

В кают-компании горели люстры. Пассажиров не было. За соседним столиком сидел седой моряк, пил чай и читал книгу. В открытый иллюминатор дул ветер. Белизна скатертей, безлюдье, поблескивание стекла и полированного дерева, левкои на столиках — они дрожали от ветра из иллюминатора и слабо пахли — все это напоминало последние часы перед праздником: залы убраны и освещены, но гостей еще нет.

Официант принес чай и незаметно нажал на кнопку около столика,— тотчас заговорило радио.

Мужской голос начал неторопливо рассказывать об испанских беженцах, пропущенных во Францию и задержанных вблизи границы. Они живут зимой под открытым небом на берегу моря. Волны во время бури заливают их лагерь. Они окружены колючей проволокой и охраняются сенегальскими стрелками. Выходить за проволоку запрещено. Нет ни палаток, ни теплой одежды, ни одеял. Не хватает воды. Нет продовольствия. Болеют и каждый день умирают дети — они вынуждены спать на мокрой земле. Идут холодные дожди, смешанные со снегом. Дальнейшая судьба беженцев неизвестна. Французское правительство не соглашается дать им право убежища.

Швейцер снял очки. Татьяна Андреевна впервые увидела его глаза — добрые, потерявшие блеск. Он близоруко нащупал на стене кнопку от радио, нажал ее, и голос замолк.

— Не надо,— сказал Швейцер.— Малодушный я человек. Не могу слушать об этом.

Татьяна Андреевна молчала и сбрасывала со стола крошки.

— Я бывал в молодости в Европе,— сказал Швейцер.— Видел знаменитую статую Латерана, «Весну» Ботичелли, слышал Анатоля Франса, увлекался стихами Верхарна. Я всегда ощущал мировую культуру как что-то вечное, незыблемое. Она сообщала смысл моему существованию. Я любил человеческую мысль во всех ее видах — будь то камень здания, масляная краска, печатная буква...

Швейцер замолчал.

— А теперь?

— Что теперь? Теперь я знаю, что все усилия лучших людей, вся их титаническая работа на протяжении веков, весь их порыв к созданию счастья на земле могут быть сброшены в кровь и грязь пинком солдатского сапога. Это страшно прежде всего своей бессмысленностью. Бессмысленная жестокость, ненависть, бессмысленные мучения. Предательство, трусость, политика выгоды и насилия, вандализм, величайшие народные страдания, и все это из-за злой, а может быть, и безумной воли нескольких человек,— вот к чему пришла Западная Европа. Исчезли традиции. Исчезла простая порядочность. Мир накануне отвратительной бойни. Самое нелепое заключается в том, что она не нужна ни одному простому, занятому трудом человеку. Ни во Франции, ни в Германии, ни в какой угодно другой европейской стране.

— На этом уже будет конец,— едва слышно сказала Татьяна Андреевна.

— Будет,— сказал Швейцер.— Конец этому мировому помешательству положим мы, люди труда и культуры. Так должно быть. Нам ничто не помешает. Вы не представляете себе, какую страшную силу создает страдание. Вы не знаете, на что способны перестрадавшие народы. Все эти народы объединятся...

Швейцер взглянул на Татьяну Андреевну, осекся и замолчал.

Она закусила нижнюю губу и прикрыла ладонью глаза. И все так же свежо, качая цветы на столиках, дул по скатертям ветер из иллюминатора.

Заметив испуганный взгляд Швейцера, Татьяна Андреевна встала и вышла. Теплоход качнуло. Она схватилась за поручни у двери. Официант сказал из-за стойки: «На воздухе им будет легче».

Швейцер расплатился и вышел вслед за Татьяной Андреевной. Он отыскал ее на прежнем месте, на корме. Все так же шумела морская темнота, тянулся пенистый след от винта, вертелся лаг.

— Послушайте...— Татьяна Андреевна притянула Швейцера за руку и заставила его сесть рядом с собой.— Я должна наконец рассказать... Не могу я больше думать об этом одна.

Она рассказала ему историю Рамона, рассказала, что сейчас он умирает в горах, в Крыму. Швейцер, слушая ее,

совсем позабыл, зачем он едет в Ялту. Он уже был уверен, что едет затем, чтобы помочь Татьяне Андреевне. В чем? Это было неясно, но Швейцер и не задумывался над этим. Он понимал, что расспрашивать нельзя.

...Они долго сидели молча, потом Швейцер сказал:

— Всегда располагайте мной.

Татьяна Андреевна быстро встала и ушла.

Швейцер посмотрел ей вслед. В освещенных дверях салона она остановилась, заколебалась, хотела вернуться на палубу, но потом начала спускаться по трапу к себе в каюту. Швейцер только вздохнул. Он поднял воротник пальто, засунул руки в карманы и долго слушал, как плещет за бортами вода. В кармане он нащупал колючий изломанный лист платана, достал его, бросил за борт и ушел к себе.

Татьяна Андреевна долго сидела в каюте в темноте. От разговора со Швейцером ей не стало легче.

Она встала, отвинтила тяжелый иллюминатор, с трудом открыла его. В лицо хлынул холодный ветер, полетела соленая влажная пыль. Черными блестящими буграми катилась мимо вода. Она была совсем рядом. Казалось, в нее можно было окунуть руку. Татьяна Андреевна подумала, что здесь, за железной тонкой стеной, тянутся сотни миль неспокойной воды, тьмы, тумана. Эта мысль почему-то принесла ей облегчение.

Она вышла в коридор, в десятый раз посмотрела на пароходное расписание, висевшее на стене. Против Ялты стояла цифра «18». Значит, только завтра к шести часам вечера теплоход придет в Ялту. Как долго ждать! Татьяна Андреевна опять поднялась на палубу. С левого борта хлестали волны. Сквозь слипшиеся мокрые ресницы она увидела далекий, ныряющий в воде синеватый огонь.

Теплоход спал. Некого было спросить, что это за огонь.

Она перешла на правый борт. Там было тихо, безветренно. Около закрытого книжного киоска стоял и курил в темноте знакомый официант. Татьяна Андреевна спросила его, что это за синий огонь.

— Тарханкут,— ответил официант.— Маяк. Самое неспокойное место. Здесь северная вода сходится с крымской. Укачались?

— Нет,— ответила Татьяна Андреевна.— Просто так... Не спится. Разве Крым уже близко?

— Тарханкут на крымском берегу,— ответил официант.— Правда, на Крым здесь еще не похоже.

Татьяна Андреевна поднялась па верхнюю застекленную палубу и села в плетеное кресло. Стекла вибрировали от ветра. За спиной хрипела труба. Татьяне Андреевне хотелось, чтобы ночь тянулась до самой Ялты: тогда не надо будет разговаривать, двигаться.

Но уже проступали неясные низкие облака и покрытое пеной море. Тлеющий свет возникал на востоке. По нижней палубе пробежал за кипятком рябой озябший человек с медным чайником. Когда он возвращался, из чайника шел пар, и человек улыбался.

Татьяна Андреевна вернулась в каюту, легла на узкую койку, укрылась тонким байковым одеялом, уткнулась в подушку.

— Как же мне быть? — спросила она шепотом.

За железной стеной неслось неприветливое предрассветное море.

* * *

Вермель задыхался от тумана и проклинал Гренландию. В какой-то статье о метеорологии он недавно вычитал, что во всех бедах, постигавших Ленинград — туманах, дождях, наводнениях,— виновата Гренландия. Там, в этой мрачной стране, рождается мерзкая погода.

Свет лампы, зажженной днем, раздражал Вермеля. Казалось, что в комнате лежит больной и около его постели забыли погасить свет, горевший (как водится в таких случаях) всю ночь напролет.

Работать при смешанном освещении было невозможно. Не свет, а черт знает что! Какой-то рыбий жир.

Но у Вермеля был еще один повод для недовольства — короткий деловой разговор с Серафимой Максимовной. Она позвонила ему и сказала, что Швейцер выехал из Одессы в Ялту и просил ее телеграфировать ему, вернулся ли Вермель из Новгорода в Ленинград, так как у Швейцера есть к Вермелю важное дело. Серафима Максимовна добавила, что два дня назад она уже послала телеграмму Швейцеру о том, что Вермель в Ленинграде.

В конце разговора она не удержалась и сказала, что если Швейцер заболеет и умрет от этих зимних дурацких поездок, то в этом будет виноват только Вермель.

— При чем тут я? — рассердился Вермель.— Старику давно пора быть независимым. Ему, слава богу, пятьдесят пять лет.

— Пятьдесят три,— сухо поправила Серафима Максимовна и повесила трубку.

Разговор происходил при Пахомове. Он рылся в книгах, сваленных в большом рассохшемся шкафу. Там были журналы по искусству на всех языках, монографии о художниках, мемуары и много путеводителей...

На стенах комнаты висели в беспорядке картины: фламандские быки, портреты екатерининских сановников, кубистические натюрморты, гравюры на дереве, карикатуры, русские пейзажи. Все это — в разных рамах или совсем без рам — вперемежку с гипсовыми масками, позеленевшими канделябрами, фотографиями, маленькими венецианскими зеркалами, обведенными гирляндой розовых и голубых стеклянных цветов.

Среди диванов, старых ковров и ламп с рваными абажурами летало множество моли.

Вермель называл свою комнату «барахолкой». Каждую весну, выставляя оконные рамы, он клялся, что продаст «всю эту рвань» за бесценок или вышвырнет в дровяной сарай. Но все благополучно оставалось на прежних местах.

В летние вечера комната преображалась. Закатное солнце светилось на бронзовых часах, тусклом стекле, на давно высохших букетах, покрытых мягкой пылью. В окна лился холодноватый запах невской воды, торцовой мостовой — знакомый запах ленинградских белых ночей.

Вермель нетерпеливо ждал телеграммы от Швейцера. Его съедало любопытство — что еще может придумать старик? Неужели он все-таки нашел неизвестный портрет Пушкина? Тогда, пожалуй, можно будет простить Швейцеру его семейную скуку и даже оказать ему некоторое уважение.

Ожидание разрешилось требовательным звонком почтальона. На телеграфном бланке стояло всегда волновавшее Вермеля слово «Ялта». Вермель вскрыл телеграмму и начал ругаться.

— Ну конечно,— сказал он радостно.— Начинаются швейцеровские штучки! Послушайте, что он только пишет: «Нашел портрет Пушкина работы итальянского мастера. Необходима реставрация на месте ввиду ветхости холста,

Портрете закрашены неизвестные стихи Пушкина. Приезжай». Ну, дальше ялтинский адрес. Да, и еще довольно странная приписка: «Татьяна Андреевна здесь». Как она туда попала — не понимаю.

— Какие же штучки,— возразил Пахомов и покраснел.— Толковая телеграмма.

— Бестолковая! — закричал Вермель.— Он отлично знает, что я не могу сейчас уехать из Ленинграда. Через неделю сдача эскизов. Да и где я возьму денег на эту авантюру?! Наконец, откуда он взял, что на портрете замазаны пушкинские стихи!

— Я вижу, что вам очень хочется поехать. Оттого вы и кричите.

— А как вы полагаете — не хочется? — спросил Вермель.— Неужели вы всерьез думаете, Миша, что я круглый идиот и предпочитаю киснуть в этом Ленинграде?

Пахомов пожал плечами.

— Ох, старик, старик! — сказал Вермель, очевидно обращаясь к Швейцеру.— Ты у меня когда-нибудь поплачешь! Но что же делать, Миша? Надо решать.

— При сдаче эскизов я вам буду только помехой,— заметил Пахомов.— Принимая во внимание, конечно, ваш характер...

— Ну? — подозрительно спросил Вермель.

— Пошлите меня.

Вермель молчал, обдумывал. У Пахомова колотилось сердце. Ему казалось, что Вермель услышит этот стук и все поймет.

— Это-то я знаю, что вы реставратор хороший,— сказал Вермель.— А деньги? И вообще, Миша, не морочьте мне голову. Тут что-то не так!

— Деньги я возьму у Марии Францевны. Мы через месяц получим и отдадим.

— Мы?! — закричал Вермель с притворным негодованием.— Вы совершаете увеселительную поездку. Я получаю от этого только одни неприятности. И я должен еще отдавать ваши долги Марии Францевне! Удивительная у вас логика, Миша!

— Не будем ссориться,— сказал примирительно Пахомов.— Я не подумал.

— Ну нет.— Вермель хитро засмеялся.— Я не дурак. Я тоже хочу участвовать в этом деле. Представьте себе,

что оно мне нравится. Я вношу свой пай — триста рублей, и ни сантима больше! Это вас устраивает?

Пахомов согласился. Вермель вытащил из шкафа бутылки с какими-то жидкостями и тотчас начал составлять растворы для промывки холста. Он давал Пахомову много советов, огорчался, что не может поехать, завидовал, что Пахомов через три дня увидит крымскую весну, и успокоился только к вечеру, когда они пошли ужинать в гостиницу «Европейская».

В ту же ночь Пахомов выехал в Севастополь. Только за Лозовой поезд вырвался из мартовской слякоти. Над степью простиралось тихое пасмурное небо. В балках лежал еще снег, но было уже тепло, на остановках слышался птичий гомон. За Джанкоем горячий свет впервые заиграл на лакированных дверях купе. В Бахчисарае цвели розовыми грудами миндальные сады.

Пахомов не отходил от окна. Над долиной Бельбека небо сияло такой чистотой, что Пахомову захотелось тут же соскочить на ходу с площадки вагона, лечь на кремнистую землю и смотреть на небо без конца.

Пахомов прищурил глаза. Поезд мерно нес его к морю,— оно вырастало вдали туманной стеной. Пахомову виделась в его мерцающей синеве близкая милая страна, где он снова встретит Татьяну Андреевну.

* * *

Сестра вошла в комнату Рамона и положила ему на одеяло несколько веток остролистника. Рамон открыл глаза.

Сестра сказала, что, должно быть, этот красивый кустарник растет и в Испании. Рамон посмотрел на черные колкие листья. Среди них, как большая капля крови, краснела твердая ягода.

— Да,— сказал Рамон.— Благодарю.

Ветки были влажные. На кончиках листьев блестела мелкая роса. Рамон хотел высвободить руку из-под одеяла и потрогать остролистник. Сестра сказала, что двигаться нельзя. Рамон покорно согласился.

Последние три дня в горах бушевала буря. Скрипели за окнами сосны. По ночам Рамону чудилось, что ветер приносит издалека, из Испании, знакомые голоса. Рамон

даже слышал отдельные слова. Кто-то звал его. Может быть, приехал отец и стоял в своей черной шляпе, закутав горло шарфом, внизу под окном, звал его выйти хоть на минутку.

Однажды ночью Рамон, услышав знакомый зов, пересилил слабость, встал с постели, накинул халат и вышел. В пустых коридорах, как в ущельях, шумел ветер.

Тяжелая дубовая дверь не поддавалась, пока кто-то не распахнул ее снаружи. Это был отец. Он схватил Рамона за плечи, поцеловал в холодный потный лоб, потом накинул Рамону на плечи свое старое тяжелое пальто, и они быстро, как воры, пошли, держась за руки, по крутым тропинкам среди леса.

Яркое от ветра звездное небо качалось то вправо, то влево, окунало звезды в черную морскую воду. Потом они снова взлетали к зениту, налитые мрачным огнем.

«Отец, у меня кружится голова,— сказал шепотом Рамон.— Уже скоро?»

«Сейчас,— ответил отец.— Он здесь, за ущельем. Надо скорее дойти».

Рамон знал, что отец говорит о Мануэле. Они шли по высохшему руслу потока, по острым камням.

«Мануэль!» — позвал отец.

Издали ответил знакомый мальчишеский голос. Он был очень слаб. Ветер относил его в сторону.

Рамон споткнулся, упал в ручей. Вода была горячая, липкая. Рамон хотел подняться, но никак не мог оторвать рук от камней, смоченных этой водой.

В три часа ночи сестра услышала тяжелый глухой стук. Она вбежала в комнату Рамона и нашла его на полу. Он лежал ничком, и по губе у него стекала тоненькая струйка крови.

Но это было только один раз — потом Рамон лежал неподвижно.

Он снова посмотрел на остролистник и сказал в пространство:

— Да... благодарю.

Несколько раз за последние дни Рамон просил у сестры бумагу и карандаш и начинал писать отцу и Татьяне Андреевне. Но после первых слов «Я здесь...» он уставал и откладывал бумагу.

Все равно, писать отцу нельзя. Во имя любви к нему и Мануэлю надо молчать, затеряться, примириться с тем,

что он никогда их не увидит и не сможет даже дать знать о себе. Там, в Мадриде, он думал, что уходит из дому на несколько дней, а ушел на всю жизнь.

У Татьяны Андреевны Рамон хотел попросить прощения за свой глупый поступок, но написать ничего не мог. Зачем лгать? Что глупого в том, что он стал перед ней на колени? Ведь любят же люди каждый камень, если к нему притронулась милая рука. Ведь можно любить слова только за то, что их сказали любимые губы. Тысячи, десятки тысяч раз слышишь из разных уст простые слова: «ветер», «река», «не забывай», но почему же вслушиваешься в каждый звук, если они были сказаны ею?

Рамон устал, закрыл глаза. По птичьей возне за окном, по тому, что солнце падало на косяк двери, наконец, по ощущению холода в сердце он знал, что еще очень рано.

Мелодично и весело пропел на пустынном шоссе рожок автомобиля. Захлопали внизу двери, и снова все стихло.

Рамон старался дышать осторожно, чтобы хрипение в горле не мешало слушать. Все казалось, что в горных лесах поет веселый рожок. Сердце билось медленно, сильно. От его ударов вздрагивали ветки остролистника.

Рамон позвонил. Сестра долго не появлялась. Он позвонил второй раз. Вместо сестры пришел врач. Рамон поднял голову. Врач никогда не приходил в это время. Он пощупал пульс, спросил Рамона, как он провел эту ночь.

— Я не помню,— ответил Рамон.— Где сестра?

Врач ничего не ответил. Он осторожно капал в рюмку коричневые капли.

— Кто приехал? — спросил Рамон.— Новый больной?

— Нет,— ответил врач.— Выпейте это.

Он дал Рамону выпить капли, сказал, что сейчас же пришлет сестру, и ушел. Но сестры все не было.

Что это за капли дал ему врач? Откуда этот запах теплых сосновых опилок и жужжание пчелы? Почему так хорошо слышно, как бежит по каменному руслу ручей? До сих пор Рамон слышал его только ночью. Говор ручья и сонный гул в лесу — это были ночные звуки. Должно быть, холодный воздух стекал ночью с вершин, шевелил хвою, и она шелестела. Если встать и распахнуть окно, то можно увидеть, как качаются мокрые ветки боярыш-

ника. Может быть, потому, что сестра прошла мимо и зацепила их платьем.

Опять запел рожок. Рамон прислушался и понял — это поет во дворе большая пила.

Кто-то остановился в коридоре около открытой двери — тень легла на пол. Рамон сказал по-русски:

— Сестра, я давно вас зову.

Сестра вошла быстро и неслышно. Мелькнул в солнечной полосе белоснежный халат. Глядя на остролистник, Рамон спросил:

— Кто это приехал, сестра?

— Это я, Рамон!

Рамон быстро повернул голову, высвободил руку из-под одеяла, хотел что-то сказать, но задохся и проглотил слезы.

Татьяна Андреевна опустилась на колени перед постелью, сжала ладонями худые небритые щеки Рамона, и, так же как и у него, слезы — крупные, медленные — покатились из ее глаз.

— Я не буду, Рамон,— повторяла она быстрым шепотом.— Я не буду...

А за окном все пела большая пила.

* * *

Швейцер ждал Татьяну Андреевну внизу в гостиной. Он смотрел на темный портрет, висевший против него на стене, но ничего не видел.

Окна были открыты. Во дворе двое рабочих-татар пилили большой пилой сосновое бревно. В гостиной пахло свежими опилками. В теплый воздух просачивался иногда холодок снега. Последний снег еще лежал на горах, в расщелинах, среди колючих кустов дубняка.

Швейцеру не верилось, что это он, Швейцер, сидит сейчас в прохладной комнате в горах, а за окнами подымаются серые скалы. Внизу, в туманной пропасти, блестело море. За ним проступали высокие желтые берега.

«Неужели Турция? — подумал Швейцер.— Или это облака?»

Все представлялось ему странным. Ленинград ушел в туман. Трудно было поверить, что придется возвращаться в комнаты, пахнущие клеенкой, к пожелтевшим от вре-

мени рукописям, к сладковатому затхлому запаху библиотек.

Больше всего угнетало Швейцера одно странное обстоятельство. Каждый раз, когда он возвращался в Ленинград, первым человеком, попадавшимся ему навстречу, был кто-нибудь, о чьем существовании он давно забыл. Или управдом с требованием справок о заработной плате, или соседка-бухгалтерша, сообщавшая Швейцеру последние новости о реорганизации учета. Одно предчувствие этих встреч приводило Швейцера в трепет. Эх, если бы можно было остаться здесь навсегда!

Желтая бабочка влетела в гостиную. Швейцер следил за ней. Бабочка, видно, только что вышла из кокона. Летела она неуверенно, качаясь, будто от весенней блажной теплоты у нее кружилась голова. Она пролетела вдоль стены и села на раму темного портрета.

Тогда только Швейцер заметил портрет. Он вскочил, подошел к нему,— да, это был Пушкин, тот портрет, ради которого он сюда приехал! Но Швейцер не испытывал той радости, к какой себя так долго готовил.

Он подумал, что этот портрет должен висеть именно здесь, а не в музее. Именно здесь, в Тавриде, в полуденной земле, в этом доме. Здесь его будут видеть люди, которым дорога каждая черта той жизни, откуда им суждено скоро уйти. Надо только очистить портрет и снять белила — ими был закрашен лист бумаги в руке Пушкина.

Швейцер снял очки и вплотную подошел к портрету. На листе под слоем белил не было видно никаких следов надписи. Вошел врач.

— Любуетесь? — спросил он.— Великолепный портрет. Жаль, что мы не знаем, чей он.

— Это — Пушкин,— сказал Швейцер.— Давно потерянный его портрет.

— Это верно?

— Да. Я пушкинист и знаю историю этого портрета. Вам повезло. Но не пугайтесь, я не собираюсь забирать портрет в музей. Пусть висит у вас. Нужно только промыть его. На днях сюда приедет мой друг — ленинградский реставратор. Я думаю, он не откажется это сделать.

— Превосходно! — сказал врач.— Вот уж никто не подозревал, что у нас хранится такая ценность. Надо порадовать больных. Они у нас как дети.— Он замолчал.— А Перейро продержится недолго. Что вы хотите — клочок

легкого. Все остальное — воздух. На кислороде долго не проживешь. Я сейчас скажу сестре, чтобы вам подали чай. Вы с дороги, наверное, ничего не ели.

Швейцер поблагодарил. Врач ушел. Татьяна Андреевна не возвращалась. Швейцер не стал дожидаться сестры и вышел в сад. Высокие кусты цвели большими белыми цветами.

Он пошел по шоссе. Машина стояла в тени от деревьев. Шофер спал.

Швейцер медленно прошел мимо машины до первого поворота, потом пошел быстрее. Дорога шла петлями вниз, идти было легко.

Он остановился, подумал: может быть, вернуться? Нет, возвращаться не нужно.

До Ялты было восемнадцать километров. Швейцер решил идти не спеша. Он рассчитал, что через шесть часов дойдет до гостиницы.

Шоссе было совершенно безлюдно. На нем лежали ровные тени от сосен. С крутых поворотов открывалось море, виднелась полоса прибоя у берега, но шум его сюда не доходил. В траве цвели лиловые цветы, покрытые густым светлым пухом. Кое-где из скал лилась чистая вода и бежала по обочине шоссе. Швейцер окунул в нее руку. Вода была ледяная. Он подставил ладонь под солнце — теперь его теплота ощущалась особенно сильно.

Спускаясь по шоссе, Швейцер внезапно открыл, что, пожалуй, со времени поездки в Михайловское его жизнь стала как-то украшена, полна. За несколько недель он испытал больше, чем за многие годы. Впереди его ждут немногие радости, детские надежды, разочарования, но никогда больше не будет пустых, скучных дней. Никогда!

Он вспомнил о своих годах, о седине. Ну что же! Об этом сказано давно, и сказано превосходно. Он вслух прочел несколько строк из любимых стихов:

Все, все мое, что есть и прежде было,—
В мечтах и снах нет времени оков.
Блаженных грез душа не поделила —
Нет старческих и юношеских снов.

Сзади гулко запел автомобильный рожок. Шурша на поворотах, высоко в горах шла машина. Швейцер сел на каменный парапет и стал ждать.

Машина вынырнула из-под деревьев только через не-

сколько минут. Шофер круто затормозил, открыл Швейцеру дверцу и сказал:

— Вам записка.

Швейцер развернул ее. Татьяна Андреевна писала, что остается в больнице, и просила Швейцера прислать ее чемодан.

Записка кончалась словами: «Спасибо за все, но, если можно, не приезжайте дня два».

Машина вошла в Пьяную рощу, где вековые деревья стояли косо, во все стороны, будто их раскачивали гиганты. Потом в лесу возник гул воды — шумел водопад Учан-Су. За водопадом дорога пошла вдоль густых плантаций лекарственных трав. Налево в широкой долине открылась Ялта.

На Севастопольском шоссе машина пронеслась мимо курчавых ливадийских виноградников и по асфальтовым спускам начала скатываться к городу. Оттуда уже тянуло теплом нагретого камня, водорослями, цветущим миндалем.

* * *

На третий день Швейцер получил телеграмму от Пахомова. Пахомов сообщал, что выезжает на теплоходе из Севастополя. Швейцер справился у портье. Теплоход должен был прийти поздним вечером.

Швейцер вышел. Волна ударяла в каменный парапет, звенела железными сваями, рокотала галькой. Ветер стих. Зажглись фонари. На море ложилась ночь — сероватая, будто после дождя. Горы потемнели, приблизились, стали зловещими.

Сотрясая горы, загудел теплоход. Он входил в порт, переливаясь огнями. Радио заиграло на палубе фокстрот. По воде заплясали десятки разноцветных лучей. Маслянистая струя с шумом лилась из машинного отделения. Свистел пар, громыхали лебедки, вытравливая стальные канаты.

Теплоход придвинулся к молу, закрыл горы, Ялту, небо. Из открытых дверей салонов хлынул в лицо горячий, гостиничный воздух, смешанный с запахом папирос, шашлыка, кофе.

Швейцер разыскал Пахомова на палубе. Они расцеловались. Пахомов был взволнован и, может быть, поэтому

не сразу заметил перемену в Швейцере. А заметив, спросил:

— Вы больны?

— Нет. А что?

— Да ничего... Очень вы похудели. А где же Татьяна Андреевна?

Швейцер помолчал.

— Случились, Миша, такие дела,— сказал он наконец,— что я хожу как потерянный.

— Вот я и вижу, что с вами что-то творится,— заметил Пахомов.— А что с ней?

— Она здесь, здорова,— уклончиво ответил Швейцер.— В гостинице я вам все расскажу. Пойдемте.

По дороге Пахомов рассказывал о Ленинграде, о Вермеле, но часто прерывал рассказ, чтобы посмотреть мимоходом на освещенную изнутри кофейню, на темные туши шхун, вытащенных на берег, мигающие огни бакенов, зеленое небо над Ялтой.

— Забавно! — сказал наконец Пахомов.— Будто я попал на Таити.

В гостинице Пахомов умылся, достал из чемодана и расставил на столе банки с растворами для реставрации. Потом Швейцер и Пахомов спустились в ресторан.

На маленькой эстраде визжал, гремел и барабанил с наигранной беззаботностью джаз. Серебряно выл саксофон. Изредка полный блондин со скучным лицом, игравший на аккордеоне, подымался со стула и пел, держа руки по швам:

О Танголита, о Танголита,
Ты рождена под небом жарких стран!

Под скучающее веселье джаза Швейцер рассказал Пахомову о Рамоне, о Татьяне Андреевне. По тому, как Пахомов слушал, было видно, что он с трудом всему верит, что он поражен этой историей, оглушен джазом, сумятицей огней, запахом морской ночи, белого вина.

О Танголита, о Танголита,
Тебя взлелеял Тихий океан!

— Ну вот,— сказал Швейцер.— Что вы об этом скажете, Миша?

— Что сказать? — ответил Пахомов.— Вам же не надо говорить о благородстве некоторых поступков.

— Да,— промолвил Швейцер.— Становится стыдно.

— Почему?

— За себя, Миша. Ковыряемся мы в себе, как жуки точильщики, куда-то рвемся, ноем. Всё нам не по нраву. Пока вот такой случай не хлестнет нас по глазам и мы не опомнимся. Мы спорим о совершенстве человеческих чувств, но вот приходит женщина и без единого слова дает нам урок, какого никогда не забудешь.

Пахомов молчал. Он думал, что Швейцер, конечно, прав. Никогда еще Пахомов не испытывал такого душевного подъема. Он был вызван затаенной гордостью за Татьяну Андреевну, чувством благодарности, что она не обманула его мыслей о ней.

— Придется подождать с портретом,— сказал Швейцер.— Завтра мы туда съездим. Мне надо отвезти Татьяне Андреевне кое-какие вещи.

— Пойдемте на набережную,— предложил Пахомов.— Здесь слишком шумно.

Они прошли в сквер на конце набережной. Там было темно. Свет фонарей не проникал сквозь заросли акаций.

Они сели на скамью и долго сидели молча. Набегал прибой. На молу погасили огни — теплоход ушел. Маяк на конце мола загорался красным огнем, потом потухал. Далеко в море, во мраке, где тускло светили одни только звезды, монотонно стучал мотор.

— Сколько километров до санатория? — спросил Пахомов.

Швейцер не ответил. Он спал, лицо у него было бледное, утомленное. Пахомов разбудил Швейцера, и они вернулись в гостиницу.

В гостинице Швейцер быстро уснул. Пахомов сидел на диване, курил, смотрел за окно. Ему показалось, что маленькая звезда влетела в комнату, повисла над столом и все время мерцает. Пахомов встал, подошел,— на уровне его глаз поблескивал в свете уличного фонаря белый пух, похожий на одуванчик,— летучее семя неизвестного южного дерева.

При свете фонаря он написал на листке из блокнота: «Семен Львович, буду вас ждать завтра утром на шоссе в километре от санатория». Положил листок на стул около кровати Швейцера и вышел.

В вестибюле он взглянул на часы — было два часа ночи. За стеной еще гремел джаз, но уже устало, спустя рукава.

Пахомов вышел на Ливадийское шоссе и медленно пошел в горы. Он часто останавливался, поглядывал на небо. Бормотали родники, пахло можжевельником. Побережье лежало внизу, в густом полночном дыму. Тихо гудели ущелья.

* * *

На рассвете Татьяна Андреевна проснулась в комнате у медицинской сестры. Было холодно. За окнами стояла стена сумрачного неба. Татьяна Андреевна вскочила с дивана и начала торопливо одеваться. Сестра уже ушла, но постель ее была не прибрана.

«Должно быть, еще очень рано»,— подумала Татьяна Андреевна.

Она умылась из маленького мраморного умывальника, потом причесалась перед зеркалом в рамке из морских ракушек.

Палата, где лежал Рамон, была в другом корпусе. Татьяна Андреевна вышла в сад. Ее знобило — должно быть, от тревожного сна, от усталости. Над морем лежал бесконечный воздух, безоблачный, равнодушный к людской судьбе.

Дверь в палату Рамона была приоткрыта. Татьяна Андреевна увидела около постели врача и сестру. Сестра оглянулась, подошла к двери, шепнула Татьяне Андреевне, что сейчас нельзя, и прикрыла дверь.

Татьяна Андреевна села в плетеное кресло в коридоре. Ей все еще было холодно. Она зажала ладони между коленей и прислушалась. В палате зазвенело стекло, потом послышалось тихое хрипение.

«Кислород!» — подумала Татьяна Андреевна.

Вышла сестра.

— Идите в столовую, выпейте горячее молоко,— сказала она.— Чаю еще нет.

— Что с ним?

— Да так...— ответила сестра.— Скоро, я думаю, вам можно будет войти. Я спрошу врача. Подождите меня в столовой.

Татьяна Андреевна пошла в столовую, села за стол. Худенькая девушка в красной косынке поставила перед ней стакан горячего молока и придвинула вазу с белым

хлебом. Татьяна Андреевна выпила глоток молока и отодвинула стакан.

— Что же вы? — спросила девушка.— Остынет.

— Нет, ничего.

— Хотите, я принесу вам платок?

Татьяна Андреевна кивнула головой.

Девушка вышла. На дворе татары-рабочие начали пилить бревна. Татьяна Андреевна видела через окно, как девушка подошла к ним. Она несла на руке белый пуховый платок. Она что-то сказала татарам. Они перестали пилить. Один из них перекинул гнущуюся позванивающую пилу через плечо и ушел.

Девушка вошла и накинула платок на плечи Татьяне Андреевне.

— Завяжите его на груди,— сказала она.— Давайте я вам помогу.

Она завязала платок на груди у Татьяны Андреевны. Сестры все не было. Татьяна Андреевна встала и пошла к двери.

— Куда же вы? — спросила испуганно девушка.— А молоко?

Татьяна Андреевна ничего не ответила. Она вышла в сад. Окно в палате Рамона на втором этаже было открыто. Татьяна Андреевна села на скамейку около бассейна. В нем плавали золотые рыбки. Они сейчас же собрались около того края, где сидела Татьяна Андреевна,— просили крошек.

Татьяна Андреевна вернулась в столовую. Ни девушки, ни сестры там не было. Тогда она пошла к палате Рамона и снова села в плетеное кресло. Ждала она долго. Наконец вышел врач, кивнул Татьяне Андреевне:

— Войдите к нему.

Татьяна Андреевна вошла. Сестра показала ей на стул у изголовья Рамона.

— Я на минуту,— сказала сестра, смутилась и вышла.

Лицо у Рамона почерпело. Закрытые ресницы были влажны. Дышал он судорожно и быстро.

— Я здесь, Рамон,— прошептала Татьяна Андреевна.

Рамон сначала крепче сжал веки, потом медленно открыл глаза.

— Вы — свет,— сказал он едва слышно.

Татьяна Андреевна откинула волосы с его лба и наклонилась к самым губам.

Рамон поднял руку и медленно провел пальцами по ее бровям.

— Теперь все равно,— сказал он.— Может быть, увидите моего отца.

— Не надо говорить, Рамон,— прошептала Татьяна Андреевна.

Рамон все так же, едва-едва трогал пальцами ее брови.

— В Испании,— сказал он,— белые стены... Мы отступали... Каждый писал на стене углем, куда он ушел... для любимых. Все стены были исписаны. Я один не писал. Я не знал еще вашего имени...

Он затих, закрыл глаза.

Татьяна Андреевна наклонилась и поцеловала его холодную руку. «Как задержать жизнь? — думала она.— Надо собрать все силы, всю волю, перелить в него жизнь из своего тела».

Внезапно в глазах у нее потемнело. Она подняла голову — темнота, как черный занавес, взлетела к потолку, и солнце за опущенной шторой показалось багровым.

Вошел врач.

— Вам придется уйти,— сказал он вполголоса Татьяне Андреевне.— Ему нужен покой.

— Нет, доктор,— ответила Татьяна Андреевна.— Теперь ему нужна только я.

Врач ушел. Татьяна Андреевна осталась. Время остановилось. Как сквозь толстую вату, доходили звуки — гудок автомобиля, шепот сестер, торопливые шаги врачей. Единственное, что она слышала ясно,— это прерывистое дыхание Рамона.

Он умер в три часа дня. Казалось, он крепко уснул. Татьяна Андреевна села на край его постели и не отрываясь смотрела на него.

* * *

На рассвете Пахомов дошел до столба с цифрой «17». До санатория оставался один километр. Пахомов сел на парапет и стал ждать.

Он смотрел на горы. Они медленно оживали, разгорались чистыми красками — желтизной осыпей и лишаев, сиреневой шероховатостью гранита, красными руслами

высохших потоков, темной листвой дубовых зарослей, розовым блеском сосновой коры, меловыми парапетами горной дороги,— она вырывалась то тут, то там из нагромождения камней и зелени.

Потом солнце дошло до того изгиба дороги, где сидел Пахомов, упало десятками зайчиков на шоссе, на лицо, на руки и начало спускаться вниз, где уже проступала голубизна морской воды. Где-то заблеяли козы.

В небе медленно подымались облака, похожие на пар,— горы просыхали после влажной ночи.

Пахомов давно не был в горах, и его, как всегда, поразила необычайная отзывчивость горного воздуха: падение шишки в глубине леса было слышно так ясно, будто она упала у самых ног. С круч сыпались камни, весело щелкали, тревожили эхо. Но всюду, куда ни повернись, то громче, то заглушеннее, но с одинаковым высоким звоном, струилась вода. Из скал лилось много маленьких родников.

Сверху прошла грузовая машина. Она везла гору зернистого снега. Солнце прокопало в его хрустящей гуще маленькие пещеры, из них от толчков брызгала талая вода. За машиной тянулся сырой след от капель. Солнце прогревало деревья, траву, крутые склоны, заросшие жесткими цветами. Воздух с каждой минутой делался все гуще, душистее. Уже можно было различить отдельные запахи: фиалок, шиповника, вербены.

Пахомов услышал рожок легковой машины и встал. Машина была видна внизу — она торопливо бежала по шоссе, покрикивала на поворотах. Швейцер ничего не сказал Пахомову, только посмотрел на него и снова задумался, ушел с головой в поднятый воротник пальто.

В санатории им сказали, что Рамону очень плохо,— должно быть, скоро конец. Татьяна Андреевна не выходила от него. Швейцера и Пахомова сестра провела в столовую, напоила чаем.

Они бродили по санаторной усадьбе, изредка перебрасывались двумя-тремя словами, прислушивались. Вокруг важно гудели шмели. Потом они прошли в гостиную, посмотрели на портрет.

Вошла девушка в красной косынке, сказала, что Перейро только что умер. А через несколько минут вбежал шофер, испуганно крикнул Швейцеру, что Татьяна Андреевна одна ушла в горы,

Пахомов и Швейцер пошли за ней по шоссе. Они увидели ее за дальним поворотом. Она сидела в белом пуховом платке на камне и, сгорбившись, жевала травинку.

— Идите к ней, успокойте ее,— сказал Швейцер.

— А вы?

— Идите! Я буду ждать вас у ворот,— строго сказал Швейцер, будто боялся, что Пахомов начнет возражать, и тотчас ушел.

Пахомов подошел к Татьяне Андреевне, окликнул ее. Она обернулась и, недоверчиво нахмурив брови, посмотрела на него. Потом встала, протянула Пахомову руки. Он взял их, и Татьяна Андреевна спросила:

— Вы все знаете?

— Да,— ответил Пахомов.

— Так трудно...— сказала она, и голос ее сорвался.— Я вас ждала, Миша. Все надеялась, что вы приедете.

...По пути в Ялту разговаривали очень мало.

В Ялте шофер наотрез отказался взять от Швейцера деньги за то, что машина простояла в санатории лишние часы.

— Это пе ваша забота,— сказал он грубо, копаясь в моторе.

* * *

Хоронили Рамона на Аутке ском кладбище. День был солнечный, ветреный.

На похороны, кроме Татьяны Андреевны, Швейцера и Пахомова, пришла медицинская сестра из санатория. В последнюю минуту появился шофер. Швейцер не сразу узнал его. Шофер был в сером костюме, чисто выбрит. Он принес букет гвоздик — достал их у знакомого садовника в Массандре.

В лице у Татьяны Андреевны не было ни кровинки, и потому ее глаза, брови, ресницы казались неестественно темными.

Каждый бросил в открытую могилу на гроб Рамона горсть земли. Это была щебенчатая земля, напоминавшая землю его родной Испании.

На могиле поставили временный памятник — простой сосновый столбик. Пахомов прибил к нему дощечку и написал на ней: «Рамон Антонио Перейро, родился в Мадриде в 1916 году, умер в Ялте в апреле 1939 года».

Медицинская сестра и шофер ушли. Татьяна Андреевна осталась около могилы, а Швейцер и Пахомов пошли побродить по кладбищу.

Тотчас же на цветы, рассыпанные на могиле, слетелись пчелы. Они жадно сосали сок из гвоздик, жужжали, поблескивали на солнце золотыми брюшками.

Татьяна Андреевна опустилась на землю, обняла руками колени и задумалась. Тяжесть последних дней, постоянная боль сменились странным покоем, тихой нежностью к Рамону. Она долго смотрела на пчел и улыбалась. Ветер качал траву у ее ног. Муравьи тащили высохший стручок акации. Маленькая серая птица села на ветку и долго, с громким стуком чистила о нее клюв.

Татьяна Андреевна посмотрела на землю у себя под ногами. Солнце пробилось сквозь траву и осветило ноздреватые камешки, похожие на железную руду, и крошечные желтые цветы.

Татьяна Андреевна встала и пошла навстречу Швейцеру и Пахомову. Она сказала, что они, наверное, очень устали и пора всем возвращаться в город.

Обратно пошли пешком через Аутку. Сначала дорога сбежала вниз, в долину, где шумела мелкая река. За рекой дорога круто поднялась и привела к окраинам Аутки. Вышли на белое шоссе около дачи Чехова.

Швейцер предложил войти в дом. Татьяна Андреевна согласилась. Но прежде чем войти, она посидела на скамейке в маленьком покатом дворе, а потом прошла в сад. Там было тесно от деревьев, кустарников и цветов. По цементным желобам бежала вода. Под ее тонким слоем виднелись зеленые и желтые морские голыши. Сад был наполнен прохладным сладковатым воздухом.

Когда вошли в дом, то сразу повеяло детством. Висячие керосиновые лампы, этажерки, цветные окна, картонки для шляп — все это было такое, как в детстве. Во всем был обдуманный, спокойный уют.

Дом ничем не напоминал музей — это был живой приют писателя и человека. Казалось, что вот откроется высокая дверь, из соседней комнаты выйдет Чехов и, покашливая, немного смущаясь, как все близорукие люди, протянет сухую крупную руку.

Когда вышли из дома Чехова, солнце ударило в глаза. После прохладных комнат оно было нестерпимым.

— Самое лучшее в людях, конечно, простота,— сказал

Швейцер.— За простоту я и люблю Чехова больше всех писателей.

Он вспомнил некоторых своих товарищей по работе и поморщился. Больше всего раздражало в них именно отсутствие простоты.

В этих людях, считавших себя близкими литературе, поражало обилие предрассудков, высокомерие, отсутствие любопытства ко многому, что лежало за пределами чисто профессиональных интересов. С ними нельзя было говорить о таких превосходных вещах, как, скажем, дождь или собирание грибов. Все это были темы третьего сорта. Первостепенными считались разговоры о Стендале, Стоковском, последних театральных премьерах.

«Бесполезная жизнь! — подумал Швейцер.— Ранний склероз, прокуренные редакции, невеселая судьба человека, который ни разу не испытал теплоту земли на босых ногах, не промокал насквозь под дождем в чаще орешника. А если и испытал все это, то страдал, как от протекающего потолка или тесной обуви. Таким людям неуютно в природе. Большинство из них жило за счет чужого ума, таланта, чужих ошибок и успехов, но считало, что без них, без их вмешательства не существовало бы ни настоящей литературы, ни поэзии, ни театра».

Швейцер выругался про себя. Ведь он тоже занимался таким пустым делом и, случалось, сбивал с толку способных людей. Но теперь с этим покончено. Лучше внести в жизнь крупинку своего, собственного, как бы ни была она мала, чем суетиться у чужих верстаков.

Швейцер был весь этот день под впечатлением письма, полученного накануне вечером от Серафимы Максимовны. Письмо было суровое, но ласковое. «Бог с тобой,— писала Серафима Максимовна,— может быть, тебе и впрямь нужны в жизни постоянные беспокойства, перемены, все то, из-за чего мы с тобой не сходились и спорили. Тебе виднее. Я не хочу теперь тебя ни в чем связывать. В конце концов важно сделать в жизни то, на что ты способен, а как это будет достигнуто, каким путем — это уже несущественно. Я тебя знаю отлично, вижу, что ты мучаешься. Будь спокоен, живи впредь как считаешь нужным, живи легко, а я уж буду при тебе в качестве домашнего врача, что ли. А на меня не сердись — все матери обычно бывают деспотичны».

— Так я и знал,— сказал Швейцер, когда прочел письмо, и глаза его заблестели под стеклами очков.— Нельзя

же не понять в конце концов, что каждому нужна его жизнь, а не жизнь с чужого плеча.

Он сейчас же написал Серафиме Максимовне ласковое письмо, отнес его на пристань, на теплоход, и испытал такое облегчение, какого, пожалуй, никогда еще не знал в жизни.

Они спустились в город по уютным улицам Аутки. Татьяна Андреевна думала о Рамоне.

Рамон умер, поверив в ее любовь. Так было нужно. Иначе она поступить не могла. Да, это был обман, но никто не может сказать ей, что она не права. За несколько дней она повзрослела на несколько лет. Жизнь идет из столетия в столетие, неиссякаемая, простая, и надо, стиснув зубы, беспощадно бороться со всем, что мешает ее свободному течению. За это боролся Рамон. За это, по-своему, борются Вермель, Пахомов и Швейцер. И только этим стремлением к совершенству окружающей нас, единственной для каждого жизни должно быть наполнено ее собственное будущее.

...В городе зашли в кофейню. Опять начинался прибой. По асфальту разливались лужи.

Швейцер, размешивая ложечкой сахар в стакане, сказал:

— Я думаю, что послезавтра вы, Миша, сможете начать реставрацию портрета. Сколько это займет времени?

— Дня три, не больше.

— Значит, проживем здесь еще дней шесть.

Пахомов вопросительно посмотрел на Татьяну Андреевну. Она сказала, опустив глаза:

— Хорошо.

— Мы вас проводим до Одессы,— сказал Татьяне Андреевне Швейцер.— Нам все равно, как возвращаться в Ленинград — через Одессу или через Москву.

— Хорошо,— повторила Татьяна Андреевна, не поднимая глаз.

* * *

Сторожка, куда Пахомов перенес для работы портрет, стояла на краю санаторной усадьбы. Окно выходило прямо в лес.

Пахомов прожил в сторожке три дня.

Если было бы можно, то Пахомов поселился бы в сторожке надолго. Простая беленая комната, сыроватый запах мела, теплый свет за окном — все это казалось ему замечательным. Таким он всегда представлял себе жилище художника.

В первые дни Пахомов медленно снял с портрета все наслоения грязи и кое-где обновил краску. Сегодня с утра он решил открыть наконец под слоем белил пушкинский текст.

Он не начинал работать: ждал Швейцера. Тот что-то не ехал. Пахомову не терпелось — он осторожно протер ватой, смоченной в желтоватом растворе, нижнюю часть бумажного листа, который держал Пушкин. Появились неясные буквы, потом первое слово — «дремлющий».

Пахомов отложил вату. Нужно было большое усилие, чтобы сдержаться и до прихода Швейцера не отмыть весь текст. Руки у Пахомова дрожали. Если бы белила окаменели и их пришлось счищать месяцами, крупинку за крупинкой, Пахомов сделал бы это с радостью.

Он оглянулся, осмотрел неровные стены, огромные костыли в потолочных балках, кожаный старый табурет. Ему не верилось, что эта пустая комната в крымских горах может войти в историю, что о ней могут узнать тысячи людей. Сейчас он здесь один, наедине со стихами, закрытыми слоем краски.

К полудню приехал Швейцер. Он старался быть спокойным, но заметно нервничал, потирал руки.

Увидев первое слово стихов, он побледнел и сказал Пахомову:

— Ну и свинья же вы, Миша! Неужели не могли удержаться?

— Я только попробовал раствор, Семен Львович.

— Попробовал! Ну, бог с вами. Давайте будем смывать.

— Сверху или снизу?

— Лучше в разных местах.

Пахомов запер дверь на ключ и намочил вату. Он сильно протер середину листа. Появилось слово «вечерняя». Он начал протирать дальше, низко наклонившись над холстом. Потом решил протереть сначала руку Пушкина. Под слоем коричневой краски появилась рука с длинными ногтями и сердоликовым перстнем. Пахомов долго рассматривал

изгиб пальцев, обернулся к Швейцеру. Швейцер сидел па табурете и смотрел за окно.

— Что же вы? — спросил Пахомов.

— Протрите вверху листа,— сказал, не оборачиваясь, Швейцер.— Там должно быть слово «редеет».

— Откуда вы знаете?

— Протрите, Миша!

Пахомов протер, и действительно, написанное косым почерком слово «редеет» выступило из-под краски.

— Все ясно! — сказал Швейцер.— Я начал подозревать это, как только увидел первое слово — «дремлющий».

— Что ясно?

— Ясно, какие это стихи. И вы их знаете, Миша.

Пахомов молча начал протирать дальше. Он не испытывал разочарования, но ему было жаль Швейцера. Все его труды, поиски, надежды пропали даром.

Швейцер угадал. Появилась строка: «Редеет облаков летучая гряда».

Пахомов протер весь текст до конца. Это оказалась первая строфа стихов, знакомых с детства.

— Вы огорчены? — спросил Пахомов Швейцера.

— Ничуть,— ответил Швейцер, подошел к портрету и прочел всю строфу:

Редеет облаков летучая гряда;
Звезда печальная, вечерняя звезда,
Твой луч осеребрил увядшие равнины,
И дремлющий залив, и черных скал вершины;

— Ничуть, Миша! — повторил Швейцер и начал ходить по комнате из угла в угол.— Я ни о чем не жалею. Стоило потратить так много усилий, чтобы вот здесь вдвоем прочесть еще раз эти слова. Как вы думаете?

— Пожалуй, стоило,— ответил Пахомов.

— Если есть в мире совершенство, то оно заключено и в этих четырех строчках. Мы умрем, падут и возродятся народы, а эти слова будут идти из века в век и изумлять людей. «Твой луч осеребрил увядшие равнины»... Вы слышите, как поет каждая буква? Это точно, и это прозрачно, как воздух. Печаль, спокойствие. Каждый раз, когда читаешь пушкинские стихи сызнова,— это открытие.

— Я теряюсь перед гениальностью,— сказал Пахомов.— Я не знаю, что это такое. Вечная юность? Или что-нибудь другое? Все это брызжет из души каскадом. Человек не подозревает, на что он способен. Должно быть, так.

— Пожалуй, так,— согласился Швейцер.— Мы, очевидно, любим в гениальных людях то, что не смогли совершить сами. Вот и конец моим поискам, Миша.

Швейцер помолчал, потом встрепенулся:

— А теперь — в Ялту. Татьяна Андреевна просила привезти вас поскорей.

* * *

Вблизи берегов Одессы вошли в плотный туман. Каждую минуту гневно кричала сирена.

Татьяна Андреевна проснулась и прислушалась — теплоход не двигался. Изредка с медленным гулом проворачивался гребной вал и снова останавливался.

«Туман!» — с радостью подумала Татьяна Андреевна и смутилась тому, что обрадовалась туману. Туман надолго задержит теплоход, а Татьяне Андреевне хотелось, чтобы рейс длился еще несколько дней. Она знала, что ей трудно будет расставаться с Пахомовым и Швейцером.

— Странно,— сказала Татьяна Андреевна и начала одеваться.

Она вышла на палубу. Туман несло мимо теплохода душными волнами. Изредка он редел, и тогда казалось, что огромный теплоход с могучими трубами, мачтами и палубами каким-то чудом зашел в маленькое глубокое озеро с зеленоватой водой. Его нос и корма упирались в белые и высокие берега тумана. На палубе стояли у борта, к чему-то прислушивались Пахомов и Швейцер. Татьяна Андреевна окликнула Швейцера. Тотчас же с капитанского мостика чей-то голос внушительно и спокойно сказал:

— Товарищи пассажиры, соблюдайте полную тишину! Помогите нам услышать береговую сирену.

Татьяна Андреевна сделала изумленные глаза и на цыпочках подошла к Пахомову и Швейцеру.

— Тише! — сказал Швейцер.— Я, кажется, слышу.

Татьяна Андреевна вздрагивала от сырости — после теплой каюты на палубе было свежо. Рядом с Пахомовым висело перекинутое через планшир его летнее пальто. Пахомов взял его и накинул на плечи Татьяне Андреевне. Она молча кивнула ему и закуталась в пальто.

— Честное слово, слышу,— сказал Швейцер.

Все прислушались. За кормой что-то глухо прогудело и стихло.

— Ну, так и есть! — сказал обрадованный Швейцер.— Сирена! С вас рубль, Миша. Я услышал первый. Пойду скажу капитану.

Он поднялся по трапу на верхнюю палубу. Татьяна Андреевна и Пахомов остались вдвоем.

— Никогда я не думала, что на море может быть такая тишина! — сказала Татьяна Андреевна. Она стояла рядом с Пахомовым, облокотившись о борт.— Как тепло в вашем пальто! Спасибо!

Яростно прокричала сирена на мостике.

— Вам не холодно, Миша? — спросила Татьяна Андреевна.

— Нет, мне очень хорошо.

— Вы знаете, Миша, я, должно быть, очень жадная. Я все хочу запомнить и все сберечь. Вон видите, как перелилась волна и ушла в туман. Я хочу всегда помнить эту волну. И этот туман. И крик сирены. И потому я очень завидую вам и Николаю Генриховичу.

— Нашли кому завидовать,— шутливо сказал Пахомов.

— Потому что все это — кокой-нибудь листик, прилипший во время дождя к окну,— все это можно сохранить только красками. Я вообще завидую художникам.

Вернулся Швейцер. Он потащил Татьяну Андреевну и Пахомова пить чай. В салоне горело электричество, стояли на столиках белые левкои. Татьяна Андреевна дотронулась до них и вспомнила ночь на теплоходе по пути в Ялту, такие же левкои, разговор со Швейцером. Она вспомнила его слова о том, что победят разум и справедливость, и с благодарностью посмотрела на него.

Швейцер потребовал, кроме чая, бутылку вина.

— Ну,— сказал он, поправляя очки,— выпьем за будущее.

Пахомов смотрел на вино в стакане.

— Откуда же солнце? — спросил он и поднял голову.

Сквозь туман уже лилась глубокая синева.

Загудели машины, задребезжали стаканы, в белом солнечном блеске открылись красноватые высокие берега и стройный маяк.

— Большой Фонтан,— сказала Татьяна Андреевна, и стакан с вином дрогнул у нее в руке.— Как скоро!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В начале лета в Таллине не было ночей. Только сумерки. Они тянулись до рассвета, пока над Финским заливом не подымалось солнце. Тогда все начинало светиться синевой — и воздух, и стекла в окнах, и даже седые волосы Амалии Браун, квартирной хозяйки Татьяны Андреевны.

Татьяна Андреевна спала тревожно, часто просыпалась, глядела за окно, где тускло блестела северная ночь, думала о том, что с ней случилось.

Очевидно, пришла любовь. Но она совсем не походила на то, что Татьяна Андреевна знала о ней и видела в жизни. Пахомов ни разу не сказал ей о любви. Она тоже молчала.

Если бы ее спросили, как назвать чувство, завладевшее ею с того далекого утра на теплоходе у берегов Одессы, она бы ответила, что это было ощущение сна. Во сне освещенная солнцем оконная рама запоминается надолго, как великолепное зрелище. То же происходило с Татьяной Андреевной и сейчас. Всякий пустяк — поворот шоссе, ветка над забором, свет фонарей — все казалось значительным. Татьяна Андреевна думала, что сущность многих незамысловатых вещей необыкновенно хороша, но мы слепнем от забот и потому замечаем это слишком редко.

Весной 1941 года она ушла из одесского театра, прогостила в Новгороде у Варвары Гавриловны всего несколько дней, а потом уехала в Кронштадт, в театр Балтийского флота. Она была счастлива, что сможет играть для моряков и видеть Пахомова, но вскоре театр перевели в Таллин.

Играть приходилось то на кораблях, то на открытой сцене в таллинском городском саду. Иногда во время спектакля ручные белки прыгали с елей на сцену и рылись в карманах у актеров, выискивали орехи. Зрители смеялись. помощник режиссера заика Саша Нидер наводил на белок лучи прожектора, и белки удирали. «Н-н-не давать же, в са-а-амом деле, з-занавес!»

В половине июля к Татьяне Андреевне приехал Пахомов. Роспись театра в Ленинграде заканчивалась, но старик Вермель, отпуская Пахомова, так разворчался, что остаться в Таллине больше чем на сутки тот не решился.

Татьяна Андреевна встретила Пахомова на вокзале. Они выпили кофе в буфете. У девочки в ситцевом платье со светлыми косами, обернутыми венком вокруг головы,

купили букетик гелиотропа. С вокзала Пахомов проводил Татьяну Андреевну на репетицию в городской сад. Потом они пообедали вместе в маленьком ресторане вблизи порта. Вспоминали Ялту, кофейню, Швейцера с его поисками новых пушкинских стихов.

— Где он сейчас, Швейцер? — торопливо спросила Татьяна Андреевна. Она боялась, что, вспоминая дальше, Пахомов дойдет до Перейро.

— Опять в Михайловском,— ответил Пахомов. Он действительно вспомнил о Перейро, но промолчал.

В серой воде отражалось небо с его легкой зарей, потухавшей в туманном западе, с его непонятной печалью. Медленно заревел, разворачиваясь в порту, пароход со шведским флагом на корме. Он прошел мимо ресторана. Люди в фуфайках стояли, облокотившись о борт, смотрели на ресторанные огни.

Поздним вечером Татьяна Андреевна проводила Пахомова на вокзал. Веселые носильщики курили трубки. В опущенные вагонные окна проникала морская свежесть, смешанная с теплом вокзальных залов. Татьяне Андреевне стало страшно от неизвестно откуда взявшейся мысли, что вся эта тишина и уют непрочны, как нитка паутины.

Прощаясь, она быстро обняла Пахомова, впервые поцеловала его и отвернулась.

— Не огорчайтесь. Все будет очень хорошо,— сказал Пахомов, но в голосе его не было уверенности.

Поезд отошел. Татьяна Андреевна пошла домой, к Амалии Браун. Вечер был свободен — спектакля в этот день не было.

Небо затянулось облаками. Начал накрапывать дождь. Татьяна Андреевна вспомнила свой поцелуй на вокзале, покраснела, и ей опять сделалось страшно. Да полно, любила ли она Пахомова? Не выдумала ли она эту любовь? Но успокоила себя тем, что люди всегда пугаются быстрого счастья. Попросту они к нему не привыкли. Да и можно ли считать счастьем то, что с ней происходит? Счастье — это нечто безоблачное, устойчивое, а она полна опасений и недовольства собой.

Вдова таможенного чиновника Амалия Браун жила в маленьком доме около старого порта. Поглощенная мыслями о сыне — пароходном механике, застрявшем из-за войны в Соединенных Штатах,— она все же находила время, чтобы держать дом в удивительной чистоте.

— Амалия Ивановна,— говорила иногда Татьяна Андреевна,— я хочу превратиться в какую-нибудь вещь, чтобы навсегда остаться в вашем доме.

— Так происходит только сказка,— отвечала, смеясь, Амалия Ивановна.— Такая красивая женщина! Такая свободная женщина! И вдруг — вещь в бедной квартире Амалии Браун! Зачем это вам?

— Мне хочется спокойно жить, не думать, Амалия Ивановна.

— Вы полагаете, вещи не думают? — хитро спрашивала Амалия Ивановна.— Да? А кем сударыня хотела бы быть? — Амалия Ивановна показывала на комнату, где все сверкало свежестью.— Неужели этими стенными часами?

— Хотя бы часами.

— О нет! — Амалия Ивановна качала головой.— Часы трудятся больше, чем женщины. Они никогда не спят. Вы думаете, у них не болит сердце, когда мы сердимся, что они отстают или спешат? Вам надо быть вещью, которая не имеет тяжелой работы. Вот этим музыкальным ящиком. Или этим зеркалом. Но нет! Оно обязано всю жизнь повторять людей. А кто знает, приятно это ему или нет.

Амалия Ивановна говорила как будто всерьез, но глаза ее смеялись.

Сейчас Татьяна Андреевна прошла в свою комнату, зажгла лампу, поставила в стакан букетик увядшего гелиотропа. Потом открыла окно и долго смотрела на улицу. Кое-где в зелени зажглись фонари. В их свете пылил мелкий дождь.

На городской башне часы пробили двенадцать. Амалия Ивановна постучала в дверь. Татьяна Андреевна обернулась и увидела ее испуганные близорукие глаза.

— Вас спрашивает морской офицер, моя сударыня,— шепотом сказала Амалия Ивановна.— Зачем так поздно?

Татьяна Андреевна вышла в прихожую. Там стоял, искоса глядя на себя в стенное зеркало, лейтенант Луговой — представитель штаба при театре. Луговой всегда был подтянут, всегда начеку и старался говорить только интересные вещи.

Татьяна Андреевна пригласила Лугового в комнату. Он вошел, пошевелил пальцем цветы гелиотропа, сказал:

— Обычаи английского флота предписывают в торжественных случаях посыпать обеденные столы полевыми цве-

тами. Например, ромашкой. Или клевером. Приятная традиция. Несколько изысканная, конечно. Запах родины, полей, лугов.

— Хорошая традиция,— согласилась Татьяна Андреевна, недоумевая, зачем Луговой пришел так поздно.

— Я вырос на Украине,— продолжал так же отрывисто говорить Луговой.— Есть такой городок Белая Церковь. «Луна спокойно с высоты...» Помните? Столица гетманов. Дом бабушки. В рождественскую ночь стол у бабушки посыпали сеном. Сверху клали скатерть.

— Вы украинец? — спросила Татьяна Андреевна.

— Нет. Я из старого русского рода. Предка моего Ивашку Лугового царь Борис приказал бить батогами за то, что он кричал на государя поносные слова.

Луговой улыбнулся. Татьяна Андреевна спросила:

— Что нового, Алексей Александрович?

— В театре или в Европе?

— И там и тут.

— Я, собственно, и зашел, чтобы предупредить вас. Приказ. В три часа ночи — концерт в городском саду. Будет только командование.

— Почему так поздно?

— Военный театр должен уметь работать в любое время. В любых условиях. Завтра вас отправляют в Рижский залив.

— Ну что ж! Я готова.

— А что касается Европы, то там горит земля. Честь имею кланяться. Если разрешите, я зайду за вами в половине третьего.

Татьяна Андреевна проводила Лугового до передней. Уже стоя в открытой двери, он сказал:

— Когда в окно влетает шаровая молния, надо задержать дыхание. Нельзя пошевелить даже пальцем. Иначе вы притянете молнию к себе. Вот так и с нами. Шаровая молния — это война. Она остановилась на пороге. Малейшее движение может втянуть ее в дом.

Луговой ушел, взяв под козырек. Татьяна Андреевна стояла в дверях, смотрела ему вслед. Руки у нее похолодели. Она прижала их к щекам,— этот жест всегда пугал Варвару Гавриловну.

— Что он такое говорит о войне! — сказала она вполголоса.— Нет, нет, нет! Не может этого быть!

Татьяна Андреевна не ложилась. Не спала и Амалия

Ивановна. Они сидели вдвоем у окна. Все еще накрапывал дождь.

Хотелось лечь, укрыться, уснуть. Но сон не пускали в комнату. Татьяне Андреевне чудилось, что он топчется у дверей. Это ощущение было совершенно детским. Еще девочкой в Новгороде в зимние ночи она просыпалась, вглядывалась в сумрак, и ей мерещилось, что какое-то пушистое существо, похожее на кота Васю, похрапывает, свернувшись на диване. Это существо, очевидно, и было сном.

Амалия Ивановна вспомнила, что Татьяне Андреевне скоро надо в театр, ужаснулась и ушла на кухню приготовить кофе. Татьяна Андреевна осталась одна. Она снова прижала руки к щекам, позвала: «Миша!» Никто, конечно, не ответил. Она смутилась, слезы навернулись у нее на глазах. «Боже мой! Какая я дура! — подумала она и крепче притиснула руки к щекам.— Можно с ума сойти!»

Ровно в половине третьего пришел Луговой. Татьяна Андреевна вышла с ним на улицу. Прошумел предрассветный ветер. Он рванул деревья, засвистел в проводах, но тотчас затих.

— Вы напугали меня своими разговорами,— сказала Татьяна Андреевна Луговому.— Оказывается, вы мрачный человек.

Луговой только застенчиво улыбнулся.

От ночного концерта у Татьяны Андреевны осталось воспоминание о каплях дождя, блестевших в траве около рампы. Трава была ярко освещена софитом. В первом ряду сидел адмирал с коричневым лицом. Татьяна Андреевна знала, что это командующий.

После концерта он прошел за кулисы. Актеры собрались вокруг него. Он снял фуражку, провел ладонью по волосам и сказал:

— Я человек военный. В искусстве понимаю мало. Но люблю его и трачу на него все свободное время. Когда оно бывает. Читаю, слушаю музыку, хожу в театр. Вот говорят иные мои товарищи, что искусство — это развлечение. Или отдых. Сердят меня такие товарищи. Насчет отдыха — это я еще как-то согласен. Но насчет развлечения — прошу простить! Не соглашаюсь. Искусство — сила. Оно ворочает горы. Создает человека. Шлифует жизнь. Как будто она на первый взгляд — серая штука. Вроде как камень. Булыжник. Приходит мастер, обкалывает его, стачивает, полирует, и серый камень горит, как звезда. Так вот! Хочу

напомнить — будущее страны создается великими усилиями. В том числе усилиями таких людей, как вы. Людей искусства. Наше время — строгое и сторожкое время. Наш глаз должен быть ясным, зорким, должен видеть сквозь всякий туман. Кругом бушует война. Не скажу, что в двенадцать баллов, но баллов до десяти она уже натянула. Так вот! Зажигайте бойцов. Пусть еще лучше знают, чтó защищать и как защищать. Вам и карты в руки. Вы — мастера. А напоследок позвольте поздравить вас. Сегодня в полночь ваш театр отплывает на острова Рижского залива в части береговой обороны. Там вас ждут. Удачной работы и легкого плавания!

Командующий надел фуражку, взял под козырек и вышел в сопровождении нескольких командиров. Татьяна Андреевна переоделась и пошла через сад домой. Ее догнал Саша Нидер.

— Какова речь! — сказал он.

В красноватой мгле выплывало солнце. Женщины несли на рынок корзины с мокрой редиской, маленькой рыбой — салакой,— прикрытой капустными листьями. Некоторые рыбы были еще живые. Они выскакивали на мостовую. Женщины подбирали их и шли дальше. Из крана на рыночной площади лилась вода. Торговки брызгали этой водой на охапки цветов.

Город просыпался, но сон — теплый, как земля после дождя,— шатал Татьяну Андреевну, заставлял ее держаться за руку Саши Нидера, подставляя лицо ветру, чтобы он согнал с него сонную паутину. Она пыталась, но не могла снять ее маленьким носовым платком.

Залив уже блестел. Сильно пахло сосной — должно быть, с тех песчаных островов, куда они поедут сегодня. Там дюны, вереск и шум прибоя. Так говорил Саша Нидер. Не это ли счастье? Не этот ли ветер, и запах воды, и далекий путь, и ночи в небольших дощатых домах, где их будет подымать труба горниста? Тогда надо выскакивать из комнаты, бежать к заливу и уходить по горло в прохладную воду. Уходить по песку, твердому, как пол. В уровень с глазами будет качаться вода и будут лежать на этой воде облака, длинные, как пряжа. Не это ли счастье?

— Погодите минуту,— сказала Татьяна Андреевна Саше и прислонилась к стволу липы.— Он сейчас пройдет, этот сон. Я никак не могу с ним справиться.

Она стояла, закрыв глаза. Как хорошо! Никогда еще

у нее не было такого состояния. «Что это? — подумала она.— Каждый пустяк — все кстати».

Саша Нидер потянул ее за руку.

— Да вы что! — сказал он сердито.— Вправду уснули! Послушайте. Что-то мне это не нравится.

Татьяна Андреевна открыла глаза. Торговки с цветами, Саша и милиционер — все смотрели в сторону моря. Там возник неровный и грозный гул, будто над головой раскалывалось небо. Гул приближался.

— Что это? — спросила Татьяна Андреевна.

— Не знаю,— ответил Саша Нидер.— Непонятно. Их слишком много.

— Кого — их?

Зловещий вой — пронзительный и наглый — разрезал небо надвое. Земля вздрогнула, ахнула. Невдалеке за портом обрушился и покатился железный гром. Татьяна Андреевна увидела, как железное пламя орудийных выстрелов стремительно пробежало по борту миноносца, стоявшего па рейде. С ликующим звоном помчались в небо снаряды.

Люди уже бежали, озираясь, по улицам, но никто еще не понимал, что случилось. Саша Нидер потащил Татьяну Андреевну за руку в соседний подъезд.

— Что это? — торопливо спрашивала она.— Что это, Саша?

— Что, что! — сердито кричал Саша.— Началось. Вот что! Это немцы. Или финны. Откуда я знаю?

Бомбардировка пролетела, как шквал. Грохот, свист, звон стекол, сыпавшихся ручьями с верхних этажей, удары зениток, крики женщин, и вдруг — короткая тишина, а потом протяжный, заполнивший все пространство между землей и небом вопль пароходных гудков.

У Татьяны Андреевны с каждой секундой этого тоскливого крика росла в груди тупая боль. Было ли это чувство несчастья или ненависти — трудно сказать. Пожалуй, и то и другое.

— Подлость, подлость, подлость! — шептала Татьяна Андреевна.

Кирпичная пыль висела над улицей. В этой пыли со звоном мчались пожарные команды.

— В театр! — крикнул Саша Нидер и потащил оглушенную Татьяну Андреевну на улицу.

Около театра они встретили Лугового. Он был в поход-

ной форме с черным револьвером на ремне. Он коротко сказал Татьяне Андреевне, что их ночной разговор был «в руку», но вечером театр все же отправляется на машинах по назначению — в Виртсу, а оттуда на остров Эзель в части береговой обороны.

Разговаривая с Луговым, Татьяна Андреевна взглянула на газон в саду. Вода на траве еще не высохла. «А судьба мира уже переменилась»,— подумала она.

Из театра Татьяна Андреевна пошла на телеграф. Чувство устойчивой жизни исчезло начисто. Город стоял почти нетронутый. Все так же шумели деревья, синий свет блестел в окнах, и кучевые облака проплывали над заливом, но все это уже казалось сном.

Она послала две телеграммы — Варваре Гавриловне и Пахомову — и вернулась домой. Там ее встретила плачущая Амалия Ивановна.

— Ничего, Амалия Ивановна,— машинально сказала Татьяна Андреевна,— все будет хорошо.

Она вспомнила, что эти же слова только вчера сказал ей Пахомов.

* * *

Пахомов приехал в Ленинград рано утром. С вокзала он отправился прямо в театр, где работал Вермель.

— Слава богу,— вздохнул Вермель, открывая Пахомову дверь зала, где пахло клеем и опилками.— А я, признаться, думал, что вы так скоро не вернетесь. И я бы вас не осудил.— Он потрепал Пахомова по плечу.— Завидую вам. Да, завидую. А теперь давайте работать. Кипяток есть, хлеб, сахар и чай есть,— значит, до вечера я вас не выпущу.

— Отлично,— ответил Пахомов.

Он был рад предстоящей работе.

Ночью в вагоне он думал о Татьяне Андреевне. Все, что с ним случилось, казалось ему таким невероятным, что от мыслей об этом у него начинало больно биться сердце. Тогда он старался думать о чем-нибудь другом, и сердце успокаивалось.

В Нарве он выпил в буфете вина. Поезд проносился мимо мыз, обдавал их паром. Пар оседал в черных садах. Пахомов впервые почувствовал веселую уверенность в себе. Этой уверенности раньше не было.

До самого Ленинграда он напевал, высунувшись из окна. Он пел все, что приходило в голову. «Царит весны таинственная сила с звездами на челе. Ты, нежная! Ты счастье мне сулила на суетной земле». Он даже не помнил поэта, написавшего эти стихи. Но это было не важно.

Пахомов работал до вечера. Краски ложились легко, верно.

Кто-то несколько раз требовательно стучал в двери, но ни Вермель, ни Пахомов не откликались и дверь не открыли. Только в сумерках Вермель отошел от росписи, долго смотрел на нее, потом сел на стремянку, закрыл руками лицо.

— Вы что, Николай Генрихович? — спросил встревоженный Пахомов.

— Ничего,— ответил Вермель,— готова роспись. А где же радость, Миша? Прошмыгнула, как мышь,— и ее уже нет! Вот, действительно, «стою, как поденщик ненужный, плату приявший свою, чуждый работе другой». У остальных есть всё: жена, дети, любимые женщины, есть родные места, есть привычки, есть возможности отдыха. А у меня нет ничего, кроме красок. Ничего! Этим я только и счастлив. Я сумасшедший, Миша. Вот и вы скоро меня бросите. Э-э, батенька, не возражайте. Я это великолепно знаю.

Пахомов обнял Вермеля за плечи:

— Не смейте об этом думать, Николай Генрихович. Будем жить вместе.

Вермель вытащил из кармана бархатной куртки платок, отошел к окну и стоял там, спиной к Пахомову, сморкался, смотрел на улицу.

— Миша! — позвал он.— Идите сюда.

Пахомов подошел к окну. По широкому проспекту красноармейцы вели на поводу, как водят коней, огромных серебряных рыб. Это были привязанные аэростаты. Закатное солнце освещало аэростаты, красноармейцы же были в тени. Казалось, что по улице сами собой плывут ленивые толстые карпы.

— Сколько их! — сказал Пахомов.— Десятки! Что это значит, Николай Генрихович?

Железный грохот ворвался в проспект с ближайшего перекрестка. Оттуда двигались, покачиваясь, тяжелые танки. Шли они совсем не так, как на парадах,— лица командиров, стоявших в башнях, были сосредоточенны и угрюмы. Стальные гусеницы высекали искры из мостовой.

— Куда они идут? — спросил Вермель.

— Должно быть, к Финскому вокзалу. Что-то случилось, Николай Генрихович.

— Опять вы взялись за свои пророчества, Миша! Откуда вы знаете?

Пахомов не мог объяснить Вермелю, откуда взялась у него эта уверенность. Ее создали десятки мелочей — глухой грохот над городом, торопливые шаги прохожих, непрерывный говор громкоговорителей, который Пахомов никак не мог разобрать.

Пахомов высунулся из окна, вслушался и повернул к Вермелю растерянное лицо.

— Николай Генрихович,— сказал он тихо,— а ведь и вправду случилось.

— Что?

— Война, Николай Генрихович.

— Замолчите!— закричал Вермель.— Что это, наконец, такое! У всех голова забита только войной. Недоставало, чтобы и вы меня изводили военными разговорами.

Вермель снял фартук, застегнул бархатную куртку, начал искать шляпу.

— Если война, значит, и вас возьмут, Миша,— сказал он и посмотрел на Пахомова остановившимися глазами.— Пойдемте! Скорей!

Они вышли, и с первых же шагов Вермель, ничего еще толком не зная, понял, что Пахомов прав,— облик города за несколько часов сразу переменился. Город сделался суровым и настороженным.

Только Нева все так же спокойно несла темную воду на запад.

Тут же, около дверей театра, первый прохожий— рабочий с ниточной мануфактуры — рассказал Вермелю и Пахомову о немецких войсках, перешедших границу, о бомбардировке Киева, Вильно, Таллина, Севастополя.

Пахомов почувствовал холод под сердцем. Слушая рабочего, он засунул руку в карман пиджака, нащупал военный билет и переложил его в другой, свободный, карман. Когда рабочий ушел, удивляясь чудакам, не знавшим до вечера о начавшейся войне, Пахомов сказал Вермелю, что ему нужно идти в военкомат.

— Хорошо, Миша,— согласился Вермель,— но только посидим минуты две здесь, в сквере. Надо немножко успокоиться.

Они сели на скамейку в сквере около Троицкого моста. Лампы в окнах не зажигались. Не горели и уличные фонари. Как серебряные невиданные птицы, подымались над городом аэростаты воздушного заграждения. На стенах белел приказ о введении чрезвычайного военного положения.

Вермель молчал, отвернувшись. Потом он встал, схватил Пахомова за плечи и крепко потряс:

— Конечно, Миша! Теперь нам осталось только драться. И не оглядываться назад. И ни о чем не жалеть. Не жалеть! — крикнул Вермель.— А когда окончится война, мы соберем все, что осталось. Тогда я стану на колени перед первым попавшимся мне старым холстом и буду плакать, как дурак. Но сейчас надо об этом позабыть. Пойдемте, Миша.

Пахомов молчал. Множество мыслей мелькало в сознании — мыслей о войне, об огромных страданиях, ждущих всех впереди. Но страдания эти не пугали. Может быть, потому, что за эти несколько минут Пахомов отрешился от себя. Он уже принадлежал не себе, а всей стране, поднявшейся против смертельной опасности, что хлынула с запада в реве бомбардировщиков, вое снарядов, скрежете танков.

— Мое место там, среди миллионов бойцов,— сказал он Вермелю.

Они расстались около памятника Суворову. Бронзовый полководец пристально смотрел на военное оживление города. И, переходя с низких нот на все более высокие, перекатываясь от предместий к Неве, многоголосым предостерегающим криком уже гремела над Ленинградом первая воздушная тревога.

* * *

Вермель вернулся в свою комнату, завесил одеялом окно, зажег свет и выругался. Неужели у него всегда был такой беспорядок? Комната не прибиралась неделями. Раньше Вермель не обращал на это внимания, но сейчас, ожидая взрывов и разрушения, он хотел чистоты, порядка, свежего воздуха. «Недаром,— подумал он,— солдаты надевают перед боем чистую рубаху».

Он прибрал комнату, вытер пыль. Все вещи — раньше он почти не замечал их, а если и замечал, то ругал за вет-

хость или другие недостатки,—все эти вещи показались ему теперь притихшими и одинокими.

— Как же вы будете жить без меня? — спросил Вермель и прислушался к звуку собственного голоса.

Он еще не знал, что с ним будет завтра. Но у него появилась уверенность, что оставаться здесь он не должен, что надо идти вместе со всей страной. Куда? На запад, навстречу врагу, пожарам, бою, смерти. Время сместилось внезапно. Никогда он не думал, что прошлое может так быстро провалиться в пустоту.

Когда Вермель окончил уборку, было уже светло. Он распахнул окно. За ним зарождалось сыроватое утро. Со взморья долетали удары, похожие на короткий гром.

Вермель зажег газ, поставил на конфорку чайник, сел в кресло и закурил. Он почувствовал облегчение оттого, что все прибрано, уложено, что прохладный воздух вливается в окно и луч солнца играет на протертых стеклах книжного шкафа. Вермель нащупал в кармане ключ от двери. Значит, всё! Значит, можно встать, нахлобучить шляпу, закрыть комнату и уйти пешком по дорогам, смешаться с запыленными бойцами, пить из колодцев, спать под соломенными застрехами, найти свое место среди взволнованной огромной страны.

Эта мысль принесла Вермелю успокоение. Он даже улыбнулся, будто война внесла наконец ясность в его такую сумбурную жизнь.

Он подошел к окну, долго разглядывал небо, омытое рассветом.

— Да, Россия,— сказал он. Вся страна предстала перед ним, как широкое полотно, написанное великим художником, страна с ее светлыми водами, дымом деревень, шелестом листьев.— Да, Россия,— повторил Вермель. Ему стало больно от мысли, что он, как ленивый раб, прожил жизнь, не зная своей страны. Прожил в суете, в спешке, в прокуренных мастерских. А страна работала до самозабвения, красавица страна, что светилась вокруг в тишине, в запахе полевых трав, освещенных солнцем с такой резкостью, что был виден каждый волосок на стебле репейника.— Дурак я, дурак,— бормотал Вермель.— Прозевал, прохлопал. Вот уж действительно несчастье открывает глаза.

В шесть часов утра пришел Пахомов, похудевший, спокойный, сказал, что его посылают военным корреспонден-

том на Южный фронт, что поезд отходит в час дня и что он получил телеграмму от Татьяны Андреевны. Он протянул телеграмму Вермелю. Вермель прочел:

«Уезжаю Эзель жду известий очепь боюсь маму Машу случае необходимости помогите им крепко нежно целую Таня».

Тотчас неясная жажда действия, мучившая Вермеля ночью, приобрела точную форму: он сейчас же поедет в Новгород! Немедленно!

— Зачем? — спросил Пахомов.

— Как зачем? — закричал Вермель.— Встряхнитесь, Миша! Честное слово, вы какой-то очумелый. Рядом война. Надо спасти в Новгороде все самое ценное. Я сейчас иду в академию. Я добьюсь, что меня пошлют в Новгород с полномочиями. Кстати, я помогу Варваре Гавриловне и Маше.

Старик уже гремел, волновался, он знал, что делать, и, как всегда в таких случаях, закипал от желания двигаться.

Пахомов ушел. Они условились встретиться в полдень на Октябрьском вокзале. Вермель поехал в Академию художеств. Оттуда он ездил в Смольный и вернулся домой возбужденный и строгий. В кармане у него лежал правительственный мандат на вывоз из Новгорода художественных музейных ценностей.

Вокзал был запружен военными. Вермель не сразу нашел Пахомова. Пахомов был уже в пилотке, в форме, с двумя шпалами на воротничке.

Мария Францевна, полная растерянная старушка, держала Пахомова за кожаный пояс. Накинутый наспех платок сползал у нее с головы.

— Мария Францевна,— говорил Пахомов,— вы запомните, милая. Надо отправить эту телеграмму на Эзель. Прямо отсюда, с вокзала. Сейчас же, как отойдет поезд. Хорошо? Живите спокойно. И если приедет Татьяна Андреевна, устройте ее у нас.

— Что ты говоришь, Миша? — укоризненно шептала Мария Францевна.— Будто я сама не знаю. Лишь бы она приехала. Нам вдвоем будет легче, Миша. Ты пиши, телеграфируй каждый день.

Вермель ехал в одном вагоне с Пахомовым до станции Чудово. Оттуда он думал пробраться в Новгород на пароходе по Волхову.

В Чудове они расстались. Пахомов высунулся из окна и смотрел на длинную дощатую платформу. Она потемнела от недавнего дождя. На платформе, кроме Вермеля и дежурного в красной фуражке, никого не было. Вермель махал шляпой.

Весь день Вермель дожидался парохода. По Волхову он плыл ночью. И всю ночь над рекой, сотрясая воздух, как бы сбривая яростным ревом берега, неслись на запад наши истребители.

* * *

Мария Альварес пригладила блестящие волосы. Ладони сделались липкими от водяной соленой пыли, осевшей на волосах.

Синие тяжелые волны били в скалу и уходили, перекатывая гальку. Каждый раз после наката волны в жаркий воздух влетал прохладный запах растревоженного морского дна — едкой соли, йода, гниющей травы.

Солнце стояло над Аю-Дагом, над колючим дубняком, жгло спину. В рыбачьем поселке Партените было безлюдно, сонно. Лениво стучал молотком по плите песчаника пыльный старик в автомобильных очках — вырубал на плите грубый узор, да смеялись на берегу пионеры.

Они пришли сюда из Артека ранним утром, купались, пили козье молоко, лазили по заросшим колючками руинам римской крепости, ловили ящериц, а теперь отдыхали на берегу. Они лежали так, что волна добегала только до их загорелых ног и уходила, оставляя на гальке прыгающих, как блохи, прозрачных бокоплавов.

Серафима Максимовна Швейцер — она с весны работала врачом в Артеке — сидела рядом с Марией Альварес и, улыбаясь, смотрела на нее. Ей нравилась молодая испанка, приехавшая в Артек из Москвы для работы с испанскими детьми.

Серафима Максимовна размышляла о сложной судьбе людей в наше время. Вот Альварес — дочь испанского аристократа, поэтесса, окончила католическую школу в Мадриде, бежала от генерала Франко, приехала к нам, нашла себе новую родину. Когда Мария приглаживала тяжелые волосы,— а она делала это часто,— Серафима Максимовна думала, что в это время Мария, должно быть, вспоминает родину.

Сейчас Мария Альварес думала о том же, что и Серафима Максимовна,— о своей странной судьбе.

Детство прошло, как сплошное католическое богослужение. Дребезжание церковных колокольчиков, чугунные плиты собора, от них рвались чулки на коленях. Скучные каникулы в загородном доме разорившегося отца... Только белое солнце, одно только солнце на пыльной мебели, паркетах, в сухом саду, в сухом небе. Небо было, как средневековая картина, выцветшее, голубоватое, очень старое. И множество книг, оставшихся от деда. Они пересохли и раскрывались с треском, как склеенные. А раскрывшись, издавали сладковатый запах непроветренных, никем не читанных библиотек.

С книг все и началось — и увлечение поэзией, и знакомство с поэтами, журналистами, писателями, и первое воспоминание об одном из них. Он подарил Марии, тогда еще девочке, свою книгу и написал на ней: «Пока земля не станет счастливой, имеет право жить только ненависть».

Это был знаменитый писатель — седой, непримиримый. Ему пришлось бежать во Францию, спасаясь от генерала Примо де Ривера.

Мария не считала себя испанкой. Роднее была Франция,— туда она ездила с отцом. Но однажды она проводила лето у родственников на валенсийском побережье, в Аликанте. Было скучно в пустом, выжженном городе. Высокие стены накалялись от солнца. Только по утрам можно было дышать, сидя на балконе и слушая, как внизу плещет волна.

Как-то утром Мария вышла на балкон, села в тени. В красноватом дыму выплыл из-за мыса неуклюжий парусник. Испанский флаг болтался у него на мачте. Внизу рыбаки растягивали на скале мокрую сеть и напевали песню.

Мария перегнулась через перила, слушала. Рыбаки перестали петь, сняли шляпы, начали шутить с ней. А парусник все приближался. Были видны заплаты на его парусах. Один из рыбаков сказал Марии, что этот парусник привез в Аликанте селитру из Южной Америки.

Сама не зная почему, Мария почувствовала себя в это утро испанкой. А вечером при лампе, дрожавшей от ветра, она написала первые стихи.

А потом? Вспоминать не хотелось. Слишком много бы пришлось вспоминать. Неудачное замужество, развод, кни-

га стихов, мятеж, бои в Карабанчеле, бегство. Одно ее стихотворение перевели на русский язык. Мария с трудом выучила его и любила повторять про себя.

Сейчас она вспоминала эти стихи, но ее прервала Серафима Максимовна.

— Скоро я познакомлю вас со своим мужем,— сказала она Марии.

— О-о, я буду очень благодарна! — протяжно ответила Мария.— Я достаточно знаю русский язык, чтобы разговаривать с ним? Или нет?

— С ним можно разговаривать даже по-испански,— засмеялась Серафима Максимовна.— Он все поймет. Сейчас он далеко, в деревне, где жил наш Пушкин.

Мария вздохнула:

— Наверное, оттуда долго ехать?

— Нет. Всего три дня. Он выедет завтра. Через пять дней он уже будет здесь.

Мария снова вздохнула,— какая большая страна! Она видела ее из окон вагона, и ей было страшно от этих бесконечных равнин. Стаи птиц пролетали над поездом и исчезали вдали, где ветер качал траву. Мария, глядя на птиц, думала: а что, если поезд остановится, совсем не пойдет дальше, до моря? Но скоро этот страх прошел и сменился радостью. Ей хотелось мчаться в эту даль, в этот ветер, путающий волосы, в эти поляны лиловых, белых, желтых цветов. Мчаться туда, где лежит синий воздух и все время убегает от поезда. К нему никак нельзя приблизиться и ворваться с грохотом, гудками в эту синеву, в облака, что, должно быть, легли там, впереди, на землю. Ворваться и расшвырять эти облака грудью яростного паровоза.

Мария Альварес ехала в Крым не одна. Ей поручили довезти из Москвы до Артека двух мальчиков-испанцев.

Один из них — Мануэль Перейро, болезненный, застенчивый,— почти не отходил от окна. Когда Мария его окликала, он оглядывался и растерянно улыбался. Говорил он мало, только отвечал на вопросы. Однажды Мария подошла к Мануэлю и заметила, что он дрожит и, вцепившись руками в опущенную раму окна, изо всех сил старается удержать эту дрожь.

— Что с тобой? — спросила Мария.

Мальчик опустил голову, стиснул зубы. Она хотела под-

нять за подбородок голову Мануэля, но мальчик упирался, а потом быстро обмяк и уткнулся Марии в плечо. Губы его дрожали.

Мария увела его на пустую площадку, и там он долго плакал и не мог выговорить ни слова. Испуганная Мария принесла ему воды. Мальчик постепенно успокоился. Она вымыла ему лицо, увела в купе, уложила. Он лежал, не выпуская руку Марии. А потом рассказал, что у него фалангисты убили отца — старого адвоката в Мадриде, и он один ушел из дому, хотел идти пешком в Арагону, к дедушке, идти с куском сыра в кармане, но его подобрал в машину какой-то американец, привез в Валенсию и посадил на пароход, шедший в Англию. В Лондоне матрос отвел его в советское посольство. Оттуда он попал в Ленинград, потом в Москву.

У него был брат — студент Рамон Перейро. Он сражался на баррикадах на берегу Мансенареса, был, кажется, ранен, бежал, тоже, должно быть, в Россию. Мануэль должен найти его здесь.

Мария слушала и гладила горячую голову мальчика. Он скоро уснул. Мария вышла на площадку и смотрела в степную тьму. Там не было ни одного огня, кроме рассыпанных по горизонту звезд.

И теперь, сидя на берегу, она изредка взглядывала на Мануэля. Он рылся в гальке, что-то искал.

— Где бы мне найти его брата? — спросила Мария Серафиму Максимовну.— Может быть, он даже совсем и не в России...

Серафима Максимовна только вздохнула.

Вверху, на крутой дороге, запел гудок автомобиля. Было слышно, как машина тяжело сползает, фыркает, осыпает щебень. Пыльный старик перестал тесать камень и поднял голову,— редкие машины решались спускаться в Партенит из-за плохой и опасной дороги. Кто бы это мог быть?

Пионеры на берегу с любопытством смотрели на дорогу. Потом они весело зашумели. Мелькая между тополями, появился огромный «линкольн» и их любимый артековский шофер Саша.

Серафима Максимовна удивилась. Было условлено, что она и Мария вернутся вместе с детьми из Партенита пешком.

Саша развернул «линкольн» на самом берегу, въезжая

колесами в мокрую гальку, соскочил и подошел к Серафиме Максимовне.

— Хорошо, что вы все-таки приехали, Саша,— сказала Серафима Максимовна.— Ребята теперь не устанут.

Саша молча вертел в пальцах побелевшую от соленой воды сухую палочку. Серафима Максимовна смотрела на него с недоумением. Саша оглянулся, наклонился к Серафиме Максимовне и быстро сказал:

— Собирайте ребят. Скорее! Дело в том, что сегодня утром немцы бомбили Севастополь.

Серафима Максимовна схватила Сашу за руку и тяжело поднялась с земли.

— Ребятам пока не говорите,— добавил Саша.— Подготовите их в дороге. Всех, кого можно, сегодня же отправляйте в Симферополь, а оттуда к родителям. Надо спешить. Едем!

* * *

Весь день Пахомов просидел в Москве на Киевском вокзале, никак не мог попасть на поезд.

Рабочие закрашивали охрой стеклянный купол дебаркадера, чтобы погасить блеск стекол, сделать их незаметными с воздуха. Вокзал постепенно погружался в красноватую охряную тьму, как в зловещее зарево.

Несколько раз Пахомов заходил в комендатуру. Охрипший комендант взглядывал на Пахомова такими усталыми глазами, что тот не решался попросить у него места для себя, военного корреспондента, в переполненных командирами беспрерывно отходящих на юг поездах.

Вечером Пахомов вышел на вокзальную площадь, посмотрел на Москву, послушал. Сотни автомобильных гудков осторожно перекликались в темных ущельях Дорогомилова и Арбата. Громады неосвещенных домов подымались в зеленеющее небо.

Пахомов вернулся, сел около телефонной будки и слушал торопливые разговоры командиров, прощавшихся с родными. Как всегда во время прощания, люди говорили и о важном, и о пустяках. Каждому было отведено только три минуты, чтобы услышать самый дорогой на свете голос. Никто не говорил больше трех минут, хотя длинная очередь у телефонной будки терпеливо молчала.

В полночь Пахомов снова пошел к коменданту. И тот, не дожидаясь просьбы Пахомова, взял его за локоть и повел к кассе, как слепого.

— Я давно вас заметил,— сказал комендант.— Вы так просидите здесь двое суток. Стесняться на войне — последнее дело, товарищ командир.

Через час Пахомов сидел в переполненном купе мягкого вагона. Поезд шел, почти не останавливаясь. Никто не спал, но никто особенно и не разговаривал.

Утром пришли в Брянск. Пути, заставленные эшелонами с орудиями, напоминали зеленые аллеи,— орудия были замаскированы березовыми ветками. Под ветками стояли, поглядывая в небо, часовые в стальных шлемах. От засыхающих листьев пахло осенью. На брезенте, прикрывавшем орудия, лежали охапки цветов — ромашки, колокольчики. Цветы бросали бойцам деревенские дети.

За Брянском поезд вошел в обширный лесной край. День, как нарочно, выдался синий, безветренный. Пахомов чувствовал какую-то печальную и прощальную радость даже от ощущения теплых, покрытых пылью железных стенок вагона.

Из лесов тянуло смолой. В окна залетали шмели. Мелькнула путевая будка. Беловолосая девочка наклеивала на оконце полоски газетной бумаги. Потом поезд пролетел по мосту над рекой. Река уходила в леса. На темной воде желтели кувшинки. В высокой траве сидел старик в рваной соломенной шляпе. Длинные удочки были воткнуты около него в берег. Пахомов помахал старику рукой. Старик снял шляпу, поклонился Пахомову, и солнце заблестело на его белых волосах.

Пахомов жадно провожал глазами то высокий куст на откосе, цветущий желтыми венчиками, то струйку дыма над лесной сторожкой, то мохнатую лошаденку, задремавшую около железнодорожного переезда.

Навстречу проносились поезда с бойцами, орудиями, разобранными самолетами. Они врывались в окна стуком колес, обрывками песен: «За далекою Нарвской заставой...», «Три танкиста, три веселых друга...». Песни быстро стихали. И снова летний день безмолвно сиял среди сосен.

В одном вагоне с Пахомовым ехал высокий лейтенант. Он тоже все время смотрел в окно, иногда оглядывался на Пахомова и улыбался. Пахомов улыбался в ответ. Ему уже казалось, что он знает этого человека очень давно. Поэто-

му Пахомов не удивился, когда в Киеве на вокзале лейтенант подошел к нему и спросил:

— Вы на Южный?

— Да, на Южный.

— Ну что ж. Двинем дальше вместе. Пойдемте к коменданту.

Все вокзальные службы в Киеве — кассы, комендатура, дежурный по станции — были выведены из здания вокзала под открытое небо, в тенистый Ботанический сад. Среди клумб с цветущими каннами желтели горы свежей глины из только что вырытых щелей. Сотни людей сидели на траве, на вещах. Слышался польский, русский, украинский говор. Высоко в небе звенели, наплывая кругами, истребители, охранявшие город.

Комендант, помещавшийся в дощатой будке, где раньше торговали мороженым, сказал, что поездов на Одессу нет. Он посоветовал ехать на пароходе вниз по Днепру до Черкасс, а оттуда уже пробираться в Одессу «в соответствии с обстановкой».

* * *

Пахомов с лейтенантом прошли в пустынную аллею. На траве спал тощий человек с черной растрепанной бородой. Лейтенант развязал рюкзак, достал хлеб, колбасу. Сели на траву, стали есть. За оградой позванивал трамвай. Воробьи подлетали к хлебным крошкам, перескакивали с одного солнечного пятна на другое. Потом где-то на окраине города тяжело грохнула, задрожала земля. Воробьи разлетелись, а человек с растрепанной бородой быстро сел, посмотрел на небо, сказал:

— Небо чистое, лето теплое, и вот — смерть сваливается на голову. Если бы вы видели, дорогие товарищи, какая это война!

— А вы что, видели? — недоверчиво спросил лейтенант.

— Не спрашивайте,— ответил тощий человек.— Я из Ковеля. Они били по нашему поезду зажигательными снарядами. Все говорят — звери. И еще говорят — палачи! Нет! Это хуже. Я не скажу, кто они, но знаю только, что они — не люди. Такие могут только присниться. И то — буйному помешанному. Да! Буйному помешанному!

Тощий человек пошел, сгорбившись, в глубь аллеи. Потом остановился, вернулся, взял предложенный ему

кусок хлеба с колбасой, но не стал есть, а спрятал в карман.

— Что же вы хотите,— сказал он.— Испакостить человека ничего не стоит. Человек подлеет от страха. Этот Гитлер знает, как выращивать мерзавцев. Убийство он объявил почетным делом. Донос, предательство — тоже. У человека отнимают совесть, свободу, мысль, любовь и говорят: «Взамен тебе разрешается быть насильником, сволочью. И тебя не только не будут за это расстреливать, а, наоборот, тебе дадут железный крест и доходное место и возможность жить за счет народа, на который фюреру наплевать». Чего же лучше! «Не думай! Мозги тебе не нужны. За тебя думает гениальный фюрер!» Ассирия и Вавилон! Животная сила и тупые от черного сала мозги! Боже мой, боже мой! И это двадцатый век, дорогие товарищи! Так скажите вы мне, зачем были нужны Гете, и Бетховен, и Кант, чтобы после них люди лизали пятки тупому фанфарону, больному манией величия, садисту, паршивому, как хорек, визгуну! Чтобы миллионные народы, тысячи умных и культурных людей, и рабочих, и трудолюбивых крестьян, подчинялись ничтожеству, которое не годится даже на навоз для огорода. Вы понимаете это?

— Нет! — сказал лейтенант.— Не понимаю. Одно я понимаю — надо уничтожить всех этих подлецов, пока не поздно. А вы кто? Учитель?

— Нет,— ответил тощий человек.— Я лесовод. Я работал в Полесье.

И он снова ушел, но теперь уже окончательно, что-то бормоча и глядя себе под ноги.

Пароход отвалил к вечеру. Киев, казалось, такой же мирный, как всегда, если бы не аэростаты над его высокими нарядными домами, уплывал на север, тонул в мутноватом зареве заката. В нем исчезали пышные сады, висевшие грудами зелени над днепровским обрывом, дымный Подол, памятник Владимиру с железным крестом, тополя и Печерская лавра.

Город уплывал — величественный, в прохладе листвы, в блеске вечера, чем-то напоминающий Рим. На поросших верболозом песчаных косах Днепра кричали лягушки.

Пахомов сидел на палубе, думал о Татьяне Андреевне. Отсюда, из такой дали, она казалась ему уже другой, чем несколько дней назад. Каждый шаг ее был легок. Что-то томительное, пожалуй, сказочное проникло в жизнь Пахо-

мова с тех пор, как он узнал Татьяну Андреевну. В ней была недостижимая чистота, открытое сердце.

Пароход проходил мимо маленького зеленого острова среди реки. «Вот и этот островок — таинственный, полощущий в воде ветки кустов,— тоже одна из частиц того мира, в котором существует Таня»,— подумал Пахомов.

Внезапно остров как бы взорвался желтым пламенем и оглушающим треском. Из густой его листвы, протяжно свистя, помчались снаряды. Встревоженный голос с капитанского мостика закричал: «Все пассажиры — вниз! Долой с палубы!» Пароход круто заворачивал к западному берегу, где уже лежала вечерняя тень.

Пахомов встал, взглянул вверх,— над рекой низко шел самолет. Он выбрасывал зеленые искры трассирующих пуль. Снова загрохотал остров. С воем врезалась в воду, рванула бомба. Пахомова швырнуло о стенку парохода. Пароход вдруг забурлил, остановился и пошел полным ходом назад.

Лейтенант потащил Пахомова в коридор первого класса.

— Не стойте тут. Видите — осколки! — сказал он недовольным голосом.— Все-таки война!

— Сердитый островок,— растерянно пробормотал Пахомов.

— Та це ж не островок,— произнес из коридора густой насмешливый голос.— Це наш монитор. Замаскированный. Гарно его обрядили матросы!

Самолет ушел. Пароход снова зашлепал колесами, торопясь вниз по реке, прижимаясь к темноту берегу.

В салоне беззвучно плакала пожилая женщина, спрашивала всех, скоро ли будет темно. «Через полчаса»,— отвечали ей. Женщина поминутно взглядывала на стенные часы и все говорила: «Боже мой, как они медленно идут!» Пахомов тоже посмотрел на часы. Они стояли.

* * *

До поздней ночи Швейцер писал, низко наклонившись над столом. Иногда он перечитывал написанное и улыбался: наконец-то к старости он овладел тайной живого письма. Он ничего не выдумывал. Просто, даже скупо он сообщал все, что было ему известно о жизни Пушкина в Ми-

хайловском. Но от незаметных вещей, может быть, от удачной расстановки слов все написанное производило впечатление свежести и силы.

Очевидно, дело не в подыскивании слов, а в его, Швейцера, состоянии. Форма подчинялась его мыслям, его увлечению. Слова сами собой ложились в том порядке, который сейчас был единственно нужен.

«Похоже на колдовство»,— подумал Швейцер.

В этой послушности простых слов было нечто классическое. Что может быть проще пушкинской строки: «Как привидение, над рощею свинцовой луна туманная взошла»? Но теперь Швейцеру было совершенно понятно, что прелесть этих слов не только в их ясности, но и в том, что неведомой силой эти слова соединились так, что неизбежно вызывали у него, Швейцера, ощущение глухой тишины.

Эти слова обладали большой впечатляющей властью. Швейцеру чудилась облетевшая роща, свинцовая от первого мороза, сухой осиновый лист, падающий к ногам. Во всем этом заключались необычайная грусть, много воспоминаний, много одиночества и любви. Шумит мерзлая трава, а ночь тревожит память о прошлом. И вместе с тем жизнь кажется освеженной и прекрасной.

Все это колдовство носило на языке ученых скучнейший термин — «подтекст». Швейцер вскочил, прошелся по комнате и выругался. Слюнявое воображение! Подтекст!

Он остановился у открытого окна. Шел дождь, шумел в кустах, брызгал на подоконник. Земля пахла таинственными запахами ненастной ночи. За Соротью в темной деревушке выла собака.

Швейцер накинул пальто, вышел в парк. В полосе света, падающей из соседнего окна, из комнаты Марии Прохоровны, было видно, что дождь идет частый, грибной.

Мария Прохоровна сидела у окна, курила. Она окликнула Швейцера и пожаловалась, что ей не спится.

— С чего бы это? — спросил Швейцер.

— Жизнь моя, Семен Львович,— ответила Мария Прохоровна,— удивительно глупая. Поверите ли, я с детства красавицей была. Да вот — никому не понадобилась моя красота. Так и увядаю, как цветок в пасмурный день.

Швейцер пожал плечами и ушел к обрыву над рекой. Он постоял, послушал глухой звук рыданий. Это Мария Прохоровна, упав головой на подоконник, рыдала о своей напрасно потерянной красоте.

— Черт знает что! — пробормотал Швейцер и вернулся к себе.

В черном небе прогудели и затихли невидимые самолеты. Назойливый плеск в водосточных трубах, вой собаки, листья, вздрагивающие от ударов дождя, рыдания Марии Прохоровны, тягучий звон самолетов — все это непонятно растревожило Швейцера.

— Черт знает что! — повторил он.— Неужели не удастся уснуть?

Он лег, долго ворочался и задремал только к рассвету. Проснулся он от солнца, падавшего на пол у самой кровати. Швейцер опустил руку, потрогал освещенный солнцем пол,— доска была горячая, чистая. Швейцер подумал, что сегодня он уезжает к морю, вздохнул и закурил.

Но к морю он не уехал. Днем, когда Швейцер перечитывал свою рукопись, перед тем как спрятать ее в чемодан, пришла Мария Прохоровна. Она посмотрела на Швейцера строгими светлыми глазами и сказала:

— Зря укладываетесь. Никуда вы не уедете.

Швейцер вспылил. Ему давно надоели непонятные приставания Марии Прохоровны.

— Прошу вас не вмешиваться в мои дела! — сказал он, сдерживаясь.

— Да я и не вмешиваюсь. Только вы не уедете. Потому что все поезда отмененные. Степа приехал со станции. Говорит, ужас что делается.

Швейцер пожал плечами.

— Как вам не надоест все время болтать глупости,— сказал он примирительно.

Мария Прохоровна рассмеялась. Сейчас для Швейцера не было никаких сомнений, что Мария Прохоровна вовсе не дура, а просто сумасшедшая.

— Ох, и чудак же вы! Куда же вы поедете, раз все поезда отмененные из-за войны.

Швейцер побледнел. Он подошел к Марии Прохоровне и, глядя ей в глаза, сказал тихо, почти шепотом:

— Уходите отсюда! Слышите! Вы мне надоели!

Но вместо того чтобы уйти, Мария Прохоровна с испугом посмотрела на Швейцера и ответила:

— Христос с вами, Семен Львович. Да я истинную правду говорю. Война началась. Сегодня утром. С немцами. Я сама только что узнала. Недаром, значит, выла собака. Недаром сердце у меня всю ночь разрывалось.

Потом, вспоминая об этом, Швейцер морщился,— даже о войне он узнал как-то по-глупому. Черт знает что!

Швейцер тотчас пошел пешком за пять километров в Пушкинские Горы, чтобы все разузнать. Он послал телеграмму Серафиме Максимовне в Артек. Девушка, принимавшая телеграмму, сказала, что вряд ли телеграмма дойдет. Поездов на юг не было. Шли только воинские эшелоны. Говорили, что, может быть, к вечеру пройдет поезд на Ленинград.

Швейцер решил ехать в Ленинград. Он заторопился обратно в Михайловское, чтобы попросить Степу запрячь к вечеру лошадь и отвезти его на станцию.

День был солнечный, но прохладный, тихий. Все вокруг казалось незнакомым, будто Швейцер впервые попал на эту псковскую землю. Бредя по обочине густо усыпанной сеном дороги, он разговаривал сам с собой. «Вот дорога,— говорил он,— старый пень, льняные поля — как все это странно!» Все окружающее он видел как сквозь дымку и на очень большом расстоянии. «Уж не слепну ли я? — подумал он.— Как неуютно стало на свете».

По пути встретились бабы, мальчишка, прошел старик-нищий. И все останавливались, говорили Швейцеру, что вот — началась война. В глазах у всех он видел сосредоточенный печальный свет.

Он задумался, вышел к Сороти, заблудился в зарослях лозняка.

Страшнее всего была неизвестность. Война началась, но никто в Михайловском не знал, что именно происходит. Рабочие Пушкинского заповедника с утра ушли по домам, в соседние деревни, а оттуда, побрившись, подвязав котомки,— в Пушкинские Горы и в Опочку, на призывные пункты. Сразу стало пусто. По комнатам и парку бродила одна только Мария Прохоровна, тесно кутаясь в рваную шаль.

Швейцер уложил чемодан, разыскал Степу, условился с ним, что к вечеру Степа отвезет его на станцию. Потом, не снимая пальто и шляпы, Швейцер посидел у себя в комнате, отыскал в столе пыльную пачку папирос, впервые закурил, задумался.

В сумерки Степа отвез Швейцера на пустую неосвещенную станцию. Никаких поездов не было. Дежурный сказал, что Псков бомбят, связи нет и поездов, должно быть, не будет вовсе.

Швейцер сел на деревянную скамейку на платформе,

решил ждать. Долго, устало погасала в лугах заря. Степа сидел рядом, скручивал козьи ножки из крепчайшей махорки, сплевывал, вздыхал.

Несколько раз Швейцер ходил в дощатую комнату к дежурному, где чадила керосиновая прикрученная лампа. Там он узнавал смутные противоречивые вещи. Говорили, что Псков горит, что железная дорога у Острова взорвана, что витебский поезд обстреляли из пулеметов с воздуха, а над Опочкой сбили немецкий бомбардировщик.

Уже в темноте низко над станцией промчались с густым ревом тонкие, как осы, самолеты, быстро скрылись за лесом. Потом на севере на хмуром небе начали беззвучно вспыхивать желтые огни. Швейцер смотрел на них, догадывался, что это мигают разрывы зенитных снарядов, и удивлялся полной бесшумности этих разрывов.

Поздней ночью Швейцер вместе со Степой вернулся в Михайловское. Он понял, что прорваться в Ленинград ему не удастся, и как-то сразу успокоился. Теперь он уже знал, что надолго, может быть навсегда, оторван от Серафимы Максимовны, от друзей. Вначале эта мысль пугала, но тревога быстро прошла и сменилась приподнятостью, легким и даже радостным возбуждением. От сознания близкой опасности холодело под сердцем. Необходимо было действовать тут же, немедленно. Но как? Он слишком стар. В армию его не возьмут. Каждый должен действовать, как может.

Швейцер решил, что останется в Михайловском, сделает все, что в его силах, чтобы спасти пушкинский музей, уйдет отсюда последним. Эти мысли были еще не очень ясными, но главное он уже решил: он должен спасти от разрушения эти милые каждому русскому сердцу места, охранять могилу Пушкина.

Весь следующий день Швейцер, Мария Прохоровна, Степа и деревенские ребята из Тригорского и Вороничей копали в глухом краю рощи над оврагом большую яму, чтобы зарыть в ней ящики с музейными портретами и ценными вещами. По временам на западе были слышны взрывы, а к вечеру все чаще в сизом небе вспыхивали низкие огни.

Одну только вещь Швейцер не закопал — портрет Каролины Сабанской. Он снял его с подрамника, долго смотрел в глаза красавицы, глядевшей на него с печальным недоумением, свернул портрет и спрятал в чемодан.

Свертывая холст, он осторожно притронулся к бледным рукам Сабанской. Ее пальцы показались ему теплыми и живыми. Как будто Сабанская едва заметно и благодарно пожала Швейцеру руку.

* * *

В Одессу последний поезд из Черкасс пришел на рассвете. Пахомов попрощался с лейтенантом, вскинул на спину рюкзак, вышел на знакомую вокзальную площадь и пошел в гостиницу «Лондонская».

Кое-где в домах были выбиты стекла. В подворотнях сидели заспанные старики с противогазами через плечо. С моря задувал ветер, лениво шевелил листья акаций.

С бульвара открылся внизу порт. Он был пуст, перегорожен бонами. Пахомов постоял минуту, посмотрел на морскую даль. Она синела все так же, как два года назад. Но Пахомов не ощутил обычной радости. Море показалось ему невыспавшимся, как и весь город. Из-под рыжих береговых откосов торчали в небо жала зениток.

В вестибюле гостиницы «Лондонская» сквозило. Качались листья высохших пальм. Стекла вылетели во время бомбардировок. Ветер гулял по коридорам, хлопал рамами, шуршал афишами на стенах. В прохладном номере было неприбрано, стояла смятая постель,— должно быть, отсюда только что выехал предшественник Пахомова. Пахомов позвонил. Звонок протрещал по всему этажу, но никто не пришел.

Пахомов спустился в ресторан. Там за столиками без скатертей сидели светловолосые юноши и говорили на незнакомом языке — очень тягучем и приятном. Больничным светом горела под потолком забытая с ночи синяя лампочка. Два старика официанта разносили в тарелках манную кашу. Как последний отблеск прежней жизни, сверкали на стойке мельхиоровые блюда, колпаки, разноцветные бокалы.

У окна сидел низенький плотный человек с квадратным подбородком и седыми растрепанными волосами. Он пил жидкий чай, нахохлившись, как птица. Пахомов узнал его. Это был известный писатель Лобачев. Заметив взгляд Пахомова, он улыбнулся и сказал громко, на весь ресторан:

— Садитесь ко мне. Мы с вами единственные русские в этой компании.

Пахомов пересел, поздоровался, назвал себя.

— Кто это? — спросил он, показав на молодых людей за столиками.

— Норвежцы,— ответил Лобачев.— Бежали из Норвегии в Мурманск, оттуда пробрались сюда. Едут в Египет, в английскую армию. Видите, с ними негр. Киноактер здешней студии. Уроженец штата Луизиана. Он говорит по-русски и по-английски, как бог. Добровольно вызвался быть при этих парнях переводчиком. Да, все смешалось в доме Облонских! Я говорил с норвежцами. Они едут мстить. У одного немцы убили отца, у другого — невесту, у третьего — брата. Среди них есть поэт. Вон тот, в черном пиджаке. Он сказал мне: «Моя страна была похожа на елочную игрушку». Были раньше такие игрушки — на дощечку наклеивали картонные леса, горы, водопады из слюды и домики, покрытые снегом из ваты. Я хорошо их помню, эти игрушки. Когда убирали елку, я вытаскивал такую игрушку из-под веток. Она вся была засыпана сухими иглами и елочной мишурой. Да. Так вот этот поэт мне сказал: «Елочную страну превратили в бойню для людей. За это я буду мстить. Другого мне ничего не осталось».

Лобачев поднял голову. За окнами завыла сирена. Норвежцы, шумно отодвигая стулья и перекликаясь, поднялись и пошли к выходу.

— Немцы! — сказал Лобачев.— Вот уже третий день они в этот час летят на Очаков. Пойдемте на улицу.

Пахомов с Лобачевым вышли, остановились в нише у входа в гостиницу. Тут же толпились норвежцы. Перебивая вой сирен, захлопали под откосом зенитки. Над морем в сторону Очакова мчались, рыча, самолеты, окруженные ватными шарами разрывов.

Норвежцы грозили самолетам кулаками. От ударов зениток звенели стекла в двух старинных фонарях, висевших у входа в гостиницу.

Стрельба затихла, но Пахомов не вернулся в ресторан. Ему надо было идти в штаб получать назначение. Лобачев взял с него слово, что они еще увидятся. Пахомов ушел.

В штабе он получил назначение в редакцию армейской газеты «Отечество». Редакция стояла в Тирасполе. В штабе сказали, что в конце дня в Тирасполь идет грузовая машина и Пахомову следует выехать именно на этой машине. Пахомов откозырял, повернулся, вышел. До вечера он был свободен.

Куда идти? Пахомов прошел по окраине Александровского парка, свернул в Батарейный переулок. Эта часть Одессы была похожа на крепостные предместья — мостовые, заросшие высохшей травой, ограды, флагштоки над крышами, сады, тишина. Пахомов дошел до дома, где жила когда-то Татьяна Андреевна, открыл калитку, заглянул в сад. Ему доставляло радость уж одно то, что он прошел по улицам, где все было ей знакомо, по тем местам, где она прожила несколько лет.

Он вернулся в гостиницу, написал письмо Татьяне Андреевне на Эзель и отнес его на почтамт. Письмо было короткое, полное такой прощальной нежности, что Пахомов боялся его перечитывать. В этом письме было все, что он недосказал и что она должна была знать. Но горше всего было сознание, что вряд ли она прочтет это письмо. Девушка на почтамте положила его в груду еще не отправленных писем. Пахомов был уверен, что оно так и останется лежать здесь.

В гостинице он хотел расплатиться. Болтливый портье сказал, что с военных денег не берет,— все равно комнаты пустуют. Пахомов удивился, поблагодарил, взял свой рюкзак и зашел к Лобачеву. В номере висел густой табачный дым. На полу валялись листы бумаги, исписанные крупным почерком. Лобачев сидел за маленьким круглым столиком у дивана и писал на самом его краешке. Пустой письменный стол стоял рядом.

Лобачев обрадовался Пахомову, достал из платяного шкафа начатую бутылку коньяка, рассказал, что он застрял в Одессе и вряд ли ему удастся вернуться в Москву. Поездов уже нет. Началась эвакуация морем в Мариуполь и Новороссийск.

Отпивая небольшими глотками коньяк, Лобачев прочел Пахомову несколько исписанных страниц. Это были отрывочные, странноватые, но интересные записи каждого дня.

— Принято думать, что современная война — единоборство новейших машин,— сказал Лобачев, перебирая листки.— Но бывают забавные исключения. Я записал рассказ одного норвежца. Удивительный, даже трогательный случай. Вот, слушайте: «Фиорд около столицы Норвегии Осло. Маленький остров в фиорде. На нем — старинный форт, превращенный в музей. Плющ, солнечные часы, белый домик смотрителя — отставного капитана. В домике —

капитанская внучка, запах кофе, половики, портрет умершей жены, увитый крепом. В старом форте собрано оружие времен королевы Христины и Полтавского боя. На берегу на каменных плитах — две старые пушки. Такие старые, что им даже дали ветхозаветные прозвища — Авраам и Моисей. Из этих пушек форт стрелял в полдень для проверки часов. И вот — немцы обрушились на Норвегию с воздуха и с моря. Страна захвачена врасплох. В фиорд входит немецкий линкор «Блюхер» — гордость фашистского флота. На нем — все командование и назначенное в Берлине фашистское правительство в Норвегии. Старый капитан стоит на вышке форта и смотрит на линкор. Осло горит. Ревут самолеты. Корабль со свастикой входит в фиорд, но береговые батареи молчат. Старый капитан ждет. Он не может понять, почему норвежцы не стреляют. Что это? Трусость, измена или растерянность? Он понимает только одно — враг идет безнаказанно в столицу его страны, в прелестный и веселый город Осло. Тогда капитан подымает на вышке норвежский флаг. Пусть разбойники видят, что Норвегия еще не сдалась. Линкор, вздымая буруны, проходит мимо. Он не обращает внимания на флаг. Старый капитан спускается вниз, к Аврааму, заряжает его старинным ядром, наводит на линкор и стреляет. И вот случается чудо. На линкоре происходит огромной силы взрыв. Гигантский корабль — великое создание морской техники — раскалывается и идет ко дну. Гибнет все командование, фашистское правительство, гибнут две тысячи матросов. Капитан бросается в дом, забирает внучку, переправляется с ней на берег и переходит ночью границу Швеции. А потом фашисты перерывают архивы норвежского морского министерства. Они ищут секретные чертежи «Блюхера». Они уверены, что эти чертежи были выкрадены и попали в руки норвежцев. Уверены потому, что музейное ядро угодило как раз в единственное уязвимое место на линкоре и взорвалось в бомбовых погребах»...

Лобачев взъерошил волосы, искоса посмотрел на Пахомова.

— Вот тема рассказа, где перепуталось все — и Диккенс, и Стивенсон, и современность. Я хотел бы обладать таким же наивным мужеством, как этот норвежский дед.

Пахомову пора было уходить. Лобачев расцеловался с ним. Они расстались друзьями.

* * *

В машине, кроме Пахомова, ехал боец-украинец. Он вез в редакцию бочонок с типографской краской и рулоны бумаги.

Выехали на Тираспольский шлях. Дул ветер. Густая пыль вздымалась над дорогой. Почти непрерывно ревела сирена — водитель обгонял нагруженные бойцами машины и грохочущие медленные тягачи.

Пыль сбивало ветром в степь. Вдоль дороги все посерело от пыли — ломаный чертополох, поля подсолнуха и низкие дома с черепичными крышами.

Гремели встречные грузовики. Лязгали танки, будто кто-то часто колотил молотком по железу. Свистели истребители, проносясь на бреющем полете вдоль шляха. Дребезжал кузов. Ветер, усиливаясь, холодея, гудел в ушах. От всего этого шума Пахомов почти оглох, потерял ощущение действительности и равнодушно смотрел на незнакомую степь и мутное небо.

Чем дальше, тем степь становилась все пустыннее, уходила в вечернюю темноту. И все выше с запада подымалась зловещая туча. Боец засунул покрасневшие озябшие руки в рукава шинели, поглядел на тучу, сказал:

— Как бы не прихватило бурей. Грома не чуть, однако блискавка полыхает. Развезет дорогу. Тут такая скаженная глина — просто смерть!

Сквозь пыль вздрагивали жидкие молнии, потом что-то грохнуло и покатилось.

— Чи то гром, чи фриц гдесь бомбу кинул,— сказал боец.— Разве поймешь!

Быстро темнело. Ветер свистел в радиаторе. Через дорогу неслись, подскакивая, сухие кусты перекати-поля. Пахомов взглянул вперед,— до самого горизонта, спускаясь в балки и выползая на подъем, серой змеей тянулись машины. Ветер трепал на них брезент, хлопал им. Казалось, что машины корчатся от начавшейся бури.

Твердые капли дождя защелкали по кузову. Потом сорвался ливень и закрыл все мрачной стеной. Машина остановилась в начале крутого подъема. На подъеме буксовали еще десятки машин. Водитель открыл дверцу и крикнул, чтобы Пахомов и боец перешли в кабину.

В кабине было тесно, но сухо и тепло. Дождь барабанил по жестяной крыше.

В непроглядной, бывающей только на юге темноте проходили, чавкая сапогами, бойцы, закутанные в плащ-палатки. Они ругали дорогу и ливень, перекликались. Потом кто-то застучал в дверцу кабины.

— Чего нужно? — спросил водитель.

— Эй, друг-приятель,— ответил из темноты веселый голос,— пусти нашу сестру в кабину.

— А у вас что, своей кабины нету?

— Есть у нас кабина,— мирно ответили из темноты,— только в ней лежит майор. Раненный в ногу. У нас в кабине деться некуда.

— Ну, давай! — Водитель приоткрыл дверцу.— Сожмемся.

В кабину из темноты втолкнули сестру. Вода стекала с ее плаща. Боец сполз на пол, и сестра втиснулась между Пахомовым и водителем.

— Вы, пожалуйста, не сердитесь,— сказала сестра, и Пахомов насторожился.— Дождь пройдет, и я уйду.

— Погодите,— сказал Пахомов.— Где-то я слышал ваш голос, сестра.

— Может быть, и слышали,— ответила сестра,— но только не в оперном театре.

— Родного отца не узнаешь в такой темноте,— заметил водитель.

— Так вы же Нина Черненко,— сказал Пахомов.— Помните Михайловское? И Ленинград? Вы как-то туда приезжали с Татьяной Андреевной.

— Неужели Миша? — спросила сестра и замолчала. Очевидно, она была не меньше Пахомова поражена этой встречей.— Неужели вы, Миша? Пахомов? Прямо чудо какое-то. Где привелось встретиться!

Нина высвободила руку из-под плаща, нашла руку Пахомова и крепко ее пожала. Блеснула молния, и Пахомов увидел лицо Нины — мокрое, с изумленными глазами.

Начался торопливый разговор. Нина расспрашивала обо всех — о Татьяне Андреевне, Варваре Гавриловне, о сердитом Вермеле и маленьком Швейцере. Пахомов отвечал. Ночь уже не казалась ему такой угрюмой, заполненной ядовитым дымом грозы.

Нина сказала, что сопровождает в Одессу раненого майора. Через день она будет проезжать обратно через Тирасполь в свой санитарный батальон. Тогда, может быть, ей удастся забежать в редакцию и повидать Пахомова.

— Ну, а как же вы и...— спросила Нина и замолкла.

— Что «и»?

Нина спросила совсем тихо:

— Как же вы и... Татьяна Андреевна?

Пахомов молчал.

Снова зачавкали по грязи сапоги. Кто-то крикнул:

— Эй, где тут сестра Черненко?

Нина отозвалась.

— С майором плохо,— сказал из темноты голос.— Пройдите к нему, сестра.

Нина обняла Пахомова за шею, поцеловала в мокрое лицо.

— Ну, не горюйте,— сказала она.

Через полчаса машина тронулась и, буксуя, визжа, поползла вверх, потом, заноси задние колеса, начала медленно спускаться.

Пахомов дремал. Изредка он открывал глаза, но ничего не видел. Назойливо дребезжала стальная каска водителя, валявшаяся под ногами на полу кабины.

Потом на горизонте появилась водянистая полоса рассвета. Стала смутно видна размокшая степь, машины, застрявшие в грязи, железная дорога, огромные воронки около полотна и стаи галок, вылетавших с сердитым криком из этих воронок. А утром начался Тирасполь — плоский город с потемневшими от дождя домами.

Редакция «Отечества» помещалась в бывшем Дворце пионеров. В рисовальном зале, где на подоконниках были свалены в кучу гипсовые Зевсы и листья аканфа, Пахомов представился редактору — молчаливому комиссару.

— Отдохните малость,— сказал редактор,— а вечером возьметесь за дело. Художник нам очень нужен.

Застенчивый боец провел облепленного грязью Пахомова в комнату, уставленную чучелами птиц и глобусами. На полу лежал соломенный тюфяк. Пахомов подложил под голову рюкзак, повалился, не снимая сапог, на тюфяк, и тотчас у него в голове десятками телеграфных проводов загудел сон.

Но проспал он не больше получаса. Кто-то потянул его за ногу, сказал: «Тревога! Немедленно пройдите в укрытие в саду».

Сонный, усталый, он вышел в сад, спустился в щель, измазав в глине руки. На дно щели натекла вода. Рядом в темноте курили незнакомые бойцы, спорили о свойствах

немецкого пистолета «парабеллум». Снаружи приближался угрюмый вой моторов, хлопали зенитки. Грохнула поблизости бомба. На голову посыпались комья глины.

Пахомову было холодно. Хотелось скорее вернуться в комнату с чучелами и снова уснуть. «Странно,— подумал он.— Лето, как осень. Мокрота, неуют, свист черных бомб, ожидание смерти в глинистой луже. В лицо лезут тонкие мокрые корни, пахнет горьким табаком. Вот как встречает война! Очевидно, мужество начинается с испытания выносливости и терпения».

* * *

Первый снаряд ударил в новгородский кремль перед вечером. Зазвенели стекла в деревянных домишках, осколки посыпались в горшки с бальзамином, на вязаные скатерти, крашеные полы. Потом за вокзалом снова тяжко вздохнула земля — второй снаряд угодил прямо в Волхов.

Вермель бежал от дома Варвары Гавриловны к кремлю, в собор. Только час назад он вместе с заведующим музеем и учениками ремесленного училища, присланными в помощь, заколотил там последние ящики с иконами, древней церковной утварью и рукописными книгами. Вермель то бежал, то останавливался, чтобы отдышаться, хватался за заборы, за телеграфные столбы.

Через кремль уже проходили войска. Шли машины с пыльной пехотой. Качаясь на выбоинах, ползли орудия, танки, высокие броневики.

Вермель добежал до собора. Главный вход был открыт. Пол в соборе густо засыпало известкой.

Ящики стояли на хорах, в ризнице. Вермель начал открывать дверь на хоры. Старинный замок с тяжелым вывинчивающимся затвором долго не поддавался. Наконец Вермель открыл замок, толкнул железную дверь и остановился,— ему показалось, что вся ризница в огне. Кровавый свет лился сверху на каменные ступени. Вермель не сразу сообразил, что в окна падал закат.

Все ящики были целы. Вермель присел на один из них, порылся в кармане,— носового платка не оказалось. Тогда он вытер потное лицо полой бархатной куртки, достал папиросу, закурил и сказал очень громко, как бы убеждая самого себя:

— Успокойся, старик. Что же теперь делать?

Надо было вывозить ящики. Но Вермель знал, что это невозможно. Куда пойдешь, кого попросишь, когда в предместьях города уже завязывался бой. Где взять грузовики и, наконец, людей, чтобы вытащить ящики,— они были необыкновенно тяжелые, будто налитые свинцом.

В притворе сидел на полу раненый боец. Около него хлопотал санитар. «Учти, что у меня кость задета,— строго говорил раненый,— крепче бинтуй».

Вермель вышел на площадь. Около паперти стояла машина с бойцами. Шофер копался в моторе. Рядом курил низенький лейтенант. Вермель подошел к лейтенанту, окликнул, но тот не обратил на Вермеля никакого внимания. Он пристально следил за возней шофера и говорил: «Ты не нервничай, а то еще хуже наковыряешь». Вермель снова окликнул его. Лейтенант обернулся, недовольно посмотрел на Вермеля, сказал:

— Не могу я вас взять, товарищ. У меня машина с бойцами. Втиснуться некуда. И рад бы, да не могу.

— Да я и не прошусь к вам в машину,— рассердился Вермель.

— Чего же вам тогда нужно?

Вермель все еще не мог отдышаться. Задыхаясь, он рассказал лейтенанту о ящиках с ценностями. Их надо вывезти во что бы то ни стало.

— Пономарь, что ли? — вполголоса спросил один из бойцов другого.— Иконы, видишь, спасает. Чудно!

Лейтенант молчал, нахмурившись. Было ясно, что ничем он не сможет помочь.

— А пожалуй, один ящичек втиснем,— как бы невзначай пробормотал шофер, все еще ковыряясь в моторе.— Народное достояние! Ах ты дьявол!

Земля ухнула. За стеной затрещали деревья. Все оглянулись.

— Ничего! — сказал наконец сердитый лейтенант.— Бывает! Фомин, добеги до майора. Он в садике около трехтонки. Доложи. Ты все понял насчет ящиков?

— Понял, товарищ лейтенант,— ответил румяный боец со старательными глазами и побежал к садику.

Вернулся он с майором. Майор поздоровался с Вермелем и, ничего не спрашивая, хриплым, сорванным голосом приказал подогнать к собору машины из какого-то эшелона,— Вермель так и не понял откуда,— и грузить ящики.

— Куда довезем — туда довезем, а отсюда вывезем,— сказал майор, повернулся и ушел.

Подошли две машины. Вермель стоял оглушенный. Его сразу оттерли. Бойцы выносили ящики и, как всегда в таких случаях, кричали: «Ставь на попа!», «Тем краем заноси, раззява!», «Ну и тяжеленькие господа бога портреты!», «Подсобляй, подсобляй! Чего смотришь!» Когда все было готово, лейтенант сказал Вермелю:

— Ну, садитесь! Поехали!

Тогда Вермель вспомнил о Варваре Гавриловне и Маше и сказал лейтенанту, что сейчас он ехать не может — у него на руках старуха с девочкой.

— Ну, ладно,— сказал лейтенат.— Ящики эти мы сдадим куда следует. Желаю удачи.

Машины тронулись. Вермель побрел домой.

Варвару Гавриловну он застал в столовой. Она сидела у стола в пальто, в черном чепце и держала в руках старую кожаную сумочку. С трудом она подняла голову и посмотрела на Вермеля виноватыми, беспомощными глазами.

— Вот Маша меня обрядила. Уж не знаю, идти или нет. Слаба я стала.

— А где Маша? — спросил Вермель.

— Наверху. Зонтик для меня ищет.

Вермель стоял в дверях, смотрел на Варвару Гавриловну. Впервые он почувствовал пугающую бессмыслицу того, что происходит. Куда идти с Варварой Гавриловной, когда и по дому она передвигается с трудом? Где достать машину? Войска уже перешли на правый берег Волхова. Вот-вот начнут рвать мосты. Весь запад, где садилось солнце, был в дыму.

Вермель поднялся в мезонин. Маша рылась в платяном шкафу. Она была тоже в пальто, в платке, накинутом на голову. Она вопросительно посмотрела на Вермеля и сказала:

— А мы вас ждем. Давно пора уходить, Николай Генрихович. Весь город уходит.

— Маша,— сказал Вермель,— не дойдет Варвара Гавриловна.

Маша молчала, опустив глаза. Губы ее сжались.

— А здесь она одна все равно умрет,— тихо ответила Маша.— Уж если ей умирать, то лучше с нами.

Вермель покраснел.

— Ну что ж,— сказал он.— Пойдем. Будем пробираться на Любань. А оттуда на Ленинград. Где мой табак, Маша?

Он набил карманы пальто пачками папирос, спичками. Уже второй день, с тех пор как стало ясно, что Новгород будет оставлен, Вермель ничего не ел, только пил крепкий чай и курил без конца, зажигая одну папиросу о другую.

Маша спустилась в столовую, прошла мимо Варвары Гавриловны, сказала ей на ходу: «Я сейчас, бабуся»,— и вышла в сад. Она побежала в беседку, сжала худыми пальцами старые перила, посмотрела на овраг. Небо там багровело от зарева.

Маша всхлипнула, сдержалась, сорвала листик сирени и спрятала его под платье на груди. Листик был холодный и твердый.

— Где же ты, мама? — спросила Маша.— Почему я всегда одна и одна?

За оврагом, шипя, рассыпая искры, полетела в небо зеленая ракета. Маше показалось, что по дну оврага, нагнувшись, бегут черные люди. Она бросилась в дом.

Вермель запер мезонин, спустился в столовую. Маша уже была там. Она вытаскивала из-под дивана рычавшую испуганную Муху.

— Сядь, Маша,— тихо попросила Варвара Гавриловна.— Попрощаемся с домом. Может, он тебя и дождется, достоит до конца войны... Вот и вся моя жизнь, милая...

Маша села на диван с Мухой на руках, опустила глаза. Вермель тоже уселся в кресло, снял шляпу. Все молчали.

Варвара Гавриловна с трудом поднялась, перекрестила все углы столовой и пошла в прихожую. Маша вышла вслед за ней. Последним вышел Вермель. Он запер дом и отдал ключ Маше.

Бой слышался на юге, за кремлем.

Шли пустыми переулками, очень медленно, но с каждым шагом чувствовалось, что опасность отдаляется.

Около заставы лежали пулеметчики, но было тихо. Муха облаяла пулеметчиков. Они посвистели ей, и она успокоилась.

Вышли за город, свернули в рощу, поближе к Волхову. На опушке Маша усадила Варвару Гавриловну на пень, сама пристроилась у ее ног. Вермель тоже сел на землю, закурил, прикрывшись пальто.

Земля подрагивала. Пожар рос, дымился. Вместе со взрывами и трескотней пулеметов долетали и другие, непонятные звуки — протяжный, будто подземный гул, свист, похожий на шипение пара.

Сидели долго. Потом Маша спросила:

— Ну что, бабуся? Отдохнула? Можно идти?

— Пойдем, милая,— покорно согласилась Варвара Гавриловна.

Маша и Вермель помогли Варваре Гавриловне подняться. Прошли по опушке рощи, наткнулись на изгородь и вдоль нее выбрались на проселочную дорогу. Дорога вела на север, рядом с берегом Волхова,— как раз туда, куда надо было идти.

Варвара Гавриловна шла все медленнее. Снова отдыхали в кустах на высоком берегу Волхова. Маша раздала всем по куску хлеба. Варвара Гавриловна попросила пить. Вермель спустился к реке, зачерпнул воду в железную кружку. Вода была черная.

Варвара Гавриловна выпила несколько глотков, но ее тут же стошнило. Она тихонько стонала, осторожно отталкивая от себя Машу, говорила:

— Идите! Идите скорей. Зачем меня ждете? Не надо.

Тогда Маша впервые заплакала, начала тащить Варвару Гавриловну за руку. Варвара Гавриловна поднялась. Вермель и Маша повели ее дальше. По тому, как Варвара Гавриловна тяжело сваливалась на Вермеля, он понял, что она не пройдет больше и сотни шагов.

— Посадите меня здесь, около дороги,— попросила Варвара Гавриловна.

Вермель с Машей снова усадили ее на мокрую от росы траву. Варвара Гавриловна посидела минуту, потом легла. Маша опустилась рядом, положила голову Варвары Гавриловны себе на колени. Маша дрожала так сильно, что у нее дергалась голова.

— Таню найдите,— громко сказала Варвара Гавриловна и повторила: — Таню найдите!

Она помолчала, потом вполголоса запела. Вермель вздрогнул. Варвара Гавриловна пела старинный романс — тот, что певала иногда и его мать.

Вставай скорей, не стыдно ль спать,
Закрыв окно, предавшись грезам?
Давно малиновки звенят,
И для тебя раскрылись розы.

Вермель слушал в оцепенении. Он догадывался — Варвара Гавриловна сошла с ума. А может быть, она попросту бредит или вспоминает свою молодость.

Стало светлее. Ночь убывала. Орудийный гром сделался явственнее, ближе. Сквозь этот гром долетела глухая трескотня мотора.

— Машина,— сказала Маша.— Может быть, возьмут нас, Николай Генрихович?

Из-за кучи щебня на повороте выскочил, накренившись, мотоцикл. Человек на мотоцикле, очевидно, заметил Вермеля и Машу, выключил мотор, начал тормозить о землю тяжелыми сапогами, поднял пыль, остановился, спросил:

— Wer ist da? [1]

Маша вскрикнула.

Человек, оставив мотоцикл на дороге, подошел, и Вермель увидел то, что он часто за последнее время представлял себе, но никогда еще не видел воочию,— немецкого солдата. Лица его почти не было видно из-под стального черного шлема. Солдат был плотный, низенький и шел прихрамывая. От него пахло бензином.

Он остановился перед Варварой Гавриловной. В опущенной его руке чернел пистолет.

Солдат что-то недовольно спросил, но Вермель не понял. Варвара Гавриловна смотрела на солдата, улыбаясь, покачивая головой. Потом опять запела дребезжащим голосом: «Вставай скорей, не стыдно ль спать...»

— Ja,— протянул солдат, как бы соглашаясь в чем-то с Варварой Гавриловной, закивал головой и тотчас без слов пропел мотив песни:

— Та-та, та-та, та-ти, та-та! — Замолк и, помолчав, цепко глядя на Вермеля, спросил по-деловому, очень спокойно:

— Dementia simplex? [2] ja?

Вермель не ответил. Тогда солдат поднял руку. Раздался резкий звук, похожий на удар бича. Желтое пламя вспыхнуло и потухло. Варвара Гавриловна свалилась на бок, и руки ее еще несколько секунд рвали траву.

Солдат погрозил пистолетом Вермелю, попятился к мотоциклу, сел на него и проехал несколько шагов, отталкиваясь от земли раскоряченными ногами.

---

[1] Кто здесь? *(нем.)*
[2] Тихое помешательство? *(лат.)*

Мотор затрещал, и мотоцикл, вильнув, умчался.

Маша стояла на коленях, уткнувшись головой в ноги Варвары Гавриловны. Вермель поднял Машу за плечи, потащил в сторону от дороги,— за поворотом что-то железное лязгало, ползло, гремело.

— Пустите,— отбивалась Маша.— Родненький, дорогой. Она, может, живая еще, Николай Генрихович. Пустите!

— Нельзя,— говорил Вермель.— Идем! Нельзя. Немцы рядом.

— Кто же ее похоронит, Николай Генрихович, родненький, кто?

Вермель не отвечал. Он силой вел Машу. Вначале она все еще упиралась, потом ослабла и шла молча, покорно. Но Вермель все же не отпускал ее, крепко держал за руку.

Долго шли по пескам, заросшим лозой. Пески были холодные от росы. Взошло солнце. Спустились в овраг. По дну его протекал ручей с зелеными илистыми берегами. Вермель зачерпнул воды, дал напиться Маше, потом выпил сам. Вода была кислая.

Вдруг Вермель услыхал тихий визг. Он оглянулся. По дну оврага ползла на брюхе, скуля, мокрая, дрожащая Муха, поджимала хвост, извинялась.

Маша смотрела на Муху остановившимися глазами.

* * *

Ночью перегруженный людьми теплоход стал на якорь против Алушты. Лобачев не вышел из каюты. После Ялты, где на теплоход налетели немецкие бомбардировщики, он оглушил себя остатками коньяка, лег на койку и укрылся пальто.

Как только он начинал дремать, тотчас в глазах взлетали радужные столбы воды от взрывов. Лобачев ворочался, прислушивался, ждал очередной тревоги, протяжного крика с палубы: «Во-о-здух!» Глупее всего было то, что почти все звуки на пароходе напоминали ему гул самолетов,— даже гудение машины.

В Алуште теплоход брал новых пассажиров. Лобачев слышал, как стучат о борт тяжелые шаланды, слышал топот ног и голоса лодочников. Они кого-то успокаивали, говорили, что за Ялту немцы пока залетать не решаются.

Лобачев встал, посмотрел в иллюминатор, но ничего не увидел — ни берега, ни моря, ни неба. Все было черно. Только всплескивала рядом вода.

Погрузка окончилась. Пароход снялся с якоря. Снова загудела машина. Темнота начала залетать в иллюминатор порывами солоноватого ветра.

В соседней каюте заговорили на незнакомом языке. Сначала были слышны мальчишеские голоса, потом молодой женский голос. Очевидно, это были новые пассажиры. Слов нельзя было разобрать. Женщина говорила долго, спокойно, потом засмеялась,— и голоса стихли.

У каждого есть свои странности. Были они и у Лобачева. Одной из них была любовь к ночным звукам, особенно к голосам, к ночному пению и музыке. Для него не было ничего более приятного, чем проснуться среди ночи от звуков рояля. Сейчас он вспомнил о том времени, когда вечером на улице можно было увидеть освещенное окно и услышать за ним заглушенные аккорды. Вернется ли это время? Лобачев был уверен, что не доживет до него,— тяжелая сердечная болезнь мучила его с каждым годом все больше.

Женский голос за стеной каюты взволновал Лобачева. Голос затих среди морской ночи. Должно быть, из-за войны эта ночь казалась Лобачеву совершенно кромешной. Но вместе с тем темнота успокаивала. Она скрывала теплоход, прятала его от врага. Только искры, вылетавшие из трубы, заставляли беспокойно вздыхать измученных пассажиров.

Лобачев закрыл глаза, задремал. Снова взлетела радужная вода, и с громом взорвался подбитый нашей батареей немецкий бомбардировщик. Черный дым рассеялся за кормой. Где это было? Кажется, против Мисхора. Тотчас сотни чаек бросились на место взрыва — подбирать оглушенную рыбу.

Что-то начало тихонько позванивать. Очевидно, в салоне сталкивались в буфете стаканы. Потом звон затих, дверь каюты отворилась. Лобачев почувствовал странный и слабый запах.

Он открыл глаза. Молодая женщина стояла в дверях. Темный тяжелый бархат туго обтягивал ее юную грудь и падал к ногам свободными складками. Лобачев взглянул на лицо женщины и узнал в нем ту неуловимую красоту, какая бывает только в снах и книгах, но почти никогда не встречается в жизни.

Лобачев сел на койке,— никого в дверях, конечно, не было. Но странный и нежный запах не исчез. Он даже усилился. Очевидно, проникал из соседней каюты.

Лобачев не спал почти до утра. За тонкой стенкой было тихо.

Один раз кто-то вздохнул, потом строгий женский голос спросил: «Мария, почему вы не спите?» Знакомый певучий голос ответил с необычным акцентом: «О, не беспокойтесь, я усну».

Только к утру Лобачев уснул и проспал долго. Проснулся он поздно. Впервые после отъезда из Одессы он побрился, потом вышел на палубу.

Пароход выходил из Керченского пролива в Азовское море. На далекие пляжи набегала волна. Конвоир-миноносец отстал и дымил на Керченском рейде.

Азовское море встретило слабым ветром, запахом горелой травы.

Лобачев прошел на корму. Там спиной к нему стояла молодая женщина в накинутом на плечи пальто. Около нее — мальчик с линялым пионерским галстуком на шее. Он прижался щекой к руке женщины, лежавшей на планшире, и смотрел на пенистый след за кормой.

Лобачев смотрел на женщину. Он догадался, что это была, конечно, она — та, чей голос он слышал ночью. Женщина подняла руку, чтобы поправить волосы. Пальто соскользнуло у нее со спины и упало на палубу. Лобачев поднял пальто, подал его женщине. «О, благодарю вас»,— сказала она и улыбнулась.

Лобачев поклонился. Женщина что-то сказала мальчику на незнакомом языке. Мальчик поспешно подвинулся, чтобы дать Лобачеву место у борта, и сказал тоже с акцентом: «Пожалуйста».

Лобачев облокотился рядом с женщиной на планшир. Он молчал. Тогда Мария Альварес обернулась к нему и спросила:

— Как назвать тот город, куда мы едем? Я все забываю.

— Мариуполь.

— Значит, это мой город,— улыбнулась женщина.— Город Марии. Да?

— А вас зовут Мария?

— Да. Мария Альварес,— женщина протянула Лобачеву руку.— Ведь можно и так познакомиться? Правда?

Лобачев назвал себя, пожал руку Марии, и у нее снова упало с плеч пальто. Она рассмеялась.

Днем Мария познакомила Лобачева с Серафимой Максимовной. Швейцер очень любил книги Лобачева, и Серафима Максимовна была рада этой встрече. Она поделилась с Лобачевым своей тревогой за Швейцера, застрявшего в Михайловском, рассказала, что она и Мария эвакуируются вместе с пионерским лагерем в город Сергиевск около Куйбышева.

От Серафимы Максимовны Лобачев узнал, что Мария Альварес поэтесса. Он удивился. В ней не было ничего, чем отличались знакомые ему поэтессы, ни любви к проникновенным и остроумным разговорам, ни надоедливой склонности читать вслух стихи.

Вечером солнце село в сизую мглу. Задул северный ветер. Серафима Максимовна позвала Лобачева к себе в каюту. Мария Альварес сидела в углу койки, подобрав ноги, закутав их пледом. Она посмотрела на Лобачева посветлевшими глазами, показала на койку рядом с собой. Ей нездоровилось.

А ветер задувал все сильней, начинал посвистывать в снастях. В каюте становилось холодно. Топали по палубе озябшие пассажиры.

Спускалась еще одна ночь, без огней, без света. Лобачев с особенной силой почувствовал бесприютность сотен людей, оторванных от родных очагов, потерявших все и получивших взамен только тоскливое чувство неизвестности. Ему было жаль всех — и детей, и простоволосых женщин, и стариков, и Марию Альварес, и даже себя.

Но вместе с тем, должно быть в силу своего романтического характера, Лобачев наблюдал происходящее как бы со стороны. Это смягчало боль и позволяло ему видеть в несчастьях, обрушившихся на страну, много величественного, трогательного и необыкновенного, чего не замечали другие. Необыкновенным было все это плавание, берега Крыма, курившиеся орудийным дымом, мужество тысяч людей. Необыкновенной была и эта встреча с Альварес.

Мария сидела молча, глядя на свои сцепленные пальцы, изредка взглядывала на Лобачева с рассеянной улыбкой. Серафима Максимовна ушла за термометром,— она была уверена, что у Марии жар.

Свинцовым блеском горела за иллюминатором старая звезда, мерцала над темным морем. Ее свет, не угасавший

тысячи веков, был страшен. Может быть, к этой звезде еще наши дикие и невежественные предки взывали о милосердии, о спасении от великой беды.

Лобачев посмотрел в иллюминатор, поежился,— бесстрастная вечность стояла рядом. Он подумал, что там, вверху, в каких-нибудь сорока километрах над Землей, уже не слышно грохота сражений и криков. И вот в этом огромном мире осталась тесная каюта, погруженная в полутьму, хранящая слабое тепло человеческого дыхания, странный и нежный запах, бледные руки, поправляющие тяжелые волосы, опущенные глаза, простые слова «да», «нет», скрывающие тревогу и недоумение, а над каютой — черное небо в дыму войны. Дым этот ползет с запада, как грозовая туча, вспыхивает желтыми зарницами, громыхает шквальным огнем, канонадой.

«Никогда еще за время существования земли не было такого тяжелого бремени на душе человека. Бедные людские сердца! — думал Лобачев.— Они заслужили лучшую участь, чем та, что выпала им на долю. Почему же все это случилось? Почему?»

Каждый раз, когда Лобачев доходил до этого вопроса, холодный гнев подымался у него на душе. Он вскакивал, бегал по комнате из угла в угол и бормотал проклятья. Да, почему? Сначала для него все было ясно,— власть над огромными народами, над немцами, над итальянцами оказалась в руках отпетых подлецов, тупых, звероподобных бестий. Но почему же народы, имевшие столько таланта и силы, чтобы создавать могучие государства, свободную и разумную жизнь,— почти безропотно подставляли шею этим подлецам? Этого нельзя было понять. Лобачев мог только негодовать и морщиться от бешенства.

Лобачев встал, хотел пройтись из угла в угол каюты, но было так тесно, что он не смог сделать ни шага. Мария взяла его за руку и посадила на койку рядом с собой. Рука у нее была сухая, горячая.

Вернулась Серафима Максимовна, померила Марии температуру. Жар был небольшой, но Мария жаловалась на боль в груди. Серафима Максимовна не пустила к ней Мануэля.

Лобачеву очень хотелось помочь Марии. У него не было ни лекарства, ни пледа — ничего, что могло бы ей понадобиться. Он пошел к помощнику капитана, выпросил у того

электрическую лампочку, принес ее в каюту Марии, ввинтил, и каюта наполнилась желтоватым туманом.

Мария уже лежала укрытая, помертвевшая. Она посмотрела на лампочку, сказала: «Больно». Серафима Максимовна прикрывала лампочку платком. Потом она попросила Лобачева принести кипятку.

Лобачев принес кипятку, ушел к себе, сел на койку и просидел так всю ночь, ожидая, что Серафима Максимовпа его позовет. Но она не позвала.

На рассвете заревел гудок. Лобачев посмотрел в иллюминатор. Он увидел сухие скучные берега, пакгаузы, грязноватую, с плавающим в ней мусором воду. Теплоход подходил к Мариуполю. На пристани сидели и лежали на корзинах, на тюках и чемоданах сотни людей. Ветер засыпа́л их угольной пылью.

* * *

Днем без перерыва громыхали орудия. Вздрагивала у берега вода. Желтый песок сыпался в блиндаж, где Татьяна Андреевна вместе с Зиной стирала краснофлотские рубахи.

Зина была певица, полная и молчаливая девушка. Стирая, она не переставала напевать любимую на Эзеле песню «Раскинулось море широко».

Близко разорвался снаряд. Затрещали доски над головой. Из щелей посыпался мох. Татьяна Андреевна с отчаянием сказала:

— Опять! Полный таз мусора насыпало. Так мы никогда не отстираемся, Зина.

Зина посмотрела на маленькие часики на руке.

— Через десять минут немцы начнут обедать. Тогда пойдем на берег, выполощем.

— Луговой не позволяет выходить на берег,— ответила Татьяна Андреевна, разглядывая свои покрасневшие руки.— Берег простреливается.

— А мы осторожно. Спрячемся за ящиками от мин. Здесь разве выстираешь? И воды уже нет. Саша Нидер обещал принести, но, должно быть, залез в окопы. И чего он там делает со своими черепаховыми очками! Все равно дальше своего носа ничего не увидит.

Над головой загудело. Тотчас поблизости начали стрелять маленькие зенитки. В небо полетели снаряды с та-

ким звуком, будто кто-то удивленно и весело вскрикивал: «Ти-и-у-у! Ти-и-у-у!»

— Сейчас бросит! — сказала Зина и начала вытирать руки о передник, чтобы зажать уши.

Но самолет бомбы не бросил, а взвыл и ушел в небо.

— Сволочи! Третий день так наседают, что я буквально не могу перевести дух. Ты чего загрустила, Татьяна?

— Да я ничего...

— А ты писем не жди,— заметила наставительно Зина.— Какие могут быть письма? И кто их доставит? Связного самолета давно уже нет.

Татьяна Андреевна и сама знала, что писем быть не может. Вот уже десять дней, как отряд моряков, прижатый к морю на песчаной косе на острове Эзель, непрерывно отбивался от натиска немцев. Коса в том месте, где проходил передний край, была неширокая, всего три километра.

— Не плацдарм, а пятачок, подошва,— говорил Луговой Татьяне Андреевне и Зине.— Но вполне достаточно места, дорогие товарищи, чтобы драться и не впадать в уныние.

Никто в уныние не впадал, хотя и командиры, и краснофлотцы, и актеры, застрявшие на косе, понимали, что положение тяжелое, силы неравные, связи с землей нет и придется драться здесь до последнего человека.

Огонь затихал обыкновенно к ночи. И то ненадолго. Перед рассветом, как только серело небо, срывался какой-нибудь нетерпеливый пулемет. Потом с визгом летели мины, ухали орудия, и начинался, по словам краснофлотцев, «очередной ансамбль».

Ночью на поляне в густом сосняке происходили вещи, о которых немцы и не подозревали. На сколоченной из досок эстраде в полном мраке шел настоящий концерт.

Каждый раз, когда Татьяна Андреевна выходила ощупью на эстраду, из толпы зрителей протягивался к ее лицу тоненький, будто пыльный, луч света от электрического фонарика. Сначала Татьяна Андреевна жмурилась, а потом привыкла. Луч освещал ее лицо. Оно казалось зрителям настолько нежным и бледным, такая легкая улыбка появлялась на этом лице, что краснофлотцы только вздыхали и говорили про себя: «Вот это да!» В этом возгласе было и восхищение, и благодарность, и любовь.

Татьяна Андреевна читала рассказы, стихи. Больше всего краснофлотцы любили пушкинское «19 октября». Как только Татьяна Андреевна произносила первые слова «Роняет лес багряный свой убор...», наступала мертвая тишина. В этой тишине переливались звоном бессмертные слова: «Куда бы нас ни бросила судьбина и счастие куда б ни повело, всё те же мы: нам целый мир чужбина; отечество нам Царское Село».

Иногда во время чтения Татьяна Андреевна прикрывала глаза ладонью, чтобы свет фонарика не выдал ее волнения. Тогда луч опускался ниже и, оставляя в темноте лицо, освещал ее всю, как бы дымился на ее платье.

Волновалась она, пожалуй, все время. Но особенно сильно, почти до спазм в горле, когда из толпы слушателей начинал протискиваться к дощатой сцене какой-нибудь краснофлотец. Он протягивал ей пучок диких гвоздик или вереска и говорил, запинаясь от смущения:

— Это так... значит... от всех... вам. Это ребята с пятого поста нарвали.

Сойдя с эстрады, она прятала лицо в смолистый вереск. «Татьяна!» — предостерегающе говорила Зина. Татьяна Андреевна сдерживалась, подымала голову, улыбалась.

О чем она думала? О многом. И об этих людях, которые понимали, что они должны биться здесь до последнего вздоха, и о своей России, призванной на великий подвиг, и о Пушкине. Если бы он знал, кто и где в такие страшные ночи будет слушать его стихи,— каким светом благодарности загорелись бы его глаза. Благодарности к своему народу, который в страшные годы испытаний и войн, как и в годы радости и победы, никогда не забывал давно погибшего, но до сих пор оплакиваемого и милого своего поэта.

Иногда по ночам на косе становилось так тихо, что был слышен плеск волн. И ночь была и своя и чужая. Своя потому, что сосны, песок и звезды — все это было так знакомо, будто Татьяна Андреевна жила не на острове среди Балтийского моря, а в новгородской деревне. Чужая потому, что во мраке рядом сидели в окопах немцы.

Они принесли сюда, на этот мирный остров, черное железное оружие, холодную свою подлость. Они походили в представлении Татьяны Андреевны на марсиан,— настолько они были чужды обычному понятию о людях. То была новая, недавно возникшая порода зверей с пустыми глазами.

Они были враждебны и не нужны нашей земле. Их существование казалось бессмыслицей, дикостью.

...Зина оказалась права. Через десять минут орудийный огонь затих. В лесу тотчас защелкали птицы — так торопливо, что стало понятно, как они соскучились по тишине и как им надоели треск, дым и беспорядок.

Татьяна Андреевна и Зина осторожно пробрались к берегу, волоча за собой по земле тазы с выстиранным бельем. На берегу были свалены пустые ящики от мин. Они спрятались за ними и начали полоскать белье в прохладной воде. Она щекотала босые ноги, вымывала из-под них песок.

Татьяна Андреевна посмотрела на море. Над ним расстилался пасмурный теплый денек. В светлой воде отражались слоистые облака и оконечность косы с несколькими соснами. Одна из них была сломана снарядом. Вершина ее лежала в воде.

На севере беспорядочно захлопали выстрелы, возник позванивающий гул. Зина испуганно сказала:

— Связной летит. Сейчас сбегутся командиры, попадет нам, Татьяна.

Татьяна Андреевна смотрела на черную точку, мчавшуюся по краю горизонта. Вокруг нее вспыхивали белые облачка на таком же белом небе.

— Это Кондрашов,— сказала Зина.— Лупит через немецкую зону. Отчаянной судьбы человек!

Самолет промчался над головой и пошел на посадку за лесом. Татьяна Андреевна быстро дополоскала рубахи, сложила их в таз и, нагибаясь, потащила таз к блиндажу. Там между соснами была протянута веревка. Зина тоже торопливо дополоскала белье: ей тоже хотелось поскорей увидеть Кондрашова, узнать новости.

Татьяна Андреевна развесила рубахи и побежала через лес на другой берег косы. Следом за ней бежал санитар Ткаченко — маленький, длинноносый. Ему очень хотелось обогнать Татьяну Андреевну, но из вежливости он отставал, не решался на такой, по его понятию, грубый поступок.

Кондрашов, окруженный командирами, стоял на берегу. Среди них Татьяна Андреевна увидела Лугового. Он и здесь, под непрерывным огнем, не потерял былой подтянутости, но только похудел, почернел и часто ласково, как-то по-стариковски улыбался.

Татьяна Андреевна остановилась, чтобы отдышаться, посмотреть на командиров, и у нее заколотилось сердце. По их строгим, слишком спокойным лицам, по тому, как Кондрашов, насупившись, закуривал папиросу, по лицу Лугового, внимательно смотревшего на море, где ничего не было, она поняла, что случилось нехорошее.

Кондрашов увидел Татьяну Андреевну, пошел к ней навстречу.

— Что случилось? — спросила она, протянула Кондрашову руку, но отдернула ее и начала вытирать о платье — рука была мокрая.

— Бросьте,— сказал Кондрашов.— У меня лапа грязнее вашей. Письмо я вам привез. Чудом оно ко мне попало. Вот!

Он начал рыться в полевой сумке.

— Что же случилось? — снова спросила Татьяна Андреевна.

— Да как вам сказать,— неохотно, все еще роясь в сумке, пробормотал Кондрашов.— Ага, вот оно! — Он протянул Татьяне Андреевне измятый конверт и сказал как бы невзначай: — Ленинград обстреливают. Из дальнобойных.

— А вы откуда вылетели?

— Да все оттуда же, из Ленинграда. Письмо из Одессы,— добавил он, явно не желая разговаривать о Ленинграде.— Как оно попало к нам на аэродром — черт его знает! Какая-то добрая душа для вас постаралась.

Татьяна Андреевна взяла письмо, поблагодарила и пошла не в блиндаж, а в маленькую дощатую дачу, где она жила вместе с Зиной в первые дни до обстрела. По узкой лестнице она поднялась наверх, на веранду. Там стоял полотняный продырявленный шезлонг и котелок с высохшей вареной картошкой.

Татьяна Андреевна села в кресло, разорвала конверт, вынула письмо. Оно было из Одессы, от Пахомова. Она потрогала пальцами бумагу,— ей не верилось, что этот маленький листок был недавно на другом краю страны.

Татьяна Андреевна начала читать, но тотчас отвернулась и долго сидела не двигаясь. Она думала о Пахомове, его застенчивой ласковости, простоте. Вспомнила почему-то, как встретила его на мосту через Волхов в Новгороде. Пахомов шел в осеннем пальто с поднятым воротником и показался ей одним из тех нищих и веселых художников, что свистят, как щеглы, в своих мастерских. Что с ним

сейчас? Здоров ли он? Жив ли? Увидит ли она его когда-нибудь? Когда? И где?

Она никак не могла дочитать письмо до конца, говорила себе: «Ну погоди же. Успокойся. Ну зачем это! Как глупо!»

Кто-то вошел на веранду, сказал: «А-а, вы здесь!»

Она подняла заплаканное лицо. У перил стоял Луговой, смотрел в бинокль на дымы на горизонте.

— Слушайте,— сказал Луговой, не отрываясь от бинокля.— Перейдите немедленно с Зиной в новый блиндаж. В лесу за дюной. Знаете? Там будет спокойнее. И перестаньте плакать. Нехорошо, если вас увидят заплаканной.

— Я понимаю,— ответила Татьяна Андреевна, вытерла глаза, встала и пошла к двери.

На пороге она оглянулась. Дымы росли. Их относило ветром к югу. Над морем лежала неестественная тишина. Она была страшнее самого жестокого боя. Внизу жужжал телефон, и приглушенный голос быстро повторял:

— Шексна! Я — Ладога, Шексна! Я — Ладога! Передать командиру батареи. Десять вымпелов на вест от оконечности косы. Расстояние — три мили.

Татьяна Андреевна спустилась в садик около дачи, вспомнила, что не дочитала письмо, опять вынула его из конверта. Пахомов писал, что Вермель поехал в Новгород спасать ценности и вывезти оттуда, в случае опасности, Варвару Гавриловну и Машу. Еще он писал, что Мария Францевна ждет Татьяну Андреевну в Ленинграде, в Лесном.

Прогрохотали четыре удара, потом еще четыре, и, шурша, пронеслись снаряды. Это открыла огонь по немецким кораблям наша батарея.

Татьяна Андреевна пошла за Зиной в старый блиндаж. Зина укладывала сумку с перевязочными материалами.

— Где ты прячешься? — закричала она.— Бери скорей свою сумку. Начинается переплет! Как бы десант не высадили!

Татьяна Андреевна передала Зине приказ перейти в новый блиндаж. Они быстро прошли к этому блиндажу. Он был выкопан в крутом откосе лесного оврага и больше походил на пещеру.

Когда они подходили к оврагу, вдали так загрохотало, будто над морем трясли железные листы. Зина зажмури-

лась, нагнула голову и полезла в блиндаж. Татьяна Андреевна спустилась следом за ней и чуть не упала — так ее толкнуло в спину воздухом. Что-то ослепительно и зло лопнуло в лесу за оврагом.

— А будь ты проклято,— пробормотала Зина.— Ты понимаешь, что происходит? — прокричала она Татьяне Андреевне.

Снаружи грохотало, выло. Казалось, что блиндаж оседает и вот-вот обрушится. Татьяна Андреевна кивнула головой. Она понимала, что сейчас их обстреливают и с суши, и с моря. Потом в блиндаже стало темно. Кто-то загородил выход.

— Это вы, Ткаченко? — крикнула Зина.

— Я,— ответил запыхавшийся голос.— Здесь будет перевязочный пункт?

— Здесь. Что там слышно?

— Да что,— ответил Ткаченко.— Землю выворачивают вверх подкладкой. Прямо осатанели фрицы. Хотят взять на мушку.

— А вы не боитесь? — спросила Татьяна Андреевна.

— Бойся не бойся — снаряда не остановишь. Был страх, да весь вышел.

Но Татьяне Андреевне было страшно. Только усилием воли она заставила себя верить, что все это ей не мерещится, а происходит на самом деле. Она почти оглохла от взрывов, но эта глухота еще усиливала чувство нереальности того, что творится вокруг. Реальными были только самые близкие вещи — шрам на ладони, оставшийся с детства, песок, набившийся в туфли, всегда растрепанные волосы Зины, тонкий голос Ткаченко и наполовину высохший желтый цветок на высоком стебле. Он рос у верхней балки, подпиравшей вход в блиндаж, и после каждого взрыва долго покачивался.

Все, что находилось за порогом блиндажа, казалось совершенно невозможным — свист, треск сосен. Но нелепее всего была мысль, что вот сейчас она, Татьяна, еще жива, а через минуту может быть мертвой. Она стала считать до двадцати. За это время ничего не случилось. Тогда она начала считать до тридцати.

Снаружи закричали. Ткаченко выскочил. Татьяна Андреевна и Зина выбежали вслед за ним и увидели, как по дну оврага двое краснофлотцев тащат раненого. Татьяна Андреевна подбежала, чтобы помочь им, и вскрикнула,—

это был Саша Нидер. Его разорванная желтая майка была покрыта бурыми пятнами. Сашу внесли в блиндаж.

— Врача нет,— сказал один из краснофлотцев.— Он на переднем крае. Придется уж вам, сестрицы...

Краснофлотцы ушли.

Саша морщился, шевелил губами, очень быстро дышал. Он был ранен в грудь осколком. Пока Зина и Татьяна Андреевна перевязывали его, он не сказал ни слова. Татьяна Андреевна еще не видела таких ран — месива из костей, мяса и сгустков крови.

Ткаченко покачал головой. Татьяна Андреевна и сама понимала, что Саша не выживет. Она старалась не смотреть на Сашу. Он застонал.

Татьяна Андреевна обернулась. Саша смотрел прищурившись, тускло, равнодушно. Потом сказал, заикаясь: «Не давать же, в самом деле, занавес». Татьяне Андреевне показалось, что это говорит не человек, а автомат,— так глухо, без всякого выражения были сказаны эти слова.

Сознание, что, если бы она и Зина знали, как помочь, они бы могли спасти Сашу, что минуты идут быстро и Сашина жизнь оборвется вот сейчас, было таким невыносимым, что Татьяна Андреевна даже перестала слышать грохот разрывов. Ничего не видя, она смотрела на часы, на секундную стрелку, пока Ткаченко не сказал:

— Всю грудь разворотило. Разве выживешь! И очки свои потерял. Надо думать, страшно ему было в бою без очков.

Тогда она поняла, что Саша умер, прижала вату к глазам, но тотчас ее отняла,— в блиндаж ввели краснофлотца с разбитой ногой.

Весь день Татьяна Андреевна с Зиной перевязывали раненых. Два раза в блиндаж швыряло песок, обрушилась соседняя сосна. Снаружи приходило только одно известие — держимся. Немецкий десант сброшен в море. С острова Даго должна подойти подмога.

К вечеру огонь начал ослабевать, потом сразу затих. Был слышен только треск пламени — догорала дача, где Татьяна Андреевна читала утром письмо.

В блиндаж вошел Луговой, увидел Сашу, снял фуражку и посмотрел на умершего запавшими глазами.

— Похоронить надо,— сказал он устало.

Ткаченко взял лопату, вышел из блиндажа.

— Так вот и умирают,— заметил Луговой, прислонился к стенке блиндажа и закурил.

Все молчали. Пахло йодоформом, табачным дымом и еще чем-то кисловатым, терпким.

Сашу и нескольких краснофлотцев хоронили уже в темноте. Тела завернули в брезент, положили сверху сигнальный флаг.

После похорон Луговой сказал Татьяне Андреевне и Зине, что их хочет видеть начальник отряда капитан-лейтенант Махоцкий.

— Зачем? — спросила Зина.

Луговой ответил, что не знает.

— Вечно вы из всего делаете тайну,— рассердилась Зина.— Пойдем, Татьяна.

Они пошли вместе с Луговым в блиндаж к Махоцкому. Он поднялся им навстречу. Татьяна Андреевна не удивилась тому, что вот только что кончился бой, а Махоцкий выбрит, подтянут, очень вежлив. Капитан-лейтенант был человеком крепких традиций и не позволял себе воевать иначе как со сдержанной улыбкой. Глядя на него, все тоже подтягивались, чистились, и всем становились ясно, что война вовсе не требует показной суровости, грубости, пренебрежения своим внешним видом.

Махоцкий поблагодарил Татьяну Андреевну и Зину за помощь раненым, потом сказал, что не считает нужным скрывать: положение серьезное. На рассвете опять начнется обстрел с моря. Говоря языком армейцев, они сейчас находятся в окружении. Ночью должны прорваться с острова Даго сторожевые катера, взять столько людей, сколько смогут, и вывезти на Даго. Махоцкий просил, чтобы Татьяна Андреевна и Зина были готовы к отъезду. Таков приказ командования.

Он говорил мягко, но все понимали, что возражать нельзя и Махоцкий не уступит просьбам.

— А те, что останутся? — спросила Зина. Она всегда задавала вопросы в упор, не стесняясь.

Глаза у Махоцкого сделались строгими, холодными.

— Те, что останутся,— ответил он,— знают, что им делать.

Зина покраснела.

Когда вышли из блиндажа, Зина схватила Татьяну Андреевну за руку и зашептала:

— Ты понимаешь, Татьяна! Многие останутся здесь.

Как же так? Ведь это же действительно драться до последней пули. Боже мой, Татьяна, ты не знаешь, что это значит!

Зина впервые заплакала, сморкаясь и захлебываясь. Они долго сидели в старом блиндаже. Татьяна Андреевна закуталась в чью-то черную потертую шинель. Болела голова. Далеко потрескивали редкие выстрелы, потом заглушенно загудели и затихли моторы. Зина зажгла электрический фонарик, посмотрела на часы:

— Уже час ночи. Ты готова, Татьяна?

— Готова,— равнодушно отозвалась Татьяна Андреевна.

Вошел Луговой, за ним — несколько краснофлотцев.

— Пора,— сказал Луговой.— Пришли два катера, прорвались с Даго. Идемте.

Татьяна Андреевна встала, вздохнула всей грудью, чтобы прогнать ощущение тошноты, сбросила с плеч и положила в угол шинель.

— Шинель возьмите,— сказал Луговой.— Идет дождь. Это моя шинель. У меня есть другая. Да и не нужна мне, пожалуй, шинель.

Татьяна Андреевна стояла спиной к Луговому. Она все поняла, похолодела и, не оглядываясь, окликнула:

— Алексей Александрович!

— Что угодно? — негромко спросил Луговой.

— А как же вы?

Луговой молчал. Она обернулась и в свете фонаря увидела его лицо. Он улыбался растерянно и виновато. Краснофлотцы стояли молча, не двигаясь.

— Попрощаемся,— сказал Луговой.— Шинель очень старая. Там в карманах рассыпалась махорка. Вы ее вытряхните.

Татьяна Андреевна быстро подошла к Луговому, протянула ему руки. Он снял фуражку, наклонился, поцеловал ей руку, а она поцеловала его в лоб. Краснофлотцы зашевелились. Кто-то легонько вздохнул.

Потом они шли к берегу. Ветер шумел в поломанных деревьях. Кто-то из краснофлотцев поддерживал Татьяну Андреевну за локоть, чтобы она не споткнулась.

На берегу в темноте она пожимала десятки шершавых мокрых рук. Кто-то негромко говорил:

— Торопитесь! Время не ждет. Не задерживайтесь, товарищи!

Татьяна Андреевна пришла в себя на палубе сторожевого катера. Она сидела рядом с Зиной, прислонившись к стенке штурвальной рубки. Было тесно. Ноги ее упирались в чью-то широкую спину в бушлате.

Катер несся в ночь, в холодноватую морскую даль. Татьяна Андреевна подняла воротник шинели. Все еще болела голова.

Дождь усилился. Татьяна Андреевна совсем спряталась под шинель, немного согрелась своим дыханием и даже задремала. Сквозь дремоту она слышала, как кто-то говорил, что часа через два будет Даго.

Ей приснился неприятный сон — будто в овраге за домом Варвары Гавриловны в Новгороде течет ручей. Вода в нем зеленая, гнилая. Варвара Гавриловна стоит на берегу ручья, зачерпывает воду ладонью и пьет...

Татьяна Андреевна проснулась. Катер стоял. Над морем серело. Накрапывал дождь. Вся палуба была забита людьми.

— Почему мы стоим? — спросила Татьяна Андреевна.

— Мотор заело,— ответил краснофлотец в бушлате, в спину которого Татьяна Андреевна упиралась коленями.— До Даго остался всего час ходу, а его заело, сачка ненормального.

Катер качался сонно, лениво. Внизу, в машинном отделении, был слышен стук, голоса. Татьяна Андреевна смотрела на воду. Она рябила от дождя, изредка вскипала полосками пены,— к утру поднялась волна. Шинель намокла, рукава ее набухли. С них стекали на руки струйки воды.

Потом мотор взревел, начал стрелять, как пулемет, но быстро успокоился и загудел ровно и монотонно. «Пошли!» — как вздох, пронеслось по палубе.

Татьяна Андреевна снова укрылась шинелью, но пролежала недолго, всего несколько минут. Зина начала толкать ее в спину.

— Ты чего? — спросила Татьяна Андреевна.

— Вставай. Уже виден берег. Это Даго!

Татьяна Андреевна подняла голову. На горизонте белела полоска песков. Краснофлотцы, как по команде, начали свертывать цигарки, прикуривать, заговорили, засмеялись.

С кормы кто-то крикнул: «Лапоть летит! Лапоть!» Все беспокойно задвигались, кое-кто встал.

Татьяна Андреевна сначала ничего не поняла. Катер

усилил ход. Он резал воду, отваливал ее стенами, потом круто повернул. Татьяна Андреевна увидела темный неуклюжий самолет. Он шел низко и догонял катер. На его черно-зеленом фюзеляже были видны свастика и крест.

Зина вскочила, потянула за руку Татьяну Андреевну. Катер снова круто повернул, самолет закрыло рубкой, но Татьяна Андреевна уже слышала злорадный рев его моторов. Затарахтел на носу катера зенитный пулемет.

Краснофлотец в бушлате дергал Татьяну Андреевну за шинель, кричал:

— Шинель сбросьте! Сбросьте шинель!

Татьяне Андреевне показалось, что ее ударили кулаком по глазам. Потом ее куда-то понесло спиной вперед медленно, будто на гигантских шагах.

Очнулась она на мокром песчаном берегу. Рядом с ней стоял на коленях незнакомый краснофлотец, держал ее голову, лил в рот из фляги что-то жгучее, встряхивал за плечи и кричал:

— Пей, пей! Иначе пропадешь! Пей!

Татьяна Андреевна с трудом глотала жгучую жидкость, потом догадалась, что это водка, закрыла глаза. Она поняла, что спасена, что она на Даго, и ей стало тепло, спокойно.

* * *

От Флорешт до самого Днестра, до Рыбницы, висела над полями глинистая пыль. В этой пыли, мутно поблескивая алюминиевыми крыльями, проносились самолеты.

Пахомов уже не обращал на них внимания. Только изредка, когда сзади начинали сильно стучать кулаком в кабину грузовика и кричать «воздух!», он выскакивал, вместе со всеми отбегал в сторону от дороги и ложился на землю — то в помятое просо, то в заросли кукурузы, то прямо на вспаханное поле.

Первое время он ложился лицом вниз и, прислушиваясь к приближающимся взрывам, заставлял себя рассматривать пыльные колючки или муравья, суетившегося перед ним на земле. Но потом Пахомов привык и смотрел на подлетавшие самолеты. Он видел, как от них отрываются, точно капли чернил, визжащие бомбы. Перед глазами подымалась косматая земля, летели комья, со свистом проносились горячие осколки, пыль набивалась в глаза, в рот,

в уши, и начинала болеть голова. Тогда Пахомов снимал каску. Он был уверен, что голова болит от ее тяжести и от тесного обруча, приделанного к каске изнутри.

Пахомов возвращался с фронта в Тирасполь. Он уже успел загореть, пропылиться, в шинель набилась мелкая резаная солома. Как и большинство людей на фронте, Пахомов разговаривал мало и без конца курил кислые кишиневские сигареты.

Он лихорадочно, торопясь, делал зарисовки бойцов, набрасывал отдельные сцены войны, но все это казалось ему несущественным. И заметки, какие он писал в газету о разных боевых эпизодах, тоже были несущественны. Единственным серьезным делом на войне было уничтожение врага. Пахомов решил — как только вернется в редакцию, тотчас попросится в любой полк разведчиком.

День был жаркий, тусклый. Ехали бессарабскими проселками, избегая больших дорог. По ним бесконечными колоннами шли машины, а шофер Пахомова не любил тесноты и заторов.

Дорога запоминалась плохо. В памяти оставались только отдельные, не связанные друг с другом куски: свинопас в фетровой шляпе, маленькие клочки разноцветных полей, станции узкоколейки, выкрашенные в оливковый цвет, худые смуглые девушки в вышитых рубашках, часовые у колодцев, не позволявшие брать воду, сломанный мост через мелкую реку и лежавший под мостом труп немецкого летчика в сером комбинезоне. Он лежал в воде спиной вверх. На мосту стояли гуси. Вытянув шеи, они смотрели на летчика, гоготали и не решались спуститься в воду.

На перекрестке около фаянсового распятия сидела седая женщина с опухшим лицом, в сером платье, похожем на капот. Она что-то крикнула слабым голосом. Шофер остановил машину. Пахомов выскочил, подошел к старухе.

— У вас нет йоду, молодой человек? — спросила она и показала окровавленную руку.

Йода у Пахомова не было, но был индивидуальный пакет, он отдал его старухе и помог перевязать руку. Старуха благодарила, желала счастья Пахомову и всем его родственникам.

— Почему вы здесь сидите? — спросил Пахомов.

Старуха рассказала, что она уходит из города Бельцы, отстала от своих, но надеется догнать их у Днестра. Толь-

ко что здесь упал немецкий самолет. По нему стреляли из зенитных пушек — вот оттуда, из-за клуни — и один осколок попал в нее.

Пахомов предложил старухе довезти ее до Днестра, но она отказалась.

— Нет, вы не бойтесь. Я не останусь у немцев. Представьте, машина не для меня. Она слишком быстро катится. А я иду себе медленно и думаю: что же это такое случилось с людьми? У меня много детей и внуков, и я должна наконец понять, зачем я их родила на свет. Довольно страшный свет, молодой человек. Вы не находите?

К мосту через Днестр у Рыбницы подъехали уже перед вечером. Это был высокий железнодорожный мост в одну колею. Долго стояли в выемке перед ним, медленно передвигались в заторе. Впереди прошли танки, размололи шпалы. Переправляться по мосту было трудно — от малейшей оплошности водителя машина могла сорваться в Днестр.

Пахомов шел позади машины по шпалам. Внизу мутно текла вода. Мычали на истоптанных берегах стада,— их перегоняли на восток, в глубь страны.

Рядом с Пахомовым шел смуглый маленький капитан-танкист с забинтованной головой, очень похожий на Лермонтова. Он попросился на грузовик к Пахомову перед самым мостом.

Пахомов крепко держал капитана за локоть — капитан был еще слаб после ранения. У него кружилась голова. Он стыдился этой слабости и посмеивался над ней. Из-за ранения капитан отстал от своей части. Его хотели положить в лазарет, но он удрал и теперь разыскивал свой танковый полк, торопился, пересаживался в пути с машины на машину.

В Рыбнице остановились на окраине города. Маленький дом почти висел над кручей, над днестровским берегом. Молодая хозяйка принесла из погреба молока. В комнате горел огарок, висели порыжевшие фотографии бравых матросов Черноморского флота, играл с медным патроном котенок. На кровати ворочались, не могли уснуть от духоты дети, укрытые лоскутным одеялом.

Пахомов с капитаном-танкистом вышли в садик, сели на перевернутое корыто. В ночной пыли за рекой вспыхивали зарницы и гремел, не затихая, гром. Бой шел в предполье, на бессарабском берегу.

Сидя на корыте, покуривая, капитан рассказал Пахомову, как он был ранен. Говорил капитан по-волжски, окая. Он был родом из Костромы.

Капитан спасся из подбитого танка. Пахомов спросил капитана, что он чувствовал ночью в подбитом танке.

— Эх, милый вы мой,— сказал капитан и похлопал Пахомова по плечу.— Что я чувствовал — того не воротишь. Только одно вам скажу: не верьте бахвалам, что треплются, будто им все нипочем. Храбрость — штука тончайшая, умная, и заключается она в том, чтобы держать себя твердо в руках и делать то, что нужно, а не в том, чтобы бахвалиться и ёрничать. С фанфаронами много не навоюешь. И настоящие хорошие бойцы их ох как не любят! Ох как не любят!

В сад вышла молодая хозяйка, посмотрела на зарево над Днестром.

— И мой там,— сказала она.— Бьется на Дунае, во флотилии. Он моряк, исправный человек. Закопаю завтра свое добро, пойду с хлопчиками в Россию. А вы что ж, спать в хате не будете?

— Мы лучше здесь, в садочке,— ответил капитан.— Расстелим шинели. Здесь оно как-то прохладнее. И привычнее.

Хозяйка ушла. Капитан и Пахомов легли под яблоней на шинелях. Ночь была душная. С севера заходила гроза. Глядя на бледные вспышки в небе, Пахомов думал, что это, может быть, не гроза, а отблески отдаленного боя. Потом он уснул, и ему приснилось, что Татьяна Андреевна наклонилась над ним и смотрит в лицо. Чьи-то мягкие руки осторожно подняли его голову. Пахомов проснулся, испуганно спросил:

— Кто тут?

— Та це ж я,— тихо ответил молодой застенчивый голос хозяйки.— Подушку я вам под голову подложила. Разве можно так спать, ни на чем?

Хозяйка незаметно ускользнула, ушла. Проснувшись на рассвете, капитан удивленно поглядел на неизвестно откуда взявшиеся под головой у него и у Пахомова подушки и покачал головой — ловко сделано!

Утром попрощались с хозяйкой, уехали. Женщина постояла в воротах, посмотрела вслед машине, потом оглянулась, схватила детей и потащила их в погреб,— из-за Днестра клином шли черные самолеты.

Они пронеслись над Рыбницей, развернулись веером. Пахомов увидел, как несколько десятков белых лепестков, качаясь, начали спускаться с неба как раз там, откуда, гудя, набирая высоту, уже уходили самолеты.

— Десант! — крикнул шофер и остановил машину.

Парашютисты спускались в поле за широкой балкой, совсем рядом. Пахомов выскочил из машины и в оцепенении смотрел на парашютистов.

— Садитесь! — крикнул ему капитан-танкист. Он стоял в кузове грузовика и вытаскивал из кобуры револьвер.

Пахомов полез в кузов.

— Давай! — крикнул капитан шоферу.— На полный газ! Может, мы их перехватим!

Шофер дал полный газ, свернул с шоссе. Грузовик помчался по боковой проселочной дороге туда, где падали парашютисты. Шофер вел машину правой рукой, а левой вытаскивал у себя из-за спины винтовку. Наперерез прямо по просяному полю мчалась другая машина с бойцами. Она остановилась, бойцы выскочили, пригибаясь, побежали в балку.

Шофер внезапно затормозил. Впереди была канава, за ней — кукурузное поле. Пахомов, капитан и шофер выскочили, побежали по полю.

— Держитесь рядом! — крикнул капитан, но Пахомов вскоре потерял в душных зарослях и капитана и шофера.

Впереди застрочил пулемет. Над головой, свистнув, пролетела пуля.

Длинные кукурузные листья хлестали по лицу. Пахомов вынул трофейный пистолет, оттянул пружину, послал в ствол пулю. Парашютистов в небе уже не было. Должно быть, они приземлились.

Поле пошло вниз по скату балки. Кукуруза стала реже. Между ее стволами уже густо цвел лиловыми ползучими цветами мышиный горошек и дикая рябинка с желтыми зонтиками мелких твердых цветов. Пахомов споткнулся, вспомнил, что это плохая примета, выругался. Ползучие стебли горошка зацепили его за сапог так крепко, что Пахомов нагнулся, чтобы их отцепить, и увидел, как в густой траве по краю кукурузника ползет человек без шапки.

Пахомов быстро лег. Человек полз прямо на него. Пахомов выстрелил. Человек, казалось, не слышал выстрела и подползал все ближе. Он вполз в заросли, стал на коле-

ни. Пахомов увидел его красное потное лицо, светлые растрепанные волосы и расстегнутый ворот серо-зеленого мундира.

Человек смотрел на Пахомова круглыми синеватыми глазами и молчал. Пахомову показалось, что прошел час, тогда как на самом деле не прошло и нескольких секунд.

Человек нагнулся. Пахомов выстрелил. Слева выстрелил еще кто-то.

Пахомов на мгновение оглянулся в сторону выстрела, и его тотчас же сильно ударило в левое плечо. Он не почувствовал боли и, почти не целясь, выстрелил три раза в немца, и только во время последнего выстрела у него от отдачи сильно заболело плечо.

Немец упал, а Пахомов медленно, очень осторожно стал на колени и искоса посмотрел на свое плечо. Оно отчаянно болело. По гимнастерке расползалось темное пятно. Пахомов сел на землю, зажал плечо рукой и так сидел, прислушивался, но, кроме звона в ушах, ничего не слышал. Потом он наклонился и упал в заросли ползучих цветов. Он слышал, как под землей трещали медведки, хотел поднять голову, сказал: «Душно»,— и потерял сознание.

Капитан и шофер нашли Пахомова не скоро. Капитан перевязал Пахомову плечо, потом вместе с шофером и вынырнувшим из кукурузы бойцом в сдвинутой на затылок каске перенес Пахомова в машину. Немец остался лежать, уткнувшись в теплую землю, где все так же спокойно кричали в своих укрытиях медведки.

Капитан поспорил с шофером. Шофер хотел отвезти Пахомова обратно в Рыбницу. Капитан сказал, что надо везти Пахомова в деревню Бруштены, где, как узнал капитан, стоял его танковый полк. До Бруштен было меньше часа езды. Шофер покачал головой, но промолчал.

На машине Пахомов пришел в себя. Он лежал в кузове на соломе. Рядом сидел капитан и придерживал его за здоровое плечо. Глаза у капитана были испуганные и добрые. Шофер вел машину осторожно, иногда останавливался, высовывался из кабины, спрашивал: «Ну, как?» — «В порядке»,— отвечал капитан, и шофер ехал дальше.

Пахомову хотелось пить. Капитан напоил его из своей фляги. Вода пахла резиной.

— Жена у вас есть? — спросил капитан Пахомова.

— Есть,— не задумываясь, ответил Пахомов.— Актриса. Сейчас она в Балтийском флоте на острове Эзеле.

— А моя,— сказал капитан, как бы извиняясь,— учительница в Кинешме. Дело, конечно, маленькое.

Пахомов выпростал из-под шинели правую руку, нашел руку капитана и крепко пожал ее.

— Ну вот,— сказал капитан разочарованно,— это совсем напрасно. Зря рану тревожите. Надо лежать тихо.

Приехали в танковый полк. Танки стояли в овраге среди редких поломанных акаций.

Пахомова сняли с машины, положили на носилки, отнесли в тень большого танка с вмятинами на боках. Пришел врач, осмотрел рану, недовольно покачал головой, перевязал заново.

Пахомов догадывался, что у него разбита ключица.

— Полежите здесь, отдохните,— сказал врач,— а потом мы вас отправим в санбат и в тыл.

Капитан принес Пахомову поесть, но есть Пахомов не мог. Капитан постоял над ним, пообещал скоро вернуться и ушел. Пахомов лежал, закрыв глаза. Санитар принес ему чаю, помог напиться.

Пахомов огляделся. У танков, спрятанных под акациями, сидели бойцы — чистились, курили, писали письма. Поодаль под деревом стояли вторые носилки. На них, прикрытый шинелью, лежал человек. Из-под шинели торчали подошвы маленьких сапог.

— Кто это? — Пахомов показал глазами на носилки.

Санитар посмотрел в сторону и нехотя сказал:

— Это наша убитая сестра. Ее через час хоронить будут.

— Хорошая была сестра?

С носилок, из-под шинели свешивалась тяжелая коса. Конец ее расплелся. Санитар подошел, осторожно поднял косу и, отвернув шинель, положил на носилки рядом с головой убитой девушки.

Пахомов рванулся, чтобы встать. На носилках лежала Нина Черненко. Ее белое лицо как будто улыбалось. И, как всегда у умерших молодых девушек, даже закрытые глаза казались прекрасными,— должно быть, из-за опущенных густых ресниц.

Санитар быстро оглянулся.

— Ложитесь! — закричал он.— Куда вы? А то я врача второго ранга сейчас позову!

* * *

Татьяна Андреевна совсем окоченела. Теплый платок вырывался из рук, пытался улететь в пустое небо. Пронзительно трещал разбитый целлулоидовый козырек самолета.

Татьяна Андреевна видела впереди только кожаный шлем Кондрашова, а за ним — посиневшие от холода облака. Земля внизу лежала бурая, сожженная осенью. Только от березовых, еще не совсем облетевших лесов подымался к облакам тихий желтоватый свет. Казалось, что в глубине, под колесами самолета, горят тысячи свечей. Это светила последняя сухая листва.

Зина осталась на Даго. Ее должны были вывезти следующим самолетом.

Кондрашов летел с Татьяной Андреевной в Тихвин. Оттуда Татьяна Андреевна думала пробраться в осажденный Ленинград через Ладожское озеро. В Ленинграде она рассчитывала узнать хоть что-нибудь о Варваре Гавриловне, Маше и Вермеле, разыскать их, устроить и уехать на юг, к Пахомову. Как все это удастся, она не знала и потому тревожилась.

На Даго она лежала в маленьком лазарете в одной палате с Зиной. На третий или четвертый день, когда они остались в палате одни, Зина таинственно рассказала, что с Эзеля спаслись несколько краснофлотцев. И вот они передали, что Луговой... Зина запнулась, замолчала.

— Что Луговой? — спросила Татьяна Андреевна и обернулась к Зине.

— Говорят, отстреливался до последнего патрона. Стоял по пояс в воде. Потом бросился вплавь от берега. И с тех пор его не видели.

— Он мог спастись,— сказала Татьяна Андреевна, хотя и понимала, что спастись Луговой не мог. Чудес не бывает. Она давно привыкла к этим словам. Привыкла, что их всегда произносили с насмешкой или со вздохом сожаления. Но теперь, думая о Луговом, ей хотелось чуда.

Она натянула платок, закуталась. Внизу изредка вспыхивали желтые огоньки. Каждый раз, когда они появлялись, Кондрашов оглядывался и кивал Татьяне Андреевне. Она догадывалась, что это стреляют по самолету немецкие зенитки и Кондрашов старается ее успокоить. Но Татьяна Андреевна равнодушно смотрела на огоньки. Ей

совсем не было страшно, хотелось только твердой земли под ногами. И немного тепла.

Ветер усилился, не давал смотреть. Татьяна Андреевна закрыла глаза. Равномерно, надежно гудел мотор. Так прошло много времени. Потом мотор переменил голос, глухо завыл, замолчал, опять завыл, но уже высоко, пронзительно.

«Слава богу, прилетели, спускаемся»,— подумала Татьяна Андреевна и открыла глаза.

Кондрашов оглянулся. Губы его двигались, он что-то говорил, но Татьяна Андреевна ничего не слышала. Тогда Кондрашов сердито показал ей на кожаный ремень, болтавшийся около ее сиденья, и сделал такое движение, будто застегивает пояс. Она догадалась, затянула ремень.

Мотор стучал, потом снова остановился. Кондрашов, глядя вниз, повел самолет широкими кругами к земле.

Татьяна Андреевна посмотрела на землю,— никакого города не было. Были все те же леса, озера, и среди лесов — серые и рыжие поляны. Над одной из полян тянулся в небо дымок от костра. Самолет шел на посадку как раз на эту поляну.

«Что же это?» — подумала Татьяна Андреевна. У нее упало сердце. Она поняла, что до Тихвина они не долетели и спускаются в местах, занятых немцами.

Кондрашов оглянулся, пожал плечами, будто говорил: «Вот какая у нас чепуха получается. Но ничего. Выберемся».

Самолет промчался над порубкой, одну секунду висел в воздухе над самой землей, потом сел и, выжимая из травы ржавую воду, пробежал по поляне и остановился около березовой опушки.

Кондрашов вылез, помог сойти Татьяне Андреевне, сказал:

— Бензиновый провод пробило осколком. Хорошо, что не загорелись.

Из лесу к самолету бежали люди. Впереди бежал, размахивая винтовкой, седой бородатый человек в очках, в вытертой бархатной шапочке, похожей на монашескую скуфейку.

— Кто это? — спросила Татьяна Андреевна.

— Партизаны,— усмехнулся Кондрашов.— Приятели. Я у них второй раз приземляюсь. Починимся и полетим дальше.

— А где мы сели?

— Немного к северу от Опочки,— сказал Кондрашов, закуривая.— В самых, можно сказать, пушкинских угодьях. Михайловское — рядом. Тригорское тоже. И до Пушкинских Гор — рукой подать.

Подбежали партизаны. Они по очереди трясли Татьяне Андреевне и Кондрашову руки.

Большинство партизан были люди пожилые, обветренные, в треухах. Над стариком в монашеской скуфейке они посмеивались, звали его «протопопом», но, видимо, уважали.

Старик представился Татьяне Андреевне.

— Весьма рад быть знакомым,— сказал он.— Отец Варсонофий — некогда келарь Юрьевского монастыря, а ныне — боец сего отряда нерегулярных войск. Пожалуйте в землянку, чайком согреетесь. Небось прозябли под небесами.

Землянка была выкопана в лесу, в овраге. По дну его бежал ручей с коричневой водой, кружил сухие травинки, гнилые листья.

Среди деревьев стоял седоватый туман. Было очень тихо, так тихо, что Татьяна Андреевна услышала тяжелый свист крыльев, когда над землянкой пролетела и каркнула ворона.

Кондрашов остался около самолета. Партизаны как-то незаметно исчезли. Все затихло, и только Варсонофий все извинялся, возясь с чайником:

— Пища у нас постная. Чай пьем с брусникой. Сладости в ней нету, но сок ароматический. Так что вы не побрезгуйте, откушайте на здоровье.

— Далеко отсюда до Михайловского? — спросила Татьяна Андреевна.

— Да километров восемь, а то и десять. А ежели немецкие обозы на шоссе, то и все пятнадцать.

После чая Татьяна Андреевна прилегла на земляную лежанку, укрылась платком. Кондрашова все не было. Варсонофий осторожно рубил чурки за порогом землянки, потом прокашлялся и вполголоса запел: «Благословен еси, господи, научи мя оправданием твоим».

Татьяна Андреевна думала: вот она рядом с Михайловским, где, может быть, остался Швейцер, где еще так недавно она гуляла по вековым паркам с Пахомовым, Вермелем. Тогда зима завалила землю снегом, заполнила

ее своим светом. Из-за еловых ветвей был издалека виден огонь керосиновых ламп в низких окнах дома. Дни проходили легкие, прозрачные. Они как будто поблескивали, звенели. Хорошо было проснуться в полночь, слушать, как поскрипывают половицы, думать о счастье. Оно было всюду тогда.

Но особенно сильно Татьяна Андреевна ощущала его в сумерки, когда земля, мохнатая от снега, тускнела, делалась таинственной и Татьяна Андреевна, сбивая на крыльце снег с ботиков, видела под дверью тонкую полоску света, похожую на елочную нитку из красного золота. В комнатах пахло чаем, сухим теплом, и летала вокруг висячей лампы проснувшаяся среди зимы серая моль.

Большего покоя и счастья Татьяна Андреевна не испытывала, пожалуй, никогда в жизни. В чем же было это счастье? В очень простых и мирных вещах.

Все, что было по ту сторону войны, до войны, «в той жизни», как говорила Зина, казалось теперь Татьяне Андреевне далеким, как раннее детство.

Татьяна Андреевна вышла из землянки, спустилась к ручью, хотела умыться, но вспомнила, что полотенце у нее в полевой сумке, в самолете. Тогда она села на берегу ручья и долго смотрела в лес. Цепляясь за стволы берез, падали наискось листья. День был бессветный, глухой. Белесая мгла опускалась с неба. Татьяна Андреевна почувствовала, что она очень устала и с радостью осталась бы здесь, в этой землянке.

Пришел Кондрашов — сердитый, измазанный маслом. Он сказал, что придется повозиться с починкой почти до утра — повреждение серьезнее, чем он думал. И черт его знает, как бы не наскочили немцы!

Татьяна Андреевна снова вспомнила о Михайловском, о Швейцере, заволновалась и сказала Кондрашову, что она хотела бы пойти в Михайловское, разузнать об одном своем друге. Кондрашов не понял ее волнения, поморщился:

— Дело ваше. Но вообще не советую. Мало ли что!

— Но я же не в военной форме,— возразила Татьяна Андреевна.— Я даю вам слово, что ничего не случится. Я вернусь к рассвету.

Кондрашов покачал головой, а Варсонофий сказал:

— Мы провожатого ей дадим. Тихона Мякина. С ним безопасно.

Татьяна Андреевна с благодарностью посмотрела на старика.

Пришел Тихон Мякин — столяр из Пушкинских Гор,— худой, с птичьим лицом. Он молча осмотрел свою винтовку, набил в подсумок патроны, подтянул сапоги, ремень, потом строго спросил Татьяну Андреевну:

— А у вас, гражданочка, оружие имеется?

— Нет,— смущенно ответила Татьяна Андреевна.

— Взять надо! — так же строго сказал Мякин, полез под нары, вытащил пистолет, дал Татьяне Андреевне.— Карман у вас есть? Спрячьте!

Она спрятала тяжелый пистолет. Он давил ей на бедро, холодил через платье кожу.

Татьяна Андреевна вышла с Мякиным из землянки, взглянула на небо — над мертвой рощей висел необыкновенно чистый серп месяца. Цвет неба был зеленоватый, как ледяная вода.

— Эх, месяц! — пробормотал с досадой Мякин.— Как назло.

Они долго шли через рощу. От берез ложились неясные тени. Было сыро, зябко. С жестяным посвистом пролетела над головой птица.

— Дикая утка, дура,— бормотал Мякин.— Опоздала, тетеха. Отбилась от своих. Теперь пропадет.

— А что?

— Лапы отморозит. Только и делов.

Вышли из леса. Направо, под отлогим косогором, что-то неясно светилось, как большой фольговый плат. Татьяна Андреевна догадалась, что это озеро, и вдруг узнала,— да ведь это Петровское озеро! Значит, до Михайловского совсем недалеко.

* * *

Мария Прохоровна поселилась в Савкине, в покосившейся избе на самом выгоне.

Хозяин избы — одинокий деревенский кузнец,— когда узнал, что подходят немцы, подвязал котомку и ушел, даже дверь избы оставил настежь и ни разу не оглянулся на родную деревню. Кузнец был человек гневный, строгий. Бабы жалостливо поглядели ему вслед, повздыхали:

— Покинул! Что ж теперь делать нам, бабоньки? Куда подаваться с ребятами?

Мария Прохоровна боялась оставаться одна в Михайловском. Швейцер выкопал себе землянку в роще около ямы, куда зарыл вещи, и переселился туда, очевидно, надолго. Работники заповедника разошлись кто куда. Два дня в заповеднике, кроме Марии Прохоровны и старой овчарки, никого не было. На третий день на рассвете затряслась земля — взорвали железнодорожный мост около Тригорского. В стороне Пушкинских Гор начали громыхать орудия. Тогда Мария Прохоровна сложила в мешок небогатый свой скарб и перетащила его за три километра, в Савкино, в избу кузнеца.

Немцы приходили в Савкино один раз. Девушки, завидев их, убежали в лес. Солдаты, гогоча, переловили кур, забрали у Марии Прохоровны новую колоду карт, подожгли старенькую школу и ушли. Школа горела и дымилась очень долго,— никто ее не тушил. Да и нечем было тушить.

Иногда по вечерам Швейцер пробирался к Марии Прохоровне в Савкино. Она каждый раз завязывала ему в узелок немного сухарей, картошки, соли. Сама она доставала все это с трудом.

Швейцер перестал бриться, оброс седой жесткой бородой, был измазан в глине. Глядя, как он жадно грызет сухари и запивает их кипятком, Мария Прохоровна отворачивалась, вздыхала, иногда говорила:

— Глаза у вас, Семен Львович, блестят нехорошо. Даже в темноте ужасно блестят. Что это с вами? И зачем вы здесь остались?

Первое время Швейцер то отшучивался, то, горячась, начинал вполголоса объяснять Марии Прохоровне, что остался он здесь, чтобы сохранить по возможности домик няни, и могилу Пушкина, и вещи, закопанные в яме. Но Мария Прохоровна хоть и была простовата, все же понимала, что Швейцер и сам не верит в это,— куда уж одному человеку справиться с таким делом! Она знала, что за могилой Пушкина зорко следят партизаны, и понимала, что Швейцер решил остаться сгоряча, а теперь живет здесь потому, что у него нет возможности выбраться.

К осени в землянке стало холодно — пошли дожди. Мария Прохоровна достала где-то для Швейцера облезлый тулуп.

Чем дальше, тем все больше она жалела и боялась Швейцера. Иногда он приходил тихий, с красными опух-

шими глазами, сидел, сгорбившись, за столом, неумело курил махорку. Потом он стал болтлив. Рассказывал Марии Прохоровне о Серафиме Максимовне, о том, как у них давным-давно умерла девочка трех лет и как ему тяжело, что у него нет взрослой дочери.

Рассказывал, что ему страшно в землянке по ночам. Однажды ночью мимо землянки проезжали немецкие кавалеристы. Они, очевидно, что-то потеряли, спешились, шарили по земле. Он лежал, затаив дыхание.

На рассвете он вышел на дорогу, где проехали немцы. В следах от подков стояла желтая вода. В траве на обочине дороги он увидел толстый окурок сигары, но не поднял его, а затоптал в грязь.

Швейцер начал кашлять сухо, с жестяным свистом, жаловаться на головную боль.

Мария Прохоровна дала ему порошок фенацетина, слежавшийся, завернутый в обрывок пожелтевшей газеты. Швейцер хотел принять его, но рассыпал, махнул с отчаянием рукой и ушел, не простившись.

В этот осенний вечер Мария Прохоровна снова ждала Швейцера. В избе пахло дымом. С прохудившегося потолка текло, звонко капало на жестяной лист около печки. За оконцем еще теплился уходящий день.

Швейцер пришел уже в темноте, долго отскабливал в сенях сломанным ножом грязь с разбитых ботинок. Мария Прохоровна, как всегда к его приходу, согрела на щепочках чайник, налила в кружку кипятку.

Швейцер торопливо пил, обжигая губы. За оконцем закричали вороны.

— Слышите? — спросил Швейцер и усмехнулся.— Летят. Каждую ночь так вот летят.

— Ну и пусть их летят,— сердито ответила Мария Прохоровна.

— Нет, не пусть! — хитро сказал Швейцер и засмеялся.— Нет, не пусть! Я давно за ними слежу, за их вороньими делами. Они туда летят! — Швейцер показал за оконце.

— Куда? — испуганно спросила Мария Прохоровна.

— Куда? — переспросил Швейцер и опять усмехнулся.— На восток, матушка! На восток! Где сейчас идет бой. За поживой!

— Да будет вам, Семен Львович,— ответила Мария Прохоровна и с тревогой посмотрела на Швейцера.

Швейцер замолчал, выпил чай, потом надел тулуп и начал перекладывать из карманов пальто в тулуп разные вещи. Мария Прохоровна смотрела, ничего не понимая. Он вытаскивал обрывки проволоки, какие-то тесемки, веревочки, долго рассматривал их, что-то про себя бормотал, усмехался.

— Семен Львович! — крикнула с отчаянием Мария Прохоровна.

Швейцер вздрогнул, обернулся.

— Семен Львович, да что это вы! — быстро заговорила Мария Прохоровна.— Да вы не в своем уме, что ли! Что это вы мусор всякий в кармане носите?

— Мусор? — спросил Швейцер.— А это тоже мусор? — Он показал ей колючий маленький осколок снаряда.— Может быть, он убил будущего нашего Льва Толстого. Понимаете? Одна крупинка цианистого калия — тоже мусор? А этой крупинкой можно отравить сто человек. Нет мусора на земле. Все можно приспособить к уничтожению. Все!

Мария Прохоровна, похолодев, смотрела на Швейцера. Он распрямлял кусок тоненькой проволоки.

— Идет человек,— сказал он,— напевает, зацепится сапогом за такой вот кусочек проволоки, рванет под ногами мина и снесет половину черепа. А вы мне говорите — мусор! Вы знаете, что Гитлер на днях приедет сюда, на могилу Пушкина? Нет? А я знаю. Нарочно приедет, чтобы показать всем, что фашисты плюют на нашу культуру. Мразь! Негодяй! От него на сто верст кровью пахнет.

— Семен Львович! — снова с отчаянием крикнула Мария Прохоровна.

— Тише! — сказал Швейцер.— Не кричите. Вы всё испортите. Я хочу украсть мину у немцев, на станции. Спрячу ее под могильной плитой. Слышите? И вот проволочку эту протяну. Вот эту. И не думайте, пожалуйста, что я сумасшедший,— добавил он строго.— Я так все ясно вижу, как будто она уже взорвалась.

Мария Прохоровна смотрела на Швейцера и мелко крестилась. Он наконец переложил все вещи в тулуп, спокойно попрощался и ушел. А Мария Прохоровна накинула старое пальто и побежала в избу к Потаповне,— ей было страшно оставаться одной.

* * *

Швейцер обошел высокий песчаный холм, где росли кряжистые сосны, прошел по тропинке мимо озера Маленец. Земля чавкала под ногами.

Тропинка привела его к большой дороге из Тригорского в Михайловское. Дорога белела, освещенная месяцем. Швейцер остановился в кустах, выглянул. За время жизни в землянке слух у него обострился, появилось звериное чутье опасности.

Дорога была пуста, но он знал, что сейчас переходить дорогу нельзя. Где-то там, в том месте, где месяц неясно отсвечивал на песчаном подъеме, таилась угроза.

Швейцер снял очки, протер их о вытертый мех полушубка, снова надел и посмотрел вдоль дороги,— на ней что-то темнело. Швейцер присел на корточки, снял шапку, чтобы лучше слышать, и усмехнулся,— в кустах он чувствовал себя в полной безопасности.

По дороге осторожно шли люди. Шли и молчали. Они подошли к кустам, где сидел Швейцер, остановились, долго слушали. У одного человека за спиной виднелась винтовка.

— Где же его искать-то? — тихо сказал хрипловатый мужской голос.— В Михайловском я был третьего дня. Там пусто. Никого нет, спросить некого.

«За мной! Ищут! Уже ищут!» — подумал Швейцер и начал отползать в кусты.

— Все-таки пройдем в Михайловское,— ответил женский голос.

Швейцер вслушался. Что-то горячее быстро поднялось в груди, хлынуло к лицу, к глазам, обожгло их.

— Я здесь! — закричал он отчаянным голосом и бросился к дороге, ломая кусты.— Татьяна Андреевна! Таня! Я здесь!

Швейцер путался в кустах. Стекла очков сразу помутнели,— он почти ослеп. Месяц сверкал то справа, то слева, и единственное, что он слышал, был ласковый голос, говоривший где-то рядом:

— Да где же вы? Тише, ради бога! Да где же вы, Семен Львович, милый!

Чьи-то крепкие руки наконец схватили его — маленького, мечущегося. Швейцер услышал знакомый

слабый запах — не то платья Татьяны Андреевны, не то ее рук,— затрясся, схватился за голову, сказал, задыхаясь:

— Спасите меня. Я же с ума схожу. Я сам это замечаю. Вон! Вон все это!

Он начал судорожно вытаскивать из кармапа какие-то проволочки, веревки, бросая все это на землю. Татьяна Андреевна обняла его за плечи, прижала к себе, как прижимают детей, и почувствовала, что он весь содрогается от рыданий.

Мякин из деликатности старался показать, что ничего не замечает. Он снял винтовку, осмотрел затвор, потом сказал:

— Пойду малость вперсд, покараулю.

Швейцер держал Татьяну Андреевну за руки, всматривался в ее лицо, бледное в свете месяца, говорил:

— Чудо какое-то! Откуда вы здесь? А я думал, что никого уже больше не увижу. Думал, что пришел мне конец... И вот уже несколько дней я как будто заснул — и хожу, и говорю, и действую, как во сне. И до сих пор я не знаю...

— Что, что вы не знаете? — спросила Татьяна Андреевна.

— Не знаю, как мне избавиться от этого. Давит это мне на мозги. Путает, сводит с ума.

— Зато я знаю,— твердо сказала Татьяна Андреевпа.— Я вас увсзу отсюда. Семен Львович, милый, очнитесь. Не надо так.

Татьяна Андреевна рассказала Швейцеру, как она попала в Михайловское. Пообещала, что увезет его на самолете в Тихвин, а оттуда они вместе доберутся до Ленинграда. Самолет, правда, двухместный, но, наверно, Кондрашов разрешит, и как-нибудь они долетят.

Швейцер, видимо, понимал плохо. Он понимал пока только одно — что вот, рядом с ним, на этой пустынной, освещенной месяцем дороге, где он так часто прокрадывался, озираясь по сторонам, в этих местах, окрашенных до сих пор только ощущением его невыносимой тоски, одиночества, неизбежной гибели, появился родной и сильный человек и этот человек его спасет.

Мякин вернулся, сказал, что надо уходить в лес,— по дороге из Тригорского кто-то идет. Быстро прошли в лес, остановились под елью, затихли. В лесу стояла сероватая

мгла. Волнистые облака наплывали на месяц. На дороге никого не было.

Швейцер провел Татьяну Андреевну и Мякина в свою землянку. Татьяна Андреевна нагнулась, вошла, потрогала лежанку. Сено, наваленное на ней, было мокрое и сладковато пахло прелью. Швейцер рылся в углу, что-то искал.

— Ну вот,— сказал он.— Здесь она, рукопись. И портрет здесь. Теперь можно идти.

Вышли из землянки. Швейцер показал Татьяне Андреевне место, где были закопаны вещи из музея.

— Запомните,— сказал он.— Сорок шагов от дороги к той сосне, где счищена кора. Под хворостом. Да, еще вот что,— обратился он к Мякину.— Если сумеете, сообщите Марии Прохоровне, что я встретил вас и с вами ушел. Чтобы не беспокоилась. Она все время обо мне заботилась.

Мякин только кивнул головой.

Швейцер умолк и заметно успокоился, но изредка еще вздыхал и как-то дико, испуганно поглядывал на Татьяну Андреевну. Очевидно, его мучила мысль, что все случившееся — галлюцинация его обескровленного голодом и страхом мозга.

Шли лесом по заросшей дороге. Вышли к обрыву. За ним в синеватом дыму стоял непроглядный лес.

— Не узнаете? — спросил Швейцер.

Татьяна Андреевна только вздохнула,— ну конечно, это Ручьевая гора. Где-то внизу журчала холодная вода. Лес был немой, безмолвный. Ни одного звука — ни хруста ветки, ни шороха листа не доносилось из его сырой пущи.

На горизонте взлетела зеленая ракета, рассыпалась, провалилась в темноту. В ее свете Татьяна Андреевна увидела с краю дороги черную нескошенную рожь. Месяц запутался в лесной чаще. Ночь надвигалась со всех сторон тьмой, глухоманью.

За всю дорогу Татьяна Андреевна не слышала ни одного петушиного крика, ни одного собачьего лая,— казалось, они шли по необитаемой земле.

Ей хотелось думать о Пахомове, о том, что сейчас с ним, но она никак не могла сосредоточить на этом свои мысли. Все было непонятно — и эта ночь, и Швейцер, и неизвестный человек, столяр, ставший сейчас верным другом.

«Почему я не удивляюсь всему этому? — спрашивала себя Татьяна Андреевна.— Почему? Я совсем отупела,

живу как заведенная. Ничего не соображаю и только стараюсь делать то, что нужно. Неужели это никогда не пройдет, неужели ледяной холодок, что ползет сейчас в сердце, убьет меня? И я так же мимоходом буду смотреть на развалины, на убитых, на пожарища, на человеческие слезы? Смотреть и только молчать? Нет! Конечно, нет!»

Где-то, как вода подо льдом, оставалась теплота к людям, любовь. Но не надо о ней пока вспоминать, иначе не перенесешь это время — жгучее, как промерзший до самой сердцевины чугун.

«Не надо вспоминать, не надо вспоминать, надо сжать свое сердце»,— торопливо говорила про себя Татьяна Андреевна, стараясь прогнать неизвестно из каких глубин памяти возникшие обрывки: зимний день у окна вагона под Витебском, ночь на теплоходе, освещенный салон, ветер, что качал левкои на столиках, смерть Рамона, встречу с Пахомовым на горном шоссе. Тогда она впервые поняла, что нет для нее дороже человека на свете.

— Не надо вспоминать, не надо,— быстро шептала Татьяна Андреевна.

Поздней ночью они пришли в партизанский отряд. А на рассвете Кондрашов оторвал от земли маленький самолет, и скудная псковская земля, где еще не размыло дождем вчерашние следы Татьяны Андреевны и Швейцера, ушла в глубокую даль, может быть, ушла для них навсегда.

* * *

Пахомов часто бывал на юге в мирное время. Но теперь, когда его везли через степи в санитарной машине, он не узнавал прежние, хорошо знакомые места.

Города, покрытые пылью взрывов, казались совершенно чужими. Их белые дома были замазаны для маскировки грязью и глиной. Начались дожди. Они смывали со стен эту глину, и по обочинам улиц бежали черные пузыристые потоки.

Степные шляхи сделались во много раз шире, разбитые танками, грузовиками, орудиями, тысячами возов с беженским скарбом, вытоптанные стадами скота — его перегоняли за Днепр.

На подступах к городам тянулись глубокие противотанковые рвы. В них блестели мутные лужи. Ветер шумел

в мокрой поломанной кукурузе, во взъерошенных подсолнухах.

Во всех хатах подошвы прилипали к полу от густой грязи. Бойцы счищали эту грязь саперными лопатами, выбрасывали ее за порог, но через час грязь набиралась снова, такая же густая и липкая.

Весь юг превратился в огромное военное становище, а каждый дом — в постоялый двор, где посетители сменялись беспрестанно, но не было видно хозяев. То ли они ушли совсем, то ли терялись в великом скоплении людей.

Деревья и кусты, когда-то шумевшие листьями, стояли сухие, обломанные для маскировки, обглоданные скотом. Всюду, где бы ни останавливалась машина, шофер тотчас заводил ее под дерево. Пахомов с тоской смотрел на вялую листву, то черную от пыли, то рябую от дождя.

Вся страна сдвинулась с привычных мест. Она ничего не хотела оставлять врагам. Шли многотысячные обозы крестьян из-под Могилева, Овидиополя, Дубоссар, Балты. Тракторы тащили за собой вереницы комбайнов, молотилок и жаток. К задкам телег были привязаны косматые деревенские псы — преданные человеку до смерти Рябчики, Шарики и Пустобрехи. Они трусили вслед за телегами, высунув языки, рычали на мотоциклистов.

Беженцы растекались по проселочным дорогам, останавливались на отдых в зарослях акаций по краям полей, прятались от вражеских истребителей. На полях валялись убитые немецкими летчиками коровы. На них садились степные вороны, надменно смотрели на людские потоки, каркали, дрались друг с другом.

Навстречу толпам беженцев шли тысячи обветренных бойцов. Шли бесконечными цепями. Изредка останавливались, закуривали. Пахомов неизменно спрашивал бойцов, откуда они родом, и, слушая ответы, думал, что никто не может победить эту страну с ее необъятными пространствами, выносливостью народа, простым его мужеством, немногословной любовью к своей стране и талантливостью.

Бойцы были из Красноярска, Кутаиси, Москвы, Керчи, Бобруйска, Архангельска, Владивостока, Самарканда, Чернигова — из самых разных мест России. Они очень различались по говору, по внешности, но одно у всех бойцов было совершенно одинаковым — твердые лица под стальными шлемами и простодушные, совершенно детские улыбки, когда кто-нибудь упоминал об их родных местах.

В небе гудели самолеты. Иногда над головой завязывались воздушные схватки. Трещали пулеметы. Машины, завывая, заходили друг другу в хвосты.

Запад гремел. Там шел незатихающий бой. Качались зарева, перебегали в тучах огни разрывов.

Однажды около Буга, невдалеке от Николаева, заночевали в степной балке. Рана у Пахомова болела. Она оказалась серьезнее, чем он думал. Ключица не срасталась, да и не могла срастись в дорожной тряске. Пахомова должны были сдать на санитарный поезд, но случая к этому все не представлялось. И он был отчасти этому рад.

Он предпочитал вагонам открытую степь. Вот и сейчас, когда машина остановилась в балке, он сполз, опираясь на санитара, сел на подножку. В траве кричал дергач. Лопотал под камнем родник. От увядшей травы тянуло прохладой. Небо над балкой быстро темнело.

В этой тишине, в вяжущем духе полыни, в ясности осеннего неба, в мерцании первой звезды было столько прелести, что Пахомов даже выругался, когда над головой начал выть немецкий бомбардировщик.

Пахомов сидел, укрытый шинелью, курил, думал. Он был уверен, что рано или поздно встретит где-нибудь Татьяну Андреевну. Старался представить себе, где она сейчас, что делает, какое у нее лицо. Два дня назад он с трудом написал ей письмо. Долго думал, куда же послать это письмо. На Эзеле ее, наверное, уже нет. Ленинград — в осаде. В конце концов письмо так и не отправил.

Ночью за стенками машины зашумел ветер. На крышу упало несколько капель дождя.

— И откуда ее, чертяку, принесло, эту тучу? — сказал снаружи заспанный голос.— Эй, Жора, давай выбирайся из балки! Вода пойдет — завязнем мы здесь, как котята.

Шофер что-то недовольно ответил, завозился в кабине. Машина качнулась и поползла назад.

Долго, качаясь на ухабах, она пятилась в темноту, пока Пахомов не услышал рев буксующих грузовиков, ругань, знакомые выкрики: «А ну, взяли! Еще раз взяли!» Машина влилась в общий плотный поток машин на большой дороге.

Было жаль глухой балки, прозрачной звезды, закрытой сейчас холодной и ненужной тучей. Шел спорый дождь. Всю ночь машина рвалась, вхолостую работала колесами, а на рассвете остановилась. Пахомов посмотрел в слюдяное, залитое дождем окошко. Машина стояла в начале кру-

того, вымощенного крупным булыжником спуска. По сторонам чернели мокрые амбары. Под их стенами прятались от дождя озябшие дети, должно быть школьники, с котомками, корзинками на плечах. Дождь хлестал с крыш потоками. Внизу в серой мути поблескивала вода, темнел длинный наплавной мост, а за ним был едва виден высокий берег и большой город.

— Что это? — спросил Пахомов санитара.

— Николаев. Видите, мост через лиман.

Въехали на мост. Пахомов смотрел, как о настил разбиваются настоящие черноморские волны — зеленые, тяжелые и прозрачные. Вдали в рассоле ненастного утра темнел длинный миноносец с широкими трубами. Около него качались на воде высохшие вехи. По сторонам машин шли прямо по воде промокшие бойцы, хватались за борта.

Машина, не останавливаясь, прошла через город, вырвалась в степь. Снова потянулись кукурузники, канавы по обочинам, рыжая трава, водянистое небо.

Через два дня на станции Синельниково Пахомова пересадили в санитарный поезд. Его раздели, уложили на пружинящую койку, дали горячего чаю, папирос.

Он лежал под легким байковым одеялом в тепле, сухости, и ему мерещилось, что от него к фронту тянется, зацепившись за левую руку, тонкая резиновая полоска. Поезд идет, натягивает ее, полоска становится все тоньше, вот-вот лопнет и изо всей силы ударит его по больному плечу.

Он даже прикрыл плечо правой рукой, но резина все-таки лопнула, хлестнула по перевязке. Пахомов вскрикнул и больше уже ничего не помнил. Чернота налетала волнами. Она то сгущалась, то чуть серела, и в этой черноте что-то гудело, взрывалось, подымало его, несло по воздуху и снова опускало на койку, и койка подрагивала в такт стуку колес.

Очнулся Пахомов от ощущения белого холодного света Этот свет был ему неприятен. Он увидел маленькую палату, койку, самого себя, черную школьную доску на стене и написанные мелом на доске слова: «Вчера я растворил темницу воздушной пленницы моей».

За окном перепархивал снежок. Цвет неба у края окна был сизый и совершенно зимний. За дверью слышались голоса.

— Кто там? — спросил Пахомов.

Дверь отворилась. Вошла незнакомая пожилая сестра в очках, а за ней — невысокий плотный человек в докторском халате с растрепанными седыми волосами. Пахомов внимательно посмотрел на него.

— Лобачев! — сказал он, ничуть не удивляясь.— Как вы сюда попали? Где я? Что со мной было?

Лобачев стоял рядом с сестрой, смотрел на Пахомова, укоризненно качал головой.

— Не обижайтесь,— сказал Пахомов.— Может быть, вы мне снились. Даже наверное вас здесь нет. Поэтому я и не радуюсь.

Пахомов закрыл глаза. Лобачев осторожно вышел.

— Плохо,— сказал он сестре.

— Нет, почему. Ему значительно лучше.

Лобачев ушел. Пахомов снова позвал сестру. Вошла та же незнакомая сестра в очках.

— Где я? — спросил Пахомов.

— В Таганроге,— ответила сестра.— Хотите горячего чаю?

— Хочу. Это правда, что здесь был Лобачев? Писатель?

— Правда.

— Позовите его,— сказал Пахомов.

— Он ушел. Но он придет завтра. Нет, нет, правда,— убеждала сестра.— Не беспокойтесь. Я сейчас принесу вам чаю.

На следующий день Лобачев действительно пришел. Они расцеловались.

Лобачев рассказал Пахомову о своем отъезде из Одессы, о встрече на пароходе с испанской поэтессой и Серафимой Максимовной и о том, что еще на пароходе Мария Альварес заболела воспалением легких.

В Мариуполе ее положили в больницу, а пионерский лагерь уехал за Волгу.

Лобачев решил остаться в Мариуполе, чтобы не бросать Марию одну в чужом городе.

Подробностей он не рассказывал. Он не рассказал Пахомову, что снял в Мариуполе комнату у старой вдовы, спал на полу. Каждое утро и вечер он ходил в больницу, относил Марии фрукты, молоко и вообще все, что мог достать на базаре.

К Марии его не пускали. Он писал ей короткие записки. В ответ получал такие же короткие записки на французском языке, полные благодарности и смущения.

Лобачев тревожился за Марию. Ее жизнь казалась ему непрочной, как огонек свечи, который он должен был пронести сквозь ураган.

Он боялся встречи с Марией после выздоровления. Боялся, что Мария, очевидно, чувствует себя обязанной ему — чужому, навязавшемуся ей человеку. Это было хуже всего. Необходимо было вести себя так, чтобы Мария сочла поступок Лобачева — то, что он ради нее остался в Мариуполе,— простым русским чудачеством.

Но вскоре ему пришлось увидеть Марию в такой обстановке, что он забыл об этом своем решении.

Как-то в сумерки над черепичными крышами предместий, над облетевшими садами проревели первые самолеты, разорвались первые бомбы, и первое зарево осветило дома Мариуполя.

На следующий день началась эвакуация. Часть больных перевезли на баржу. Баржу взял на буксир старый пароход и потащил в Таганрог.

Лобачев сумел попасть на баржу. Главный врач больницы Розалия Марковна, маленькая и сердитая женщина, знала Лобачева понаслышке, а теперь, познакомившись с ним, считала его немного сумасшедшим, как и вообще всех писателей. Потому на просьбу Лобачева разрешить ему доехать до Таганрога на барже она только сказала со вздохом:

— Ну да! Я так и знала! Все у вас, писателей, не так, как у людей. Все навыворот. Вы думаете, я понимаю, что вы пишете? Нет, не понимаю! Вы чистый фантазер, даже фантаст! Благодарите бога, что напали на такую, как я. Другая бы вас ни за что не пустила на баржу. Ни за что!

Мария знала, что Лобачев не оставил ее, что он на барже. Она ждала, что он придет, но Лобачев не показывался. Тогда Мария послала ему с санитаркой записку: «Приходите. Врач разрешил. Мария».

Записка эта звучала как приказ. Лобачев повиновался. Он спустился в трюм, где лежали больные. Мария уже выздоравливала. Она сидела на койке, закутанная в одеяло,— худенькая, бледная, измученная. Даже глаза у нее побледнели.

— Не беспокойтесь,— сказал ей Лобачев.— Как только вы поправитесь,— я помогу вам добраться до Волги. К своим. Одна вы, пожалуй, и не доедете.

Мария молчала.

— Сейчас война,— продолжал Лобачев.— Мы обязаны помогать друг другу. Нельзя было бросать вас одну. Вы понимаете? Нельзя! Я человек бездомный и одинокий. В армию меня не берут по болезни. Никто и нигде меня не ждет. Поэтому мне было легче, чем другим, остаться в Мариуполе. Вот и все.

Мария повернулась к Лобачеву. Глаза ее были полны слез. От этого они казались многоцветными. В них были синева, и тьма, и блеск. Она тронула Лобачева за рукав:

— Хорошо. Я буду думать, что это так... если вы хотите.

Мария собиралась сказать что-то еще, но в трюм спустилась, бранясь, Розалия Марковна. Она внимательно посмотрела на Марию и сказала Лобачеву, чтобы он немедленно уходил.

Лобачев ушел на палубу. Он сел на свернутый канат, закурил, посмотрел на юго-запад, в сторону Крыма.

Крым! Самая чудесная земля, какую он видел в жизни. Земля его любви, его молодости.

Крым, где в синеве, глубине и блеске тонули обрывистые мысы и море подносило к их подножию палую листву.

Крым, где хотелось остановить время, чтобы не терять ощущения молодости. Где жизнь, как морское утро, была освежающей, где она приближалась к той черте, за которой явственно начинался золотой век. Крым всегда был для Лобачева землей покоя, размышлений и поэзии.

Сейчас этот Крым разрушен в прах, сожжен, затоптан вонючими сапогами немецких солдат. Они гогочут в пышных парках, где Лобачев знал, как ему казалось, каждое дерево, любил каждый поворот дороги. Траншеи Севастополя завалены рваной бумагой, открытками с портретом мокроволосого Гитлера, порнографическими картинками, помятыми касками — всем этим окровавленным мусором войны.

«Отвезу Альварес,— подумал Лобачев,— буду знать, что она в безопасности, а сам вернусь в Крым. Любыми путями. Через фронт. Уйду на Яйлу, в Голубые горы, на Бабуган. Буду мстить за каждый разрушенный дом, расщепленный кипарис, за каждый затоптанный куст боярышника. За все!»

* * *

Через три дня после приезда в Таганрог Розалия Марковна выписала Марию из больницы и поселила у себя в пустой, брошенной обитателями квартире на Греческой улице. Там же на стеклянной террасе, выходившей в сад, поместился и Лобачев.

На террасе стояла маленькая железная печка. Лобачев топил ее сухими сучьями. Он решил, что поедет с Марией в Ростов, а оттуда — за Волгу, в Сергиевск, где должен был зимовать пионерский лагерь и где находился Мануэль. Мария торопилась, хотела ехать сейчас же, но Розалия Марковна настояла, чтобы она еще несколько дней пожила в покое, набралась сил.

Однажды к Розалии Марковне пришла ее приятельница из тылового военного госпиталя — пожилая сестра в очках. В разговоре в присутствии Лобачева сестра упомянула, что у них в госпитале появился новый раненый — художник из Ленинграда Пахомов.

Лобачев тотчас пошел в госпиталь, но к Пахомову его не пустили, и только через два дня они наконец увиделись.

— Да, это замечательно! — сказал Пахомов, выслушав короткий рассказ Лобачева.— Значит, она испанка? А вы знаете, что я хоронил в Ялте одного испанского студента, Рамона Перейро? И даже сделал надпись на его могильном памятнике. Она, должно быть, уже стерлась сейчас. Этот Перейро тоже участвовал в боях в Мадриде.

Лобачев переспросил, как звали испанского студента. Он хотел рассказать о нем Марии, но забыл и вспомнил только в сумерки, когда Мария сидела, закутавшись, в кресле на террасе, а Лобачев топил железную печку. В саду падал такой редкий снег, что казалось, можно было пересчитать все снежинки.

Мария услышала имя Перейро и даже вскрикнула. Лобачев оглянулся.

— Вы знали его? — спросил он.

— Нет, нет,— поспешно ответила Мария.— О нет. Но это он. Я хочу увидеть вашего друга, расспросить его о Перейро. Это можно?

— Почему же? Хоть завтра. Но почему вы так волнуетесь?

Тогда Мария рассказала о Мануэле Перейро и призналась, что этот мальчик ей очень дорог.

На следующий день Лобачев пришел к Пахомову вместе с Марией. Были сумерки. Пахомов попросил не опускать на окне синюю бумагу и не зажигать огня.

Глядя на Марию, удивляясь ее грустной красоте, Пахомов рассказал не только о том, как болел и умер Перейро и где он похоронен, но и о его любви к Татьяне Андреевне. Мария слушала молча, только часто прикасалась рукой к лицу, к бровям, поправляла волосы. Когда Пахомов замолчал, она быстро встала.

— О, вы устали,— сказала она Пахомову своим низким певучим голосом.— Спасибо. Я еще приду к вам, если вы позволите.

Пахомов попросил ее прийти непременно. На улице Мария сказала Лобачеву:

— Какой милый офицер! Как его жалко!

Но увидеться с Пахомовым ни Марии, ни Лобачеву больше не пришлось. Бои шли уже под Ясиноватой, Мариуполь был занят немцами, и госпиталь Пахомова эвакуировали в Ростов, а оттуда на север.

За несколько часов до своего отъезда из Таганрога Мария и Лобачев зашли в госпиталь, чтобы попрощаться с Пахомовым. В пустых коридорах валялся мусор, его перегоняло ветром по полу. В покинутой палате, где лежал Пахомов, не осталось ничего, кроме черной школьной доски с написанными мелом словами: «Вчера я растворил темницу воздушной пленницы моей».

Лобачев прочел стихи, усмехнулся. Снова война расшвыряла людей, и кто знает, увидит ли он еще раз Пахомова.

* * *

Снаряд попал в пустую квартиру на пятом этаже. Он не разорвался, но разбил водопроводную трубу. Вниз по парадной лестнице потекла вода.

Маша, стоя на пороге квартиры Вермеля, с радостным изумлением смотрела на маленькие ручьи, лившиеся с мраморных ступенек с шумом и пеной.

Саперы обезвредили снаряд и унесли его с собой. Вермель возился в кочегарке, искал кран, чтобы закрыть воду, бранился.

Ни дворника, ни жильцов в доме не было. Все жильцы уехали, кроме Вермеля и одинокой учительницы музыки

Полины Петровны Герье. Высокая, сухая, горбоносая, завернутая в рваную турецкую шаль, с огромным черепаховым гребнем в седеющих волосах, она пугала Машу своим хриплым голосом и тем, что весь день курила зеленую махорку-самосад.

Вермель нашел наконец кран и закрыл воду. Ночью подморозило. Оставшаяся в выбоинах на ступеньках вода замерзла. Лестница обледенела. Мария Францевна боялась по ней ходить.

С тех пор как Вермель заставил ее переехать из Лесного к себе на Фонтанку, Мария Францевна перестала сокрушаться и готовиться к смерти. Оказалось, что она еще нужна людям, что без нее Вермелю и Маше пришлось бы трудно. Мария Францевна вела скудное хозяйство, стояла в очередях, выискивала продукты. Несмотря на то что с каждым днем становилось голоднее, она говорила, что жить еще вполне можно, что вот сегодня, благодарение богу, на базаре продавали даже черную сушеную корюшку, и хотя ее и немного, но все же это пища мясная — в ней есть белки.

Утром Маша достала лом, обколола лед со ступенек. Полина Петровна вышла из своей квартиры помочь Маше — стала сметать лед веником.

Дверь квартиры она оставила открытой. Маша видела красные бархатные портьеры, портреты Глинки и Моцарта в золотых рамах, рояль, покрытый рваным клетчатым одеялом, как попоной, а над роялем — ржавую трубу от печки-времянки.

Полина Петровна, хрипло кашляя, спрашивала Машу:

— Ну что, все нет писем от мамы?

— Нету,— отвечала Маша.

— Ничего,— говорила Полина Петровна.— Ничего, милая. Привыкай. Закаляйся. Только руки береги, не простуживай. В руках теперь все твое счастье.

Камни на ее черепаховом гребне поблескивали. От шали пахло дымом. Маша старательно колола лед.

Ей хотелось заплакать — лом даже через варежки леденил руки. Хотелось горячего чаю или хотя бы кипятку, но Вермель ушел в разбомбленный дом за щепками и до сих пор не возвращался.

От Татьяны Андреевны не было ни одного письма. Вермель уверял Машу, что на Эзеле еще наши, но с ними нет связи.

Маша нашла па столе у Вермеля маленький карманный атлас Европы. Опа разыскала па карте Эзель, долго рассматривала его, стараясь угадать, где сейчас мама. Странпый остров, похожий на летящего тяжелого гуся. И названия странные. Маша никак пе могла их запомнить: Курресаре, Аксекюла, Кихельконна. Все там на Эзеле непонятное, и маме, должно быть, трудно одной.

Часто ли она вспоминает бабушку и Машу? А бабушки уже нет. Они ее оставили прямо в поле, так и не смогли похоропить. Опи шли долго. Машу все время тошнило от голода и волпения. Она порвала в клочья чулки, стерла ногу и под конец пути начала плакать. Но Вермель ни разу на нее не рассердился.

Муха отстала где-то под Колпином и так и не нашлась. Вермель говорил, что Муха вернулась обратно к бабушке,— собаки всегда возвращаются на могилу хозяев.

От Пахомова, от Миши, тоже не было ни одного письма.

У Николая Генриховича начала трястись голова. По вороту его бархатной куртки ерзали седые, давно не стриженные волосы.

Какими-то неисповедимыми путями Вермель узнал, что новгородские музейные ценности спасены и находятся в Костроме. После этого он пемного повеселел.

* * *

Полина Петровпа зазвала Машу к себе, затопила печку, поставила на пее жестяной чайник.

Пустые рамы с выбитыми стеклами были заколочены фанерой. Уцелело только несколько стекол. Через них вползал в комнату серый свет. В углах в темноте были свалены в кучу ноты, ломаные стулья, деревянный футляр от стоячих часов.

Полипа Петровна взяла из кучи ножку от кресла, присела у печки, начала колоть ножку секачом. Ножка кололась плохо, разламывалась на мелкие куски.

— Старинное дерево,— сказала Полина Петровна.— Совсем пересохло. Крошится, как хлеб. Но горит превосходно. А ноты я берегу. Разве вот сожгу Рубинштейна. Я его не люблю. Бог с ним, с Рубинштейном. Неважная, по-моему, музыка.

Маша слушала, сидя на диване подобрав ноги. Она выросла за последние месяцы. Единственное ее платье, в котором она ушла из дому, стало коротким, не прикрывало даже коленок.

Полина Петровна скрутила толстую папиросу, прикурила у печки. По комнате пополз едкий дым. Он висел слоеным облаком у самых глаз Маши. Она незаметно от Полины Петровны дула на него, но дым был тяжелый — его никак не удавалось прогнать.

Полина Петровна рассказала Маше, что она поступила сиделкой в госпиталь на Выборгской стороне. С завтрашнего дня начнет ходить на работу и сможет устроить Машу уборщицей в этот же госпиталь. Маша с радостью согласилась. Она рвалась что-нибудь делать, помогать, но Николай Генрихович говорил, что надо подождать еще дня два-три-четыре, пока Маша не оправится после тяжелой дороги из Новгорода. Эти три-четыре дня тянулись уже больше месяца. Маша понимала, что Николай Генрихович просто считает ее слабенькой и боится, что она не выдержит работы и заболеет.

Крышка на чайнике запрыгала, застучала.

Маша любила всякие сказки, но, конечно, им не верила. Только здесь, в Ленинграде, она поверила, что и среди вещей бывают, кажется, живые существа. Может быть, они ожили после начала войны, когда поняли, что от них зависит человеческая жизнь. Во всяком случае, вещи показали себя верными друзьями.

Самым верным военным другом оказался жестяной чайник. Он бурлил, бил паром, согревал руки, шумно жил в промозглых квартирах, пел измученным людям свою вечную песню о жизни.

Кроме чайника, были еще варежки. Они предпочитали мерзнуть сами, но согревать собой Машины руки. Были часы, тикавшие и день и ночь, но очень пугливые. От каждого близкого взрыва они останавливались. Их надо было сильно встряхнуть, чтобы они пришли в себя и опять начали тикать.

Маша часто просыпалась ночью, укрытая двумя шубами. За окнами затихал длинный гром. Должно быть, разорвался снаряд и разбудил ее, но она проспала самый взрыв, а слышала только его эхо в пустых улицах.

Маша лежала, прислушивалась. После взрыва было так тихо, что казалось, она одна в квартире. «Может быть, Ни-

колай Генрихович и Мария Францевна умерли или ушли?» — думала Маша и боялась пошевелиться. Но потом она начинала различать тиканье часов. Они бормотали в темноте, шипели и неожиданно били гулко три раза.

Полина Петровна налила Маше кипятку, дала половину сухой баранки. Далеко забухали пушки, потом начали бухать поближе. За Невой сердито взвизгивала знакомая сирена.

— Налет! — вскрикнула Маша, вскочила, выбежала из квартиры, помчалась вниз по лестнице.

— Вернись! — крикнула ей Полина Петровна, но Маша уже ничего не слышала.

Она вспомнила, что Николай Генрихович пошел собирать дрова в разрушенный дом. Может быть, он уже собрал дрова, несет их домой, над улицей рвутся снаряды, а Николай Генрихович не может идти быстрее из-за тяжелой вязанки.

Маша выскочила наружу, посмотрела вдоль набережной Фонтанки. Действительно, по тротуару шел Николай Генрихович и тащил за собой на веревке белые от штукатурки доски, куски оконной рамы. Он замахал на Машу рукой, закричал, чтобы она уходила. Но Маша не послушалась, подбежала, схватилась за веревку, и они вдвоем быстро втащили дрова в подъезд.

— Ох! — сказал Николай Генрихович.— Взрослая девчонка, а ведешь себя, как двухлетняя. Почему ты не слушаешься?

Но Маша не обратила внимания на слова Николая Генриховича. Она смотрела на улицу. В небе с тихим звуком «пах, пах, пах» лопались небольшие шары из белого дыма. Потом над черной Невой загремели выстрелы с кораблей.

Осколок с треском ударил в тротуар, отскочил, очевидно, упал в водосточную трубу — труба закачалась и заскрежетала. Николай Генрихович схватил Машу за руку и увел ее за выступ парадной лестницы.

Когда стрельба затихла, Вермель вышел с Машей на улицу. За последнее время он полюбил Ленинград новой любовью. Пасмурный, холодный, хранящий в мутноватой дали своих проспектов неизменную величавость, истерзанный и грозный, он все так же спокойно стоял над Невой. Стоял непоколебимо, как хранитель славного прошлого, как свидетель величия населявших его людей — прямых потомков тех невских каменщиков, что обтесали первый

гранит, потомков декабристов, поэтов, рабочих, полководцев, революционеров, ученых, создавших его славу, его величие. Сейчас эти люди лежали в окопах у Лигова, Стрельны, у Пулкова, защищали Ленинград своим телом.

Вермель долго смотрел на Неву, на облетевший Летний сад за Фонтанкой, на далекую Биржу и ростральные колонны. Начинало темнеть. Ни единого огня не зажглось в сумрачных громадах домов. Только розовое зарево освещало на горизонте низкое облачное небо. В Летнем саду завозились на черных деревьях галки.

Вермель старался запомнить цвет воздуха, похожего на редкий дым, темные аллеи, железную замерзающую Неву. Все это нужно было ему для нового пейзажа. Он хотел изобразить военный Ленинград.

Потом он вернулся с Машей к своему дому. На стене мелом было написано: «В этом доме живут люди только в квартирах десятой и двенадцатой. Письмоносец Егоркина». Такие же надписи были на многих домах. А на некоторых домах Вермель видел и другие, совсем уж короткие надписи: «В этом доме людей нет».

Вермель только один раз ходил в театр, смотрел свою роспись.

В вестибюле театра помещался районный штаб противовоздушной обороны. Вверху, в залах, никого не было. Роспись покрылась пылью, побледнела. Вермель стоял перед ней пораженный. Сейчас ему уже не верилось, что действительно он и Пахомов создали эту живопись. Как сквозь черный туман неожиданно заблестит у самых ног чистая вода и в этом клочке воды отразится далекое ясное небо, так же внезапно сверкнула перед Вермелем эта живопись в угрюмом и холодном тумане войны.

«Нельзя смотреть сейчас на эти вещи,— подумал Вермель.— Вредно смотреть. От них начинается тоска по мирной жизни. А жизнь сейчас железная, неуступчивая, и должна быть такой. Но может быть, я ничего не понимаю и, наоборот, надо смотреть на эту живопись. Смотреть, чтобы понять, что мы теряем, и от этого крепче сжать кулаки и почувствовать еще большую ненависть к тем, кто превращает наше существование в кровавое месиво, в черную ночь».

Вермель вышел из театра. У выхода сидел маленький боец с винтовкой. Он сказал Вермелю:

— Счастливо дойти, товарищ!

— Спасибо,— ответил Вермель. Повернув за угол, он сообразил, что боец был прав: с протяжным воем налетел снаряд, и тяжелый грохот накрыл землю.

Вермель не остановился. Он продолжал идти, сердито насупившись, засунув руки в карманы пальто.

* * *

Самолет из Тихвина опустился на Ленинградский аэродром в сумерки. Идти в город было уже поздно. Татьяна Андреевна и Швейцер просидели до утра в сторожке около ворот. Из дверей сильно дуло. Всю ночь в сторожку заходили греться милиционеры.

К рассвету выпал снег. Он был твердый, как град, и трещал под ногами.

С утра надо было бы выпить горячего, но в сторожке не было даже чайника, чтобы вскипятить воду. Татьяна Андреевна продрогла и потом весь день не смогла согреться.

Шли они со Швейцером молча. Татьяна Андреевна боялась, что Швейцер начнет о чем-нибудь ее расспрашивать. Но он молчал. Закутав лицо шарфом до самых глаз, Татьяна Андреевна всматривалась в деревянные дома Удельной, присыпанные снегом, в темное небо, в лица встречных. Прохожих почти не было.

Запахло холодной гарью. По левую сторону шоссе торчали закопченные стены, валялись обугленные балки, качалась на ветру длинная толстая проволока, застрявшая в груде кирпича. Она царапала по стене, скрипела. Против сгоревшего дома лежал на боку вагон трамвая. Под ржавые колеса пронзительный ветер наметал сухой снег.

Татьяна Андреевна остановилась, смотрела на трамвай. Швейцер терпеливо ждал.

Сердце у нее глухо билось. Ей казалось, что жизнь здесь дотлевает, как последний уголек в костре. Лица встречных были будто присыпаны пеплом. И никто из них даже не взглянул на Татьяну Андреевну.

Она все стояла, смотрела на трамвай. Швейцер тронул ее за руку. Она обернулась. Швейцер молча показал на мальчика в больших разбитых валенках. Мальчик стоял рядом и смотрел в землю. Через грудь у него была пере-

кинута веревка от салазок. На салазках лежал тюк, завернутый в одеяло. Татьяна Андреевна загораживала мальчику дорогу.

Они посторонились. Мальчик потащил салазки дальше. Татьяна Андреевна взглянула на тюк. Из-под одеяла торчали женские ноги в старых незастегнутых ботах.

Швейцер осторожно потянул Татьяну Андреевну за руку, и она покорно пошла вслед за ним, тщательно обходя подмерзшие лужицы. Они трещали под ногами, и этот звук был ей неприятен.

Вдали прогремел пушечный выстрел, потом второй. Но вокруг все было так же неподвижно. Даже с деревьев не сорвалось ни одного комка снега.

Татьяна Андреевна, стиснув руки, засунутые в рукава, едва сдержалась, чтобы не сказать Швейцеру, что лучше, может быть, вернуться обратно. Но куда? Она понимала, что это невозможно, что она просто утомлена, подавлена, что надо побороть эту слабость.

В Лесном они долго искали дом, где жил Пахомов.

Глядя на сосны, на протоптанную среди них тропинку к крыльцу дома, Татьяна Андреевна подумала, что никакой войны, должно быть, нет и она просто идет со Швейцером к Мише, чтобы посмотреть, как он живет.

Но тут же она поняла, что думает об этом оттого, что увидела на снегу сосновую шишку и услышала птичий писк. На сосне сидел и, надувшись, озабоченно чирикал воробей.

Ощущение мирной жизни было очень коротким. Оно тут же сменилось сознанием, что война есть, что она рядом с этими соснами, где-то за спиной озабоченного воробья, что она лежит по окраинам Ленинграда тучей и хочет задушить любимый город голодом, стужей, смертью. Рядом, в каких-нибудь десяти километрах, сторожат город тысячи буйно помешанных, выращенных только для бессмысленного и никому не нужного убийства.

Швейцер позвонил в квартиру Пахомова. Звонок не действовал. Тогда он постучал. Кто-то подошел изнутри к двери, остановился, прислушался. Швейцер спросил, здесь ли квартира Пахомова и живет ли в ней Мария Францевна.

Дверь открыла девушка в сапогах, в защитных штанах и ватнике. Она сказала, что Мария Францевна переехала на Фонтанку к художнику Вермелю, а здесь живут зенит-

чики. Она посмотрела на Татьяну Андреевну и предложила ей и Швейцеру войти погреться. Но Татьяна Андреевна поблагодарила и отказалась — она заторопилась к Вермелю.

Они долго шли по бесконечному Самсоньевскому проспекту, свернули на деревянный мост через Большую Невку. По северному берегу реки тянулись корпуса фабрик с выбитыми стеклами. Прямо на набережной лежал аэростат воздушного заграждения. Девушки, перекинув через аэростат веревку, счищали с него примерзший снег.

Татьяна Андреевна взглянула па их раскрасневшиеся лица, на пряди волос, выбившиеся из-под ушанок, и тяжесть у нее на сердце начала медленно таять.

В некоторых домах зияли черные дыры от снарядов. Кое-где приходилось пробираться между стальных крестовин, врытых в землю против танков.

Вскоре дома раздвинулись. Стали видны даль Невы, шпиль Петропавловской крепости, Троицкий мост, Летний сад. Все это поблескивало в зимнем свете. Нельзя было понять — то ли день еще не начался, то ли оп уже потухал, переходил в промозглый вечер.

А через полчаса Татьяна Андреевна сидела около печки в комнате Вермеля, неподвижно смотрела на огопь, и из глаз ее капали слезы. Маша сидела рядом на полу, держала руки Татьяны Андреевны, сильно терла их, стараясь согреть, и заглядывала ей в глаза.

— Значит, умерла мама? — спрашивала Татьяна Андреевна.

— Да, бабушка умерла,— тихо отвечала Маша.— Она непохороненная.

Вермель хлопотал, готовил с Марией Францевпой скудную еду, грел воду, чтобы дать умыться Татьяне Андреевне и Швейцеру. А когда Татьяна Андреевна, немного успокоившись, обняла его за шею и прижалась к плечу — хотела поблагодарить за Машу, за Варвару Гавриловну, за любовь старика к Пахомову,— Вермель насупился, погладил ее по голове, сказал:

— Ну что вы, милая. Я и Машу люблю, и Мишу. И вас очень люблю. И вот этого старого авантюриста,— он посмотрел на Швейцера.— За что же меня благодарить? Вот если будем живы и все окончится, тогда...

Вермель замолчал. Татьяна Андреевна и так поняла, что когда все окончится, опи соберутся все вместе, и не

будет ничего невозможного, чего бы они не сделали друг для друга.

Теперь их любовь была связана в крепкий узел смертью, страданием, кровью. А такую любовь ничто не может убить.

* * *

На вокзале в Куйбышеве Лобачев случайно узнал, что пионерский лагерь перебросили из Сергиевска в Сибирь, в Барнаул.

Лобачев растерялся. Как же ехать дальше? Он долго стоял в переполненном вокзальном зале и смотрел на карту железных дорог на стене. Тусклым зеленоватым светом горели фонари. Изредка сверху капала холодная вода — отпотевал от дыхания сотен людей высокий потолок.

Марию Лобачев устроил в женском общежитии на втором этаже вокзала. Ей дали койку, подушку и одеяло. Лобачева в общежитие не пускали.

Изучив карту, Лобачев наконец решил, что надо ехать в Барнаул не через Челябинск и Новосибирск, а через Алма-Ату и Семипалатинск. Этот путь был вдвое длиннее, но он проходил по южным и теплым местам. В Сибири же, как говорили, уже стояла настоящая зима. Лобачев боялся за Марию. У нее, кроме осеннего пальто, ничего теплого не было. Она очень зябла и от этого по-детски смущалась.

Сейчас она лежала на твердой койке, слушала людской шум, долетавший снизу, из пассажирских залов, гудки паровозов, рожки стрелочников. Она думала, что человек очень живуч и погибнуть ему не так просто. Вот она год назад даже не знала, что существует на свете этот город на Волге с таким трудным названием. А сейчас очутилась в этом городе в дни войны, в темноте, казавшейся еще более густой от водянистых синих лампочек под потолком, среди русской зимы, похожей на длинную ночь. День быстро уходил в сумерки, едва осветив снега. Боже мой, какая это огромная страна — Россия! Здесь, казалось, можно было затеряться не только ей одной, но целым народам. Она знала от Лобачева, что за Волгой начнется Урал, потом Азия, Сибирь — совершенно бесконечные земли, над которыми сейчас стоит ночь. Но здесь она все же не одна. Ря-

дом с ней живет, волнуется, старается ей помочь странный и милый человек.

Мария все порывалась встать, разыскать Лобачева, привести его в общежитие и напоить чаем, но она боялась своей соседки. Это была худая, высохшая женщина, говорившая пронзительным голосом и требовавшая от всех точного соблюдения правил. Один раз она уже не пустила Лобачева, сказала, что «мужчинам здесь находиться не положено». Лобачев пожал плечами и ушел.

Мария накинула пальто, спустилась вниз, в вокзальные залы. Она поискала Лобачева среди спящих людей, не нашла, села в сторонке на свой чемодан. Тотчас к ней подошел старик в железнодорожной фуражке и сказал, что здесь сидеть нельзя.

Мария вздохнула, покорно встала, перенесла чемодан подальше и, спрятавшись от старика за выступом стены, снова села, закрыла глаза.

Голова у нее кружилась. Ей казалось, что огромный вокзал, гудя, мерцая огнями, выбрасывая клубы пара из дверей, движется в ночь.

Потом она увидела в толпе измятую шляпу Лобачева, вскочила, бросилась за ним, схватила его за рукав.

— Ничего, ничего,— смущенно заговорил Лобачев.— Я все устроил. Достал билеты. Зачем вы пришли сюда? Идите к себе, наверх.

Но вместо ответа Мария затрясла головой, не отпуская рукав Лобачева.

— А где же ваш чемодан? — испугался Лобачев.

Мария показала в угол. Лобачев бросился туда. Около чемодана стоял бородатый человек в черных обмотках и ватнике и качал головой.

— Ай, ай! — сказал он.— Нешто можно так поступать! Хорошо, что я подвернулся, а то улетел бы ваш чемодан в неведомое царство-государство.

Лобачев угостил человека в ватнике папиросой. Тот осторожно взял ее, поблагодарил.

— Движение народов! — сказал он, вздыхая.

— А вы куда едете? — спросил Лобачев.

— Я-то? — переспросил человек в ватнике.— В Смоленск. Там сейчас немец. Мне охота нырнуть в леса, к мужичкам, которые с автоматами. Сам я тамошний. Работал плотником в Тюмени. В армию меня не берут. Сердце, говорят, дует, как дырявое. Однако мне сердца хватит. А по

военной своей специальности я сапер. Понимаете, как я нашим мужичкам с автоматами могу пригодиться. Только вот везут долго. А вы куда?

— В Сибирь,— ответил Лобачев.— На Алтай. А оттуда — тоже к мужичкам с автоматами. Только к крымским. В армию меня тоже не берут — сердце заштопанное.

— Дело! — сказал человек в ватнике.— Благоуханная земля — Крым. Там и смерть — не смерть, а растворение в воздухе. Был я там. В Мисхоре работал. А мы с вами, значит, земляки по сердечному нашему состоянию.

Этот же человек в ватнике помог Марии и Лобачеву сесть в поезд, потряс напоследок руку Марии огромной лапищей и сказал:

— Сместился, конечно, свет. Только вы не горюйте, гражданочка,— вы, конечно, чужестранная. Вам трудновато. Но ничего!

Мария не поняла, но улыбнулась человеку в ватнике. Она поняла только, что это очень хороший и необыкновенный человек и что таких людей нигде, кроме России, она не встречала и нигде, конечно, не встретит.

Предстоящая длинная дорога казалась Лобачеву отдыхом,— хоть несколько дней не надо будет заботиться о пристанище. Дорога казалась ему необыкновенной еще потому, что он ехал с Марией Альварес, всецело отдавшейся на его волю, и ехал в глубину Азии, в места неясные, загадочные, тревожившие сердце.

«Да, странно устроен мир»,— думал Лобачев, глядя на спящую Марию, на ее смуглое и бледное лицо.

За окном тянулись мертвые горы. Небритый попутчик сказал, что это Мугоджары. Земля до самого подножия гор была покрыта крупным щебнем. Качались на ветру черные стебли трав. Все на одной ноте пела телеграфная проволока. Сухой снег лежал, как каменная соль, в выемках по сторонам дороги. И над всем этим сверкало в зимнем небе белое солнце. Оно не грело, но свет его был много ярче, чем там, в России. Лобачев знал, что это — солнце Азии, великих пустынь и гор, великих стран и великого безмолвия.

Ему хотелось разбудить Марию, чтобы она увидела это солнце, и горы, и одинокого верблюда, забытого в этой пустыне. Он нюхал щебень. Вокруг не было никакого признака человеческого жилья. Но Мария уже не спала. Она сказала:

— Кастилия! Там тоже камень и очень пусто.

За Мугоджарами начались песчаные холмы. Поезд долго стоял на разъезде около глинобитного дома. Босые казахские мальчишки в рваных халатах стояли неподвижно и смотрели на вагоны. У стены дома лежали надменные пыльные верблюды. Обрывки Азии проносились мимо поезда, как видения.

Как-то на рассвете Мария проснулась и посмотрела за окно. Она лежала на верхней полке. За охряной землей простиралось Аральское море. Над его плотной синевой в розоватом ветхозаветном тумане виднелись обрывистые мысы. И ни единой птицы, ни пылинки не было в небе.

Мария никогда не видела таких пространств. Она долго смотрела на берега моря, различала плотную тень в расщелинах обрывов, белый шнурок прибоя и уходившие на километры, до самого моря, тени телеграфных столбов.

На стене вагона появился оранжевый яркий квадрат — подымалось солнце.

Вагоп спал. Мария заглянула вниз на Лобачева. Он курил и ласково улыбнулся Марии.

Мария вдруг поняла всем своим существом, что в неясном еще и далеком будущем всех этих усталых людей и их огромную страну ожидает счастье. Ожидает и ее, и Лобачева.

Опо придет после войны, как приходит тишина воскресенья после будничных трудов и тревог. Как налетает неожиданный дождь и уходит, оставляя за собой радуги, сияние дыма и туч, блеск капель, льющихся с листьев, запах мокрых стружек и теплых цветов. Последний дым последнего взрыва растает в небе — растает навсегда, потому что жизнь существует для жизни!

Мария вспомпила Испанию, села, поправила волосы, задумалась.

Когда она вернется на родину? Ей казалось, что она, конечпо, не выдержит, расплачется, увидев, как старательно тащит охапку сена на мохнатой спине маленький ослик, отбиваясь ушами от мух. А под его копытцами звенит кремень Кастилии. С полей пахнет лавандой. И вдали, как глыба тусклой слюды, вздымается к небу Сеговия — город, от которого даже у Марии кружилась голова.

В него нельзя въезжать сразу. Надо остановиться па заставе у гасиенды с черепичной крышей, где сидят под

стеной маляры с забрызганными краской ведрами,— остановиться, чтобы поесть сыру с тмином и запить его молоком. А потом пыль ударит в лицо, ящерицы побегут по горячим стенам и с золотого копья кафедрального собора сорвутся под свист оборванных мальчишек голубиные стаи.

Мария думала, что она, конечно, усыновит Мануэля и вернется с ним в Испанию. Но как же быть... как же быть с этим человеком, который курит там, внизу? Он редко с ней разговаривает и предпочитает улыбаться. Может быть, он не разговаривает с ней потому, что она плохо знает русский язык? Ему, должно быть, скучно с ней. Но Мария уже не могла представить себе дальнейшую жизнь без этого человека. Без него будет плохо. И потом, его очень жаль. Он сам пришивает себе пуговицы разноцветными нитками, не замечая этого, как не замечает и многих других вещей. Он весь поглощен своими мыслями, выдумками и ожиданием каких-то необыкновенных событий. Ему, должно быть, трудно жить, а во время войны—вдвойне труднее.

Мария так и не решила, как ей быть с Лобачевым. Она подумала, что очень глупо распоряжаться судьбой этого человека.

Дни в дороге шли быстро. За Арысью началась безлюдная холмистая страна. Потом по правую сторону вагона возник ледяной хребет Тянь-Шаня.

Изломы гор говорили о молодости этих хребтов, еще не сглаженных миллионолетними ветрами и дождями. Узкая река неслась рядом с поездом, изгибалась на поворотах.

За Алма-Атой прошли по мосту через Или. Этот мутный коричневый поток нес пыль Восточного Китая, Синьцзяня, пустыни Гоби, закручивая ее в воронки, покрываясь пузырями грязной пены.

За Или опять начались пустыни, где глохли гудки паровоза. Лимонное солнце горело в небе.

Какие-то неведомые маленькие города, слепленные из глины, дымили кизяком, пестрели выстиранными тряпками, развешанными на шестах, пылили в окна сухим лесом, смешанным с гарью.

За Семипалатинском начались степи. Однажды утром Лобачев отдернул оконную занавеску,— сосновые леса громоздились по кручам. В оврагах бежали ручьи. Березовые заросли белели среди тусклых снегов. Трусили по до-

рогам косматые лошаденки, тащили скрипящие сани. К полыньям на реке шли вразвалку недовольные гуси.

— Вставайте! — сказал Лобачев Марии.— Через час Барнаул.

Мария вскочила. Поезд несся по насыпи среди лесов. В слоистых облаках пробивалось солнце. Паровоз беспрерывно кричал, как бы предупреждая всех, что он возвращается домой.

В Барнауле Лобачев узнал, что пионерский лагерь отправлен на маленький курорт Белокуриху в предгорьях Алтая и там будет зимовать. Лобачев с облегчением вздохнул — до Белокурихи было меньше суток пути. Они с Марией были почти у цели.

* * *

Швейцер поселился в квартире у Полины Петровны. Он жаловался, что никак не может согреться, и перестал снимать пальто.

Кроме Полины Петровны, никто не обращал внимания на странности Швейцера. Было не до того. Все были заняты с утра до ночи. Татьяна Андреевна снова начала работать в театре. Весной она надеялась уехать с театральной бригадой на фронт и разыскать Пахомова. Маша работала в госпитале вместе с Полиной Петровной. Мария Францевна, как всегда, добывала продукты. Ее лицо покраснело, обветрилось. Она даже как будто помолодела. А Вермель был занят своим пейзажем и, как всегда в таких случаях, находился в состоянии одержимости.

Портрет Каролины Сабанской Швейцер повесил на стене рядом с портретом Глинки. Он любил смотреть на него в конце дня, когда солнце всего на несколько минут проникало в глубину комнаты. Начинали поблескивать рамы, оживали глаза Глинки, и Каролина Сабанская улыбалась Швейцеру. Но теперь она улыбалась с легким недоумением, будто спрашивала, где она и что происходит в этом городе. Что это за постоянный гром и зарницы среди холодной зимы?

Швейцеру казалось, что у Каролины Сабанской зябнут бледные плечи.

— Ну что ж,— тихо говорил Швейцер.— Русская зима, сударыня, всегда была суровой. Ничего не поделаешь. Я знаю, что до конца жизни вы жалели о том, что отвергли

Пушкина. Какая это прелесть! Помните? — И Швейцер начал громко читать:

Последний звук последней речи
Я от нее поймать успел,
Я черным соболем одел
Ее блистающие плечи,
На кудри милой головы
Я шаль зеленую накинул,
Я пред Венерою Невы
Толпу влюбленную раздвинул.

Швейцер почти кричал,— все равно в квартире, да и во всем доме, никого не было. Только через площадку в своей мастерской работал Вермель. Но Вермель ничего не слышал.

Потом Швейцер начал подолгу исчезать из дому. Возвращался он к вечеру озябший, голодный, вытаскивал из карманов пальто и сваливал в угол разные вещи: треснувшие хрустальные подвески от люстр, стрелки от стенных часов, изорванные гравюры, книги без переплетов — всякий хлам, покрытый кирпичной пылью, мокрой от растаявшего снега.

И Полина Петровна долго не замечала этих вещей. Они лежали в углу за кадкой с высохшей пальмой, куда не проникал свет коптилки. Но в конце концов она наткнулась на кучу этой рухляди, перерыла ее, ахнула, пошла к Вермелю и сказала, что Швейцер окончательно сошел с ума.

— Хорошо,— ответил Вермель.— Я поговорю с ним.

Он пошел к Швейцеру, толком не зная, о чем будет говорить. Швейцер стоял у окна, смотрел на замерзшую Фонтанку.

— Слушай, Семен,— сказал Вермель,— что это значит?

Швейцер не оглянулся и не ответил.

— Что это значит? — повторил, сердясь, Вермель.— Зачем ты собираешь по городу всякий хлам? Кому нужны все эти чудачества?

— Это не чудачества,— глухо ответил Швейцер.

— Так объясни, что это такое?

Швейцер обернулся.

— Изволь,— сказал он возбужденно.— Но только не перебивай, иначе я спутаюсь. Почему ты думаешь, что это хлам? Постой, дай мне окончить. Ты ведь сам любишь некоторые вещи. Ну, скажем, вот эти бронзовые пуговицы на куртке? Или тюбики с красками? У каждого есть люби-

мые вещи. Тем-то они и ценны, что они, как теплым воздухом, окружены нашей любовью. Поэтому я их и собираю. Понял? Да, я роюсь в разбомбленных домах. Роюсь. Я узнал по этим обломкам вещей, как люди жили, как они страдали, работали, увлекались. Я люблю этих людей, понимаешь? Я хочу спасти хоть тысячную часть того, что их окружало, чтобы вернуть ее им.

— Опомнись, Семен! — сказал испуганно Вермель.— Что ты несешь?

— А ты постарайся понять Я знаю — вы все считаете меня сумасшедшим. За что? А они, те люди, к кому я когда-нибудь приду и положу на стол хотя бы вот эту книгу,— Швейцер схватил из груды вещей растрепанный том, и из него посыпались на пол цветы, высушенные между страницами,— они не будут считать меня сумасшедшим! Нет! Они будут благодарить меня. Я буду приходить как старый гном из сказки.— Швейцер засмеялся.— Да, как старый гном,— повторил он,— с карманами, набитыми давно потерянными любимыми вещами.

— Ну, знаешь,— пробормотал Вермель.— Всего я мог ожидать от тебя, но только не этого.

— Почему?

— Сообрази сам. Чем ты занимаешься в такое время? Неужели я должен доказывать тебе, какая это дикая чепуха!

Вермель взглянул на Швейцера и осекся. Швейцер снял очки. Из его близоруких покрасневших глаз текли слезы.

— Коля,— сказал он тихо,— зачем ты кричишь на меня? Я сам все понимаю. Я целые ночи не сплю. Я думаю без конца все об одном. Сердце у меня болит, как будто его все время давят. Да, я не сплю. Отчего, Коля? Неужели не догадываешься? От гордости. Да. Я горжусь этим городом. Он мой, Коля. Он сейчас прекрасен, как никогда. Ты же сам видишь, как бьется под этим льдом,— Швейцер показал на окно,— его голодное сердце. Что Троя! Что осады Парижа и Вердена! Никогда еще в жизни не было такой благородной и величественной борьбы. Он принял великое мучение, этот город, и не опустил руки. Каждый ребенок здесь должен вырасти героем.

Вермель сел на стул у рояля, вынул папиросу, закурил, сказал тихо:

— Ну говори. Чего же ты замолчал? Я слушаю.

— Да, Коля,— тихо сказал Швейцер.— Я хотел бы дожить до победы. Вряд ли я, конечно, до нее доживу. Дожить и увидеть, как на стеклах окон в зимний вечер загорятся наконец освещенные изнутри ярким светом ледяные розы. Дожить, чтобы подойти к такому окну, прижаться лбом к стеклу и слушать.

Швейцер замолчал.

— Ну чего же ты? — тихо сказал Вермель.— Продолжай. Я ведь тебе не мешаю.

— Да, слушать. Что? Голоса детей и женщин. Боже мой, Коля, как мы не ценили в прошлом наших прекрасных подруг! Может быть, я и вправду сошел с ума. Вам виднее. Но не надо кричать на меня. Вы все заняты, а я ничего не могу делать. Я замок открываю целый час,— у меня пальцы уже синие.

Швейцер отвернулся. Вермель подошел к нему, схватил его за плечи, быстро заговорил:

— Не надо, Семен! Милый мой! Я же люблю тебя очень. Успокойся.

Он долго успокаивал Швейцера, потом уложил его на диван, укрыл шубой, погладил небритые щеки. Швейцер затих.

Вермель пошел к себе. На лестничной площадке он остановился, посмотрел через выбитые стекла на тяжелое небо. Темнело. За Летним садом качалось, то вспухая, то опадая, зарево. Привычно выли сирены.

* * *

Второй день Швейцер лежал неподвижно на диване в комнате Полины Петровны.

Несколько раз к нему приходила Татьяна Андреевна, приносила немного хлеба, горячий чай. Вермель с утра лазил на крышу, собирал там снег для чая и растапливал его на чугунной печурке. Вода в трубах уже иссякла.

Швейцер хлеба не брал, а выпивал только несколько глотков чая. Ему уже не хотелось есть.

На второй день Татьяна Андреевна пришла к Швейцеру рано утром, перед уходом в театр. Швейцер открыл глаза, посмотрел на нее, сказал:

— Живите. Долго, долго живите. А я теперь никому не нужен.

Мутно синело за окнами. От бессонной ночи и усталости у Татьяны Андреевны болела голова.

— У меня холодеют руки,— сказал Швейцер.— Пальцы уже мертвые.

Татьяна Андреевна взяла ледяные руки Швейцера, быстро наклонилась, поцеловала их и выбежала из комнаты. На лестнице она остановилась. Что же делать? Как его спасти? Она знала, что это — смерть, что жизнь быстро уходит из его маленького тела.

А Швейцер не спускал глаз со своих рук. Он думал, что скоро синева дойдет до локтей — и тогда конец.

— К вечеру,— сказал Швейцер и услышал голос Серафимы Максимовны. Она как будто звала его из соседней комнаты, но у него не было ни сил, ни охоты откликнуться.

Татьяна Андреевна вышла к Неве. В зимнем тумане гудели вдоль набережной пожарные насосы, качали по длинным шлангам невскую воду на хлебный завод. Шланги, как брезентовые удавы, лежали вдоль набережной, кое-где из них тонкими струйками била вода, растекалась по снегу зеленой жижей. А вдали, за два квартала, гудели другие насосы, перекачивали воду все дальше и дальше.

«Странно,— подумала Татьяна Андреевна.— Вот Швейцер говорил, что Ленинград — это русская Троя».

Она не знала, почему эта мысль пришла ей в голову. Может быть, от касок пожарных, от их суровых лиц, от неожиданно запевшей вдали сигнальной трубы.

В театре Татьяна Андреевна спустилась в подвал, где шли репетиции, отозвала в сторону режиссера — молчаливого высокого человека — и долго с ним говорила. Режиссер выслушал ее, коротко ответил: «Хорошо, попробую»,— надел ушанку, застегнул пальто и ушел.

Швейцер не удивился, когда в комнату к нему вошел высокий и спокойный человек. Двери давно уже перестали затворять. В квартиру мог войти любой прохожий.

Высокий человек придвинул кресло к дивану, сел, внимательно посмотрел на Швейцера.

— Семен Львович,— внятно сказал высокий человек,— я режиссер драматического театра. Вы слышите меня? Мы ставим «Войну и мир» Толстого. Вы — единственный оставшийся в Ленинграде знаток Толстого и Пушкина. И вот я пришел к вам за помощью.

Швейцер не двигался, не открывал глаз.

— Вы должны помочь нам,— добавил, помолчав, режиссер.— Без вас ничего не получится.

— Погодите,— прошептал Швейцер.— Я что-то не совсем понимаю. Какой театр? Что вам нужно?

Режиссер повторил все, что говорил раньше. Швейцер открыл глаза.

— Все-таки я не понимаю,— сказал он.— Сядьте ближе. Вы все время уплываете. Чем я могу помочь! Вы же видите, что со мной.

Режиссер снова настойчиво повторил свою просьбу.

— Прочесть актерам несколько докладов о Толстом? — переспросил Швейцер.— Вместе сделать спектакль? Неужели это нужно?

— Да, нужно! — сказал режиссер.— Мы каждый день играем в переполненном зале. Никогда нас так не благодарили зрители, как благодарят сейчас.

— Неужели и я тоже нужен? — спросил Швейцер и зашевелился.— Я лежу в пустоте. Вы понимаете? Во все щели ползет холод. Он подползет к сердцу, и тогда всё!

— Без вас мы ничего не сможем сделать,— упрямо сказал режиссер.— Вам придется встать, Семен Львович!

Швейцер повернул голову, посмотрел на режиссера и улыбнулся. Режиссер улыбнулся в ответ.

Тогда Швейцер медленно поднялся и сел на диване.

— Хорошо. Я приду к вам в театр. Если смогу.

Через день утром Татьяна Андреевна привела Швейцера в театр.

Актеры собрались в подвале. Был час воздушной тревоги. Немецкие бомбардировщики ныли в белесом небе.

Швейцер сел к столу, сгорбился. Воротник его пальто был поднят. Он обвел глазами актеров — озябших, бледных, молчаливых,— опустил голову, задумался.

Татьяна Андреевна умоляюще взглянула на Швейцера. Он строго посмотрел на нее и заговорил.

С первых же его слов Татьяна Андреевна поняла, что эта минута, наверное, самая важная в жизни Швейцера. Его лицо покрылось странной и живой бледностью, которая сопутствует вдохновению, тому состоянию, когда мысль достигает наивысшей силы и человек начинает владеть сердцами.

Швейцер не говорил о Толстом. Он говорил о будущем, о том, что оно не может не быть прекрасным, об искусстве, о жажде счастья, свойственной человеческому сердцу, о

грозном времени, ставшем уделом нашего поколения, о приближении полной социальной справедливости, о величии культуры — самом гениальном, что создано человеком на протяжении многих веков.

Он говорил о силе человеческого сознания. О том, что мы живем только тысячной долей этой силы, о последней смертельной схватке между низостью и благородством.

Он пересыпал свою речь стихами, цитатами, воспоминаниями. Татьяна Андреевна слушала, закрыв глаза. Отдельные отрывки речи Швейцера наплывали, как сны.

Поэзия? Что это? «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой». Нет, не это. «Живые сны». Тоже нет. «Душа человека непрерывно требует сказки». Нет — и не это.

Чудесное слагается из зримых вещей. Из сопоставления и неожиданной связи этих вещей. Надо найти эту связь в окружающем. Надо искать ее всюду,— тогда сказка умрет, потому что сама жизнь станет ею. Таково назначение поэзии.

Татьяна Андреевна вздрогнула. Швейцер читал стихи. Что это значит?

Уже мороз сребрит скудеющие долы,
И от селений синий дым
Восходит ввысь. Поют, поют эолы
По рощам золотым.

Татьяна Андреевна сжала влажные веки. Только не плакать! Ни за что!

Одним толчком согнать ладью живую
С наглаженных отливами песков,
Одной волной подняться в жизнь иную,
Учуять ветр с цветущих берегов.

Татьяна Андреевна закрыла глаза ладонью. «Не надо,— шептала она про себя.— Семен Львович, милый, не надо. Иначе не выдержишь, расплачешься».

И вдруг, как гром времени, вошли звенящие слова:

Бывало, мерный звук твоих могучих слов
Воспламенял бойца для битвы.
Ты нужен был толпе, как чаша для пиров,
Как фимиам в часы молитвы.

— И вот за все это, за каждое слово, за создание новой жизни у нас на земле, за победу правды и добра,— сказал Швейцер,— мы должны сражаться до последнего вздоха. Потому что это — наше достоинство, наша душа.

Татьяна Андреевна сидела, закрыв глаза рукой.

Кто-то тронул ее за плечо. Это был Швейцер.

— Спасибо,— вполголоса сказала она, пряча от Швейцера глаза.

Однажды утром пришел маленький черный летчик в валенках и принес Вермелю письмо от Серафимы Максимовны.

Она писала с Алтая, из Белокурихи, спрашивала, где Швейцер, умоляла найти его и уговорить приехать к ней.

Оставаться в Ленинграде было все труднее. И в тот же вечер было решено, что Швейцер, Вермель, Маша и Мария Францевна уедут в Белокуриху. Татьяна Андреевна должна была остаться в театре. А Полина Петровна, когда с ней заговорили об отъезде, только усмехнулась, сказала, что беречь ей себя не для кого, а сама она уж не такая большая ценность, чтобы ее вывозить в Сибирь

Через несколько дней Татьяна Андреевна достала пропуска на выезд. А еще через день она проводила всех до берега Ладоги, до знаменитой ледяной дороги через озеро.

По дороге в два ряда непрерывно шли грузовые машины. Черные жерла зениток торчали из-под снега. Ветер нес снежную крупу.

Татьяна Андреевна усадила всех в кузов грузовой машины, укутала всем, что было, молча расцеловала.

Маша испуганно смотрела на нее из-под наползавшего на глаза платка. Мария Францевна крестилась. Швейцер притих, сжался, а Вермель волновался из-за ящика с красками.

Шофер — худой человек, один из тех никому не известных героев, что спасали в дождь и в снег, в стужу и мрак великий осажденный город, избавляли от смерти тысячи людей,— сказал, что пора ехать. Тогда Маша схватила Татьяну Андреевну за шею.

— Я приеду,— сказала Татьяна Андреевна, с трудом расцепляя Машины руки и стараясь на нее не смотреть.— Я приеду весной. Непременно.

— Честное слово?

— Честное слово.

— Ну, смотри, мама...— прошептала Маша, не спуская покрасневших глаз с Татьяны Андреевны.

— Вытри глаза,— сказала Татьяна Андреевна.— Щеки себе обморозишь.

Когда машина тронулась, Татьяна Андреевна крикнула:

— Если узнаете что-нибудь о Мише...

Грохот грузовиков заглушил ее слова.

Она долго стояла на берегу, смотрела вслед машине.

Ветер дул по ногам, продувал валенки. Ноги быстро застывали. Рядом стоял зенитчик в меховом треухе. Он курил махорку, поглядывал на Татьяну Андреевну и говорил, ни к кому не обращаясь:

— Сегодня немец не налетит. Никак не налетит. Видишь, какая погода! Так что, можно сказать, уехали люди при счастливом снежке.

Татьяна Андреевна с благодарностью взглянула на зенитчика. Он заплевал цигарку, поправил треух и полез в снежную нору.

Татьяна Андреевна пошла к поезду. Он стоял пустой, обледенелый. Ветер свистел в вентиляторах на крышах вагонов. Иногда будто кто-то дергал землю — она вздрагивала, гудела. За Шлиссельбургом работала артиллерия.

Татьяна Андреевна осталась в Ленинграде одна. Несмотря на обстрелы, взрывы и пожары, ей казалось, что в городе сделалось очень тихо,— должно быть, от одиночества.

Она все чаще оставалась ночевать в театре, в костюмерной, где было теплее, чем в других помещениях.

Спектакли шли. По-прежнему во время обстрела зрители уходили из зала, спускались в подвал. Там актеры доигрывали спектакль без декораций, в одних костюмах, на земляном полу.

От Пахомова не было ни одного письма после Эзеля. Каждую ночь Татьяна Андреевна просыпалась ровно в два часа и долго не могла уснуть. Она лежала на узеньком диване, слушала, как мыши грызут декорации, выедают сухой клейстер.

Она думала о Пахомове. Временами такая боль и нежность подымались в груди, что она вскакивала, садилась на диване, звала его, прислушивалась. Кажется, шаги? Ей все мерещилось, что он проходит рядом за толстыми стенами, ищет ее в ночных улицах. «Миша!» — звала она и сама пугалась своего голоса,— так он был печален и слаб.

Однажды вечером она вернулась домой из театра, затопила печурку, села около нее и так просидела до утра. Она

согласилась бы очень долго, целыми месяцами не видеть Пахомова, лишь бы знать, что он живет здесь, рядом. Знать, что ветер, который дует ей в лицо, дует в лицо и ему, что далекий взрыв, который она услышала сейчас, слышит и он.

Татьяна Андреевна закуталась в платок, задумалась. Единственное живое существо, с кем она могла говорить этой ночью, был огонь. Он разгорался, потрескивал.

— Когда я его увижу? — спросила Татьяна Андреевна.

Огонь притих, подумал, потом с треском выбросил множество искр — чуть не сжег чулки у Татьяны Андреевны — и весело зашумел.

— Неужели скоро?

Огонь разгорался, трубил, перекликался в печке, как мальчишка, который все знает, но не хочет сказать, дразнит, заставляет себя упрашивать.

— Эх ты, дурачок, ничего ты не знаешь! — сказала Татьяна Андреевна.

Она закрыла глаза, задремала. Ей тотчас приснился странный сон.

Она очутилась в темной прихожей со множеством резных черных дверей. Верх дверей был застеклен матовыми стеклами. По ним бегали разноцветные пятна — не то от ламп, не то от солнца. Двери дрожали от ветра. Их было трудно открыть.

Татьяна Андреевна толкнула одну дверь ногой. Она распахнулась. Тотчас в лицо ударил теплый ветер, что-то опрокинул в комнате, и все полетело ей навстречу — шелковые тяжелые занавеси, брызги воды, мелко исписанные страницы, сухие листья из букетов. Захлопали старинные рамы. Из них вылетели все стекла. Солнце играло в осколках.

За окнами Татьяна Андреевна увидела узкие дома с лепными карнизами, жалюзи, ветки дикого винограда, птичий пух, мачты, золото башенных куполов.

Худой человек, одетый, как одевались в начале девятнадцатого века, вскочил с кресла и схватил за ошейник большого мохнатого пса. Пес лаял на Татьяну Андреевну, а человек кричал, смеясь: «Входите, не бойтесь! Он не тронет!»

Когда она проснулась, на столе шевелились газеты. Дым из печки выбрасывало ветром, он разъедал глаза. Одно из

немпогих стекол, уцелевших в окне, было выбито. Под ногами валялись осколки.

«Как же я проспала взрыв?» — подумала Татьяна Андреевна.

В компате сразу стало холодно.

Она прошла через площадку к Полине Петровне. Ее не было дома.

Татьяна Андреевна прошла к окну, прижалась лбом к ледяному стеклу, посмотрела на улицу. Там уже светало, синело. На чугунной ограде набережной тускло светился иней.

Темные тучи все ниже опускались над городом. Из них вот-вот должен был посыпаться снег. И он действительно посыпался, очень густо и спокойно. В комнате тотчас начало светлеть.

Портрет Каролины Сабанской висел у Татьяны Андреевны. Татьяна Андреевпа оглянулась, посмотрела в глаза Сабанской.

«Вот так и я когда-нибудь умру,— подумала Татьяна Андреевна,— но после меня не останется ни этих глаз, ни этих бровей, ни этой улыбки. Останутся только пожелтевшие фотографии и будут валяться в ящике письменного стола. Хорошо, что в старину писали портреты».

Татьяна Андреевна снова прижалась лбом к окну. Как пусто на улице! И как холодно! И как она устала от этой ночи!

Сквозь густой снег по узкому и высокому тротуару вдоль набережной Фонтанки шел человек в шинели. Левая рука у него висела на перевязи.

«Куда это он идет так рано? — подумала Татьяна Андреевна, и ей стало жаль этого человека.— Хоть бы поднял вортник шинели. А то снег набивается за ворот, тает».

Человек подошел ближе. Татьяна Андреевна закрыла лицо руками. Через мгновение она отняла руки, но ее уже нельзя было узнать,— глаза ее сверкали, бледность разлилась по щекам.

Она выбежала на лестницу, обронила на ступеньках платок, стремительно сбежала вниз. Она была в одном платье, в старых туфлях.

Опа толкнула тяжелую дверь. В лицо ей полетел снег. Она остановилась у фонаря, схватилась за него, крикнула: «Миша!»

* * *

В ущелье, заросшем березовым лесом, на берегу речушки Безымянки, стоял большой деревянный дом.

С первых дней войны в доме никто не жил. Двери и окна были заколочены. Дом почему-то назывался Шестой дачей, хотя ни пятой, ни четвертой, ни какой нибудь другой дачи вблизи не было.

Дом стоял одиноко. Около него кончалась дорога, вырубленная в скалах. Дальше, как говорили местные жители, до самой китайской границы тянулись одни только леса и алтайские горы.

В окна дома изредка заглядывали — да и то с опаской — мальчишки из Белокурихи. Они рассматривали пустые комнаты, потом шарахались, опрометью бежали по дороге, и от страха у них спирало дыхание. Мальчишки божились, что слышали, как в доме трещат под чьими-то шагами половицы, и видели огромную человеческую тень на полу.

Осенью в этом доме в нижнем этаже поселились пионеры с Серафимой Максимовной. Они прибрали дом, заготовили дрова, затопили печи. Над ущельем потянул в небо дымок. Стал слышен смех, стук топоров. По утрам пела труба, пугала бурундуков, выбегавших на дорогу, чтобы обсушить на ветру свою шкурку, промокшую от осенней обильной росы.

В начале зимы на Шестую дачу приехали Мария Альварес и Лобачев.

Мануэль весь день не отходил от Марии. Только к вечеру она наконец решилась и рассказала ему, что Рамон умер и его похоронили на кладбище близ Ялты, красивого крымского города недалеко от Артека.

Мануэль долго молчал, потом спросил Марию, поедут ли они после войны на могилу Рамона. Мария ответила, что, конечно, поедут.

Она ждала, что Мануэль расплачется, но он только насупился, потом сказал, что ему очень нравится и дача, и дикий лес вокруг, и шум маленьких водопадов, и все, что он увидел в Сибири.

На второй день после приезда Марии вечером пошел снег. Он падал так обильно, что Марии, впервые видевшей настоящую русскую зиму, сделалось страшно. Казалось,

что к утру снег завалит ущелье доверху, похоронит под собой дачу, отрежет ее от мира.

Мария смотрела на бесшумное падение снега, на мохнатые ветки елей. Они сгибались от снега, потом сбрасывали его, выпрямлялись и покачивались, как бы вздыхали от облегчения, что избавились от тяжелого груза.

Мария думала о Лобачеве, сжимала холодные пальцы. Она знала, что он скоро уедет в Крым и там потеряется надолго, может быть, навсегда.

— Разлука! — сказала Мария,— русское слово, недавно услышанное от Лобачева. Раз-лу-ка! Она уже началась, хотя Лобачев был еще здесь. Каждая встреча с ним была наполнена горечью будущего расставания. Скоро останутся одни воспоминания. А у них есть печальное свойство — сначала разрывать бедное человеческое сердце, а потом с каждым днем бледнеть, вянуть, покрываться пылью.

Вошла Серафима Максимовна, спросила:

— Вы о чем все думаете, Мария?

— Так, ничего,— ответила Мария.

— А река все шумит. Слышите? — спросила Серафима Максимовна.

Река действительно шумела, прокапывала в снегу пещеры. Ей было тесно от снега.

— Я все ночи почти не сплю,— сказала дрогнувшим голосом Серафима Максимовна.— На письмо нет никакого ответа.

— Он будет здесь,— ответила Мария.— Вы увидите.

Серафима Максимовна обняла Марию, поцеловала ее в щеку, пригладила волосы.

— Трудно вам? — спросила она.

— О нет!

Вошел Лобачев. Он принес чайник, зазвенел чашками, подбросил в печку дров. Комната озарилась тусклым теплым огнем. За дверью в столовой часы пробили одиннадцать. Серафима Максимовна вышла. Лобачев подошел к окну, остановился около Марии. Она крепче сжала пальцы, спросила:

— Почему вы сегодня не разговариваете так долго? Молчите?

— Слова уже утеряли смысл,— спокойно ответил Лобачев.

— Отчего?

— Не знаю. Завтра утром я уеду отсюда.

Мария протянула Лобачеву руку. Он взял ее, прижал холодную ладонь Марии к глазам. А Мария смотрела за окно и не могла понять, откуда над белыми от снега лесами появились звезды. Они пылали радужным огнем в мокрых ресницах.

Всю ночь Лобачев пролежал, не раздеваясь, на койке. Изредка он стонал при мысли, что только что, час назад, он навсегда расстался с Марией. Должно быть, навсегда... А может быть... Нет, нет! Ничего не может быть!

Он знал, что идет на опасное дело. Но чем ближе был отъезд, тем яснее было и представление о суровой дороге, которую он выбрал для себя в этой войне, тем сильнее им овладевали мысли о будущем. Оно почему-то казалось ему похожим на легкую строчку стихов.

Быстрые женские шаги, ветер от платья, утренний свет на далеких розовых домах, стакан вина натощак, глубокий блеск моря, ощущение смеющейся любви, свежести,— разве он не променял бы на это целые годы устойчивой жизни!

Лобачев оделся, взял рюкзак, спустился с террасы и вышел за ворота дачи. Над горной дорогой, как всегда по ночам, светила одна и та же звезда. В зарослях журчала вода, но очень сонно, почти затихая,— к расвету холодало, и весна всегда замедляла свои шаги.

Он остановился и прислушался. В мире было мертвенно-тихо.

— Ну что же! — сказал Лобачев.— Ну что ж, друг дорогой!

Он вскинул рюкзак повыше на спину и зашагал по кремнистой отсвечивающей дороге.

* * *

В конце зимы в Белокуриху на Шестую дачу неожиданно приехали ленинградцы: Вермель, Маша с Марией Францевной и Швейцер.

После их приезда жизнь на Шестой даче сразу переменилась. Стало очень шумно. Начались споры, рассказы, частые вылазки на лыжах в лес за дровами. Только Швейцер не принимал во всем этом участия. Он был еще очень слаб, все еще лежал, но требовал, чтобы все разговоры велись в его комнате. Закрыв глаза, улыбаясь, он слушал

сердитые высказывания Вермеля, протяжный голос Марии, ласковую воркотню Серафимы Максимовны.

Весна началась сразу, в одну из туманных сырых ночей. Загрохотала во мраке река, залились пеной, заревели водопады. Трещали черные ветки. С протяжным шорохом сползали с обрывов снега. Дул теплый ветер, бил в окна брызгами. В разрывах туч трепетали звезды. Весь дом играл весенним гулом. А утром в синеве уже неслись на север клочья зимних туч и вокруг дома торопливым перебоем перекликались капли, слетая с крыши.

Через неделю, когда туман неподвижно лежал над ущельем и сквозь прошлогоднюю листву начали прорастать первые побеги травы, пришла телеграмма от Татьяны Андреевны и Пахомова.

Принес ее с почты небритый человек, в матросском бушлате, без правой руки. Пустой рукав бушлата был засунут в карман. Отдав телеграмму Вермелю, человек попросил закурить и рассказал, что он — бывший краснофлотец береговой службы, зовут его Крынкин. Руку он потерял в бою под Ораниенбаумом, лежал в госпитале в Бийске, а сейчас устроился сторожем на плотине, километрах в трех выше Шестой дачи. Деревянную эту плотину построили на речке Безымянке перед самой войной, хотели поставить маленькую гидростанцию, но не успели. Крынкин жил в избе около плотины совсем один.

— Заглядывайте! — сказал он Вермелю, прощаясь.— Я как последний из могикан. За моим кубриком — один лес, туман да медведи. Хорошо керосин есть. Все время читаю.

— А что вы читаете?

— Тургенева,— ответил Крынкин.— Гюго. И Горького. Здорово пишут старики!

Крынкин ушел. Вермель вскрыл телеграмму, прочел ее и уставился за окно, где мерно стучали в тумане капли.

— Ах, Миша, Миша! — вздохнул он.— Что за свинство, ей-богу!

— Что ты там бормочешь? — спросил из соседней комнаты Швейцер.

— Что, что! — рассердился Вермель.— Ты только послушай! Татьяна Андреевна и Миша выехали из Новосибирска. Понимаешь? Сегодня могут быть здесь. А Миша — форменный негодяй. Больше месяца живет в Ленинграде, а мне об этом — ни слова!

— Ты же сам знаешь, что из Ленинграда телеграммы почти не идут.

— Не идут? — переспросил Вермель.— Ты уверен? А Татьяне небось дал знать, что жив и приезжает. Знаем мы эти фокусы! Все вы эгоисты. И даже ты, Семен. Да, даже ты! Хотя у тебя и ангельский характер.

Вермель пошел разыскивать Машу и Марию Францевну, чтобы сообщить им новость.

Тотчас на Шестой даче началась суета. Мария Францевна — она уже работала в пионерском лагере экономкой — стала готовить печенье из своей заповедной муки. Серафима Максимовна с Машей прибрали наверху в мезонине небольшую дощатую комнату для Татьяны Андреевны. Пахомова решили поселить вместе с Вермелем.

— Вот такая же комната была у мамы в Новгороде,— сказала Маша.— Под самой крышей. Как голубятня.

Мария с Мануэлем и другими мальчиками принесли из леса первые фиалки. Они пахли слабо и свежо. Фиалки поставили на подоконнике у Татьяны Андреевны.

По подсчетам Вермеля, Татьяна Андреевна и Пахомов должны были приехать к часу дня. Но все подсчеты разрушались одним обстоятельством — переправой на пароме через горную реку Катунь. Неизвестно, сколько времени надо будет дожидаться этого парома. Если на Катуни начинался ветер, то паром переставал ходить. Бывали случаи, что из-за ветра люди сидели на берегу Катуни по два-три дня.

К вечеру Вермель ушел с Машей на околицу Белокурихи, за мост. Оттуда уже начиналась и тянулась до Бийска степь. Вермель сел на кучу щебня. Земля шуршала, впитывала весеннюю воду.

— Ну что? — спрашивал Вермель.— Да ты слушаешь или нет?

— Я очень хорошо слушаю,— отвечала Маша.— Ничего нету.

Дорога была сухая. Маша прошла вперед, пока Вермель не скрылся в темноте. Тогда Маша легла на дорогу и прижала ухо к земле. Она знала, что так в старые времена распознавали далекий топот копыт. Но ни топота копыт, ни шума машины Маша не услышала.

Вермель и Маша вернулись на Шестую дачу опечаленные, усталые. Встречу было решено отложить до утра.

Татьяна Андреевна с Пахомовым приехали только на следующий день к вечеру. Они могли пробыть в Белокурихе всего несколько дней, а потом возвращались в Ленинград.

Вермель, узнав об этом, тотчас решил ехать вместе с ними. Уговоры Татьяны Андреевны, что он еще слаб после ленинградской жизни, ни к чему не привели. Он уже мечтал о выставке военных работ в осажденном Ленинграде.

Татьяна Андреевна отдыхала. Она почти не расставалась с Машей и Марией Альварес. Ей очень нравилась эта молчаливая женщина.

За несколько дней солнце прогрело леса и горы. Из пущ запахло первой листвой. Все дни сверкало небо, сверкали маленькие водопады. Блестел нагретый воздух, подымаясь к вершинам. Свистели птицы, раскачиваясь на ветвях черемухи. С ветвей уже сыпались первые желтеющие цветы.

Каждый день кто-нибудь ходил в Белокуриху на почту и приносил известия о новых победах, о том, что фронт неудержимо катится на запад.

За день до отъезда все пошли к плотине.

Швейцер вышел впервые на такую далекую прогулку. Татьяна Андреевна вела его под руку. Внизу в зарослях шумела река Бурундуки шныряли под ногами.

— Прошло каких-нибудь четыре года,— сказал Швейцер,— а какая жизнь? Помните? Одесса, и горный санаторий, и Рамон. Чудесный мальчишка его брат.

Татьяна Андреевна наклонила голову. Вчера вечером она долго говорила с Марией о Рамоне.

— Да, какая жизнь! — повторил Швейцер.— Вы, должно быть, забыли, что два раза спасли меня от смерти. И не напрасно, Таня, милая. Увидите, что не напрасно. Я еще кое-что сделаю на этой земле.

— Я знаю,— коротко ответила Татьяна Андреевна и крепко сжала руку Швейцера.

* * *

Театр был открыт через несколько дней после прорыва блокады. Еще гремела под Сиверской, под Усть-Лугой артиллерия, но тот покой, что приходит, как недолгий отдых

после страшного напряжения, уже вошел в сознание людей, испытавших самую великую и тяжкую осаду в истории человечества.

Театр был открыт, и сегодня Татьяна Андреевна впервые играла в нем.

Спектакль окончился. Когда Татьяна Андреевна вышла в последний раз на сцену и свет прожектора как будто вылепил из теплого мрамора ее худенькое тело, сильные руки, ее голову с каштановыми волосами, зал загремел рукоплесканиями.

Татьяна Андреевна подняла голову, посмотрела в зрительный зал. Губы у нее приоткрылись, вздрогнули, но она сдержалась и снова склонилась так низко, что Пахомов увидел ее тонкую, почти девичью шею с легким завитком волос.

* * *

Собрание архитекторов и художников окончилось в сумерки. Оно было созвано в старом доме на набережной Невы. В мраморном зале было холодно. Никто не снимал шапок, пальто и варежек.

Татьяна Андреевна условилась с Пахомовым и Вермелем, что зайдет за ними на это собрание по пути из театра домой. Стараясь не шуметь, она вошла в зал, села в заднем ряду. Говорил Вермель. Он, очевидно, уже заканчивал свою речь.

Татьяна Андреевна не знала, о чем будет это собрание, и теперь слушала, вся подавшись вперед.

Архитекторы и художники были созваны для того, чтобы распределить между собой будущие работы по восстановлению Ленинграда, Петергофа, Новгорода, Пушкина, Павловска. Из слов Вермеля Татьяна Андреевна узнала, что Вермель с Пахомовым будут работать в первую очередь над восстановлением фресок в новгородских церквах.

— Мне шестьдесят лет,— говорил Вермель.— Что делать! Я хотел бы прожить еще сто лет. Я хотел бы работать, не отдыхая ни часа, пока не будут восстановлены до последней планки паркета, до последнего гвоздя, до последнего канделябра наши великолепные здания. Пока Ленинград и весь пояс его загородных дворцов, весь этот изумительный и милый сердцу каждого нашего человека

архитектурный ансамбль не оживет опять в таком виде, что никому и в голову не придет, будто здесь прошли грязные полчища фашистов. Мы восстановим всё. Всё! Снова будет жить под этим небом нетленная красота. Многое воспитывало нас. Многое создавало из нас передовых людей, граждан, бойцов. Вас, может быть, удивляет мое желание жить еще сто лет. Эти слова могут показаться неумеренным пафосом. Вы убеждены, что мы восстановим все гораздо раньше. Да, вы правы. Но я хочу увидеть полное восстановление. Вы понимаете — полное! Мне мало зданий. Я хочу увидеть вековые парки там, где они были, на месте теперешних порубок и пожарищ. А для этого нужно не меньше ста лет. Я хочу войти в их «священный сумрак»,— простите меня, что я не нахожу других слов и повторяю слова Пушкина. Я хочу увидеть их зеленые громады, освещенные солнцем. Тогда я смогу спокойно умереть, зная, что жизнь чертовски хороша!

Раздались глухие, мягкие аплодисменты. Слушатели аплодировали, не снимая варежек.

После собрания Татьяна Андреевна дожидалась Вермеля и Пахомова у выхода. Она крепко поцеловала Вермеля.

Вышли на набережную. Было уже совсем темно.

— Ну вот,— сказал Вермель,— сейчас начнется.

— Что? — спросила Татьяна Андреевна.

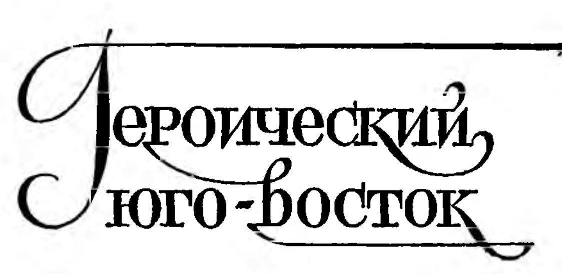
Вермель не успел ответить. Багровый огонь взорвался у бортов военных кораблей, стоявших на Неве. Уверенный ликующий залп прокатился над городом, сотрясая мосты, уходя на заставы. Тысячи ракет повисли разноцветными гроздьями в зимнем тумане. В их недолгом свете возникал и угасал над Невой как будто призрачный, но знакомый до последнего наличника великий город.

Он выстоял. Он сверкал в таинственном блеске салюта, как отлитый из бронзы. В далях низкого неба мерцало бессмертное золото его куполов, его шпилей.

Он начинал жить для новых побед, славы, для новых и радостных отныне волнений.

Татьяна Андреевна стояла неподвижно, подняв голову. Вокруг нее гремел январский воздух. В нем был запах морского льда и, как ей казалось, запах пороха и роз — дыхание свежести и свободы.

1944



ПОВЕСТЬ

АЗОВСКОЕ ПОДОЛЬЕ

Летом 1916 года в Таганрогском порту стоял старый разоруженный корвет «Запорожец».

Корвет оброс красной ржавчиной. Куски ржавчины отваливались от его железных бортов, падали в воду и тонули, поблескивая на солнце.

«Запорожец» был предназначен на слом и дремал в пустынном порту, как в музее. Его охранял долговязый матрос по фамилии Галаган. Он невозмутимо следил за тем, как медленно разрушается старинный корабль.

«Запорожец» был одним из первых русских паровых кораблей. Поэтому он сохранял еще некоторые особенности парусников. На его мачтах были реи и ванты. В низких каютах, казалось, застоялся солоноватый воздух кругосветных плаваний.

Сидя на палубе «Запорожца», я — тогда еще юноша — любил представлять себе далекие страны, где побывал этот корабль. Я смотрел на облепленный ракушками железный руль корвета и видел пенистые дороги, что тянулись некогда за ним по туманным морям. Они очень долго не исчезали, эти дороги, эти прочерченные корабельным килем следы.

Знакомый моряк объяснил мне, что следы за кормой держатся так долго потому, что пароходы грязнят морскую воду машинным маслом. Но это объяснение мало меня устраивало в то время. Я предпочитал думать, что след за кормой образуется сам по себе, как некая живописная карта морских плаваний.

Я работал тогда в Таганроге подручным слесаря на маслобойном заводе. Завод изготовлял подсолнечное масло. Он стоял над обрывом на берегу моря, весь в зелени столетних акаций и запахе горячей макухи.

Крутая деревянная лестница вела с заводского двора вверх к особняку. Там жил в полном подчинении у своей тетушки владелец завода, таганрогский миллионер Ваксов.

Это был рыхлый молодой человек, с рыжеватой бородкой. Таких людей принято называть «шляпами» и «тюфяками». Тетушка шила на Ваксова костюмы с «запасом». От просторных чесучовых пиджаков Ваксов казался еще шире.

Старуха кудахтала над ним, как наседка. Она таскала Ваксова по церквам и зорко следила, чтобы племяннику не приглянулась какая-нибудь девица с городской окраины Бесергеновки — питомника таганрогских невест.

Когда Ваксов узнал, что я в свое время учился в гимназии, он снизошел до того, что пригласил меня на ужин. Ваксову, очевидно, хотелось слыть вольнодумцем и меценатом: тогда это было модно среди купечества.

В жизни я не видел более скучного дома, чем особняк Ваксова. Хозяин водил меня по комнатам, оклеенным серыми обоями с лиловыми ирисами. Вдоль стен стояли, боязливо прижавшись друг к другу, венские стулья. Посередине каждой комнаты торчал овальный стол, покрытый вязаной скатертью. Всюду висели гипсовые тарелки с акварельными изображениями диких уток, зайцев и глухарей.

На стеклянной террасе покачивались под потолком пустые железные клетки.

— А где же птицы?— спросил я Ваксова.

— Птички, слава те господи, подохли,— ответил он, усмехаясь, и толкнул одну из клеток. Она заскрежетала.— Надо бы все это выбросить на свалку. Но храню как память о папаше. Покойник был большим любителем попугаев и всяких редкостей. Поверите ли, держал на конюшне африканскую зебру, а на птичьем дворе — пеликана. Старое купечество всегда было с вывертами. Не то что нынешнее. Теперь нам всем в пример Третьяков, Савва Морозов и Мамонтов. Просвещенные деятели, жертвователи, устроители... Передовое купечество должно идти по ихним следам. Только у нас в Таганроге ничего выдающегося не сделаешь. Провинция! Растительная жизнь!

— А вы пробовали что-нибудь сделать?

— Пробовал. Картинки начал скупать. Декадентские.

Мечтал открыть картинную галерею имени Павла Ваксова. Сейчас это самое декадентское искусство — не разбери что! А может, лет через десяток картинки эти будут в цене... Кто знает!

— Интересно бы посмотреть.

Ваксов махнул рукой.

— Где там! Тетушка в мое отсутствие все их пожгла. Говорит, блуд! Опекой мне грозилась. Взять человека под опеку, да еще с таким гуманным характером, как у меня,— это в наше время раз плюнуть. Пришлось смириться. У тетушки в руках все мое дело. Она капиталом распоряжается по своему усмотрению. И моя ситуация, согласитесь, невыносимая. Шагу ступить не могу. В Париже, поверите ли, до сих пор не был! О Париже перед тетушкой и заикнуться нельзя. Говорит, блудный город! А попади я в Париж, так с моей щедростью я прогремел бы на весь земной шар. Я деньгам значения не придаю. Двадцать тысяч — Французской академии! Двадцать тысяч — парижской опере! Двадцать тысяч — президенту республики на вспоможение бедным! В газетах беседы бы со мной печатали знаменитые красавицы вроде Лины Кавальери или Сары Бернар...

— Павлик,— раздался за дверью басовитый старушечий голос,— лучше ужинать иди со своим гостем. Совсем заболтался!

Ваксов нагнулся ко мне и зашептал:

— Поверите ли, ходит за мной, как крыса. Особые туфли заказывает одной здешней вдовице, совершенно бесшумные, на двойной войлочной подошве. Я — узник! Несчастнейший человек на земле!

Ваксов снова в сердцах толкнул пустую клетку. Она закачалась и заскрипела. Тотчас в соседней комнате зашаркали торопливые шаги.

— Шмыгает! — подмигнул Ваксов.— Беспокоится! В кои-то веки пригласил к себе интеллигентного человека. Гнида! Ей-богу, гнида!

В полном несоответствии с этими словами он улыбнулся и произнес сладким голосом, распахнув дверь:

— Слушаюсь, тетенька. Покорнейше прошу!— пригласил он меня.— Чем богаты, тем и рады.

К ужину старуха не вышла. Но, судя по тому, что Ваксов все время беспокойно ерзал на стуле, она опять подслушивала за дверью.

Подавал к столу сонный человек с обвисшими усами.

Ужин был довольно скудный. Но мне он показался роскошным, так как питался я тогда преимущественно серым хлебом, помидорами и сельтерской водой.

Правда, это была великолепная сельтерская вода, какую умеют изготовлять только у нас на юге. Запотевшие стаканы с этой водой шипели на цинковых прилавках и разбрасывали брызги. В брызгах дрожали на солнце маленькие радуги. Настоящих же радуг в Таганроге почти не было: дожди и грозы обходили стороной эти степные берега.

Я работал на заводе и потому мог приходить на корвет только по воскресеньям. С борта «Запорожца» я удил бычков или читал, лежа на палубе.

Читал я преимущественно стихи, и притом торжественные. Такие строчки, как «Солнца диск золотой, уходя из лазурной пустыни, погружается медленно в светлое лоно зыбей», вызывали у меня благоговейный трепет.

Книги я брал в городской библиотеке, основанной Чеховым. Иногда библиотекарша, пожилая женщина с черной бархоткой на шее, благоговейно показывала мне чеховские автографы. Я удивлялся изяществу его почерка. Удивлялся и тому, что Таганрог не оставил почти никакого следа в книгах Чехова. В них нет ни перистых акаций, ни бледного моря, ни ветров — трамонтан и низовок,— ни азовского говора.

По воскресеньям вместе со мной приходил на корвет еще один рыболов, отставной учитель географии Липецкий. Портовые мальчишки дали ему странную, но верную кличку «Моховой». Все на Липецком — фуражка, заплатанный китель и брюки — приобрело от старости зеленоватый цвет. Казалось, что этот добродушный педагог действительно сильно замшел.

Липецкий был местным краеведом, знатоком Азовского моря и окрестных степей.

Он снимал комнатушку на Греческой улице, в том доме, где, как он предполагал, останавливался некогда Джузеппе Гарибальди. Скудная обстановка комнатушки состояла главным образом из географических карт, книг и поблекших фотографий. Но самая удивительная вещь находилась во дворе. Это была скифская баба, высеченная из серого гранита. Липецкий привез ее еще в молодости из степи.

Зернистый камень был отполирован тысячелетними ветрами, и потому плоское лицо скифской женщины блестело так, будто его смазали маслом.

Слушая рассказы Липецкого, я удивлялся множеству знаний этого старого человека и его любви к своему краю, к тем степям вокруг Таганрога, где я ничего интересного не замечал. Скучная глина, кое-где покрытая грязной коркой соли, пыльные ветры и пересыхающие мутные реки — вот все, что я знал об этих местах.

А я любил шум дождей, проселочные дороги, речные туманы, волны пшеницы и треск кузнечиков на знойных баштанах. Поэтому такие однообразные области, как Приазовье, казались мне мертвыми кусками земли.

Но после рассказов Липецкого юго-восток как бы начал для меня оживать. Это были земли, повитые легендами. Десятки народов — сарматы, скифы, половцы, хозары, гунны, татары, турки — прошли по ним. Следы древних народов остались под ковылем, под курганами. Переплетение корней скрывало скелеты, окрашенные в черный цвет, поломанные копья, погнутые шлемы, глиняные кувшины с остатками семян, золотые скифские маски.

— Дон — это древний Танаис, а Азовское море — бывшая Тамаринда! — восклицал Липецкий и посматривал на меня сквозь толстые стекла очков.

Липецкий много рассказывал мне об истории края. Здесь, как он утверждал, было создано безвестным нашим пращуром «Слово о полку Игореве».

Здесь, на Дону и в Задонщине, по словам старинной казачьей «думки» (ее Липецкий любил напевать своим дребезжащим голосом), «засеяно поле невсхожими семенами, засеяно казачьими головами, заволочено поле казачьими черными чубами». Недаром появилось в этих степях сказание о бурьяне-татарнике. По весне степь покрывалась его алыми цветами, похожими на капли крови. И старики, вспоминая прошлое, рассказывали детям байки, что всюду, где когда-то пролилась казацкая кровь, вырос на ней и расцвел татарник.

Эх, далекое дело! Схватки с басурманами, закрученные в жгуты казацкие чубы, Чертомлыцкая Сечь!

Еще с тех времен родились мерные, как топот копыт, забубенные песни:

Гей, казаки, за семью дубами
Заховала свою долю голытьба!

Старый учитель любил рассказывать о восстаниях Разина, Пугачева, Булавина — великих бунтах «голутвенных» людей, голытьбы. Сюда, за Дон, прорывалась бродячая Русь. Сюда ходили «бродники» воевать Туретчину, Азов, Кавказ, и турецкий султан жаловался, что русские не дают туркам «испить донской воды».

Потом начались первые морские походы Петра на неуклюжих кораблях из сырого воронежского дуба. Шла осада Азова. Новые крепости возникали на желтых глинистых мысах над мелководным и первым на юге российским морем.

— Русский народ так много пролил крови в придонских и азовских степях и вложил в них столько труда,— говорил Липецкий,— что эти жертвы даром не пропадут.

Липецкий, конечно, не мог предвидеть, что самая героическая и удивительная история края еще впереди. Мне суждено было стать ее свидетелем и современником, тогда как Липецкий давно уже умер.

Старый географ был почитателем Менделеева. Его, как и великого химика, занимали задачи, связаные с процветанием страны. Липецкого заботила судьба родного Азовского моря и Таганрога.

Азовское море умирало на глазах. Оно мелело. Большие морские пароходы уже не могли входить в Таганрогский порт. Они останавливались далеко на рейде.

Вместе с морем умирал и город. Липецкий еще помнил то время, когда через Таганрог потоком лилась в трюмы донская пшеница. Стаи голубей садились на звонкие каменные мостовые и кормились просыпанным зерном. Грохот окованных колес не затихал ни днем, ни ночью. Было похоже, что над Таганрогом перекатывается медленный гром. И в самом воздухе был как бы разлит слабый восковой блеск от гор пшеницы, наваленной на пристанях. Пароходы сутками дожидались погрузки.

Естественно, что у старого учителя возникла мысль о возрождении Таганрога... Шли годы, и чем сильнее мелело Азовское море, тем настойчивее эта мысль завладевала Липецким. Если можно так выразиться, это была мечта-одиночка, потому что никто не обращал внимания на разговоры Липецкого. К Липецкому относились как к курьезной таганрогской достопримечательности. В то время в каждом провинциальном городе были свои юродивые и чудаки. Таким, по мнению многих, был и Липецкий.

Сейчас, когда весь юго-восток страны тонет в грохоте и звоне исполинских работ, преобразующих эту землю, я вспомнил о Липецком с его беспомощным проектом возрождения Таганрога. Вспомнил и подумал, что революция изменила все существо человека, вплоть до его способности мечтать. Размах мечты стал в уровень с размахом времени.

А мечтания Липецкого совпали с глухим и тяжелым временем в жизни России.

О своем проекте возрождения Таганрога Липецкий впервые рассказал мне и Галагану на палубе «Запорожца» в тот вечер, когда вблизи города сел на мель пароход «Трувор». Портовый буксир потащил к «Трувору» пустые шаланды, чтобы разгрузить пароход и снять его с мели.

Синеватый воздух лежал над степью. Маяк зажег свой красный огонь, хотя было еще светло.

Кто не бывал на Азовском море, тот не может представить себе тамошние сумерки. Бледная вода. Громады кучевых облаков в перламутровых просторах неба. И первые звезды, глядящиеся в морскую глубину, где более слабым огнем загораются их двойники.

Желтый дрок, присыпанный пылью, висит, цепляясь за щели, на подпорной стене Воронцовского спуска. И удивительно, что от каждой лужи на пристани, налитой за день прибоем, пахнет океаном, хотя в Таганроге море еще пресное от избытка донской воды.

В этот вечер на палубу «Запорожца» долетал с берега треск бильярдных шаров и жиденький звон мандолины. Галаган жарил в ведре с углями пойманных нами бычков. На пристани около чугунного причала мяукал охрипший от отчаяния белый кот — выпрашивал жареную рыбу.

— Вот,— сказал с горечью Галаган,— был когда-то наш порт, как все порядочные порты. А сейчас одни коты здесь шлендрают. И растет по молам будяк.

— Болезнь всегда начинается с пустяков,— заметил Липецкий.— Вот «Трувор» сел на мель. Надлежит выяснить, почему Азовское море так быстро мелеет за последние годы. Очевидно, Дон приносит гораздо больше ила, чем раньше.

— Тощает земля! — вздохнул Галаган.— Бывало, споймаешь сазана, так его двумя руками немыслимо ухватить. А сейчас вытащил его, он дрыгнул хвостом, мигнул глазом — все! Сморился!

— Чепуха! — сказал Липецкий.— Не об этом я говорю. Вы лучше слушайте и соображайте. Когда-то по берегам Дона росли вековые дубравы, знаменитые донские леса. Леса эти вырубили. Теперь каждый ливень смывает целые поля земли и уносит ее в Дон. А Дон выволакивает эту землю в Азовское море и намывает огромные мели.

Липецкий помолчал.

— Ясно, как апельсин! — сказал он и махнул рукой.— Пройдет еще лет сто, и порт в Таганроге превратится в болото.

— Сюрприз! — сказал Галаган, переворачивая ножом шипящую рыбу.— Рассказывают же старослужащие матросы, будто видели они такие города на свете: было около них море, а потом ушло, отсосалось, и остались те города, ровно камбала на мели. Уснули, как рыба, и спят уже многие сотни годов. И не поймешь, брешут старослужащие матросы или говорят точно. Сами знаете, старослужащие насмешку любят делать над сухопутными, и как почнут рассказывать, так мозги у тебя сдвинутся с места...

— Это как раз верно,— ответил Липецкий.— Есть такие города. Таким вот городом, потерявшим море, скоро будет и наш Таганрог. А чего проще — прорыть глубокий судоходный канал от Таганрога до открытого моря. А потом протянуть этот канал и до самого Ростова. Сразу оживет весь здешний край.

— Никто до этого дела рукой не доторкнется, Николай Петрович! — возразил Галаган.— Кто ж вам даст на это средства? Царю не до нашего Таганрога. Ему интересно, чтобы у донских казаков чубы были намаслены да сапоги стояли бутылками.

— Я и сам знаю, что люди считают это пустой фантазией,— уныло согласился Липецкий.

Галаган повернулся ко мне:

— Есть у меня брат Петро. Вдовец. Рыбачит он на Петрушиной косе. И имеется у него дочка Ганна. Лет ей восемь. Так только она одна Николаю Петровичу без божбы верит. Честное слово! Кушали бы вы лучше, Николай Петрович, бычков, чем зря расстраиваться пустыми разговорами! Человек вы старый, отставной, живете на пенсию. Чего вам еще надо?

— Не мне надо, а людям надо — строго ответил Липецкий.— Я писал об этом канале в Государственную думу. Два раза. Предлагал образовать для постройки ка-

нала акционерное общество. И, конечно, ни слуху ни духу. Послал статью в одну газету. Оттуда мне так ответил один нахал, что вспоминать стыдно: «С несравненно большим успехом вы могли бы составить проект отопления березовым дымом Северного полюса или попробовать сажать деревья корнями вверх. Выпиливайте лучше столики из фанеры».

— А вот я этому свистозубу всыпал бы сорок линьков,— сказал Галаган.— Да еще бы намочил те линьки в соленой воде. Чтобы чувствовал, как над старыми людьми насмехаться.

В половине лета я взял у Ваксова отпуск и поселился на Петрушиной косе у брата Галагана, Петро.

Петро жил в маленькой хате, крытой очеретом. От стен ее пахло сырым мелом. Около завалинки росла кустистая трава. Из нее рыба́чки вязали веники. Волна во время свежей погоды подбегала к порогу хаты и оставляла на песке скачущих рачков — бокоплавов.

В маленьком садочке цвели желтые мальвы — «монашки» — и вялился на шнурах рыбец. В низкие окна задувал теплый морской ветерок.

Я почти забыл о разговоре с Липецким на палубе «Запорожца». Но, конечно, этот разговор не мог исчезнуть из памяти без следа. Он вызвал желание изучить окрестные степи, все это так называемое «Азовское подолье». Я начал пристально присматриваться к окружающему. А из пристального внимания родилась, как часто бывает, любовь.

У меня не было под рукой никаких книг, чтобы познакомиться по ним с Приазовьем. Я просто жил в степях па побережье, смотрел, прислушивался и запоминал. И вскоре могучее спокойствие степей и моря завладело мною с такой силой, что я был готов променять на них даже любимые северные леса.

Все окружающее постепенно сроднило меня с этими местами. Я заранее тосковал при мысли, что когда-нибудь придется их покинуть.

Единственным моим собеседником была в то время маленькая Ганна. Петро уходил каждый день на рассвете на смоленой шаланде-байде в море выбирать сети, потом отвозил улов на базар в Таганрог, а когда приезжал из города, то заваливался спать. Вечером он снова шел в море ставить или, как говорят рыбаки, «высыпать», сети. Петро

я почти не видел, за исключением тех редких дней, когда он брал меня с собой.

Море било мутноватой волной в борта байды и шумело на всем своем пространстве однообразным гулом. Потом над донскими гирлами подымалось солнце, и разгорался желтый степной день.

Ганна тихонько пела во дворе, возясь около очага. Она готовила отцу и мне «снедать». Пела она колыбельные песни своим тряпичным куклам Одарке и Господарке. Солнце и морская вода выжгли у этих кукол былую их красоту. Единственное, что осталось на круглых кукольных лицах,— толстые брови, намазанные смолой.

Светлые косы у Ганны были уложены венком вокруг головы. Глаза у нее были чуть зеленоватые и прозрачные, как морская вода на песках, а руки такие тоненькие, что я каждый раз пугался, когда она поднимала с очага тяжелый чугун с кипящим борщом.

Первые дни Ганна дичилась меня, но скоро привыкла и начала без умолку рассказывать всякие небылицы.

— Слушайте, слушайте,— говорила она торопливо и держала меня за рукав,— что я вам расскажу! Есть у нас в море рыба. Зовется она «морское сердце». Потому что она колотится, как человеческое сердце. Вот так!

Ганна прижимала руки к груди и, широко открыв глаза, слушала, как бьется ее маленькое сердце.

— Вот так! Тук и тук! Тук и тук! Вы не думайте, что та рыба счастливая. Она, наоборот, несчастная и убогая. Потому что она слепая. А ослепил ее, насыпал ей соли в глаза злой один рыбак из-под города Геническа. Потому что эта рыба старалась для бедных людей, для таких небог, как мой батько, что имеет одну сеть, да и та кругом рваная.

— Чем же она помогала небогам? — каждый раз спрашивал я, хотя уже знал конец этой истории.

— Рыбу она до них пригоняла. Всякая рыба — будь то подсулок, селедка или лобан — слушалась ее без прекослова. Шла за ней рыба следом, и заводила она ту рыбу в сети к неимущим. Они, конечно, сети вытягнут, продажную рыбу выберут, а «морское сердце» непременно в воду отпустят. Да еще и шапки перед ней скинут, поблагодарят низко за сострадание. Так тот рыбак с Геническа ослепил ее. Из зависти. С той поры ой как трудно стало рыбалить неимущим! Никто им в сети рыбу не приводит.

Тетеньки у нас по косе кажут, что надо «морское сердце» поймать и пустить в ведро с наваром из серебра. Тогда глаза у нее оживут, и снова начнется жизнь для маломощных. А то они, маломощные, голодуют и оттого идут в крутаи. А это, борони бог, какое рисковое дело — быть крутаем! Как вы скажете: правда это или просто брехня то, что я вам рассказала?

— Не знаю,— уклончиво отвечал я.

— Правда! — убежденно говорила Ганна, и глаза ее блестели.— Вот побожусь, что правда!

Я, конечно, не верил в эти старые рыбацкие басни, но все же, купаясь у берега, начал приглядываться к рыбам, шнырявшим по песчаному дну. Где-то в глубине сознания застряла мысль, что, может быть, и я увижу среди них «морское сердце» — все золотое, с синими плавниками и красным хвостом.

В ответ на мои расспросы о крутаях рыбаки отнекивались или отшучивались. В конце концов они начали говорить, что никаких крутаев нет и все это бабьи выдумки.

Узнал я о том, что такое крутаи, при обстоятельствах довольно печальных. Узнал в одну из темных ночей.

Петро в этот день, после того, как «высыпал» сети, домой не вернулся. Я уснул в своей каморке, но среди ночи меня разбудила Ганна.

— Дядя,— шептала она и дергала меня за руку.— Может, вы проснетесь? А дядя!

Я вскочил.

— Что случилось?

— Батько, мабудь, с крутаями ушел,— ответила Ганна и, сев на глиняный пол, захныкала.

Ночник-каганец тихо мигал. По хате бегали колючие тени от полыни, подвешенной к потолку. И равномерно, занятое своей вековечной и великой думой, шумело, набегая на пески, ночное море.

— С какими крутаями? — спросил я спросонок.— Никаких крутаев нет. Это все бабьи выдумки.

— Не! Не выдумки! Крутаи идут в такие ночи, как эта, когда ни одной звезды нету на небе, в донские гирла, в запретную воду. На самых легких байдах. У тех байд ход быстрый, как у ласточек.

— Зачем же они ходят в гирла?

— За рыбой. Там рыба лежит в воде, как просо в коморе. Крутаи туда заходят, кидают на ходу сети, заво-

рачивают и на ходу выбирают. Тикают поскорийше до дому. Потому что там, в тех водах, стоит на моторках охрана. Чуть не поспел, или парус заполоскал, или стукнул чем по борту — охрана заметит и почнет стрелять. В прошлый год вот так старого Арсения насмерть забили.

И она заплакала уже в голос, вытирая слезы косой.

Я начал утешать Ганну, хотя и не поверил ее рассказу. Но вскоре над морем прокатились отдаленные ружейные выстрелы. Девочка бросилась вон из хаты. Я вышел следом за ней.

— Батько! — отчаянно закричала Ганна и по колени вошла в воду.— Батько! Сюда!

— Цыц, скаженная! — гневно прикрикнул из темноты женский голос.— И без твоего крику берег найдут. На то рыбаки!

Ганна затихла. Через несколько минут из морской мглы бесшумно вынырнула байда. Рыбаки молча соскочили в воду, вытащили байду на берег, быстро убрали сети и скрылись.

Среди рыбаков был и Петро. Он вошел в хату и тихо сказал Ганне:

— Дай тряпку чистую. Руку подбили, иуды! Гнались за нами до самой мигалки.

Тогда только я заметил, что рука у Петро замотана тряпкой и сквозь нее сочится и капает на глиняный пол темная кровь.

— Пол подотри! — сказал Петро и повернулся ко мне.

— Я ничего не видел,— сказал я Петро вполголоса.

— Спасибо вам,— ответил Петро.— Не от богатства мы на такое дело идем. Нужда под пули толкает.

Через несколько дней Петро вернулся с базара и рассказал о пышных похоронах, виденных им в Таганроге. Впереди похоронной процессии шли два соборных протоиерея и хор из греческой церкви. А покойница, даром что старая, а, должно, была девушкой, потому что лежала она в гробу, обитом белым муслином.

— А за катафалком вся знать таганрогская валит,— рассказывал Петро.— Генералы с лентами и медалями. И даже городской голова с цилиндром в руке. Богатые

похороны! Я бы на те похороны жил двадцать лет. Да еще и Ганне осталось бы на приданое.

— Кого же это так хоронили? — спросил я.

— Да тетку Ваксова, вашего хозяина. Кажут, что заядлая была старуха. Держала его в кулаке. Вот теперь он погуляет, Ваксов! Полетят все его капиталы к черту на припечку!

Эта мысль о неизбежной растрате Ваксовым своих миллионов толкнула меня на поступок, казавшийся мне в то время очень смелым. Сейчас, естественно, он представляется совершенно нелепым. Единственное, что оправдывает меня в собственных глазах,— это тогдашняя молодость.

Я тотчас вернулся с косы в Таганрог и помчался к Липецкому. Я рассказал ему о Ваксове, обуреваемом жаждой громких дел. Я был уверен, что, освободившись от тетушкиной опеки, он ринется с головой в заманчивое и сулящее ему славу сооружение судоходного канала от Таганрога до открытого моря. Надо было немедленно идти к Ваксову.

Липецкий оробел. Но я настаивал, и в конце концов мне удалось его уговорить.

Зеркала в купеческом особняке были еще завешены, но Ваксов уже сидел за письменным столом и щелкал на счетах. К рукаву его чесучового пиджака была криво приколота повязка из черного крепа.

Будущий меценат возвел на нас слезящиеся глазки и спросил, приподнимаясь:

— Чем могу?

Липецкий молчал. Очевидно, по виду Ваксова он уже понял, что ничего из этой затеи не выйдет. Тогда я напомнил Ваксову о его мечте быть передовым и просвещенным человеком своего времени. Я говорил о славе, что покроет его имя лаврами, если он станет благодетелем своего края. Ваксов смотрел на меня внимательно, но в его глазах я не уловил ни тени удивления.

— Чем все-таки могу? — вежливо переспросил Ваксов, выслушав мою тираду.

Я рассказал Ваксову о проекте Липецкого прорыть канал от Таганрога до открытого моря. Правительство этим заниматься не будет.

— С таким правительством пропадешь, как капустный червь,— согласился со вздохом Ваксов.

Я обрадовался. Его сочувствие меня окрылило.

— Нужно,— сказал я,— чтобы просвещенный, влиятельный и богатый человек основал акционерное общество для сооружения канала.

— Так-с! — сказал, помолчав, Ваксов. Он теперь смотрел не на нас, а за окно, где ветер качал акации.— Так-с! Значит, вы меня избрали в просвещенные благодетели? За это чувствительно благодарен. А каков,— он повернулся к Липецкому,— по вашему разумению, должен быть мой денежный вклад в это дело?

Липецкий молчал. Он только с укором взглянул на меня.

— Тридцать тысяч? Сорок? Пятьдесять? — подсказывал Ваксов, сбрасывая костяшки па счетах.

— Я не знаю,— вмешался я наконец, чтобы прервать эту сцену.— Я не могу судить об этом.

— Так-с! — повторил Ваксов, достал из бокового кармана пиджака бумажник, вынул из него две красные десятирублевые бумажки и положил их перед Липецким на стол.

— Вот! Не взыщите. Больше я на это дело уделить ничего не могу. Прошу иметь в виду, что у меня пе судоходный надзор, а торговое дело. Не знаю, известно ли вам или нет, но мой папаша гонял со двора изобретателей. Как мух! И мне завещал. Не доверял, знаете ли. Ничего не поделаешь.

Липецкий поднялся. Голова его дрожала.

— Вот именно, как мух! — повторил Ваксов.

Липецкий разорвал трясущимися руками обе десятирублевки, пододвинул их Ваксову, повернулся и пошел к двери. Он даже не взглянул на меня. В голове у меня все смешалось от ярости.

— Жаль,— сказал я Ваксову,— что вы пережили вашу тетушку. Маслобой!

Ваксов закричал визгливым бабьим голосом:

— Вон отсюда! Недоучка!

За дверью стоял сонный лакей с опущенными усами. «Погодь!» — сказал он мне и крепко взял за рукав. Я наотмашь толкнул его в грудь и вышел вслед за Липецким.

Липецкого после этого случая я пе видел. Мне стыдно было встречаться с ним.

В Таганроге мне больше нечего было делать. Я решил уехать. Денег оставалось немного, но все же их хватало,

по моим подсчетам, чтобы добраться до Мариуполя. Там я надеялся найти работу в порту.

В последний раз я пошел на корвет к Галагану. Галаган собирался в город на именины к свояку. Он выслушал мой возмущенный рассказ о Ваксове и сказал, прищурившись:

— Бамбуковое было, видать, у вас положение.

Я не понял:

— Как это бамбуковое?

— Да очень просто. Он же маклак, золотая мошна, а вы до него лезете, как до порядочного человека. Надо же соображать. Смех, честное слово!

Галаган вскоре ушел. Я провел ночь на старом корабле в полном одиночестве.

Была уже осень. С берега долетал, то затихая, то усиливаясь, шелест подсыхающих акаций.

Через сутки я стоял на палубе колесного парохода «Керчь». Пароход шел из Таганрога в Мариуполь.

Был сизый тихий день. Степные берега затянуло мглой. Изредка солнце, прорвавшись сквозь низкие тучи, загоралось охрой и суриком на обрывах и мысах. Тогда вода у берегов зеленела, и были хорошо видны черные рыбачьи байды и белые стены хат на косе.

Я до боли в глазах вглядывался в берег, надеясь увидеть у порога Петровой хаты Ганну. Но я ее так и не увидел. Должно быть, девочка пошла в степь собирать сухой бурьян для очага.

Мгла сгущалась. Вскоре она закрыла берег, и вокруг не осталось ничего, кроме серой воды и серого неба.

МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ

ПОЛЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

В самолете, летевшем из Москвы в Калач-на-Дону,— там было сосредоточено управление строительством Волго-Донского канала,— кроме начальника строительства Басаргина и его двух ближайших помощников, сидел у окна еще один пассажир — на вид совсем еще юноша — высокий, очень худой, с густыми рыжеватыми волосами и загорелым лицом.

«Неужели этот молодой человек,— подумал Басаргин,— и есть Старостин, тот ленинградец, о котором вчера докладывал Земляной? Он, кажется работает над проблемой поворота вод Иртыша и Оби в прикаспийские степи».

Басаргин внимательно посмотрел на молодого инженера. Старостин заметил это и слегка покраснел.

Летчик взял курс из Москвы через Куйбышев и Сталинград к Красноармейску, чтобы потом пройти над всей трассой канала. Басаргин хотел посмотреть трассу с воздуха.

Москва, окутанная мглистым утренним воздухом, слабо серебрилась под крылом самолета. Очевидно, после ночного дождя асфальтовые проспекты столицы и сады начали просыхать, и легкий пар, струившийся над ними, наполнял воздух этой мглой. Белые башни высотных домов прорезали мглу, подымались к синеве неба. В их зеркальных окнах пылало только что поднявшееся солнце.

Влажные тени лежали на земле. И в этих тенях, в косом, как бы омытом свете, в сверкании высотных домов и кремлевских звезд было ощущение такой свежести, что Басаргин с наслаждением вздохнул.

Он, почти не отрываясь, смотрел вниз. Только изредка с тревогой взглядывал на кучевые облака, громоздившиеся

на горизонте немного в стороне от курса самолета. Он боялся, что они закроют от него землю. А сегодня Басаргину хотелось только смотреть и смотреть на эту удивительную землю, преображенную руками советского человека. Смотреть так же жадно, до боли в глазах, как он в детстве смотрел из окна вагона на проносившиеся мимо поля и леса.

Сейчас помешать этому могли не только облака, но и его спутники. Они были люди весьма разговорчивые, особенно начальник участка Земляной. Поэтому Басаргин сделал сосредоточенное лицо, как бы что-то обдумывая. Он знал, что тогда помощники оставят его в покое. Так и произошло.

Летчик как будто догадался, чего хотел от него Басаргин. Он описал большую дугу к северу от Москвы. Внизу синели разливы водохранилищ на канале Москва — Волга. Белые створные башни чуть заметно отражались в них, и солнце вдруг сверкнуло на скульптурных бронзовых кораблях одного из шлюзов. Далеко слева отливало слюдой Московское море. Над зеленым кудрявым Угличем опрокинулась радуга.

«Откуда она, когда нет дождевых облаков?» — подумал Басаргин. Он увидел, что радуга переливается, дрожит и сверкает над Угличской плотиной. Там могучий поток Волги, низвергаясь, рассеивал тысячи брызг. И солнце, играя ими, создавало этот радужный блеск.

По Рыбинскому морю северо-западный ветер гнал веселую пенистую волну. Наперерез ей, подымая перед носом белые буруны, шел мощный буксир и тащил вереницу железных барж. На их тонких мачтах были видны с самолета туго натянутые ветром красные флаги — сигнал, что баржи идут с полным грузом нефти.

Потом проплыла внизу Рыбинская гидроэлектростанция, и открылись по горизонту высокие струящиеся дымы новых заводов — гигантов древнего Ярославля.

Летчик слегка отвернул к югу, не теряя из виду Волгу.

Басаргин заметил, что и его спутники, так же как и он, почти не отрываясь, смотрят на землю.

Да и как было не смотреть на эту живую, живописную и могучую карту расцветающей с каждым годом страны! И притом еще в такое синее до глубочайшего блеска, прозрачное и ослепительное утро.

Направо уходила в туман Ивановская область. Басаргин подумал, что если бы стих шум моторов, то, может быть, оттуда, с земли, долетело бы до самолета мерное и непрерывное жужжание тысяч ткацких станков.

Он улыбнулся этой своей мысли и, перегнувшись в кресле, посмотрел наискось в окно. Впереди был Горький. Знакомый вид строительных работ, отвалы земли на берегах Волги на месте Горьковской плотины, штабеля леса в Балахне и баржи, как бы груженные катушками белых ниток. На самом деле то были огромные рулоны бумаги.

Потом кремль, пристани, плоты, пароходы, буксиры, изогнутое волнами стекло реки и зеленый пригородный поселок... Стаи гусей стояли на заросшей муравой улице и, подняв головы к небу, гоготали, разговаривая, должно быть, о том, куда летит самолет.

А в стороне по блестящей маслянистой автостраде шла на Москву колонна новых машин с Горьковского автозавода. Зеркальные отражения от смотровых стекол бежали непрерывной рябью по асфальту.

Улица со стаей гусей! Знакомая улица. И домишко с зеленой крышей — тоже родной и знакомый. В нем Басаргин родился и вырос. Из него он впервые ушел на Сормовскую верфь — работать вместе с отцом.

По Каме около устья тянулись вереницей такие длинные плоты, что нельзя было увидеть их конца: он терялся в тумане.

«Все это к нам, на великие стройки»,— подумал Басаргин.

Чем ближе самолет подходил к местам строек — к Куйбышеву, Сталинграду и Дону,— тем яснее было видно с высоты движение пароходов, плотов, буксиров, самоходных барж, бесконечных запыленных товарных поездов и грузовых машин. Все они двигались в одном направлении — к югу. Туда, где во мгле позднего утра уже угадывалось кипение исполинских работ. Даже дым из труб паровозов ветер нес к югу. И туда же катились, всплескивая на плоты и как бы подгоняя их, волжские волны. И пыль из-под колес бесчисленных машин тоже неслась к югу.

Жигули открылись зелеными, кое-где тронутыми ржавчиной ковригами сглаженных гор.

На западе тонули в золотом свечении хлебов просторы черноземных полей.

Куйбышевское строительство раскинулось внизу, ото-

брав у Волги оба ее берега. Самолет будто парил над ним, потеряв скорость. Это ощущение возникало потому, что фронт работ был огромен,— Басаргин знал, что самолет шел над строительством с обычной быстротой.

Какие-то зеленоватые ленты лежали, извиваясь, на земле рядом с берегами Волги. Басаргин всмотрелся. Не лесные ли это полосы? И тут же Земляной подсунул ему записку: «Новые леса. Если их растянуть в одну линию шириной до трех километров, то они опояшут зеленой полосой экватор».

Басаргин кивнул.

А вот он, старый знакомец, Сталинград! Средоточие титанических работ на Волге.

Сталинград проносился внизу белой картой величавых проспектов, прямоугольниками заводов, коврами пестрых цветов на месте недавних развалин.

Самолет подошел к Красноармейску и отвернул направо вдоль Волго-Донского канала.

Длинный и сухой ров, пересеченный узлами гидротехнических сооружений, с белой россыпью поселков по глинистым берегам и едва заметными впадинами будущих озер, уходил, слегка изгибаясь, от Волги в стекленеющую воздушную дымку на западе.

Только отсюда, с высоты, было видно, как удачно вписан канал в рельеф местности. Трасса канала обходила все трудности, созданные в этих местах природой, и с наибольшей выгодой использовала все естественные преимущества, в частности русла пересыхающих степных речек Сарпы и Червленой. Это привело к тому, что из ста одного километра своего протяжения канал проходил по искусственному ложу только пятьдесят шесть километров.

Самолет летел над каналом к западу. Солнце не било в глаза, и потому панорама земли представала особенно выпуклой и четкой до мельчайших подробностей, вплоть до теней от стрел экскаваторов.

Два горных хребта красной глины тянулись по сторонам выемки от горизонта до горизонта. Это были отвалы грунта со дна канала.

Отсюда, с большой высоты, строительство являло величественную картину. Оно было похоже на старинную, выгравированную на меди и раскрашенную акварельными красками карту. Присмотревшись, можно было различить земляные плотины, решетчатую арматуру будущих бе-

тонных шлюзов и станций. Все это было сейчас то желтоватого, то серого цвета, как бы сохраняя основную раскраску степей — желтой степной травы, желтоватого неба и серых с желтыми подпалинами степных птиц.

Сотни дымков вспыхивали внизу. Ветер уносил их вдаль. Это была пыль от непрерывно сбрасываемой экскаваторами и скреперами земли.

Даже с высоты ощущался равномерный пульс работ. Все строительство трудилось, как единое, живое существо, выдыхая изо всех своих пор клубы дыма, пыли и пара. Степь затягивалась дымкой строительных работ и как бы переставала существовать сама по себе. Она была теперь только гигантской площадкой для деятельности людей.

Долина Дона являла собой странное зрелище. Она напоминала дно огромного высохшего озера, где только посередине протекал ручей. Это впечатление создавалось оттого, что станицы были уже отодвинуты от реки вглубь, на берега будущего Донского моря, и между ними лежала широкая сухая впадина — приготовленное человеком морское дно.

Потом открылось Цимлянское строительство. Исполинский кратер котлована был усеян живыми черными точками — людьми и машинами. Колючие звезды сварки резко вспыхивали в пыли. Портальные краны бежали по рельсам вдоль массива плотины. Зеленоватый цементный туман висел над мощным бетонным заводом.

Летчик шел на снижение. Стали отчетливо видны люди, дороги, даже дрожащие от ветра кусты акации.

СЛЕДОПЫТЫ

Худощавый человек в куртке цвета песка достал из заднего кармана брюк записную книжку, перелистал ее, нашел чистую страницу и начал что-то записывать тонким, как соломинка, карандашом. Вагон качало, но человек писал, не отрываясь.

— Мама,— сказала в соседнем отделении девушка лет семнадцати, с подобранными на затылке темными косами.— А мама!

— Что тебе, Леля?

— Ты заметила? Он все время что-то записывает. Он, должно быть, писатель, мама.

— Нет! — громко сказал человек в куртке.— Я не писатель. Я работаю на Волго-Донском канале. И фамилия у меня совсем не писательская — Карпов.

— А что вы записываете? — спросила Леля и так улыбнулась, что даже солнце как будто померкло на желтых стенках вагона.

— Леля! — воскликнула пожилая женщина со смуглым лицом.— Что с тобой? Как тебе не совестно!

— А что же я такого сказала, мама? — удивилась девушка.

— Привычка,— ответил Карпов и заглянул в отделение к Леле.— Просто привычка записывать все, что я хочу запомнить. Всем советую этим заниматься, товарищи.

— Котельниково! — прокричала проводница. Она шла по вагону с веником и мокрой тряпкой в руках.— Стоянка пятнадцать минут!

Поезд начало заносить на стрелках. Желтая степь сразу оборвалась. Вместо нее пролетела за окнами избитая осколками бетонная стена. Промчались черепичные крыши и пыльные вершины акаций. Поезд проскакивал мимо горячих, блещущих маслом паровозов. Они стояли на запасных путях и швыряли к небу короткими рывками клубы плотного пара. Потом по сторонам поезда начали нестись, пощелкивая и грохоча, бесконечные платформы с крупной галькой.

Леля высунулась в окно. В него врывался раскаленный воздух с удивительным запахом морских камней.

«Откуда здесь этот запах?» — подумала Леля и тут же догадалась, что так, должно быть, пахнет галька на платформах. Эти красные пыльные платформы принесли сюда, в Сальские степи, за сотни километров от моря, воздух Черноморского побережья.

— Мама,— сказала Леля,— отвернувшись от окна,— послушай. От гравия, кажется, пахнет морем.

— Это гравий для канала,— объяснил Карпов.— Его действительно везут с берегов Черного моря. А через год свое, Донское море подойдет к этому поселку.

— Разве оно дойдет до этих мест? — недоверчиво спросила Леля.

— Дойдет. Здесь образуется большой залив. Вон там, где стоит грузовик с пустыми ящиками, кажется, будет берег.

— И вовсе не там,— сказал, осторожно слезая с верх-

ней полки, пожилой человек в черном пиджаке с двумя орденами Красной Звезды.— А вон там, в балочке.

— В какой балочке? — живо спросила Леля.

— Да вон в той. Где пасется теленок.

— Откуда вы можете знать,— задиристо спросил пожилого человека обитатель верхней полки — вихрастый студент-филолог в толстых очках,— что берег будет именно там, где пасется теленок, а не там, где стоит грузовик?

— Да здесь каждому школьнику это известно,— невозмутимо ответил пожилой человек.— Можете сами убедиться. Пойдете, наверное, на станции в буфет, так по дороге спросите любого мальчишку. Он вам все объяснит досконально.

— Ну что ж, и спрошу! — ответил юноша с оттенком угрозы в голосе.

Поезд остановился. Пожилой человек достал с полки пыльный чемодан и брезентовый плащ, попрощался и пошел к выходу.

— Послушайте,— сказала Леля студенту в очках,— пойдемте, правда, на станцию и спросим первого попавшегося мальчишку. Хорошо?

— Идет! — ответил студент и с грохотом соскочил с полки.

Они вышли на платформу. Зной заливал станцию, поселок и степь.

На платформе, как назло, не оказалось ни одного мальчишки. Леля со студентом побежали искать их на привокзальную площадь.

Посреди площади росли в сквере акации. Они уже отцвели. На ветвях висели большие зеленые стручки. Около акаций из зарослей бархатцев подымалась деревянная пирамида с надписью: «Вечная слава верным сынам нашей Родины, павшим в боях с фашистскими захватчиками».

Невдалеке от пирамиды двое мальчишек пили воду из водопроводного крана, торчавшего прямо из земли. Лица и рубахи у них были совершенно мокрые.

— Орлы! — сказал им студент.— Следопыты! Известно ли вам, до какого места дойдет здесь будущее Донское море?

«Следопыты» перестали пить воду и с недоумением уставились на Лелю и студента. Потом мальчик постарше основательно вытер лицо подолом рубахи и сказал младшему:

— Да ты не пугайся, Тарас. Это ж артисты. А до какого места достигнет море, нам известно. Только отсюда не видно: вокзал закрывает. Там, за путевой будкой, есть балочка, а в ней стоит дикая груша. Так мы давно уже высчитали, что вода дойдет в самый раз до той груши.

— Кто это «мы»? — спросила Леля.

— Да все наши хлопцы из школы.

— Вот видите,— сказала Леля студенту,— груша как раз растет там, где пасется теленок. Он даже привязан за веревку к этой груше.

— Это не имеет никакого значения,— с досадой ответил студент.

Мальчишка вытащил из кармана листок бумаги в клетку, вырванный, очевидно, из тетради.

— Гляньте сюда! Тут все обозначено.

На листке была нарисована химическим карандашом довольно грубая карта длинного залива. У этого залива был не один берег, а несколько, даже, пожалуй, довольно много берегов. Все эти берега сохраняли одну и ту же извилистую линию, но все больше и больше отступали в глубь степи, где чернел квадрат с надписью «Котельниково». Около квадрата последний берег был прочерчен синим жирным карандашом.

Вообще рисунок был очень рябой. В иных местах, когда химический карандаш слюнили, линии становились яркие, ядовитые и даже расплывались. В других местах линии были тощие и едва заметные.

— Что это за абракадабра? — спросил студент.— Леля, слушайте звонки. Как бы нам не остаться.

— Да поезд ще будет стоять не меньше как десять минут,— успокоил его мальчишка.— Это не кадабра, а карта. Тут все отмечено с того дня, как запрут в Цимле плотину и вода начнет подыматься. Отмечено по дням. В первый день вода дойдет вот сюда, гляньте! — Мальчишка показал на первую линию берега.— Во второй она дойдет до второй полосы. А синий берег — это уже окончательный, вечный.

— Здорово! — сказала Леля.— Ты сам это придумал?

— Не! — весело ответил мальчик.— Суслик за меня придумал. Сидел цельный день около своей норки и гадал: затопит ее или нет? И вот надумал нарисовать такую карту. Чтобы вода не захватила его как-нибудь посередь ночи.

— Однако ты зубастый,— сказала Леля.

— Да нет! — Мальчик широко улыбнулся.— Я не зубастый. Только никто мне не верит. А я, честное пионерское, никогда не брешу.

— Не, Степка не брешет,— строго сказал хриплым голосом младший мальчик.— Он не такой. Он даже письмо написал начальнику канала. Чтобы дали нам точный ответ, когда запрут Дон.

— А зачем это вам нужно?

— А то как же! С этого дня мы начнем следить за водой. И вешки ставить по краю берега. Вот только они там, в Цимлянской, тянут и тянут.

— То есть как это тянут? — вдруг рассердился студент.— От горшка три вершка, а тоже бросился в критику!

— Так и тянут,— убежденно ответил младший мальчик.— Еще цельный год ждать. Разве это мыслимо!

— Ничего, подождете! — беззаботно сказала Леля и вдруг схватила студента за рукав. На платформе продребезжал второй звонок.— Скорей! Спасибо, мальчики!

Леля с филологом промчались через прохладный, выкрашенный в оливковый цвет пассажирский зал, выбежали на платформу и едва успели вскочить в вагон, как поезд тотчас же тронулся.

Леля, счастливая, раскрасневшаяся, ворвалась в свое купе, и мать ее Анна Петровна, взглянув на дрожащие от сдержанного смеха Лелины губы и потемневшие серые глаза, только покачала головой и не сказала ни одного из тех слов, какие в таких случаях принято говорить. Не сказала, что это — безобразие и неосторожность, что ей, Леле, уже семнадцать лет, что она взрослая девушка и должна понимать, что поезд не станет дожидаться, пока она будет, как безумная, носиться по вокзалу.

Пассажиры так же, как и Анна Петровна, были настроены благодушно. Поезд шел из Сталинграда в Новороссийск. А ведь всем известно, что некоторые железнодорожные маршруты связаны с приподнятым настроением у пассажиров. В особенности маршруты, выносящие тяжелый состав к черноморскому прибою, к белым вокзалам, где по стенам шевелятся от бриза тени листьев и густой гудок морского теплохода перекрывает торопливые свистки паровозов.

Анна Петровна Галаган ехала с Лелей из Саратова в Новороссийск, а оттуда еще дальше — в небольшой поселок на Кавказском побережье.

У Лели только что начались летние каникулы. Анна Петровна приноровила к ним свой отпуск.

Сначала она думала отдохнуть у себя на родине, в рыбачьем колхозе под Таганрогом. Там доживал свой век ее отец, Петр Софронович Галаган, совсем уже дряхлый старик, бывший рыбак. Но подруга Анны Петровны — с ней она вместе училась в институте — зазвала ее к себе в поселок на Кавказ. Там у подруги была своя маленькая дача. И Анна Петровна решила поехать па Черное море, а уж на следующий год съездить к отцу.

Глядя на Лелю, Анна Петровна думала: «В кого она пошла такая бурная, ласковая и смешливая? Дед был человек кроткий. Бабушка, говорят, тоже была тихая, молчаливая». Ее, свою мать, Анна Петровна почти не помнила. Она умерла молодой. Отец Лели — геолог — погиб во время экспедиции на Байкал, еще в 1938 году, когда Леле было всего три года. Был он человек веселый, но медлительный и спокойный.

Думая о Леле, она, как это часто бывает, забыла о себе. Леля пошла в нее, в Анну Петровну. Но не в теперешнюю сорокалетнюю женщину, а в ту порывистую и пытливую девочку, какой она была когда-то. Росла она с отцом, с малых лет работала по дому, и долгое время единственной ее радостью была затрепанная книга русских сказок.

Научил Анну Петровну, тогда еще Ганну, читать старый отставной учитель из Таганрога Николай Петрович Липецкий. По бедности своей он не мог ездить летом на дачу в Карантин, а снимал до самой осени за пять рублей чистую каморку в хате отца Ганны.

Николай Петрович привозил с собой всякие удивительные вещи. То были старый, порыжевший бинокль, толстая книга с рисунками всевозможных деревьев и животных и красивая большая карта Азовского моря. Море на ней было нестерпимо синего цвета, а в правом углу на желтой полосе песчаного берега была даже отмечена коричневым кружочком Петрушина коса.

Как только Николай Петрович приезжал, он вместе с Ганной прибивал к шесту во дворе флюгер, а на стене хаты вешал в тени термометр и барометр. И начиналась интересная и таинственная жизнь.

По нескольку раз в день Николай Петрович записывал в тетрадку, откуда и с какой силой дует ветер (а ветров на Азовском море было много: трамонтана, низовка, гирловой, верховка, левант, керченский и горишняк), записывал, какие в небе стоят или быстро бегут облака, волоча за собою по морю сизые тени, жарко ли греет солнце, идут ли мимо берега косяки рыбы и на какой глубине, какие расцвели в степи травы, что за птицы поют по балочкам, был ли утром туман, и выпадала ли вечером роса. Николай Петрович собирал разные травы и засушивал их между страницами книг. Ганна ходила с ним в степь искать эти травы.

Николаю Петровичу она рассказывала все свои горести и выдумки. Он никогда не сердился, как отец, не говорил, что она цокотуха и балаболка, а только тихонько смеялся, глядя на ее разгоревшееся от волнения лицо.

Выпадали дни, когда Николай Петрович записывал в тетрадку любимое свое слово «штиль».

Полный штиль! Что это были за дни! Они расцветали из голубоватого тумана, как легкие золотые цветы, и цвели в тишине до заката. Море боялось плеснуть даже самой малой волной. Оно только медленно вздыхало, подымая в чистой воде стебли подводной травы. Далеко за горизонтом стоял высоким столбом белый дым из трубы парохода. Но самого парохода не было видно.

Слабый звон лился над степью. Как будто звенел весь этот чистый и ласковый свет. Или то звенели жаворонки и кузнечики? Или звенела жара? Кто его знает!

Ганна расспрашивала Николая Петровича, зачем он записывает в тетрадку все, что меняется в воздухе и воде. Для чего это надо? Николай Петрович объяснял ей, что все это вместе называется климатом, что надо изучать климат, потому что придет когда-нибудь пора, когда люди научатся менять его и делать таким, как это нужно для процветания земли. И тогда, может быть, его тетрадка понадобится ученым.

Ганна все хотела спросить Николая Петровича, что такое «процветание», но не решалась. Ей думалось, что процветание — это земля, густо покрытая, как ковром, всякими цветами — не только портулаком и «кручеными паничами», как во дворе у соседки тетки Горпыны, но даже сиренью и розами. Эти цветы Ганна видела однажды в городском саду в Таганроге. И так и ахнула, так и простояла

около них неизвестно сколько времени с полуоткрытым от восхищения ртом.

Когда Ганна подросла, Николай Петрович устроил ее в школу в Таганроге. Ганна на зиму переехала в город к Николаю Петровичу. Старый учитель шутил, что теперь в его темноватой комнате вырос маленький подсолнух. А отец Ганны так долго благодарил Николая Петровича, что тот в конце концов рассердился, даже затопал ногами и чуть его не прогнал. Едва они помирились.

Николай Петрович умер, когда Ганна была уже в четвертом классе. Тогда оказалось, что Николай Петрович оставил отцу Ганны по завещанию свои небольшие сбережения, с тем чтобы на эти деньги она окончила школу.

После школы Ганна окончила институт — это было уже при Советской власти,— стала метеорологом и начала работать над изучением климатов.

Анна Петровна очнулась от своих воспоминаний и услышала, как Карпов говорил Леле и студенту:

— Я еду на несколько дней в Новороссийск на тамошние заводы договориться о новой марке для некоторых сооружений на канале.

— Какая такая марка? — спросила Леля.

Филолог фыркнул, а Карпов спокойно ответил:

— Новая марка цемента. Новый сорт. Вообще, должен вам сказать, молодые люди, что открытие цемента сыграло в жизни человечества не меньшую роль, чем открытие электричества. В наших строительствах цемент и электричество решают все. Это главная сила.

— Допустим, что так,— снисходительно согласился студент. Он был в том неспокойном возрасте, когда берут под сомнение все, вплоть до таблицы умножения.— Допустим, что это так,— повторил юноша и блеснул глазами из-под толстых очков, готовясь к нападению.— Но ставить знак равенства между двумя такими разными категориями, как цемент и электричество, это по крайней мере...

— Что вы пристаете к товарищу Карпову! — нетерпеливо сказала Леля.— Совсем это никому не интересно.

— Что же, по-вашему, интересно? — явно придираясь, спросил филолог.

— Мне, например, гораздо интереснее расспросить про канал.

— Ну и расспрашивайте.

— Какой смысл вам ссориться? — сказал Карпов.— О строительстве разве расскажешь! Это надо самому увидеть, своими глазами.

— Ну все-таки,— сказала умоляющим голосом Леля,— что, по-вашему, самое важное?

— Все! — ответил Карпов.— Все интересно. Все важно. И все замечательно. Меня, конечно, в первую очередь интересуют люди. Я с ними работаю.

— А позвольте узнать, в какой области? — спросил необыкновенно вежливо филолог.

— Догадаться нетрудно,— ответил Карпов.— Особенно при исключительной вашей осведомленности обо всем на свете.

— Вы партийный работник?

— Допустим, что так.

Карпов помолчал, посмотрел за окно. Оттуда врывался в вагон жаркий и липкий, как клей, воздух. Карпов вздохнул и медленно заговорил:

— Представьте себе глубокое русло реки, где нет еще ни капли воды. Вообразите себе эту пока еще сухую реку, что протянулась через степь от края до края. Глина на ее берегах растрескалась. Из трещин торчит колючая, как проволока, трава. Она перегорела от солнца и рассыпается под пальцами в бурый порошок. Все ждет воду: земля, трава, даже небо, выгоревшее от жары до грязного серого цвета. В тех местах, где хозяйничали пыльные суховеи и черные бури, сейчас бушует последняя пыльная буря. Она вызвана человеком. Тысячи машин кромсают и режут землю и подымают пыль до самого неба. И вот, представьте, какое нужно мужество, какая вера в будущее и сила воли, чтобы так упорно подымать на дыбы эту проклятую степь, сопротивляться совершенно невообразимому унынию тамошних мест и идти все вперед, все глубже в эти скифские глины.

— Это у вас тоже записано в книжке? — спросила Леля.

— Нет. Это я так, вообще...— неопределенно ответил Карпов.— Я записываю только цифры и факты.

Карпов раскрыл записную книжку и перелистал ее:

— Вот, например... Вы всюду видите плакаты и надписи о том, что стройки коммунизма — всенародное дело. Это, конечно, точное, но общее выражение. В свободное время

я начал составлять список всех городов и заводов Советского Союза, что работают на строительство канала и помогают ему. Выписал около трехсот городов и заводов и бросил. Нет никакой возможности их перечислить, от Мурманска и Свердловска до Одессы и Баку. И от Ташкента и Новороссийска до Ленинграда и даже до крошечного городка Зугдиди. Тамошние школьники прислали на строительство семена кавказского дуба, акации и золотого дрока, чтобы посадить эти деревья по берегам канала.

— Это очень здорово! — сказал студент, но тотчас спохватился и добавил, стараясь придать своему голосу оттенок обычной язвительности: — Хотя дуб, кажется, не водится около Зугдиди.

Карпов взял студента за плечи и легонько встряхнул его. Студент, глядя на Карпова, покраснел и смущенно засмеялся.

Леля вспыхнула, хотела вмешаться, но сдержалась. Она не сказала ни слова этому вихрастому несносному юноше и только потом шепотом жаловалась на него матери.

— Подумаешь,— возмущенно говорила она,— какой гений! Терпеть не могу заучившихся мальчишек!

Вскоре все в вагоне притихли, а многие и заснули, измученные духотой. Заснули Анна Петровна, Карпов, и в конце концов угомонился и «заучившийся мальчишка».

Только Леля, лежа на верхней полке, смотрела, не отрываясь, на степь, на суетливых сусликов, на охряную мглу и на грузовик, что мчался, виляя и вздымая тучи коричневой пыли, по дороге рядом с поездом и ни за что не хотел отставать.

Леля видела напряженное лицо молодого шофера, судорожно вцепившегося в руль. Она улыбнулась ему и помахала рукой. Шофер высунулся из кабинки, начал махать левой рукой вслед поезду, не выпуская из правой руль, потом потерял скорость и отстал.

Поезд скрылся в пыли. Шофер остановил машину, чтобы проверить свечи, и долго еще улыбался, вспоминая девушку в окне вагона.

Очевидно, этот шофер не знал о воспетой поэтами тоске мимолетной дорожной встречи. Если бы он знал об этом, то, наверно, подумал бы, что поэты понимают, что к чему, и умеют заглянуть в самую глубь человеческого сердца.

Кончив работу, шофер вдруг покраснел, с грохотом захлопнул капот, ударил по нему кулаком, вскочил в кабину и дал машине такой газ, какого она еще не знавала за всю свою многострадальную жизнь в степном совхозе.

Случилось все это потому, что шофер внезапно сообразил: до станции Зимовники всего пять километров, а в Зимовниках пассажирский поезд Сталинград — Новороссийск стоит двадцать минут. Если бы не эти проклятые свечи, он мог бы догнать поезд на станции и как бы между прочим пройтись около вагона и еще раз улыбнуться девушке, как старой знакомой.

— Вот, черт, обштопал самого себя! — бормотал шофер и гнал машину, подскакивая на ухабах до потолка кабины.

Но в Зимовниках он поезда уже не застал. После этого он обошел машину со всех сторон, подозрительно оглядел ее, ударил изо всей силы сапогом по туго надутому колесу и сказал:

— Не ждал я, старая, что ты меня так подведешь! А я с тобой еще панькаюсь, как с малым ребенком!

Чтобы рассеять дурное настроение, шофер вытащил из кармана измятую пачку папирос «Волна» и закурил.

А Леля все еще лежала на верхней полке и смотрела в окно.

Вдали над степью подымалась серая туча.

— Вот хорошо! — вздохнула Леля.— Кажется, будет дождь.

Туча быстро росла, набухала и уже заволокла солнце. Цвет его сделался желтым и грязным.

«Пойти, что ли, умыться»,— подумала Леля, соскочила с верхней полки и потянулась за полотенцем. В это время ей запорошило глаза бурой пылью, ворвавшейся в окно.

Песок зашипел по стенкам. Взвизгнули и завыли жестяным воем вентиляторы на потолке вагона.

— Окна закрывайте! — крикнула проводница, борясь с одним особенно упорным окном.

Снаружи уже ревела пыльная буря. Казалось, что поезд, оторвавшись от земли, летит вместе с этим песком и пылью в мутную даль.

Встревоженные пассажиры просыпались, вскакивали, спрашивали, что случилось.

Изредка в желтой мгле возникали черные земляные смерчи. Они неслись наискось, обгоняя поезд. Даже сквозь стенки вагона проникал их тяжелый гул. Смерчи летели,

подымая к небу десятки сухих шаров перекати-поля, мертвых полевых мышей и птичий пух.

Один смерч с размаху налетел на вагон. Задребезжали стекла. Пыль вырвалась длинными струями из всех щелей и вентиляторов. Поезд заметно сбавлял ход. Он тяжело скрежетал. Должно быть, рельсы уже перехватывало песчаными заносами.

Пыльная буря прошла так же внезапно, как и налетела. Но после нее еще долго висела в воздухе жгучая мгла. Болело горло. В висках туго и медленно стучала кровь. Очень хотелось пить. И все пассажиры без конца глотали мутноватый чай и дружно завидовали старому, седому кавказцу в черкеске — обладателю огромного бугристого лимона.

Мимо Краснодара поезд проходил на рассвете. Леля спала и не видела степного рассвета, не видела, как солнце сверкало в окнах далекой станицы за Кубанью.

Анна Петровна проснулась задолго до Краснодара и все колебалась, разбудить ли ей Лелю. Но Леля спала так спокойно и в ее ресницах роились, казалось, такие хорошие сны, что Анна Петровна не стала будить дочь.

Но за час до Новороссийска Анна Петровна все же решительно подняла Лелю. Когда поезд, прогремев по туннелям, вырвался наконец из желтых гор и как-то с размаху во всю свою даль и синеву развернулось море, Леля бросилась к окну, вскрикнула, потом оглянулась на мать, и в глазах ее Анна Петровна увидела неожиданные слезы.

А море росло вдали, туманное, как синяя туча. Над его синевой проступали нежные — золотые и розовые — облака, будто там, в небе, сверкала та сказочная страна, какую Леля только что видела во сне.

Анна Петровна с легкой грустью и вместе с тем с радостью смотрела на дочь. Как она была хороша в своем смятении перед прекрасным и всегда необыкновенным зрелищем моря!

ПЫЛЬ

— Что такое земля — это надо понимать. А понимание дается, конечно, опытом. Разная бывает земля. И по-разному она себя выказывает под резцом машины. Бывает такая земля, что даже скрепер с трудом ее берет, на что уж у скрепера толстый стальной нож. Например, красная

здешняя глина. По ней пройдешь резцом, так она заблестит и заиграет, как зеркало. Хоть смотрись в нее и причесывайся. Не почва, а кирпич. Чтобы ее поднять, надо вперед пустить разрыхлитель — тяжелый барабан с шипами. Он ее разобьет, разроет, и тогда только можно идти по ней скрепером. Глина эта очень тяжелая, плотная, и даже удивительно, как на такой почве вырастает трава.

Клава Гусева откинула со лба прядь волос и улыбнулась. Участники собрания — водители землеройных машин — тоже заулыбались, думая, что Клава скажет сейчас что-нибудь интересное. Но Клава, помолчав, сказала:

— Да разве это трава, товарищи! Это же не поймешь что! Одни занозы! Вот на моей родине трава — по самые плечи. Как зацветет, все глаза проглядишь!

— А ты сама откуда? — спросил из задних рядов до черноты загорелый юноша в пыльном берете.

— Из-под Калинина. Бывало, пошлет меня мать утром в луга за щавелем. В травах прохлада еще прячется. И еще не подобрало солнце росу. Так, правда, будто искупалась ты в этих лугах, как в реке.

— Лучше алтайской травы нету на свете,— сказал с места угрюмый водитель бульдозера.— Гущина́! Машины ее не берут, ломаются. Я сам две машины запорол на той алтайской траве.

— Гусева, ближе к делу! — недовольно крикнул экскаваторщик Прохоров.— У нас не вечер воспоминаний!

— А разве я не про дело говорю? — спросила Клава, и глаза ее сердито заблестели.— Скуку разводишь, Прохоров!

— Объясни,— насмешливо попросил Прохоров.— Не понимаю.

— И объясню,— ответила Клава.— Как раз вчера, к примеру, мы целину подымали на шестнадцатом участке. Там поблизости поселок. Ну, конечно, прибежали из поселка детишки, обступили машины. Глаза у них так и горят. Как огоньки, честное слово! Старшие держат на закорках младшеньких, чтобы и они видели, как мы работаем. Смеются. Да и как не засмеяться навстречу такой хорошей машине! Ну, конечно, и ты улыбнешься им в ответ, шутку какую-нибудь кинешь! Да! А Прохоров сидит на своем экскаваторе, как статуя. Лицо железное, и глаза деревянные. «Я, мол, при исполнении своих сверхответственных заданий. И у меня на сердце в таких государственных обстоятельствах ничего шевельнуться, конечно, не может». Так,

поверите ли, вместо того чтобы посмеяться вместе с детьми, он взялся кричать: «Увести детей! Им здесь не место!» Стыд и срам, честное слово!

Водители засмеялись.

— Пустяками занимаешься, Гусева,— сказал ледяным голосом Прохоров.— Шутовством.

— Ну, уж это ты извини! — гневно ответила Клава.— Насчет пустяков. Я как посмотрю на эту степь, на эту сухость ужасную, так у меня каждый раз падает сердце. Как же, думаю, люди здесь до сих пор жили! Земля здесь как золото, только отняли у того золота блеск, а по-нашему сказать, воду. Нет! — Клава повернулась к Прохорову.— Смейся ты надо мной или не смейся, а я тебе скажу: наше дело такое, что его без сердца не выполнишь!

— Ты к характеру человека не цепляйся, если он исправно работает! — сердито закричал юноша в пыльном берете.

А Прохоров спокойно ответил со своего места:

— Ты, Гусева, поживи с мое, тогда на старшее поколение и наскакивай. А то хорохоришься на пустом месте!

— Ладно, ладно! — ответила Клава.— И про траву я вспомнила вовсе не зря. Надо ясную мысль держать в своей голове и вперед ее видеть и как бы воображать. Вот я и воображаю, как зацветет-заиграет эта степь, когда мы закончим канал. Что же касается вопроса о зимней работе, когда от мороза закаменеет земля, то без разрыхлителей с этой глиной не справишься. Каждым двум-трем скреперам нужно дать в подмогу по одному разрыхлителю и на этом настаивать. И про осеннее время есть у меня тоже одно маленькое соображение. Бывает, что тракторы буксуют в грязи на дне канала и никак не тянут за собой скрепера. Роешь гусеницами землю на одном месте, месишь ее, как тесто, без всякого толку. А время идет. Так вот я предлагаю в такую погоду брать трактор со скрепером на буксир второго трактора. Поставить второй трактор на сухом месте, зацепить буксующий трактор тросом и работать двойной тягой. Тогда дело пойдет.

— Это, пожалуй, верно,— сказал Прохоров, но его слова потонули в общем шуме одобрения.

Клава откинула со лба несносную прядь волос, подошла к открытому окну и села на подоконник. Из степи дуло теплым ветром. И тут только Клава заметила, что среди скреперистов сидит с каким-то незнакомым челове-

ком начальник участка инженер Земляной. И услышала, как Земляной сказал незнакомому человеку:

— Девушка с характером!

Клава только повела плечами. Чудак этот Земляной! Хороший партиец и инженер, требовательный и знающий, но любит иногда разговаривать словами из кинокартин, опер и книг. Что за привычка такая!

Действительно, инженер Земляной разговаривал именно так. Когда по утрам к нему сходились помощники с докладами о предстоящей работе, он встречал их неизменным вопросом: «Что день грядущий нам готовит?»

Эта манера Земляного разговаривать настораживала новых людей. Но они быстро привыкали к ней, и она даже начинала им нравиться. Здесь не было и следа той сверхделовой сухости, которая, по мнению иных начальников, является единственным способом общения с подчиненными.

Пока Клава разглядывала сидевшего рядом с Земляным рыжеватого молодого человека в сером костюме и гадала, кто он такой, по комнате прокатился веселый гул: к столу продирался толстый и красный от негодования производитель работ на плотине товарищ Гармаш.

О таких, как Гармаш, принято говорить, что они «горят» на работе. И Гармаш в полном смысле этого слова горел. Он кричал, приходил в отчаяние, так же бурно радовался, тряс собеседника за плечи, жаловался и неистово требовал исключительного внимания к своему участку.

Маленькая порыжевшая кепка с пуговкой на макушке едва держалась на голове у Гармаша.

Гармаш снял кепку и швырнул на стол. От кепки поднялось облако пыли. Тогда Гармаш закричал:

— Товарищи! И, кстати, товарищ начальник!

Гармаш кричал, как в степи. Он привык надсаживать голос, чтобы перекрикивать грохот скреперов и экскаваторов.

— Я вас спрашиваю, товарищ начальник, может ли у нас на строительстве находиться человек без малейшего намека на совесть?

Гармаш в упор посмотрел на Земляного. Земляной только загадочно улыбнулся. Тогда Гармаш пришел в полное негодование и ударил кулаком по столу. Стакан на столе вздрогнул от неожиданности и звякнул, стукнувшись о графин.

— А такой человек определенно есть! — закричал Гармаш.— Есть! Такой, можете себе представить, бобик и доставала! Я говорю про товарища Зензинова, моего соседа по объекту. Поменьше бы таких соседей мне иметь в жизни, так я бы, может, прожил сто с небольшим лет. И не знал бы, почем кило лиха!

— На что жалуетесь, товарищ Гармаш? — невозмутимо спросил черный юноша в пыльном берете.

Все рассмеялись. Но Гармаш юноше не ответил.

— Долги надо отдавать! — закричал он со слезой в голосе.— Долги! Мыслимое ли дело, чтобы я или кто другой занял у человека кровный рубль и отказался отдать! Да мне бы все вслед плевали, как самому последнему человеку на земле! А Зензинову все можно. Зензинов занял у меня еще зимой десять тысяч кубов привозного грунта. Крупнозернистого дубовского песка. Это же дефицитный материал,— вы понимаете. Взял этот песок из моей нормы. Занял и клятвенно обещал вернуть через месяц. И вот уже полгода, как не отдает. Да еще и прячется от меня, вражий сын! Вот и здесь, на совещании, я его что-то не вижу. А мне этот песок сейчас нужен для плотины, как воздух. Мне план надо выполнять или нет? Я вас спрашиваю, товарищ начальник.

— Еще как надо,— спокойно сказал со своего места Земляной.

— Так будьте настолько любезны, прикажите Зензинову вернуть мне песок. Вот, говорят, Зензинов — хороший производственник и общественный работник. Может быть, оно и так. Но прямо скажу, такого увертливого товарища я лицом к лицу еще не встречал.

Гармаш замолчал, отдуваясь.

— Так как же, товарищ начальник? — спросил он тонким голосом и просительно улыбнулся.— Какое будет ваше решение?

— Вы что же,— спросил Земляной,— хотите сказать, что Зензинов положил ваши десять тысяч кубов песка себе в боковой карман? Или они пошли в дело?

— Ну, ясно, пошли в дело. Кто же об этом спорит!

— Ну и баста! — решительно сказал Земляной.— Выполняйте план без расчета на эти кубы. Некогда нам сейчас заниматься отдачей долгов.

— Что же мне теперь делать?! — горестно воскликнул Гармаш.

— «Пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу». Знаете такое выражение? А кроме того, и первее всего остается — работать! И наипаче всего не забывать, что вы с Зензиновым делаете одно дело. И что сотни лет люди бесплодно мечтали об этом канале. Понятно? Или нет?

— Понятно! — согласился Гармаш, виновато рассмеялся и надел пыльную кепку.— Мне просто обидно было, что Зензинов меня, как цуцика, обкрутил. А работа за нами не станет, товарищ начальник.

— Это я знаю. Погодите, товарищ Гармаш. Здесь у нас гость из Ленинграда. Инженер Старостин. Он разрабатывает проект нового гидротехнического сооружения. Оно будет гораздо масштабнее нашего.

— Ого! — сказал кто-то в углу.— Нас перекрыть не так уж просто!

— Так вот. Товарищ Старостин приехал к нам, чтобы подробно ознакомиться со строительством и нашими способами работы. Для начала покажите ему плотину...

Земляной обвел глазами комнаты и остановился на Клаве. Клава отвернулась и начала очень внимательно смотреть за окно, где как раз ничего интересного не было, а только стоял запыленный «газик» и шофер протирал его тряпкой.

— И товарищ Гусева тоже с вами пойдет,— сказал Земляной.— Так сказать, представительницей от передовых скреперистов. Ей это полезно!

«Какой памятливый этот Земляной!» — подумала Клава и с благодарностью посмотрела на Земляного. Запомнил, как она ему говорила, что собирается после строительства учиться, с тем чтобы стать инженером-гидротехником.

Но вслух Клава только сказала:

— У меня пропуска нет на плотину.

— «Разве для девушек двери затворены, входы заказаны?» — спросил Земляной.— Ничего! Устроим.

Когда Старостин, Гармаш и Клава вышли из длинного деревянного дома управления, к ним подошел сменившийся с работы подавальщик бетона Кондратий Сидоренко.

— Заранее извиняюсь за беспокойство,— сказал он,— но только разрешите и мне с вами пойти. Потому что я стариннейший здешний житель. Я в этих местах обитаю еще с той поры, когда люди и в уме не держали, что тут

будет канал или орошение. Так что кое-что касаемо прошлого я тоже могу рассказать.

Старостин оказался человеком спокойным и молчаливым. Он только расспрашивал, но сам говорил мало. Улыбался он хорошо, немного застенчиво и был вежлив — всегда пропускал Клаву вперед. А непривычная к этому Клава очень смущалась.

Старостин расспрашивал Гармаша о плотине, новых способах бетонирования, о насосной станции и иглофильтрах, а Клаву — о работе скреперов. Клава удивлялась. Ей было совершенно ясно, что Старостин — крупный инженер и проектировщик — знает гораздо больше, чем Гармаш, а между тем входит во все мелочи их строительной жизни.

Гармаш называл много цифр — просто сыпал ими, как горохом. Клава привыкла, что прорабы любят уснащать ими свою речь, и потому опять удивилась, когда Старостин намекнул, что с цифрами надо обращаться осторожно, и тем осторожнее, чем более грандиозными числами мы оперируем в своих проектах и в работе.

— Ясное дело! — согласился Гармаш, хотя Клава была уверена, что он не совсем понял Старостина.

— А вот наш секретарь партийной организации товарищ Карпов,— сказала Клава,— человек по части цифр просто замечательный. Чуть что, сейчас же заглянет в свою записную книжку и так расскажет про цифры, что их потом всю жизнь помнишь. Он недавно подсчитал, что семнадцать человек экипажа большого шагающего экскаватора за первый год работы вынули столько земли, что семнадцати простым землекопам понадобилось бы для этого пятьсот лет.

Клаве Старостин понравился еще и тем, что замечал вокруг все интересное — не только сооружения и машины.

Когда они стояли на плотине, Старостин, глядя, как солнце спускается к краю степи и весь запад горит золотым сиянием, сказал:

— Смотрите, как хорошо! Какая сила света!

Гармаш заметил, как бы извиняясь, что свет несколько мутноват по той причине, что над строительством висит пыль, а Клава закивала и заулыбалась. Действительно, очень хорошо было сейчас в степи. Стрелы экскаваторов чернели на полосе заката, как мачты океанских кораблей. А Сидоренко вежливо покашлял и добавил:

— Свет по степу льется широко, без всякого препят-

ствия. Солнце покамест за день всю степь обойдет, так, надо думать, совсем притомится.

Старостин засмеялся и начал расспрашивать Сидоренко о его жизни. Гармаш попрощался и ушел, а Клава осталась. Тогда Сидоренко наконец решился и пригласил Старостина и Клаву к себе. Хата Сидоренко стояла на склоне балки, па окраине степного поселка.

Старостин согласился, и они пошли к поселку целиной. Небо гасло, лиловело. От степи пахло чабрецом, и кое-где уже проступали из глубины меркнущего неба огни созвездий.

В хате Сидоренко среди комнаты стояло в кадке, касаясь ветками потолка, раскидистое дерево с бледными листьями — «китайка».

Старуха, жена Сидоренко, тихо улыбалась, поглядывая на гостей, и все расправляла складки на вышитой крестиком скатерти на столе, гладила скатерть сморщенной загорелой рукой.

— Дети наши,— сказал Сидоренко,— разлетелись по всему советскому свету, но, однако, теперь обратно тянут до дому. Как узнали, что будет в нашей местности канал. Вот вы спрашиваете меня про мою жизнь. А чего я могу рассказать, хоть мне и шестьдесят лет? Как на степу не на что кинуть глаз, так и в жизни моей ничего особого не было. Сеяли, сажали, поливали через силу огороды водой из криницы, пока опа к половине лета начисто не высыхала. Жара и жара! Бывало, по три месяца ни одной хмары на небе не увидишь,— одно это солнце. И ветер дует и дует, как поденщик какой-нибудь. Тут ветер ударно работает. Вот посмотришь на землю, как она лопается от сухости, поглядишь, как лист посредь лета жухнет и спадает, копнешь корешок, а он уже весь сморщился, и думаешь: «За каким чертом я тут мучаюсь! Неужели нет лучших местностей на земле? Чем я виноват, что мой батько выбрал это место для обитания?» Земля здесь, правда, хорошая, плодородная. Это верно. Только ее надо водой пропитать. А воды тут не было, извините за неподходящее слово, с самого сотворения мира. Волга рядом, Дон рядом, а ни тебе реки, ни тебе капли дождя. Правда, течет тут одна слабосильная речонка. Так к лету от нее остаются одни лужи. И смех и грех! Вот какая была наша жизнь. Цыгане — на что дерзкий народ — так и те здесь не кочевали. А как задует суховей — «астраханец»,— хоть кидай

все и тикай куда глядят очи. Бьет песком и бьет. Верите ли, хату иной раз засыплет по самую завалинку. Колос из земли выдует, вырвет, спалит. И нет тому ветру конца. Ночью приткнешься, заснешь,— как будто полегчает. А утром пробудишься и слышишь: шумит и шумит, проклятый. А за окнами муть. И стоит в той мути красное солнце и смотрит, как коршун, одним своим злым глазом на ту несчастную степь.

Сидоренко рассказывал, а старуха все гладила черными руками скатерть и только иногда кивала головой, соглашаясь со словами мужа.

Старостин смотрел на ее узловатые пальцы, и ему казалось, что они высохли от суховеев так, как перегорают от этого ветра листья. А когда-то это, наверное, были спорые, красивые руки.

Пустыня шла сюда годами и столетиями с востока, вздувая багровые, как солнечные протуберанцы, языки пыли. Пустыня наглая, безнаказанная, зловещая и убивающая все живое. «Одного только она не смогла уничтожить,— подумал Старостин.— Вот этих людей и их волю к труду, к созиданию».

Все сидели молча, задумавшись. Старостин почему-то вспомнил в этой низкой мазаной хате светлый зал своего конструкторского бюро, туманное небо над Невою, карты и чертежи — точные и проверенные до последнего миллиметра.

Сидоренко осторожно скручивал папиросу из темного табака и смотрел себе под ноги. Клава, взволнованная всем, что сегодня происходило с ней, рассматривала старый номер «Огонька» на столе. Она боялась поднять глаза, чтобы, чего доброго, Старостин не подумал, что она украдкой его разглядывает. А Старостин смотрел за окно, где в темноте вспыхивали и гасли зарницы.

— Одной только жалостью,— вдруг тихо сказала старуха и улыбнулась, казалось, морщинками около глаз,— я и жизнь выжила в этом тяжком степу. Кондрата мне было жалко. Куда ему было с этих мест подаваться? А я уж с ним как была молодая, так и до сей поры — всегда заодно. А вот детей я не жалела. Любить любила, а чтобы жалеть, так этого у меня не было. У них, у детей, дорога вольная. Им с нами не жить. Трое у нас было детей. А четвертый — хлопчик — умер тому уже двадцать годов.

— Ну что, мать,— промолвил Сидоренко,— ворошить перед людьми свое давнее горе. Ни к чему совсем это.

— Я ж не знаю,— виновато ответила старуха.— Может, ни к чему. А может, и к чему. Пусть люди сами рассудят.

— А вы расскажите,— вмешалась Клава.— Вам от этого полегчает.

— Разве что так! — согласился Сидоренко.

— Да как рассказывать? Я сама вышла сюда из-под города Таганрога, с Азовья. Места у нас морские, веселые. От этого мне тут еще горше было, чем какой другой женщине. У нас под Таганрогом всюду коло хат цветы сажают — барвинки, табак, подсолнухи. Такой еще есть низенький подсолнух, не полевой. Его только для красоты и сажают. Вот и хлопчик наш был, как тот цветок. Веселый был хлопчик и легкий, как ветерок. То он тут, то там — никогда его нету в хате. И все чего-то звенит да стрекочет, все ему надо знать. Не тут бы ему жить, а там, под Таганрогом, у моря. Да не наша на то была воля. Из-за одного хлопчика хозяйство не кинешь! А в тот год ударил такой суховей, какого люди давно не видали. Голодуху по всему степу разнес, как черную пыль. Криницы посохли. Мы в то лето одну грязь, а не воду в ведрах до хат приносили. И занедужил мой хлопчик. От пыли. Воспаление у него в груди началось.

— Пыльная пневмония,— сказал Старостин.

— Многие от той пыли болели и выживали. А он сгорел у меня за двое суток. Кондрата дома не было. К вечеру второго дня схватила я хлопчика и кинулась на Кривую Музгу. Там, говорили, доктор жил, на Кривой Музге. Песок несет круг меня — ничего не видно. Ветер свистит в сухом бурьяне. И уже темнеет на небе. Я бегу, не пойму, что делается. А тут еще ударило с неба громом, и пошло полыхать. А дождя нет и нет. На степу уже ночь, и як ударит молния — блискавица,— так кругом вижу одни белые дороги. И ведут те дороги в разные стороны. Я бегу с одной дороги на другую, совсем я стала беспамятная. Не знаю, куда кинуться. Сама уже вижу, что блукаю. Остановлюсь, послухаю, дышит ли хлопчик, и опять бегу. Так и промоталась по степу, покамест не развидняло. Солнце поднялось за пылью. А хлопчик уже и не дышит. Глянула я кругом — не узнаю местности. В степу все видится одинаково.

— Заховали мы его вот тут,— старуха кивнула за окно.— Там курган, а на том кургане растет кусточек. Один кусточек в пустоте. А года два назад ходили тут изыскатели — мерили землю, метили, где будет канал, где плотина, а где озера. И был с ними один человек, вроде как ихний начальник. Седой, небольшого росточка, в очках, и глаз у него был строгий, всевидящий. Пришел он как-то утречком до нашей хаты и говорит: «Это на степу, часом, не ваша могилка?» Ну, мы ему все объяснили. «Так вот,— он говорит,— перенести ее надо. Потому, что то место, где она находится, уйдет под воду. Там, говорит, будет водохранилище». Кондрат было собрался переносить, а я сказала, что на это не согласная. Пусть наш хлопчик лежит, как лежал. И пусть над ним разольется то озеро. Пусть плещет над ним та светлая вода, что даст людям хлеб. А что не будет на его могилке имени, так что ж! Тут по степу после войны есть столько таких солдатских могил! Кто их знает, как звали тех солдат. А все одно — те могилы для нас свои.

Старуха замолчала. Сильнее мигали за окном зарницы, и где-то вдалеке пели девушки. Голоса их не приближались и не удалялись. Должно быть, девушки сидели на завалинке, смотрели, как вспыхивают в степи размытые небесные огни, и пели. И песня была старая, всем знакомая:

Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река...

ПЕРВЫЕ ЛИСТЬЯ

Сталинград подымается среди бурых степей своими зданиями, аркадами, башнями, колоннами и вышками так легко и так ослепительно, что невольно кажется, будто он строится заново после войны из окаменелой морской пены. В просторах его новых улиц и проспектов лежит широкими срезами белое солнце, и рядом с ним — прохладная тень, насыщенная запахом цветов, вьющихся по стенам и балконам.

Бронзовый советский солдат в развевающейся плащпалатке грозно подпимает руку на высокой гранитной колонне, как бы кладя предел движению врага на нашу землю. Раннее солнце горит на бронзовой руке солдата,

тогда как город еще погружен в утренний сумрак и шум листвы.

В Сталинграде я встретился с одним угрюмым лесоводом.

Участок лесовода был расположен к северу от Сталинграда, около Дубовки. Мы условились поехать туда и встретиться для этого на окраине города, за Тракторным заводом, около брошенного немцами автобуса «Париж — Руан».

Странно было видеть этот автобус у берегов Волги. Он стоял здесь как символ разгрома фашистских армий.

Я ждал лесовода и смотрел на длинный дым сталинградских заводов. Дым уходил в степь. Его отжимал от города тот ветер, что издавна зовется здесь «сталинградским дождем». Он действительно шумит песком по крышам, как дождь.

Лесовод подъехал на «газике». Автобус «Париж — Руан» не произвел на него никакого впечатления: он видел его уже десятки раз.

Судя по всему, этот человек принадлежал к категории «профессиональных ворчунов». Он тотчас пожаловался мне, что для лесных посадок прислали желуди с Украины, из-под Белой Церкви. Все это хорошо, но лучше было бы присылать желуди не с Украины, где дубы растут во влажном и мягком климате, а из тех мест, где климат похож на здешний. Например, из Борисоглебска или из воронежских дубрав. А то этим украинским дубкам приходится туго в здешней безводной и обдуваемой ветрами степи.

— Если говорить по правде,— сказал лесовод,— то я боялся, что не выживут дубки в этой степи. Очень уж тяжелая степь. Прямо зловредная степь, если говорить откровенно. И к тому же никогда, даже в доисторические времена, при Тмутараканском царстве, дуб здесь не рос. Не рос и не рос! Что бы мне ни говорили ботаники, все равно не поверю. Я копался во всех исторических материалах и ничего не нашел. Так что те дубы, какие вы будете сегодня созерцать,— первые в этих местах еще с тех времен, когда геологически образовалась эта степь. Это прошу помнить. Пионеры, а, между прочим, герои!

— Почему герои?

— Сами увидите.

«Газик» бежал по гребню между степью и Волгой. Два мира, две разные карты земли лежали рядом. С левой стороны скучная степь с крутыми суглинистыми обрывами

балок, с высохшей, несмотря на весеннее время, травой, с утомительным, плоским горизонтом. Кое-где на клочковатой траве из земли, похожей на облезлую щетку, где мало уже осталось щетины, торчали разбитые танки и остовы сгоревших грузовых машин. Над оврагом белела среди груды битого кирпича сквозная от пробоин колокольня.

А справа, глубоко внизу, мощно лилась Волга. Ветер гулял тусклой рябью по ее воде. Противоположный берег Волги был сплошь кудрявый от кустарника.

Лесовод вытащил из кармана черной пыльной куртки сложенную во много раз карту, развернул ее и показал мне линии недавно посаженных лесов. Две зеленые лесные полосы Саратов — Астрахань и Камышин — Сталинград, изгибаясь по водоразделам и обходя овраги, тянулись на карте с севера на юг.

«Газик» проскочил через скучный посад Дубовку и ушел в сторону от большака. Я нетерпеливо ждал появления лесных полос.

Еще в детстве я постоянно слышал, что одно из самых благородных дел, какие совершает человек на земле,— это насаждение лесов. Я помнил наизусть слова Чехова о лесах, вложенные писателем в уста доктора Астрова:

«...Леса... учат человека понимать прекрасное и внушают ему величавое настроение. Леса смягчают суровый климат». «...Когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, я сознаю, что климат немножко и в моей власти и что если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я».

Но в детстве мне не привелось видеть настоящих лесов.

Впервые я увидел те леса, что зовутся дремучими, заповедными и корабельными, только в юности. С тех пор их величавость, могучая растительная сила, свежий шум и целебный воздух так завладели моим сердцем, что к каждому дереву я начал относиться почти как к живому существу.

Я напомнил лесоводу о Чехове.

— Да что там Чехов! — ответил он недовольно.— Читал я «Дядю Ваню». И даже видел на сцене у нас, в Пензе. Не люблю я у Чехова прекраснодушных разговоров, не в обиду будь ему сказано.

До встречи с лесоводом я ни от кого не слыхал таких слов о Чехове. Я возмутился и собрался обрушиться на него. Он, очевидно, понял это. Но тут что-то случилось с

машиной. «Газик» остановился, и шофер полез ковыряться в моторе.

— Пойдемте вперед, а он нас нагонит,— предложил лесовод.

Мы вышли из машины и пошли по необыкновенно широкой пыльной дороге. Под ногами все время что-то трещало.

— Вы извините,— сказал я,— но все, что вы говорили о Чехове...

— Знаю, знаю,— недовольно перебил меня лесовод.— Погодите!

Он нагнулся, засунул широкую руку в пыль, вытащил горсть каких-то камешков, подул на них, вытер рукавом и протянул мне:

— Полюбуйтесь!

На ладони у лесовода лежали четыре черные разъеденные ржавчиной пули.

— Тут их миллионы! — сказал лесовод.— Я сам тут сражался, только немножко южнее. Здесь пуль посеяно больше, чем наших желудей. Если бы из каждой пули или осколка выросло дерево, была бы тут непроходимая тайга. А что Чехов? — вдруг сказал он, раздражаясь, без всякой связи с тем, что говорил недавно.— Никто не говорит, что он плохой писатель. Наоборот, великолепный! Только в те времена все это было, извините, маниловщиной,— все эти разговоры Астрова о лесах. Обещать измученным людям прекрасное будущее через тысячу лет! Да на кой ляд оно им тогда будет нужно! Астров сам-то толком не знал, как это будущее добыть. Ты не сули мне счастья! Ты скажи, как и где его взять. Леса! Только сейчас мы можем сажать леса на тысячи километров. И имеем право говорить об этом мы, а не Астров. И обещать людям прекрасное будущее тоже имеем право только мы. А у Астрова не было для этого серьезных оснований. Не было! Я мужик из-под Пензы. Поэтому извините меня за грубость. Иначе я не могу. Говорю, что на уме,— и все! Меня леса научили понимать, что не нужно себя жалеть, если хочешь их вырастить в полную силу, на полный, как у нас говорится, бонитет. А о прекрасном мы погодим разговаривать.

— Это почему же?

— А зачем? — спросил, в свою очередь, лесовод.— По сути дела, об этом и говорить не стоит. Оно и так понятно. Без словопрений.

Духота заполнила вплотную все пространство между землей и небом и не оставила ни одного глотка свежего воздуха.

Шофер догнал нас, и мы сели в пахнущую горячим бензином машину. Лесовод молчал и курил. Я тоже молчал и не смотрел по сторонам.

— А ну-ка останови, Вася,— сказал лесовод и повернулся ко мне.— Вот, пожалуйста! Первая лесная полоса.

Он вылез из машины и, не оглядываясь, тяжело пошел вперед.

До края земли, взбегая на увалы и спускаясь с них, тянулась, как зеленоватая река, широкая полоса молодых посадок. Но это не были дубки. Это были акация и татарский клен.

— Нагнитесь! — сказал мне лесовод.— Тогда увидите дубки. Они еще маленькие. А татарский клен и акация охраняют их от солнца.

Я нагнулся до самой земли. Нагнулся и лесовод. Тогда стали видны как бы длинные красновато-зеленые шнуры, протянутые между акацией и кленом. Это были ряды молоденьких — в три-четыре листика — дубков.

Лесовод присел на корточки и поковырял землю перочинным ножиком.

— Видали? — сказал он.— Это же обожженная глина. Без единой капли воды. И все-таки растут. Растут дубочки, дружки мои милые!

Он неожиданно широко и застенчиво улыбнулся и удивительно осторожно для его больших, грубых пальцев дотронулся до тоненького, как былинка, совершенно детского ствола маленького дуба с прозрачными от молодости листочками. Улыбнулся и шофер. Он тоже сидел на корточках и рассматривал молодые дубки.

— Успокоились теперь, Степан Сидорович? — спросил он.

— Успокоился. Теперь знаю: выживут. Выживут, молодцы, герои!

Лесовод повернулся ко мне.

— Ведь это же что такое! — заговорил он быстро и возбужденно.— Камень, ни капли дождя, ветры. Солонцы наседают со всех сторон. Я как приехал, посмотрел — и пал духом. Какой, думаю, может быть разговор о дубках! Только желуди зря будем жечь в этой почве. И вот видите — выжили! Разве же это не герои! Ведь детвора! Пер-

вые три года они и расти даже не смогут, а будут только укореняться в земле.

— Через сколько же лет эти посадки станут настоящим лесом? — спросил я.— С тенью, с подлеском, с грибным запахом?

— Ишь чего захотели! Когда сомкнутся кроны, не раньше. Лет через сорок.

— Так на какой же ляд, как вы недавно выразились, вам эта работа? Если вы, может быть, не увидите ее плодов.

— Мы не только для себя стараемся, а еще и для будущих поколений,— строго ответил лесовод.

— То же самое астровское счастье?

— Ну, знаете,— ответил лесовод и усмехнулся.— Есть разница. Мы работаем, а Астров декламировал.

Он искоса, как птица, посмотрел на меня и спросил шофера:

— Гипсу сколько привезли? На базу?

— Да тонн десять, не больше.

— Ерунда! Детишкам на молочишко не хватит. Ну, поехали дальше.

В машине лесовод сказал:

— Вот вы собираетесь, кажется, писать о лесных полосах. Читал я всякие такие вещи о нашем деле, да толку от этих писаний пока что маловато. Восторгаться легко. Ваш брат писатель любит восторгаться, а мы пока что без гипсу здесь мучаемся. С солонцами мы боремся гипсом. Разбрасываем его по солонцам. Гипс съедает соли. Ну-ка, Вася, остановись! Вон, видите, дикая груша цветет в балочке. Пойдемте посмотрим.

Мы подошли к дикой груше. Разлапистая и низкая, она шумела по ветру всеми листьями, трепетала всеми белыми душистыми лепестками, но ни один лепесток не оторвался и не улетел, хотя ветер был упругий и сильный Шершавый ствол дикой груши казался бронзовым. Груша стояла совершенно одна в голой степи. Насколько хватал глаз, не было видно ни одного кустика.

Лесовод похлопал ладонью по груше, и ее ствол чуть зазвенел.

— Приятельница моя! Видите, какая! Будто из высококачественной стали. Не сдается. Вот и моим дубкам придется выработать в себе ее железные качества.

Лесовод прислушался.

— Летит,— сказал он.— Летит наш Михалыч!

Из-за увала вынырнул, лениво погромыхивая мотором, маленький самолет, «огородник». Он шел низко над лесной полосой, изредка виляя от порывов ветра, и густой струей выбрасывал на землю зеленоватую пыль.

Самолет пролетел над нами. Летчик обернулся и помахал рукой.

— Здорово, Михалыч! — закричал лесовод.— Залети на четвертый участок! Четвертый! Понятно? Четвер-тый!

Летчик, конечно, ничего не расслышал. Тогда он повернул самолет и снова низко прошел над нами. Лесовод четыре раза махнул ему рукой. Летчик в ответ поднял руку.

— Вот и договорились,— сказал с облегчением лесовод.— Он отравленный овес разбрасывает по полосе. Против сусликов и тушканчиков. А они, дьяволы, все на четвертом участке сбились. И что их туда манит, не пойму.

Весь день до сумерек мы провели на лесной полосе. Там, где не было солонцов, посадки разрастались сочные и густые. На солонцах они были еще слабенькие и редкие. И каждый раз, увидев солонцы, лесовод вздыхал, сердился и поминал недобрыми словами какого-то работника из министерства, который «ни черта не понимает и ни черта не хочет понимать».

Впечатление было такое, будто именно этот работник целиком виноват в том, что глина в степи покрыта местами серой пленкой соли. А он, пренебрегая солонцами, беззаботно ездит на службу в комфортабельных троллейбусах, а по вечерам даже позволяет себе ходить в театр, может быть, даже в балет. И это все, конечно,— сплошное безобразие.

— Видите, какие солонцы, будь они неладны! О чем они только думают там, в министерстве? Где гипс? Мы им писали и людей посылали, а гипс все равно отпускают нам, как из аптеки. По граммам. Внутрь его будем принимать, что ли? Вместо витаминов.

Шофер усмехнулся. И я понял, что, сколько бы ни прислали сюда гипсу, лесовод все равно будет шуметь и ругаться, что ему ничего не дают и режут на корню всю его работу. Он был жаден до всего, что могло пригодиться, хотя бы в малой степени, для его лесных посадок.

Вечером мы приехали на самый отдаленный участок, где лесовод решил заночевать. Там степь была веселее.

Среди пологих холмов даже блестел пруд. В пруду этом отражался закат.

На берегу пруда сидел с удочкой мальчик лет восьми, а рядом с ним лохматая рыжая собачка с настороженными ушами. Когда машина остановилась и мы вышли, собачка испуганно взвизгнула и помчалась, поджав хвост, к деревянному вагончику. Он стоял в степи, невдалеке от пруда. В этом вагончике жили работники участка.

Мы подошли к мальчику. Он вынул из воды удочку, встал и, обдернув рубашку, смущенно с нами поздоровался.

Глаза у шофера Васи хищно блеснули. Он тотчас взял удочку, поплевал на червяка, закинул и, нагнувшись, чтобы видеть поплавок на светлой полосе отраженной зари, замер. Мальчик с тревогой посмотрел на шофера, потом на нас.

— Не журись, Степа! — сказал шофер, не оглядываясь.— Сам ловишь тут с утра до самой ночи, так дай и другим товарищам половить. Будь человеком!

— Да ловите себе, пожалуйста,— вежливо ответил мальчик, но губы у него задрожали.— Только у меня последний крючок. И леска старая.

— Ну что ты? Разве последний? — спросил лесовод и с сомнением посмотрел на мальчика.— А я, понимаешь, иду сегодня по улице в Сталинграде и вижу: валяется на тротуаре вот такой пакетик, совсем маленький.

Лесовод вынул из кармана пыльной куртки небольшой пакет.

— Я его и подобрал. «Что там, думаю, может быть?» Развернул и вижу — сорок крючков окуневых золоченых, четыре лески из сатурна и десять перяных поплавков. «Что же, думаю, делать? Хозяина все равно не найдешь: Сталинград — город огромный». Ну и взял. Решил, может быть, пригодится. Бери, не стесняйся.

Мальчик взял пакет, развернул его, и все маленькое веснушчатое лицо его вдруг залилось румянцем. В пакете лежали, должно быть, действительно волшебные для рыболова вещи. А шофер только помотал головой, сказал: «Ну и ну, Степан Сидорович!» — и издал неопределенный, странный звук, отдаленно похожий на смех.

— Ты чего? — строго спросил лесовод.

— Придумщик вы, Степан Сидорович! Ей-богу, придумщик!

— Смотри! — грозно сказал лесовод.— Дорвался до своего клева! Завтра в пять выезжаем. Имей это в виду!

— Ладно! — ответил шепотом шофер, вытянулся так, что казалось, вот-вот свалится в воду, и затих. Потом он резко подсек, сказал: «Ага, есть!» — и вытащил на берег линя величиной с ладонь.

Мы пошли к вагончику. Мальчик пошел вместе с нами. Сейчас у него горело от волнения не только лицо, но даже шея и руки. Пакет со снастями он держал обеими руками. Так носят пойманных маленьких птиц.

На высоком пороге вагончика стояла черная от загара молодая женщина в синей робе. Мальчик уткнул ей голову в колени, а женщина, смеясь, потрепала его по волосам, протянула мне руку и сказала:

— Некрасова.

Потом она обернулась к лесоводу и спросила:

— Были на посадках?

— Были. Вот показывал ваш участок леса товарищу литератору. Одобряет. И даже весьма.

Я вдруг сообразил, что вокруг был действительно лес. Я вспомнил его едва заметный шелест. Первый шелест леса в степи. Вспомнил, что сейчас, к вечеру, от лесной полосы вдруг потянуло свежестью, едва уловимой и неясной, как запах где-то далеко выпавшего дождя.

Мы вошли в вагончик. Женщина, зажигая керосинку, чтобы вскипятить нам чай, сказала:

— Спасибо вам за книги, Степан Сидорович. Особенно за вашего любимого Чехова. Я его давно не перечитывала.

Лесовод покраснел, искоса взглянул на меня и пробормотал:

— Ну, ладно! Пока вы тут будете хозяйничать, я пойду на пруд выкупаюсь. А то пропылился насквозь.

Лесовод вышел. Я с невольной симпатией посмотрел ему вслед. В степи быстро темнело. И все ярче проступала на небе звездная карта.

ЦВЕТ ЗАСУХИ

Каждый раз, возвращаясь ночью с участка, Земляной брился, принимал душ и, растираясь мохнатым полотенцем, говорил Старостину:

— Ну ж был денек! Сквозь дым летучий машины двинулись, как тучи, и все — на новый шлюз!

— Почему вы всегда бреетесь ночью? — спрашивал Старостин.

— Утром некогда,— отвечал Земляной.— Кроме того, я бреюсь каждый день потому, что младенческие времена строительства давно канули в вечность. Вы еще мальчик. Вы не помните первых строек в нашей стране. Они были на заре вашей туманной юности. А если бы вы помнили их, то могли бы сделать много поучительных выводов. Первые строительства напоминали первозданный хаос. Бараки с размытой дождем штукатуркой и вытоптанная земля. И было, между прочим, совершенно непонятно, как из этого хаоса, из размолотых грузовиками гор глины, из куч строительного мусора, из курганов извести и навалов щепы, из ржавой проволоки, досок, облитых мазутом, и невероятной путаницы ям появлялись строгие здания заводов и городов. Уборки было, пожалуй, столько же, сколько и строительства. Вот как обстояли дела, молодой человек! А пройдите сейчас по строительству. Что вы увидите вместо бараков? Чудесные, уютные дома. И клумбы цветов. Если бы моя воля, то я даже временные товарные склады и бетонные заводы построил бы в том же южном, жизнерадостном стиле, как и эти дома. На строительстве нужен корабельный порядок. Нужна чистота. Это, между прочим, сразу же сказывается на темпе работы. Человек не теряется и не раздражается от беспорядка, от вида всклокоченной земли. И сам он не должен быть всклокоченным. Так что вы к моему еженощному бритью не придирайтесь. Кто-то мне рассказывал, будто один большой писатель, не помню кто, да это и не суть важно, не мог сесть за письменный стол, не выбрившись и не вымыв тщательно руки. Я это понимаю. Наша жизнь — работа. Что же получится, если мы будем работать среди мусора? Кстати, вы интересуетесь только плотиной и дренажем и еще не осмотрели как следует мой поселок. Завтра я его вам покажу.

Старостину нравился Земляной. Он всегда был подтянут, выбрит и даже элегантен. О своих личных делах он говорил мало, да ему и некогда было об этом говорить. Все свободное от строительства время (а времени этого почти не было) Земляной тратил на шумные споры. Старостин знал только, что Земляной не женат и что у него есть сестра — певица. Возможно, что этим и объяснялось пристрастие Земляного к оперным ариям и музыке.

В комнате его вперемежку с книгами о гидродинамике, бетоне, подпочвенных водах, о расчете плотин и кальками валялось множество нотных тетрадей, а на стене висела гитара.

На следующий день Земляной взял Старостина с собой на участок.

Прежде всего Земляной показал Старостину ближайший поселок на стрелке между каналом и будущим водохранилищем. Поселок был действительно великолепно построен. Но Земляной не дал Старостину возможности высказать свое восхищение. Он сам восхищался и радовался совершенно по-детски, искренне и шумно.

— Вы поглядите! — говорил он Старостину.— Как они сверкают, все эти поселки, когда подъезжаешь к ним из степи! Как грядки белых и красных цветов! Белые стены! Красные черепичные крыши! Какой легкий орнамент! И какие светлые террасы с колоннами! Но мы в этих домах только гости. Когда окончим строительство, здесь поселятся работники канала, речники. Завидую им! Если у меня будет хоть небольшой перерыв между Волго-Доном и работой у вас в Сибири, то я как-нибудь исхитрюсь и поживу здесь месяц-другой, в этих поселках. Отдохну.

На террасу одного из домов вышла молодая женщина с тазом мыльной воды в руках. Она выплеснула воду на землю и случайно облила стену дома. Земляной остановился и пристально посмотрел на нее. Женщина улыбнулась Земляному.

— Зря вы улыбаетесь, товарищ Петухова,— сказал Земляной.— Совершенно нечему, по-моему, улыбаться. Особенно вам, молодому технику. Посмотрите на стену около себя. Сами строите и сами же портите!

Женщина обернулась. Стена была залеплена хлопьями крутой мыльной пены.

— Я сотру,— сказала женщина виноватым голосом.— За всем не уследишь. Тот, кто будет жить после нас, наведет красоту. А нам некогда этим заниматься. Мы люди рабочие.

Земляной вспылил.

— Конечно, вы думаете, что я придираюсь,— сказал он.— Хорошо! Пусть будет так! Мы вообще привыкли оправдывать свои недостатки тем, что после нас, мол, придут другие, лучшие люди. А мы работаем на них, и нам не очень-то нужно за собой следить. Мы вроде как чернора-

бочие. Все это вздор и галиматья! Будущее, будущее! Все вы любите петь, что работаете для будущего человека. И забываете, что вы сами уже люди этого будущего. Как же вы думаете, товарищ Петухова, будущему человеку мы построим дворцы, а сами будем жить в тесноте и беспорядке? Нет уж, извините!

Земляной долго не мог успокоиться. Когда он сердился, то делал вид, что ничего не понимает, и придирчиво переспрашивал собеседника об одном и том же по нескольку раз.

Так было и сейчас. Около бетонного завода к Земляному подошел инженер с соседнего участка и очень вежливо попросил, чтобы Земляной одолжил из своих запасов электрический кабель какого-то редкого сечения. Земляной так долго и испытующе смотрел на инженера, что тот покраснел. Тогда Земляной сказал раздельно и медленно:

— Не по-ни-маю!

— А я не понимаю, что в нашей просьбе непонятного! — ответил, раздражаясь, инженер.

— Не по-ни-маю! — повторил Земляной.— Каждый день на строительство приходит восемьсот вагонов со всякими материалами и оборудованием. Восемьсот вагонов! Во-семь-сот! А вы побираетесь. Действовать надо, товарищи, а не мямлить. Действовать! Слышали такое русское слово? А в общем, так и быть, присылайте машину. Я дам вам этот кабель. Но только потому, что с удовлетворением замечаю, как на вашем участке декада спячки сменяется декадой раскачки.

Инженер сухо поблагодарил и ушел, пожав плечами. А Земляной сразу успокоился и сказал Старостину:

— Строительство — это вам не конструкторское бюро с видами Сухуми на стенах. Проектировать — одно дело, а осуществлять — это, пожалуй, посложнее. Там вы орудуете точными цифрами, ясными научными положениями, своим воображением конструктора и инженера. А здесь вы имеете дело с живым и разнообразным материалом — с человеком. Так-то, дорогой мой!

Земляной и Старостин шли к плотине и насосной станции вдоль уже готового и облицованного донецким камнем канала.

Старостин прикинул на глаз его глубину, и ему вдруг нестерпимо захотелось сейчас же увидеть на месте этого сухого русла глубокую и чистую воду. Воду там, где жел-

тела на дне канала сухая глина и скреперы срезали последний, узкий гребень земли, тянувшийся по этому дну.

— Вот здесь будет урез воды,— сказал Земляной, нагнулся и провел ребром ладони по камням. Пыльный камень поблескивал на солнце крупинками синеватой слюды.

— Скорей бы! — ответил Старостин.

Палящая жара простиралась над степью. От нее перегорали все краски — синева неба, свежая зелень травы — и оставался вокруг только цвет засухи. Только вода — чистая, бегучая, прохладная и обильная — могла спасти эту жаждущую землю. Как хорошо будет присесть вот здесь, у края воды, опустить в нее руки и чувствовать, как она медленно охлаждает жар перегретого тела! И ощущать у себя под руками, как некое чудо, сырую землю.

Старостин посмотрел вдоль канала. Он возникал из полуденной мглы и снова уходил в нее. Он напоминал ложе большой и высохшей пустынной реки.

Вдали, на дне водохранилища, кильватерной колонной шли, пыля и лязгая, скреперы. Они прорывали в этом еще сухом дне будущий фарватер для пароходов.

Земляной и Старостин пошли к скреперам. Тяжелые тракторы тащили за собой машины, похожие на огромных бронированных жуков. Широкий нож скрепера резал грунт. Давление от хода машины подымало срезанный грунт по лотку в большой ковш скрепера. Набрав землю, скрепер уходил в сторону и высыпал ее вдалеке от выемки.

Пыль сгущалась. Грохот тракторов и скреперов перешел в непрерывный железный гром. Старостин увидел Клаву. Она вела скрепер, подавшись вперед, прищурившись и закусив губу.

— Посмотрите, как работает наша Клава,— сказал Земляной.— Станем здесь, чтобы она нас увидела.

Они остановились в двух-трех метрах от полосы, по которой Клава, как по шнурку, ровно и легко вела скрепер. По выемке, остававшейся в земле от ножа ее скрепера, было видно, что Клава берет землю уверенно и очень точно.

Скрепер Клавы прошел около Земляного и Старостина, обдал их пылью и бензиновым дымом, но Клава не заметила ни Земляного, ни Старостина. За скрепером Клавы шли впритирку, ревя и надсаживаясь от натуги, остальные.

— Вот размазня! — сказал Земляной.

Старостин с удивлением взглянул на него. Земляной внимательно и насмешливо смотрел на потного низенького водителя, который перевернул на повороте скрепер.

— Вот разиня! — повторил Земляной и пошел к перевернутому скреперу. Старостин пошел следом за ним.

Но пока они подходили, Клава быстро подвела к перевернутому скреперу свою машину, соскочила, накинула стальной трос на крюк лежавшего на боку скрепера, быстро села к себе в кабину, дала ход и ловко и бесшумно, даже не очень напылив, подняла и поставила скрепер.

— Отцепляй! — крикнула она низенькому скреперисту и тотчас повела свою машину навстречу Земляному и Старостину.

Скрепер Клавы во второй раз поравнялся с Земляным и Старостиным.

Она неожиданно обернулась и увидела их. Внезапное удивление в ее темных больших глазах тут же сменилось открытой и сверкающей улыбкой.

Машина рванулась в сторону, но Клава удержала ее, снова оглянулась и приветственно подняла руку.

— Ну и прелесть же скреперистка! — повторил Земляной.— Таких бы тридцать скреперисток на участок, так я бы не знал никаких земных огорчений.

НЕКОТОРАЯ ПОМОЩЬ

Уже вторую неделю стояла удивительная погода. С половины ночи небо затягивалось облаками и начинал моросить теплый дождь. Он постукивал по крыше дома, по твердым листьям магнолии и шептался с таким же тихим, как и он сам, прибоем, набегавшим на берег.

Дождь возился в кустах, где вместе с ним возились, отряхиваясь, маленькие птицы — «подорожники». Дождь прижимал в открытом море к серым медленным волнам дым из трубы парохода, а утром сразу стихал. И с юга, с моря, начинало расти, подниматься к зениту синее легкое небо.

Дорожки быстро просыхали, и единственное, что оставалось от ночного дождя,— это свежий запах цветов. Когда Леля сбегáла в сад и морские голыши разлетались у нее из-под ног, все голыши снизу были совершенно сухие. Дождь даже не мог промочить их со всех сторон.

Леля сбегала в сад, выскакивала за калитку и неслась по каменистой тропинке к морю, размахивая мохнатым полотенцем. Следом за нею мчался, едва поспевая, лохматый старенький песик по имени Боржом. Песик на бегу неистово лаял и потому задыхался.

На пляже, сидя около наспех сброшенного Лелей платья, Боржом громко и часто дышал, высунув набок язык. Когда Леля отплывала слишком далеко, Боржом подбегал к воде, нюхал ее и принимался так тоненько выть, что Леля волей-неволей должна была раньше времени выходить на берег. Растираясь полотенцем, она ругала Боржома за плаксивый характер. Боржом униженно мотал хвостом по песку и прижимал, извиняясь, седенькие мохнатые уши.

Иногда над морем появлялись длинные и прямые, как лучи, облака.

По самому их хрупкому и прозрачному строению Леля знала, что это очень высокие облака, сложенные из ледяных кристаллов. Недаром Леля была дочерью метеоролога.

Анна Петровна часто рассказывала ей не только об облаках, но и о дождях, туманах, сложном движении воздушных масс.

Леля уже привыкла к тому, что все, связанное с метеорологией, зримо и полно красок.

Это была, пожалуй, единственная наука, где по цвету неба и воздуха, по очертаниям облаков, силе мерцания звезд и шуму древесной листвы, а не только по приборам и вычислениям, можно было делать выводы. И предупреждать об изменении погоды всех, чья деятельность, а иногда и жизнь, зависит от этого,— сельских хозяев, мореплавателей, летчиков, работников железных дорог, рыбаков.

Ни одна наука, говорила Анна Петровна, так тесно не соприкасается с поэзией и живописью, как метеорология.

Анна Петровна выписывала в общую тетрадь стихи и прозаические отрывки из произведений разных поэтов и писателей, связанные с метеорологическими явлениями.

Леля любила перечитывать эту тетрадь и поражалась певучей и точной силе стихов:

Уже мороз сребрит скудеющие долы.
И от селений синий дым
Восходит ввысь Поют, поют эолы
По рощам золотым...

Около этих строчек рукою Анны Петровны было написано: «Осенний антициклон».

Леля переворачивала страницу:

> Но силой ветра от залива
> Перегражденная Нева
> Обратно шла, гневна, бурлива,
> И затопляла острова...

Под этими строчками Анна Петровна записала: «Подпор воды сильными западными ветрами — причина наводнений на Неве».

В это утро над морем протянулись длинные облака, вылетавшие, казалось, из одной точки на ослепительном морском горизонте. Леля после купанья сидела на берегу и смотрела на них, пересыпая в руке теплый песок.

Она вспомнила, что в тетради у Анны Петровны есть запись и о таких облаках: «Редеет облаков летучая гряда...» Слова «летучая гряда» были подчеркнуты, очевидно, потому, что являлись точным метеорологическим определением высоких перистых облаков. Они были похожи на тонкие пряди шелка-сырца. Ветер вытягивал их вдоль неба и осторожно разрывал на отдельные тающие клочья.

В песке попадались интересные вещи: крупинки синего стекла, куски побелевшей от соли пробки — обломки рыбачьих поплавков («балберок»), пересохшие и пахучие веточки водорослей и сломанные клешни крабов. Иногда встречались обкатанные волной круглые голыши из розового мрамора и кованые корабельные гвозди, заросшие колючей ржавчиной.

Леля пересыпа́ла песок и не заметила, как сзади подошел Юрка — веселый и болтливый мальчик с соседней дачи.

— Смотри,— сказал Юрка и дернул Лелю за руку.— Ты знаешь, как они называются, такие облака?

— Конечно, знаю,— ответила, не задумываясь, Леля.— Высокие перистые.

— А вот и нет! Они называются «розой ветров».

— Брось ты выдумывать! — ответила Леля.— И вовсе это не «роза ветров». «Роза ветров» — это чертеж на морской карте. Он показывает, какие ветры чаще всего дуют в каком-нибудь месте земного шара.

Она хотела объяснить Юрке, что такое «роза ветров», но оказалось, что сделать это на словах было трудно. То-

гда она начала чертить пальцем на песке большую звезду с неравномерными лучами. Каждый луч означал направление и силу ветра.

Но Юрка ей не поверил и, по своему обыкновению, закричал:

— Совсем даже не так! Не так! К нам вчера приехал моряк, папин товарищ. Он командует на Черном море грузовым пароходом. Он мне все объяснил про «розу ветров». Вот она!

Юрка показал в морскую даль, на ту сверкающую точку, откуда поднимались облака:

— Там начинается ветер. Он разлетается оттуда во все стороны и вытягивает за собой облака. Вот та точка, где начинается ветер, и называется «розой ветров».

— Бе-ли-бер-да! — раздельно и внятно сказала Леля.— Твой моряк путает.

Они заспорили. Юрка сейчас же начал приставать, чтобы Леля «побилась» с ним на пари. Боржом ни с того ни с сего рассердился и начал лаять, отбрасывая с оттяжкой задними лапами мокрый песок.

— Ну ладно! — согласилась Леля.— Пари так пари! Только если ты проиграешь, то подаришь мне... Что бы такое с тебя стребовать?

Леля задумалась.

— Сушеного краба,— подсказал Юрка.

— Нет! — твердо ответила Леля.— Ты найдешь мне на берегу сердолик. Их всегда выбрасывает после шторма. А я тебе подарю морского конька. Идет?

— Идет! — согласился Юрка.— Пойдем к нам и посмотрим в энциклопедическом словаре.

— Ну что ж, пойдем!

Но разыскивать в энциклопедическом словаре «розу ветров» им не пришлось, потому что во дворе Юркиной дачи сидел на ступеньке террасы и привязывал крючки к самолову моряк с медным крепким загаром.

— Она спорит,— сейчас же пожаловался Юрка моряку и показал на Лелю,— что «роза ветров» — это чертеж на морской карте, а совсем не вот эти облака, как вы говорили. И мы пошли на пари.

— Значит, ты проиграл, Юрка,— сказал моряк и засмеялся.

— А зачем же вы мне неверно сказали? — обиженно и даже, пожалуй, грубо спросил Юрка.

— Юрка! — крикнул Юркин отец из комнаты. Он брился. Зеркало стояло перед ним на подоконнике.— Как ты разговариваешь с Павлом Петровичем! Ты у меня смотри!

— Это я виноват, конечно,— сказал моряк, обернувшись к Юркину отцу.— Просто мне показалось, Саша, что такое объяснение будет для него интереснее.

— Что ты оправдываешься,— ответил Юркин отец.— Я ж тебя, фантазера, не первый год знаю.

— Конечно, интереснее,— неожиданно согласилась Леля.— Там, где-то в море, как будто есть место, где начинается ветер. И называется это место «розой ветров». А вы не знаете, почему чертеж на картах называется «розой»?

— Потому что он похож на цветок,— объяснил моряк, сматывая самолов.— Осторожнее! Вы зацепитесь за шнур.

— Хорошие слова — «роза ветров»,— заметила Леля.

— У них, у моряков, Леля, все хорошее,— сказал из окна Юркин отец.— И слова, и корабли, и карты. И сами они хорошие. И труд у них хороший. Весьма живописный и здоровый труд.

Вдруг он хлопнул ладонью по подоконнику.

— Погодите,— сказал он, таинственно понизив голос.— Я совсем позабыл. Сегодня должна распуститься ипомея. Вон там, около террасы. Я видел на ней много бутонов. Пойдемте!

Леля вспомнила рассказы Юркина отца об этом цветке. Все цветы ипомеи открывались сразу, на глазах, и первое время быстро шевелили прозрачными лепестками. Со стороны казалось, что на куст ипомеи сéла стая живых бабочек.

Но Юркин отец поздно вспомнил об ипомее. Цветы уже раскрылись. Леле сделалось вдруг почему-то очень грустно. Она повернулась и быстро пошла к калитке.

— Ты куда? — спросил Юркин отец.

— До свиданья! Я потом еще приду! — крикнула из-за калитки Леля.

Дома она застала мать с письмом в руках.

— Послушай,— сказала ей Анна Петровна,— что пишет дедушка Петр Софронович. Только что принесли письмо. Старик что-то уж очень расхорохорился. Не по возрасту.

Леля села в плетеное кресло, сложила руки на коленях и приготовилась слушать, что пишет дед Петр Софронович.

«Дорогая моя доченька Анна Петровна и дорогая внучка Елена Михайловна,— писал дед.— По слабости зрения я самолично писанием не занимаюсь, а пишет заместо меня небезызвестный вам Панченко, Игнатий Мусиевич, наш рыбак, такой же старый, как я, только глазами покрепче и характером повеселийше. Кланяемся мы вам с Игнатием Мусиевичем низко-пренизко и желаем доброго здоровья, многих лет благополучия и успеха в трудах ваших на благо отечества нашего и сообща также и всем людям».

Анна Петровна оторвалась от письма и засмеялась:
— Ну и Игнатий Мусиевич! Что выкамаривает!

«Я так думаю, что ты была в то время еще совсем малесенькой дивчиной и потому не помнишь про Парасю Жильченко, ту, что вышла замуж за дальнего человека, за Ивана Сидоренко, и уехала с ним по-за Дон, кудась к самой Волге. Там она с ним всю жизнь и прожила. И нашу косу с той поры ни разу не навестила. Однако всегда сердце человеческое тянется к родительским местам, к своему, как говорится, тыну. И у Параси сердце до нас сейчас обратилось, и получили мы от нее знаменательное письмо. И об том ее письме — главная наша речь.

Вам, конечно, известно, что роют сейчас канал, водяной ход из Волги в Дон и оттуда к нам, в Азовское море. И на том канале и Дону будут запружены великие воды для питания канала водой и напоения сухого тамошнего степного места. Будут те великие воды вроде как моря и заполнятся, понятно, несметной силой всяческой рыбы. А народонаселение по тем новым морям, конечно, кругом сухопутное и рыбацкого нашего дела и обихода понимать пока что не может. Им что кливер, что сейнер, что румпель — все одно. Вот и пишет Парася, что у них идет подготовка к сотворению рыбачьей артели, однако никто в ум себе не возьмет даже такого пустого дела, как оснастить или, скажем, засмолить шаланду. «И как давно стало известно у нас в поселении,— пишет Парася,— что я происхожу родом с Азовского берега, то и навалились на меня люди с просьбой отписать вам, старейшим рыбакам, не может ли быть от вас нам некоторой помощи. Прошу вас сердечно не отказать в моей просьбе, так как я есть и остаюсь и здесь, в голом степу, азовской рыбачкой и меня даже зовут все здешние люди Парася Приморская». Так вот! По-

лучили мы то письмо с берегов будущего моря и надумали вдвоем с Игнатием Мусиевичем поехать подсобить хорошим людям. Игнатий Мусиевич, как вам известно, старый парусный мастер и такелажник, а я кое-чего маракую по части засмолки и сетевого хозяйства.

Ждал я вас на косу этим летом, да так и не дождался. Мои годы на земле считанные. Потому при первой возможности приезжайте. Вот и все наши новости. Судак этим летом шел сильно, отягчал сети. Завелась у нас в колхозе новая моторка. Зовется «Азовчанка». В хате у меня все по-старому, только трошки похилилась стенка после зимнего штормy. Обнимаю вас и благословляю навеки. *Петр Галаган»*.

Анна Петровна отложила письмо и долго молча смотрела в темный сад, улыбалась.

— Что ж ты, старый,— сказала она так, будто Петр Софронович сидел тут же рядом с ней на террасе и виновато ее слушал.— Что ж ты, старый чудак, задумал? Нету с тобой никакого сладу. Как раз тебе только и ездить, в твои семьдесят лет. Это все Игнатий Мусиевич тебе крутит голову — такой суетливый и развязный старик, просто ужас!

Леля заметила за Анной Петровной одну странность: каждый раз, когда она вспоминала о Петре Софроновиче, у нее появлялись в голосе мягкие южные интонации и она начинала говорить, как исконная азовская рыбачка.

Этим она как бы приближала себя к своему детству. А о нем Анна Петровна всегда вспоминала с улыбкой. Хоть и трудное было оно, а, как всякое детство, хорошее — мечтательное и доверчивое. И такое простое, совсем простое, как белая отцовская мазанка, как бархатцы в садочках, как само Азовское море. Разве сравнить его с Черным! Черное перед Азовским — это блистательная и надменная красавица. А Азовское — это наша рыбацкая девушка, застенчивая, с веснушками. Только и красоты, что синие глаза да загар.

— Чего доброго, еще простудится в дороге, заболеет,— сказала Анна Петровна.— Ведь семьдесят лет, а не сорок! Правда, годы его на земле считанные. А я вместо того, чтобы поехать этим летом к нему, забралась сюда, в эту кавказскую пышность.

— Знаешь что, мама,— протяжно сказала Леля,— ты не волнуйся, пожалуйста. Нам осталось здесь жить еще ме-

сяц. А мы уедем на две недели раньше и заедем к деду туда, на его будущее море. Это нам почти по дороге.

Анна Петровна притянула к себе Лелю и погладила ее блестящие волосы. «Прелесть моя,— подумала она.— Радость моя. Что-то с тобой будет в жизни?»

ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС

Из Сталинграда я проехал на Волго-Донской канал, а оттуда — в Калач. Из Калача я хотел попасть на Цимлянское строительство. Туда можно было добраться или на машине через степи, или длинным кружным путем по железной дороге. Пассажирские пароходы на этом плесе Дона не ходили.

На мое счастье, в Калач пришел с верховьев буксирный пароход. Он шел в Цимлянскую. Капитан буксира — седоусый толстяк с насмешливыми глазами — согласился довезти меня до Цимлы. Буксир взял еще нескольких пассажиров. Среди них был инженер Старостин.

Мы оба — Старостин и я — были довольны, что попали на буксир. Нам хотелось увидеть в последний раз Дон. Через год в этих местах Дона уже не будет. Вместо него раскинется Цимлянское водохранилище — Донское море.

Весь день мы проводили на палубе. Опрокинутое в речной воде небо, покрытое отарами белых облаков, медленно плыло навстречу. Нос буксира резал его надвое, а волны от колес качали отражения облаков и уносили их к берегам. Там они рассыпáлись в пене, набегавшей на пески.

Буксир шел до Цимлы без остановок. Останавливаться было незачем, да и негде: станицы и поселения уже перенесли с берегов Дона в глубину степей, на бугры. Только по широким улицам без домов, заборов и деревьев, по кучам золы, колеям дорог, штабелям старого кирпича, ямам от выкопанных деревьев и кое-где еще не разобранным мазанкам и плетням можно было догадаться, что тут стояли станицы. Заканчивались работы по очистке дна будущего моря. Вырубались последние рощи, переносились последние дома.

Я представлял себе, как Дон начнет затоплять эту покинутую людьми землю. Жители дальних станиц придут посмотреть на вторжение воды. Они будут отступать перед ней шаг за шагом, зачарованные этим зрелищем.

Вода остановится у рубежей, намеченных человеком, и покорно ляжет у предназначенных ей берегов.

Неизмеримая гладь водохранилища вздохнет и накатится на степь первой волной. Новое море начнет свою вечную работу — будет намывать берега и выбрасывать на них щебень, водоросли и перемытые до белизны остатки человеческих поселений: доски, битый кирпич, осколки стекла и среди них какую-нибудь игрушечную тележку на деревянных катушках-колесиках.

Первые огни бакенов загорятся во тьме и лягут по взволнованной зыби полосами красного и белого света.

Дни, месяцы, годы начнут сменяться бесконечной чередой над вновь созданным морем. И прибой будет выбрасывать уже не остатки давнишней жизни, а шелковистые коробки хлопка, куски антрацита с черным алмазным блеском и кожуру донских лимонов.

Голубоватое зарево недавно рожденных городов засияет над ночными водами, как таинственный зодиакальный свет.

Ночь была душная, и все мы, пассажиры, сидели или лежали на палубе буксира и вели между собой неторопливый разговор. Спать никому не хотелось, хотя в другое время монотонные удары пароходных колес и журчанье воды давно усыпило бы всех.

Капитан подсел к нам.

Говорили о будущем море.

— Мой старик,— сказал капитан о своем буксире,— подастся этой осенью в Ростов. Там его переделают для рейсов по водохранилищу. Сейчас он, понятно, слаб для такого назначения. Корпус ему надо укрепить, а то разобьет волнами. На самой глубине, под Цимлянской, валы будут гулять, как на Черном море. Будьте спокойны! Простора для этого хватит. Разгон у волны огромный. В длину почти двести километров, а в ширину — до тридцати. Другой берег не всюду увидишь.

Капитан помолчал.

— В Сормове сейчас строят для нас новые буксиры. Один наш капитан ездил туда, смотрел. Винтовые буксиры. Прямо звери! Воду будут рвать, как крейсеры! Только дым да флаг за кормой — и поминай как звали!

— По Волге такие буксиры уже ходят,— сказал худой человек и зажег спичку, чтобы закурить. Спичка горела

спокойно, как свеча в тихой комнате.— И зовут их «музыкантами».

— Почему «музыкантами»? — спросил я.

— На них радио. Привалят к пристани, включат его и закатят такой концерт из Московской консерватории, что все береговое население сбегается.

— Красота! — завистливо вздохнул кто-то из темноты.

— Ясно, красота,— согласился капитан.— А пассажирские теплоходы будут ходить здесь такие, что не сразу, говорят, и поймешь, из чего они сделаны: не то из стекла, не то из серебра. Блеск, просторные палубы, огни, концертные залы!

— Что красота, то красота! — повторил из темноты тот же голос.

— А ты до нее дойди,— сказал капитан.— Попробуй. Не так все просто, как тебе думается: «Сел да поехал — ах, хорошо!» Вот, скажем, создается наше водохранилище. Так тут знаешь сколько геодезистов работало? Сила! Нужно было выяснить точнейший рельеф местности и, зная глубину будущего водохранилища, определить, как оно вольется в этот рельеф, как ляжет посреди этих балок и степей, какие будут у него пределы и границы. И нанести эти границы на карты. То-то! Всякие были трудности. Взять хотя бы переселение. Отодвинули поселки подальше от Дона. А там воды нету. В колодцах один мокрый песок. Пока это дело наладили, сколько времени прошло!.. Строим и учимся.

— Вам тоже придется переучиваться, речникам? — спросил я.

— Не очень. Морское плаванье против нашего речного не в пример легче.

— Как это легче?

— На реке опасностей больше. Ведешь пароход, с мостика не слезаешь. Потому что у тебя под днищем воды всего десять сантиметров. А то и меньше. Вот-вот заденешь и сядешь. А на быстрине только и поглядывай, чтобы не прижало к берегу, не стукнуло и не разбило. И фарватер на реке меняется чуть не каждый день. Дон — река капризная. Он все время играет. Вот и плаваем мы с неполной осадкой. Тысячи тонн груза зря оставляем на пристанях. А когда запрут Дон, будет раздолье. Воды под нами десятки метров! Ничего не страшно. Ни перекатов, ни коряг, ни ударов о берег. И течение нас не замучит.

Что вниз идти, что вверх — все равно по спокойной, тихой воде.

— Крой через море полным ходом! — сказал из рубки рулевой.

— Ну, а штормы?

— Что штормы? Если очень разыграется, так зайдешь в порт-убежище или глубокую бухту и отстоишься. Тут их много появится, этих бухт, по устьям бывших притоков. И обстановка будет совершенно морская: маяки, створные знаки, электрические бакены. По приборам начнем ходить. Как в море. Не так, как сейчас, когда иной раз говоришь лоцману: «А ну-ка, Сеня, держи вон на ту сухую вербочку или на тот вон курень на бахче!» Там вместо вешки сидит всем нам известный сторож Трофим и курит свою заветную кременчугскую махорку.

— Это точно! — согласился из будки рулевой.— Бывает.

Рядом со мной лежал на палубе на подстеленном ватнике мальчик лет десяти. Отец его — высокий застенчивый украинец, плотник из Каменец-Подольской области — ехал на работу в Цимлянскую. Он все время вполголоса разговаривал с сыном и все беспокоился, что мальчик бегает по палубе босиком и не хочет надевать «черевички».

— Так то ж неловко перед людьми,— говорил он ему шепотом.— Ты ж не у себя на селе, Илько, не в нашей Карпиловке. Обуй черевички.

— Та они мне давят,— тоже шепотом отвечал ему мальчик.— Как же я их обую?

— От беда! — вздыхал плотник.— Чего это бабка глядела, когда купляла?

Мальчик не спал. Он прислушивался к разговорам, часто подымал голову и спрашивал отца:

— Про что они рассказывают?

— Да про всякое,— отвечал отец.— Спи, не ворошись!

Но мальчик уснуть не мог. Он все прислушивался. Когда пассажиры наконец затихли, мальчик сказал:

— Батько, тут и вправду будет море?

— А как же! — тихо ответил отец.— Я тебе расскажу один случай, но только чтобы потом ты спал. Не обдуришь меня?

— Не, не обдурю.

— Так вот, слухай. Будет тут море. Вода подступит к самым хатам. И рыба як ударит хвостом, як плеснет, так и забрызжет всю стенку хаты. От как будет, сынок! Вода будет чистая-пречистая, вроде слеза. И не будет той воды вкуснийше на белом свете. И сады будут кругом. Зацветут кущи, и зацветет тот старый плетень, что притащил с собой на новое место один старый сердитый дед. Переселяли станицу, так тот упорный дед погрузил на машину свой плетень. «Ни за что, говорит, я тот плетень не кину, хоть считайте меня окончательно сумасшедшим. Я сам его плел. Старуха моя на нем свои рушники сушила. Нет и нет! Плетень я не кину, хоть вы и говорите, соседи, что он пересох в труху, и надо мной шуткуете и смеетесь».

— Так и перевез? — спросил тихо мальчик.

— Перевез. И поставил коло своей новой хаты. В степи. А через год подошла к самой той хате вода. Пришло до ее порога новое озеро. Люди его зробили для наикращей жизни. И такое то было широкое озеро, что как солнце клонится, так другого берега не видно. Один солнечный огонь по воде играет. И слепит очи. Да-а... Чего только не сделает человек, колы у него доброе сердце! Все сделает, сынок! А через неделю или две проснулся тот дед раным-рано, чуть развиднять начало и по-над озером еще лежал туман. Проснулся, вышел из хаты и так и сел на пороге: плетень его стоит весь в молодых липучих листочках. И цветет. Сережки-баранчики на нем висят, и сыплется из них желтая пыль.

— С чего же он зацвел, батько? — спросил мальчик.

— Вода к нему подошла. Напился он той воды и ожил. Минет небогато времени, и будет та дедова хата стоять в густом зеленом лозняке и прохладе. А теперь спи!

— Вот так каждый раз! — сказал мне плотник и виновато засмеялся.— Не спит, покамест чего-нибудь ему не расскажешь. От беда!

Он закурил и задумался. Была уже поздняя ночь. Дон в темноте казался необыкновенно широким — гораздо шире, чем днем.

— Славная сказка,— сказал я Старостину.

— Да,— согласился он.— Раз на то пошло, то и я могу рассказать вам кое-что интересное. Все равно не спим. Вы знаете, сколько в Советском Союзе рек?

Мне не хотелось признаваться в своем неведении. Поэтому я сказал наугад:

— Тысяч тридцать, я думаю.

— Вот именно! — насмешливо согласился Старостин.— А если у нас больше ста тысяч рек? Тогда что?

— Сто тысяч рек! Это точно?

— Совершенно. Конечно, если считать все реки от Волги, Енисея и Невы до какой-нибудь заросшей ряской Вертушинки или Мошки. Пожалуй, нигде нет такого чистого переплетения рек со множеством притоков. И нигде реки, текущие в разные моря, так близко не подходят друг к другу. На канале я познакомился с одним партийным работником, любителем чисел. Он подсчитал, что если взять речную карту Союза, похожую на густую и причудливую сеть, и расплести эту сеть в одну нитку, в одну водяную полосу, то она вытянется на два с половиной миллиона километров.

— Так то ж прямо как от нашей земли до звезды! — сказал плотник. Он, оказывается, слушал наш разговор.

— Вот вы гидротехник, знаток рек,— спросил я, как будто между прочим, Старостина.— А вы много читали стихов о русских реках?

— По-моему, их вообще очень мало.

— Наоборот,— сказал я с некоторым злорадством.— Их очень много. И, между прочим, стихов превосходных.

— Например?

— Пожалуйста! Был такой поэт Языков. Волгарь, из Симбирска. Друг Пушкина. У него есть замечательные стихи о русских реках. Он писал, что они текут «блистательно и плавно». Он говорил о Волге:

По царству и река!.. Тебе привет заздравный
Ее, властительницы вод,
Обширных русских вод, простершей ход свой славный,
Всегда торжественный свой ход,
Между холмов, и гор, и долов многоплодных
До темных Каспия зыбей!
Приветы и ее притоков благородных,
Ее подручниц и князей...

А дальше идет изумительное перечисление русских рек: Тверцы — «лелеющей тысячи судов», Суры — «красавицы, задумчиво бродящей», Свияги — «пажитной, игривой и бессонной», и, наконец, Камы, «чей сильный, бурный водобег, под кликами орлов свои валы седые катя в кремнистых

берегах, несет железо, лес и горы соляные на исполинских ладиях».

— Здорово! — с восхищением сказал Старостин.

— А мы Пушкина в школе учили,— вдруг сказал мальчик.— «Горит восток зарею новой...»

— От беда! — промолвил, сокрушаясь, плотник.— Так ты не спишь?

— Ни, батько,— тихо ответил мальчик.— Я слухаю.

— Ну что ты сделаешь с таким хлопчиком? — воскликнул плотник.— Нету никакого повиновения!

— Правильный мальчик,— заметил Старостин.— Возраст такой. Ему сейчас все интересно.

— Оно, может быть, и так,— согласился плотник.

— Поэзия поэзией,— сказал Старостин.— А вам известно, что эти поэтические и задумчиво бродящие русские реки могут дать три биллиона киловатт-часов электрической энергии в течение года и что эти реки уносят каждый год в моря около четырех тысяч кубических километров воды?

— Где же нам все это знать! Рассказывайте дальше.

— Что ж вы обижаетесь? Вы вовсе и не обязаны знать. Это — наше дело, гидрографов и гидротехников.

— А я так думаю,— заметил плотник,— что нету теперь ни нашего, ни вашего, а есть всеобщее. Наука теперь достигает до человеческой жизни. Скрозь это видно, куда ни сунешься в нашем государстве. Скрозь!

Светало. В предутренней степи, затянутой седой дымкой, зарождалась заря. А впереди, за поворотом Дона, открылись несметные огни Цимлянского строительства. Они перегораживали Дон стеной из света. Густым частоколом тянулись черные стрелы экскаваторов. Над ними курилась на еще темном западном небе белая мгла. Буксир сбавил ход.

— Ну, сынок,— сказал мальчику плотник,— собирайся. Надень черевички.

Низкий свет солнца лег на реку, ударил в рыжие берега и в огромную земляную плотину. Она начиналась на высоком, правом берегу Дона, шла через всю его пойму и оканчивалась где-то далеко в степи.

— Западный берег Донского моря,— сказал нам капитан из своей застекленной рубки и показал на плотину.— Подходим.

Буксир начал описывать широкую дугу, чтобы подва-

лить к пристани. Все строительство вдруг быстро понеслось слева направо, как бы нарочно сдвинувшись с места, чтобы показать нам громады бетонных массивов, исполинский вал плотины, эстакады, подъемные краны, мосты и сквозные стены арматуры.

СУЕТЛИВЫЕ СТАРИКИ

— Да як же, скажи мне на милость,— спросил Петр Софронович Игнатия Мусиевича,— люди будут кликать-называть то море чи озеро, которого ще немае?

— Кто его знает!..— неуверенно ответил Игнатий Мусиевич.— Придумают. На это люди у нас проворные, на названия.

— А вот и нет,— возразил Петр Софронович.— Другой раз и скучновато получается. Чтобы название целому морю придумать, превеликую мечту надо в себе иметь, Игнатий Мусиевич. То ж море, а не простая улица или село.

Разговор этот происходил в вагоне поезда между Лихой и Сталинградом.

С верхней полки смотрел на стариков, свесив голову, белобрысый юноша в черной тужурке с якорями на золоченых пуговицах — ученик речного училища Леня Бобров. Он никак не мог сообразить, что это за чудные старики и куда и зачем они едут.

Расспрашивать стариков было бесполезно. На все вопросы они отвечали замысловатыми шуточками и держали себя как заговорщики.

По некоторым признакам выходило так, что старики едут на строительство Волго-Донского канала. Но на что они там нужны? Рассказывать басни? Или приглядывать за младенцами? А может быть, они едут погостить к своим сыновьям или замужним дочкам? Так зачем же это скрывать?

В конце концов Лене надоело ломать голову над этой загадкой, и он решил действовать так же хитро, как и старики.

— На станции Кривая Музга,— сказал он небрежно,— отцепят наш вагон и подадут на Калач. Так что если вам, деды, ехать дальше, на Сталинград, то будьте готовы — в Кривой Музге у нас пересадка.

— Это безусловно правильно,— сказал Игнатий Мусиевич.

— Что правильно?

— Что отцепят. Железнодорожное начальство безусловно знает, что ему полагается делать. Имеет инструкции.

— Значит, поедем мы с вами в Калач? — с наигранной беззаботностью спросил Леня.

— А что ж,— вздохнул Петр Софронович,— и в Калаче и подале, за Калачом, неплохо люди живут.

— Ну и веселые вы, деды! — сказал даже несколько льстиво Леня.— Сразу видно, к детям своим едете погостить.

— Наши дети — заводные сети! — ответил Игнатий Мусиевич.— Вот кто наши дети.

— Была такая стариннейшая солдатская песня,— добавил, в свою очередь, Петр Софронович.— Сам я ее пел, будучи в царской армии: «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваши сестры? Наши сестры пики-сабли востры, вот где наши сестры!»

— Ну да, дело у вас рыбацкое,— догадался, подумав, Леня Бобров.— Дело ясное.

— Дело наше ясное и с народом согласное. Вот ездим, ума набираемся. А наберемся, до своей хаты вернемся.

— А вы часом не из Темрюка? — спросил наугад Леня.

— До того Темрюка не дотянулась ще наша рука,— ответил Игнатий Мусиевич.

— Значит, без роду, без племени? — спросил, наконец, в сердцах Леня.

— Ну, нет. Мы роду рабочего, а племени к работе охочего,— снова так же складно ответил Игнатий Мусиевич и этим ответом привел Леню Боброва в совершеннейшее расстройство.

«Мало у меня своей заботы,— подумал Леня,— а я еще буду с этими стариками играть в кошки-мышки!»

В самом деле, он ехал на практику, на Донское строительство, на новейший в мире землесос. Прежде всего надо было подумать о том, чтобы не осрамиться на землесосе после училища, а не связываться с этими стариканами. Какое ему до них дело!

В этих мыслях Лени Боброва было все же несколько капель горькой обиды. Дело в том, что Лене Боброву казалось, что весь вагон должен если не завидовать ему, юному речнику, едущему на такое ответственное и знаменитое дело, то, по крайней мере, относиться к нему, Лене, с уважением и некоторым удивлением.

Да оно так и было. Кому бы из попутчиков Леня ни рассказал о своем назначении, все радостно удивлялись и говорили:

— Вот, совсем еще мальчик, а уже едет на строительство! Да еще на землесос! Повезло, значит, молодому человеку.

И потом шли приятные для Лени рассуждения, что на строительство, конечно, посылают самых отборных людей.

Так говорили все, кроме этих двух упорных стариков. На них назначение Лени Боброва на землесос не произвело никакого впечатления, хотя Леня и рассказывал им, что эта мощная машина заменяет труд нескольких тысяч человек. Должно быть, старики просто ему не поверили. Между собой они называли Леню «детыной». Это тоже было до некоторой степени обидно.

Поэтому Леня почувствовал даже известное удовлетворение, когда в Кривой Музге старики вышли из вагона и сразу, как только ступили на платформу, оробели, засуетились и начали без толку всех расспрашивать, как проехать на водохранилище.

В конце концов какой-то мрачный шофер забрал их, усадил в кузов грузовой машины и умчал со станции в клубах пыли. А Леня так и остался в недоумении, что же это все-таки за старики.

Старики, трясясь на машине, понемногу успокоились и даже начали посмеиваться над любопытным юношей из вагона.

— Ох, и цикавый же парень! — говорил Игнатий Мусиевич.— Ему все требуется знать, что до его носа не касаемо. Ну и накрутили ж мы ему голову! Попомнит он нас, Петр Софронович.

— Я тоже так думаю, что попомнит,— отвечал Петр Софронович, но отвечал не совсем уверенно: ему было сейчас не до Лени Боброва.

Чем ближе они подъезжали к будущему водохранилищу, тем сильнее удивлялся старик. Все было здесь ново и непонятно: великолепное асфальтовое шоссе и рядом огромные курганы глины, грохочущие ковшами экскаваторы и нарядные поселки из розовых, белых и голубоватых домов, седой налет цемента на всем и машины, похожие на черных железных крабов. Кто его знает, как даже зовутся эти машины и какое они имеют предназначение!.. На тех

машинах управляются девушки в красных косынках. И как это может девушка своею слабой рукой двигать такую машину!

А когда Петр Софронович увидел в степи большой мост, стоявший на высоких бетонных устоях, прямо над землей, над большой канавой, где не было ни капли воды, и когда шофер остановил машину, чтобы почистить что-то в моторе, и сказал, что это мост через будущий канал, через будущую реку, то Петр Софронович окончательно смутился. Он вылез из кузова, потрогал колючий бурьян, что рос около устоев нового моста, и недоверчиво спросил шофера:

— Да неужто тут хлынет вода?

— Раз я говорю,— ответил даже несколько высокомерно шофер,— значит, так и будет.

Петр Софронович смотрел на мост и удивлялся. Удивлялся и Игнатий Мусиевич.

В это время около грузовика остановилась легковая машина ЗИС-110. Дверца машины отворилась, и из машины вышел плотный человек в сапогах и в костюме бетонного цвета. Только присмотревшись, можно было заметить, что костюм этот был коричневый, но до того пропылился, что казался серым.

Шофер, увидев плотного человека, быстро опустил над мотором покрышку и сказал неестественно громким голосом:

— Доброго здоровья, товарищ Басаргин!

— Здравствуйте,— ответил плотный человек и усмехнулся.— Вы с какого участка?

— С участка товарища Земляного,— ответил шофер и явно у всех на глазах стал робеть, даже голос у него как-то притух.

— Ну, что ж,— сказал Басаргин.— Не теряйте времени. Чините мотор. А кто эти почтенные граждане?

— Да вот... двое...— ответил шофер и с досадой посмотрел на стариков.— Престарелые люди, не здешние... Приехали на водохранилище, а дороги не знают. Я и решил их туда подкинуть. Старикам, как говорится, товарищ начальник, везде у нас почет.

— Теперь вижу,— снова усмехнулся Басаргин,— что вы действительно работаете на участке у товарища Земляного. Он вас всех научил говорить по-своему.

Басаргин обернулся к Петру Софроновичу и Игнатию Мусиевичу. Шофер делал им свирепые знаки глазами, ста-

раясь предупредить стариков, что перед ними стоит очень большой начальник. Но старики догадались об этом и без подмигиваний шофера.

— Вот,— сказал Петр Софронович,— любуемся, товарищ начальник, на произведение рук человеческих — на мост этот. И не тому дивимся, что мост этот хороший, а тому, что стоит он уже готовый посередь степу, а воды под ним еще нету.

— Предусмотрительности людской дивимся,— пояснил Игнатий Мусиевич.

— А у вас что на водохранилище? — спросил Басаргин.— Есть дело какое-нибудь?

— Безусловно, есть маленькое дельце в ваших палестинах,— сознался Игнатий Мусиевич и рассказал начальнику, зачем он вместе с Петром Софроновичем прибыл в эти палестины.

На усталом лице Басаргина появилась улыбка.

— Садитесь ко мне в машину,— сказал он.— Я вас довезу до водохранилища. Куда вам трястись на этаком драндулете!

Басаргин кивнул на грузовик и засмеялся. У грузовика был смущенный и несколько даже виноватый вид, такой же, как у шофера.

Старики переглянулись, забрали с грузовика свои вещи и, кряхтя и дивясь просторности машины, осторожно влезли в нее. Дверцы захлопнулись, и машина, выстрелив из-под колес струей пыли, умчалась в сторону водохранилища. А шофер, глядя ей вслед, сказал:

— Так что же, что драндулет! ЗИСы сто десять водить — не звезды с неба хватать. Это мы тоже умеем, товарищ начальник строительства.

РЫБОЛОВНЫЕ БОТЫ

Три новых колхозных рыболовных бота стояли прямо в степи около кургана. Вокруг них валялись стружки. Под стружками не видно было даже травы.

В этот день Игнатий Мусиевич и Петр Софронович кончали конопатить последний бот. Надо было его смолить, но вышла задержка: в поселке не нашлось вара.

Шел разговор, чтобы послать за ним к инженеру Земляному. Вызвался ехать счетовод колхоза Ваня Савуш-

кин, человек, как говорили о нем, «не имеющий задержки». Никакие препятствия для Вани не существовали. Что бы ему ни поручали, он, сдвинув на затылок кепку и торопливо роясь в карманах в поисках спичек, отвечал без запинки: «Это можно! Раз, два — и наколем дрова!»

Сейчас Ваня вместе со старухой Парасей Сидоренко помогал старикам конопатить бот, и между ними шел неторопливый разговор.

— Два дня, как приехали с Черного моря моя дочка и внучка,— говорил Петр Софронович.— Пускай отдохнут. Их, молодых, жалеть следует сильнее, чем старых.

— Я-то хорошо это знаю,— согласилась старуха Сидоренко.— Молодости ни у кого не позычишь.

— Что правда, то правда,— заметил Игнатий Мусиевич.— Вот слушайте, какую я вам расскажу историю про молодость.

Леля в это утро проснулась рано и пошла к ботам, чтобы набрать стружек и растопить очаг. На очаге Анна Петровна готовила с утра обед, помогала старухе Сидоренко. Кондрат Сидоренко весь день проводил на строительстве и возвращался только к ночи.

Леля незаметно подошла к наваленным стружкам со стороны хаты, села в тени бота на землю и начала слушать рассказ Игнатия Мусиевича.

Солнце еще низко висело над землей. По степи бегали хохлатые жаворонки. Было свежо, ясно.

— Так вот,— говорил Игнатий Мусиевич,— какое случилось сугубое происшествие. Была у нас на косе рыбачка Маруся. Да ты ее, Парася, безусловно, должна знать.

— Как же не знать! — ответила старуха Сидоренко.— Она со всех наших детей была наикращая.

— И приехал к нам на косу один художник. Не с Ростова и не с Москвы, а с Ленинграда. Веселый человек! Сядет коло твоей хаты с красками, посмотрит одним глазом, посвистит, а потом ударит немногое число раз по холсту кистью — и смотришь: уже горит на том холсте твоя хата не иначе как солнце. Прожил ты в той хате с малолетства, безусловно, каждый сучок знаешь, а стоишь и дивишься, будто и не твоя она хата, а какой-то райский чертог. Вот какой был человек тот художник! И написал он с нашей Маруси портрет. Она, бывало, сидит у моря на перевернутой шаланде, штопает сеть, а он ее пишет. Детвора толчется за его спиной, но даже дохнуть боится:

у нас на косе народ уважительный к чужому занятию. Что старый, что малый — все одно. А Маруся, видно, стесняется сильно перед тем художником. Всё глаза опускает. А он на нее сердится. Случалось, даже прикрикнет, чтобы глаза она не ховала. Потому что глаза у нее были, как те синие звезды над морем.

— Видать, Игнатий Мусиевич,— шутливо заметил Петр Софронович,— что не совсем вы сами были равнодушные до Марусиной красоты.

Ваня Савушкин засмеялся, а Игнатий Мусиевич строго сказал:

— Безусловно, был неравнодушный. А ваши, Ваня, смешки, как те дырявые мешки. Бесполезная вещь!

— И отчего это люди взяли себе моду надо всем смеяться? — вздохнула старуха Сидоренко.— Никакого я в этом не вижу геройства.

Ваня покраснел и пробормотал, извиняясь:

— Да я так... вообще... Я без осуждения.

— Ага! — с удовлетворением сказал Игнатий Мусиевич.— Нарисовал он ее портрет и не оставил на косе, а увез до себя в Ленинград. А Маруся с той поры стала какая-то слишком задумчивая. Запал ей на сердце тот художник. Один раз призналась она моей дочке: «И на что он меня только рисовал! Вот время идет, меркнет моя молодость, а ему там, в Ленинграде, я вижусь такой, как колысь была,— молоденькой да ясноглазой. Не дай бог, приедет он до нас опять и увидит меня не такой, как на том портрете. И смотреть на меня не захочет. И слова не захочет сказать. Приедет, я в степь убегу, пропаду, сховаюсь». Однако случилось не так.

Игнатий Мусиевич замолчал. Он, очевидно, начал свертывать папиросу. А делал он это основательно.

«Что же дальше?» — хотела крикнуть Леля, но сдержалась.

— А оно случилось, безусловно, не так! — повторил наконец Игнатий Мусиевич.— Как после революции женщины у нас тоже пошли по рыбацкому делу, то начала и Маруся плавать на байде. Сначала за подручного, потом за рыбака, а по истечении времени сделалась она бригадиром. И уловы у нее были, правду сказать, богатые. Ну, понятно, ей от этого произошел почет. Даже в газетах про нее пропечатали, в московских. Вот один раз возвращается Маруся с моря — в сапогах, в винцераде, вся

мокрая, потому что прихватило ее свежим штормом. А председатель колхоза дожидается ее на берегу и приглашает с собой до правления. За какой надобностью, ей это неизвестно. Входит она в правление, а там на белой стенке, над столом с красной скатертью, висит тот самый ее портрет. Маруся как увидала, так и зарумянилась.

«Что это? — говорит.— Откуда?» Сняла с головы платок, поправила волосы и смотрит на себя, смеется. «Вот,— говорит председатель,— какое получилось дело! Прочитал, говорит, художник про тебя, Маруся, в газетах и прислал нам в подарок твой портрет. И пишет, что, безусловно, этим летом хочет опять до нас приехать, чтобы изобразить тебя уже в новом твоем звании. Запала ты ему на душу, должно быть». Это он шутит, конечно, председатель. И тут происходит такое явление, что помолодела наша Маруся на двадцать лет. Кто его знает, куда девались морщины. И глаза загорелись, и голос позвончел, и опять ходит она промеж нас в былой своей красоте.

— Радость с человеком чего хочет сотворит,— заметил Петр Софронович.— Десяток годов скинет, как гирю с весов.

— А приехал художник или нет? — спросил Ваня Савушкин.

— Приехал. Предупредил. Маруся его встретила на краю косы. Шаль накинула и вся светится, как мальва на заре. А художник увидел ее, остановился и говорит: «Вот, говорит, я приехал новый портрет с вас писать. А писать, выходит, мне совсем нечего. Как будто и годы не прошли. Вы все такая же, Маруся». А Маруся только смеется тихо и слова сказать не может. И глаза опустила, чтобы сховать слезу, что на них набегает.

Игнатий Мусиевич замолчал.

— А дале что было? — спросила старуха Сидоренко.

— А про то, что было дале,— ответил за Игнатия Мусиевича Петр Софронович,— мы вам не обещались рассказывать. Сами соображайте.

— Неужто поженились? — радостно спросила старуха Сидоренко.

— Всякое на свете бывает,— уклончиво ответил Игнатий Мусиевич.— Вот, Петр Софронович, как погляжу я на вашу внучку, на Лелю, так, безусловно, вспоминаю про Марусю. Сходству их я удивляюсь.

— Пожалуй, что так,— согласился Петр Софронович.

Леля встала и осторожно пошла, стараясь, чтобы ее не заметили, к хате. Лицо у нее горело.

— Что он только говорит! — шептала Леля.— Ну и болтун же этот Игнатий Мусиевич!

Леля приехала в степь с Анной Петровной с Кавказского побережья два дня назад.

Петр Софронович не ждал их и по-стариковски прослезился, когда увидел дочь и внучку. Особенно он был рад тому, что они застали его «при деле».

Жили все у Сидоренко. В хате было тесновато и жарко, но спокойно и весело.

Старуха Сидоренко гордилась, что старики не осрамили ее перед людьми, приехали и помогают степнякам готовиться к новому для них делу. И она хотя и старая, а тоже помогает новой жизни. Раньше работал один Кондрат, а теперь она сама вносит свою долю в общее дело.

В свободные часы старуха помогала Игнатию Мусиевичу и Петру Софроновичу в их работе — вспомнила свое девичье время, когда ей приходилось конопатить шаланды, чинить сети и заниматься всякой другой рыболовецкой справой.

Анна Петровна, как только встретилась с Петром Софроновичем, тотчас заговорила с ним «по-азовски».

— Батько,— говорила она,— вы свои годы, пожалуйста, не забывайте. А то уж очень вы петушитесь. Да и табачищем дымите не по летам.

— А ты не журись! — отвечал Петр Софронович.— Я, Ганна, каленый и ветрами дубленный. Я еще поживу хорошенько на этом свете. Большие дела происходят. Каждому лестно руку до них приложить.

Леля была в это лето в совершенно новом и удивительном состоянии. Она перешла в десятый класс. Годы до этого прошли в учении, увлечении литературой, занятиях в драматическом кружке,— прошли очень быстро. Длинные зимы в Саратове, изредка театр, лекции, концерты, а летом отдых на Волге, лодочные гонки и пешеходные экспедиции. И только в это лето Леля впервые увидела то, что она называла «миром»,— увидела море, Кавказ, степи, народное строительство, встретилась с новыми людьми, со старыми рыбаками и жителями степного поселка на берегу будущего озера. И время пошло гораздо быстрее, чем раньше.

Нужно было, как говорила Анна Петровна, уже определять себя в жизни, выбирать трудовую дорогу.

— Будь кем хочешь,— говорила Анна Петровна,— врачом, инженером, актрисой, геологом, агрономом, но только будь деятельным, честным и щедрым человеком.

Леле хотелось выбрать такую профессию, что соединяла бы много качеств, захватывала бы разные и необыкновенно интересные области жизни. Но такой профессии для себя она еще пока не находила.

— Отложу выбор до осени,— решила Леля.— Может быть, жизнь сама подскажет.

Леля принесла стружки и начала растапливать во дворе глиняный очаг со вделанной в него самоварной трубой. Потянуло дымком. Из щелей в очаге побежали врассыпную черные жучки — «пшеничные комарики».

Леля разводила огонь, стоя на коленях перед очагом. Она не видела, как от остановившегося неподалеку «газика» к хате Сидоренко шел Карпов.

Он подошел к Леле, постоял, посмотрел на ее длинные косы с темными лентами, услышал, как Леля сказала: «Дедушка тоже хорош! Во всем соглашается с этим своим Игнатием Мусиевичем»,— и кашлянул. Леля быстро обернулась.

— Ах, вот вы куда попали! — с удивлением сказал Карпов.— Здравствуйте!

Леля встала и с недоумевающей улыбкой смотрела на Карпова.

— Это вы? — спросила она наконец.

— Это я,— ответил Карпов.

— Достали вы свою марку бетона?

— Достал.

— Мама! — закричала Леля.— Иди сюда! Скорей! Здесь товарищ Карпов из поезда.

Анна Петровна вышла на порог хаты, заслонилась ладонью от солнца, посмотрела на Карпова и тоже его узнала. Карпов поздоровался с Анной Петровной и Лелей так просто, будто они только вчера расстались на вокзале в Новороссийске.

Когда Карпов узнал, что Анна Петровна — дочь рыбака Петра Софроновича, он обрадовался. Сам он был из семьи рыбаков с озера Ильменя.

— Значит, мы с вами вроде как родственники,— сказал Карпов.— Славный у вас отец. Душевный старик. Мы с

ним подружились. Он мне помог в моей работе. А я вот приехал помочь ему.

— Ну вот,— ответила с сомнением Анна Петровна.— Чем он может помочь? Он же совсем старенький.

— Примером,— ответил Карпов.— Весь наш участок строительства знает об этих стариках. Ни у кого теперь не поворачивается язык, чтобы поныть или пожаловаться на трудности. Этих стариков у нас и прозвали ласково «соцстариками».

— Как? — спросила Анна Петровна.

— «Соцстариками». Социалистическими стариками. Потому что при социализме все старики должны быть такие, как они.

Анна Петровна засмеялась.

— Да, правда,— сказала она.— Они хорошие. Только чересчур разговорчивые. Но в старости это простительно.

ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ

Самым важным участком работы считался шлюз. Бетонное основание шлюза, его днище, было готово. По сторонам днища поднималась сквозная и легкая на вид арматура шлюзовых стенок.

Бóльшую часть времени Земляной проводил на шлюзе. Бетонная каша непрерывно ползла по толстым хоботам с бетонного завода и тяжело лилась в лотки. Ее тут же сбрасывали на днище и обрабатывали свежий бетон электровибраторами, чтобы придать бетонному тесту однородность.

Стоя на дне шлюза и отдавая распоряжения, Земляной иногда взглядывал вверх и видел сквозь стальную сетку арматуры бледное от пыли небо и неподвижные облака. А скоро здесь ляжет прозрачная толща воды и в ней повиснут над слегка позеленевшим от тины днищем шлюза пароходные кили, выкрашенные суриком.

Так и будет, конечно. Но сейчас Земляного тревожило небо над степью. Оно линяло на глазах. Его основной, синий цвет только угадывался сквозь сизую муть. А дальше, к горизонту, небо приобрело угрюмый грифельный оттенок.

Чем больше тускнело небо, тем мучительнее становилась жара. Пот уже стекал по лицам рабочих не каплями, а струями.

Клава Гусева работала в этот день вблизи шлюза на выборке земли. Тяжелая пыль висела над выемкой. Воздух не шевелился. Не шевелилась и пыль. Она медленно оседала на машины, сухую траву и прилипала к мокрым лицам. Бурые сгустки пыли свисали с бурьяна лохмотьями. К лицу нельзя было прикасаться: только вотрешь пыль в кожу и тогда не отмоешь ее и за два дня.

Чем ближе к вечеру, тем гуще делалась духота. В ней было что-то угрожающее. От тяжелого неба, как бы подернутого дымом пожара, тянуло легкой гарью. Близкая пустыня готовилась нанести людям удар. Она собиралась с силами.

Казалось, стоит бросить в траву зажженную спичку, и вся степь вспыхнет багровым палящим огнем.

Солнце ушло в слоистые дымы. И ровно в шесть часов десять минут — Земляной хорошо запомнил время, так как взглянул на часы,— далекий мрачный гул зародился в непроглядных далях, начал медленно катиться к зениту и перекрывать все видимое пространство неба и земли резким и грозным своим раскатом. Это был первый гром.

Потом в тех же мутных далях возникло и тут же погасло мгновенное ослепительное видение гигантского дерева с сотнями перепутанных синих ветвей. Это была первая молния.

Земляной знал о разрушительной силе редких степных гроз. И теперь, глядя на небо, загроможденное непроницаемыми навалами туч, он понял, что строительство вот-вот, может быть, через какие-нибудь полчаса примет смертельный бой со стихией.

Звонки телефонов по всем объектам работ предупреждали о приближении опасности — о потоках ливневых вод и оплывах грунта.

Ливень мог повредить берега канала. Надо было немедленно вывести из русла машины, чтобы они не завязли и не утопули в грязи.

Кроме того, запертая наглухо перемычками и изрезанная на части, безобидная степная речушка Карповка могла превратиться в бешеный поток и смыть перемычки.

Земляной отдавал распоряжения совершенно спокойно. Он даже ни разу не повысил голоса. Но в его спокойных словах все слышали приказ — собрать все человеческие силы и исполинскую силу машин, чтобы отразить грозное нападение природы.

Отряд скреперов, где работала Клава, перебросили на перемычку. Ее надо было срочно наращивать. Никто не мог угадать, до какого уровня дойдет вода в Карповке.

Около перемычки работали и экскаваторы, в том числе и малый экскаватор Прохорова. С Прохоровым у Клавы до сих пор были натянутые отношения.

Клава вела свой скрепер к перемычке. Она прорывалась к ней через слепящие взрывы — то полыхали, как бы надвигаясь заградительным огнем, десятки молний.

Мысль о заградительном огне пришла в голову не только Клаве. Об этом же подумали и Земляной и старый фронтовик Карпов.

— Стена огня! — сказал Земляной.— Лишь бы не было ветра. Иначе людям на машинах придется очень туго.

Земляной вышел на крыльцо управления. Его ждал «газик».

— Нет,— сказал Земляной.— Давайте трактор. С «газиком» мы засядем.

Пока подходил трактор, Земляной смотрел на небо. Ему казалось, что оно медленно падает на землю.

По всей трассе канала вспыхнули огни. Из-за грозы свет был дан раньше времени. Строительство как бы облеклось в световую броню.

Опасения Земляного сбылись. Перед фронтом грозы шел ветровой вал. Вихрь превратил воздух в кромешное месиво из тьмы и пыли.

Эта лавина ударила в лицо скреперистам. Машина Клавы, лязгая и скрежеща, шла как бы наугад, пока не остановилась у земляного вала. Это была перемычка.

Клава развернула машину, набрала в ковш земли, двинула скрепер на перемычку и услышала стремительно набегающий гул ливня.

Ливень обрушился сразу. Уже нельзя было разобрать, где земля, где небо, где перемычка и где соседние машины. Казалось, что скрепер вертится на крошечном клочке суши. Вокруг чудились пропасти, кипящие черной водой.

Клава, сжав губы, вела машину прямо в эти пропасти, снова и снова набирала в ковш землю, вползала на перемычку и там сбрасывала свой груз. Она с тревогой думала, что через несколько минут глина под гусеницами трактора превратится в липкую замазку, скрепер завязнет в ней и перестанет работать.

Клава ничего не видела и потому не знала, как быстро

прибывает вода и близка ли опасность. Она только знала, что машина не должна, не может подвести.

Но машина с каждым заходом работала со все большей натугой и даже, как показалось Клаве, начала тяжело стонать.

— Ничего, ничего,— торопливо уговаривала Клава машину.— Не сдавай! В разлив было хуже. Не сдавай!

Но тянуть скрепер становилось уже не по силам для тягача. Тогда Клава закричала в ярости:

— Ну что ж ты! Буксовать, что ли, будешь? Тяни, тебе говорят! Тяни!

Машина забуксовала на подъеме, остановилась, начала медленно сползать назад и заваливаться набок в жидкую глину.

Клава резко повернула машину, но она продолжала сползать и заваливаться.

«Ну вот! — подумала Клава.— Сейчас перевернется, вдавит меня в землю — и конец!»

Клава знала, что совсем рядом с ней работает экскаватор Прохорова. Она видела сквозь ливень мутный свет его фар. Но свет этот падал на перемычку в стороне от скрепера, и Прохоров, конечно, не мог знать, что происходит с Клавой.

— Прохоров! — закричала Клава.

Она закричала без всякой надежды, что Прохоров услышит ее сквозь грохот собственной машины и шум ливня. Да если бы и услышал, то чем бы мог он ей помочь? Правда, он мог бы достать своей стрелой до скрепера. Ну, и что с того? Ковшом скрепера не зацепишь и не удержишь.

Клава из последних сил держала машину, чувствуя, что от малейшего неосторожного движения она перевернется и ее засосет в грязь. Время как будто остановилось. И как будто очень медленно луч света с экскаватора начал поворачиваться, пока не упал на скрепер. И так же страшно медленно ковш экскаватора набрал землю, пронес ее над головой Клавы, обдав Клаву потоком жидкой глины, и опрокинул землю под гусеницу Клавиного трактора с той стороны, куда он заваливался.

Клава почувствовала, что машина уже не сползает.

Прохоров привалил к трактору второй ковш земли, быстро увел стрелу в сторону и снова начал наращивать перемычку.

Произошло все это стремительно, хотя Клаве и казалось, что прошло много времени. Клава отвела со лба слипшиеся от глины волосы, срывающимся голосом крикнула в пространство: «Ну спасибо, Прохоров»,— и вытерла рукавом мокрое лицо.

Глаза сильно жгло. Должно быть, в них попала глина. Не могло же их жечь от слез. В этом Клава никак не хотела себе признаваться. И все-таки она плакала, сидя в кабине. Плакала и от пережитого напряжения, и от благодарности к Прохорову, которого недавно обидела, посмеялась над ним перед всем собранием.

«Ишь,— подумала о себе Клава,— чистоплюйка какая! Учительница! Собой залюбовалась на этом собрании. Дура и есть дура!»

Она вспомнила слова Земляного, что в каждом человеке надо прежде всего искать хорошее. А мы сплошь и рядом ищем дурное, как бы оправдывая этим самих себя в собственных глазах.

Клава прислушалась, пораженная вдруг наступившей тишиной.

Ливень стих так же внезапно, как и начался. Только молнии мигали почти непрерывно. От этого все небо над головой горело мутным перебегающим огнем.

В свете молний были хорошо видны перемычка, и экскаватор Прохорова, и тяжело идущий вдоль перемычки незнакомый мощный трактор.

Клава достала из-под сиденья паклю и наконец вытерла лицо.

Вдали на юге небо посветлело. Клава заметила на зеленоватой полосе этого вечернего неба трепетный свет звезды. Она висела, как серебряная капля дождя, на краю черной облачной громады, неторопливо уходившей на север.

Клава с глазами, еще полными слез, засмеялась и расстегнула ворот тяжелого, промокшего комбинезона.

Ясность и тишина омытой ливнем ночи казались ей просто чудом. От земли тянуло прохладой и слабым удивительным запахом, похожим на запах жасмина. Это был запах озона, грозовых разрядов.

Мощный трактор подошел к скреперу и остановился. Из трактора, увязая в грязи, вышли Земляной и Карпов.

— Жива? — спросил Карпов Клаву.— Сама не вылезешь? Постой, я тебе помогу.

Он помог Клаве выбраться из кабины. И тут только Клава увидела, что машина ее стоит на краю глубокой рытвины, полной воды.

— Прохоров меня спас,— сказала Клава.— Подвалил эту землю и остановил скрепер. А то лежать бы мне в воде под машиной.

— Все кончено,— сказал Земляной, должно быть, не расслышав слов Клавы.— «Буря прошла, гром унесла». Воду сбросили в старое русло Карповки. И завязли всего три машины.

— Прохоров меня спас,— повторила Клава, но Земляной опять ничего ей на это не ответил, а сказал как будто совсем не к месту:

— Знаете, как называются такие ночи с непрекращающейся молнией?

— Нет,— ответила Клава.

— Воробьиными. Потому что от ярких вспышек воробьи просыпаются, начинают метаться в воздухе, а потом, когда молнии гаснут, разбиваются в темноте о деревья и стены. Садитесь к нам на трактор. Утром тягач вытащит вашу машину. Тогда отмоете ее и проверите. А что касается Прохорова, то ничего особенного в его поступке я не нахожу. Обычное дело! Ну, поехали!

ГУЛ ВОДЫ

— Ну и ночка! — сказал Карпов и захлопнул дверь. Ветер рванул ее и попытался открыть, но Карпов схватился за ручку и начал тянуть дверь к себе. Ветер в конце концов уступил, но все же грохнул напоследок в филенку с такой силой, будто ударил тяжелым сапогом. Дверь затрещала.

Карпов прошел в кабинет к Земляному.

— Ну что? — спросил Земляной.— Лепит?

— Еще как!

— Ничего, теперь нам черт не брат! — Земляной улыбнулся и посмотрел на чугунного медведя с озабоченной мордой, сидевшего на чернильном приборе.— Дуй, свисти, беснуйся, вали небо на землю! Мы в бетоне, как в броне. Об него этот степной ветерок пообломает себе зубы.

— Долгожданное время,— заметил Карпов.— Кстати, почему оно называется предпусковым периодом? А не пусковым?

— Не знаю. Спроси Басаргина. Он ревнитель русского языка.

— Ну и правильно, что ревнитель. Поехали!

Они вышли на крыльцо. Ветер воспользовался этим и так размахнулся дверью и с треском припечатал ее к стене, что они вдвоем едва ее закрыли. За это время ветер нанес в коридор столько снега, что он кружился, как туман, около лампы под потолком.

«Газик» смело ринулся в снег и выскочил, весь побелев, на шоссе. Там почему-то было тише, ветер дул спокойнее и снег летел медленно, как по косым линейкам. Множество фонарей сверкало и качалось в степи.

— Представляешь,— спросил Земляной Карпова,— какие здесь случались отчаянные ночи, когда не было строительства?

— А теперь все это ерунда! — ответил Карпов.— И эти бураны и эти ночи. Одна декорация!

С тяжелым воем проносились встречные самосвалы. Чем дальше бежал «газик», тем гуще становились огни. Над ними горела красная звезда.

— Насосная! — сказал Карпов.

Здесь все было знакомо Земляному, до последней выбоины на дороге. Он мог, как ему думалось, пройти тут с закрытыми глазами. Но этой ветреной ночью он не узнавал очертаний насосной станции и других сооружений. Во мраке все они казались громадами окаменелой и изломанной под разными углами тени.

В темноте чувствовалось напряженное движение, катился глухой шум, изредка требовательно покрикивали машины. И снег как бы присмирел от этого. Он падал торопливо, стараясь не задерживаться и не мешать людям. И так же поспешно таял.

«Сейчас,— подумал Земляной,— налево от дороги будет валяться вросший в землю изогнутый рельс и рядом с ним старая покрышка от автомобильного колеса».

Этот рельс и покрышку Земляной видел по двадцать раз в день. Сначала они его раздражали, но он понимал, что не стоит придираться к таким мелочам, и потому не распорядился их тотчас убрать. Потом он привык к ним, а однажды весной даже обрадовался, когда увидел, что в совершенно ничтожной тени от покрышки вырос какой-то желтый замухрышка-цветок.

Земляной вглядывался в обочину дороги, освещенную фарами. Рельса все не было.

— Здесь валялся рельс,— неуверенно сказал он шоферу.— Проехали мы его, что ли?

— Да его сегодня убрали,— ответил шофер.

— Как убрали?

— Да это ж временная дорога, товарищ начальник,— сказал шофер.— Ее завтра закроют. Вот и прибрали все по сторонам.

— Спасибо за новости! — насмешливо пробормотал Карпов, а Земляной подумал, что действительно временная эта дорога будет завтра закрыта за ненадобностью, к весне она зарастет травой, по каналу откроется движение, строители уедут и никто никогда и не вспомнит о такой малости, как этот рельс. А вот он будет его иногда вспоминать — ведь каждый раз, когда он ехал на плотину, шлюз или насосную станцию, он видел этот рельс.

Странное существо человек! Вот закончен канал, шлюз, завтра будет пущена насосная станция, и он, Земляной, конечно, понимает, что это уже конец огромных работ, длительных усилий. Но почему-то особенно ясное ощущение конца строительства вызывает у него исчезновение этого старого рельса.

На станции было людно. Монтаж гигантских пропеллерных насосов закончился. Сегодня ночью решили опробовать их и проверить в действии.

Монтажники в последний раз осматривали механизмы. Земляной с Карповым прошли сначала к подходному каналу. Там землесос снимал последнюю земляную перемычку, чтобы открыть донской воде путь к станции. Убедившись, что все в порядке, Земляной прошел с Карповым в здание насосной станции, в маленькую бетонную комнату, где помещались пусковые приборы.

Там было очень светло. Лампа под потолком сверкала, как белый бенгальский огонь. Снаружи на стеклах быстро таял снег и сбегал извилистыми ручейками. Казалось, что он тает так быстро от нестерпимого света этой лампы.

Около приборов возился старый монтажник Захар Петрович. Он посмотрел на Земляного поверх очков.

— Нижайшее почтение,— сказал он.— Вот сейчас последнюю точность подгоним и тогда пустим. Точность, насколько я понимаю,— основа технического прогресса, товарищ Земляной.

— Волнуетесь? — спросил Земляной.

— Примерно, как и вы,— ответил Захар Петрович.— Как-никак, а рождается механизм. Его надо собрать и обрядить, как мать собирает сына в дорогу. С заботливым сердцем. Вот, скажем, сердце. Точнейший прибор! Сдвиньте на миллиметр сердечный клапан — и все! Безвозвратная смерть. Только сердце у человека одно, а у наших машин их у каждой по нескольку. И все они должны биться удар в удар.

Земляной слушал рассуждения старого монтажника и усмехался. Он уже много раз испытывал невыносимую тревогу при пробе новых мощных механизмов. И хотя он знал, что в конце концов все наладится, он не мог заставить себя не волноваться.

Земляной закурил и начал ходить из угла в угол белой бетонной комнаты. Он взглянул на окно и увидел, что снег уже не падает. Это почему-то его успокоило. Как будто снег имел какое-то касательство к работе насосов!

Послышались голоса. В комнату вошел Басаргин с несколькими инженерами-монтажниками.

Басаргин зажмурился от яркого света, вынул платок и вытер мокрое лицо.

— Не выдержал,— сказал он Земляному и вздохнул.— Хотел приехать завтра к пуску станции, но решил посмотреть первую пробу. Благо есть время.

— Последняя перемычка только что срыта,— сказал Земляной.— Донская вода заполнила камеры станции.

— Так! — сказал Басаргин и сел к столу.

Все ждали, что он скажет, но он задумался и только чуть слышно постукивал пальцами по пустой коробке от папирос, валявшейся на столе. Он думал об огромном количестве усилий, приложенных тысячами строителей к сооружению канала. И вот среди миллионов этих усилий, среди миллионов ковшей земли и кубометров бетона, среди неисчислимого количества ударов электровибраторов возникает одно последнее усилие, вынимается последний ковш земли — и строительство с этой минуты прекращается, а начинает жить во всей своей сложности и грандиозности новое сооружение. Для нас трудно, пожалуй, почти невозможно увидеть последнюю каплю дождя. Так же трудно уловить это последнее усилие человека, дающее жизнь сооружению.

— Да,— сказал Басаргин.— Пуск! Как будто простое слово...

Земляной встал.

— Разрешите включить первый насос? — спросил он Басаргина.

— Включайте!

Земляной подошел к контакту. Он положил на него руку и оглянулся. За открытой дверью толпились рабочие. Среди них Земляной увидел Клаву, Гармаша, Прохорова и неуловимого товарища Зензинова — краснощекого и всегда сияющего человека.

— Ну, в час добрый! — сказал Захар Петрович и сдернул с головы кепку.

Земляной нажал контакт, и он вдруг как бы тихо запел у него под рукой. Постепенно это пение перешло в широкий, нарастающий гул, в могучий, торжественный голос машины. Под ногами у Земляного начала бушевать и биться вода.

Он держал руку на контакте и как бы чувствовал вздрагивающий, стремительный, уносящийся в пространство ход насоса.

Карпов подошел к окну, поднял его, и в комнату ворвался плеск и гром водопада: донская вода наполняла первое водохранилище на канале. Свет красной звезды, зажженной над насосной станцией струился в потоках этой воды, как бы пытаясь оторваться и уплыть вместе с ней, но тотчас возвращался обратно.

Все молчали, слушая живое биение воды, заполнявшее ночь. Гул катился в степные дали, будто свежий морской прилив.

В этот ночной час проснулась у себя в хате старуха Сидоренко. Она встала, накинула платок и подошла к окну. Она прижалась к нему лицом, отшатнулась и крикнула:

— Кондрат!

— Что тебе? — спросил спросонок старик Сидоренко.

— Вставай, Кондрат! Вода пошла по степи.

Величественный гул воды уверенно несся над землей, захватывая ее все шире, все дальше. И как бы от этого гула сами по себе зажигались огни в домах. Люди просыпались, торопливо выбегали в ночь, кричали друг другу: «Вода! Слушайте!» По всему поселку взволнованно лаяли собаки, без времени перекликались встревоженные пету-

хи, мычали, захлебываясь, коровы: просили, чтобы их выпустили из темных загонов.

Вода шла. Несмотря на темную ночь, ее движение было видно людям. На присыпанной снегом белой впадине — сухом дне водохранилища — быстро росло черное пятно. Оно расползалось, вклинивалось языками в снег, подступало к берегам. Вода съедала снег. Он шуршал и таял на глазах. В мелкой воде уже засверкали и заколебались во всю ширину разлива огни насосной станции.

Утро пришло туманное, тихое. Снег за ночь растаял. И неведомо откуда — то ли от сырой земли, то ли из балок, а может быть, от донской воды, заливавшей водохранилище,— тянуло запахом ранней весны: слежавшихся листьев, мокрой лозы, горьких подземных стеблей.

Сквозь редкий слой облаков просвечивало бледное солнце. Под ним белой фольгой светилась только что появившаяся на свет гладь нового озера. И все так же мерно и мощно гудела, прибывая, вода.

НОВЫЙ ПУТЬ

Перегоревшая степная земля впервые почувствовала холодноватое прикосновение донской воды.

Карповское водохранилище все ширилось, становилось все глубже. Железные плавучие бакены, что вчера еще лежали на земле, уже поднимались на воде, как поплавки, их покачивали первые волны.

Так зарождался новый великий водный Волго-Донской путь, призванный соединить с Азовским и Черным морями тридцать тысяч километров наших судоходных рек — от Невы до Северной Двины и от Оки до Урала.

Приближались те удивительные дни, когда от Охтенской пристани в Ленинграде и белых набережных Архангельска пароходы будут отваливать в прямые рейсы до далекого южного Ростова, а затем и до прибрежных городов Азовского и Черного морей.

Мачты морских пароходов с сигнальными огнями будут проплывать через лесные и луговые просторы России, через те места, что еще недавно были вековой глухоманью. Лоси будут испуганно прядать ушами, прислушиваясь к морским величавым гудкам. Эхо будет перекатывать эти

гудки над непролазными чащами волчьей ягоды и над разливом лесов, и от этого эха будет вздрагивать внезапной черной рябью вода ночных болот.

Знаменитые шекснинские соловьи будут приветствовать морских гостей своим переливчатым громом, а приокские луга — запахом цветущего росистого шиповника.

Из задумчивого сумрака белых ночей эти пароходы уйдут под черное, пылающее крупными звездами южное небо. Запах виноградных листьев, полыни и акации смешается в каютах с запахом сосновой коры и медуницы.

Пароходы как бы будут брать огромные разрезы Советской страны в пространстве. Десятки наречий будут слышны на их палубах. Десятки городов будут проплывать мимо пароходов, уходя в речные дали,— городов, овеянных и древней и новой славой, кипучих и живописных.

Пожалуй, не будет ничего более заманчивого и увлекательного, чем эти плавания. И ничего более поучительного для нашей молодежи.

Эти пароходы станут своего рода плавучими «университетами», теми университетами жизни, о которых говорил Алексей Максимович Горький.

И с зеленеющих круч приволжского города будет с суровой нежностью улыбаться нашей молодежи, опираясь на трость и сняв широкополую шляпу, высокий, чуть сутуловатый бронзовый человек — великий гуманист и писатель.

ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА

Пришли назначенные сроки. Строительство закончилось. Новый водный путь был открыт. Люди убрали последние строительные леса. Мощные триумфальные арки шлюзов поднялись к южному небу во всей торжественности своих архитектурных линий и объемов.

Солнце впервые вставало в синеватых туманах над только что рожденным и тихо шумящим Донским морем.

Каждый человек, вложивший свой труд и свое сердце в это величественное сооружение, на минуту замолк и задумался. О чем? О том, что нет в мире большего душевного удовлетворения, чем сознание достигнутой цели. О том, что выполнен долг перед современниками и перед потомками. О том, что мало любить родину, а нужно жить и работать так, чтобы родина любила тебя.

Только что было закончено и сооружение триумфальной арки над входом в канал на участке Земляного. Бетонщиков и монтажников сменили каменщики, гранильщики, лепщики и мастера по бронзе.

Земляной с увлечением изучал архитектурные чертежи. Его кабинет был теперь завален образцами мрамора, порфира и бронзы. Это были, как с легкой грустью говорил Земляной, «последние гости на строительстве».

Действительно, это были последние строительные материалы, призванные закрепить в монументальном сооружении содержание и мощные пропорции эпохи.

Арка была готова. Земляной ждал Басаргина. Начальник обещал приехать к концу дня, чтобы ее осмотреть.

Уже темнело, а Басаргин все не ехал. Земляной начал нервничать. Ему хотелось, чтобы Басаргин увидел арку во время заката. В свете заходящего солнца она казалась отлитой из темного тяжелого золота.

К Земляному зашла Клава. Она заметно изменилась за последний месяц, стала серьезнее, строже. И глаза у нее были теперь спокойные, прозрачные, без прежнего задора.

«Повзрослела наша Клава»,— подумал Земляной, а вслух сказал:

— Собираешься?

— Да. Завтра еду в Москву. Буду учиться, товарищ Земляной.

— Ну, смотри, не упускай его... свое счастье.

Он протянул Клаве руку. Клава схватила руку Земляного и прижалась к ней лбом.

— Ну, ну! — сурово сказал Земляной.— Счастье найти не так уж трудно. Вот сберечь его гораздо труднее.

За дверью послышались голоса. Клава крепко пожала руку Земляного и выпрямилась. Вошел Карпов.

— Что же это Басаргин? — спросил он.— Что он думает? Осматривать арку при дымных факелах, что ли? А, Клавочка! Здравствуй, голубушка, перелетная птица.— Он повернулся к Земляному.— А ты сидишь среди этого мрамора и бронзы, как полководец. Вот так бы написать твой портрет. Очень бы получилась выразительная картина.

Карпов взял обломок розового с черными прожилками мрамора и взвесил его на руке:

— Чудесный все-таки материал!

— Мне вспомнился,— сказал Земляной,— случай с

Маяковским. Как-то он проезжал ночью на машине по одной из московских улиц и увидел над магазином вывеску: «Сказочные материалы». Дома он не переставал думать о необыкновенной вывеске и создал в своем воображении целую поэму об этих сказочных материалах. Наутро он буквально бросился к магазину, чтобы проверить, действительно ли есть такая вывеска, и увидел надпись: «Смазочные материалы». Вот какая получилась история!

— Это ты к чему рассказал? — спросил Карпов.— Куда гнешь? Не понимаю.

— А к тому, что нет, на мой взгляд, разницы между сказочными и смазочными материалами. И к тому, что самый сказочный материал даже не эти бронза и мрамор, а бетон.

Карпов настроился было поговорить и дальше, но в кабинете появился Прохоров, а за ним Гармаш, и разговор пошел совсем о другом,— о том, как осветляется вода в водохранилище.

Басаргин приехал уже совсем затемно. Он извинился, сказал, что задержался из-за разговора с Москвой и что арку можно посмотреть и ночью.

— Зажжем прожектор,— предложил он не совсем уверенно.— Пожалуй, увидим даже кое-что лучше, чем днем.

— Это мысль! — согласился Земляной.

Все пошли к арке. Последний отблеск дня угасал в степной дали. Громада арки темнела над каналом.

Потом белый, как бы сотканный из множества живых серебряных нитей, свет прожектора упал на подножие арки, прошел по ее могучим обводам, по спокойным линиям колонн, по слабо блеснувшим бронзовым капителям, по плавному и торжественному своду и широкому фризу.

Все молча смотрели на арку.

— Ну что ж,— сказал наконец Басаргин и закурил. Рука его с зажженной спичкой вздрогнула.— Поздравляю вас всех, товарищи, с окончанием большого труда! И благодарю. От себя лично и от всех...

Басаргин быстро повернулся и пошел в степь, в темноту, где стояла его машина.

Земляной сделал несколько шагов вслед за ним и остановился. Он понял, что сейчас нельзя говорить с Басаргиным ни о чем и лучше оставить его наедине с собой.

1952—1956

Примечания

Настоящий том составляют произведения, написанные Паустовским на протяжении семнадцати лет — с 1935 года, которым датировано «Черное море», по 1952 год, когда вышла в свет повесть «Героический юго-восток». Обстоятельства, сопутствовавшие появлению первых двух повестей, разительно непохожи были на условия, в каких создавался роман «Дым отечества». «Черное море» и «Северная повесть» писались в мирное время — время далеко не безоблачное, но мирное,— публиковались сразу же после того, как были написаны, и тем самым активно включались в литературный процесс современности. Работа над романом «Дым отечества» шла в суровую военную пору, когда война ежедневно уносила тысячи человеческих жизней, когда страдания и горе вошли в каждый дом. Роман увидел свет лишь два десятилетия спустя после его создания, что сообщило ему черты ретроспективности. «Героический юго-восток» был создан через семь лет после войны.

Вещи, включенные во второй том, принадлежали перу художника, уверенно шедшего по избранному пути, твердо знавшего, что и как он хочет сказать.

Но при всем различии между первыми пробами пера и книгами, созданными во второй половине 30-х и в первой половине 40-х годов, они — произведения одного писателя, со своим взглядом на мир и своим почерком, и обязаны своим рождением литературной биографии их автора, кругу проблем, приковывающих его внимание. Эти проблемы поворачивались в книгах то одной, то другой стороной, в зависимости от того, что на том или ином отрезке жизненного пути диктовал писателю его собственный опыт и какие конкретные задачи перед ним вставали. С тех пор как он уверенно встал на ноги — случилось это в первой половине 30-х годов,— Паустовский обращался только к такому материалу действительности, который отвечал его выношенным склонностям и пристрастиям.

Если все помыслы и устремления героев «Романтиков» и «Блистающих облаков» — в первую очередь Максимова, Берга, Батурина, внутренний мир которых вобрал в себя душевные метания и кристаллизацию мысли их автора,— концентрируются вокруг проблем

художнического самоосуществления, если острее всего мучает их вопрос, достанет ли у них сил, таланта, настойчивости, чтобы стать настоящими писателями и адекватно воссоздать в слове все, что переполняет их, если они без устали ищут дело, которое помогло бы им установить прочный контакт с действительностью, то герои «Черного моря», «Северной повести», «Дыма отечества» поглощены решением совсем иных задач. Они давно сделали выбор — нравственный и профессиональный. В глазах этих героев, будь то реальный исторический деятель лейтенант Шмидт или вымышленный литературный персонаж прапорщик Бестужев, нравственная ценность того или иного поступка бесконечно важнее его сиюминутных прагматических результатов. Далекие от прекраснодушной мечтательности, они неколебимо убеждены, что, каким бы практически целесообразным не представлялся тот или иной шаг, он в конечном счете обречен на полное бесплодие, если в его основе не лежат нравственные мотивы. Они уверены, что сегодня не кончается сегодня, что жертва, которая поначалу может расцениваться как напрасная, завтра даст реальные всходы, если она служит властной потребности общества. Веру в нравственную результативность того, что они делают, эти герои черпают в истории.

«Черное море» и «Северная повесть» глубинным образом связаны с историей.

В первой из них легендарный Херсонес, как в эпоху античности называли Крым, с его высокой материальной культурой; Севастополь, его героическая оборона в прошлом веке; восстание на броненосце «Потемкин», всколыхнувшее всю Россию; отчаянная борьба в керченских каменоломнях в годы гражданской войны — все эти пласты давнего и недавнего прошлого неотъемлемой частью входят в содержание повести о Черном море, бросая отсвет на биографии и судьбы ее героев. Один из них, писатель Гарт, именно в обращении к реальному историческому лицу, лейтенанту Шмидту, находит новые стимулы творчества.

Еще более действенную роль играет история в структуре «Северной повести», в которой воспроизведены три эпохи: начало девятнадцатого века, время революции и гражданской войны, середина 30-х годов нашего века. Связь этих трех периодов подчеркнута преемственностью героев повести. Морской офицер Александр Щедрин, примкнувший в дни Октября к большевикам,— внук декабриста Щедрина, бежавшего после восстания на Сенатской площади в Швецию. Художник Тихонов — потомок солдата Тихонова, засеченного шпицрутенами за то, что не задержал и не выдал начальству беглого декабриста. Шведка Мари, приезжающая в Ленинград — правнучка Анны Якобсон, помогавшей деду Щедрина уйти

от преследователей. Родственные узы объединяют героев книги, перебрасывая живые мосты от людей первой половины прошлого века к нашим старшим современникам, но не эти связи определяют их судьбы. Ход повествования определяется историей, ее закономерностями и логикой. История при этом предстает перед читателем не в ее фактической непрерывности, не в последовательном сцеплении множественных ее событий, а лишь в трех существенных моментах, что дало возможность писателю показать не разрозненные эпизоды, не частности исторического процесса, какими бы колоритными и живописными они сами по себе ни были, а его сердцевину.

В «Дыме отечества» действуют только современные герои, советские интеллигенты конца 30-х — начала 40-х годов. Тем показательнее, что и они захвачены интересом к истории. Нет для них большего удовлетворения, чем раскрыть загадки и восполнить пробелы прошлого. Поиски портрета Пушкина, которым увлечены литературовед Швейцер и его друзья-художники, образуют решающее звено в сюжетной цепи повествования.

Если понадобилось бы коротко определить, в чем состоит самая характерная особенность повестей и романа, что, несмотря на различие тем и строения, делает их произведениями близкими по духу, то можно было бы, не рискуя ошибиться, сказать, что их роднит мысль о том, что жизнь наших современников тем полнее и значительнее, чем активнее они наследуют непреходящие дела, справедливые идеи, смелые мечты наших предшественников — словом, пафос преемственности.

Даже в остросовременном, злободневном «Героическом юго-востоке», создававшемся под свежим впечатлением происходящих событий, ощутимо дыхание этой преемственности, проявляющейся как в содержании повести, так и в ее композиционной структуре. Строительство канала, который должен напоить живой влагой засушливые степи и уберечь их от смертоносного разрушения, показано как дело, завещанное предыдущими поколениями, безмерно страдавшими от сознания, что на пути осуществления их мечты, такой реальной и такой благодетельной, вырастают непреодолимые препятствия. Герои наших дней, прокладывающие водную трассу, по праву чувствуют себя их наследниками.

В этом смысле «Героический юго-восток» продолжает линию творчества писателя, начатую «Кара-Бугазом». И если повести о Волго-Доне не суждено было сыграть в литературе да и в творческой биографии ее автора той роли, какую сыграла повесть о строительстве комбината, то объясняется это тем, что в «Кара-Бугазе» Паустовский выступил как новатор, в то время как в «Героическом юго-востоке» он воспользовался давними своими открытиями.

В повестях и романе, представленных в настоящем томе, в полной мере выявились черты романтического стиля Паустовского.

Писателя привлекает жизнь не в повседневном течении и в примелькавшихся подробностях, а в переломные моменты, кризисные периоды, в которых узнается истинная цена человеку. Герои несут на себе отчетливо выраженный положительный и отрицательный знак. Два ряда людей. Контрастные характеры. Взаимно непримиримые, находящиеся в остром неразрешимом конфликте. Если уж герой, то герой во всем, в большом и в малом,— прекрасный, чистый, благородный, отважный, мужественный, чей путь прям как стрела. Если уж отрицательный, то без малейших признаков человечности. От взора писателя-романтика не укрывается, что в реальной действительности люди менее цельны, что им присущи противоречия. Он знает, что в жизни конфликты происходят не только между противоположными людьми, но и между противоположными устремлениями внутри одного человека. Он знает, что кроме черного и белого существуют цвета, тона, полутона, оттенки, но его интересуют главные и ведущие проявления жизни, то, что резкой чертой отделяет добро от зла.

Тексты вошедших во второй том произведений печатаются по изданию: К. Паустовский. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2 и 3, М., ИХЛ, 1967.

ЧЕРНОЕ МОРЕ

Впервые — в альманахе «Год XIX», № 9, 1936.

В примечаниях ко второму тому шеститомного Собрания сочинений 1957 года, материал для которого давал сам автор, сказано:

«Несколько раз в беседах со своими читателями Паустовский упоминал, что мысль написать книгу о Черном море — своего рода «художественную энциклопедию» побережий этого моря — появилась у него еще в юности.

Начав работу над повестью, Паустовский поселился в Севастополе, чтобы пользоваться богатейшими материалами Севастопольской морской библиотеки.

Прототипом Гарта является писатель Александр Степанович Грин (Гриневский).

Жизнь Грина была тесно связана с Черным морем и Севастополем. В 1905 году Грин... вел в Севастополе подпольную работу среди военных моряков, был арестован и отбывал заключение в Севастопольской тюрьме. В своей «Автобиографической повести» Грин писал, что многие черты Севастополя вошли в вымышленные им романтические приморские города Зурбаган, Лисс и Гель-Гью. Изображение

этих городов у Грина является, по существу, точным описанием Севастополя и его живописных окраин.

Во время работы Паустовского над «Черным морем» в Севастополь приезжала из Ленинграда сестра лейтенанта Шмидта Анна Петровна Избаш. Приезд ее был связан с открытием на Севастопольском кладбище памятника лейтенанту Шмидту.

Паустовский несколько раз встречался с А. П. Избаш и беседовал с ней о Шмидте. На основании этих бесед Паустовский написал для «Черного моря» небольшую главу (под названием «Дон-Кихот») о романе в письмах между Шмидтом и его так называемой «киевской корреспонденткой». После первого напечатания повести в альманахе «Год XIX» Паустовский изъял эту главу из книги, так как она относилась к лицам, в то время еще жившим, и, кроме того, касалась недостаточно выясненных обстоятельств из частной жизни Шмидта.

В Севастополе Паустовский часто встречался с участниками «Очаковского» восстания, бывшим минером миноносца «Свирепый» Федором Григорьевичем Мартыненко. Мартыненко хорошо знал Шмидта и с благоговением относился к его памяти. Мартыненко был широко известен среди жителей Севастополя под именем «дяди Феди». Он послужил Паустовскому прототипом старого рыбака Кузьмы Дымченко.

В главе «Мужество» Паустовский рассказывает о своей встрече с бывшим лейтенантом царского флота Михаилом Ставраки, командовавшим расстрелом Шмидта на острове Березани.

Паустовскому удалось познакомиться с отрывками из дневника Ставраки. На основании этих отрывков он написал рассказ «Три страницы». Рассказ этот был напечатан в сборнике Паустовского «Встречные корабли» (М., «Молодая гвардия», 1928).

В оценке «Черного моря» критика не проявила единодушия.

Резче всего высказался о повести Марк Чарный, сосредоточивший внимание исключительно на отношениях между Шмидтом и киевской его корреспонденткой, З. И. Р. Поскольку последняя была жива, писатель, по мнению критика, не имел права касаться этой щекотливой темы, да еще давать волю своему воображению. Обсуждать этот вопрос в данном случае нет никакой надобности, ибо сам автор по собственной инициативе снял спорную главу и никогда в последующих изданиях повести не восстанавливал ее.

С одобрением отозвался о «Черном море» А. Дерман. Отмечая, что в повесть вошел обширный и разноликий материал, он писал:

«В этой внутренней, органической спайке разнородных элементов книги ее главное и громадное достоинство, в этом ее удивительный читательский эффект... «Черное море» — одна из тех редких

книг, которая читается с захватывающим, всевозрастающим интересом, но чтение которой требует от читателя неослабевающего и серьезного внимания, требует живой работы мысли» («Детская литература», 1936, № 8).

Высоко оценил книгу К. Паустовского Н. Коварский, поставивший в заслугу писателю умение вовлечь в единый повествовательный поток сведения из разных областей жизни:

«Все эти трактаты, справки, рассуждения, истории отнюдь не выпадают из стильного плана книги. Наоборот, именно они и осуществляют ту задачу, которую поставил себе автор. Это новый пейзаж романтики, новая ее территория, низведенная с абстрактных высот, очеловеченная и овеществленная...

Писатель Паустовский написал превосходную книгу о романтической земле, которая называется «Черное море». Он не только оправдал романтику, но и показал, что она не нуждается в оправдании» («Литературный Ленинград», 1936, 29 сентября).

Стр 6. *«Приедается все, лишь тебе не дано примелькаться...»*— Начальные строки главы «Морской мятеж» поэмы Бориса Пастернака «Девятьсот пятый год».

Стр. 7. *Довэ* Генрих-Вильгельм (1803—1879) — немецкий метеоролог.

Стр. 11. *Родней* Джордж Брайдес (1718—1792) — английский адмирал.

Стр. 14. *Рид* Вильям (1791—1858) — английский метеоролог.

Тифон (смерч) — вихревые движения воздуха над морем, обладающие большой разрушительной силой и представляющие большую опасность для кораблей.

Стр. 15. *Nord*, *Ost*, *Süd и West* — Север, Восток, Юг, Запад.

Стр. 17. *Анатолия* — основная часть Турции. С древности (V—VI вв. до н. э.) — название Малой Азии.

Стр. 20. *Клюз* — труба, отверстие в борту, окаймленное литой рамой для пропускания якорной цепи (каната).

Стр. 26. *Чухнин* Григорий Павлович (1848—1906) — вице-адмирал, с 1904 г.— главный командир Черноморского флота.

Стр. 29. В основе главы «Мертвый город» лежит подлинное происшествие, которое пришлось пережить автору во время перехода из Одессы в Крым, когда пароход «Димитрий», на котором он находился, чуть не затонул. Об этом переходе Паустовский рассказал в корреспонденции, появившейся в газете «Моряк».

Стр 36. *«Травиата»* — опера итальянского композитора Джузеппе Верди (1813—1901).

Стр. 38. *...советские гюйсовые флаги.*— Гюйс — флаг, поднимае-

мый на носу корабля при стоянке на якоре. Представляет собой красное полотнище с красной звездой, имеющей белую окантовку, посредине. Гюйс поднимается и опускается одновременно с военно-морским флагом. Гюйс является также флагом приморских крепостей.

Стр. 39. *Гарибальди* Джузеппе (1807—1882) — итальянский народный герой, генерал, один из вождей национально-освободительного движения, боровшийся за объединение Италии.

Стр 40. *Шмидт* Петр Петрович (1867—1906) — лейтенант Черноморского флота, руководитель восстания на крейсере «Очаков» в 1905 г. После подавления восстания был расстрелян.

Стр. 41. *Ван-Гог* Винсент Виллем (1853—1890) — голландский художник.

Стр. 42. *Святые* (Пушкинские) *горы* — городок в Псковской области. В Святогорском монастыре находится могила А. С. Пушкина.

Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — английский поэт-романтик.

Стр 43. *«Данте в своем «Аду»...»*— Речь идет о поэме итальянского поэта Данте Алигьери (1265—1321) «Божественная комедия» («Ад», «Чистилище», «Рай»).

Стр. 45. *Воронин* Владимир Иванович (1890—1952) — капитан советского ледокольного флота. Участник спасения экспедиции Нобиле (1928). Капитан «Сибирякова», «Челюскина», ледокола «Ермак». Возглавлял китобойную флотилию «Слава».

Амундсен Руал (1872—1928) — норвежский исследователь Арктики и Антарктиды, первым достиг Южного полюса.

Магеллан Фернандо (ок. 1480—1521гг.) — португальский мореплаватель, экспедиция которого совершила первое кругосветное плавание.

Стр. 51. *Шканцы* — на военных судах место в средней части палубы, где совершаются официальные церемонии: парады, смотры, встречи.

Стр. 56. *Жорес* Жан (1859—1914) — деятель французского и международного социалистического движения, историк.

Вандервельде Эмиль (1866—1938) — бельгийский политический деятель, социалист, один из лидеров II Интернационала.

Стр. 65. *Артемида* — одна из богинь Древней Греции, дочь Зевса и Лето, сестра-близнец Аполлона, владычица зверей.

Стр. 66. *Пайол* — деревянный настил в трюмах грузовых судов и в конечностях деревянных судов.

Стр. 67 *Геродот* (род. между 490 и 480 г.— ум. ок. 425 г. до н. э.)— древнегреческий историк.

Страбон (64—63 гг. до н. э.— 23—24 гг. н. э.)— древнегреческий географ и историк.

Плиний Старший, Гай Плиний Секунд (23 или 24 — 79 гг.)— римский писатель, ученый и государственный деятель. Автор «Естественной истории» в 37-ми книгах — своеобразной энциклопедии естественнонаучных знаний античности.

Аристотель (384—322 гг. до н. э.)— древнегреческий философ и энциклопедический ученый.

Паллас Петр Симон (1741—1811) — естествоиспытатель, географ, путешественник.

Ифигения — героиня греческих мифов, дочь Агамемнона и Клитемнестры. Агамемнон дал обет принести дочь в жертву Артемиде. На жертвеннике Артемида заменила девушку ланью и унесла Ифигению в Тавриду (Крым), сделав ее своей жрицей.

Еврипид (ок. 480 или 484 — 406 гг. до н. э.)— древнегреческий драматург, автор трагедии «Ифигения в Тавриде».

Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — немецкий поэт, мыслитель, естествоиспытатель.

Гнедич Николай Иванович (1784—1833) — русский поэт, полностью перевел на русский язык «Илиаду» Гомера.

«*Я с корабля сошел при блеске ночи...*»— Из стихотворения «Эллада» русского поэта Николая Федоровича Щербины (1821—1869).

Стр. 71. «*Тут видел я баснословные развалины храма Дианы*» — Из воспоминания А. Пушкина «Отрывок из письма к Д.». В оригинале: «Тут же видел я и баснословные развалины храма Дианы».

Стр 73. *Бушприт* — брус, выступающий наклонно впереди носа корабля.

Стр. 74. «*До кампании пятьдесят четвертого года*».— Имеется в виду Крымская война (1853—1856).

Нахимов Павел Степанович (1802—1855) — русский флотоводец, адмирал, герой обороны Севастополя.

Стр. 75. *Дрек* (Дрейк) Френсис (1545—1596) — английский мореплаватель.

Киплинг Джозеф Редьярд (1865—1936) — английский поэт и прозаик.

Буссенар Луи Анри (1847—1910) — французский прозаик, автор приключенческих романов.

Жаколио Луи (1837—1890) — французский прозаик, автор приключенческих романов.

Стивенсон Роберт Льюис (1850—1894) — английский прозаик, автор приключенческих романов, самый известный из которых — «Остров сокровищ» — был переведен на большинство языков мира.

Стр. 75. *Нельсон* Горацио (1758—1805) — знаменитый английский флотоводец.

Стр. 76. *...с военными реляциями о боях в Трансваале...*— Трансвааль — провинция в Южно-Африканской республике. Речь идет о войне Трансвааля с Англией за сохранение своей независимости (англо-бурская война 1899—1902 гг.).

Миклухо-Маклай Николай Николаевич (1846—1888) — русский ученый, путешественник и общественный деятель.

Стр. 82. *Крузенштерн* Иван Федорович (1770—1846) — русский мореплаватель.

Стр. 85. *Дарвин* Чарлз Роберт (1809—1882) — английский биолог, основоположник учения об историческом развитии видов животных и растений в процессе естественного отбора. В 1801—1836 гг. совершил кругосветное путешествие. Описал это плавание в книге «Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль», вышедшей в 1839 г.

Стр. 88. *Синьяк* Поль (1863—1935) — французский живописец и график.

Стр. 89. *Кодрингтон* Эдуард (1770—1851) — английский адмирал.

Стр. 90. *Клинкет* — приспособление на трубопроводах, представляющее клиновидную задвижку.

Стр. 91. *Матюшенко* Афанасий Николаевич (1879—1907) — один из руководителей восстания на броненосце «Потемкин».

Колумб Христофор (1451—1506) — генуэзский мореплаватель на испанской службе, первооткрыватель Америки.

Беринг Витус Ионссен (Иван Иванович) (1681—1741) — офицер русского флота, исследователь Арктики.

Планшир — брус вдоль верхней кромки борта.

Стр. 98 *Траян* Марк Ульпий (53—117) — римский император, при котором Римская империя достигла максимальных размеров, велось большое строительство в Риме и провинциях.

Стр. 100 *Корбьер* Тристан (наст. имя — Эдуард Жоакен Корбьер; 1845—1875) — французский поэт, воспевавший море.

Бабель Исаак Эммануилович (1894—1941) — русский советский писатель

Юшкевич Семен Соломонович (1868—1927) — русский прозаик.

Шенгели Георгий Аркадьевич (1894—1956) — русский советский поэт и переводчик

Соболь Андрей (наст. имя — Юлий Михайлович; 1888—1926) — русский советский прозаик.

По Эдгар Аллан (1809—1849) — американский прозаик, поэт и критик.

Стр. 101 *Левант* — общее название стран восточной части Средиземного моря, в более узком смысле — Сирии и Ливана.

Стр. 103. *О. Генри* (наст. имя — Уильям Сидни Портер; 1862—1910) — американский писатель.

Лондон Джек (Джон Гриффит; 1876—1916) — американский писатель.

Стр. 104. *«Риголетто»* — опера итальянского композитора Джузеппе Верди.

Стр. 105. *Страдиварий* (Страдивари; 1643—1737) — знаменитый итальянский скрипичный мастер.

Стр. 107. *Кубелик* Ян (1880—1940) — чешский скрипач и композитор.

Стр. 112. *...после войны Южных и Северных штатов в Америке.*— Имеется в виду гражданская война в США 1861—1865 гг. между Севером и рабовладельческим Югом, закончившаяся победой Севера и отменой рабства.

Стр. 113. *Ревель* — ныне город Таллин.

Стр. 117. *«Малыгин»* — советский ледокольный пароход, названный в честь русского полярного исследователя Степана Гавриловича Малыгина (? — 1764), руководившего описанием и составлением карты побережья Северного Ледовитого океана от Печоры до Оби, автора первого руководства по навигации на русском языке.

Стр. 121. *«Земли полуденной волшебные края»*.— Из стихотворения А. С. Пушкина «Погасло дневное светило...».

«Как друга ропот заунывный».— Вторая строфа из стихотворения А. С. Пушкина «К морю».

Мицкевич Адам (1798—1855) — польский поэт.

Марлинский — Бестужев (псевд.— Марлинский) Александр Александрович (1797—1837) — русский прозаик и критик, декабрист.

Марко Поло (1254—1324) — итальянский путешественник, совершивший путешествие через Центральную Азию в Китай.

...царство Великого Могола — Индия. Великие Моголы — название, данное европейцами династии, основанной Бабуром из Моголистана и правившей Индией с 1526 по 1707 г., когда Могольская империя распалась. Формально Великие Моголы продолжали считаться правителями Индии до 1858 г.

Стр. 125. *Ванты* — снасти, которыми укрепляются мачты парусного корабля.

Стр. 138 *Лот* — морской прибор для определения глубины моря. В данном случае имеется в виду лот-линь, то есть гиря с веревкой.

Стр. 139 *Нереиды* — согласно греческой мифологии, нимфы моря, дочери морского бога Нерея и Дориды.

Стр. 144. «*И разогнав крутые волны дыма...*»— Из стихотворения Эдуарда Багрицкого «На Колчака! И по тайге бессонной...». В оригинале: «Мы яростное знамя пронесли».

Стр 153. *Салинг* — рама, состоящая из продольных и поперечных брусьев. В зависимости от принадлежности к той или иной мачте салинг носит название фор-салинг, грот-салинг, крюйс-салинг.

Шкоты — снасти для управления парусами.

Стр. 161. *Федько* Иван Федорович (1897—1939) — советский военачальник, командарм 1-го ранга, герой гражданской войны.

Скоропадский Павел Петрович (1897—1939) — гетман Украины с апреля по декабрь 1918 г., активно сотрудничавший с немецкими оккупантами.

Стр 162. *Саблин* Юрий Владимирович (1897—1937) — советский военный деятель, комдив

Стр 163. *Брашпиль* — специальная лебедка с горизонтальным валом; обычно устанавливается в носовой части судна и служит для подъема якорей, якорной цепи, а также для швартовки.

СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ

Впервые (под названием «Северные рассказы») — в журнале «Знамя», 1938, № 1, 3, 4.

В примечаниях ко второму тому шеститомного Собрания сочинений сказано:

«По свидетельству автора, замысел повести возник у него во время поездки из Ленинграда в Москву по водному пути — через Ладожское озеро, по Свири, Онежскому каналу и Мариинской системе, Шексне и Волге до Щербакова (тогдашнего Рыбинска). Этот путь занимал в то время около двух недель.

Под именем «пожилого писателя» в повести изображен Алексей Максимович Горький.

Упоминание о возможности вернуть в Европу теплый, почти тропический климат, существовавший в эпоху миоцена, связано с именем капитана Гернета, командовавшего во время гражданской войны нашей Азовской флотилией. Капитан Гернет — знаток метеорологии и климатологии — создал свою остроумную теорию возвращения этого климата и написал об этом книгу под названием «Ледяные лишаи». Написал он ее в Японии, где был советским морским представителем и издал за свой счет в Токио в небольшом количестве экземпляров».

Повесть вызвала как положительные, так и отрицательные отзывы.

Борис Соловьев («Литературный современник», 1940, № 10—11) считал, что слабость повести проявляется в отсутствии в ней бытовой достоверности и в слишком активном вмешательстве автора в ход повествования.

Гораздо благожелательнее оценил повесть Паустовского А Эрлих, который писал: «Истинной поэзией веет от пейзажей Паустовского. Тон рассказов мягок и лиричен, словарь богат и тонок. Сюжет развивается увлекательно».

Вместе с тем далеко не все в повести (в ту пору она еще называлась «рассказами») устраивало рецензента, который считал, что «автор как бы избегает непосредственного воспроизведения классовой борьбы на страницах своих повестей и рассказов. Он обычно знакомит нас со своими персонажами лишь на другой день после важнейших в их жизни боевых событий... Концовка рассказов получилась излишне сентиментальной...» («Правда», 1939, 21 мая).

Восторженную оценку «Северной повести» дал Вл. Смирнов. Относя ее, как это уже случалось раньше с другими книгами автора, к произведениям детской литературы, рецензент писал: «Константин Паустовский прочно вошел в детскую литературу... С не меньшим интересом прочитает их (рассказы) и взрослый читатель» («Книжные новости», 1938, № 15—16).

Стр. 172. *«...чудный хлад сковал ботнические воды»* — Из эпилога поэмы «Эда» русского поэта Евгения Абрамовича Баратынского (1800—1844).

Пироскаф — первоначальное название пароходов.

Стр. 181. *«Я вспомню с тайным сладострастием ..»*— Из стихотворения Е. А. Баратынского «Отъезд».

Стр. 202. *Кабестан* — лебедка с вертикальным валом.

Стр. 207. *Кассо* Лев Аристидович (1865—1914) — министр народного просвещения в России (1911—1914 гг.), проводивший крайне реакционную политику

Стр. 234. *Растрелли* Варфоломей Варфоломеевич (Бартоломео Франческо; 1700—1771) — русский архитектор, глава русского барокко.

Стр. 240. *Крестовский* Всеволод Владимирович (1840—1895) — русский писатель, автор романа «Петербургские трущобы».

Стр. 241. *Репин* Илья Ефимович (1844—1930) — русский живописец.

Стр. 243 *«Звучал орган в старинной церкви нашей...»*— Из трагедии А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери».

Воронихин Андрей Никифорович (1759—1814) — русский архитектор, представитель классицизма.

Стр. 247. *Захаров* Андрей Дмитриевич (1761—1811) — русский архитектор, представитель ампира.

Андреев Николай Андреевич (1873—1932) — советский скульптор и график, автор памятника Гоголю в Москве.

Стр. 248. *Баженов* Василий Иванович (1737 или 1738—1799) — русский архитектор, представитель классицизма.

Стр. 254. *Секстант* — угломерный инструмент для астронавигационных наблюдений.

Стр. 255. *«Из царства вьюг, из царства льдов и снега как чист и свеж твой вылетает май».*— Из стихотворения А. Фета «Еще майская ночь...». В оригинале: «как свеж и чист».

Стр. 266. *«И мрачный год, в который пало столько отважных, добрых и прекрасных жертв, едва оставит в память о себе...»*— Из трагедии А. С. Пушкина «Пир во время чумы». В оригинале не «оставит», а «оставил».

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

Впервые — в журнале «Москва», 1963, № 9—10.

В предисловии к роману («От автора») Паустовский рассказал о том, как роман был потерян и как после упоминания об этом в книге «Потерянные романы» (Калужское кн. изд-во, 1962) он был обнаружен в казанском архиве. В предисловии автор говорит, что роман был написан в 1944 году. Несколько иначе об этом пишется в предисловии к книге «Потерянные романы»: «Скажу всего только несколько слов о своем третьем потерянном романе. Роман этот был написан в 1951 году».

В калужском сборнике были напечатаны два отрывка из «Дыма отечества», связанные с пребыванием Пахомова на южном фронте. Отрывки эти несколько отличаются от соответствующих страниц окончательного текста романа В окончательном тексте, в частности, выпал весь рассказ капитана, повествующего Пахомову о бое, в котором он участвовал.

Опубликованный через двадцать лет после написания, роман Паустовского прошел в критике почти незамеченным. О нем появилась всего одна-единственная рецензия, принадлежащая перу Игоря Золотусского. Он писал:

«Дым отечества» — это роман о родине, о русской земле, о родном искусстве. Это книга о преданности тому, что любишь. И об очищающей силе добра, перед которой склоняется человек... Люди здесь живут по законам добра. И сами они добрые, милые, хорошие.

Всех их связывает союз доверия, союз любви к искусству... События, волнующие мир, происходят где-то за занавесом. Они проникают в роман эхом испанских боев, смутным гулом войны, надвигающейся с запада».

По мнению критика, появись роман на свет тогда, когда он был написан, в 1944 году, он был бы с благодарностью принят читателем, но на дистанции лет, когда война глубоко была осмыслена в литературе, роман неизбежно судится строже:

Стр. 274. *«Людям хотелось бы все сохранить — и розы и снег...»*— Из вступления А. И. Герцена к «Былому и думам».

Стр. 275. *Феофан Грек* (ок. 1340 — после 1405 г.)— живописец, работавший в Византии и Древней Руси.

Стр. 276. *Рембрандт* Харменс ван Рейн (1606—1669) — голландский живописец и график.

Иванов Александр Андреевич (1806—1858) — русский живописец, автор картины «Явление Христа народу».

Стр. 277. *Фанариоты* (букв.: жители Фанара — квартала в Стамбуле с резиденцией патриарха) — влиятельные и богатые греки на службе турецкого правительства; некоторые из них (Ипсиланти и др.) были руководителями освободительной борьбы 1821—1830 гг.

Стр. 278. *Гуинплен* — герой романа Виктора Гюго «Человек, который смеется».

Стр. 283. *Вагнер* Вильгельм Рихард (1813—1883) — немецкий композитор.

Стр. 291. *Ренуар* Пьер Огюст (1841—1919) — французский художник-импрессионист.

Веласкес Диего де Сильва (1599—1660) — испанский живописец.

Стр. 293. *«...неба своды сияют в блеске голубом».*— Из стихотворения А. С. Пушкина «Для берегов отчизны дальней...».

Стр. 295 *«Боярский пир» Маковского.*— Речь идет о картине русского живописца Маковского Владимира Егоровича (1846—1920) «Свадебный боярский пир в XVII веке».

Стр. 297. *Сабанская* (Сабаньская) Каролина-Розалия-Текла Адамовна (1794—1885) — одесская знакомая А. С. Пушкина.

Стр. 298. *«...быть может, новый Гайдн сотворит...»*— Слова из трагедии А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери». *Гайдн* Франц Йозеф (1723—1809) — австрийский композитор, один из представителей венской классической школы.

Стр. 299. *«О счастье мы всегда лишь вспоминаем...»*— Первая строфа стихотворения И. А. Бунина «Вечер».

Стр 306. *Сольвейг* — героиня драмы Генрика Ибсена (1828—

1906) «Пер Гюнт», музыку к которой написал соотечественник драматурга, норвежский композитор Эдвард Григ.

Стр. 309. *«Хозяйка гостиницы»* («Трактирщица») — комедия итальянского драматурга Карло Гольдони (1707—1793). *Мирандолина* — главная героиня комедии.

Стр. 313. *Брекватер* (волнолом) — портовое гидротехническое сооружение из бетона, камня и т. п., служащее для защиты порта, затона и пр. от разрушительного действия волн, течения и т. д.

Стр. 321. *Шерлок Холмс* — сыщик, герой произведений английского писателя Конан-Дойля (1859—1930).

Стр. 324. *«...милый предел» его жизни ..»*— Из стихотворения А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» («И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать, но ближе к милому пределу мне все б хотелось почивать»).

Стр 326. *Туманский* Василий Иванович (1800—1860)— русский поэт, одесский приятель Пушкина, служил в канцелярии М. С. Воронцова.

Стр. 346. *Поттер* Пауль (1625—1654) — голландский живописец и гравер.

Каульбах Вильгельм (1805—1874) — немецкий живописец, пользовавшийся при жизни огромной известностью.

Гварди Франческо (1712—1793) — итальянский живописец.

Каналетто Антонио (1697—1768) — итальянский живописец и график.

Стр. 349. *Николай Мирликийский* — христианский святой, которого наряду с христианами чтут мусульмане и язычники. Покровитель мореплавания и моряков.

Стр. 359. *Айвазовский* Иван Константинович (1817—1900) — русский живописец-маринист.

Стр. 361. *Лаг* — прибор для определения скорости судна.

Стр. 362. *...статую Латерана.*— Латеран — дворец в Риме (он принадлежал римской фамилии Латерани), в начале III века сделался императорской собственностью, резиденцией пап до переселения в Авиньон В 1308 г. стал жертвой громадного пожара и превратился в развалины. При Сиксте V был отстроен Доменпком Фонтана. В 1843 г. Григорий XVI устроил во дворце музей языческих и христианских древностей. В Латеране сохранилось несколько знаменитых статуй — в частности, статуя Софокла. В базилике имеется деревянная статуя Иоанна Крестителя работы Донателло.

Боттичелли Сандро (1445—1510) — итальянский живописец флорентийской школы.

Стр. 373. *«Все, все мое, что есть и прежде было...»*— Начало стихотворения (без назв.) А. Фета.

Стр. 383. *Стендаль* (наст. имя Анри Мари Бейль; 1783—1842) — французский писатель.

Стоковский Леопольд (1882—1977) — американский дирижер.

Стр. 392. *«Луна спокойно с высоты...»*— Строки из поэмы А. С. Пушкина «Полтава».

Стр. 396. *Эзель* (прежнее название острова Саарема) — наибольший остров Моонзундского архипелага в Балтийском море, расположенного у западного побережья Эстонской ССР.

Стр. 397. *«Стою, как поденщик ненужный, плату принявший свою, чуждый работе другой».*— Строки из стихотворения А. С Пушкина «Труд».

Стр 403. *Это был знаменитый писатель.*— Имеется в виду, по-видимому, испанский писатель и философ Мигель де Унамуно (1864—1936), который после установления диктатуры генерала Примо де Риверы в 1924 г. был выслан на Канарские острова и бежал во Францию.

Стр. 411. *«Как привидение, над рощею свинцовой луна туманная взошла...»*— Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Ненастный день потух; ненастной ночи мгла. .». В оригинале: «По небу стелется одеждою свинцовой; как привидение за рощею сосновой луна туманная взошла...»

Стр. 416. *«Все смешалось в доме Облонских».*— Вторая фраза из романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина», ставшая поговоркой.

Стр. 418. *Диккенс* Чарлз (1812—1870) — английский романист.

Стр. 441. *Даго* (старое название острова Хийумаа) — остров Моонзундского архипелага.

Стр. 465. *«Вчера я растворил темницу воздушной пленницы моей».*— Из стихотворения «Птичка» русского поэта Федора Антоновича Туманского (1799—1853).

Стр. 485. *«Последний звук последней речи.. »*— Строки из «Альбома Онегина», не вошедшего в окончательный текст романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

Стр. 490. *«Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой».*— Строки из стихотворения «Безумцы» французского поэта Пьера-Жана Беранже (1780—1857) в переводе В Курочкина

«Живые сны».— Имеются в виду, надо полагать, строки А. С. Пушкина: «Я ехал к вам: живые сны за мной толпой игривой...» (стихотв. «Приметы»).

«Одним толчком согнать ладью живую...»— Начало стихотворения А. Фета (без назв.).

«Бывало мерный звук твоих могучих слов...»— Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Поэт». В оригинале: «Он нужен был толпе ..».

ГЕРОИЧЕСКИЙ ЮГО-ВОСТОК

Впервые — в журнале «Знамя», 1952, № 4, 5.

В примечаниях к шестому тому шеститомного Собрания сочинений сказано:

«После поездки в 1952 г. по юго-востоку страны и на строительство канала Волго-Дон Паустовский написал на материале этой поездки повесть под названием «Рождение моря». После журнальной публикации несколько раз издана, в частности, в Детгизе, Воениздате и в издательстве «Советский писатель». В 1956 г. Паустовский переработал эту повесть. В этом виде под новым названием «Героический юго-восток» повесть и печатается в Собрании сочинений».

В шеститомном Собрании сочинений «Героическому юго-востоку» были предпосланы следующие слова:

«В 1952 году, после поездки на строительство Волго-Донского канала и по юго-востоку страны, я написал «Рождение моря».

Повесть эта состоит из цикла очерков. Поэтому я и включаю ее сейчас в раздел очерка, сократив ее за счет сюжетных беллетризированных мест».

В восьмитомном Собрании сочинений эти предваряющие слова были автором сняты, а «Героический юго-восток» включен в том повестей.

Стр. 504. *Корвет* — в эпоху парусного флота — военный корабль средних размеров, предназначенный для разведки и посылок, а иногда и крейсерных операций.

Рея (рей) — металлический или деревянный поперечный брус, прикрепленный к мачте; предназначен для крепления прямых парусов и поднятия сигналов.

Стр. 505 *Третьяков* Павел Михайлович (1832—1898) — меценат, коллекционер, основатель Третьяковской галереи.

Морозов Савва Тимофеевич (1862—1905) — фабрикант, меценат, коллекционер живописи, один из пайщиков и директоров Московского Художественного театра.

Мамонтов Савва Иванович (1841—1918) — крупный промышленник, меценат, переводчик, член Московского общества драматических писателей.

Стр. 506. *Сара Бернар* (1844—1923) — французская драматическая актриса.

Стр. 509. *Разин* Степан Тимофеевич (ок. 1630—1671 гг.) — предводитель крестьянской войны в России в 1670—1671 гг.

Пугачев Емельян Иванович (1742—1775) — предводитель крестьянской войны 1773—1775 гг. в России.

Булавин Кондратий Афанасьевич (ок. 1660—1708 гг.)— предводитель крестьянско-казацкого восстания в России в 1707—1708 гг.

Менделеев Дмитрий Иванович (1834—1907) — русский химик, создатель Периодической системы элементов.

Стр. 514. *Гирло* — разветвление речного русла, рукав.

Стр. 537. *«Что день грядущий нам готовит?»* — Чуть измененная строка из главы шестой «Евгения Онегина». В оригинале: «Что день грядущий мне готовит?»

Стр. 539. *«Пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу».*— Строка арии Германна в опере П. И. Чайковского «Пиковая дама» (либретто М. И. Чайковского).

«Разве для девушек двери затворены...»— Слова царя Берендея из оперы Римского-Корсакова «Снегурочка».

Стр. 544. *«Нас утро встречает прохладой...»*— Строка песни (слова Б. Корнилова, музыка Д. Шостаковича) из популярного в 30-е годы кинофильма «Встречный».

Стр. 546. *«Леса... учат человека понимать прекрасное и внушают ему величавое настроение...»*— Из пьесы А. П. Чехова «Дядя Ваня». Слова эти произносит не Астров, как ошибочно указывает К. Паустовский, а Соня.

«Когда я слышу...»— Слова Астрова из пьесы «Дядя Ваня».

Стр. 547. *Бонитет* — показатель продуктивности леса, определяется средней высотой деревьев господствующей породы.

Стр. 559. *«Но силой ветра от залива».*— Из поэмы Пушкина «Медный всадник». В оригинале: «Но силой ветров от залива».

Стр. 562. *Кливер* — треугольный косой парус в передней части судна.

Сейнер — небольшое морское рыболовное судно.

Румпель — рычаг для поворачивания (управления) руля.

Стр. 563. *Такелажник* — матрос, ведающий на судне такелажем, т. е. всеми снастями, служащими для управления парусами.

Стр. 569. *«По царству и река!.. Тебе привет заздравный...»*— Из стихотворения «К Рейну» русского поэта Николая Михайловича Языкова (1803—1846). В оригинале: «лелеет тысячи судов».

Стр. 570. *«Горит восток зарею новой...»*— Из поэмы Пушкина «Полтава».

Стр. 586. *«Буря прошла, гром унесла»*. — Из арии Лизы в опере Чайковского «Пиковая дама».

Л. Левицкий

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕРНОЕ МОРЕ
Повесть

СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА
Роман

ГЕРОИЧЕСКИЙ ЮГО-ВОСТОК
Повесть

Паустовский К.

Собрание сочинений. В 9-ти т М.: Худож. лит., 1981.

Т. 2. Роман и повести. /Примеч. Л. Левицкого. 1981. 615 с.

В том вошли повести «Черное море», «Северная повесть», роман о событиях военного времени «Дым отечества», а также повесть «Героический юго-восток», посвященная строительству Волго-Донского канала .

П $\frac{70302\text{-}043}{028(01)\text{-}81}$ подписное 4702010200 Р2

Константин Георгиевич
ПАУСТОВСКИЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ 2

Редактор **Л. Полосина**
Художественный редактор
Е. Ененко
Технический редактор
С. Ефимова
Корректор
Г. Володина

ИБ № 2173

Сдано в набор 13.05.80. Подписано в печать 23.01.81. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 32,34 усл. печ. л. 32,34 усл. кр-отт 33,851 уч.-изд. л. Тираж 125000 экз. Изд. № III 6—53. Заказ № 1699. Цена 2р. 50к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Револю ии и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М54, Валовая, 28